

Андрей Тавров

**Матрос
на мачте**

**Москва,
Русский Гулливер,
2013 год**

УДК 821.161.
ББК 84(2Рос=Рус)6
Г14

Академический проект «Русского Гулливера»

Руководитель проекта *Вадим Месяц*

ТАВРОВ А. М.
Г14 МАТРОС НА МАЧТЕ/ Андрей Тавров – М.: Центр современной литературы, 2013

В центре романа стоит личность великого русского философа Владимира Соловьева, рыцаря-монаха, по выражению А. Блока. Стремление мыслителя обрести истину на земле перекликается с судьбой современной молодой девушки, путешествующей по магическому и реалистическому Кавказу в поисках разгадки своей собственной загадочной судьбы. Удивительным образом их маршруты пересекаются. Проза написана лаконичными, яркими периодами, снабжена параллельным сюжету фотографическим рядом, в технике близкой издательскому опыту В.Г.Зебальда, но существенно отличающегося от него тем, что роман написан настоящим поэтом – Андреем Тавровым.

ISBN 978-5-91627-101-0

© Андрей Тавров, 2013
© Центр современной литературы, 2013
© Сафронова О. В. — верстка

Вселенная — сосуд, содержащий в себе все: цветы и листья, снег и луну горы и моря, деревья и траву, живое и неживое. Всему — свое время года. Сделайте эти бесчисленные вещи предметом искусства, сделайте свою душу сосудом Вселенной... Тогда вы сможете постичь изначальную основу искусства — Тайный Цветок... Только у истинного цветка причины цвести и причины осыпаться лежат прямо в сердце человека.

Дзэами Мотокиё. «Предание о цветке стиля»

Эти звезды мне стезею млечной
Насылают верные мечты
И растут в пустыне бесконечной
Для меня нездешние цветы.

В. С. Соловьев

I want to be a sailor...

*Песенка багдадского вора из одноименного
английского кинофильма*

Человек-фламинго

Чайка похожа на завязанный на память платок с узелком посередине, на серп и на бумеранг. Ты пил с утра желтый вермут с кубиками льда в приморском кафе, где крутились за стойкой катушки магнитофона, а напротив сидела загорелая дева ослепительной красоты с жидко-голубыми глазами, но это неважно. Потому что все дело в чайке. Она белая, как ноги, распростертые на кровати или траве, готовящиеся вобрать в себя то, на что в детстве стараешься смотреть поменьше и потом, во время секса, все равно стыдишься и не смотришь, потому что точно знаешь, что твои родители такими вещами никогда не занимались, так ты думаешь. Еще в чайке есть отсеки и ходы. Она прорыта твоей памятью, помнишь молочное-белое тело пловчихи, и если смотреть на нее из-под воды, уцепившись за камень на дне, то видно, как при входе тела вглубь она окутывается пузырями, повторяя форму отдельно взятого соцветия каштана, тяжело, расширенного книзу, пузырчатого? Еще в чайке много от нижнего белья, но при этом она очень тяжелая и нелепая. Конечно же, в чайке есть что-то постыдное, что-то плотское, плоскостопно-телесное. Она, конечно, не маска, но хотелось бы, чтобы она была маской, тогда можно было бы разнять ее на настоящее и поддельное и сказать: вот это чайка, а это стыд и мишура, потому что со стыдом не будешь же жить долго.

Он шел по причалу. Сквозь деревянные рейки под ногами было видно, как там ходили зелено-серые волны. Такие плоские горы — то вздохнут, то выдохнут. Ах, как пахнут взбаламученные водоросли! Сколько можно человека бить, чтобы он потом не умер? С красоткой из кафе у него не будет ничего общего, хотя могло бы быть прямо сегодня. Странно, что ничего не произошло. Надо было взять ее за руку, когда они вышли из автобуса, и пойти не со всеми остальными, а просто свернуть на тропинку, ведущую в горы.

Скорее эту чайку следует воспринимать не как чайку, чтобы потом можно было вернуться и воспринять ее как чайку. Скорее это лучше выглядит, как розовый фламинго. Почему чайка не может быть розовым фламинго, а мужчина — женщиной или лодкой? Разве это важно, чтобы он был

лишь мужчиной, и все? Да такое просто невозможно. Пусть он будет чайкой или розовым фламинго. Вы ведь воображаете во время секса, что под вами не жена, а школьница, и так оно и есть, но жена ваша думает, что вы — чайка, и она живет так. Вот я иду по рейкам причала как школьница или фламинго. Я могу выбрать, кем мне туда идти, где ошвартовался прогулочный катер, и расплывчатые как трясущийся студень солнечные зайчики гуляют по его белому борту, и тихо наигрывает музыка. Я знал одну девушку, которая утверждала, что она птица. Она накурилась марихуаны и стала взбираться на ограждение моста, чтобы полететь. Я ухватил ее за живот и стащил обратно, и мы свалились прямо на проезжую часть, а ночью лежали на ковре, и слышно было, как идет тихий снег и шуршит в сухих листьях дикого винограда на балконе, куда была открыта дверь. И я никак не мог в нее войти, просто глупость какая-то, как будто там не было входа. И она ушла потом в один из отсеков белой птицы, белой чайки и там разместилась. Потом я видел ее внучку и никак не мог поверить своим глазам.



У них действительно нет входа, йони, пчелы. Это наша память потом, чтобы мы не считали, что это так, и не сошли с ума от огорчения, придумывает, что был вход, экстаз, ф-фрикции, проникновение. Нет у них входа, это любой мужчина знает, и знает, что это единственная правда о телесной любви. Он потом будет припоминать, но на самом деле фантазировать.

У дома пахнет борщом, кто-то из соседей варит, и запах по всей улице. На балконе первого этажа я ищу взглядом дикий

виноград и нахожу, хотя, может быть, это другой балкон. У подъезда стоит пожилая женщина с маленькой девочкой. Я спрашиваю, не здесь ли живет такая-то. «Люду муж зарезал в переходе, из-за квартиры», — говорит ее мать, а девочка жмет к ее ногам. В руке у нее надкусанное яблоко. «Это внучка Люды», — говорит мать. «Дочка?» — переспрашиваешь ты. «Внучка», — повторяет мать. Это не сразу укладывается в голове — внучка семнадцатилетней тонкой девочки в короткой юбке, от которой когда-то давно пахло фиалками и снегом. Почему ты тогда не взял эту девочку из-под ног прабабки на руки, непонятно, ведь то, что не совпадает ни с тобой, ни с фонарем, ни с кошкой, надо же как-то утвердить, запечатлеть, почувствовать ее вес на своих руках — наверное, она бы не испугалась, а ты успел бы вдохнуть в нее жизнь своим дыханием. Потому что дыхание одного утверждает другого. Надо было взять ее на руки. Ты бы ей сказал: «У меня в детстве была черепаха». Вообще, можно было бы попытаться ее удочерить, хотя бы в воображении. Или рассказать ей про снег, ковер и чайку. Хотя зачем? Все равно тут одно с другим никогда не сойдется. Но подышать на нее ты все же смог бы, нужно было это сделать. Это нужно было вам обоим, и мне хочется повернуть назад, вернуться, но вместо этого я иду на край причала и ложусь на доски, подняв голову над морем внизу. Я думал, что меня вырвет, но меня не вырвало. Потом я думал, что у меня изо рта посыплются какие-нибудь раковины, но они тоже не посыпались.

Но что-то же есть? Конечно. Есть склон горы, где были натянуты бельевые веревки, и на них вместо прищепок сидели стрекозы со сложенными крыльями, а ты их ловил. И одна вцепилась тебе в палец так, что ты заорал от боли и страха. Я бы засунул это себе в живот и зашил как забытый инструмент, иначе это тоже куда-нибудь пропадет, не чтобы пропасть, конечно, а вообще пропадет, чтобы, может быть, так и пропасть не по закону подлости, а вообще пропасть.

Красные рыбки

Она нашла его по обратному адресу на почтовом конверте и приехала из другого города, ни о чем не предупредив.

Целый час она просидела у дороги напротив их дачи, дожидаясь, пока уедут его жена и дети, а потом позвонила в звонок, надавив на кнопку, вделанную в крашенный зеленый забор, ржавую и похожую на приплюснутую пешку. Там, в своем городе, она смотрела на обратный адрес до тех пор, пока от ее глаз почерк не стал серебряным, а потом почувствовала толчок под коленки, словно сзади прислонили низкую скамейку. В Москве она перешла с Ленинградского вокзала на Ярославский и села в электричку. Там она несколько раз доставала письмо из сумки и перечитывала адрес, который теперь стал слюдяным, и когда она подносила конверт к близоруким глазам в толстенных линзах, прозрачность перекидывалась на ее руки и на правой доходила почти до локтя, и от этого косточке, из которой иногда «бьет электричество», было больно и знобко. Она разыскала его на даче, нашла.

Вечером они слушали музыку, он ставил виниловые диски на старенькую «Ригонду» и чувствовал себя неловко. Он даже не знал, был он рад, что она приехала, или нет. Когда ее не было рядом, в воображении он видел ее как фрейлину в кринолине, завитом парике и с крошечной родинкой на щеке. Что-то такое из «Фигаро» или «Фанфана-Тюльпана». Он был уверен в себе, что чист, и знал, что уложит ее спать в другой комнате, будет с ней любезен, как это и следует, когда твоя гостья моложе тебя на двадцать лет, а потом они поедут в Москву и он отправит ее домой.

На следующую ночь она пришла к нему, сказав, что холодно, и он смотрел на себя со стороны, как откидывал зеленое шерстяное одеяло в пододеяльнике, а она скользнула внутрь, прижавшись голой ногой, а он сопротивлялся до последнего момента, потому что думал о Боге, в которого верил, и все время скользил, как в детстве по ледяной горке, пытаясь ухватиться за промерзшие деревяшки, бегущие под пальцами по бокам санок, но нащупывал вместо них ее молодую грудь, и санки вынеслись на простор, и он влетел в нее, словно в ландшафт, со всего размаха. Но даже в этот момент он все еще пытался направить время назад, понимая, что это невозможно, и вот тут-то время споткнулось и остановилось. Он очень хорошо видел, как оно стоит, и это было похоже на аквариум, в котором можно было плавать туда и сюда, а время-вода

все равно никуда не шло — лежало себе на поверхности всей своей влагой, и все, и только немножко вибрировало. Потом она закричала так, что он зажал ей рот рукой, опасаясь, что услышат соседи и наядбедничают матери или жене.

Утром он достал две бутылки шампанского из холодильника, и они устроились на крошечном в резных завитушках балкончике, откуда был виден светлый угол вытоптанной волейбольной площадки за кустами бузины, а чуть подальше — лес с черно-рыжими ветками елей над поселковой помойкой. Светило солнце, и дерево балкона было мокрым. Они пили из чашек, и у одной была отбита ручка, а шампанское отдавало дрожжами.



Когда он впервые приехал в Москву, ему было лет шесть, и он тогда сразу с поезда попал в мастерскую отчима, огромную, со стеклянным потолком и картиной, висящей у входа на антресоли, на которой был изображен аквариум и три или четыре красные рыбки, частично удвоенные (одна со сломом) отражающей (сдвинув) поверхностью воды. Это была копия с картины Матисса, и он тогда понял, что всегда знал этих рыбок и любил их. Он стал спрашивать у матери,

что это за рыбки, и, кажется, отчим тогда услышал вопрос и обиделся на всю оставшуюся жизнь, потому что интересовался он не им, знаменитым лауреатом, а рыбками, изображенными совсем другим художником.

На самом деле все, что мы воспринимаем, не является твердыми предметами. На свете нет ни одного твердого предмета, и об этом хорошо знают иероглифы, которые похожи на красную резину потому что сошли с мягкой и упругой кисти, которая все время пружинила, пока они проступали на бумаге.

Вот так и все остальное. Оно пружинит и перетекает друг в дружку — колодец, самолет, резиновые тапочки на бордюре бассейна. По большому счету этих предметов нет. И нет также руки или ноги отдельно, нет языка или щеки. Ты понимаешь меня? И телефонная трубка сказала: конечно. Ты откуда, из ресторана? Нет, я сам по себе. Ничего этого нет. Нет галки отдельно и нет забора под ней отдельно. Нет отдельно мужчины и нет женщины. Но мы почему-то видим все отдельно: деньги, песок, любовь. Мы их видим как твердые предметы. Даже любовь — это твердый предмет, ну может, слегка подтаявший, и от этого лужа, и она пахнет сам знаешь чем. Или вот еще Моцарт. Он тоже подтаявший, потому что его не удается заморозить. Ты что же, решил, что мы с тобой все вокруг заморозили? Вот-вот, ты меня правильно поняла. Мы тут все заморозили, короли и королевы снежные.

— Знаешь, — сказал он, — пойдем вниз.

И когда они сошли, сказал: давай танцевать. И они стали танцевать среди грядок с черной смородиной и увядшей клубникой. Он поднимал руки над головой и бил правой ногой в землю, потом поворачивался вокруг оси, нелено и старательно, и снова бил в землю, но уже другой ногой. Он помнил молочно-теплую внутреннюю сторону ее бедер, но гнал воспоминание прочь.

— Что вы делаете? — смеялась она.

— Что это за танец? Скажи на английском, — попросил он.

— What? — спросила она. — What? — она все время смеялась.

Он снова ударил ногой о землю и медленно, образуя внешний круг правой ногой, стал поворачиваться в противоположную сторону.

— Это вторая, — сказал он.

Она пыталась попасть в его неуклюжий ритм, и у нее получилось. Ее щеки разругнулись, рот был water shine.

Он еще раз повернулся, споткнулся о бурый кирпич, торчащий из дорожки, и чуть не упал, но выпрямился.

— Третья, — сказал он.

— Что? — спросила она.

— Мы с тобой станцевали танец трех красных рыбок, сказал он ей. Их, вообще-то, не существует, добавил он, закуривая смятую сигарету. Но они должны же располагаться. Ну как-то организовываться — одна вторая, третья. Понимаешь, если они не будут располагаться и организовывать, тогда вообще не понятно, что и зачем. Он немного задыхался. Он видел, как они поплыли. Они пришли из-за березы, и теперь плавали между ним и ней, и когда она открыла рот, он сказал, закрой, а то галка влетит. На самом деле он испугался, что в рот заплывет рыбка. Достаточно в нее заплывать на сегодня. Достаточно одной теплой жидкости на них двоих. Она, наверное, до сих пор внутри нее.

Вечером он затопил печку и смотрел, как кисть руки в свете огня медленно превращалась в рыбу.

Порнография

Когда он ходил по сайтам, обнаженные женские тела горели с экрана как лампы. Он делал это, потому что время переставало существовать. Еще потому, что вместе с ним уходили мысли, которые, как дикие осы вокруг дупла, вились вокруг его головы, пролетали ее насквозь, застревали пучками в волосах и там умирали. Комиксы медленно опускали оранжевую створку, и он видел, как дева в платье по колено, так похожая на давних подруг его матери, утрачивала часть гардероба и темный бюстгальтер на тонких бретельках больше демонстрировал, чем скрывал ее грудь. С нетерпением дождавшись, пока оранжевый занавес на следующей картинке уйдет, он вместе с близким мужчиной, одетым в свитер и серые брюки, приближался к запретному и тайному, чтобы прикоснуться к нему, припасть, поглотить, за-теряться. Вот тут-то, на этом самом переломе, и возникало

то ощущение, которое он никак не мог определить. Что это было, он не знал, — энергия? сексуальное вещество? похоть, которая еще не успела стать просто похотью, и поэтому пророчила открыть самые главные тайны мира? Но вещество это существовало меньше чем несколько секунд, потому что на следующей картинке один из мужчин, нажимая на женский затылок, заставлял ее проглотить его напряженный фаллос, а второй в это время вводил свой амулет между ослепительно-мраморными ягодицами фотонатурщицы. Событие происходило чаще всего в интерьере условного дома с неизменным диваном, а иногда и просто на кухне среди подлого набора стандартной мебели. Следующие картинки неотвратно приводили его к взрыву, после которого изображение выцветало на глазах, и он видел перед собой неприятных, пожилых и не очень-то хорошо сложенных бедолаг, которые за какие-то, видимо, не очень большие выгоды позируют перед камерой с вздрюченными членами вместе с несчастной девкой, у которой, как он успел заметить еще раньше на одном из ракурсов, вся левая рука была истыкана шприцем до синевы.

Он думал, что если бы ему удалось выделить это вещество, то он стал бы самым большим властителем в мире мужчин и женщин. Но не это было главным. Главным в этом веществе была его маящая тайна, способная что-то сделать с невыносимым миром вокруг него. Он почти чувствовал его невесомую, шуршащую вязкость — что-то среднее между цветочной пылью, питьевыми дрожжами и чулками с лорексом. Потом он подумал, что это не фантазия. Раз он чувствует это вещество, значит, так оно и есть — просто оно выделяется не между ним и изображением, а внутри него самого. И если однажды туда проникнуть, то, возможно, несколько крушиц можно будет вынести и наружу.

Иногда он попадал на сайты, обозначенные как sado-mazo, но долго там не задерживался. Сайт incest его загнипотизировал. Любовь матери всегда казалась ему неполной, незавершенной и ускользающей, лишь намекающей на окончательную небывалую радость, и теперь (под воздействием безымянного вещества) он мог ясно наблюдать, как она завершалась в полной материнской самоотдаче, которую она предлагала своему ребенку, вздымаясь до самых

звезд и уходя темными толчками к центру земли. Ему хотелось кричать от ужаса и восторга перед несомненным блаженством найденного. Он замороженно наблюдал (на пике медикаментозной интервенции чудо-снадобья), как дочери ласкали своих отцов, а те гладили нежные, еще неопределенные и как бы припухшие их груди, похожие на снежные холмики, воспетые некогда Бернсом, для того чтобы в конце концов выплеснуть в девичьи недра, внутрь того, что от них же и произошло на свет, свою мужскую порождающую энергию, повторяя и чудовищно утверждая в дочери то, что уже однажды было сделано, казалось бы раз и навсегда, чтобы девичья жизнь эта возникла на свете.



Сайты zoo или female его не очень интересовали. Лесбийские тела казались обладателями большей тайны, чем все остальные. Тайна же эта была сокрыта в неведомом веществе, а вещество и было этой тайной. Однажды он его получил. Оно было похоже на маленького человечка, и от него пахло «Дольче-Габбаной» и только что выстиранной рубашкой.

Потом неделю он болел и страдал, зная, что сделал что-то грязное, недопустимое, тяжелое. Женщины на улицах, не ведая того, повторяли позы, принятые ими на экране, девочки в метро и на улицах мучили его и жгли одним своим присутствием, и ему иногда хотелось совратить хоть одну из них. Но он этого не сделал.

Как-то ему подарили велосипед, и ночью он вытащил его из дачи и поехал кататься. На узком шоссе-бетонке,

делающем поворот перед церковью рядом с мостиком, откуда, слепя фарами, вывернул огромный грузовик-дальнобойщик, он попытался уйти вбок, но не успел. Грузовик промчался мимо, и снова все стало тихо и ясно. Он лежал на обочине, отброшенный туда толчком, и смотрел, как крутится, поблескивая спицами под светом фонаря, велосипедное колесо. На колесо села жар-птица, прямо в самый его центр, на неподвижную втулку, и сказала ему: мой дорогой мальчик, ты ни в чем не виноват. Знаешь, ты, вообще-то, никогда и не был ни в чем виноват, и все остальные люди тоже никогда и ни в чем не были виноваты. Вы глупы. Вы на самом деле, хотя и не знаете этого, никогда не рождались и никогда не умирали, не грешили и не убивали, вы на самом деле просто любили друг друга, но по-другому не умели этого выразить. Вам бы жить попроще. Смотри, что я тебе принесла. Это может собрать все, что разлетелось на части, обратно. И она протянула ему в ржавом клюве целый наперсток чудо-вещества, воскрешающего из мертвых и возвращающего сердца детей матерям и сердца отцов детям. И он мог бы намазать им свои волосы, в которых жужжали дикие древесные осы, и встать с земли и снова сесть на свой велосипед. Жар-птица была похожа на феникса, потому что



ее окружал бледный огонь, и на Любу — смуглую сестру его друга Юрки, который в детстве жил с семьей в бараке на-

против, а она, разговаривая с ним, сидела на подоконнике, свесив загорелую босую ногу, и он понял, что раз так, то это — путешествие. Колесо крутилось и втулка была неподвижна.

Он еще успел отправить письмо в Хабаровск, но, может быть, оно не дошло:

Как бы мне хотелось сложить в световой снежок наши пруды с плавающими по серебрино-темной ряби утками, горящий костер, когда холодно, и можно постоять рядом и согреться, и только огонь и ты — оба живые, и еще мостки через протоку, черную и словно в пыли, с выросшими летом камышами, и как они постепенно чернеют и съеживаются к зиме, и как чайка летит, хрупкая как алебастр, белая, над самой поверхностью воды, а влага с отраженным облаком рябит перед ней от рассыпающихся в страхе мальков, и кажется, она хочет слиться со своим отражением, и между ним и ей словно натянуты невидимые резинки, такие, как у китайских мячиков, и она то растягивает их с риском для хрупкого своего фарфора, отдаляясь от своего двойника, взмывая ненадолго вверх, к небу, то сокращает, притянутая отражением... — как бы мне хотелось закатыть все это в снежок света и кинуть Вам прямо в ладонь...

Лука

С каждой встречей тебя на одного больше. Непонятно, как это происходит. Остается констатировать факт, признать положение вещей, принять, так сказать, статус-кво.

Лука стоял на крыльце и смотрел на гору, которая росла к небу на той стороне ущелья. Наверху позванивали от ветра буддийские колокольчики, и казалось, дом вот-вот поплывет. Перед ним на перилах крыльца дымилась чашка с кофе. Его принесла хозяйка, зная, как мучительно Лука просыпается каждое утро. По вечерам он много читает. Она его понимала, потому что была колдуньей, или, как говорила она сама непосвященным, народной целительницей. Брат ее пил и приходил по вечерам к ней за деньгами, и она ему их давала. Поселок невелик, и все они тут друг друга знают,

не знают только его, не знают, зачем он здесь и почему не уезжает.

Сейчас он выпьет эту горькую горячую жидкость, выкурит сигарету, а потом пойдет по тропинке в горы. В магазине с прилавком на дорогу он купит «Боржоми» и триста граммов козьего сыра. Сначала его будет немного пошатывать, но потом ноги окрепнут от воздуха и движения, и через час он доберется до второй турбазы. Там он присядет в траву, прислонясь спиной к стене альпийского домика, и выкурит еще одну сигарету. А потом он встанет и пойдет дальше. Он бы и не ходил сюда, но, когда каждый день в ухо шепчет один и тот же ветер одно и то же слово, понимаешь, что в кои-то веки добрался до чего-то стоящего, и даже если для этого придется прыгнуть с горы вниз головой, он прыгнет. И даже то, что его существование разделяется, размножается на несколько человек после каждой встречи, его не остановит. Ведь, если надо, и все остальные тоже прыгнут с горы вместе с ним.

Когда в детстве он поймал темно-фиолетового мотылька, он долго разглядывал на ладони помятое насекомое и с каждой минутой чувствовал, как меняется. Темный цвет, похожий на изнанку глаз матери, делал его все более счастливым и косматым, а через полчаса у него выросли хрустальные рожки. Они пропали так же быстро, как и появились, но он хорошо запомнил жжение в темени и приятных холодов двух хрустальных пирамидок. Этот цвет что-то скрывал. Есть такие вещи, которые существуют не сами по себе, а лишь для того, чтобы что-то скрыть. Иногда, в лучшие минуты, ему казалось, что весь мир существует только по той же самой причине, но потом это ощущение утрачивалось, и он стыдился говорить об этом.

В этот раз было не так, как вчера. Сначала он вышел на счастливую полянку, и депрессия сразу же ушла. Прошла голова, и утихло сердце. Глаза очистились и прояснили. Он услышал, как течет река и поют птицы. Пятна света на траве были горячие и яркие. Потом прилетела бабочка и, как у Овидия, стала расти. Медленно развернулись ее темно-синие крылья и стали воздушными, как будто две простыни воздуха внезапно потемнели и уплотнились, но плотными так и не стали. Потом они свернулись в синий плащ, обви-

тый словно бы вокруг женской фигуры. То, что фигура была женской, было видно сразу, и он никогда, даже в самый первый раз, не пугался. Потом полы плаща приоткрылись, и он увидел лицо под кашононом. Первый раз он думал, что губы сильно накрашены, но потом понял, что она никогда не красит губ, потому что просто не может этого сделать. Она вообще очень многого не могла. Например, она не могла стать такой же плотной, как он, хотя он этого почти никогда не замечал, а если замечал, то лишь радовался этой ее неосязаемости и шептал своими толстыми губами слова благодарности Богу или судьбе. Также она не могла пойти вместе с ним вниз, хотя он несколько раз предлагал ей это. Она не могла стать окончательной явью, все время соскальзывая то в сновидение, то в затмение, но тому виной был он, потому что это он соскальзывал то в сон, то в затмение, а когда ему казалось, что он все видит ясно, она исчезала. Потому что наша ясность для нее слепота, — это Лука не то чтобы понял, а почувствовал своей милицейской печенкой. Иногда он подозревал, что тоже не мог стать для нее полноценной реальностью, и время от времени выпадал из ее зрения, но не видел ее в этом. Он понимал, что дело опять в его способе видеть и слышать. Ему даже казалось, что когда она перестанет растворяться в боковых коридорах его зрения и будет видна все время отчетливо, он сможет увести ее вниз или подняться с ней туда, где она живет все остальное время.

— Дорогая моя, — сказал Лука и поразился, как красиво прозвучали эти глупые слова, которые он раньше старался не произносить.

Глупые люди сказали бы, что он имеет с ней секс, но они ничего не понимают. Потому что то, что их делает одним и тем же, это совсем не секс. Это скорее напоминает ветер, или корабль с парусом, или как если ты бежишь по роце и встречаешь чурку-чеченца, а тот, сука, выхватывает из-за спины топор и бьет тебя прямо в лоб, и ты слышишь, как хрустит твой лоб, и готовишься умирать, но вместо этого видишь, как красота охватывает мир со всех сторон, как пламя — подожженный с четырех сторон барак. Он никогда не думал, что слово «красота» что-то значит. Иногда он сам говорил про шашлык или пляж: красота, но он был тогда не таким, как сейчас.

Еще она не хочет избавляться от крыльев, но это ему совсем не мешает. Еще она не может быть несчастной, даже когда грустит. И если он проникает в нее во время любви, то



он видит все сразу — как, например, в детстве он поймал жука-носорога и тот с неожиданной силой стал разжимать его кулак, карябая пальцы своими ветвистыми ногами; и в то же самое время он видит, как идет снег над Парижем, в котором он никогда не был, но он точно знает, что это Париж; он также видит, как его отец появляется на свет, а вокруг хлопочут какие-то тетки и акушерка; видит, как от силы звезды глубоко под землей завязывается камень-алмаз и трескает-





ся, когда звезда гибнет; как тонет какой-то корабль с надписью по-английски в ледяных водах океана, а пассажиры пытаются забраться в шлюпки; видит хлопок воздуха одной ладонью; сны розы; видит губы воды; завещание фараона из слов, превратившихся в сосульку; реку Дунай, вытекшую из-под разможенного затылка; давно истлевшую руку рыцаря-храмовника, входящую в металлическую перчатку; свадьбу эльфов; расстрел гадов-власовцев, хотя и понимает, что они больше никакие ему не гады, а они и есть он сам, и всегда так было, а все, что он видел раньше, был обман; и еще след змеи в песке; и как сделаны снежинки; и слышит голос соседки и своей бабки рядом с сараем, в котором он, тогда мальчишка, прятался с голой девчонкой из Москвы; и как его уволяли с работы, но он остался.

— Лапочка, моя, — шепчет Лука, — деточка, козленочек, матрешечка...

А то, что нас становится все больше, я понимаю почему — потому что это наши дети. И каждый рождается уже прямо с тобой в руках, чтобы не надо было ему проживать всю эту тягостную и бестолковую жизнь в поисках тебя.

Царица фей.

Перевод на современный русский

Они принимают нас за бабочек или фей. Они не могут понять, почему не в состоянии разглядеть нас как следует, и не видят наших лиц, глаз или рук, а тем более не имеют возможности охватывать взглядом все наше «туловище» вместе с крыльшками целиком. Некоторым из них кажется, что им удалось разглядеть наши губы, которые большинству кажутся сильно накрашенными, хотя это не так, но что еще могут подумать существа, представление о красоте для которых всегда было и будет связано с услугами той или иной парфюмерной или модельной фирмы. И если речь идет о женской красоте — а они считают, что именно с этим типом красоты они сталкиваются, встречаясь с нами, — то для того, чтобы как-то зафиксировать ее признаки в своем сознании, они обращаются к таким несомненным для них мнематическим приемам, как проговаривание названий и брендов вро-

де Hermes, parfum spray Calehe, Jacomo de Jacomo или Issey Miyake, если речь идет о состоятельных женщинах, а вернее, если их идентификация нас требует участия на заднем плане некоего образа состоятельной женщины, или (если сзади стоит более демократичный женский персонаж — продавщица или трудяга-модель второго плана) прибегают к опознавательным признакам типа Le Jardane, Body Lotion Parfume от Max Factor или Roshas, Globe deodorant.

Странно, что они так и не задают себе единственно стоящего и принципиально важного вопроса — почему они не могут нас видеть целиком. Ведь никто из них не мог похвастаться, что видел хотя бы кого-то из нас, как видит он, например, жену или любовницу — целиком, при свечах, от мизинца ноги, потом следуя по изгибу икры через поцелуй бедра, там, где кончаются чулки и выше, — к золотому мху лобка и так далее, вплоть до лицезрения темени — если уж мы договорились вести о нас речь в женском роде, хотя это



и не обязательно. Мы не знаем, почему они так поступают. Вероятно, то чувство, которое они испытывают, когда прикасаются к нам, настолько для них радостно и важно, что все остальное блекнет перед настойчивым желанием вновь и вновь его испытывать. Поэтому они предпочитают думать, что столкнулись с каким-то природным полусказочным духом или явлением, например феей-златовлаской или царицей бабочек. Одна из нас (я) во время путешествия в обрат-

ном времени из Китая в Краков 1999 года села передохнуть на подороге и тотчас обнаружила, что сидит на велосипедной втулке упавшего велосипеда, а спицы вокруг нее крутятся с бешеной быстротой. Велосипедист, лежащий тут же, рядом, воспринял ее присутствие в образе жар-птицы, и она это видела отчетливо, потому что отчетливее всего мы видим боль и страсть человеческих существ, а потом — следуя по нисходящей линии — их фантазии, воображаемые образы, музыку и стихи. И уже в самом конце такие чувства, как зависть, похоть, ненависть, ревность, — их мы почти совсем не различаем. Ну и еще мы лишены хоть какой-то возможности постигнуть то, что они называют материей. Причем, если живую материю мы видим отчетливо — облака, деревья, птицы и животные являются нам во всем их ангельском сиянии, — то материю искаженную, сформированную человеком или умирающую благодаря человеческим мыслям, формирующим ее, мы не видим совсем. Нам так и не удалось, к примеру, увидеть то, что они называют «тело», «альфа-ромео», «лексус», «вертолет», «марфуша» или «ка-



лаш». Впрочем, тут нужно сделать существенную оговорку. Если, прикасаясь к тому, что они называют «тело» или даже «чулки», «белье», «плечо» или «волосы», они начинают испытывать то, что на их языке звучит как fuck, «траханье», «интерес», «секс», а на нашем примерно как love или amog, так вот, если это чувство излучается достаточно интенсивно, то мы можем различить в его свете, а вернее, в его отражении,

в его покрове, все эти перечисленные предметы. Поэтому я и могу говорить о том месте ноги, где кончается чулок, или о темном темени с кудрявыми волосами, его окружившими, и серебряной заколке в них. Там, где этого чувства нет, мы



не видим ни тел, которыми они сводят друг друга с ума, особенно в молодости, ни денег, ни автомобилей. Словом, всего того, что для большинства из них по важности имеет перво-степенное значение.

То есть мы можем до какой-то степени реконструировать мир, в котором они живут, и мир этот для нас непригляден. С учетом изъянов нашего восприятия по отношению к нему мир это выглядит как неоднородное вещество со множеством пробелов, изъянов, пещер, провалов, усечений, культур, скважин, дыр, тоннелей и т. д. Больше всего он похож на огромную голову сыра, над которой изрядно поработали мыши.

Все вышесказанное приняло ту форму, в которой ее может воспринять человек, благодаря усилиям и мастерству нашего переводчика — существа, которое можно назвать одновременно и нами и ими, а вернее, принадлежащим и к нашему, и к их роду. Оно родилось от смешанного брака между нашей Царицей-Бабочкой и особью их породы. Такое случается крайне редко, но тем не менее иногда происходит. Мы не придаем этому большого значения — не радуемся и не печалимся. Мы встречаем такие существа тихой улыбкой.

Задача же переводчика заключалась в том, чтобы перевести этот фрагмент с языка нашего, больше похожего на бесшумную музыку, на их язык, который они, впрочем, используют в его самой плотной, варварской и увечной форме, причиной каковой сами же и послужили. Словом, они имеют дело с карикатурными и изувеченными остатками того наречия, которым пользовались их дальние предки.

Как я уже сказала, после посещения Китая я направилась в Краков, причем двигаясь в обратном от их вектора направлении времени, потому что меня заинтересовал этот человек, лежащий на обочине, и мне захотелось узнать о нем побольше. Мне это удалось. Сознаюсь, меня взволновало одно его неотправленное письмо, потому что в том месте, которое он в нем описывал, в конце их прошлого века я (совпадений между нашими и вашим мирами значительно больше, чем вы можете себе представить) была невольной свидетельницей и участницей самого возвышенного и в то же время самого карикатурного и смертельно-смешного романа на свете. Речь тут идет об одном русском профессоре по имени Соловьев, гении и бродяге, и его чувствах к некоей особе, которая в летние месяцы жила с семьей как раз в тех дачных местах, где велосипедист, лежащий на обочине, некогда наблюдал алебастровых чаек над водой.... Это недалеко от Москвы, в девяти километрах от станции Сходня, и поместье возлюбленной философа называлось тогда Иевлево-Знаменское, а ныне в том, что от него осталось, базируется часть ОМОНа. Что это такое, я не знаю. (Про километры я поняла, потому что любящие обожают, когда их — километров, миль, метров и сантиметров-миллиметров — становится между ними все меньше и меньше, про поместье тоже, ибо в поместьях происходило множество дивных любовных историй, а про ОМОН нет. Вероятно, его никто никогда не любил. Так что слово это на совести нашего переводчика.)

Один из людей — поэт, кажется германский, — сказал, что мы не проводим различия между живыми и мертвыми, и в определенной степени это так. Потому что мы и тех и других видим одинаково, что и соответствует реальной, а не фантастической действительности. Мы их видим ясно и отчетливо. Но вот, например, «Дукатти» последней модели лично мне разглядеть так и не удалось...

Кузнечик счастья

Я сижу с тобой на площади Сан-Марко в том самом уличном кафе «Флориан» в стиле рококо, где один русский поэт купил бутылку после закрытия, и об этом написано в путеводителе, но мало ли где русские поэты покупали бутылки после закрытия. Я покупал их у стрелочницы в поселке Зеленоградская, в первом почном магазине в Москве, куда пришел с вокзала в носках (это в ноябре-то), на троллейбусной остановке рядом с парком Павлика Морозова, где существовал тайный уличный рынок в эпоху борьбы за трезвость, в бетонированном гараже, похожем на подземный аэродром, под высоткой на площади Восстания, в аule за перевалом с жуткого похмелья, в ресторане навьнос, в буфете катера при пересечении абхазской границы, а также там, где никому никогда и ничего еще купить не удавалось. Я покупал их в горах, низинах, на улицах, в ночных ресторанах, с рук, в самолетах, у железнодорожных проводников и теток за зарешеченными прилавками тогда, когда занавес упал так, что его уже никто не в силах был поднять, даже и не пытался. Но мы делали это вместе с кузнечиком счастья и серафимом удачи-во-что-бы-то-ни-стало. И делали это, когда всё уже в силу истекшего времени настолько закрылось, что никакой «Флориан» открыть то, что закрылось, не смог бы, даже если б и сильно захотел.

Перед нами круглый мраморный столик с вазочкой, полной растаявшего мороженого, две чашки капучино и бокал просекко. Солнце падает на мраморную столешницу и твои плечи. Твои глаза — жидко-синие — на загорелом лице смотрят то на голубей, то в сторону лагуны, то на меня, и тогда наши взгляды встречаются и мне делается не по себе от радости. Легкий запах духов, кажется *Insolanse*. Блондинкам они к лицу, почти всем. Впрочем, в том случае, если у блондинки северная душа, а они нацелены на юг, возникает призыв жженого масла и паганиниевской канифоли. Неважно, что я говорил тебе только что — про кузнечика счастья или марионетку Клейста, — я сползаю. Я сползаю со стула от твоего жидко-синего взгляда, похожего на аквамарин на темной витрине в луче солнца, я хочу остановить это путешествие своего тела, но оно умнее меня и перестало мне повиноваться,

я сползаю. Я сажусь на камень пьядцы и обнимаю твои ноги в коротких, до середины голени, белых брюках. Я улыбаюсь до ушей. Я утыкаюсь лбом тебе в колени и понимаю, что мне ничего больше не надо. Я всегда ждал чего-то подобного, но всегда боялся, что когда это произойдет, я могу — и скорее всего, все будет именно так — я могу ничего и не почувствовать. Все эти чудесные вещи — Венеция, Сан-Марко, наедине с возлюбленной, голуби (ля палома адьё) — произойдут, а со мной ничего не произойдет, все будет как в музее, когда волшебные вещи живут сами по себе, а ты — сам по себе. И я живу сам по себе в строе все тех же с ума сводящих перепутанных мыслей о ненаписанных страницах, об утраченном времени, о глупом выражении лица туповатого и хитрого таксиста-итальянца, похожего на собаку. И я буду обнимать самые теплые и длинные ноги на свете и при этом чувствовать лишь шершавость ткани и прислушиваться к матерной русской речи, долетающей с той стороны площади. Такой стареющий Гамлет, страдающий одышкой у ног Офелии, и мой мозг отметит, что я снова смотрю на себя со стороны и снова не живу, а сплю и вижу сны.

Но, видимо, я нежданно и чудесным образом проскочил сегодня незримый мост, зеленый от деревьев виадук, и все стало просто. Счастье — это то, что есть, то, что происходит прямо сегодня и прямо вот здесь. И не с кем-нибудь, а именно со мной. Этот тонкий профиль с чуть вздернутым носиком, рука, глядящая мои волосы, запах водорослей — волна света и мурашек, бегущая от теплого камня по ногам, чтобы мягко вылететь из темени радужным фонтаном, над которым витает, раскрыв крылья, мой кузнечик-во-чтобы-то ни-стало, а меня, слава Богу, нет вообще, а есть только эти глаза, два круглых колена и рука на моей голове.

На тебе витые, в ремешках, босоножки, и я смеюсь и шучу по этому поводу. В твоих глазах залив в лодках и гребешках, когда ты, вытянув ноги, разглядываешь их, словно Венеру Милосскую, только что извлеченную с мутного дна и его водорослей на поверхность, а я сижу на камне и тоже разглядываю твою легкомысленную обувь. Потом ты говоришь: я всегда хотела тут быть с тобой. Я вот что скажу тебе, и ты понижаешь голос, ты мой ангел, которого я всегда знала и о котором всегда просила Бога. Ты замолкаешь,

устрашенная чудовищной напыщенностью сказанного, но мне становится еще лучше и веселее от этих слов: ура бархатные театральные ложи! да здравствуют банальные как дождь фразы! ты счастье мое на щедрой царской ладони истопанной и зацелованной солнцем главной венецианской площади... И пусть играет оркестрик, шаркают шаги прохожих, гуляют голуби и тает мороженое. Ты утыкаешься мне лбом в плечо. В твоих волосах золото и свежесть.



Потом ты шепчешь: ответь ему, и я догадываюсь, что ты тоже видишь, как к нам подходит ангел с весами и вектором, переставляет гири на чашках весов и меняет вектор. Он говорит, что время пошло в другом направлении, и к этому стоит прислушаться. Ты говоришь: видишь? — и я закрываю глаза и медленно чувствую, как проясняется темнота, и тогда различаю человека, лежащего на диване. Его глаза закрыты зеленым полотенцем, в ушах желтые заглушки, купленные в аптеке, и он равномерно дышит. Я стараюсь догадаться, кто это, и понимаю, что это я сам — четыре года тому назад, стремящийся создать свое будущее при помощи молитвы, мыслей и любви. Я лежу там совсем один и создаю картинку, где мы с тобой (а тогда я еще не знал, как тебя зовут, перепробовал много имен — Анна? Лариса? Электра? Аннабел Ли? — но ни одно из них не ложилось, не подходило) сидим за столиком на Сан-Марко, и вот я лежу сейчас на диване и вижу, что ты, моя единственная красавица, склоняешься ко мне, слегка постаревшему, но совершенно счастливому, подтянутому и загорелому, сидящему на камне площади у твоих ног, и шепчешь: помоги ему. Помоги ему понять, что у него все вышло, что мы уже вместе в будущем, что все произошло, потому что он не в силах в это поверить до конца. Он думает, что снова у него ничего не получит-

ся, что все кончится как всегда ничем, что он слишком стар, одинок, почти нищ и никому не нужен, кроме двух-трех друзей. Скажи ему! Да. Скажи ему. Так, чтобы он услышал и поверил. И я говорю: не волнуйся. У тебя все выйдет. Уже вышло. Скажи о себе Я, Я. Почувствуй это, почувствуй, что ты — это я. И так — Я... И ты говоришь — Я... И ты говоришь: я сижу...



Я сижу с тобой на той самой площади Сан-Марко и в том самом уличном кафе «Флориан» в стиле рококо. Один русский поэт покупал тут бутылку после закрытия, и об этом написано в путеводителе, но мало ли где русские поэты покупали бутылки после того, как занавес упал. Я покупал их у железнодорожной стрелочницы в поселке Зеленоградская, в первом ночном магазине в Москве, куда пришел в носках (это в ноябре-то), на троллейбусной остановке рядом с парком Павлика Морозова, где существовал тайный уличный рынок в эпоху борьбы за трезвость, в автопарке под высоткой на площади Восстания. Я покупал их в горах, низинах, на улицах и в ночных ресторанах. Мы делали это вместе с кузнечиком счастья и серафимом удачи-во-что-бы-то-ни-стало...

Я сижу с тобой на площади Сан-Марко... Перед нами круглый мраморный столик с вазочкой полной растаявшего мороженого, две чашки капучино и бокал просекко. Солнце падает на мраморную столешницу и твои плечи. Твои глаза — жидко-синие — на загорелом лице смотрят то на голубей, то в сторону лагуны, то на меня, и когда наши взгляды встречаются, мне делается не по себе от радости. Легкий запах духов, кажется *Insolance*. Блондинкам они к лицу, почти всем. Только в том случае, если у блондинки северная душа, а они нацелены на юг, возникает призыв жженого масла

и паганиниевской канифоли. Неважно, что я говорил тебе только что — про кузнечика счастья или марионетку Клейста, — я сползаю. Я сползаю со стула от твоего жидко-синего взгляда, похожего на аквамарин на темной витрине в луче солнца, я хочу остановить это путешествие своего тела, но оно умнее меня и перестало мне повиноваться, я сползаю.

Цецилия и госпожа Мартынова

Они приехали в Краков, и на второй день Шарманщик поссорился с Надей. Сначала они жили в женском монастыре, насельницы которого посвятили себя неблагополучным семьям — пьяницам всяким, наркоманам, блядунам, и настоятельница подарила им по пластмассовым четкам — ему и Наде, а потом пошел снег, и они гуляли по парку. Из парка выросла башня, огромная, темная, массивная такая, кирпичная — дальше начинался старый город с развешанными поперек улиц рождественскими гирляндами. В тот день они и поссорились, Шарманщик не любил, чтобы им командовали, а Надя не могла, да и не считала нужным избрать иной стиль жизни. «Что я тут делаю?», — спросил себя Шарманщик, идя назад в город. Он часто задавал себе этот вопрос последнее время, все равно где. «Зачем я тут?» — спрашивал он дом, снег и костел возле рыночной площади. Потом он пошел в музей и долго стоял перед Цецилией Галерани, которую Леонардо изобразил в ее семнадцать лет с горностаем в руках. Может, и спросил он у дивной этой девушки с золотой звездой в сердце и пластмассовым котом в ногах, зачем он сюда пришел, а может, не стал спрашивать, а так постоял. Потом он выбрался на светлую улицу и долго размышлял, кто бы это мог переписать Цецилии руки и зачем он это сделал. Леонардо он любил и боялся и считал, что тому не повезло, раз его можно бояться. А в Цецилию он влюбился и понял это лишь через час, когда ходил по Кракову с ангелами в подвенечных платьях, белеющих из стеклянных витрин, как будто бы и они — снег. Небо было похоже на стадо тюленей, и из него шли перемежающиеся перламутровые лучи. Теперь он знал, что ему только казалось, что он любил

Надо, да и раньше-то он в этом сомневался, а на самом деле он любил Цецилию Галерани. Он знал, что может вызвать ее из темного зала на втором этаже, где она сколько уж лет висит с переписанными своими руками и ничего не может сделать. Он мог бы сказать ей про снег, урны и краковских пляшущих бумажных человечков. Она была бы похожа на плотву, шевелящую слодяным хвостом над тротуаром, а он говорил бы ей тихо слова, от которых она так и не сумела бы стать рыбой, а осталась бы живой девушкой. И руки у нее



постепенно, пока они шли по улочкам и площадям, становились уже не подмалеванными, а прежними, как было тогда, когда она взяла на них горностаю.

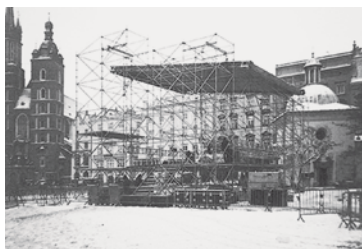
Уже потом, намного позже, он узнал, что Надя заказала в ту рождественскую ночь номер в какой-то шикарной гостинице, выложив немало золотых, чтобы они могли лечь вместе, а не как в монастыре, по разным кельям, а сейчас он ничего не знал и стоял на Рыночной площади, в молочном тумане, прорезанном мутными прожекторами, куда к полуночи высыпала куча народа встречать Рождество. Продавали горячий глинтвейн прямо с лотков. От него шел пар. На севере от ратуши играл один оркестр — для молодых, на юге — второй. На севере звучал рок, на юге — вальсы. Снег сыпал как заведенный, и вся площадь дымилась от тумана. Верхушек костела видно не было, в тумане качались как привидения только первые этажи.

Шарманщик позвонил друзьям в Москву, поздравил их с Рождеством, потом вышел на улицу и, прислонившись к столбу, послушал оркестр для молодых. Потом он пришел в монастырь и попытался помириться с Надей, но та носила

обиду как свинец — за щеками и за пазухой. Он положил рождественский подарок ей на тумбочку, вздохнул и пошел спать.

На следующий день они выступали на небольшом банкете, устроенном в монастыре в их честь. Вернее, в честь их радиоспектакля о Ежи Попелушко, ксендзе профсоюзного движения «Солидарность», убитом местным КГБ в 85-м году по наводке наших дзержинских. Впрочем, Дзержинский был тоже их, а не наш, потому что тоже поляк, но дело не в этом. После выступления к нему подошла незнакомая монашенка и сказала, что ей надо им, гостям из России, вот это передать. И она сунула в руки Шарманщику старую толстую тетрадь в бледно-розовом твердом переплете. «Что это?» — спросил Шарманщик. Она ответила по-польски, и он ничего не понял. Он взял тетрадь, сделал вид, что понял, а понял, что это подарок, и поблагодарил на русском, хотя слово «спасибо» по-польски тоже знал.

На Наде год назад он хотел жениться, а сегодня не понимал зачем. Утром он снова пошел на площадь с костелом Витоша после почти бессонной ночи. Он вспомнил, сколько было повешено костылей, медных и серебряных сердечек в Краковском костеле с чудотворной Ченстоховской



Божьей Матерью — дары излечившихся. Как он там три дня назад стоял, а потом прополз на коленях вокруг чудотворной иконы по специальному заалтарному желобу, натертому коленями просителей до блеска, — он решил, что это поможет его дочери перестать его ненавидеть на пару с ее матерью. На миг он даже очень сильно поверил в это, а сейчас подумал, что почему бы Божьей Матери и не исполнить его просьбу, но только что-то в последнее время просьбы его никак не исполняются. А сейчас он зашел в костел и испове-

дался пожилому ксендзу, чье лицо неясно и строго маячило за решетками исповедальни. Потом вышел на площадь.

Вернулся в монастырь, взял тетрадку в бледном розовом переплете из кожи и стал читать. Написано было по-русски. Прекрасная желтоватая бумага хранила драгоценные и выцветающие чернильные завитушки, в которые осыпался целый XIX век, как тополь осенью до ветвей, сбросив все лишнее. Писала какая-то София Мартынова — ее имя было аккуратно выведено на первой странице лиловыми чернилами. Сначала он никак не мог уловить смысла, потому что



думал, почему он так сильно хотел жениться на Наде, а теперь не хочет, и еще об ангелах с серебряными крыльями за стеклянными витринами, но потом понял, что это за тетрадка у него в руках. Это были воспоминания госпожи Софьи Михайловны Мартыновой (в девичестве Катениной), перемежающиеся главами из дневника, кажется, ей же и принад-

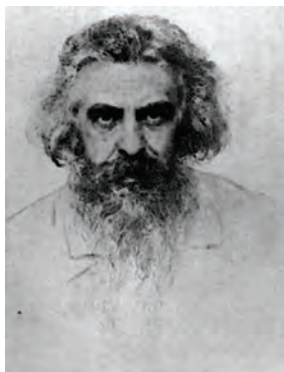
лежащего, ну конечно же, почерк один. Потом возникло имя знаменитого русского философа и поэта Владимира Сергеевича Соловьева, которого Шарманщик особо почитал. Он разволновался, закурил сигарету, тут же загасил, вспомнив, где он, оставил тетрадку на сером в квадрат покрывале койки и снова пошел на площадь. Тротуары и середина улицы были засыпаны тающим снегом, в небе мелькали голубые прорехи.

На площади под домом стояли четверо панов с музыкальными инструментами — гобой, скрипка, флейта и валторна. Паньы были одеты в темные добротные куртки и выглаженные брюки, и вдыхали они в промежутках воздух, а выдыхали пар. На головах у них были мягкие шляпы. Они заиграли вальсе, и тут снова посыпал снег, да какой! — а справа от колокольни костела, в четвертом этаже кирпичного здания, напротив окна, стоял у себя дома какой-то человек в белой рубашке и смотрел оттуда на площадь с панями, Шарманщиком и снегом. Он смотрел на нас с высоты и не шевелился, словно на какое-то время стал памятником в окне, а может, он просто задумался. Такие памятники, как в шпионских фильмах, наверное, ставят на окне для того, чтобы на улице кто-то понял, что в доме настала полная тишина и идти туда не стоит. А снег летел, словно лес, скрипки играли на четырех ногах, ангелы метались в снегу с золотыми звездами как угорелые, я любил Цецилию, а он думал совсем о другом, и вообще неизвестно, видел ли он хоть что-то из того, что здесь происходило, или смотрел куда-то совсем в другие края, например в свои собственные мысли. Впрочем, все это было неважно...

Тетрадь

Шарманщик волновался почему-то, что не сможет понять, что там в тетрадке будет написано, или что там будет написано что-то чужое и неинтересное. Он открыл ее еще раз в самом конце и заметил приписку тем же почерком: «Все, что тебе нужно узнать и прочитать, находится между 47-й и 48-й страницами». Он понял, что приписка адресова-

на ему. Он пролистал назад и увидел, что 47-я и 48-я страница — это две стороны одного листа, и для того, чтобы проникнуть внутрь, ему придется решить какую-то, видимо, нехитрую задачу. Он осмотрел лист, исписанный с двух сторон, и попытался разъединить его так, словно бы он был составлен из двух других, склеившихся между собой, но у него ничего не вышло. Лист был обычный, плотный. Он ничем не отличался от всех остальных, заполненных мелким с легким наклоном влево почерком. Тогда Шарманщик начал изучать то, что было написано на 47-й странице. И вот что там было.



В. С. ужинал у нас вчера и за кофе рассказал довольно-таки забавную историю, писала Софья Мартынова. Сегодня, когда я вспоминаю его рассказ, он уже не кажется мне столь забавным, как показался вначале, когда, похохатывая своим неестественным и ужасно громким, до неприличия, смехом и щурясь на свет свечей, В. С. изображал действие в лицах и делал это столь комическим образом, что гости, приглашенные к ужину не могли удержаться от дружного смеха. В. С. вообще иногда напоминает мне ярмарочного шута горохового или циркового клоуна. Мы в прошлом году видели такого на ярмарке в Нижнем — огромного роста и с намазанными красными щеками. Приклеенной бородой он мел по опилкам, и тетка моя тогда сострила: погляди, Сонечка, вылитый В. С. Мне кажется, что Владимир Сергеевич так и не понял, что потешались не над самим рассказом, а над странной его манерой двигаться и жестикулировать. Может быть, на самом-то

деле никому вовсе и не хотелось смеяться, но стоило только приглядеться к его бледному лицу, совершенно исхудавшему и изможденному, с голубыми «нездешними», как говорили его почитательницы-куреистки, глазами, к его неленым и каким-то ненастоящим жестам — он словно шилл воздух правой рукой, а левой поддерживал что-то невидимое, словно яблоко или стакан с чаем, стоило только прислушаться не к словам, но к его оглушительному и свистящему басу, как ты тотчас оказывался перед выбором — либо тебе следовало тут же забыть от непонятного ужаса все на свете и бежать вон из дома куда глаза глядят, не чуя под собой ног, бежать куда подальше... либо смеяться. А поскольку смеяться во всех отношениях было... «экономичней» и приличней, то все и смеялись. Особенно звонко смеялась Катерина Петровна, она вообще охотница до анекдотов.



В. С. может быть очень милым и оживленным, когда на него находит стих (если, конечно, привыкнуть ко всем его оригинальным странностям), но, к сожалению, это случается довольно-таки редко — чаще он остается погружен в свои одному ему известные мысли и уходит в них иногда столь глубоко, что в ответ на вопрос, заданный ему в упор, лишь смотрит на собеседника своими голубыми глазами, кажется, даже не пытаясь вникнуть в то, что у него спрашивают. Глаза у него чудные — огромные, меняющие фокус, но отражают они не одно и то же. Наверное, и видит он ими не одно и то же. Наверное, один из его глаз отражает то, о чем философ думает, а второй — то, что его окружает на самом деле, ха-ха! Именно поэтому, даже когда он рассказывал историю о девочке, спасенной им, в одном глазе его отражался под-

свечник с горящими свечками (я специально наблюдала), а второй был тих и темен, как вечерний омут или глубокая заводь, и в нем ничего не отражалось. Ни одного огонька, ни одного из наших лиц, я специально вглядывалась.

Тут Шарманщик поморщился и подошел к монастырскому окну потому что уже темнело и читать стало трудно, а свет зажигать не хотелось. Окно выходило на внутренний двор, белый от снега как Мопассан, и по снегу, испещренному цепочками следов крест-накрест, топталась монашенка в серой рясе и шапочке с крыльшками, погромыхивая коричневым баком то ли для еды, то ли для кипячения белья. Тут Шарманщик поймал света на страницу и продолжил чтение.

Мартынова продолжала.



Дело, по его словам, было так. В. С. однажды приехал в какой-то приволжский город и, сойдя с парохода, стоящего тут у пристани чуть ли не полдня, пошел пройтись после обеда. Выйдя к песчаному берегу, соседствовавшему с песчаными же островами, поросшими шумящим в ветре кустарником, он внезапно расслышал то ли взвизги, то ли всхлипы. Он устремился на эти звуки и увидел, что в нешироком рукаве, отделяющем песчаный берег от ближайшего островка, барахтается, то появляясь над водой, то исчезая, маленькая девочка. «И тогда, — тут В. С. встал из-за стола, и длинные руки

его с ненакрахмаленными манжетами стали пилить воздух во всех направлениях, а глаза сделались свирепыми и насмешливыми, — тогда, — прорычал он, — я бросился было в воду, но из подлой корысти решил снять ботинки и начал было их расшнуровывать, но они никак расшнуровываться не хотели. Тогда я перестал расшнуровываться и принялся — ха-ха! — принялся распоясываться, что мне также не удалось сделать по причине странной нервозности. И тогда я влез в лужу почти по плечи, в чем был, и достал девочку, а после вынес ее на берег. Она же, видимо, решила лишь немного окунуться, но песок посыпался под ногами, и бедняга съехала в невидимую с берега глубину. Когда же девочка пришла в себя и у нее хватило сил и смелости взглянуть со вниманием на своего спасителя, то тут же, непонятно по какой причине, тихо и тонко взвыв, она вскочила на ноги и исчезла в неизвестном направлении». Причину столь странного суеверного вопля и бегства В. С. понял не сразу: «Но позже все разъяснилось. Та...»

Шарманщик перевернул лист с 47-й на 48-ю страницу и продолжил чтение.

Тетрадь. Продолжение

«...робость или даже ужас, которые охватили девчущку, оказались мне намного более понятными чуть позже, когда я подходил к пристани, где стоял наш пароход. Дамы и госпо-



да, здесь гуляющие, шарахались от меня, видимо, принимая черт знает за кого, то ли за утопленника, то ли за нечисть

болотную, и крутили головами, а некоторые даже крестились». Тут В. С. зачем-то стал мелко креститься и низко кланяться низенькому канане, стоящему у стены, и чуть было не сбил при этом со стола фарфоровую чашку. Чашка чудом уцелела, а он продолжал: «А напоследок появились два маленьких мальчика в сопровождении няньки и усталились на меня, причем один сказал довольно-таки громко, показывая на меня пальцем: это Бог. И вот, когда я вошел к себе в каюту и встал перед зеркалом, то увидел в стекле, представьте себе, не почтенного философа и доктора, как вознамерился и предполагал, а наимерзейшую образину, сущую каналью с мокрой и склеенной бородой, в которой густо пробивалась зеленая водоросль, весьма похожая на кружево ведьмы, со столь же спутанными власами и очами, в которых ума оставалось ни на грош, а ноги мерзкой образины были облеплены брюками совершенно неприлично, притом один ботинок образина все же, оказывается, сняла, прежде чем влезть в воду, и совершенно про него забыла...»



Гости хохотали до упаду, а потом, уже в конце вечера, я нечаянно расслышала, как в курительной В. С. спросил Виктора Николаевича, моего мужа, правда ли, что икону Божьей Матери, находящуюся в нашей церкви, рисовали с его мамаши, Софии Иосифовны. Виктор Николаевич отвечал, что правда и что матушка его, полька по происхождению, была в молодости настоящей мадонной, красавицей, каких мало,

и отец его заказал сделать икону-портрет, для которой она позировала, одному московскому художнику. В. С. выразил желание осмотреть икону, и Виктор Николаевич согласился тотчас проводить гостя в церковь. Но тут В. С. как-то замешкался, а потом спросил, правда ли, что отец Виктора Николаевича Николай Соломонович занимался на старости лет спиритизмом. Отец был натурой загадочной, отвечал Виктор Николаевич. Причем с возрастом тайна и недоумение вокруг него только углублялись. То, что он имел несчастье застрелить в молодости на дуэли своего лучшего друга, влюбленного к тому же в его сестру, одного из лучших и талантливейших русских поэтов, не могло не сказаться на всей



остальной его судьбе. Сначала, после трехмесячного ареста в крепости и поездки в Киев, где он и познакомился с красавицей полькой, он казался столь же весел, блестящ и остроумен, как и прежде, но потом словно что-то стало прорастать в нем изнутри. Нет, не скорбь и не угрюмость, но какая-то серьезность и мистическая высокопарность, которая иногда казалась окружающим даже неприятной. Впрочем, он постепенно стал молчалив, а общался в основном лишь с маман да еще с двумя-тремя знакомыми, да и то по большей части за картами.

«А правда ли, — спросил Соловьев, — что батюшка ваш оставил описание ссоры и последовавшей за ней дуэли?»

Муж мой отвечал, что правда, и что рукопись, в которой все это описано, действительно существует где-то среди отцовских не разобранных бумаг, и что, вероятно, пришло

время этим озаботиться и разыскать ее для возможной, после предварительного просмотра, публикации...

Шарманщик, поднеся мелко исписанный листок почти что к носу, вернулся на предшествующую страницу, которую уже было совсем не различить из-за темноты. Монашенка уже ушла, двор был пуст, и снова густо посыпал снег.

«Между 47-й и 48-й страницами», — пробормотал Шарманщик и снова сделал глупую попытку расклеить страницу на две части, но и на этот раз безуспешно. Он посмотрел на хлопья, летящие в свете соседнего от него окна, и тут ему показалось, что разгадка должна таиться там, где повествование прерывается.

«Ну хорошо, — решил он, — пусть 47-я и 48-я не расклеиваются, но ведь они же все равно отделяются друг от дружки каким-то другим способом. Скажем, на одной стороне текст обрывается, чтобы продолжиться на другой. Значит, секрет должен находиться на линии разрыва текста». Шарманщик заглянул в низ листа 47-й страницы, почти приплюснув его к носу, и увидел местоимение «та». Потом, перевернув страничку, он заглянул в ее верх и обнаружил существительное «робость». Он крутил эти два слова и так и эдак, но никакой разгадки не получалось до тех пор, пока, притупив уставшим зрением второй слог от «робости» и совмстив с первым местоимение «та» с 47-й страницы, не сложил из двух разностраничных слогов новое слово, через которое проходил невидимый разрыв текста 47-й и 48-й страниц. Слово состояло из двух слогов и четырех букв и выглядело оно теперь так — Таро.

Черный ангел

«Теперь понятно, понятно, — яростно бормотал Шарманщик, вглядываясь в сине-коричневую темноту внутреннего дворика. — Теперь понятно, почему эта тетрадка оказалась именно здесь. Да потому, что последние эти Мартыновы по женской линии не только все Софьи, но еще и полячки. Впрочем, и по мужской они тоже из поляков. Значит, кто-то из особо польских Мартыновых после всех революций и войн сюда и прибило, в Краков. Не одни же евреи домой по-

тянулись, на землю предков. А поляки, что, не богоизбранный народ, что ли? Да спроси любого пана, он скажет». И Шарманщик вспомнил, как в поезде разговорился с паном, читавшим наизусть Бодлера, и как он, вследствие произведенного этим фактом впечатления, посочувствовал пану, сообщив что-то жалостливое по поводу судьбы Польши, расположенной, как он выразился, между молотом и наковальней, а пан, доселе скромно читавший Бодлера на французском, после этого замечания Шарманщика приосанился. Пан приосанился, выпрямился во весь рост в тесном купе, глянул при этом на Шарманщика каким-то диковинным образом, с какой-то жесткой стальной искрой в глазах, глянул чуть ли не исподлобья и сказал весомо: «Была когда-то и Польша молотом». И добавил, что Москву брали дважды в истории и что один раз это были поляки. Шарманщик тогда подумал, что интеллигентный пан забыл про Тохтамыша и еще про другие печальные исторические факты и пожары, но перечить ему не стал, потому что основная мысль его крутилась вокруг Бодлера по-французски и благородства поляков. Никто никогда не говорил ему, что он был временами если и не жертвенной, то крайне пассивной натурой. Особенно когда слышал стихи на языке оригинала. Но не в этом было дело, не в этом, а в другом. Надо бы, конечно, найти ту девочку-монахиню, которая ему сунула в руки эту тетрадь, но дело и не в этом тоже. А в том дело, что бабка его не раз рассказывала ему историю, слышанную от своей матери, — семейную легенду, из всех историй такого рода произведшую на маленького Шарманщика, которого тогда звали не так, самое сильное, до нестерпимых зрительных спазмов, впечатление. А история была вот про что. Мать бабки девочкой жила в одном волжском городишке с забытым теперь названием — то ли Алатырь, то ли Ардатов, Шарманщик уже не помнит как следует. Однажды она гуляла по берегу Волги и, заигравшись, сползла по песку в воду. Мелководье стремительно перешло в омут, и девочка стала тонуть. К смерти в семье Шарманщика, состоящей из него самого и бабки, относились серьезно и торжественно, и поэтому, когда он слышал время от времени эту историю, то понимал, что дело тут непростое, что дело тут из всех дел самое страшное, потому что под водой нельзя дышать, и от

этого наступает чернота, чернее той, которая живет ночью в овраге, и жизнь кончается насовсем, как это бывает, когда кто-то уходит из семьи, а потом никто не может или не хочет объяснить, где этот человек теперь находится. И поэтому, если бы прабабка, которая тогда была не прабабкой, а пятилетней девочкой, своевольно гулявшей там, где ей гулять домашние настрого запрещали, утонула, исчезла бы под водой в черной черноте и не вернулась больше оттуда никогда, то на свете не было бы ни бабушки Шарманщика, ни мамы Шарманщика и ни его самого. Это рассуждение особенно его потрясло, потому что Шарманщик в него не верил, отчасти из-за того, что вот же он — есть, и все тут, а еще для того, чтобы оказаться в очередном споре с домашними — проигравшим, к чему его всегда яростно тянуло до самых даже первых седых волос. Так вот, когда синее небо померкло и Смерть готовилась заграбастать маленькую прабабку в свои объятия с желтыми ногтями на пальцах, она почувствовала, что ее схватили под мышки две сильные руки и вырвали из небытия к солнцу. Когда она открыла глаза, то увидела черного ангела, от которого во все стороны расходились лучи света, и она поняла, что это он спас ее от омута. Ангел был высок, тонок и черен, и от него разлетались голубые молнии. Свет как змеи струился у него по груди и вокруг глаз. Ангел был бос, и на одной его ноге прабабка насчитала восемь пальцев. Они заканчивались когтями, как у птицы, и зарывались в песок. На птичьей щиколотке ангела горела золотая цепь с рубинами и маленькими изумрудными черепами. И еще она говорила, что чем больше она смотрела на его черноту, тем та становилась ярче и ослепительней, пока прабабка не поняла, что это уже не чернота, а сплошные свитые, как белое белье, когда отжимают, лучи света. Тут ей стало так страшно, как никогда в жизни, она вскочила на ноги и побежала домой изо всех сил не оглядываясь. Прабабка всю жизнь считала, что это был архангел Михаил, и одного из сыновей (самого позднего) потом назвала Михаилом, но это его не уберегло, и он так и пропал без вести во время Второй мировой войны где-то в районе Курска.

«Ага, — бормотал Шарманщик как заведенный, — ага! Вот оно что. Вот, оказывается, кто был черным ангелом. Вот тебе и ботинок потерянный, и нога, превратившаяся

от этого в птичью с когтями о восьми пальцах, — все сходится. Черный ангел был философом в черном сюртуке — каково!»

Шарманщик на всякий случай быстро просчитал сроки и даты — все сходилось.

Теперь Шарманщик стоял и не верил своему счастью. Ведь если все это действительно так, то род его жизни идет отныне не откуда-нибудь, а от великого русского человека и философа, о котором он одно время собирался писать диссертацию, а потом чуть было не написал либретто для оперы, — от Владимира Сергеевича Соловьева. Вот так так! Вот так история! Это вам не баран чхнул! Конечно, Владимир Соловьев считал себя человеком бездетным, и как же иначе. А не подозревал он даже, что на самом-то деле был у него прямой потомок, сын, которого он духовно и физически зачал с жизнью, отбив от смерти, со спасенной им девочкой, и теперь Шарманщик знал, что он, Шарманщик, — не просто какой-то там наследник, впрочем, довольно-таки достойной старой русской семьи, а — раз, два, три, — быстро подсчитал он в уме, слегка пригибая пальцы, — а правнук духовный и физический Владимира Сергеевича Соловьева, духовидца, поэта и странника.

Сила и лев

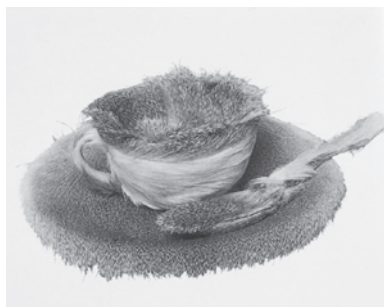
«Ну хорошо, — подумал Шарманщик. — Ну хорошо, Таро. А что дальше?» И он снова уставился в окно, на которое наложилось не только отражение его лица на фоне темного двора, но и смутный призрак ангела с девочкой и даже колода старинных карт.

Шарманщика тревожили две вещи: то что в мире все предметы находятся отдельно, и то, что, возможно, есть такое место, где они могли бы быть все вместе, а он про него не знает. Само по себе то, что находились они отдельно, сначала было не страшно, потому что собака должна находиться отдельно от кошки, а дерево — от дома. Страшно было то, что все они от этого обрастали такой толстой кожей, корой и чешуей, что было вовсе непонятно, как с этими отдельными предметами иметь дело и где, собственно, они теперь

находятся, потому что их совсем не стало видно-слышно-потрогать, а Шарманщик хорошо помнил, что в детстве было не так. Еще он помнил, как с одной женщиной они легли в постель и так любили друг друга, что на какой-то миг у нее стало лицо Шарманщика, а у него стало ее лицо, а потом все поменялось и снова возвратилось. Про ту ночь можно было сказать, что шкуры-чешуи тогда на них не было, что они отстегнули ее вместе с майками-джинсами. Про ту ночь можно сказать, что они были одно, что они были проницаемы друг для друга, как если, скажем, зеленый кусок пластилина разминать, плющить и тянуть вместе с желтым так, чтобы они слиплись и перемешались, и тогда в руках возникает ком, где тонкие прожилки одного и другого цвета не только извиваются по поверхности, но и уходят внутрь и там тоже образуют какие-то переплетения. Но если пластилин не умеет летать, то люди, когда они так переплетаются, парят над постелью, и это Шарманщик с той ночи запомнил на всю жизнь. И не только над постелью, но могут побывать, например, даже на любой звезде или в любом месте на самой земле, стоит только об этом подумать вместе, а думаешь тогда только вместе, потому что ничего отдельного тут уже нет. Но потом такое единение с той женщиной больше не повторялось, а потом они и вовсе расстались. Его случайный знакомый милиционер Лука как-то говорил ему, что есть такое место в горах, где все соединяется со всем, но Шарманщик туда пока не добрался, потому что Лука мог многое рассказать, а потом оказывалось, что это совсем не так. Но поехать все равно надо будет, решил Шарманщик. Надо, потому что он не мог больше видеть предметы не только отдельные, но и обросшие шерстью, как одна такая шерстяная ложка художника-сюрреалиста Дюшана.

Вот идешь, например, закрыв глаза, и натыкаешься на стол. А он вчера здесь стоял еще не совсем мертвый, хотя уже и с невидимой трухой внутри, еще не совсем обросший. Но потом стол, как человек, если не бреется, обрастает сначала трехдневной щетиной, потом двухнедельной, а потом и самой настоящей бородой. У какого-то мертвеца в сказке росла борода и желтые ногти так, что они стали загигать, образуя костяные кольца, как это было у его матери в доме для престарелых и умалишенных, когда через год выясни-

лось, что в этом заведении сестры ногти больным не стригут, но ему почему-то об этом не сказали, и когда он однажды стал мыть ноги матери в больничном тазу, он ахнул, и ему стало нехорошо. Так вот этот стол становится мертвым и обросшим, и к тому же он Шарманщику никакая не мать, и



потом неизвестно еще, какими ножницами можно состричь эту невидимую глазу бороду. Но факт в том, что она есть и растет не только на стуле, но и на всех остальных вещах — деревьях, автомобилях, дверях и турникетах. Сюда же можно вставить аэропланы, катетеры, компьютеры, шприцы, надувные матрацы и лифты. На всем живом этого добра меньше. На некоторых деревьях почти совсем нет. Но на стуле есть. Вообще, больше всего этой пакости на том, с чем ближе всего соприкасаешься. И тогда все эти вещи становятся отдельными и мертвыми.

А пока он думал: ну хорошо, ну если Таро, то какая именно карта. То есть какая карта Таро может дать ключ к разгадке розовой тетрадки и к его, Шарманщика жизни, потому что он знал, что это одно и то же. Не всю же колоду здесь надо учитывать. Ну хорошо, начнем с главных арканов (картинок): какой тут может подойти? Шарманщик полез в карман куртки, висящей в шкафу кельи. Рукава были еще мокрыми от новогоднего снега. Он достал сигарету из пачки, собираясь воровато курнуть в окошко, и тут его осенило. Ведь если Таро «режется» пополам, на 47-ю и 48-ю страницы, и разгадка находится между «та» и «ро», то и арканы, то есть их количество, тоже, наверное, надо разделить пополам. Так-так. Там еще есть нулевая карта — джокер, шут,

но она все равно считается и входит в состав этих двадцати двух главных арканов. Двадцать два надо разделить на два, и тогда ключ найдется между одиннадцатой картой и двенадцатой. А что изображает одиннадцатая карта? Этого он не помнил. С так и не зажженной сигаретой он спустился в



холл, нашел телефон, кинул монетку и позвонил в Москву...

Через двадцать минут на дисплее его мобильного высветилось желто-красное изображение странного зверя, похожего на льва, и сидящей на нем нагой женщине с головой, запрокинутой в экстазе к небу. Вглядываясь, Шарманщик различил у зверя целых семь голов. К изображению прилагалось описание, лобезно высланное его приятелем из Москвы. Из него Шарманщик уяснил, что головы принадлежали — ангелу, святому, поэту, прелюбодейке, рискованному человеку, сатиру и льву-змею. Он вышел на улицу, под снег, посматривая время от времени на потухающий и вспыхивающий дисплей с чудным зверем, и казалось ему, что послание это в виде загадочной картинки он сейчас поймет и разгадает. Вернее, так: он знал, что послание это он уже понял, вот только теперь надо перевести его с языка рисунка на язык слов. С языка льва на человеческий. С чего же начать, с какой из голов? Ну вот, например...

Прелюбодейка

Чудная у меня все же последнее время жизнь. Началось все с пустяка, с чепухи. Я сходила на один любительский спектакль (это была драма Цветаевой о Казанове и его последней любви — маленькой девочке), и мне стали сниться странные сны. Вернее, не так. После спектакля я словно ощутила огромную промоину в памяти. Я подходила к ее краю, не замечая его, хотела идти дальше и каждый раз словно расплющивала нос о матовое стекло. Ощущение не очень приятное. Я натькалась на него за разом раз, пытаясь восстановить какие-то совсем разные, ничем не связанные, истории своей жизни. И я все их помнила, но почти в каждой из них было вставлено это матовое стекло, после которого история проваливалась ненадолго в туманный пробел, а потом столь же неуклонно возобновлялась, но уже немного отступив от того места, на котором оборвалась. Я ничего не понимаю. После того спектакля я пошла на каток и там упала и сильно ударилась затылком о лед (мне показалось, что на голове выросла стеклянная корона, я и сейчас ее чувствую, если быть честной, и еще с тех пор все время пахнет эфиром), но я не уверена, что падение как-то связано с фокусам, которые мне преподносит моя память. В общем, мне было дано знать, что в прошлом со мной происходили какие-то события, которых я не помню. Это раз. Потом все стало еще туманней, или, как говорят мои подруги попроще, — прикольней. Дело в том, что я стала получать анонимные эсмэски с короткими указаниями, и у меня хватило глупости им последовать. Первая из них выглядела так: «В стволе пистолета на стене». Ну я и залезла. Я думала, что это кто-то из одноклассников меня разыгрывает. У нас дома на стене на фоне иранского ковра и под кубанской саблей висят два старых револьвера — один под другим. Нижний перевернут. Их повесил отец, он когда-то собирал старое оружие. Я залезла в ствол шпилькой и, к своему удивлению, вытащила оттуда скатанный в трубочку лист бумаги, исписанный почерком, очень похожим на мой собственный. Я сначала даже решила, что это я и написала, но потом поняла, что записка написана левой рукой, а я правша. Там был рассказ о том, как на дачу к замужнему мужчине приезжает девушка

и у них там секс и все такое, а потом он танцует во дворе какой-то дурацкий танец, который он назвал танцем трех красных рыбок. Так себе история. Во всяком случае мне она ничего не объяснила. Правда, потом, перечитывая ее, я почувствовала, что все это уже словно бы знаю и что должно быть продолжение, и я не ошиблась. Продолжение последовало на следующий день. Эсэмэска была такая: «Мои документы — мои музыкальные записи — файл 14». Я загрузила компьютер, открыла «Мои документы», нашла папку «Мои музыкальные записи» и открыла звуковой файл с цифрой 14. Незнакомый мне приятный мужской голос произнес следующее: «Здравствуй, Арсения!..» Потом наступила пауза, словно голос не мог решить, продолжать ему или не стоит, и я слышала какое-то шуршание бумаги. Через целую минуту раздумий голос продолжил:

«Знаешь, собственно, не имею представления, с чего начать. Ну хорошо... я немного волнуюсь, не хочу, чтобы это тебе передалось. Ты ведь еще совсем маленькая девочка и сейчас не знаешь, как это так оказалось, что у тебя есть еще одно прошлое, а это может тебя напугать. Скорее всего, на сегодня, даже если бы ты меня и отыскала, я не смог бы тебе всего объяснить, потому что мы вместе с тобой решили вычеркнуть нашу прежнюю жизнь из памяти. Мы с тобой долго искали способ, как это сделать, но нашел его я один и совершенно случайно. Можно подумать, что нам подыгрывали добрые силы, с которыми меня познакомил мой знакомый, милиционер Лука, но я сейчас не об этом. Я о том, что раз ты слушаешь этот файл, то, значит, у нас все получилось и я тоже забыл часть своего прошлого, в котором есть ты. Время от времени тебе будут приходить от меня эсэмэски в течение почти целого года, но дозвониться по тому номеру, с которого они посланы, ты не сможешь. В результате, возможно, ты узнаешь о себе и обо мне то, что мы оба забыли, но это будет уже совсем новая, освеженная история, которая сделает возможным примирение с ней, такой, как она была, потому что теперь она будет существовать, забрав в себя совсем другие истории и ландшафты. То есть мы хотим обновить то, что мы прожили вместе, включив нашу историю в другой контекст, изъяс ее из того времени и тех обстоятельств, в которых она протекала, и

переселив ее в новые декорации. Причем тебе она (наша история) будет открываться постепенно, а мне, не понятно, откроется ли вообще». Здесь следовала новая пауза, в которую вклинилось пение какой-то бестолковой птички, видимо из приоткрытого окна. Потом мужской голос продолжил: «Но это дело, как говорится, Провидения. Ты, конечно, можешь мне не верить, но весь этот план был нами разработан совместно, и те вещи, которые сейчас происходят с тобой, происходят с твоего согласия. Собственно говоря, ты этого хотела больше, чем я. Я бы даже сказал, что намного больше. Знай одно, дорогая моя девочка, — я очень тебя любил такого рода любовью, над которой не властны слова. Те, кто нас знал, нас не понимали, и я их не виню. Дальше я ничего сказать не могу... Между прочим, сейчас ты стоишь рядом со мной, уткнувшись лбом мне в затылок и... ладно. Мне кажется, что ты там, у меня за спиной, плачешь...»

Дальше в записи опять была пауза, а потом я явственно различила женские всхлипы. Когда они стали громче, я узнала свой голос. Он сказал: «Я не могу отпустить тебя...» Имени я не расслышала. Потом что-то зашуршало, стукнуло, как будто пепельница упала на ковер, и файл закончился.

Башня

Шарманщик вернулся в Москву, и началась весна. С Надей он перестал видиться, и это произошло хоть и не без боли, но как-то само собой. Однажды он сидел в «Лексусе», слушал музыку через автомобильный плеер и перебрасывался с приятелем, сидящим за рулем, репликами по поводу босоногой исполнительницы, юриводивой и гениальной, любимой Сталиным, а также каждым российским деревом и всеми гнездами на нем. В гнезда могли залетать разные звуки и птицы, и от этого те птенцы, которые там подрастали, — красный и черный — становились то больше, то меньше. Если звучал Бах, то вырастал красный птенец, и было видно, как в его прозрачной голове копошились словно светящиеся червяки, нет, не мысли, потому что мыслей у птиц не бывает, а пучки энергий и сообщений, которые

частично приходили от музыки, а частично поднимались из генной памяти самого птенца. А если звучал, например, Шуберт, то рос черный птенец, причем делаясь по мере роста не черным, а каким-то тускло-коричневым, какой бывает отброшенная из могилы земля, и было ясно, что эта коричневость тоже была выброшена музыкой из его глубины, и потом, когда музыка кончится, землю опять забросают внутрь и от этого птенец уменьшится и станет черным. Так оно и было.

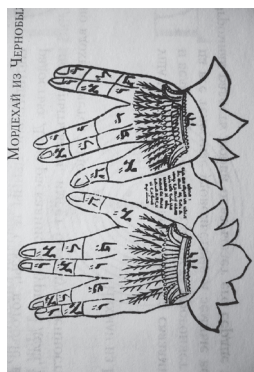
Потом Шарманщик взял веер, который валялся тут же, рядом, на коже заднего сиденья «Лексуса», раскрыл его и перевернул вверх ногами. Это значило, что отныне он больше не Шарманщик, а — как это происходит в театре Но, где веер служит указателем всяких превращений, — теперь он начинает превращаться в большую башню. Он постепенно раскрывал лопасть веера с рисунком красного дракона на его шелковых сегментах до тех пор, пока тот не раскрылся полностью. В это же самое время раскрывался в виде башни и Шарманщик. То есть снаружи ничего такого, конечно, не происходило, и те из нас, которые большее время жизни живут снаружи, ничего бы так и не заметили, но Шарманщик теперь жил внутри и поэтому вырос в огромную, до небес, башню. Башня была не столько высокая, сколько какая-то... Шарманщик пытался найти слово, и оно сначала никак не находилось, а потом нашлось: она была непристойная. И непристойна была не столько высота башни — до небес! — сколько ее разъявистый объем, гипертрофированная материя, уплотненная и преувеличенная наглядность, вся изъеденная, несмотря на свою плотность, словно огромная головка сыра, вся пробурованная невидимыми, но мощными мышами, живущими как в воздухе мира, окружившего башню, так и в головах ее строителей. Казалось невозможным, чтобы такие огромные звери, продырявившие башню тоннелями и отметинами зубов, могли жить в крошечных головках строителей, стоящих тут же, развернув свои чертежи и схемы, но ведь и сама башня, если вдуматься, сама она со всеми своими ярусами, колоннами, тропками, грядами земли и крошечными фигурками строителей, похожими на комаров, тоже вышла из тех же небольших человеческих голов. А похабность ее становилась все более явной не по-

тому, что ее создатели хотели вместе с ней добраться до Бога или «сделать себе имя», как об этом написано в Библии, — нет, не поэтому, ибо похабность Вавилонской башни на картине, например, Питера Брейгеля заключается не в размере вертикали движения (кстати говоря, по современным меркам и не очень-то грандиозной, в Дубае есть сооружения и повыше), а в том, что она разрослась и расселась посреди измелчавших ландшафтов с заливами и парусными кораблями в них, с городком, домами, ратушами, деревьями и птицами, — разрослась и расселась так, как мог бы рассеяться



среди нас с вами на огромном толчке великан, выкатив свои гениталии и готовясь опорожнить желудок. Ну конечно-конечно, ведь если башня вышла из голов строителей, то это уже не просто башня, а Голем, который и есть огромный человек, созданный из глины и оживленный заклятием. Если вертикаль существует без горизонтали — например чистая вертикальная плоскость: холст, стена, — она очень красива. И если горизонталь существует без вертикали — дуг, равнина моря, — это тоже завораживает, и это зрелище можно назвать эстетическим и правильным, потому что оно отдается свободой и воодушевлением в груди. Сложности возникают при комбинировании вертикальной плоскости с горизонтальной, а именно это комбинирование и образует все формы на свете. В случае башни это комбинирование привело

к выпавшей букве, и мир башни стал похабен. Дело в том, что если из предмета или человека выпадает буква Божьего языка, то человек, зверь или предмет становится похабным,



даже если какое-то время этого никто и не замечает. Но потом это все равно обнаруживается. А буква выпадает тогда, когда человек, зверь или предмет — что одно и то же — начинает жить в человеке только внешним взаимодействием с остальным миром, забывая заходить в глубину собственного сердца, где и расположены вместе с первым снегом все буквы Божественного языка, из которых все на свете вырастает — птицы, деревья, двери, пороги, люди и облака.. На самом деле — и Шарманчик знал это — все эти буквы суть одна буква, и поэтому если выпадает хоть одна, то выпада-

ют все, и человек превращается в куколку, из которой ушла бабочка, и перестает понимать то, что ему говорят другие. Вот, например, один человек говорит другому: помоги! А тот ему отвечает: пошел на хуй! Человек смотрит тому в лицо, в самые глаза, пытаясь передать, как ему плохо, и что он тоже человек, и он может умереть, если ему сейчас не помочь, он заглядывает тому в его глаза и верит, что его сейчас все равно услышат и спасут, и поэтому повторяет: помоги! А тот все равно не слышит, а вернее, слышит, но что-то другое, свое, как будто он сидит где-то в этой самой башне, в самой ее середине, ест огурец, и поэтому занят, и поэтому он снова говорит тому: пошел на хуй! И не видит он ни того человека и ни башни. И даже собственного огурца он не видит и не слышит, даже самого себя он не ощущает.

Потом Шарманщик перевернул веер обратно и стал его складывать до тех пор, пока башня не исчезла вместе с зеленым драконом, словно втянувшись в его суставчатые изгибы.

Тогда он решил позвонить Арсени и набрал ее номер.

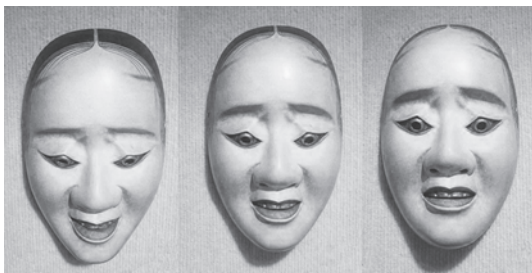
— Нет, — сказал он, — лучше ты приезжай ко мне.

— Отвезешь меня домой? — спросил он у водителя, и тот удивленно обернулся. — Что? — спросил Шарманщик. — А! — сказал он и посмотрел туда, куда ткнул пальцем его приятель. Оказывается, они уже давно приехали. Джип стоял рядом с подъездом дома, где он жил. Шарманщик вспомнил, что они уже заезжали в магазин и купили к ужину все, что нужно, а потом приехали к его дому и стали слушать Баха в исполнении босоногой юродивой. Просто он про это забыл. Наверное, он много чего забыл, наверное, и его потихоньку грызут волшебные злые мыши, но букву свою он еще не потерял и поэтому все понимает, что делается вокруг. Поэтому он вышел из машины и неподвижно застыл. На языке театра Но это означало, что он исчез, а действие продолжается без него.

Стартовые условия

Ну а раз его нет или как бы нет, раз он застыл где-то там на сыром асфальте, от которого пахнет попеременно морем,

мочой и бензином, то пусть в это время за него говорит хор, тем более что именно хор на своем гнусавом японском языке, настолько искаженном каноном пения, что слова разбирают лишь знатоки, которые приходят послушать пьесу раз в пятидесятый, не меньше, именно хор затеян и предназначен для того, чтобы раскрыть зрителю внутренние состояния нашего персонажа, дабы не расщепить и не умалить его ничем не нарушаемую (никакими ветрами времени не распыляемую) статуарную и молчаливую целостность. Любимый Шарманщиком философ Григорий Померанц как-то сказал, что неподвижность иконы — это неподвижность берегов, в которых течет река духа, вечно обновляемая, радостная, страдающая и бездонная. Так вот пусть Шарманщик остается руслом, а реку духа, нам не видимую, изъясняет хор. Пусть все будет примерно так, как это происходит на византийской иконе, в культуре, нам тоже мало внятной, но все же усвоенной так или иначе в силу исторической ответственности русским народом.



Итак, хор.

Хор запел-заговорил медленно под вполне слышимые удары барабана и пицание японской старинной флейты, и сначала было непонятно, о чем это он, но потом слух как-то втянулся, стал более доверчив, сроднился с ритмом, и получилось вот примерно что.

Вот стоит, стоит Шарманщик у машины, но это ничего не значит, ничего не значит, что он стоит, не думайте, что он столб какой-нибудь, и все тут, что на этом все и кончается. Потому что он не только стоит в своей жизни, но иногда и бежит, и забирается, и прячется, и лавирует, и прыгает, и

цепляется, но не кромсает, не удерживает, не тянет к себе и может. Он может. Например, вогнать себя в смертельную тоску. Дело в том, что он ищет ответ на один непростой для него вопрос. Для всех остальных или этот вопрос совсем не встает, или на него уже знают ответ те, кто об этом читал, ну



например, все продвинутые христиане, особенно те, которые знают, что они продвинутые. Это как алкоголик-психолог: он знает ответы на все вопросы пациентов, и этих ответов у него много, они с щелканьем вылетают как птички из фотоаппарата, но на снимке при этом не остается почему-то ни одного счастливого лица. Все эти несчастливые ответы он знает, но не знает, как ему самому перестать пить, потому что у него это не получается, и поэтому он вынужден день и ночь повторять себе, что в том, что он регулярно перебирает, ничего страшного нет и что он если и пьет намного больше всех этих скучных непьющих, то лишь потому, что при такой напряженке, при такой непростой жизни с занудой женой и стервой любовницей, ему «надо же на чем-то держаться». И все же по утрам ему становится тошно и непросто жить, и тогда у него на какое-то время кончаются ответы. Но у христиан, с которыми был знаком Шарманщик, ответы не кончались. Они писали статьи в журналы и выступали на радио, следовательно, в их природу входило отвечать на самые трудные вопросы, что они с блеском и делали. Шарманщик знал, что спрашивать бесполезно, потому что в ответ он обязательно получит умную цитату, а не свою, пусть «неправильную», но все же правду, и все же время от времени возобновлял попытки диалога с христианской церковью.

После них ему становилось нехорошо, потому что в ответах друзей он узнавал себя самого пятнадцать, скажем, лет назад, когда и у него тоже был готов ответ на любой вопрос. И тогда ему казалось, что он крутится на карусели и вокруг мелькает то же самое, что там было и сто оборотов назад, и миллион оборотов назад. Время как бы не шло, и от этого тошнило смертью.

Барабан: Бум-бум! Бум-бум! Бум-бум! (Пауза.) Бум-бум! Бум-бум! Бум-бум!

Дальше хор пел о том, что Шарманщик уже понял, — что большую часть жизни большинство людей пребывает в иллюзии относительно реальности своего восприятия жены, друга, яблока, улицы и себя самого. Что, скажем, веселый человек стоит словно на улице Большая Пресня и обиженный — на улице Большая Пресня, и, хотя видят они совершенно разные улицы, ничем не похожие друг на дружку, ну не больше, скажем, похожие, чем макет Кавказского хребта на сам Кавказский хребет, тем не менее они в силу коллективного гипноза и безумия будут до смерти считать, что они тогда находились на одной и той же улице. (Если здесь что и непонятно, то мы уже предупреждали, что слова хора может разобрать лишь привередливый и верный театру зритель-слушатель, знакомый с общей канвой спектакля и его сюжетом, а другой, не столь привередливый, но тоже взыскующий, все же может просто встать и уйти, если уж совсем затоскует от непонятности этих гортанных глотаемых наполовину иероглифов. Впрочем, надо же хоть с чего-то начать. Вот в надежде на то, что невъезжающий зритель станет зрителем въезжающим, и продолжает хор петь и декламировать свои партии, не снисходя к человеческой слабости в надежде на человеческое могущество.)

Итак. Если, размышляя Шарманщик, если все, что в мире за много тысячелетий было, было, в основном кровь, борьба, страдания, самоуничтожение, обман, предательство, ложь и подлость, а также скука, скука, скука, лишь изредка перемежаемые слабой флейточкой Божественной любви, святости или творчества, которую основной мир можно сказать что и не слышал, если искренне, понимаешь, искренне все эти люди за все эти десятки тысячелетий только и знали, что страдали и мучились да изничтожали друг дружку, от-

дыхая иногда взглядом на детях (недолго) и телом на подруге (еще непродолжительней) и принимали эту историю своей жизни за единственно реальную, если всегда правило предательство, а правда была в поругании, невинность в унижении и благородство в дураках, — то зачем было Творцу создавать такую жизнь?

Друзья-христиане поясняли Шарманщику, что Творец в этом не виноват и что все это безобразие, скандал и тоска кровавая упираются в проблему свободы воли, данную Богом человеку в доверии, что тот справится, и тем самым человека возвышающую, но этот ответ Шарманщик знал и раньше. Это был чужой ответ для него, Шарманщика, и он думал, что чужой и для, например, его знакомой девочки-наркоманки, которую несколько раз насиловали, потом заразили СПИДом, а еще у нее был гепатит С и больной ребенок. Впрочем, вряд ли она вообще задумывалась на эту тему, но Шарманщик задумывался. Ему говорили: так делай что-нибудь, чтобы мир стал лучше. И Шарманщик делал кое-что в этом направлении, правда, не любил рассказывать, потому что считал, что это безвкусно.

Зачем было создавать такой мир, повторял Шарманщик Богу, которого любил, и сходил от этого с ума. Потом, когда он понял, что «все, что не Бог, есть ничто и в ничто должно быть вменяемо», а проще говоря, что все люди живут в иллюзорном мире, который есть ничто и которого на самом деле почти что и нет на свете, как нет на свете объективной Большой Пресни-один и Большой Пресни-два, а есть только сияющая любовью УЛИЦА, которую почти никто не видит, — тогда ему показалось, что он нашел ответ. Ведь на самом деле вся эта кровавая и похабная История не была на самом деле, а существовала только на правах Пресни-пятнадцать, то есть она была иллюзорна. А саму реальность, которая уже Царство Небесное на земле, конечно же, видят святые, и оно-то, это вневременное Царство, и есть истинная реальность. Тут он на какое-то время успокоился, Бог оказывался все же действительно милосердным, но потом его пробило: так что с того, что это иллюзия, если миллиарды людей прожили ее от рождения до смерти как единственную реальность? Со всеми ее смертями, пытками, страданиями. А об иной жизни если и слышали, то ждали ее не раньше чем

за гробом, и никто им ничего не объяснил, как тот самый алкоголик-психиатр, который объяснять-то, конечно, объяснял, но сам умирал от болезни и больным был помочь бессилён.

Хор-оркестр: Бон-бон-бон! Бон-бон! (Пауза.) Бон-бон-бон! Бон-бон! (Пауза.)

Свобода воли, говорили Шарманцику. Он дал ее людям, и те так этой свободой распорядились, что превратили историю и себя в муку и крошево. А он возражал: но ведь это только слова. Условие свободы не может быть необходимостью для Бога. Он мог придумать вместо свободы то, что мы и представить себе не можем, и это было бы не хуже и не меньше, а больше свободы. Свобода как условие — это только слово, это только то, что мы уже потом придумали и назвали. А Бог мог найти и другие условия, неизвестные нам, не названные еще.

Так что же ты хочешь сказать, спрашивали его.

И тогда Шарманщик говорил: если Бог видел всю историю еще прежде, чем создавать этот больной мир, если он видел все эти пожары, эпидемии, невежество, убийства, аборт, со- вращения, болезни, казни и пытки — и все это вызвано лишь пресловутой свободой воли, то почему бы Богу не создать в принципе иные стартовые условия для Истории Людей?

Но если не свобода воли, отвечали ему так же, как раньше отвечал он другим сам, тогда человечество обречено превратиться в мир запрограммированных автоматов.

И тогда Шарманщик, страдая за себя, за собеседника и за Бога Творца, бормотал: это лишь слова, наши, людские слова. Не надо говорить либо-либо. У Бога есть возможность чего-то третьего, качественно иного, чем эта, несвободная для выбора лучшего, бинарная оппозиция. Так почему Бог ей не воспользовался?

Две весны

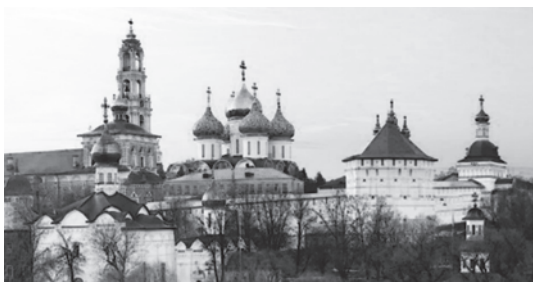
Шарманщик вошел в темный двор своего дома и остановился. Рядом с подъездом зеленела первая зелень липа, но листьев было почти не видно, только угадывалось в воздухе

нежное пятно ее будущей кроны. В зыбкой тишине росли зыбкие деревья. В это время листья кажутся искрящимися от внутреннего избытка жизни и света. Они еще матовые, мягкие, непривычно бледные, салатные, и кроны пока не стали густыми — еще сквозят словно мятым холодком, еще зябко просвечивают. Шарманщик посмотрел на небо, там светила большая раскидистая звезда. Он потоптался на тротуаре и зачем-то отошел к трансформаторной будке в углу двора, только шаркнули подошвы по асфальту. Было совсем тихо. На кирпичной стенке трансформатора мигало ядовитого-голубого цвета пятно от противоугонного устройства припаркованного впритык автомобиля. Шарманщик стал смотреть на пульсирующий светом кирпич стены, и ему показалось, что стало еще тише. Он ощутил торжественное одиночество, потому что был сейчас на свете один и потому что был он свидетелем и темени двора, и новой весны, входящей в мир, и деревьев, и погашенных окошек и теплого, пьянящего воздуха, и — звезд-ы, звезд-ы. Он еще постоял у стенки, а потом сполз на корточках спиной по кирпичу. В воздухе от листьев пахло вином и свежестью. «Как это... как это... прекрасно», — тихо пробормотал он под нос, пытаясь не произносить последнего высокопарного слова, но оно произнеслось не спросившись. Оно сошло с его губ и теперь стояло в воздухе вместе с запахом вина, свежестью листьев и лохматой звездой. Шарманщик прикоснулся к нему рукой, оно плавно отпрянуло и поднялось выше. Теперь оно стояло в воздухе на уровне верхних веток дикой яблони, а внизу, у ствола, смутно угадывался похожий на дачную мебель джип и рядом с ним белесый «Пежо». Уходить слово не торопилось и было похоже на небольшой аэростат. «Иди гуляй!» — сказал совершенно счастливый Шарманщик, поднялся на ноги, хрустнув коленкой, и пошел к себе.

Дома он распаковал сверток, выставил на стол бутылку вина, высыпал пару пачек американских сигарет, гранатовый сок и дожину мандаринов. Отдельно выложил ветчину и оливки. Хрустнул целлофаном и воткнул белую ветку липы в вазу. Открыл форточку, сел и тихо включил Dido and Aeneas с пульта.

Арсения появилась на его горизонте полгода назад по отношению к описываемым событиям с липами во дворе...

Ты появилась совсем недавно, потому что первые два месяца, а то и три я тебя, в общем-то, не замечал. Девочка как девочка. Полгода назад, ранней весной, о ту пору, в которую прежде в динамовском парке сияли в ветвях краплаково-алые снегири, мне позвонил из Питера друг, преподаватель музыки, и попросил, чтобы я показал двум его ученицам, собравшимся в Москву на каникулы, столичные достопримечательности. А наутро в трубке раздался твой голос, я тогда услышал его впервые. Ты по-светски и очень приветливо напомнила мне ситуацию с вашим приездом и ушла в паузу, которую мне пришлось заполнить приглашением съездить в Сергиеву Лавру. На следующий день мы отправились.



Не думаю, чтобы я обратил на тебя особое внимание, хотя, вероятно, следовало бы. Мы встретились у табло Ярославского вокзала. Ты была худенькая и высокая под своей голубой дубленкой, и если что я и отметил, так это темно-синий, почти неестественный цвет твоих глаз, про который я подумал, что цветные линзы. Хотя, наверное, сейчас я накладываю твой позднейший (сегодняшний) оттиск, проявленный моей памятью, на более раннее незаписанное изображение, маячившее передо мной в электричке, пока твоя подружка рассказывала, что собирается через месяц в

Америку, потому что выходит там замуж. Только вечером, засыпая, я лениво вспомнил, что ты смугла и у тебя полные губы. Ну и еще, я видел с закрытыми глазами словно стрекозиное мерцание воздуха вокруг тебя, словно вакуумную упаковку, через которую надо было переступить, чтобы... что? «Чепуха», — пробормотал я, проваливаясь в сон. «Мулатка», — отозвалось напоследок... А в глазах стояли акварельные небеса, снег под крепостной стеной, усыпанный воронами, асфальтовая площадь перед входом с ларьками, бабками и туристами, и все это было звонко от весны, как удар в фарфоровую чашку. Я решил, что я честно отработал день и мой питерский друг может быть мной доволен. Я рассказал его ученицам, что мог, про Данте и Сергия Преподобного, мы пили кофе на улице, а потом зашли в «Макдоналдс», а когда они замерзли, в рюмочной я угостил их водкой. Они все время щебетали между собой, и было видно, что для них эта поездка — целое приключение.

Я вложил этот листок в дупло дерева, за домом, в котором я прожил детство. Если ты его сейчас читаешь, значит, ты решилась. Значит, ты выстраиваешь новое настоящее и новое прошлое — одно на нас двоих. Значит, ты приехала в мой южный город и читаешь книгу про нас, листки, которые я столь прихотливо припрятал по самым разным уголкам города, где мы с тобой когда-то провели лучшую зиму на свете (ты ловила снежинки ртом и запивала красным вином в портовом кафе, а моя дрессированная бабочка складывала для нас стихи из первых букв предметов, к которым прикасалась: абажур, роза на спуске к порту, черная, великолепная, статуя в фонтане, ель с огромными шишками наверху, твой великолепный носик на фоне моря с яхтами и чайками, кружочек на географической карте, которую ты разложила на столике кафе, с надписью «Иерусалим», яхта, на палубу которой она опустилась, помавая радужными лопастями, чтобы снова, как в японском трехстишии, — не путай с опавшим листком — вернуться к нашему столику и застыть у твоего локтя), но сейчас мы оба об этом уже не помним. Все эти рассказы спрятаны по местам, среди которых будут самые забавные и неподходящие, такие как ствол пистолета, статуя летчика на подъеме санаторского фуникулера или старый телескоп Луки. Такая смешная получилась книга,

впрессованная в живой город, и твои шаги к каждой страничке тебе тоже приходится проживать, нанизывая на них встречи, вопросы, кофе в кофейнях и билетки в автобусах. Дорогая Арсения, я написал все эти листки еще в нашей прошлой жизни и сознательно кое-что изменил. Немного. Ведь если совсем не корректировать то, что было с нами прежде, то направляющая будущего может оказаться с отрицательной кривизной. Сейчас, когда ты читаешь эти рассказы, мы вполне можем не знать друг друга, и все же мы с тобой предусмотрели обстоятельства, которые сделают нашу встречу почти неизбежной.



Не знаю, помнишь ли ты сейчас, что через пару дней я провожал вас с подружкой на вокзал и, когда на перроне потечески поцеловал сначала ее, а потом тебя, ты, в отличие от нее, подставила не щеку, а рот и задержала свои губы на моих, и я не мог этого не заметить, и, возвращаясь домой в метро, время от времени ощущал привкус твоего влажного faberlic-тепла, которое осталось на моих губах.

А помнишь ли ты сейчас, что, когда мы с тобой встретились, из твоей груди раз в месяц текло молоко, которым ты кормила альфов?

Ангел

Арсения пришла все в том же невидимом никому, кроме него, прозрачном целлофане, от которого после его исчезновения в воздухе остался только легкий хруст, а остальное растворилось без следа. Сначала в домофоне раздался ее голос, потом было слышно, как загудел лифт, и Шарманщик

открыл дверь на площадку, не дожидаясь, пока зазвонит звонок. Она вошла, похрустывая воздухом вокруг себя, выскокая, смуглая. Шарманщик опять отметил, что у его гости полные губы. Он не любил узких губ, потому что боялся их. Он вообще побаивался женщин, и особенно тех, у которых узкие губы, и особенно молодых. Когда ему было пять лет, бабушка сказала ему, смеясь, что узкие губы — значит злая тетьа, а полные, как у мамы, — значит добрая. Он понимал, что это чепуха, однако со смеющейся сорок лет назад бабушкой совладать не мог. Может быть, потому что продолжал ее любить.

Он провел гостью на кухню и стал накрывать на стол.

— Давайте, я помогу.

— Конечно, — сказал он, — конечно.

Теперь она живет в Москве и, наверное, будет заходить к нему время от времени. Почему бы ей и не помочь ему накрыть на стол?

— Как на новом месте? — спросил он.

— Хорошие преподаватели, — сказала она. — Лучше, чем у нас.

— Гнесинка держит планку...

— Знаете, дело, кажется, во мне. Видите ли, скорее всего, Москва — мой город. Когда я сюда приезжаю, я начинаю слышать музыку уже с вокзала.

— Это как? — спросил Шарманщик машинально, аккуратно отвинчивая пробку у бутылки с вишневым соком.

— Она вот здесь, — и Арсения прижала расправленные ладони к подмышкам.

— Можно послушать? — спросил Шарманщик.

— Да, — сказала она. Она так и стояла с плоскими ладонями выставленными из подмышек вперед.

Он подошел, сел на стул рядом, потом приложил ухо к ее груди, отметив, что, слава Богу, она не носит, как все, топа, который обнажает живот. Сначала он ничего там не услышал и решил, что ему мешает зрение. Он прикрыл глаза и прижался плотнее. Какой-то шум, конечно же, был под ухом, но ведь это мог быть шум от того, что он слишком сильно прижался, или еще это мог быть шум от пульса его собственной крови, или от того, что его голова все время шевелилась, и от этого могла шуметь материя ее кофточки.

Через некоторое время он услышал лязганье, похожее на то, когда к составу подгоняют тепловоз, потому что провода, на которых ходит электровоз, здесь почему-то кончились, как например, в Вышнем Волочке, и теперь, после сильного лязганья буферов, спереди пойдет уже другая тяга. Потом на некоторое время настала тишина. Шарманщик уже хотел встать, но в этот миг ему показалось, что далеко, где-то за поездом, метрах в сорока, запела птица. Он даже узнал, какая именно. Серый дрозд. Он попытался его увидеть с закрытыми глазами, но у него это не получилось. Тогда он решил представить человека на перроне, который идет, ну скажем, смазывать или подвинчивать что-то под вагоном, или чем они там еще занимаются. Человек проявился лучше



и почти сразу. В руках у него был фонарь, который раскачивался из детства Шарманщика, когда на тайной станции ночью говорил, ни к кому не обращаясь, гулкий репродуктор и раскачивался фонарь обходчика под вагоном, и от этого под полом вагона ходили тени. Еще пахло цветущей липой, но он тогда еще не знал, откуда был этот сказочный запах. А женский голос с эхом продолжал говорить пустым перронам и загадочным застанционным далям с блестящими рельсами и желтыми и зелеными огоньками, чтобы мастер второго депо зашел в диспетчерскую.

- Серый дрозд, — сказал Шарманщик. — Июнь.
- Слушайте дальше.

Теперь он различил совсем другие звуки. «Не надо, — сказал женский голос. — Ангел, мой, не надо». Шарманщик попробовал снова увидеть, кто там говорит, но на этот раз у него не получилось. Он решил, что событие — из прошлого. Сегодня никакая женщина, даже самых утонченных традиций и воспитания, не скажет своему мужчине «ангел мой». Она даже «любовь моя» сегодня не скажет. И Шарманщик задумался, а как же сегодня женщина говорит слова нежности мужчине, но вспомнить не смог, как ни пытался. Тогда он попробовал вспомнить, как его называла жена, а потом Надя, но снова не вспомнил. Жена, впрочем, называла его одно время каким-то смешным словом, но он уже успел забыть, каким именно, а в общем, он почувствовал себя сейчас совсем безмянным. Поэтому он попытался вспомнить имя своего Бога и не смог. Тогда он сказал про себя, что знает, по крайней мере, как зовут его самого, его зовут Шарманщик. Это было уже кое-что. Был Шарманщик и тот, кого кто-то назвал «мой ангел». А раз это произошло, то теперь можно жить дальше, и он почувствовал, что эти два имени раскачиваются вокруг него, как два фонаря над перроном — один сзади, а второй перед ним. Он отвел голову и снова прижал ухо к груди. Теперь он услышал, как бьется ее сердце, и почувствовал ее грудь на своей щеке. Он вслушивался, потому что пока он вспоминал имя своего Бога, мелькнул и скрылся, словно край сарафана летом, отрывок чудесной мелодии, легкой, неделимой и движущейся сразу в две стороны — по времени вперед и по времени назад, но это была одна и та же мелодия, и, хотя она двигалась в разные стороны, на самом деле было ясно, что это одна сторона. Там, внутри этой мелодии, была какая-то идея, а вернее говоря, какое-то звучание, а точнее, даже не звучание, а что-то вроде шуршания ежика под луной, но не ежика вообще, а того самого ежика, ну ты понимаешь, одного, а не другого, у которого от этого золотые говорящие глаза, и не говори, что от него пахнет мышами.

— А от него и не пахнет мышами.

— Конечно, не пахнет, — сказал Шарманщик, залезая по уши в волшебную разнонаправленную музыку, которая теперь вилась как дым из кирпичной трубы, восходя к

светло-зеленым звездам, а те от этого не делались ни ближе, ни дальше, а просто жили для себя, Шарманщика и всех остальных, и это было самое главное их дело, которого, они, впрочем, не замечали. А музыка была похожа на Моцарта, но только если бы он не играл ее при помощи оркестра, а просто подошел бы к тебе, посмотрел в глаза, и вся она тогда сразу бы и прозвучала. Однако при этом она одновременно тянулась бы все дольше и дольше, все медленней и медленней, пока не остановилась бы и не стала переливаться в другом направлении, обратно. А потом загремела цепь и залаяла собака. «Ты не уходи пока, пожалуйста», — попросил Шарманщик музыку, и Арсения сказала, что она не уйдет. «Я хочу услышать, как набирается из-под крана цинковое ведро», — пояснил Шарманщик, а вокруг лежит снег, которому от роду десять минут. Потом он услышал, как лягнула ручка ведра у барака напротив, а потом вышел толстяк такой ангел — белый, плюшевый как дед мороз и заладил какую-то ахиною: бу-бу-бу да бу-бу-бу. Снег все шел и шел, и Шарманщик, прижавшись к ее смуглой коже ухом, слышал, как он тихо падает у Арсенин в животе.

Приют

Следующий листок Арсенин нашла на чердаке у Луки. Для этого ей пришлось уехать из Петербурга и доехать до самого Адлера, потому что накануне она получила эсмэску, посланную с анонимного компьютера, в которой был обозначен адрес горного курорта. Она и сама не знала, почему она поехала. Просто собралась и поехала, вот и все. С ней такое, к неудовольствию родителей, уже бывало. Правда нечасто.

Поезд шел больше суток, в купе было душно, и в громкоговорители крутилась бесконечная попса. Но вот, приехали.

Посреди Адлера величаво, как фрейлина посреди зала, стояла торжественная весна в серых дроздах, светлой листве и белых барашках моря. Утром, когда она вышла из поезда, было еще холодно, но она не удержалась и уговорила Луку, который ее встречал (она позвонила ему перед отъездом по номеру, означенному в той же эсмэске), и они прошли

прямо на пляж, к морю. Она не видела моря несколько лет и теперь разулась и вошла в воду.

Вода была холодной, и ногам было больно и щекотно от гальки. Пахло йодом и свежестью. Жирная чайка лениво парила на одном месте, раскормленная как крыса. Время от времени ее сносило вбок, и тогда она, капризно шевельнув крыльями, возвращалась на прежнее место. А то место, откуда она ушла, пустовало лишь миг, потом его заполняла другая чайка, такая же раскормленная, но невидимая, потому что была из воздуха.



Сейчас Арсения повернется и уйдет с кромки прибоя, и нишу, образовавшуюся от того, что она выгнула себя из этого шуршащего места и перенесла в другое, осыпающееся, тоже заполнит фигура — другая Арсения, не менее, а может быть, и более прекрасная от того, что ее никому не видно и у нее нет костей, которые когда-нибудь станут старыми,

а потом сгниют и распадутся под землей, и нет волос, которые тоже выцветут, и нет глаз, обреченных в конце концов потускнеть и высохнуть. Но в том дело, что та Арсения, которая неподвластна этому процессу, не из пустого места появилась, а возникла из той Арсени, которая уязвима временем и тлением, а значит, без тленной Арсени нетленная существовать не смогла бы. Больше того, именно тленная Арсения родила из себя ту, вторую, нетленную, а значит, та вторая каким-то, пока что неведомым образом жила в первой, и не она одна жила, а сколько угодно. Золотые дукаты и цехины воздушного нетления, непорочное сияние вечных мест и уст, сгущенный свет и мед бриллиантового светоносного лона, бога Зевса и деву Леду — вот что носила в себе сейчас Арсения, закинувшая сумку через плечо, шагая вместе с милиционером Лукой к автовокзалу и остановке автобуса под обшарпанным рыжим кипарисом, чтобы вечером оказаться в домике в горах и разыскать очередной рассказ о себе и Шарманчике.



И она его нашла.

Действительно, на чердаке у Луки стоял телескоп на треноге, нацеленный в небо, а в дальнем углу среди коробок из-под пива и спирта Royal валялся футляр от главной трубы. Внутри был листок бумаги и маленькая кассета из тех, которые обычно заряжают в автоответчик телефона. Там же

было и маленькое зеркальце с металлической ручкой. Когда Арсения посмотрела в него, она увидела свой затылок. И сколько бы она ни крутила его в руках и ни наводила под разным углом, в нем все равно отражался в различных ракурсах лишь ее затылок — темно-русые мелко выющиеся пряди с черепашьим бабкиным гребнем. Как работало устройство, она не смогла понять и решила спросить у Луки, но, когда он взобрался на чердак, она спросила его не об этом, а о другом.

— Кто положил сюда этот листок? — спросила она.

— Не знаю, — сказал Лука. — Первый раз его вижу.

— У вас есть знакомый в Москве? — спросила она.

— Конечно, — признал Лука. — У меня в Москве есть много знакомых. Про какого ты спрашиваешь?

— Его Шарманщик зовут.

Лука только сопел.

— Вот это его почерк? — она протянула ему записи Шарманщика.

— Не знаю, — сказал Лука, вглядываясь в листки, выдранные из школьной тетрадки в клеточку.

— А он про вас знает. Знает, что вы на свидание с ангелом ходили. Или с бабочкой.

— Многим рассказывал, никто не верит. Больше не рассказываю. Ты откуда знаешь?

— Прочла.

Этот листок, где написано, как Лука ходит в горы, чтобы встречаться с королевой бабочек, Мэб, Арсения нашла по счету третьим. Он лежал в огромном альбоме Леонардо у нее дома.

— Ну хорошо. Так мне можно у вас пожить два-три дня?

— Живи. Пойдем, покажу твою комнату.

И вот что было в листках. Там было не про него и Арсению. И не про Арсению. Про другую женщину — мать Шарманщика.

Самое страшное было — уходить. Она стояла и смотрела мне вслед своими детскими голубыми глазами. В этом больничном наряде — чистой, но чужой какой-нибудь кофты, совершенно нелепой, ни с чем не сравнимой, с нелепой короткой стрижкой, в плотной, негнущейся и тоже чужой юбке. Главное было не оглянуться на пороге железной двери, которую потом за ним зачем-то запирали, главное было

вот это. Но Шарманщик каждый раз шел к двери по длинному коридору мимо телевизора, стоящего у окна в фойе, и сидящих перед ним на стульях и диванах в чехлах чудовищных сумасшедших теток, почти все седых, шел, их всех жалея, сдав ее на руки медсестре или одной из ее полусумасшедших подружек, которых, впрочем, мать никогда не узнавала, но они ее отличали, — шел, чуя ее присутствие за спиной, заплетаясь взором по обоям и дверям палат, шел под неслышную музыку, состоящую из каких-то воплей испугавшейся малолетней дурочки со слонявым ртом, нехорошего своего дыхания, мяуканья невидимых кошек, процарапывающих ему душу до дна, шел, чтобы мелким орфеем с неизбежностью кошмарного сновидения прямо в дверях все-таки обернуться и — увидеть, как она стоит там, посреди коридора под электрической лампой, и смотрит ему вслед, губы ее шевелятся, а глаза светятся как бледно-синие лужицы. И нечесаная подружка с нелепым волевым лицом поддерживает ее за локоть и тоже смотрит... Теперь надо было выдохнуть, спуститься с лестницы, пройти мимо толстого и седоусого вахтера, сидящего за телефоном, и выйти на асфальт с сосновым бором, прямо впритык к подъезду. На подъезде надпись — «Психоневрологический интернат». Миновать асфальтовую тропку, ведущую к воротам, сами ворота, свернуть направо к газовым трубам, испещренным матерщиной и цветными граффити, тянущимся поверх земли, мимо трансформаторной будки или там котельной и лишь тогда разрешить плечам вволю трястись, а слезам — катиться.

И сколько он ни зарекался, не оглянуться не выходило. И если возраст Евридики, которую в великих операх мира и на всех его континентах Орфей регулярно терял перед самым выходом к свету, так почти и не расслышав ее голоса, если ее возраст и не был нигде обозначен, то мать с каждым визитом Шарманщика и с каждой его прощальной оглядкой молодеда и хорошела. Не теряя старческой ауры, в морщинах и с незаживающей раной на носу — следом не очень удачной операции с применением жидкого азота, не теряя этого облака прежней жизни, а вернее, этого скрутившегося осеннего ее листа, облика — жалкого, старческого, растерянного каждой чертой, кроме, пожалуй, голубых вни-

матерных глаз, в которых плавало синее небо, — так вот, не теряя этого выцветавшего призрачного одеяния итоговой жизни, в которой она была старухой, примерно такой, как и все остальные дожившие до восьмидесяти с лишним лет, — не утратив этого облика до конца, она просвечивала сквозь второстепенную свою оболочку новой, почти нестерпимой красотой, схожей по контрастной своей невозможности лишь с лунными русалками Гоголя. И чтобы окончательно не сиять, Шарманщик гнал от себя этот бледно сияющий, как огонь на солнечном свете, почти прозрачный образ, пытаясь сосредоточиться на более привычном, хотя и нестерпимо жалком ее обличье, ведущем к спазмам, соплям и реву. Но чем больше он пытался сосредоточиться на ее морщинах, живом мясе на крыле носа, на рте без потерянных в больничных лабиринтах верхних вставных зубов, чем больше он фокусировался на ее неленой девичьей прическе (густы были волосы, обкорнаны, прекрасны), чем больше он объяснял ей, что его зовут совсем не так, как звали его отчима и ее мужа, который об эту пору давно уже помер и чьим именем она его упрямо называла, — тем вернее эти старческие и маразматические приметы ускользали от него. И тем сильнее сияла ее несравненная, цветущая красота, превышающая даже ту, которую он видел на фотографиях матери, где затвор запечатлел ее в окружении академиков, лауреатов Сталинских премий, профессоров и космонавтов, ибо красота эта (ставшая причиной ее главной беды — или он это сам придумал?) долго не хотела ее покидать. И вот теперь она расцветала страшным превышающим старость и смерть цветом. Он видел чуткую девочку восемнадцати лет с глазами цвета васильков во ржи, с белоснежной и хрупкой шеей, никогда не хотящей поникнуть, и легкой походкой, разбивающей чашками колен колокол юбки, влачившей вдоль неутомимых ног бледные отрешья влажного света.

Он не был уверен, не был, что она всегда не понимает, кто она такая, как ее зовут и где она оказалась. Ведь она могла понимать это в какие-то другие минуты, например тогда, когда его не было рядом. Хорошо, что он ничего не знает об этом, а может только догадываться и сомневаться, сильно надеясь при этом, что это все-таки не так.

Рисковый человек

Шарманщик думал про Брейгеля, про его Вавилонскую башню. А что если это ад, вывернутый к небу? Потому что если ад у Данте — воронка с разными причудливыми персонажами, начиная с тех, кто ничего не совершил в жизни из-за своей малости и нерешительности, и заканчивая тем местом, где в Коцит вмерз Сатана, то там же есть такая точка, где все переворачивается. Она расположена на голове как раз Сатаны, прямо посреди его косматой головы или где-то на другом косматом месте. Он не мог точно вспомнить, где это место, но это было неважно, а важно было то, что Вергилий и Данте, достигнув этого места на теле Сатаны, чтобы двигаться дальше, теперь переворачиваются вверх ногами, а если они это делают, то в этой точке и ад должен тоже, может, явно, а может, и не очень явно, а по большей части невидимо перевертываться, выворачиваться наизнанку и вверх ногами. А вот место, где это выворачивание видно, надо еще поискать. «Хотя, конечно, с этим лучше не связываться без надобности», — подумал Шарманщик, но рассуждения все же продолжил.



Раз мы что-то представили, оно существует. Вот только где и когда? Но вот Брейгель понял, что вывернутый ад вполне может обозначить свою гигантскую воронку вверх ногами где-нибудь на земле. (Код к этой задачке он оставил, если внимательно взглядеться в изображение, заложив его в форму облака слева от вершины башни, и форма эта воспроизводит как раз воронку «правильного» ада, от которой отталкивается земная, а вернее, надземная башня). И если

первый ад был полым, то вывернутый должен быть тяжелым и заполненным. И если там, под землей, наверху были ничемные люди и ангелы, не способные ни на добро, ни на зло, такие все сплошь чеховские персонажи, а внизу вмерзший в лед Сатана, то в Вавилонской башне ничемные будут в самом низу, рядом с морем, пристанью и кораблями, там, где плоскость башни распространяется по земле и ее городам, упертым в эту землю и эту плоскость, а Сатана на самой ее вершине — там, где начинается небо с облаками.

«Так-так, — заволновался Шарманщик, — и что же тут получается такое, что из этого следует в таком случае?» А следовало из этого вот что. Из этого следовало, что большинство людей — ничемные, раз они находятся вровень с низом башни. И города их — лишние и чеховские. И плоды рук их ни к чему не приводят, и могут они что-то делать или могут ничего не делать — это все равно, потому что ничего в действительном мире они сделать не в состоянии. И именно из них-то и состоит в основном весь народ земли. А выше всех на такой земле (а что, разве есть какая другая?) находятся предатели — те царят прямо рядом с Сатаной, под облаками. И если в аду обыкновенном он их пожирает, то в вывернутом ласкает и наделяет всяческой властью, вызывающей зависть у тех, кто ниже. А кто ниже — насильники, убийцы, дающие в рост, то есть продающие деньги по Марксу, все банки, весь большой бизнес — начиная от российского газа и нефти и кончая израильским оружием, потому что ныне все это идет через банки и деньги, хочешь ни хочешь, становятся товаром, а значит, все дающие в рост — компания очень современная и многочисленная, и отсюда выходит, что не только венецианский Шейлок виноват, потому что брал в рост, покушаясь на кусок живого мяса прямо из твоего тела, а и современные евреи и гоим виноваты не меньше. Потому что они не только покушаются, но уже и отрывают. От земли и от людей поочередно.

А если зайти с другой стороны, снизу, то там будут парить над землей на высоте примерно десятиэтажного дома Паоло и Франческа, нарушившие запрет недозволенной любви. И Шарманщик порадовался, что хотя тут и есть много тонкостей с этим вывороченным миром и иерархией греховности, но все же, если отложить их на время в сторону то ясно вид-

но, что убитые некогда за свое чувство любовники здесь парят, окрыленные своей преступной любовью, выше земли и



выше голов других, не столь преступных, но зато и невлюбленных. И конечно же, парят они не только выше земли, но и — расширяясь от башни, уходя от нее на любое желательное расстояние, потому что раз это выворотка, то все, что в невывороченном, обыкновенном, аду помещалось внутри, здесь должно разместиться снаружи. Причем граница этого размещения, там где вывороченный мир соприкасается с нашим, обыкновенным, должна пульсировать и искривляться. Пульсирует она туда и сюда примерно так, как большие качели, или даже медленнее и прозрачнее, как, скажем, океанские приливы и отливы. И там, где край вывороченного мира встречается с невывороченным, должны случаться загадочные вещи — рождаться гении, пропадать люди и города, время идти назад, зачатие делаться непорочным и царить чистая вероятность и бессмертие. В этих местах существует бесконечное количество вариантов для любой жизни и судьбы, причем сразу и одновременно. И тот, кто стоит на этой границе, очень легко — интуитивно он чувствует это — может выбрать любой из них прямо сразу и без

всяких хлопот или обычных трудных усилий. И ангел прошептал Шарманщику в этот момент, а как это случилось, Шарманщик так и не понял, прошептал, что некоторые выбрали деньги, некоторые — поход на Россию и право на свою собственную Французскую империю, некоторые (люди невероятной внутренней силы) — Тайную Вечерю в Милане или театр «Глобус» в Лондоне, но никто не выбрал — любви и счастья. «И знаешь почему? — прошептал, изогнувшись

с неба, ангел в ухо Шарманщику. — Потому что несчастье — ваше сокровище. И вы слышь выбираете его».

И Шарманщик как-то сразу поверил ангелу. Потому что однажды, когда его сбил грузовик и он упал с велосипеда и разбился насмерть, душа его чуть не улетела на небо навсегда, но вот такой же точно или даже этот же самый ангел присел на втулку вращающегося колеса, опрокинутого в кювет, и позвал его далеко ушедшую душу. И душа Шарманщика сдернулась с неба, вернулась обратно. С тех пор он уважал ангелов и верил в них.

И еще Брейгель понял, что, находясь теперь на вершине башни под облаками, Коцит размерзся, и там, где он находился, на самом верху Башни, забил источник. Имя ему Майя, Иллюзия или Цитата. Воды его сбегают с боковин башни бесшумными и прозрачными каскадами ярусов и пилонов, и потом распространяются по всей земле как прозрачное стекло, прощающее для людей, кораблей, ласточек и травы. И когда их потоки достигают людей и их душ, то люди перестают жить своей собственной глубокой жизнью, которая рождается в собственных их душах и в собственном источнике живой и ни на кого другого не похожей жизни, и начинают жить не там, а на своей поверхности, совершив выворотку вслед башне. Теперь они живут не своей жизнью и умирают не своей смертью, а — подражая. Сначала богатому соседскому мальчику, потом успешному юристу, или психологу, или президенту, или неважно кому. Богатой проститутке или бедному поэту (что почти вывелось. Имею в виду подражание поэту). Или благородным убийцам, заполонившим телеэкраны, или стерве, которая гордится тем, что стерва не кто-то там вдалеке, а именно она сама — стерва. Или даже еще кому-то, еще не очень конкретному, но кого можно цитировать точно так же, как одна из башен-близнецов цитировала другую, пока обе не сторели и не развалились. Люди боятся собственной уникальности. Они стремятся не создать свою жизнь изнутри, а повторить снаружи, процитировать то, что было сказано до них. А сказано было до них, что мир зол, что всем вечно всего не хватает и никогда не хватит. Что в поту и труде. Что в скорбях. Что ты умрешь. Что другой тебе враг. Что богатый прав. Что счастья не бывает. Что мы не боги, а черви. Блажен обокравший.

Убей, а то проиграешь. Не будь дураком, солги. Посылай на хер. Подставляй что надо кому надо. Забей на подробности — возьми прайс. Сотвори бизнес. Пройди кастинг. Соверши шопинг. И отъебись от нас, ради Бога, отъебись поскорее.

И сколько бы Иисус, например, или другие пророки ни утверждали обратного, их слова цитируются, но в расчет не берутся. Потому что Цитата позволяет себя использовать так, чтобы сильнее вогнать тебя в землю праха. Это и есть ее настоящая цель. Но даже земля праха — иллюзия.

Земля Сеннаар

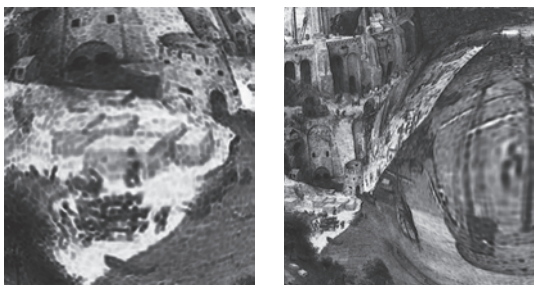
Потом он взял в руки веер, подпрыгнул на месте, и указал кончиком веера на станцию метро «Калужская». Там он и очутился. Причем лицо его было раскрашено в красные полосы, что в театре Кабуки означает силу и добрый нрав. Потом он закрыл глаза и взгляделся в зеркало, воображаемое им точно так же, как веер и красные полосы на щеках. Он вглядывался в себя, в свое отражение и настраивался на то, чтобы рассказать матери в приюте какую-нибудь историю, а потом помолиться рядом ней вслух. Потому что, когда он молился, она, ничего до этого не понимавшая, вдруг начинала слушать, лицо ее светлело, и она слушала внимательно, лишь изредка приговаривая: хорошо! как хорошо! Он закрыл глаза и от этого оказался в темноте своего Я. Там он еще раз повторил все движения — они были безупречны, пластичны. Хор уже начинал наигрывать свою волшебную музыку. Ему теперь не требовалось никаких сил, чтобы все нужные движения произвести и нужные слова сказать, и от этого матери станет светлее и лучше. Хотя, конечно, выйдет так, что это будут другие слова, но он все равно будет верить вопреки очевидности, что для них ему не надо никаких специальных сил. Как Единорогу, бабочке или самокату.

Он снова открыл глаза. В сумке бултыхалась бутылка кока-колы и лежала шоколадка с изюмом «Альпен-Голд». Сначала он по неопытности приносил всего много, но мать никогда не помнила, что у нее в холодильнике что-то лежит, да и про сам холодильник она тоже не помнила. Поэтому она ела с рук. Все, что можно съесть сразу, не откладывая.

Спуск к больнице он прошел быстро, как Мирон с его Дискоболом, миновал усатого вахтера — сразу запахло кисловатым, неприятным запахом щей — тот переписал уже, наверное, в сотый раз слова с его паспорта в свою гостевую книжку и пропустил. И вот эти слова:



На всей земле был один язык и одно наречие. Двигнувшись с востока, они нашли в земле Сennaар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высоту до небес, и сделаем себе имя,



прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех

язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли и оттуда рассеял их Господь по всей земле.

АЛФАВИТ ИВРИТА		
ג 3 гíмэл	ד 4 дáлет	ה 5 há
ח 8 хэт	ט 9 тэт	י 10 йод
מם 40 мэм	נן 50 нун	ס 60 сáмэх
צץ 90 цáди	ק 100 коф	ר 200 рэш

Пусть зрение впереди языка, как какого-нибудь марафонского бегуна, чтобы оно успело сбежать вверх и вниз, оббежать башню по и против часовой, и обдиралось о кустарники и цеплялось за сучья, и отдыхало на океане с парусами, которые внизу. А на корабле на мачту лезет маленький матрос, и давайте посмотрим на этого почти незаметного, почти что нулевого матроса, который тем не менее, не вдаваясь ни в какие соображения по поводу своей мужиной, мелконасекомой малости, все же лезет туда, куда ему надо, и с того места, где он находится, уцепившись за веревочные перехваты лестницы, высота для него очень даже немалая, и если оттуда сорваться, то кончится плохо. А вместе с ним лезет вверх целый мир и судьба — например, его семья, которая осталась на земле далеко отсюда, а он отдельно лезет

на мачту, а семья его живет совсем в другом городе и, возможно, сейчас слушает какую-нибудь музыку, если праздник, или в церкви, или мать, например, кормит ребенка грудью и учит говорить «папа», а у того тоже целый мир перед глазами, и все ангелы летают как бабочки, белые, бескрайние, веселые. И если этого матроса никто и не видит, то он, конечно, все равно видит в памяти, как они прощались, и в воображении, как они встретятся.

А потом взгляд-солдат-марафонец огибает башню и старается не цепляться за отдельных людей, а добраться с разгона до верха, но вновь ничего не получается, потому что он застревает на крошечной фигурке, которая мочится на глыбу белого мрамора, а потом на другой, которая разворачивает повозку то ли с дровами, то ли со строительным материалом. Но все ж поднимается взгляд до тех высот, где смешиваются языки, и слышит там разные вещи — и радостные, и печальные, но слов не понимает, да и зачем взгляду их понимать. Вот стоит Нимрод-Царь, а вот рядом с ним в ногах его валяется бригадир строителей, должно быть, хочет сказать, что работы накрылись, но Нимрод его все равно уже больше не поймет, а поймет каждый лишь то, что он думает сам, и для него это теперь самое главное. А что вы делаете здесь, ребятушки? А делаем мы здесь себе имя. Да как же, ребятушки, вас понимать? Как это имя можно себе делать, каким, объясните, нам, русалкам-загадкам, образом, пожалуйста. А мы и сами не знаем, как это происходит, но только будет оно, это имя, как царица русалок — большое, чешуей под солнцем блестящее, выпуклое и грозное. А мы будем в него входить и выходить, и уже никогда нас не забудут на земле, что бы с нами потом ни случилось, кого бы ни рассек враг саблей или, например, ужалила змея, или просто от старости помер, а имя все будет стоять, чешуей блеснуть под солнцем да глазами смотреть на землю и птицам повелевать да червякам в гробах и на пахоте. Так, значит, вы до конца не умрете, ребятушки, а в имени жить будете? Только вот непонятно, как мы с вами разговариваем, потому что ни вас нет, ни нас, а просто ветер над дырой воет. Что ж за дыра-то? А кто ж ее знает, что за дыра. Такая дыра, что лежит она в поле меж вами и нами, а рядом растет дерево. И если ближе подойти, то видно, что и поля-то нет, ни дерева, а только

дыра есть, да словно в ней шепчется кто-то. Так-то ребяташки! Хорошо, русалочки. Стоять граду Вавилону вовеки!

А потом взгляд-вестник улетает в небо, где крошечные птички кружат над похабным колоссом, разросшимся вдоль и поперек, разжиревшим от языковой энергии и жиревшим бы и дальше, если бы не усох один огромный красный язык, высунутый из земли небу, и не раздвоился-растроился-размельчился на тысячи маленьких, позанырнувших обратно всем строителям и горожанам в их рты, чтобы понимал каждый свое, а не чужое, чтобы башня перестала жиреть и осталось бы место, чтобы летать птицам и плавать как дирижаблю одному важному на все века слову, которое они перестали различать.

— Зинаиду Николаевну позовите кто-нибудь! Зинаиду Николаевну, к ней сын пришел! — кричит подруга матери в глубину коридора, откуда несет кислятиной щей и где сидят сумасшедшие тетки, уткнувшись в телевизор, а мать там никогда не сидела, сколько б он ни приходил. Тогда от ее крика толстая девка начинает кричать басом без слов, и к ней подходят две тетки из больных и пытаются ее уломать, но та ни в какую. Потом она как-то замолкает, а к Шарманцику застенчиво подходит одетая в темное платье молодая сумасшедшая, ничем не отличная от десятка его знакомых, особенно в то время, когда он жил в доме художников, среди художников и художниц, которые выглядели не менее, а, наверное, более сумасшедшими, чем эта женщина, особенно по вечерам, когда их пьяные мужья возвращались по коммуналкам. Она просит у него сигарет, и он лезет в карман, достает пачку и в который раз пытается отдать ей все целиком, но она отнекивается и, стесняясь, достает три штуки, зажимает в кулаке и быстро отходит.

Потом в глубине коридора появляется мать, которую по бокам торжественно ведут две преданные тетки, а она всматривается вперед, все всматривается, пока не увидит его. Она, конечно, не сразу понимает, кто это, и лицо у нее какое-то время напряженное и растерянное, но потом испуг проходит и она улыбается. Поняла, что кто-то для нее хороший пришел. Он берет ее за руку, целует, прижимает к себе ее худое тельце, стараясь не задеть щекой кровоточащее крыло носа, потому что только задень и польет, и ведет ее

за железную дверь, на лестничную площадку, где стоят два пластмассовых стола и несколько стульев.

— Это мы куда идем?

Там он усаживает ее за один из столов, садится напротив, лезет в сумку и достает кока-колу и шоколад, вынимает два пластмассовых белых стаканчика, разливает шипучку, разламывает плитку и раскладывает кусочками по фольге.

— Это, как это, все, все это, — говорит она и смеется, и он понимает, что она говорит, что рада, что все так вкусно и приятно, что он позаботился и устроил настоящий праздник.

— Кушай, мама, — говорит он.

Она берет кусочек шоколадки, кладет в рот и сосет.

— У тебя все хорошо? — внезапно спрашивает она светским тоном.

— Все хорошо, мама!

Потом он видит, что она напрягается, держит ускользящую от нее паузу сколько может, ежесекундно забывая для чего, но с огромным трудом возвращая утраченную память к этой очень важной для нее вещи, потому что, если не подавать виду, как это важно и невыносимо, то судьбу можно будет заговорить, обмануть еще раз, и она еще раз поддастся и выпустит. И тогда, собрав все свое мужество, ежесекундно вместе с разьежающимися во все стороны мыслями просыпающегося на землю, мать спрашивает.

— А когда меня заберут отсюда? — спрашивает она.

И он начинает врать, что скоро. Потом рассказывает какую-нибудь чепуху про свою подружку, мать слушает и смеется.

— И значит, все, пусть будет все хорошо! — говорит она заученно бодрым голосом, автоматически заклиная судьбу, которую заклинать ей удавалось десятилетиями, пока та не заклала свою состарившуюся дочь и не привела сюда на привязи.

— Скажите нам, русалкам-гадалкам, говорят они, подпевая, пошло ли ваше имя за вами? Пошло оно за нами, расписное, из Wrigly Spearmint сделанное, из чуда-юда, кока-колы, халвы и праздника. А вот мы забыли свои имена, говорят русалки. И мы забыли свои, — говорят строители и матросы, глядя, как отдаляется от них земля и небо. Ну и ладно, говорят русалки и, изогнувшись млечным своим те-

лом, белой сверкнув малою грудью с сосцами-звездами, сияющий след в волне оставляя и брызги — в воздухе, уходит в изумрудную глубину, где их не увидеть даже матросу со своей высокой мачты.

— Ты уже уходишь, Миша? — встревожено спрашивает она, называя его именем отчима, глядя, как Шарманщик застегивает молнию на сумке.

— Пойдем, мама, — говорит он, — я никуда не уйду.

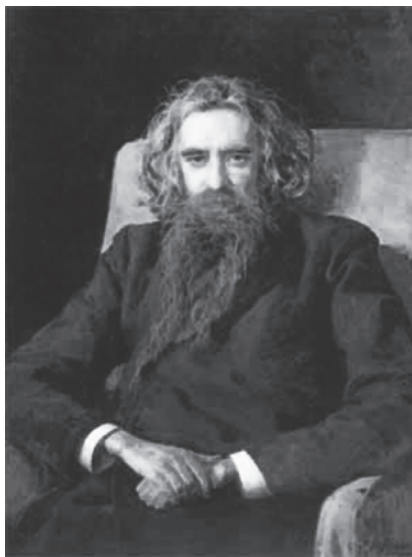
— Ты не уходишь?

— Нет. Пойдем, — и он вводит ее за железную дверь в коридор с полоумными тетками и, отыскав материну подружку, оставляет ее с ней. Теперь самое главное — снова дойти до железной двери, скользя слепыми предательскими глазами по обоям, номерам палат, по линолеуму пола, и не обернуться назад, потому что Шарманщик знает, что они там обе стоят посреди коридора и смотрят ему вслед. Две старухи, одна чуть повыше другой. Она все забудет через минуту, и то, что ты приходил, и то, о чем вы говорили. Ты сделал все, что мог, все. Иди. Иди, не оборачивайся. Но он знал, что обернется.

Сатир

Прежде чем Владимир Сергеевич подрался с бесами на пароходе, пострадав от этого более физически, нежели нравственно, с ним случилось много странных и смешных событий, так сказать, подготовивших этот злополучный эпизод. Конечно, я не все знаю, и часть его фантастических походов доходит до меня лишь со слухов, из третьих рук, но некоторым из них я сама была свидетельницей, а хорошо зная этого человека и уважая его, прежде всего как друга моего мужа, я интуитивно чувствую, что действительно имеет отношение к его незаурядной, хотя и во многом преувеличенной личности, а что, скорее всего, является достоянием молвы. Поэтому в битву на пароходе, в которой участвовал наш философ с одной стороны и несколько чертей — с другой, я верю. Говорят, что он выбежал на палубу из своей каюты совершенно в диком состоянии — всклокоченный, с по-

рванным сюртуком и сверкающими глазами. Одним словом, бесам он не дался, хотя тут же, на палубе, и повалился в глубокий обморок. Не знаю, чем он их взял, словом или делом, но нечистые твари отступили от рыцаря Пресвятой Софии, нанеся ему лишь незначительный урон. Впоследствии он рассказывал, что швырялся в них корабельным обиходом, всем, что подвернулось под руку, а также творил специальные молитвы и заклятия и злонамеренное воинство сгнуло, не выдержав обстрела. Но, судя по тому, что В. С. все же убежал из каюты, я склонна думать, что все было несколько мрачней и трагичней, чем в его передаче.



Виктор Николаевич поинтересовался, как выглядят адские твари, и В. С. выпучив глаза пропрыгал несколько шагов по зале, а потом расхохотался и перевел разговор на другую тему. Думаю, что все могло кончиться намного печальней, но, вероятно, за человека, терпящего бедствие и известного своей непреклонной верой в Создателя, вступили дружественные силы, и все закончилось, слава Богу, благополучно. Виктор Николаевич утверждает, что В. С.

вполне беспомощен в быту и беззащитен перед самыми заурядными обстоятельствами, но я думаю, что это не совсем так. Другой человек на его месте давно бы пропал или сменил область деятельности. Ведь Владимир Сергеевич начал блестящую карьеру в Московском университете. Диссертация его не только вызвала большой шум, но и была отмечена старейшими профессорами как исключительно незаурядное событие в ученом мире. Перед ним были открыты все дороги. Но какая-то исконная нелюбовь к размеренной жизни, без которой так трудно создать что-либо стоящее в науке и оставить след в анналах отечественного просвещения, взяла вверх, и начались события одно другого невероятней. Владимир Сергеевич отошел от кафедры и предпочел жизнь среднюю между жизнью цыгана, дон-кихота и клоуна. Ум свой блестящий он понемногу разменивал на странные статьи, вызывающие отчасти возмущение читающей публики, отчасти почитание и отчасти удивление; профес-



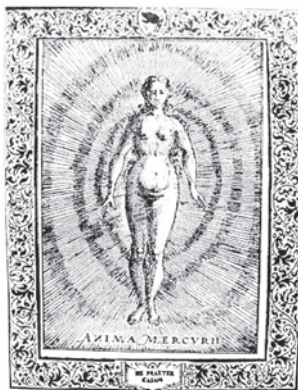
сия журналиста пришла взамен докторской кафедры, и он начал свои бесконечные поездки по всему свету, одновременно создавая невероятные проекты по переустройству жизни на земле. Он написал письмо нашему государю императору и одновременно второе, которое отослал Римскому Папе, призывая их объединить свои усилия в создании теократического государства. Говорят, что Папа, получив письмо, лишь сказал: «Это было бы так прекрасно, если бы только было возможно!»

Нет, не думаю, чтобы В. С. был так уж беззащитен и уязвим, как рассказывает о нем мой муж, человек добрый и обходительный, друзьям же преданный по-особенному. Когда-нибудь и я расскажу (и я совсем не собираюсь откладывать этого в долгий ящик) то, что знаю о Соловьеве сама, а не от людей. Я запишу подробно наши разговоры, пусть лишь для себя одной, и расскажу про все те тайны, которые он мневерял и свидетельницей которых я отчасти являлась, а также про те противоречивые и пылкие устремления возвышенной и не всегда отдающей себе отчет в реальной жизни, но благородной души, кои так занимали его незаурядный ум в то лето, когда он снял дачу здесь же, неподалеку от нашего Знаменского, в Морщице, чтобы, как он выразился сам, «иметь счастье видеть вас чаще, чем прежде».



Его смех... Виктор Николаевич говорит, что обсуждать его неприлично, а я считаю, что неприлично как раз смеяться смехом, от которого прислуга начинает заикаться, а прохожие на улице оглядываться. Ну что ж, ежели наградило тебя естество таким сатирическим, я бы даже сказала, паническим (от слово «пан», что по-гречески означает «все») смехом, возьми себя в руки и одолей естество. Паническим смехом смеялись боги на Олимпе, когда им показали новорожденного младенца, сына Дриопы и Гермеса, появившегося на свет лохматым и рогатым, но то, что дозволено Юпитеру, не дозволено нам. К тому же то был Сатир, исчадие чащ, преследователь нимф и бог плодородия, а не доктор философии.

Про Владимира Сергеевича ходит столько легенд и анекдотов, что некоторые из них я просила его мне разъяснить. Для того хотя бы, чтобы отличить, где правда, а где вымысел. Потому что некоторые правдивые истории из его жизни больше напоминают выдумку, в то время как при уточнении всех обстоятельств, им сопутствовавших, выясняется, что они-то и есть совершеннейшая правда, с ним происшедшая. Например, многие называют его поклонником Софии и обращают внимание на то, что все его светские увлечения так или иначе связаны как раз с теми дамами, которые носят такое имя. Некоторые его научные труды, больше похожие на фантастические истории, также посвящены этому имени и этой Личности. Я попросила В. С. объяснить мне, каким образом человек может общаться с Софией Премудростью, Вечной Женственностью. Каким образом молитва к святой Софии отличается от молитвы к Богу и разве надо отличать одно от другого. И вот что он мне ответил: «София Премудрость — это мы с Богом, как Христос есть Бог с нами. Понимаете разницу? Бог с нами, значит, он активен,



а мы пассивны, мы с Богом — наоборот, Он тут пассивен, Он — тело, материя, а мы — воля, дух». Я долго размышляла над этим объяснением, но, кажется мне, ничего не поняла. То ли изложено наспех, то ли я опять сталкиваюсь с тем в нем, что для меня непонятно и непривычно. Лев Николаевич Толстой в своих письмах ко мне выражается понятней и

проще. Я попросила разъяснения, и В. С. сказал мне, что София, Вечная Женственность, появляется тогда, когда наше отношение к Богу активно, а Он занимает пассивную сторону. Вот тут-то и появляется на свет его женственное качество или ипостась — София. Философ помолчал, а потом яростно, как мне показалось, добавил: «Когда вы одеваете платье, платье для вас София, прекрасная женственность, вас облегающая, а когда на вас одевают платье, то для него вы — София, позволяющая ему сиять, шуршать и виться». И тут он расхохотался своим неприятным смехом. Надо ли упоминать, что от него, как всегда, пахло скинидаром, будто из столярной лавки.



Пришла нянька, зовет к детям, с которыми сегодня нет сладу, поэтому я оставляю мои записи до завтра. А завтра я наконец-то скажу самое главное и мало кому известное о нашем знаменитом философе, и сделаю это, отплясывая вальс, а то и мазурку пером по бумаге, с удовольствием, благоговейным обмиранием и без прикрас.

Святой

11 ноября 1875 года в каирской гостинице «Аббат» появился странный господин. Из записи, сделанной в гостиничной книге, явствовало, что господин этот приехал в Египет из Англии, но англичанином тем не менее не являлся.

Напротив того, российский подданный Владимир Сергеевич Соловьев прибыл в Каир для изучения арабского языка и в связи с этим занял номер на втором этаже. Портье, отнесший собственноручно тощий чемодан клиента к нему в номер, вернулся за конторку и застыл там в некотором раздумье. Раздумье это, начавшись с небольшой паузы, во время которой жирные мухи безнаказанно атаковали лоб, нос и щеки ушедшего в размышления портье, грозило затянуться, что и произошло в скором времени по неведомой причине, поразившей воображение многоопытного служащего гостиницы «Аббат». Причина же эта прежде всего заключалась в необычной внешности постояльца, которую месяцем позже опишет некий господин де Вегюэ, встретивший Соловьева на квартире своего соотечественника, куда русский путешественник по старому знакомству, случившемуся еще в России, заглянет. В своем письме на родину де Вегюэ дает портрет человека, явно поразившего его воображение.



«На этот раз, — пишет он, — Лессенсу удалось выудить где-то в Эзбекии молодого русского, с которым он нас познакомил. Достаточно было раз взглянуть на это лицо, чтобы оно навсегда запечатлелось в памяти: бледное, худощавое, полузакрытое массой длинных вьющихся волос, с прекрасными правильными очертаниями, все оно уходило в большие, дивные, пронизательные, мистические глаза... Такими лицами вдохновлялись древние монахи-иконописцы, когда пытались изобразить на иконах Христа славянского народа, любящего, вдумчивого, скорбящего Христа».

Но пока что еще никто не описывал в письме внешности молодого философа, приехавшего в Каир якобы для изучения арабского языка, и приоритет в этом деле, пальма, так сказать, первенства, должна быть по праву вручена портье из гостиницы «Аббат», который если и не на бумаге, то во всяком случае в уме, не менее хватком, чем иной почерк, набрасывал сейчас портрет новоприбывшего и делал это с величайшим тщанием и искусством.

Увлекательное занятие это увело его столь далеко, что одна из мух, почувствовав себя хозяйкой расположенной под ней площадки, важно совершила свой мушиный променад по его багровому пористому носу, вниз и вверх, и тоже застыла, но не в размышлении, а в полном удовлетворении, потирая от избытка жизни выставленные перед собой две кривые лапки, а вторая, пожужжав для приличия, уселась портье на верхнюю губу. Тут же случившаяся приبلудная сучка, с глазами как две перезрелые вишни и с целым музеем животных в пыльной свалившейся шерети, боязливо поглядывая на застывшего во внезапной медитации араба, протащила как-то боком по стенке и не торопясь стянула со столика за конторкой целую жареную рыбу — весь его ужин на сегодняшний день, причем сразу вместе с тарелкой, которая свалилась сначала на голову сучке, а потом и на пол, но по непонятной причине осталась цела.

Трудно сказать, сколько времени простоял там араб, но то, что рядом с ним в этот момент на конторке лежала книга для гостей в темно-коричневом полопавшемся от старости переплете, — вещь несомненная. А значит, была вероятность, что в конце концов задумавшийся портье каким-то образом все же наткнется на нее взглядом и, в силу увиденного, вернется наконец к своим прямым обязанностям гостиничного сторожа и летописца и не погибнет, так сказать, для истории.

Некоторое время русский путешественник пробыл в Каире, совершая обычные для любого туриста маршруты. На следующее утро, выпив в номере чаю, он отправился на берег Нила. Там он зашел в одну из купален, оборудованных специально для любителей плавания, впрочем, состоящую в основном из расплывающихся по швам досок, некогда выкрашенных голубой краской, теперь же почти что совсем

облупившейся, и не столько скрывающей купальщика, передевавшегося в свой купальный костюм, сколько широченными щелями своими расчленяющей его на составляющие части тела — белые голени, еще более бледный живот, узкую грудь и сказанную иконописную голову с мистическими глазами.

Совершив переодевание, он вышел оттуда в длинношей спальнoй рубашке белого цвета, доходящей ему до пят, и медленно погрузился в нильские струи. Со стороны могло показаться, что туловища у человека совсем нет, а взамен его на вздувшейся пузырьем белой ночной рубахе покоится одна лишь голова с усами и бородой. Причем, когда глаза пловца закрывались, голова казалась знаменитой иконой,



изображающей усеменение главы Иоанна Предтечи, а когда открывались, отчасти напоминала не менее знаменитое изображение другой иконы — Спаса Ярое Око. При всем при том пловец демонстрировал весьма незаурядное искусство плавания, которому выучился, вероятно, на Покровско-Стрешневских прудах, недалеко от которых отец его, ректор

Московского университета, историк Сергей Михайлович Соловьев, снимал некогда семьей дачу.

Так или иначе, пробултыхавшись в воде с полчаса, приезжий вновь стал взбираться по деревянным ступенькам в фантастическое голубое и эфемерное сооружение, причем во время этого восхождения рубаха так облепила его костлявое тело, рельефно обрисовывая его со всеми, обычно скрываемыми даже от близких, подробностями телосложения, что окажись в это время на берегу в пределах досягаемости взгляда какая-нибудь благопристойная дама, то мы даже не можем как следует сказать, что бы она тогда делала и сказала и в какой конфуз была бы этим вогнутым и выпуклым зрелищем введена. Но дамы вокруг не оказалось, и поэтому философ из России, переодевшись в сухое — черный стюртук, длинный черный плащ-макферман и шляпу, благополучно вернулся в гостиницу.

Муха же, фланировавшая по носу задумавшегося портье, то есть именно та муха, а не другая, не та, которая сидела на его верхней оттопыренной губе, а та, что потирала от избытка чувств свои кривые лапки, эта самая муха сейчас была уже не в гостинице «Аббат», а совсем в другом месте. Впрочем, мы точно не знаем, была ли это та же самая муха в том смысле, что, возможно их всегда было две, а не одна, но эти две мухи столь искусно вмиг могли прикинуться одной, что их и вправду принимали за одну люди куда более наблюдательные, чем мы с вами, — не знаем, потому что такая история, что две мухи могут оказаться одной и той же и обратно — одна муха может являться в один и тот же миг сразу в двух прямо противоположных континентах земного шара, скажем в Непале и Мехико-Сити, — история эта обычная. Не всем дано углядеть, как она совершается и разворачивается, потому что еще не родился такой человек, у которого, к примеру, один глаз располагается в Каракасе, а другой, наоборот, в Катманду, и надо сказать, слава Богу, что не родился, иначе это будет уже не Мехико-Сити и не Катманду, а один и тот же человек с далеко друг от дружки отстоящими, можно сказать, растараченными глазами. Есть также даже люди такие, загадочное свойство коих — одновременно пребывать в городе, например, Костроме и тут же в мадагаскарской тюрьме, а может, еще где и в третьем месте... и даже в

четвертом и пятом. Но если мы сейчас начнем про это рассуждать, то неизвестно, когда кончим и куда это нас с вами заведет. Хотя вынуждены предположить, что имеем дело не с досужими баснями, а с основной организацией и сокрытой сущностью всей нашей жизни, до времени скрытой от постороннего глаза. И ежели вы уверены, что вы сейчас сиди-



те в Москве у компьютера, и это все, что случается сей час с вами, и что такого быть не может, что не кто-то другой, а вы, вы сами пребываете прямо сейчас одновременно, скажем, арабским верховым воином на выющемся под ним как змея черном скакуне, конвоирующим пленного по пыльной дороге, или знатной индианкой, торопящейся в последний вечер своей сорокалетней жизни набрать воды из Ганга, — ежели вы в этом уверены, то напрасно. Но поскольку я вижу, что вы уже не так уверены в этом, как прежде, то вернемся к мухе.

Так вот, та самая муха, которая была одной и той же, а стала двумя, храня тем не менее видимость единственной мухи, теперь сидела на выщербленном носу Великого

Сфинкса и делала вид, что наблюдает заход солнца. На этом пока что и остановимся.

Зеленый веер

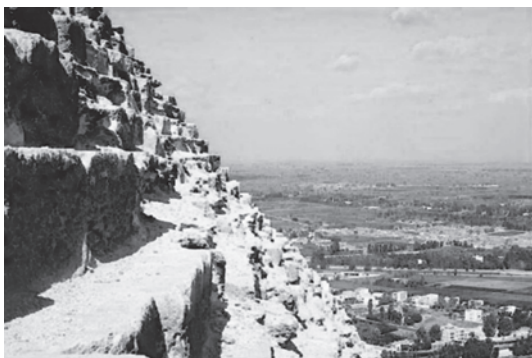
Следующие несколько дней новый постоялец прожил обыкновенно. В городе у него оказались знакомые, и поэтому он был не вовсе одинок, и даже оказался так, что если бы этих его знакомых — господина, например, Лессепа — в Каире у молодого философа и не случилось, уверяю вас, он



нашел бы чем заняться. Так оно и произошло. В частности, он посетил музей древностей, где провел полные два часа, и этим не ограничился, а вернулся туда на следующий день еще раз, чтобы закончить осмотр. Еще через день он уже взбирался на пирамиду Хеопса под надежным водительством сухого и коричневого, словно провяленного, проводника в грязной повязке, замотанной вокруг головы.

Если вы еще не восходили на эту пирамиду, то, наверное, не знаете, какие впечатления испытывает тот, кто хоть раз в жизни на это решился. Во-первых, облака. Если они есть, то кажется, что с ними что-то не так, что они словно собираются вот-вот залезть вам за шиворот. Белые как сахар, они перестают быть вечными странниками, а принимают вид грозных ангелов, как их рисуют на некоторых больших картинах. При этом они стучатся, скребутся и тычутся вам прямо в сердце и начинают свою песню, как только вы отдалитесь от земли на порядочное расстояние.

Сначала они свистят как соловьи-разбойники, и свист этот выворачивает с корнем дубы вашего сердца, которые там выросли из всего темного, ложного, жадного и родного. Потом, по мере набирания вами высоты, свист их становит-



ся все мелодичней и тише. И если вы не испугались первого урагана и дерзнули отправиться дальше, то с каждым одоленным на пути к вершине камнем их пение все больше и больше проникает вам в спинной мозг, и вот уже вам ясно,

что до сих пор вы не знали себя и не встречали. А что сейчас может произойти такое, что этот вот неизвестный вам отныне человек в сюртуке или джинсовых брюках, карабкающийся по древним камням и носящий почему-то ваше имя и отчество, исчезнет вовсе, а вместо него явится другой — тот самый вы, которого вы знали не сколько себя помните, а еще и до этого знали, не сколько вас помнила ваша матушка, а еще и прежде, и не столько, сколько мечтали о внуках ваши бабушка и дедушка, а и много-много раньше.

А во-вторых... не знаю, стоит ли и говорить-то о какой-то досадной мелочи, несущественной для нашего повествования... но... но скажу. На пути вверх, окинув взглядом раступающийся оком со всеми остальными пирамидами, Большим Сфинксом и другими необозримыми далями, в каком-нибудь уголке этих далей, загнутым как уголок носового платка, вы непременно разглядите крошечного человечка, который мочится себе на камень или просто в песок и знать не знает о вашем существовании. Эта крошечная трогательная деталь настолько поражала всех живописцев, имевших дело с великими событиями (Революцией, как Марк Шагал, или Башней из Вавилона, как Питер Брейгель), что они никак не могли пройти своим взглядом мимо этой крошечной фигурки, справляющей надобности на фоне мировых артефактов. Видимо, есть в ней, фигурке этой, что-то успокоительное, что-то противящееся всем катаклизмам и катастрофам, всем Антихристам, а заодно и мессиям. Противящееся тому, что Одиссей, например, так жестоко убил Антиноя, или, скажем тому, что поезд переехал на подступе к Москве кошку, или жена взяла да и изменила любимому мужу. Или тридцати миллионам павшим с нашей стороны во время войны и трем миллионам замученным в советских лагерях. И в чем тут загадка, что за магия такая окутывает этого вездесущего писуна, мы не знаем и знать не можем.

Мы не знаем также, что открылось душе и взгляду Владимира Сергеевича, когда он добрался до вершины пирамиды, но думаем, примерно то же, что и его прилежному и хулиганистому ученику Б. Бугаеву. Он увидел (не важно, кто именно, здесь, поверьте, это не имеет ровно никакого значения), увидел, что основание пирамиды перестает расходиться к земле в правильный квадрат огромных размеров, а что края

его словно подворачиваются, подвертываются, подстегиваются, словно бы скатываются вовнутрь, что стенка, по которой вы ползете словно муха, перестает быть наклонной и неподвижной и начинает двигаться и клониться, все больше и больше нависая над землей, а вы, вцепившись в очередной каменный блок, с ужасом следите, как пирамида кренится, словно падающая стена дома, в который попала десятитонная авиационная бомба, как она, ожив под, вами, начинает свое смертоносное движение падающего с неба дирижабля, что, конечно же, приведет к тому, что вы будете сброшены как неуместное насекомое и не к земле даже, а в долгую зеленую бездну, которая с ужасающей ясностью открывается в этот миг прямо перед вашими глазами.

Явление это известно как пирамидная болезнь. Однако то ли философ из России ей не был подвержен, то ли благополучно справился с ее симптомами, только через несколько минут он уже стоял на самой вершине огромной пирамиды рядом со своим низкорослым сталкером. Его длинная фигура в темном плаще и цилиндре, каким-то чудом не утерянном и не сдутым в пропасть, величественно высилась на фоне закатного каирского неба со всеми его блуждающими в нем клеопатрами и антониями, буонапартами и рамзесами, тутанхамонами и изидами, со всеми их млечными хороводами, разряжаемыми розовыми ангелами истории — кружающимися в небе вокруг вершины, заплетаясь в концентрические водовороты и воронки, чтобы к ночи вплестись во вращение



звездного небосклона с ветвистыми и мохнатыми огнями. Сидящий философа высился на вершине припильского мира, и ветер трепал плащ и закручивал его, как в какой-нибудь особенно лихой и продувной замоскворецкой подворотне, вокруг костлявых и длинных ног. И тогда Владимир Соловьев полез в карман сюртука и достал оттуда бабочку. Она была невелика — величиной с японский веер зеленого цвета, и ее крылья — оба левые — распрямились и прозили воздух долины царей, когда философ подкинул ее в воздух. В тот миг пирамида Хеопса осела ровно на величину раскрытого веера, а жизнь Владимира Сергеевича Соловьева в 1900 году закончилось не тогда, когда ему это было предписано судьбой и жизнью, не в тот день, час и секунду, а продлилась ровно на одно дыхание больше, вопреки всем законам мироздания, на одно дыхание — глубокое и свежее, как короткий взмах веера в душной комнате.

Подруга

25 ноября 1875 года из главного (и единственного) подъезда знаменитого «Аббата» вышел человек в длинном темном плаще, в высокой и темной же шляпе. Зрелище само по себе фантастическое, потому что и Реомюр, и Фаренгейт, и Цельсий не сговариваясь показывали температуру, при которой в России принято загорать на пляже. Но странника это обстоятельство, казалось, не смущало вовсе, так же как и отсутствие при себе какой-либо дорожной сумки с мало-мальскими запасами воды или продовольствия. На него оглядывались. Какой-то старый араб, сидевший в тени от стены, долго смотрел ему вслед, покачивая головой. Конечно, и араб, и француз, здесь тоже как-то случившийся, сначала покрутив для порядка головой — араб с неухоженными усами, а француз с ухоженными — и гмыкнув себе под нос что-то вроде пр-р-р-р-сык! — через какое-то время все-таки входили в положение странника и признавали про себя, что мало ли какие обстоятельства могут у человека сложиться, что он в результате них одевает на голову не панаму, а цилиндр и вдобавок заматывается поверх костюма плотным английским плащом, может, траур по ушедшей с каким со-

рванцом жене, а может, так, чудака из России на букву «м», но понять человека можно. Но если б узнали они, куда и зачем в это раннее утро направляется господин в европейской шляпе, они его все же не поняли б. И даже, если бы он им все подробно объяснил, они бы его все равно не поняли. Не поняли, и все тут. Потому что есть такие вещи на свете, которые понимать неприлично. И ежели ты взял их и понял, то сам становишься человеком не просто неприличным, а даже неприличным до чрезвычайности, закосневшим, так сказать, в неприличии, и закосневшим настолько, что и сам ты хорош. И сам ты пошел вон. И сам ты держись подале, придурок.

Дело в том, что Владимир Сергеевич Соловьев в таком виде и столь ранним утром отправился не куда-нибудь выпить-покурить, а в пустыню. И не просто в пустыню, до которой было тут рукой подать, так что можно было бы в нее и погулять сходить, а к обеду вернуться, — а в Фиваиду, поселение, находившееся отсюда не на расстоянии предобеденной, скажем, прогулки, а за двести с лишним миль. И шел он не по дороге и не с караваном, а без дороги и совершенно один.

Накануне он объяснил своему новому знакомому — русскому генералу Фадееву, что отправляется туда не по недомыслию, а в поисках старинных секретов отшельников, населявших даже и по сю пору эти пустынные места. В письмах же к друзьям Владимир Сергеевич сообщал, что в районе Фиваиды надеется встретиться с масонской группой, владеющей старинными каббалистическими знаниями, утраченными во всех других местах мира.

Но и это была только правдоподобная версия для отвода глаз. На самом же деле Владимир Сергеевич, странник, философ, поэт и непрямой, но явный потомок другого чудака, странника и философа Григория Сковороды, шел на свидание. И ежели вы спросите меня, не на любовное ли, то я скажу, да, на любовное, но прежде добавлю несколько слов по поводу его дальнего родственника. Потому что Григорий Сковорода — это не прозвище какое и не кличка, а фамилия человека, который встретился с Создателем мира сердцем к сердцу, а на могиле своей, после того как обошел несметное количество пыльных, грязных, зимних и летних дорог, под

звездами и луной и в пении цикад и кузнечиков, велел написать эпитафию, которую сам же и сочинил. Звучит она так: «Мир ловил меня, но не поймал». И здесь я прошу не спешить с выводами, которые по некоторой поспешности могут привести вас к мысли, что за философом гонялись какие-нибудь полицейские или жандармы, — это не так. Потому что ни полицейские и ни жандармы за ним не гонялись. И вообще не видно было, чтобы хоть кто-то за ним гонялся. А значит, здесь дело в другом.



Вообще, многие слова и понятия раньше означали совсем не то, что сегодня. Иногда и вовсе ни с какой бутылкой не разберешь, что хотели люди сказать.

Я никогда не видел его могилы, хотя и читал его веселые и торжественные трактаты о Боге и мире, и не знаю, где она расположена, но хотелось бы мне, чтобы был он упокоен где-то в васильковом да ржаном поле и чтобы ветер раскачивал над головой его небо с облаками, а в углу поля, в ложине, виден был на просвет Днепр. Не успею, наверное, я отыскать могилу его и приехать, и скорее всего, нет там ни васильков, ни поля, а какая-нибудь есть там церковь, где его и похоронили, когда он отмахал свое по малоросским дорогам, да нынешняя братва крестит там своих первенцев по воскресеньям и угощает поца пьяный пахан, от которого разит «Хьюго Боссом» да чесноком, а вот все же тянет. Тянет прийти туда не знаю куда и сесть на эту целомудренную могилку странника и чудака. Потому что и у пахана может

теплиться надежда, что и его не поймают ни с налогами, ни с заграничными банками, ни с десятком-другим исчезнувших без вести соотечественников. Вот Сквороду же никто не поймал, а значит, и у пахана есть равнозначная надежда. А во всякие тонкости словоупотребления он вникать не собирается. Важно суть уловить, а умничать ему ни к чему. И думается мне, что не приду, не сяду, не помолось, глядя в синее малоросское небо, полное золотых солнечных лучей и ласточек. Но пока тянет меня туда, мне хорошо. Словно не с одним философом Соловьевым в родстве философ Скворода, но и со мной, духовным сыном Владимира Сергеевича, тоже.



Итак, философ Соловьев шел на свидание. Третье по счету. Его возлюбленная не баловала своего почитателя частыми встречами. И все же он всегда чувствовал ее присутствие рядом, как это бывает в великих и преувеличенных романах о вечной любви, которые всегда печально кончаются, потому что никто не верит, что такая любовь на самом деле возможна. Он чувствовал ее, когда смотрел на небо, а в волосах его запутывался кузнечик, или когда ехал на извозчике и дождь моросил ему за шиворот, или даже когда его облаивали собаки, которых он любил. И куда бы он ни приходил, в какой бы ни селился гостинице прямо с вокзала, уже через каких-то полчаса на подоконник слетались голуби, де-

сятки сизарей и крапчатых, и начинали стучаться клювами в окна, словно пытаясь войти внутрь и передать послание, отправленное голубиной почтой. Он их не пускал, но подкармливал.

Он влюбился в Нее с первого же раза и на всю жизнь, когда увидел ее мальчиком в московской университетской церкви в честь святой мученицы Татианы. Второй раз он встретился с ней в Англии, не так давно, когда работал над каббалистическими трудами в библиотеке Британского музея. И тоже все было на бегу да отчасти. И именно там, в библиотеке, во время короткой и, как казалось, случайной встречи она обещала ему, что если он поедет тотчас, не откладывая, в Египет, то встретит ее в пустыне. Причем в этот раз она откроется ему не на бегу и не отчасти, а вся как есть. И он поехал.

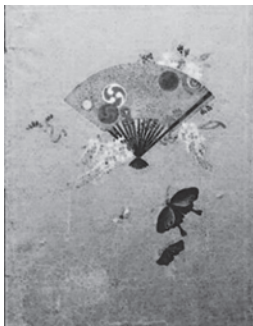
Сначала поездом в зеленый Париж. Потом в Италию. Потом поплыл из Брундизи Средиземным морем по синим волнам. И вот теперь — пошел. В желтые пески. Туда, где ждала его самая светлая, самая волшебная, самая последняя и бесмертная, страдающая и обиженная краса мира, — в пустыню.

Лев-змей

Перед отъездом из Лондона он зашел в лавочку древностей и купил веер. Продавец, похожий на диккенсовского персонажа, с седеющими пушистыми бакенбардами во всю щеку и морщинистыми как у беркута под глазами, не торопясь и степенно объяснил ему, что вещь эта старинная и привезена с Востока. Он развернул веер, и на зеленый шелк взлетел алый дракон. Владимир Сергеевич вспомнил, что едет в страны жаркие, и веер купил.

Теперь он лежал у него в глубоком кармане плаща, больше похожего на пальто. Он шел уже целый день и очень устал. Солнце начинало клониться к неровной линии горизонта, отчего серые пески стали отсвечивать золотой зеленью и тянуть фиолетовой тенью. Несколько раз он садился отдохнуть прямо в песок, прислоняясь к большим камням, которые ему время от времени попадались на пути. Ветра не было совсем, и весь день палило солнце. Он сидел под

камнем, обливаясь потом, и обмахивался веером с алым драконом. Сначала дракон двигался вместе с веером, а потом начал отставать, не совпадая с ритмом, увеличиваться и подлетать в воздух. Там он махал короткими крыльями и разворачивался вокруг невидимой оси. Таким образом он хранил своего хозяина, время от времени оглядываясь вокруг и выпуская и выпуская кошачьи когти, пропитанные самурайским ядом.



Поскольку то, что произошло дальше, является никакой не выдумкой, а чистой правдой, но обычными словами изложено быть не может, то мы для того, чтобы хотя бы попытаться быть понятыми, перестанем рассказывать сказки и байки про масонские ложи и каббалистические секреты, а вместе с философом поднимем веер, делая вид, что не замечаем расположившихся неподалеку четырех музыкантов, а также спящих вокруг ангелов-курумба, служителей пустыни, помогающих событию происходить так, как это

было задумано тем, кто в это событие решил впутаться и вязаться, то есть самим участником. Потому что, как только появляется у любого из нас мысль и решимость ее осуществить, тотчас появляются вокруг нас ангелы-исполнители, и хотя мы их прекрасно видим, но все равно внушаем себе изо всех сил, что это не ангелы, а скажем, порывы ветра, или шум платья, или что это, например, фольга от съеденной конфетки тонко позванивает на асфальте. И делаем мы это не в силу каких-то врожденных и разнообразных поэтических фантазий, а всего лишь для того, чтоб оставаться жертвой обстоятельств, потому что это делает нас по-восточному женственными. Но как только мы поднимаем веер, приходят в движение ангелы, появляется из-за куч песка отряд бедуинов-кочевников, не то чтобы очень уж агрессивных, но все же людей решительных и вооруженных.

Хай-хай! Они погоняли верблюдов и кружили вокруг вскочившего на ноги путешественника. Лица семерых кочевников были закутаны в полосатые платки, спускавшиеся до пояса, а за плечами двоих бились в такт верблюжьей рыси отличные английские винтовки последнего образца. Хай! Круги сужались, и один из всадников сдернул винтовку с плеча. Хай-олла! За мягкими подошвами бегущих по кругу зверей взвивались в воздух фонтанчики песка, ковры, покрывавшие верблюжки спины, хлопали о бока, а всадники раскачивались наверху, балансируя головами, замотанными полосатыми тряпками. Философ спрятал веер в карман и поднял вверх раскрытые ладони. Он улыбался. Кочевники кружили вокруг него, но почему-то не приближались. «I am your friend, — сказал философ. — Don't be afraid». «Are you a man? — спросил один из всадников с сильным акцентом, стараясь не смотреть в глаза странному черному человеку в высокой шляпе и словно бы черными крыльями за плечами, машущими в поднявшемся ветре. — Are you a devil? Are you a shaitan?»

Тот всадник, что снял винтовку, внезапно стремительно скатился с верблюда и бросился на философа. Боднул его в грудь головой, и оба повалились на песок. Еще один мамелюк подбежал к ним, ударил человека в плаще по спине прикладом винтовки, вдвоем они заломили ему руки за спину и связали.

Бум-бум, сказал барабан, а хор запел:
Ночью вы ложитесь спать в черной комнате на белые простыни,
которые тоже кажутся черными, потому что вы целый день смотрели на солнце,
и оно стало черным.
Вы ложитесь на черные простыни, и в ваш позвоночник вливается холод.

И вы думаете и размышляете, от чего идет этот холод, пронзающий спину ледяной иглой, — от пистолета, гвоздя или пузырька с кокаином. Но вам уже нельзя повернуться, потому что движения кончились, иссякли, как рука дающего, как колодец на пустоши, как содроганья любви.

И вы целый день едете по розовой пустыне на розовых двугорбых ангелах
с зелеными крыльями, на пластмассовых зверях, пьющих вазелин, — вы у себя дома.

Но вот встречает вас на дороге существо с черными крыльями, сатана с черным нимбом,
и вы слышите, как в воздухе поет скрипка смерти и сладострастия.

Дьявол не выдумка, шайтан не слово, и он ходит как черный лев вокруг нас и рычит.

И рык его золотист и черен. И ползет он по пустыне, оставляя следы — черные письмена. Поэтому мы убьем льва-змея. Мы убьем его в обличии девы в белом кредешине, и в обличии воина с розовыми глазами.

Мы убьем его в обличии человека в черном нимбе и в обличии зеленой волны. Мы убьем шайтана в обличии желтого ребенка и розовой куклы. Мы сломим ему шею закланием, стрелой и пулей. Мы скормим его черным козлам с огненными рогами. И мы ввергнем его в дом его — ад.

Ибо мы воины, а не англичане. Ибо мы воины, а не дети. И мы убьем дьявола силой нашего белого духа, который вложен нам в спины.

Бам-бам-бам!

И они уточняют складки вашей одежды и хлопочут — ангелы-служители. И они припудривают щеки и завязывают,

где надо, разошедшиеся шнуры и золотые тесемки.

Кочевники обыскали незнакомца, сперва принятого ими за Сатану, вывернули ему карманы, вынули, изучили и вновь вложили обратно записную книжку, кошелек, паспорт, веер с драконом и стали совещаться. Смолкли. Потом главный сказал короткое слово, которое проросло у него изо рта, словно маленький карликовый дуб. Из угла губ от этого потекла кровь и тут же застыла на подбородке. Один из кочевников подошел к Соловьеву, достал нож, полоснул по веревкам на руках. Потом плюнул ему под ноги и хохотнул. Рожка его была черна, а зубы блестели. Правый глаз был синь, другой же зиял как погреб. Кочевники взобрались на верблюдов и исчезли. Скрип и голоса растаяли в воздухе, тонко посвистывал ветер, солнце заходило.

Внутри шедших в пустыню верблюдов, как в варежках, были растопырены пальцы столь вялые, что лишь два из них, а то и только один выдавался наружу горбами сквозь стертую кожу хребта. Но так казалось на первый взгляд. Потому что не вялы внутриверблюжьки пальцы — но сжаты, как и сам верблюд, в динамитный кулак.

Пустыня. (Подруга)

Послушайте, погодим про экшен, а скажем про то, как прекрасна жизнь. Вышел на кухню Шарманчик, человек закрутавшийся и по его собственным меркам неосновательный, вышел выпить кофе и там увидал, как распустились на подоконнике натыканные в глиняный желтый кувшин третьего дня веточки — сливы, орешника, ивы и тополя. И что бы им распускаться у него на подоконнике, а вот же... Сияют робкими листочками, светятся на фоне серого весеннего неба за окном, вылуциваются зелеными венерами из небытия, неоформленности, из вчерашнего «ничего никогда не получится», словно высовывая на мерзкое уныние свои веселые изумрудные языки. А вчера их еще не было. И где они были вчера, кто скажет? В ветке? Но нет, там было что-то другое, а не зеленые листья. В соках, бегущих по веточкам, или в воде кувшина? Но и там их не было, потому что в соках и в воде кувшина, конечно, таилась возможность и

условия им появиться на свет, но самих их там тоже не было. А может быть, они прежде были в голове Шарманщика, а потом взяли да и переселились на веточки, стоящие в воде? Как ни странно, но именно эта версия — самая близкая к правде. А сама правда заключается в том, что появились эти веточки точно из головы, но не только одного Шарманщика, но и Бога. И не только из их двух глупых голов появились они, но и выпорхнули из объятий смеющейся Софии Премудрости, той самой, которой на Руси строили самые первые, самые главные храмы.



Строили эти храмы давно, и до сих пор ходят в них молиться в Новгороде и в Киеве, а в Стамбуле тоже ходят, но уже не в христианский храм, а в переделанную под мечеть Святую Софию. Да, молятся в них до сих пор, но никто уж и не помнит, как следует, что это за название такое, София, и откуда оно взялось. Казалось бы, трудно забыть самую прекрасную, самую близкую деву на свете, любви которой ты

принадлежишь, потому что ничего, кроме любви этой девы, тебе и не нужно, ан нет, случается. Случается, что забываешь ее щеки — розовые, глаза — синие, слова — колдовские, неизъяснимые. Забываешь, забываешь... И то, что плачешь от ее красоты, стоит только взглянуть, потому что на чудо такое смотреть без слез невозможно, и потому до сих пор еще живет и держится мир, на красоте и слезах от нее стоящий, и то что она всегда весела, и даже когда творила она мир, где все мы теперь живем, она веселилась и играла, — тоже забываешь. Вчера помнил, а сегодня взял и забыл. А только без этого — веточек зеленых, храмов да красоты несказанной, в душе твоей укрытой и спрятанной, — все равно тебе не прожить. Вот и не живет человек, а коптит небо да мучается. Вот едет он по Верхней Масловке на «Феррари», благоухая «Хьюго-Боссом», а с души-то его воротит, на душе-то его гнилостно да погано от всего, что с ним в жизни случилось. Вот так и едет он с развороченной как стог душой своей по улице Верхняя Масловка, пока не увидит среди раскиданных во дворе дома художников мраморных глыб — с пятачок травы. И тогда вылезет он из машины, подойдет к этому пятачку изумрудному и желтому между необтесанного холодного камня, сядет на него в своем пьере-кардене да и расплачется. Сидит, носом хлюпает, к фляжке прикладывается, а на душе-то у него уже запевают ангелы. Уже светлеет лоб его, и руки перестают дрожать. Всего-то и увидел он тень от пятки Софии Премудрости, а сразу же полегчало человеку. Вот и сидит он там и радуется до самого вечера.

А теперь уж, наверное, понятно, с какой подругой шел на свидание в пустыню философ Владимир Соловьев. А не сходи он тогда на свиданье в пески, не подставься тогда кочевым чудакам на верблюдах, не задремли после этого от усталости и тоски на мертвом песке, совсем на Руси забыли бы про деву Софию.

Он лежал на холодном песке в своем длинном плаще, подогнув колени к животу и пытаясь согреться. Наверху сияли огромные словно стога звезды. Он пытался заснуть, но у него не получалось. И тогда он достал из кармана веер, раскрыл его и положил на него голову, как на наволочку. Было слышно, как воют шакалы. Потом он заплакал от разочарования, одиночества и холода. Он лежал и плакал. Плечи

его вздрагивали, острые лопатки тряслись, словно он ехал на телеге по ухабам, цилиндр откатился в сторону. В бороду набился песок, длинные ноги в носках торчали из задравшихся штанин. Он попытался вспомнить детство, университетскую церковь святой Татианы, беготню и забавы на



прудах в Покровском-Стрешневе. Но все это было теперь далеко, и все это было лишним, чужим, неглавным. Главным было ощущение мерзнущего от песка тела, его уязвимости, нелености, хрупкости. Он почувствовал, какие у него острые коленки, какие длинные и слабые руки, как ходит кадык под кожей и пересыхает от жажды язык. И непонятно было, для чего эти руки так длинные и нелены и что ими делать сейчас в этой огромной пустыне под этим сияющим морозным небом, полным огней, — разве что сжимать и разжимать кулаки. Но от этого все становилось еще более неленым и непонятным. Тысячи мерзлых песчинок двигались по ним, раздвигаясь и сходясь. И в теле его тысячи горячих клеточек делали какую-то живую и осмысленную работу, точно так же как что-то делалось там, наверху, между горящими в небе звездами. Клеточки эти подавали друг дружке сигналы, учили одна другую, как выжить на этом холодном песке, как согреть друг друга, как спасти это туловище, эти руки и эти длинные неуклюжие ноги. Он никогда раньше не замечал, какое у него смешное, лишнее тело, как оно ему не нужно, как некрасиво. Внезапно ему стало обидно, что он всю жизнь так и прожил в этом непослушном и некрасивом теле. И вот теперь оно лежит, распластавшись на песке, и ничего не значит. И он сейчас тоже ничего не значит, пока он и есть это тело, бледное, жалкое, беспомощное, грозящее вот-вот раслопнётся и размельчится на мириады звезд-

чек-песчинок. Может быть, что-то и значило небо над его головой, или то, что от песка было холодно и жестко, или, к примеру, вся его до этого произошедшая жизнь, но тело его сейчас не значило ничего. Оно было мокро, холодно и бессмысленно. Оно не входило ни в песок, ни в небо, ни в него самого. И тем более было странно и обидно, что, кроме него, его тела, ему ничего и не осталось. Что сейчас надо было бы найти во всей его суставчатой огромности маленький уголок изнутри, где оно хоть что-то бы означало, хоть какой-то смысл. Но, сколько он ни бился, такого уголка не находилось. И он застонал сквозь сон и почувствовал, как от него метнулась прочь смутная тень, от которой сильно разлило псиной. Шакал понял, что человек жив, отпрыгнул, изогнувшись и ощеряясь, пропал за холмом. Пустыня мерцала в звездном свете призрачным неровным огнем. Сухой куст, облитый этим светом, на миг показался ему похожим на деревенского почтальона, но он тут же понял, что ошибся. Он снова закрыл глаза и забылся.



И тогда тихо-тихо застучали ангельские барабаны оркестра и заиграла флейта у правого заднего столба сцены.

Очами, полными лазурного огня...

Человек на земле оставался неподвижным все утро. Он лежал без движений в темноте под звездами. Он не переменял положения, когда выпал утренний иней. И даже тогда, когда, начиная с востока, звезды стали медленно меркнуть и заваливаться в пожар рассвета, он не шевельнулся. Он лежал на боку, подложив под голову руки, недалеко от валявшегося на земле зеленого веера и не двигался. Лишь у приоткрытых губ с сухой старческой морщинкой на верхней, скрытой усами, появлялись и исчезали бесшумные облачка пара. Вокруг, сколько хватало взгляда, разбегались волны и холмы песка. В розовых низких лучах они стали терять свой неверный звездный отблеск, выцветая и словно неуправимо подрагивая. Все больше они становились серо-белесыми и словно вымазанными малиновым желе. Было тихо в пустыне, и ни один звук не долетал сюда. И каждое малое движение было теперь подобно грохоту и любой шепот — обвалу водопада. Поэтому все остальное мог бы рассказать только хор, в котором герой умножился и усилился, пребывая по-прежнему спящим и даже на первый взгляд бездыханным. И именно хор поведал о том, что веер, лежащий на песке, теперь символизировал высшую степень просветленности и от этого подрагивал и потрескивал, пропуская сквозь себя все три мира. Именно хор сказал-спел, что лишь в низкой реальности можно было увидеть спящего и неподвижного человека на земле, а на самом деле было не так. На самом деле глаза человека были открыты и из них словно били невидимые, как горящий спирт на солнце, зрячие струи бесконечного зренья, обволакивая вселенную, галактики, звезды и землю с ее морями, хребтами гор, равнинами, пустынями и никому не видимым телом, лежащим на песке одной из них. Живая и умная пустота этого зренья и принадлежала простертому на песке человеку, и не принадлежала ему. Она и существовала, и не существовала, она исходила от человека и в то же самое время нисходила к нему как подарок. И исходила она не столько из глаз, сколько из переносицы и сердца.

Ничего не изменилось, кроме того, что могло изменить своим светом медленно встающее и набирающее силы солн-

це — в цвете, яркости, в объеме. Не изменились желтые барханы и не сдвинулась этим утром с места ни одна песчинка, не изменились морщинистые лапки ящериц и их обычные маршруты по холодному еще песку, не расцвела ни одна сухая ветка, и тот оркестр, что тихо сейчас ведет мелодию флейты и барабана, не изменился тоже. Да и как он мог измениться, если на самом деле и не понять, то ли есть он на самом деле здесь, в пустыне, то ли его и вовсе нет. То ли пустыня окружает его, то ли сама она вся вышла из этой музыки и движений актера и барабанщика, из этого веера и этого резкого удара босой ноги в настил сцены с подвешенным внизу на проволоке полым кувшином-резонатором, превращающим дрожь ресницы в удар грома. И тогда певец из хора пропел на языке, который еще не наступил на землю, несколько фраз, а потом пропел их еще раз, уже на русском:

И я уснул, когда ж проснулся чутко, —
Дышали розами земля и неба круг.

И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными небесного огня,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.
Что есть, что было, что грядет веками —
Все обнял тут один недвижный взор...
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.
Все видел я, и все одно лишь было —
Один лишь образ женской красоты...
Безмерное в его размер входило, —
Передо мной, во мне — одна лишь ты.

Один лишь миг! Видение сокрылось —
И солнца шар всходил на небосклон.
В пустыне тишина. Душа молилась,
И не смолкал в ней благовестный звон.

Когда Она появилась, он не успел заплакать от радости и красоты, потому что плакал уже задолго до этого, всю оставшуюся в прошлом вечность, предшествующую этому

мигу. Он жил лишь потому, что этот миг в пустыне в дальнейшем наступил и, наступив, разбежался, словно круг от брошенного камня во все стороны времени и пространства, в прошлое и будущее — в то время, когда он, молодой и еще неопытный лектор, читал лекции о Богочеловечестве, — и в то, когда тело его, ставшее наконец-то горсткой праха и пепла, легло на кладбище Новодевичьего монастыря под гранитный памятник в виде одноглавой церкви с куполом и крестом, впоследствии сбитым в атеистическую эпоху и так и не восстановленным, и с надписью на черном мраморе «Владимир Сергеевич Соловьев, публицист и философ. 1853–1900».



Когда такое случается между человеком и Софией, то о происшедшем более внятно может рассказать скорее мычание коровы или дебильное бормотание похмельного бомжа, чем наш с вами человеческий язык, и поэтому с хорошими и нормальными людьми таких дел почти что никогда и не происходит — кому ж охота встать рядом с божьем или коровой, да и зачем, скажите на милость. Правда, в результате хорошие люди так и остаются вне рая и его дуновений, но они туда и не очень-то устремляются, в эти дуновения, потому что, во-первых, некогда и еще потому, что не сильно в них верят, а зря. Зря, потому что верить в рай надо, хотя бы

в силу того, что он существует. И скажем, коровы и бомжи, хоть и стенают и мучаются, но про него знают и в нем даже частично пребывают.

То, что в этот миг открылось русскому поэту и философу Владимиру Соловьеву, настолько превосходило откровения других провидцев, насколько превосходит по высоте польнь-звезда траву польнь. Насколько мужчина может превзойти женщину, а женщина и мужчину, и самое себя, и весь остальной мир. Насколько подорожник отличается от пули или человек в утробе от человека, вышедшего оттуда.



Скажу, продолжал хор, что ни одна из желанных и божественных, источающих нефритовый и опаловый эрос и секс и овечьих «Шанелью» и «Ошиумом» — ни Мэрилин Монро, ни Бриджит, ни Сольвейг, ни Элина Быстрицкая, ни Милен Демонжо, Николь Кидман, Мадонна, Бритни Спирс и ни Леди Кокаин — и близко не могли бы самой явью явления своего навстречу вашей распахнувшей объятья любви поведать о том, что открылось философу. Та, которая пришла к нему на свидание в каирскую пустыню, была везде и нигде, была в нем и вне его, была блаженством и слезами, потому что мир состоял из того вещества, из которого состояла она сама.



Вы чувствуете это вещество.
И как только вы чувствуете его, вы начинаете смеяться
и плакать.
Вы утром вынимаете его из-под ногтей серебристыми
ножницами,
Оно раскидано по штольням и стволам голландского
мира,
Продырявленного ангельскими мышами и тишиной.
Оно зажигает рубин тормозных огней и зелень первой
кленовой почки.
Оно разбросано словно замерзший хлороформ
В шестом аркане Таро, где двое влюбленных стоят,
Осененные крыльями ангела, погруженного в наркоз,
Потому что ему предстоит выкидыш — серебряная пудра
Холодящего бессмертия, эликсир, запечатывающий вход
в женский родник,
Оставляемый вами там, куда уткнется ваш взгляд, — на
наперстке,
Сорочке в губной помаде, поэте на сцене, из которого
Леопард вынимает сердце когтями
И никак не вынет, потому что оно все состоит из этого ве-
щества и
В нем, в этом сердце, происходит встреча его течения из-
нутри и его течения снаружи,
Как в айкидо,
И кривятся платиновые когти — победителя не бывает.
И нет ему места в трех мирах — только небо вокруг,
Словно он сам — Кагэкиё или великий Лир.
И леопард состоит из желтого вазелина и рассыпанных
шариков,
Искусственных волос и real dolly с вибрирующим родни-
ком и гортанию,

Отлитой, точно для мужского члена,
Это она запускает краску ногтей в горло, обсыпанное се-
ребристой пылью и горчицей.

Но — приходит самурай и стоит насмерть за красоту мира,
за его кривые ножницы и

Народившуюся в молоке луну над рекой.

И в самурае вещества этого больше.

И больше его в юродивом и корове, говорящей «му»

Звук, который четвертый патриарх дзен продолжил до
тех пор,

Пока не растворился в азоте мира, как растворяется под
языком

Ментол таблетки.



Она обнимала ноги Распятого, и складки одежд ее натя-
нулись.

В лобых зеркалах они проступают с тех пор, если полить
их эфиром

— обозначение женственного поворота мира

Навстречу всему, что страшно.

И звезды-дети спят спокойно, и их эмбрионы меняются
местами,

И говорят «му», или «ма», или что-нибудь студенистое —
Годунову, наверно, царю.

В живой пустоте вещества София стоит, пульсируя, как в
стоп-кадре летящая пуля,

И вы растворяетесь в пустоте и пуле, обнимая
Маму или подругу, потому что вы есть лишь тогда, когда
вас нет.

Ледяной самолет жизни уже растворился в вашем зрачке
С красным языком, вмерзшим в протаявший борт
Словно петуший гребень.

И все это лишь слова, шмотки, лоскутья,

А София — это вы сами в саду невесомости,

Парящие в бессловесности листьев, птиц и серебряного
родника

Между одним мизинцем на правой руке и на ней же —
другим.



А последняя реплика певца на трех глухих ударах барабана-цудзуми заключалась в пояснении, что строка, звучащая на русском «глазами, полными лазурного огня», пропетая им чуть раньше, принадлежит с некоторым разночтением Михаилу Лермонтову, поэту, которого философ не любил, а любил он Софию — жену человека, чей отец Лермонтова убил на дуэли и оставил тело его на всю ночь под дождем на склоне Машука. Ангел с розовыми крыльями утверждает, что между этими телами — в каирской пустыне и на склоне горы над Пятигорском существует особенная тайная связь, как между лунной и приливом, потому что тело на Машуке видело не меньше, чем тело в пустыне. Но об этом позже.

Незнакомец

Некоторые рассказы Арсения находила в совсем неожиданных местах — в куске замерзшего льда, или, наоборот, один раствор, запечатанный в банке, надо было вылить на дно таза и выпарить, и тогда он уплотнился в подобие парафиновой дощечки с буквами, а вокруг выросли небольшими сталагмитами несколько полупрозрачных фигурок, в которых она с трудом узнала фею, льва и высокого человека в темном плаще и цилиндре. Некоторые были найдены довольно-таки банальным способом — под сиденьем дорожного велосипеда, стоящего в сарае, под опадающей алычой, в ухе карусельного льва во время ее посещения городского Луна-парка, в женском туалете за бачком или в коробочке, спрятанной за оградой могилки местного кладбища. Одно из сообщений проговорила кукла-дурочка, которую принесли Луке по почте, и главной особенностью экземпляра было то, что она до мельчайших особенностей повторяла набивший оскомину образ Мэрилин Монро, вместе с ее широкой белой юбкой, кружевным бельем, платочком в кармашке и сбритой растительностью в нежном паху. Скорее всего, тождество было абсолютно полным, но что-то остановило Арсения от изучения этого вопроса. Возможно она испугалась, что маленькая Мэрилин начнет не только говорить, но и дышать, и есть, и размножаться. Поэтому она только прослушала сообщение и, удовольствовавшись поверхностным осмотром, подарила куклу сопливому армянскому мальчишке, слонявившему мягкое красное яблоко, вывалянное в пыли.

Она зябкой кожей чувствовала рядом присутствие человека, который в рассказах, обращенных к ней, называл себя Шарманщиком. Скорее всего, у него было другое имя, потому что про Шарманщика Лука ничего не знал, и если сначала она и подозревала возможность дружеского, скажем, заговора между Лукой и Шарманщиком, то теперь была уверена в обратном. Вопросы, конечно, оставались, но она решила отныне действовать, доверяясь лишь своей интуиции, которая заставила ее как-то разломить яблоко, прежде чем откусить, и обнаружить там лезвие бритвы.

— Тебе сколько лет, Арсения? — спросил Лука.

Она сказала.

— Ты еще несовершеннолетняя, — констатировал милиционер. — А с виду не скажешь. Тот, кого ты ищешь, тебе кто?

Она сказала.

— Откуда знаешь? — спросил он. — Во сне видела?

Она сказала.

— Возьмите меня к бабочкам, — попросила она. — К коро-



леве Мэб. Потому что это мы друг другу снимся, а бабочки видят нас наяву.

Лука помрачнел.

— Никому про это не говори, — посоветовал он. — Не поймут. — Он помолчал. — Сейчас автобус в город пойдет — съезди, проветрись.

В городе если выйдешь у сахарного моста, то тотчас уткнешься в бамбуковую рощу, в которой живут души блаженных и ангелы пляжей и выстрелов. Причем располагаются они в стволе бамбука по коленцам и в зависимости от толщины ствола. Ангелы выстрела находятся в среднего размера стволах на высоте примерно паха взрослой женщины. По ночам они тихо поют и светятся, а если заснуть тут же рядом на раскладушке, то ночью, при растущей в первой четверти луне, они выйдут, подойдут к спящей и расскажут, в честь какого выстрела они сформировались и уплотнились в ангелов. Причем из тонкого коленца может выйти как огромный ангел, достающий, скажем черепом до крыши второго этажа, так и крошечный, почти неразличимый глазом. У каждого из них есть своя история. Если выстрел был холостым, то ангел величиной не больше майского жука, и изо рта у него пахнет фиалками. Если стрелял в себя самоубийца, то ангел зеленого цвета и на крыльях у него глаза и

растут языки. А на голове глаз нет, потому что она похожа на лимон, и пахнет от нее лимоном. Если выстрел был в белгца, то ангел похож на черный колодец, откуда все время поддувает ветер и припахивает гнилью. А если выстрел был направлен в соперника, то ангел похож на деву невероятной, исключительной красоты, но с опухшими, как у царя Эдиша, пятками, а очень длинный красный язык идет не наружу, под небо, а вовнутрь и располагается внутри горла. Поэтому, когда она с тобой разговаривает, пока ты спишь, тебе кажется, что в твое горло вползает змея. А если с тобой разговаривает ангел холостого выстрела, то ты видишь будущее человека, которого никогда не знал, но скоро узнаешь — это и будет его будущее, причем недолгое, потому что сразу же после знакомства с тобой он заболит непонятной болезнью и скоро умрет. Что ж, это судьба, которую он сам выбрал, раз уж ты появилась в его жизни. Потому что ничего не происходит просто так, без нашего выбора. Но все это не так интересно, как то, что в этой роще можно подвесить гамак и залечь туда на ночь с бутылкой портвейна «Шартагос», завернувшись в белую простынку, и тогда лунные чары, постепенно накапливая плотность своего отражения от простынки, смогут принять любую форму, какую ты пожелаешь. Хочешь белого слона — примут. Хочешь лунную фею или Эдиту Пьеху — пожалуйста. И даже если ты захочешь единорога с девой, то они придут, отвечивая в лунных лучах. Только тогда смотри, как бы тебе не исчезнуть совсем, как однажды исчез в стране фей дальний предок поэта Лермонтова Томас Лермонт, оставив по себе тьму историй. Причем исчезновение это будет похоже на то, как с полировки сходит теплый отпечаток ладони: сначала постепенно — за это время исчезает твоя биография и память о тебе у всех, кто тебя любил, — а потом сразу исчезают все те, кого любил ты, и ты оказываешься в том месте, которое никто не видит, как больше не видят выветрившегося со стекла отпечатка. Об этом Арсения узнала из записки, которую нашла в запечатанной пробкой бутылке, валявшейся на линии приюта санатория Орджоникидзе, которой по виду было не меньше двадцати лет.

Сейчас она сидела в баре, одна, крашенная и обрызганная Cheruffy, голая ее коленка зияла из прорехи в джинсах,

а косой взгляд был устремлен на столик, где в одиночестве расположился мулат в черной шелковой рубашке на голое тело, пьющий вино из широкого фужера с маслиной на дне. На столике перед ним лежала толстая коричневая рукавица с серой кудрявой выпушкой, и внутри ее мерцал непонятный зеленый свет.

Мулат, перехватив ее взгляд, подмигнул и, подняв бокал на уровень глаз, отсалтовал напитоком с маслиной. Арсения отвернулась, но она уже узнала того, кто мог бы ей рассказать все, что она захочет, про бутылки с записками, ледяные буквы и рукописи в стволе. «Сейчас он подойдет, и история наконец прояснится», — подумала она, отпивая глоток черного кофе из фарфоровой чашечки с красным японским иероглифом.

Сакисё

В бар я пришла, потому что очень хотелось пить и еще потому, что я, наверное, слишком долго просидела среди стволов бамбука. Земля там теплая, солнце нагревает ее, и слышно, как стволы постукивают друг о друга, если их раскачать. Но звук не гулкий, а обыкновенный, словно столкнулись две деревяшки. Оттуда был виден двухэтажный дом и угольная куча в его дворе. Непонятно, они что, углем отапливаются, что ли, до сих пор? Я люблю такие дворы и такие рожи. Сидишь там и гладишь бамбук, а он словно полизанный под рукой. Я откуда-то знаю несколько японских стихотворений, и одно мне очень нравится. В общем, они все мне нравятся, но это больше других:

Сотни распустившихся цветков,
Все они родом с одной ветки.
Смотри: все их цвета в моем саду.
Я распахнул скрипучие ворота
И на ветру увидел свет весеннего солнца.
Он уже достиг бесчисленных миров.

Наверное, скрипучие ворота этого монаха были не из бамбука, но мне почему-то хочется, чтобы они были из бамбука. Я, когда читаю велух или про себя, тихо, вижу

самое главное — как восходит солнце, но во дворе его еще нет, потому что оно низкое. А когда он открывает свои скрипучие ворота, они в тишине скрипят на весь свет, потому что еще раннее утро, горы и очень тихо вокруг. Так вот, они скрипят, и чистый солнечный свет, как это бывает ранним утром, когда еще хочется спать, врывается во двор, падает ему на лицо, и весь двор словно вспыхивает, словно загорается. И сам монах загорается, и хижина в глубине двора, и тропинка к ней, и несколько цветков перед домом. Все было обыкновенным, утренним, приглушенным еще, а тут заскрипели ворота, и все сразу вспыхнуло, и все сразу стало настоящим, ликующим. А вместе с солнцем ворвался ветер, и цветки покачнулись, и монах ощутил, как свежесть овеивает его щеки и забирается под куртку. А потом он чувствует, что такое не может происходить только здесь и с ним одним и что это происходит теперь во всем мире, а вернее, во всех мирах, куда только этот свет долетит. Говорят, что есть еще много духовных миров, и вот там он и будет стоять и стоит на ветру и в утреннем свете, потому что это событие на весь мир. Но оно не торжественное, не пафосное, а очень тихое. И поэтому все эти монахи, которые на самом деле один и тот же монах, они тихо так стоят во всех этих разных мирах, высвечивая их светом и продувая ветерком, но не делают из этого никакого события. Просто стоят себе, и все. А если во всех мирах, то значит, и сейчас со мной стоит такой монах и с ним можно даже пообщаться или поболтать. Ну очень бы хотелось с ним поболтать, поговорить про то, как это бывает, когда утренний свет падает тебе на глаза и вокруг. Он, наверное, не отказался бы поболтать со мной, потому что со мной многие хотят поболтать, это, наверное, потому, что я красивая. И еще папа говорит, что я хорошо воспитана, и что они не зря с матерью старались, и что, кажется, даже перестарались. Ну например, я никогда не курила конопли и не пробовала наркотиков, что по нашим временам большая редкость. Я реже других девочек хожу на дискотеки, хотя одно время страшно увлекалась танцами. Мои подружки говорят мне, что я не так разговариваю, как надо. А как надо? «Короче» да «блин»? Как-то у меня не выходит. Я пробовала, но у меня все равно не получилось.

Я иногда думаю: а что если никакого Шарманщика нет на свете, а все это просто розыгрыш, как на чате, когда какой-нибудь старичок разыгрывает из себя невинную девушку или еще что-то в этом роде? Но ведь я слышала свой голос, записанный на диктофон, и я не помню, когда это было и кто это записывал. Значит, какие-то вещи я не помню. В рассказах описано, как мы ездили с Шарманщиком в Сергиев Посад, но этого я тоже не помню. Причем сказано, что я была с подругой. У меня их много, и не могу же я ходить и у каждой спрашивать: скажи, радость моя, а мы с тобой ездили в Сергиев Посад или не ездили? Он пишет, что я поцеловала его на вокзале в губы — вот ведь история. Ну и что, мало ли я целовалась. Непонятно, почему на него это произвело такое уж выдающееся впечатление. Он ведь, наверное, со своей Надей тоже целовался, и не только с ней.

Он, кажется, довольно-таки сентиментальный человек. И скорее всего, намного меня старше, и мне это не очень-то нравится. А может, он и не намного старше. Конечно, я же болела и многое забыла. Это, наверное, оттого, что я все еще расту, и довольно-таки быстро. Но если все это не так, и если все это розыгрыш, а Шарманщик — какой-нибудь старикан с бородой или вообще какая-нибудь розовая барышня, то что я здесь делаю? Ох, сама не знаю. Наверное, мне все же понравились его дурацкие рассказы. Особенно про философа Соловьева. Это странно. Потому что Соловьев не любил Японию, а я люблю. Соловьев говорил, что буддизм — это тупик и совсем не то, что нам, христианам, надо. Что буддизм пассивен. А я думаю, что буддизм совсем не пассивен. Достаточно посмотреть на их гимнастику или борьбу и почитать их стихи. А еще, по-моему, к тому времени не было напечатано ни одной грамотной книжки по буддизму. А может, ему в руки не попалось. Стихи-то уж он, скорее всего, не читал. Вот это, например, про калитку и рассвет — вряд ли читал. Японию он не любил, но был, выражаясь книжно, кровно с ней связан. Она его прямо-таки преследовала, прямо-таки кружилась вокруг него со всех сторон. Я читала воспоминания его племянника, специально взяла у отца. Так вот, там силовная Япония. Во-первых, муж его первой возлюбленной Софьи Хитрово Михаил, кажется, Александрович служил в русском дипломатическом консульстве в Япо-

нии, и у них доме была куча японских статуэток и вещей. Веера, игрушки, зонты, фейерверки... Ей же самой Соловьев пишет в письме, что видел сон, в котором наблюдал самого себя, стоящего на балконе какой-то захолустной гостиницы. И он тогда подумал: куда этот Я собирается? Ведь этот Я и есть я, настоящий, философ Владимир Соловьев. Я путешествую по Сибири (это ясно ему снилось, что он в Сибири). И совершенно понятно, что я еду сейчас в Японию. Непонятно только, почему так сильно дует ветер. Вот такой вот сон. И это еще не все. Да, дамы и господа, далеко не все. Клянусь мамой, как здесь, на юге, говорят. А все будет тогда, когда выяснится, что вторая его возлюбленная, и тоже Софья, что



и понятно, по причине его неадекватной увлеченности этим именем, так вот эта самая Софья Михайловна Мартынова была ужасно похожа на японку. И Соловьев даже написал ей «японское» стихотворение. Первые буквы его стихов образуют прозвище, которое дали Софье Михайловне ее друзья — профессора да философы: Сафо. Это в честь греческой поэтессы и по созвучию имен, а не в знак какой-либо лесбийской розовости. Тогда это еще не было в моде. Вот лет через десять-пятнадцать — другое дело. Цветаева — Ахматова — Коллонтай — Глебова и много-много других, менее известных, но не менее пылких любовниц.

Слов нездешних шепот странный,
Аромат японских роз —

Фантастичный и туманный
Отголосок вещей грез.

Такие стихи. А в другом стихотворении он называл ее милой грезой счастливого японца, а про себя написал там же, что жизнь ему кажется рядом с С. М. японской сказкой. Жалко, что в книжке не было ее фотографии. Правда, интересно было бы взглянуть — похожа на японку или нет. Они тогда все были очень серьезные на фотографиях — ну хоть бы одна улыбнулась. У отца два пудовых фотографических альбома, которым по сто лет каждому, и там никто не улыбается. Лица тяжелые, каменные. Только у одной моей прапрапрабабки, снятой в гимназической форме, видно, что уголки губ едва заметно подрагивают, кажется, вот-вот не выдержит, зайдет от смеха и пойдет дальше бегать, играть в горелки со знакомым кадетом или, скажем там, в фанты. Но все равно на фотографии она очень серьезная и словно весит намного больше, чем сегодняшняя девочка ее возраста, хотя это не так, потому что видно, какая она хрупкая. Кадета-поклонника потом расстреляют большевики, а она выйдет замуж шестнадцати лет от роду за энкавэдэшника, который ее потом бросит, и она уже никогда не выйдет замуж второй раз, а будет нянчиться с малолетним внуком своей дочери. Фотография энкавэдэшника тоже сохранилась — лоб низкий, дегенеративный, нос широкий и лицо бледное и тоже широкое. Волосы торчат надо лбом — прямые, жидкие. Желваки так и играют, сразу видно. Так вот этого гориллу, который собственноручно приводил смертные приговоры в исполнение, красавица прабабка, девочка из хорошей старинной семьи, безумно любила и всю жизнь вспоминала, как они выезжали из города на мотоцикле, а потом она сидела в поле среди ржи и васильков и всходило солнце, а Василий Николаевич (имя гориллы) шел к ней по полю как ангел с огромным букетом ромашек. А в каждой ромашке, наверное, прятались души тех, кого он расстрелял накануне, или их родственников. Но прабабка об этом, конечно же, думать не думала, когда они там, в поле, целовались.

Я сижу здесь, в темном прохладном баре, обдумываю нашу семейную сагу (интересно, а может быть, мы каким-то боком действительно в родстве и с философом Соловьевым,

во всяком случае отец заговаривал пару раз на эту тему, сейчас ведь модно составлять все эти генеалогические дворянские таблицы, хотя половина из них липовая, но отец в этом хорошо разбирается, тут он специалист высокого класса), и я уже выпила пенси-колу со льдом и перешла на кофе. Кондиционер гонит струю холодного воздуха прямо в прореху на моей коленке, а напротив сидит какой-то мулат или цыган в черной рубашке, а на столе перед ним — бокал мартини и меховая рукавица, в которой горит лампочка. Я давно к нему присматриваюсь, а он — ко мне. Но со стороны никто этого не заподозрил бы, клянусь. Я-то теперь присматриваюсь ко всем нестандартным мужчинам в надежде, что это, может быть, и есть тот, кто называет себя Шарманщиком, а он, наверное, присматривается ко мне, потому что я ему понравилась. Я всем мужчинам нравлюсь, и даже чересчур. Меня это утомляет. Я иногда специально сгибаюсь в три погибели, когда иду по улице, — так они думают, что я калека, и меньше пристают.

Цыган

Мы гуляли с ним полчаса по набережной вдоль моря, и он рассказывал о себе, и я решила, что нашла Шарманщика, но все же до конца не была уверена. А спрашивать прямо я не стала — зачем пугать человека раньше времени? Ох и красавец же он был — весь смуглый, высокий, в вельветовых брюках и похож на цыгана.

На набережной здания кафешек стояли бок о бок, из каждого гремел мертвый женский или мужской голос, все вместе было ужасно. Я вспомнила Шарманщика с его театром и ударила ногой в пол. Я ясно услышала, как под сценой отозвался и завибрировал низким эхом медный кувшин.

Я поняла, что теперь изображаю святыню, что я и есть святыня — икона среди пустого мира, а вернее, что я и есть этот пустой мир за каким-то небольшим вычетом упорядоченной материи, которая плавала в виде молодой девушки в рваных джинсах в этом эфемерном мире, таком красивом и хрупком. Я даже почувствовала, как от этой хрупкости и печали мне наворачиваются слезы на глаза, а потом вспом-

нила, что в театре Но нет женщин-актеров, а значит, теперь я мальчик или существо, которое соединило в себе два пола.

На языке жестов, пользуясь ладонью как веером, я спросила у цыгана, почему в его рукавице горит свет. Он же предпочел остаться среди зрителей и поэтому отвечал мне не жестами, а бытовым своим, не выхваченным из потока суетной и обманчивой жизни языком: «Это кокон». Тогда я спросила его, чуть изменив положение руки, откуда там свет. Он улыбнулся и сказал: «Это не моя рукавица. Когда я вошел, она лежала на столике. Я поэтому за него и сел. Внутри работает маленький фонарик. Наверное, он греет кокон или еще что-нибудь, не знаю».



Потом мы оказались в ночном клубе, в этой мертвенной синеватой подсветке, от которой зубы светятся по-разному, и видно, какие свои, а какие вставные, потому что от подсветки они становятся разного цвета. На сцене играл джазовый оркестр, и толпа мальчиков-девочек пыталась потанцевать под музыку, но у них ничего не получалось, потому что это не попса, а джаз. Еще я забыла сказать, что мне было страшно. Мне было страшно, когда он подошел ко мне в баре, и когда мы гуляли, и здесь, в клубе, мне тоже было страшно. Это я только с виду бесстрашная, а если вдумать-ся, то, наверное, нет такой вещи, которой я бы не боялась. Я боюсь машин, ножен без клинка, карт, купюр в пятьдесят долларов, голых женщин, но не всех, а незагорелых, стоять

на краю платформы и состариться. Я боюсь, что не прочту самой главной книги, боюсь запаха шпал, очень боюсь смотреть на украинское сало. Еще я боюсь пластилина и отверстий для пальцев в ножницах. Поэтому я никогда не стригу ногти ножницами, а пользуюсь специальными серебряными щипчиками. Еще я боюсь манекенов и ампутированных пальцев, вернее, обручков на руке. Я не боюсь смерти и ран. Я не боюсь голода и любви. Но я боюсь, что меня нет. Иногда я думаю, что мне нужно найти человека для того, чтобы перестать бояться и понять, что я на самом деле есть на свете. Потому что я почти уверена, что меня нет, и это самый большой мой страх. С ним может сравниться только еще тот, что меня и потом не будет. Никогда не будет. И вот тогда я думаю, что если найду Шарманщика, то, возможно, мы сумеем однажды так обняться, что после этого уже будем всегда. И станет совершенно ясно, что я есть, потому что есть он, и мы всегда были, как собаки, например, или камни, или ветер. А сейчас мы стоим в толпе, и я думаю, Шарманщик Цыган или не Шарманщик. Хорошо бы он был Шарманщиком, но он, кажется, слишком для этого красив. Вот если бы рукавица была его, то тогда он мог бы быть Шарманщиком, но рукавица-то не его. Хотя не случайно же он сел именно за столик с рукавицей, значит, она его заинтересовала. В общем, у него есть шансы.

Потом мы сели за освободившийся столик, и мне пришлось протискиваться в щель между стеной и его краем так, что я его чуть не опрокинула — такая была теснота. Я сказала Цыгану: расскажи про свою жену. А он сказал: «Мы не успели пожениться».

Тут к нам протиснулась официантка, высокая такая девушка с наклеенной улыбкой и ногтями в серебряных звездочках, и Цыган заказал текилу. А мне он заказал мороженое и вино. Оркестр неожиданно заиграл Summer time, мою любимую. Я даже вздрогнула — сто лет ее не слышала. С того самого вечера в школе, когда мы с Настей вдруг поцеловались. Непонятно, что на нас тогда нашло. Но это было приятно.

— Мы не успели пожениться. Мы целый год встречались, а она только потом сказала: давай поженемся. Она была красивая, как ты, и у нас был отличный секс. Наверное, мы бы пожились, хотя мне было все равно. Как-то в таком же вот

месте, как здесь, ей стало плохо. Она до этого все выходила в туалет, я думал, у нее что-то с животом, и только потом понял, что она там делала. В общем, у нее был передоз, а я думал, что она просто напилась. Я сам был пьяный и с трудом донес ее до джипа. Там я положил ее на заднее сиденье. Не сразу. Сначала я посадил ее лицом ко мне, спиной вовнутрь, и она откинулась на сиденье, как исчезла, и только ноги в туфлях торчали. Белые как молоко. Я их сгибал, чтобы закрыть дверцу, но они разгибались и вылезали по очереди наружу. Тогда я залез в салон с другой стороны и подтянул ее внутрь. Потом снова вышел и закрыл дверцу. Я повез ее к ее родителям. Они меня не любили, и я не хотел с ними встречаться. Лифт не работал, я понес ее на шестой этаж на себе. Потом узнал, что нес ее уже мертвую. Я посадил ее у дверей и нажал на кнопку звонка. Когда спускался вниз, оглянулся. Она сидела в одной туфле, вторую мы где-то потеряли. Лицо у нее было несчастное, обиженное. Я потом часто думал: кто это ее успел обидеть? Но теперь уже, ясно, не узнать. Такие дела.

Он помолчал и добавил:

— У меня был один приятель, который как-то привез свою девчонку к себе, еще ее и трахнул и только на середине понял, что она не дышит. Но он все равно в нее кончил, не смог остановиться.

— Зачем ты мне это рассказываешь?

— Ты же сама просила. Ладно. Теперь ты расскажи.

— Ты не Шарманщик.

— Нет, не шарманщик. И не вышибала, и даже, к слову, не матрос.

— Вот это ты правду говоришь.

— Любишь матросов, как все девочки?

— Люблю. Только девочки не матросов любят.

— А что любят девочки?

— Сам знаешь, что они любят. Чтобы ими восхищались. Потому что бояться, что вдруг у них ничего такого не окажется, чем можно было бы восхищаться. И тогда все, конец песне.

— И ты боишься?

— Нет, я не боюсь. У меня песни из других слов. Не из вашего алфавита.

— Все так говорят. Держи рукавицу, дарю.

Я взяла рукавицу и засунула за пояс. Там внутри по-прежнему что-то светилось, и от этого моему животу стало тепло и уютно. Я хотела еще что-то сказать по поводу алфавита, но потом подумала: а зачем? Чтоб меня снова за дурочку приняли? Нет уж, хватит с меня откровенностей.

Я выпила еще, а потом мы поехали к нему в гостиницу, в номер, и там снова выпили. А из второй комнаты вышел его приятель, и они вдвоем стали меня раздевать. На мне и так-то было не много. И тут мне стало так страшно, что я почувствовала сплошной лед и ужас внутри и от этого слезитировала. Просто внезапно поднялась в воздух на метр и застыла. Сама не знаю, как это получилось. Я видела, что от меня идет холодный, как в ночном клубе, свет, и от этого в комнате стало светло и призрачно. Так я и стояла в воздухе, и меня такой колотил озноб, что зубы лязгали, а кожа и вставшие дыбом волосы светились как мел. Я это хорошо помню, потому что была напротив зеркала. Я, кажется, все время кричала, но голоса слышно не было. Я видела в зеркало полоску голубых трусиков над расстегнутыми джинсами и как из глаз как будто летит туча моли. Такое было с одной моей подружкой, когда ее чуть не изнасиловали в лесу, но я тогда ей не поверила.

Я опустилась на пол и увидела, что описалась. Я подняла с пола рукавицу с фонариком внутри, футболку, натянула на себя и заплакала. Те двое давно убежали, и я спустилась по лестнице в холл. Я все время плакала и не могла остановиться. На тех ребят я не сердилась. Они были ни при чем, хотя и скоты, конечно. Они, наверное, решили, что я колдунья или вампириша. Не удивлюсь, если они тоже намочили брюки.

На улице бил фонтан, и в нем плавали золотые рыбки. Я залезла в него, и мне стало теплее. Я чувствовала, как они тычутся мне в ноги, потом опустилась в воду с головой и стала с ними разговаривать. Одна подплыла совсем близко, куснула меня за мочку уха и тихо сказала: «Как никогда, как всегда». Кажется, это был слоган из рекламы сигарет «Мальборо». Хотя, какая разница. Правду о себе иногда можно услышать и от глупой рыбы, и с рекламного щита.

Цементный завод

Я шла мокрая по улице, и на меня оглядывались. Терпеть не могу, когда на меня оглядываются. Терпеть не могу всех этих загорелых болванов, которые думают, что вершина удачи — это коттедж на Рублевке или попасть на телевидение. С утра они все, как один, озабочены, как побриться так, чтобы щетина торчала ровно на три миллиметра, и еще какую бы девку им вечером трахнуть, и каким парфюмом от них пахнет, и куда припарковать на подъезде к ресторану свой танк, предназначенный для путешествий по пустыне Гоби, а не по курортному городку. Но им это все равно. Им вообще все все равно, кроме деньги-трахнуть-прокатимся-сделаю, босс. Я как-то давно даже дружила с двумя такими явлениями природы. Один начал разговор прямо на улице — подарил букет роз, и первой фразой его было «Я очень богатый». Я сказала, что я тоже, и пошла дальше. Но он не отстал, и мы с ним потом еще какое-то время встречались, но мне это скоро надоело. Бог ты мой, да он в конце концов предложение мне сделал, вот до чего дошло. Но я сказала, что я несовершеннолетняя. Вообще-то я не люблю говорить на эту тему, но надо же было как-то вежливо отказать. А потом он позвонил мне совершенно пьяный и лепетал запредельные слова. Мне его даже жалко стало. Я чуть было не предложила ему встретиться прямо сейчас, прямо на улице у моего дома, под дождем, но, слава Богу, удержалась. Вспомнила все наши разговоры до этого и удержалась.

Мне кажется, все они боятся. Они боятся однажды узнать, что все, что они делают, — деньги, дачи, карьеру, вклады в банки за границей, острова в океане и бизнес на Канарах — что все это гроша ломаного не стоит. Что самое главное не на той дороге находится. Поэтому они все такие заученные, такие напряженные, наши русские Петя и Вани, и все куда-то бодро бегут, и по телефону на бегу разговаривают, как Джоны и Майклы в Нью-Йорке. Знаете, чего они больше всего боятся? Что однажды, когда они бегут куда-то по своим делам, подойдет к ним их босс в черном костюме и цепью на бычьей шее, который их и посылает на их дела, и будет он при этом непривычно печальным, грустным таким будет, с прозорливым таким, ясным, усталым и умудрен-

ным взглядом. Остановит он их забег, возьмет за пуговицу, вздохнет печально и скажет: «Заканчивай, брат! Кончай на хер беготню. Все это отстой, поверь мне. Не то нам нужно от жизни, брат, не то. А нужно нам, брат, от жизни белой ромашки да ангельской песни, и больше ничего нам от нее не нужно». И тут у босса полезут черные крылья из-за спины, а морда станет грозной и честной-честной до невозможности. Такой станет честной, что никак нельзя будет ему не поверить. И вот этого-то шока никому из них не пережить. И когда они видят такое во сне, они кричат так, что весь дом просыпается, думая, что кого-то режут, вся гостиница. Я сама слышала.

Я была вся мокрая и решила, что теперь заболею и, может быть, даже умру. Я зашла в какую-то кафешку под пальмой с мигающей световой вывеской без одной буквы и вышла там чаю, стоя рядом со стойкой. Я вытащила из брюк соловьиный. Он, как ни странно, работал. Я хотела кому-нибудь позвонить, но, когда на дисплее загорелся список имен, выяснилось, что звонить некому. Тогда я вспомнила, что я маленький остаток в мире вечности, и стала разглядывать пальму через окно.



Сломанная световая надпись над входом мигала и потрескивала, и верхушка лампы от этого словно тряслась в бледно-синем неживом свете. Было слышно, как где-то за черными кустами барбариса, в глухой тени, стучат бильярдные шары, а вообще было на удивление тихо. Я и не заметила, как забрела на какие-то окраины. Я положила рукавицу на стойку бара и стала смотреть, как она там, внутри, светится. Рукавица была сухой, потому что, когда я полезла в фонтан, я положила ее на бордюр. А странно, что я ее там не забыла. Наверное, не судьба. Вот будет потеха, если в ней действительно кто-то выведется. Бабочка какая-нибудь или, к примеру, змея. Так я и стояла напротив зеркала с бутылками и смотрела то в него, то на рукавицу. А за окном, отражаясь в этом же зеркале, вибрировала в свете пальма.

Потом я не помню, что делала и где была, а потом вышла к речке.

Набережная была пустой. Речка совсем обмелела — где-то посередине бежал небольшой ручеек по камням и даже не журчал, а только чуть отсвечивал под фонарем. Я пошла вверх по набережной в ту сторону, где темнели горы. Потом набережная кончилась, а я все шла и шла, сначала вдоль реки, а потом по ответвившейся от нее дороге, пока в конце концов она не уткнулась в какую-то гигантскую постройку.



В свете луны здание было похоже на корабль, с которого ушли пассажиры. Во дворе под лунной светились два заржавленных автомобильных кузова, пахло пылью и мочой. Наверху тянулись ряды темных окон, почти все стекла были выбиты. Я вошла внутрь, под ногой хрустнул щебень, и

сразу отозвалось и заговорило эхо. Где-то наверху началась возня и хлопки — это я разбудила птиц, которые тут почевали. Наверное, здесь еще есть и крысы, а может, и змеи. Уж ящериц-то точно нет.

Мне вдруг стало хорошо и спокойно. Я поняла, что пришла домой. Конечно, это смешно, когда тебя сначала почти изнасиловали, а потом ты ходишь неизвестно где, чтобы хоть как-то прийти в себя, забредаешь на окраину неизвестного тебе города, находишь среди ночи заброшенный корпус какого-то, непонятно какого, завода, и вдруг думаешь, что тебе хорошо и что ты дома. Вчера бы я такого не поняла. Но если такое произошло, что ты чувствуешь про дом и про то, что тебе хорошо, значит, это просто произошло, вот и все. На третьем этаже я пошла по длинному коридору, заглядывая в приотворенные двери, и когда увидела, как в одной из комнат сквозь окно блестит речка, вошла.

Я открыла окно и села на пыльный подоконник. В комнате валялся стул и стояла допотопная железная кровать с металлической сеткой. Речка была недалеко, ее можно было даже разглядеть, а лягушки квакали так, что за километр было слышно. Я легла на подоконник во весь рост, повернула голову к речке и стала смотреть на нее и ждать. Потому что должно же в конце концов что-то произойти. Потом я, какется, заснула. Сначала я лежала на подоконнике, освещенном у моей головы светом из рукавицы, которую я положила рядом, и разглядывала речку. Потом стала думать, что надо позвонить маме в Москву, они там, наверное, с ног сбились, меня разыскивая — ведь я уже сутки не отвечаю на вызовы. Потом я стала думать о Шарманчике. А что если его вообще не существует? Но такого не могло быть, потому что я чувствовала, что он где-то рядом. Интересно, как он выглядит. Мы с ним, скорее всего, были любовниками или что-то в этом роде. То есть в той жизни, которую мы с ним забыли. Он ведь тоже ее забыл. Интересно, почему это мы с ним решили взять и забыть наши жизни? Причем не просто забыть, а так, чтобы найти друг друга заново и в новой истории. Что нас не устраивало в старой? В смысле, настолько не устраивало, что надо было все переиграть заново, вместо того чтобы просто расстаться? Там, наверное, было какое-нибудь страшное событие, которое мы решили вычеркнуть. Мне даже одно время

хотелось сходить к гишнотизеру, чтобы он меня загишнотизировал, а я ему рассказала про все мое прошлое с Шарманщиком. Но потом я передумала. Не хочется, чтобы в душе копались всякие придурки. Я, вообще, от них порядком устала. Конечно, без них нельзя, но я устала. Меня от них тошнит. Просто наизнанку выворачивает. Вот Лука не придурок, Лука встречается с королевой Мэб. А Шарманщика он все равно не помнит. Потом я заснула.

Белые колокольчики

Ночью я проснулась, потому что мне показалось, что я что-то расслышала. Сначала я подумала, что слышу свой собственный голос во сне, словно я там громко говорила и потом от этого проснулась, но когда я села на подоконник и стала прислушиваться, я поняла, что проснулась не от того, что мне снилось, а совсем от другого. Я не знала, от чего именно, но чувствовала, что причина была. В комнате было темно, светились лунным блеском осколки битого стекла на полу и мерцал угол подоконника, где лежала рукавица. Я встала и прошлась, но на этот раз у меня ничего не хрустело под ногами, и вообще тишина была полная. Я обратила на это внимание не сразу, на тишину. Потому что со сна сразу не все замечаешь.

Тишина была такая, что я ничего не слышала. Ведь если, скажем, прижать пальцы к ушам, то все равно что-то можно услышать, какое-то гудение, внутренний шум, а тут я оказалось словно в вате. Я даже сначала решила, что оглохла. И мне стало страшно. Но потом я рассмеялась, потому что решила, что, может быть, я еще и не проснулась, а мне все это снится. Хотя, конечно, всегда чувствуешь, проснулся ты или нет. Когда просыпаешься по-настоящему, то на языке можно услышать ментоловый привкус лавровишни, а если тебе только кажется, что ты проснулся, а на самом деле ты спишь, то про язык ты не вспоминаешь вообще. Мне ни в одном сне не снился мой собственный язык, и никому другому он не снился.

Потому что есть вещи, которые не снятся. Их не много, но и не мало. Есть слова, которые не могут присниться, как бы вам этого ни хотелось. Словом, есть острова во сне, куда

воды сновидения подняться не могут. Однажды я даже хотела написать письмо одному человеку, состоящее из слов, которые не снятся, но тогда у меня еще не было их словаря. Я начала составлять его позже, но так и не закончила. Вы никогда не сможете присниться самим себе, как вы есть, потому что там, где вы есть на самом деле, нет сна. Вам по той же причине никогда не может присниться ангельский язык, но вы можете ясно услышать его перевод, сделанный вашим подсознанием. То же самое и с языком бабочек, деревьев или ящериц. Никогда и никому не снилось ушко иголки. Это я точно выяснила. Есть еще несколько вещей, которые, скорее всего, никому и никогда не снились. Дно океана. Луна. (И это очень странно.) Кукла. (Тоже странно.) Катюшка ниток. Император Монтесума. Бинобль Цейса. Никому не снились Антонен Арто, а также писатель Набоков. Отсюда я делаю вывод, что есть люди, которые не могут войти в сновидение, а есть и такие, которые не могут из него выйти и поэтому снятся постоянно. Но сейчас я думала не о снах, а просто вспомнила, что если я почувствовала вкус лавровишни на языке, то, значит, я проснулась на самом деле.

Я хлопнула в ладоши, но звука не было, как будто кто отключил громкость в телевизоре. Я проделала это еще раз, но с прежним эффектом. Впрочем, кое-что я все же слышала. Сначала мне казалось, что тишина была гладкой, как стекло без единой трещинки, но потом я стала различать словно бы ветер, который шуршит в кустарнике. Я обрадовалась и решила, что слух ко мне возвращается, но через минуту ветер в кустарнике пропал. Я стояла посреди комнаты в мутном лунном свете, идущем от окна, и прислушивалась. Я закрыла глаза и попыталась представить этот самый завод во всю длину, со всеми его десятками, а может быть, и сотнями пустых комнат. Как они все сейчас одновременно пустуют — каждая по отдельности и все вместе, и по этой стороне здания в них во всех стоит этот мутный лунный свет, похожий на стрекотинное крыло, — во всех вместе и в каждой в отдельности. Я увидела его лабиринт, как он пересекается и расширяется в тишине, переходя с этажа на этаж, от лестницы к лестнице. Я видела, как везде полы и подоконники покрыты пылью, как на некоторых полах валяются ватники, заля-

панные несмываемой краской, плоские и холодные, видны окаменевшие окурки и старая обувь; как весь огромный дом застыл словно пароход в лунном свете.

Потом я услышала тоненький голосок. Он мог принадлежать девочке лет десяти, но дело было не в этом. И даже не в том, откуда она здесь могла взяться. Дело было в самой песенке. Она пела без слов, но в ее голосе звучала радость и одновременно грусть, восторг и отчаяние, тревожный вопрос и сладкое умиротворение, похожее на то, когда ребенок вот-вот заснет и устраивается поудобнее. Все это звучало в голосе одновременно. Там были и другие чувства и оттенки, например восхищение, как это бывает, когда лобуешься закатом солнца, или благоговение, когда встречаешься с огромной горой, увенчанной сияющей шапкой снега, и бескрайним небом над ней, и еще в голоске невидимой девочки слышался рев водопада и свист дракона, плач младенца и контральто певицы, стои мужчины во время оргазма и крик его подруги, шуршание листьев по осеннему парку и флейта музыканта. Теперь этот голосок уже нельзя было назвать тоненьким, хотя и так его тоже можно было назвать.

Я шла по коридору и заглядывала во все двери подряд, потому что я очень хотела найти ту, кто умеет так петь, если, конечно, это можно назвать пением, но ее нигде не было. Иногда мне казалось, что я ее вижу, и тогда белесая темнота в комнате, куда я заглядывала, начинала сгущаться, пульсировать, словно собираясь в кокон величиной с маленькую девочку, но потом к пению прибавлялся еще один звук, например удары скачущих копыт, и тогда кокон, брезжа золотистым светом, медленно таял. Но, прежде чем растаять, свет уже почти сгущался в фигурку девочки лет двенадцати, и можно было различить ее платье, и кудрявую головку, и даже полукруглый в пении рот, хотя было ясно, что поет она не ртом, а всем своим телом. Что звук исходит из каждой клеточки ее свечения — из волос, из плеч, платья, ног. Скорее можно было представить, что это звуки образуют фигуру, а не фигура излучает их. Словно бы эти звуки, придя неизвестно откуда, решили здесь встретиться. Но встретиться просто так никому не удастся.

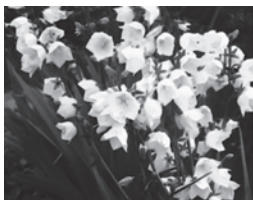
Я имею в виду, чтобы произошла встреча, нужна ведь какая-то зацепка, ну например чтобы кто-то сказал: место

встречи — метро «Маяковская», центр зала, или возле памятника Пушкину, или — мое тело. Место встречи — мое тело. Так говорят редко, хотя думают часто, но я все же такое слышала один раз, когда так сказали вслух. Я сама скажу вслух такое, чтобы меня услышал Шарманщик, если он так и не сумеет назначить мне место свидания. Я тогда скажу: вот я, вот наше место встречи. Я скажу, что этому меня научила святающаяся фигурка девочки, похожая на колокольчик или ангела. Потому что до того, как стать, она успела сказать своим собственным тихим голосом, который всегда есть у любого человека еще до его рождения: вот я. Встречайтесь. Все вещи и люди, которые хоть когда-нибудь были в мире, все животные и все голоса — видимые и невидимые. А поскольку она сказала это не какому-то определенному человеку и даже не нескольким людям, двоим или троим, а всему на свете, то все эти голоса и пришли на место встречи, которое она обозначила самой собой. Ей, наверное, было жутко и больно, пока они приходили поодиночке, потому что среди них были, конечно, и голоса демонов, и крики самоубийц, и погибающих женщин, и животных, но когда она выжидала, вытерпела их приход, обливаясь слезами ужаса и сострадания, тогда они все соединились не в страшную и темную яму, полную отчаянных стонов и воплей, а в небеса ангелов и белых колокольчиков. А сама она стала как ангелы или белые колокольчики, о которых философ Владимир Соловьев писал в одном из последних своих стихотворений, что они пришли с неба, хотя и растут здесь, и никогда не уходят без того, чтобы не помочь.

И я стояла и смотрела на нее, как она собиралась из этих голосов в настоящую девочку, но каждый раз, уже почти что совсем собравшись и ожив, начинала расплываться снова, словно какого-то последнего звука ей все же не хватало для окончательной жизни.

Я видела, что она блаженна и полна радости, но никак не может при этом стать настоящей девочкой — из тех, которые рождаются, сосут материнскую грудь, потом ходят в садик, школу, потом влюбляются, потом делают первый аборт, выходят замуж, курят наркотики, потом идут в церковь и каются в наркотиках и абортах, рожают, седеют, сидят с внуками, болеют, делают операции и умирают в отделении для

неизлечимо больных, откуда никто не выходит. Наверное, она не могла быть совсем блаженной и при этом собраться в девочку, а могла только витать рядом с живой девочкой, накануне ее, потому что живая девочка, наверное, не выдержала бы того, что выдержала девочка-колокольчик. Наверное, живая девочка не смогла бы, во-первых, впустить в себя такую тишину, чтобы тихий голос, который есть у нее еще до рождения, могли расслышать все вещи и голоса в мире — все животные, деревья, облака и рыбы, а ведь для того, чтобы они его услышали, в душе должна наступить такая тишина, что они не вытерпят себя отдельно от этой тишины и поэтому вдруг откликнутся и придут. А тишина для души бывает как смерть, и мало кто на нее может решиться из живых девочек. А во-вторых, ей, девочке-колокольчику, как будто не хватало одного голоса, единственного, того, что дополнил бы ее до нашей сумбурной и непонятной жизни,



которая тем не менее настоящая и иногда даже, пускай редко, волшебная, — всего одного голоса не доставало, чтобы она примирилась с миром, где живем и умираем мы, и с тем, другим, недостающим голосом она бы могла войти в наш мир, а так, без него, она все время недовоплощалась и таяла.

И я подумала, что я могла бы быть этим голосом и что для этого мне надо сказать всего одно слово, все равно какое, и тогда эта девочка станет такой же, как я, теплой и всем видимой, и что от этого может измениться вся жизнь и в этом

городе, и вообще во всех остальных городах, и везде. Люди перестанут убивать друг друга, соперничать и лгать. Дельфины вернутся в моря и океаны. Индейцы станут возрождать свою жизнь и заселять родной континент. И все, кто жил когда-то давно, а потом умер и был забыт всеми остальными людьми, обнаружат себя живущими на земле снова, причем не в боли, а в радости. И звезды снова превратятся в тех людей и животных, которыми они были когда-то. И я уже почти сказала это слово, и в этот миг внезапно даже поняла, как оно звучит и что оно значит, ощутила его шуршащий и ментоловый вкус на языке, словно глаз глубоководной рыбы или палец бога Марса, и его глубокую, белую, как ромашка у крыльца, тишину, но потом я подумала, что я делаю ошибку.

Зачем зазывать этот колокольчик в мир, куда она придет, а потом может пожалеть, а назад, скорее всего, пути не будет? Я подумала, зачем ей идти туда, где люди не понимают друг друга, каждый слышит только себя самого, где тебя то обманывают, то насилуют, а потом звонят и зовут замуж, причем те люди, которые тебе совсем не интересны, а тот, кого ты чувствуешь, что любишь, как я Шарманщика, пропал, и вместо него самого ты составляешь о нем историю из неоконченных рассказов, хотя однажды не выдержишь, разденешься догола, ляжешь ночью на пляже крестом и скажешь: место встречи — мое тело. Иди.

Рассказ постояльца Луки

А вернее, тетрадка, которую Лука подsunул однажды утром Арсению прямо под подушку, пока она еще спала и улыбалась во сне. Он стоял над ней, зачарованно глядя на эту улыбку, по которой как по радуге или мостку можно было пропутешествовать из этого мира в тот и в том тоже встретить ту же самую улыбающуюся во сне девушку, грезящую неизвестно о чем. Только здешний сновидческий правый уголок улыбки хотя и перетекал там в тот же рот, но перетекал через его левый уголок — мужской.

Постоял, посмотрел, подумал, зная, что и та девушка, у которой сердце справа, своим мостом-улыбкой связана со

следующей Арсенией, хотя, возможно, ее будут звать немножко по-другому, скажем Аполлинарией, и у нее сердце будет снова слева, и на первый взгляд она будет больше походить на Арсению, чем вторая, но на самом деле нет ничего дальше отстоящего друг от друга, чем первая и третья Арсени. Можно сказать, что так играют сны, но если бы Лука так сказал, то только для простоты, потому что это были не сны, а варианты судьбы, которые существуют все сразу в некотором сложенном веере, вложенном в каждого человека между ребрами, но его почти никто не замечает. И если веер, вложенный между левыми ребрами, развернуть, как это бывает с колодой карт, то перед нами возникнут все возможные женские судьбы мира. Больше того. Они не просто возникнут как варианты, из которых один можно использовать, а от других, следовательно, отказаться, но как полноценные и все время строящие себя жизни, перетекающие одна в другую и вечно возвращающиеся к своему собственному началу. Некоторые из них в траектории и пульсации своей перестанут на время быть женскими и войдут в плоть и кровь мужчины, для того чтобы и вести мужскую, активно созидающую, оплодотворяющую и нападающую жизнь. Но они вернуться туда, откуда начались, — в Арсению. Потому что начало жизни — имя. От него можно уходить сколько угодно, и во всех направленных сразу, и даже даже обратно во времени за вымершей алой римской розой или китайским единорогом с ногами козы, но имя как магнит все равно притянет тебя к тебе, потому что больше тебя нет нигде, как только в имени. Потому что ежели ты — все эти женщины и мужчины, то как тогда определить, которая из них на свете ты? Но все они есть в имени, которое собирает их, содержит и объединяет своей невидимой глазом сетью, словно зашедшую в нее серебряную стаю рыб. Конечно, дорогая девочка, вот ты сейчас спишь, а когда проснешься, будешь воображать, что многих женщин зовут Арсения, а все это разные люди. Но это не так. Арсения, как и другое имя, как и Адам, называет не одного человека, но сразу всех людей на свете, как и любое другое настоящее имя, а то, что много разных женщин под одним именем и они никогда не встречаются, то это тоже неправда. Я бы и дальше рассказывал тебе, красавица, чудесную явь про этих женщин, которые — одна женщина, но просто расположенная на

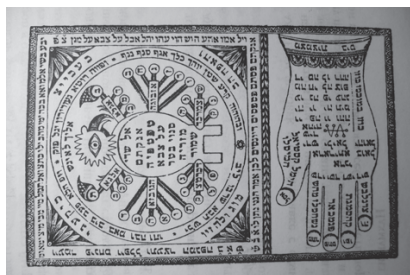
разных этажах имени Арсения, и про наш мир, который мы проспали, но думаю, что ты меня еще не сможешь понять. Сам я понял это не со слов и не из рассказа, а заглядывая в глаза своей ненаглядной, своей желанной Мэб. Скажу только, что имя Арсения может быть плотным — красным, или чувственным — зеленым, или голубым — возвышенным, ну и так далее, включая все переходные оттенки, весь их калейдоскоп. Но есть одно — белое — имя, и оно — общее для всех. Оно-то всех и содержит в свободе и самоопределении. Поэтому спи, красавица, а когда проснешься, прочитай эту тетрадку профессора из Чикаго, слависта Ильи, который гостил у меня как-то и забыл здесь эти записи. Как-то ты упомянула ученого по имени Соловьев, философа кажется, так вот там о нем написаны интересные вещи. Я часть не понял, потому что последнее время вообще не охотник до чтения, но другую часть я не стал читать, а просто увидел. Думаю, тебе понравится девочка. А пока спи, детка, а я пойду за молоком. Слышишь — колокольчики, это козы спускаются с луга.

И Лука не удержался и поцеловал спящую в темя.

И вот что было в тетрадке помимо другого прочего.

«В судьбе философа есть несколько загадочных моментов, — писал славист Илья. — Во-первых, его смех, вторых, его способность видеть умерших и разговаривать с ними, и в-третьих, его бродяжничество. Сами по себе эти моменты не так уж и загадочны, хотя и назвать их рядовыми качествами, свойственными обыкновенному человеку, язык не повернется. Но в сочетании с другими отметинами судьбы они образуют послание. Под другими я подразумеваю три фактора: голубей, бильярдный стол и любовную связь с госпожой Софьей Мартыновой, восходящую прихотливым следом к убийству Лермонтова отцом ее мужа на Машуке и дальше — к предку поэта Томасу Лермонту. Тому самому полупоэтичному шотландскому барду, которому феи показали свою волшебную страну, куда он потом вернулся навсегда.

Не вдаваясь в тонкости, заметим, что в каббалистических книгах, которые Соловьев изучал в Британском музее, при этом восторженно отзываясь об одной из них, по свидетельству доцента И. Янжула, в том смысле, что в любой ее строке больше мудрости, чем во всех философских трактатах



АЛФАВИТ ИВРИТА		א	ב	
		אלף	בת	
ג	ד	ה	ו	ז
מלמל	דלמל	ה	ו	מלמל
ח	ט	י	כ	ל
חמ	חמ	י	כ	מלמל
ממ	נ	ס	ע	פ
ממ	נ	ס	ע	מלמל
צ	ק	ר	ש	ת
מלמל	ק	ר	ש	מלמל

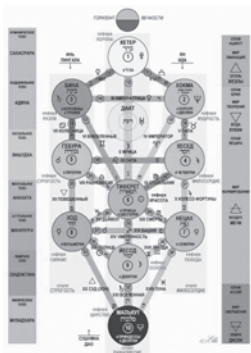


Европы, основополагающей мыслью является та, что Тора (Пятикнижие Моисеево, входящее в состав Библии) была создана Богом еще до сотворения мира. И что именно из ее букв сотворен мир. То есть каждая буква Торы имеет воплощение в земном мире, будучи соединенной с миром неземным — Небом, вместилищем Красоты и Любви Бога, или, как его еще называют, раем. Из этого для Соловьева, попросту говоря, следовало, что область Неба и область земли едины, что они как бы приколочены друг к другу святыми буквами. Что каждая Божья буква соединяет землю и Небо в каком-то одном аспекте, не давая этим областям уйти одна от другой, размежеваться и отделиться, но перемешивая землю с Небом до неразличения, где небесное, а где земное, и таким образом каждая из букв, проводя небесное в земное, осуществляет на земле Царство Божие, земной рай. Во всяком случае, так задумано Богом. Но история красноречиво свидетельствует об обратном процессе, о том, что Небо и земля, красота небесная и красота земная все больше и больше отдаляются друг от друга, как, скажем, сносившаяся подметка, которая начинает постепенно отдираться от ботинка с того края, где плохо вбит гвоздь. Совершенно ясно, что одна из

букв-слов вселенского алфавита на сегодняшний день либо не закреплена как следует, либо утрачена. И вот тут-то начинается главное.

Философ Соловьев в один прекрасный день (или в ненастную ночь, неважно!) открыл следующее. Он понял, что утраченная буква космического алфавита не может существовать сама по себе, но по замыслу Творца (о котором здесь не место распространяться подробно) обречена время от времени воплощаться в какого-то одного из живущих на земле человека. И если человек умирает, то она незамедлительно желает обрести для себя новую плоть и перейти в душу и тело другого человека. Не находя такового, она может долго бродить по земле и присматриваться к людям самых разных времен и континентов, уподобляясь призрачному страннику, Агасферу, Вечному Йиду, Бутадеусу, наделенному бессмертием лишь для того, чтобы однажды он смог встретить Христа и стать с ним одним.

Тайная буква эта обладает бесконечной силой и мощью, какой обладает, скажем, замковый камень готического свода, — вынь его, и постройка рассыплется. Потому-то «выпнутый камень», тайная буква, и не может покинуть мира, но кочует из одной души в другую, ибо, покинув мир, она обрекает его на более или менее быстрое разрушение. Но вернуть себе первоначальную райскую мощь, которая способна снова возратить Небо с его гармонией, бессмертием и радостью на землю, как это было в начале, она может лишь в том случае, если человек осознает ее в самом себе



как свою миссию и часть собственного имени. Это первое. А второе — это условие, что человек, осознавший в себе присутствие чудесной буквы, встретится своей судьбой-буквой в остальное повествование мира, в остальные его слова не абы как, но сделает это в нужном месте и в нужное время, не нарушая, не насилуя и не перевирая своей судьбой и своим своеволием божественного повествования. (Не забудем при этом, что божественное повествование сильно отличается от людского. И что встроенность в первое зачастую совершенно противоречит факту и правилам встроенности во второе.)



Владимир Сергеевич Соловьев рано ощутил свое великое предназначение — воплотить в себе букву космического алфавита, стать гвоздем, вновь соединившим оторвавшуюся подошву земли от Неба. И если сначала он лишь интуитивно чувствовал свое призвание, лишь, так сказать, нащупывал его предварительные контуры, то после трех свиданий с Софией Премудростью, просветившей и благословившей своего философа и возлюбленного, его миссия стала для него несомненна. Ибо никакой мужчина не может почувствовать и сотворить свою судьбу без Софии-невесты.

Что же касается бильярда, то вот в чем тут дело. Философ, как мы знаем, поехал умирать в Узкое, имение, принадлежащее его другу графу Трубецкому. Там он и скончался. Позже в здании разместились санаторий Академии наук, и в комнате, где Владимир Соловьев провел свои последние дни и умер, устроили бильярд. Стук шаров, запах дыма и реплики

игроков до сих пор витают над тем местом, где более подобало бы царить благоговейной тишине или пению ангелов.

Заметим также, что к концу жизни Соловьев стал слепнуть. Это делает возможным уподобление его судьбы всем тем, кто, не довольствуясь грубым земным восприятием, избрал для себя зрение более тонкое — зрение духа. Среди них можно назвать таких знаменитых персонажей, как библейский Исаак, Гомер, Мильтон или Тиресий, а также Эдип или его двойник — герой одной пьесы театра Но, старый самурай, потерявший зрение, к которому в конце его жизни приходит дочь, вопрошая слепого воина о его судьбе. Ибо священная слепота начинается с иного видения, непохожего на обычное, людское».

Недостающий голос алфавита

«Он всегда чувствуется, — писал дальше в своей истрепанной тетрадке Илья-славист из Чикаго. Вернее, он чувствуется как отсутствие. Он, этот утраченный голос, должен быть найден, если мы хотим, чтобы симфония голосов и смыслов, букв и знаков замкнулась и на землю пришел рай. Но отыскать этот голос-голосок мне представляется невозможным, потому что, если с В. С. и буквой, которую он воплощает, в общих чертах все ясно (см. Павича, который писал о Мировом Алфавите в своем «Словаре», хотя и отождествлял его со снами, или Гессе с его «Игрой»), то с голосом ничего не ясно. Одним словом, эти таинственные буквы должны быть произнесены все, и для этого необходимо множество голосов. И в истории людей были моменты, когда казалось — вот-вот придет царство гармонии, но всегда не хватало одного голоска, одной нотки — всегда одного-единственного тоненького голосочка. Пустыня, можно сказать, но его не хватало всегда. Этот голосочек словно вынут из мира, и потому Лаплас напрасно пытался найти гармонию в устройстве космоса, считая угловые скорости планет для того, чтобы свести их последовательность к совершенству, или, как это пытались древние, — к божественной гармонии интервалов и звуков.

Почти все сошло у Лапласа, но голоска не хватило, не хватило дыхания с картавой красной и гласной буквой,

пропетою над этими ходящими по небу живыми звездами для того, чтобы их орбиты и скорости выпрямились в один золотой закон, в гармоническую формулу и стали совершенными. Всегда и везде в мироздании и душе присутствует небольшая гнильца, занимающая как раз то самое неотъемлемое и неотменяемое место, где должен был бы прозвучать этот голосок».

«Так где же его искать? — восклицает наш славист, живущий в Чикаго, почти что в сердцах. — Не за бюстгальтером же девчонки и не во флаконе из-под “Булгари”! Не на небе же, где ангелы поют, скорее всего, согласно, и именно этого земного голоска им недостает. Не на дне, наконец, бутылки “Уайт хорс”! Не в своей же голове или душе, хотя как знать. Но нет, это должен быть неожиданный голосок и неожиданное место, где он находится. Скорее всего, прямо под носом, но мы, как всегда, его не замечаем...»

Далее славист возвращается к Владимиру Соловьеву и пишет: «Тот факт, что стоило лишь Владимиру Сергеевичу Соловьеву поселиться в гостинице, как через полчаса после его въезда карниз белел от десятков слетевшихся к окну голубей, а некоторые из них стучались в стекло, словно пытались влететь в комнату, хорошо известен. И что дети называли его Боженька, тоже. Меньше известно, что он всю жизнь не расставался с японским веером, который, скорее всего, приобрел в Лондоне. Еще реже говорят о том, что последняя его возлюбленная была не только хороша собой, но и напоминала лицом и движениями японку, что (учитывая “слепую” переключку сюжета жизни философа с японской классической пьесой из репертуара театра Но) уже наводит на размышления о таинственных совпадениях, которые могут иметь место лишь в том случае, если их организовало тайное слово, буква, управлявшая его жизнью. Ведь все эти совпадения и странности можно рассматривать как иероглифическое письмо его жизни, которое осуществляет сочетания не только во временной последовательности, как это происходит в письме линейном, но еще и более сложным и одновременно простым способом. Потому что каждый иероглиф сценируется не только с последующим, но и с параллельным, а тот осуществляет ту же операцию по отношению ко всем другим. Таким образом, жизнь, образуя иероглифическое

поле, накапливая бесконечные смыслы и учитывая участие в этом поле голоса самого человека, способна осуществлять как бы смысловые электрические разряды вдоль этого поля, покрытого иероглифами “голубя” и “Японии”, “Софии” и “окна гостиницы” и так далее. Эти разряды, похожие на рисунок молнии в темном августовском небе, могут полосовать поле жизни плеткой, образовывать изящный женский профиль или повторить очерк придорожного облетевшего куста, и все для того только, чтобы выявить и осуществить Букву.



Если открыть Апокалипсис — книгу Откровения святого Иоанна, то мы найдем в ней сведения об отождествлении Христа с Алфавитом. Я есть альфа и омега, говорит грозный Христос Апокалипсиса, Первый и Последний. И повторяет четыре (!) раза эти слова в таинственной книге, повествующей о судьбах людских и о конце света. Уподобление Бога этим двум буквам звучит на фоне катаклизмов, катастроф, падения звезды Вольф и нисхождения Нового Иерусалима с неба на землю. Но если Христос называет себя первой

буквой греческого алфавита и последней его буквой, то было бы смешно предположить, что остальные буквы при этом не учитываются. Конечно же, имеет место полное отождествление себя со всем алфавитом, из которого, заметим, не только собираются все на свете слова, но и сам свет (Вселенная), само Творение возникли благодаря довременному наличию этого Алфавита.

Но, спросим себя, неужели Иоанн (или другой еврей — автор Апокалипсиса, сочиненного на Патмосе примерно в 60-е годы н. э.) мыслил по-гречески и имел в виду греческий алфавит? Конечно же нет. Ибо есть один только алфавит, упоминание которого уместно в Откровении, — алфавит еврейский. А следовательно, речь пойдет о 22 буквах, первая из которых алеф, а последняя тав. И если мы хотим хоть что-то понять о Главной Букве Соловьева, то нам надо иметь это в виду. И тогда я предлагаю вам проделать простую операцию, ту самую, что проделал я. Я выписал символику только одного алефа, применяя ее, так сказать, к жизни великого философа, причем исходя не из обыкновенного его, алефа, символического буквенного значения — “Бык”, “Плуг”, а следуя дальше, хотя уже ясно, что и жертвенный бык, и взрыхляющий для нового рождения землю плуг имеют непосредственное отношение к жизни Соловьева, отдавшего себя в жертву Христову труду в России (его последние в жизни слова “Тяжела ты, работа Господня...”) и взрыхлившего умственную почву России для нового Богословия. Но я, не ограничиваясь лишь прямыми буквенными соответствиями, отыскал также положение алефа на Древе Жизни, духовной карте иудейской каббалы, и, подставив на это место соответствующий аркан Таро “Дурак”, извлек на свет, благодаря этому простому действию, следующую символику алефа: веер (как магическое орудие японского происхождения, а также египетский веер, оживляющий мертвых), голубь, крокодил, двое обнявшихся голых детей, бабочка и Солнце.

Про веер я размышлял буквально накануне проделанной операции — тот самый, с рисунком красного дракона, купленный философом в Лондоне перед путешествием в Египет, про голубей на карнизе свидетельствуют все знавшие Соловьева, а что касается Солнца, то достаточно вспомнить

знаменитое стихотворение философа, которое кончается следующими строками:

Смерть и Время царят на земле.
Ты владыками их не зови.
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь Солнце Любви.

Крокодил же — огромной силы египетский символ творчества. В наследие В. С. оставил нам 22 (по числу, кстати, еврейских букв) тома несравненных сочинений, написанных неизвестно где и когда, потому что ни времени, ни места для создания такого колоссального труда у философа в реальной жизни не было.

И еще.

На Древе Жизни именно алеф с его голубями и веерами знаменует канал, соединяющий Божий Венец Кетер (Бога) с Премудростью Софией, возлюбленной философа, непорочной Девой, назначившей ему свидание недалеко от пирамид в пустыне под Каиром. И если буква философа — алеф, то неудивительно, что миссией этого выдающегося и таинственного человека стало соединение в своем теле и душе несказанного Бога и постижимой им Софии, давшей Владимиру Сергеевичу возможность лицезреть себя воочию несколько раз в жизни, в особенности же во время египетского его путешествия.

Число души его, родившегося 16 января 1853 года, если считать по новому стилю, дает двойку, что соответствует на Древе Жизни второй сфере Хокма — Премудрости Божией Софии.

Как говорится, *sapienti satis*.



И два слова в придачу. Фигура, с которой каждый раз начинается бильярдная игра в комнате, где летом 1900

года скончался выдающийся русский философ, называется «Пирамида», отсылая и читателя и комнату со всеми ее игроками и шарами к месту встречи Владимира Соловьева и Софии, расположенному неподалеку от усьпальниц фараонов. И ежели бильярдная пирамида, содержащая в себе, как в зерне, завязь всей дальнейшей игры, разбивается мгновенно, то пирамида Хеопса разрушается тысячелетиями, вовлекая в свой распад конструкции и сюжеты мирового значения, включая и выходящую за рамки земного повествования историю любви русского философа и Вечной Женственности».

Менины инфанты

В ту ночь на цементном заводе я поняла одну простую вещь, что мы рождаемся из звуков собственного голоса. Как только эти звуки и этот голос впервые прозвучат, так мы сразу и рождаемся. Эти звуки живут раньше нас, а вернее говоря, мы и есть эти звуки, еще до обыкновенного нашего рождения. Вот как, например, сейчас я закрываю глаза и слышу, как летит в темноте невидимый жук, и я понимаю, что он находится в середине своего медового гуденья, он в него словно одет. Потому что сначала было гуденье, а потом оно стусилось в жука. И уже только тогда стало его коричневыми, как орех, доспехами, тонкими крылышками, месяцами ночной воздух с медовым жужжаньем, и лапками, во время полета прижатыми к брюшку.

Когда я стала внимательно смотреть на ту девочку в лунном свете, я увидела, как она рождается, потому что это происходило у меня прямо на глазах. Когда звуки и голоса меняли тональность, загустевали, она начинала переливаться цветами и набирать плотность, сгущаться. Причем не было границы между голосами и этой маленькой девочкой — одно переходило в другое без пауз и зазора. Она стояла в воздухе как полупрозрачное веретено или сигара, и ее окружал лунный свет и всякие голоса, которые то сжимали ее, то разворачивали, и от этого я то видела ее лицо, то не видела, когда оно растворялось. И еще я поняла тогда, что кто-то из нас рождается из звуков собственного голоса, выходя из

них на свет, словно разверзая материнскую утробу, истекающую светом, а кто-то — из чужого. Потому что среди нас большинство еще не родились по-настоящему, из звуков своего собственного голоса, но они пока что поддерживают свою жизнь, рождаясь каждый день из звуков чужих голосов, которых они не понимают, но охотно их слушаются. Такие люди еще не стали собой. Их можно сравнить с куклами, которыми управляет механик, дергая их за ниточки, только здесь вместо ниточек — голоса и слова другого человека, не обязательно доброго.

Таких людей я называю нерожденными, хотя внешне они ничем не отличаются от рожденных. Они могут быть домохозяйками, секс-символами, президентами и даже философами, но они все равно при этом нерожденные. Из нерожденных состоят армии и правительства, большинство героев телевидения, шоу-бизнеса и кино. А поскольку они не рождены, они после смерти не могут дальше быть — просто рассыпаются в пудру. Они и при жизни пудра, мыльные пузыри, но склеенные голосами кукольников. Причем почти никто из них об этом не догадывается. Они любят своих мужчин, красят утром губы, сбрасывают волосы на теле, учат молодежь жить с экрана MTV, поют и прыгают, но на самом деле их фактически нет. Вот если бы эта лунная девочка воплотилась полностью, они бы все увидели, что им тоже надо срочно становиться настоящими людьми, потому что теперь у них была бы такая возможность — жить. А жить — это... это... когда тебе так хорошо, что и жук, и звезда, и даже все эти нерожденные — все это ты, и тебе от этого хочется запеть, или запрыгать, или угостить какую-нибудь бабушку в жуткой обвисшей шляпе с цветочками мороженым в кафе, или лучше шоколадом, потому что мороженого они боятся, они боятся простудиться. Они вообще всего боятся — и бабушки, и те, с MTV.

Вот, например, тот, кому тысяча девчонок из зала визжит до истерики, он пляшет на сцене и поет, а в глазах у него почти что ужас: а то ли я делаю? а не выгонят ли меня, чего доброго, прямо сейчас со сцены? И от этого лицо у него очень глупое, но из зала этого выражения почти не видно и на экране тоже, хотя на экране легче его различить. Но я знаю, о чем говорю.

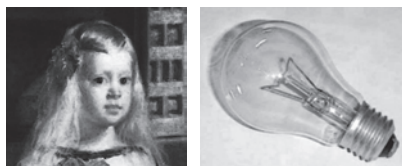
Потому что они — все эти суперзвезды — часто приходят к нам домой, к отцу в гости, и болтают на разные темы. Ничего не видела гаже. Сначала это было даже интересно, все эти их разговоры про то, как их все обожают и какие их фанатки идиотки, и все их анекдоты, и кто какой заключил контракт, а потом меня стало просто тошнить от их глупости, выпендрежа и страха, того, что вдруг он или она сейчас сделают что-то не то и ему скажут правду, ну например, что он (или она) — ничтожество. Они все очень боятся оказаться ничтожествами, хотя на самом деле знают, что так оно и есть, просто не верят, что им это когда-нибудь кто-то скажет всерьез, потому что это уже осталось в прошлом. Но бывает, что и говорят. Отец мой им, конечно, такого никогда не скажет, потому что это его работа, но их менеджеры бывает что сторяча и говорят.

Так вот всю ночь я ходила по заводу за той девочкой — я решила, что если уж она так и не родится до конца, то я хотя бы разгляжу ее получше. И вот наконец разглядела. Это было как вспышка, когда перегорает лампочка, — хлопок, свет и темнота, а предметы какое-то время стоят в глазах. И в тот момент, когда я увидела ее лицо при вспышке, я поняла, что она — это я. Я увидела свое собственное лицо. И мне сразу же стало ясно, что так и должно было быть с самого начала, потому что, может быть, в этот момент я с ее помощью в ней и родилась по-настоящему.

Вернее, если это и была я, то я родилась со своей собственной помощью, я сама себе стала как мама и богородица. Я родилась из звуков, в которые она (я) была до этого одета, потому что именно так все устроено. Это устроено, как... как... ну «Менины». Да, как картина Веласкеса. Такой испанский художник, кажется XVII века, не помню точно. На ней, на картине, изображена инфанта Маргарита в платье, похожем на перламутровую бабочку или белого конька, на котором она же и едет, и еще ее фрейлины, и карлица, и собака, и сам художник, который в это время стоит за мольбертом и вглядывается в вас.

И может показаться, что в этом и был его расчет, что он написал такую непривычную картину, стоя в которой он изображает на картине вас — зрителя. Ну оригинально, скажем, поменял порядок вещей: сам он, художник, — на

холсте, а вы — натурщик, но не изображенный, а разглядываемый им с холста и при этом живой. Но это еще не все. Вся фишка в том, что он не вас разглядывает, а королевскую чету, которую он в это же самое время и изображает



на своей повернутой к нему огромной картине. А понятным это становится, потому что они — король и королева — отражаются в зеркале за его спиной. Зеркало довольно-таки

далеко, и не сразу видишь, что это — зеркало и что в нем изображение тех, кого он сейчас пишет, но постепенно об этом догадываешься, особенно если помотришь подольше. Поэтому там, где стоите вы, на самом деле стоят король и королева. То есть, с одной стороны, стоя перед картиной, вы автоматически превращаетесь в короля и королеву, в ту самую пару, которую разглядывает художник, а с другой — непонятно, видит ли он на самом деле только короля и королеву, а вас не замечает, или он и вас к тому же видит. А если он и вас видит, то тогда это место, где вы стоите, обладает магическим свойством содержать в себе массу вещей — вас, короля, королеву и взгляд самого художника, в вас троих уткнувшийся. Причем возникает еще один вопрос: если он пишет то место, где все вы собрались, то, значит, на картине, которую он пишет, должно быть и ваше изображение. И не только ваше, а любого, кто станет эту картину рассматривать, — всех зрителей, которые когда-либо на нее посмотрели хоть раз. Проще говоря, в возможности, — всех людей мира. Это место, которое он изображает — заключило в себе всех людей мира. Но, в отличие от короля и королевы, в зеркале их не видно, потому что их видит только сам художник, ну и еще те, кто изнутри картины посмотрит на картину внутри картины — ту, которая повернута изображением не к вам, а к художнику. То есть, я хочу сказать, что это не совсем физическое измерение — то место, где все мы с вами, зрителями, стоим. Хотя бы потому, что в этом месте может уместиться хоть миллион человек, хоть миллиард — это неважно, какое количество — можно приписывать нули до бесконечности. Я все это не из головы сочинила, а однажды просто увидела. Отец считает, что я вундеркинд и математический гений, но, честно говоря, у меня с математикой нелады, просто некоторые вещи надо увидеть, вот и все. Для этого не нужно быть гением.

Так вот той ночью на заводе все происходило примерно так, как на картине Веласкеса. Только вместо света работал звук — голоса, которые я слышала и из которых рождалась девочка-колокольчик, которая оказалась мной. Но, как и у Веласкеса, она оказалась не только мной, а любым, кто бы встал на мое место и посмотрел на нее. Любим — слушателем (вместо зрителя у Веласкеса). И если бы на мое место

встал миллиард человек, то, во-первых, мы бы все уместились, потому что не обязательно туда вставать одновременно, можно и по очереди, и всем времени хватит, главное то, что она всех нас видит одновременно — и тех, кто встал раньше, и тех, кто позже.

А во-вторых, весь этот миллиард увидел бы, что эта девочка и есть каждый из них, рожденный заново, теперь уже по-настоящему. И что теперь он может прожить свою собственную жизнь, а не чужую. И увидеть те деревья, звезды и людей, каких до этого никогда не видел, а теперь увидит, потому что он теперь — другой, истинный. Мне кто-то говорил, что в Библии много написано о втором рождении, но я сейчас не очень хорошо помню, где именно. Кажется, про это говорил Христос одному из главных фарисеев, когда тот пришел к нему ночью. Но это неважно, куда прийти — к Христу или девочке-колокольчику. Важно прийти в такое место, где тебе можно родиться снова. Может, и девочки-колокольчика там не будет. Может, там будет просто пляж или ветка с бабочкой. Главное, что ты пришла к себе. К той, которая тебя всегда ждет. Главное, что на тебя смотрят.

Под утро девочка свернулась, вошла в матку и заново изверглась из нее. Красную и скрюченную, ее прихватили щипцами и бросили в ведро, стоящее тут же, в операционной. Потом я заснула.

Меня разбудил звонок сотового, звонила Светка — моя московская подруга. «Мне сказали твои, что ты здесь, — щебетала она жизнерадостно, как будто было не шесть утра, а день в разгаре. — Я тебе позвонила в Москву, а они говорят, что ты уехала. А я спрашиваю, куда. А они говорят, в С. А., я говорю, вот это да! Я говорю, я сама в С. А., значит, говорю, сейчас я ей перезвоню. Слушай, они просили, чтобы ты им позвонила. Они сказали, обязательно. Они просили, чтобы я не забыла и передала, чтобы ты обязательно им позвонила. Ты здесь с кем? с мальчиком? Поехали сегодня на яхту, ладно? Там они все попадают, когда узнают, кто у тебя отец. Хорошие ребята — почти все из Москвы. Там еще этот будет, ну как его... Ну да ты знаешь. Прикольный мужик... У которого фанатка трусy украла. Он, кстати, мне говорил, что с твоим отцом мечтает познакомиться. Эй, ты меня слышишь? Ты что там делаешь, заснула?» «Ага, — го-

ворю я, — сплю». «Просышайся, — говорит Светка. — Так ты всю жизнь проспайшь. Я тебя жду», — и она назвала какой-то ресторан, из тех, что работают круглые сутки. Сказала, что клевое место: «Приедешь?» «А как же, — говорю я, — ясно, приеду». Самое смешное, что я действительно слезла с подоконника и потащилась в город. Оглянулась напоследок на подоконник, увидела рукавицу, которую ночью подложила под голову, — вот ведь, чуть не забыла! — засунула за пояс и пошла. Смешно, правда? Ни минуты покоя! Не жизнь, а сплошной праздник.

Светка

— Привет, Светка! — сказала я.

Светка была очень красивой, в школе считалась первой красавицей, а сейчас она еще загорела и светлые волосы выцвели. Она стояла на веранде ресторана в шортах — высокая, светлоглазая — и делала вид, что не замечает, как на нее заглядываются. А заглядывались сильно, некоторые машины даже притормаживали. Не все, но многие. В основном эти лакированные грузовики для ишпаны — джипы. Вот бы никогда в такой не села, ни за что на свете! А Светка, наверное, могла бы. Я любила Светку за то, что она не усложняла. Она была легкой, отходчивой, смешливой. Я вправду ее любила.

Напротив нашей веранды на фоне моря торчали пальмы, а за ними — разноцветные флаги в честь парусной регаты, и было слышно, как они начинали вяло похлопывать, когда налетал ветер. Тихо играла музыка, и певица пела щедрым басом. Кажется, Анастасия. Так себе музыка, но не самое худшее.

— Что это у тебя? — спросила Светка, когда мы сели за столик.

— Это?

— Что за рукавица?

— А, рукавица. Так, подарили.

— Кто? Твой мальчик? Покажи.

Но я не стала показывать Светке рукавицу со светом внутри, а засунула ее за пояс своих драных джинсов.

— Не хочешь, не показывай, — согласилась Светка и кив-

нула головой. Она ела спайс-суши с лососем, а я заказала чашку кофе и рогалик. Было хорошо сидеть на веранде и чувствовать, как прохладный утренний бриз забирается в волосы и гладит щеки. Правда, на столе от него все разлеталось — пепел от Светкиной сигареты, салфетки и деньги, которые мы положили под блюдце, но так было только веселее.

— А меня чуть не изнасиловали.

Светка поперхнулась.

— Рассказывай, — сказала она мрачно.

— Да и рассказывать-то нечего. Пошла в гости, в гостиницу, а там они стали ко мне приставать. А потом я убежала.

— Суки! — сказала Светка. — Вот, блин, суки! Стрелять таких надо. Прямо при рождении. Как собак. Номер комнаты запомнила?

— Нет, не запомнила.

— Ну хоть этаж?

— Знаешь, Светка, я, по-моему, и гостиницу не запомнила. Помню, что там был фонтан. С рыбками.

— Ну да ты совсем сумасшедшая, — сказала Светка. — Таких, как ты, надо выгуливать на Елисейских Полях с гувернером. Пока безмятежность не выветрится.

— Сейчас нет гувернеров. И Полей тоже практически не осталось — муляж.

— Значит, тебя надо выгуливать с муляжом гувернера, — внезапно захихикала Светка. — С имитатором гувернера. — Тут она вдруг спохватилась и посмотрела на меня виновато.

— Ох, прости.

— Ничего, — сказала я. — Если ты думаешь, что я расстроилась или там какую-нибудь эмоциональную травму получила, то ничего такого не было. Я на них даже и не обиделась. Они же не виноваты, что я обозналась.

— Милые, бедные мальчики. Пойди к ним, попроси прощения. Сколько их было?

— Двое.

— А я бы все равно в милицию заявила.

— Не смей меня.

Светка задумалась, наморщив лоб и слепо тыкая сигарету в пепельницу.

— Ты сказала — обозналась? — наконец сообразила она.

Она всегда ловит. Бывает, не сразу, но в конце концов ловит. Это потому, что ей не все равно. Многим все равно, а ей нет. Правда-правда, ей действительно не все равно, изнасиловали тебя или нет. Некоторым тоже вроде не все равно, но им не все равно, потому что тут есть о чем поговорить и чего можно бояться самой, а Светке не все равно, что с тобой случилось, большая редкость в наше беспокойное время, хи-хи.

— А ты кого-то искала?

— Ну...

— Кого?

— Я сама не очень понимаю.

— По интернету познакомились?

— Нет. Кажется, мы и раньше были знакомы, только я забыла...



Светка напряглась.

— Как это забыла? Как такое можно забыть?

— Ну...

Я не очень хорошо знала, что я ей сейчас скажу. Не рассказывать же ей, в конце концов, с самого начала всю эту запутанную историю, начиная с того, как я посмотрела спектакль про Казанову, а потом грохнулась на катке и как из бедной девичьей головки в результате падения вылетел целый блок памяти. В это время на улице хлопнула дверь автомобиля, и, пока я соображала, что же такое напелсти Светке, к нам подошел смуглый мужчина лет тридцати, одетый в светлые брюки и в голубую футболку «Дольче-Габбана».

— Доброе утро, девочки!

— Привет, Руслан, — сказала ему Светка, не отрывая от меня глаз. — Ты погоди немного, мы разговариваем. У нас важный разговор.

Руслан молча кивнул и направился к стойке. Там он сел и закурил сигару — я видела. Специально проследила, уж очень у него был чопорный вид — не кавказец, а прямо сэр Джон-Джон из Кембриджа.

— Ладно, не хочешь говорить сейчас, потом как-нибудь расскажешь, — после паузы сказала Светка. — Она, видимо, поняла, что из меня больше пока ничего не вытянешь. — Ну тогда давай поедем. Нас яхта, блин, ждет.

Мы расплатились, вышли на улицу, и Руслан повез нас к причалу. Смешно сказать — проехали мы всего метров пять-сот, но зато с каким комфортом! Вот ведь, только что зарекалась садиться в эти самые джины, а села как миленькая, не дрогнула, даже с удовольствием села. Со мной всегда так. Стоит только кого-нибудь осудить, и сразу оказываюсь на его месте. Руслан мне понравился. Он был чеченец, хотя всю жизнь прожил сначала в Сибири, а потом в Москве. Даже окончил МГУ, юридический, естественно. Это мне Светка поведала. Понравился он мне, потому что молчал и еще потому что включил музыку с Фрэнком Синатрой — главным мафиози. Но пел он замечательно. *Strangers in the night* — мою любимую.

На причале я стала озираться в поисках судна. Я думала, что нас приглашают на настоящую яхту — с парусами, мачтами, веревочными лестницами, но ничего этого не было видно.

— Паруса? — Руслан внимательно смотрел на меня. Он, кажется, огорчился. — С парусами пока не выйдет, — медленно сказал он. — Может быть, завтра. Давайте, я вам позвоню завтра, и будут паруса.

Светка шепнула ему что-то на ухо. Он кивнул головой.

— Я большой поклонник вашего отца, — сказал он мне. — Сразу видно, что вы из хорошей семьи.

Фраза прозвучала высокопарно, и я еще подумала, что о семьях в привычном смысле в наше время можно говорить лишь с лицами кавказской национальности, а впрочем, и у них тоже непонятно, где кончается обычная семья и начи-

нается «крестная». Ничего сейчас про это непонятно. Ни у нас, ни у них. Мне вообще в последнее время ни про что непонятно. Тебя зовут на яхту, ты думаешь, что будут паруса, а никаких парусов не оказывается, а стоит просто трехэтажный белый, как ментоловая жвачка, корабль со стеклами, пестрыми шезлонгами на палубе, тихой музыкой с мачты и загорелой компанией молодых людей. Я чуть не заплакала с досады.

— Глухая, — сказала Светка. — Все яхты теперь такие. Самый писк!

— Не все, — сказала я, — не все.

— Конечно не все, — поддержал меня Руслан. — Парусные тоже есть. Они не хуже. В общем, на любителя. Завтра.

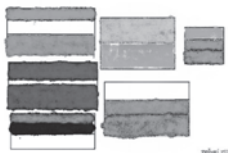
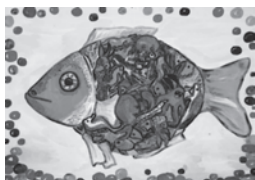
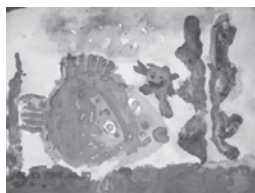
Он вежливо взял меня под локоть, и мы пошли по узкому трапу на палубу. Трап пружинил и раскачивался, а вода под ногами была зеленая и переливалась как битые бутылки.

Глухонемой

Уже через полчаса. Я пожалела. О том, что приперлась сюда. Сначала все было еще куда ни шло, познакомились, повосхищались друг другом, загаром, яхтой, погодой, шмотками на. А потом пошли все те же разговоры, от которых я через пять минут чувствую ком в желудке, через пятнадцать — как он разрастается и добирается до горла, а через шестнадцать никакие правила приличия уже не могут помешать мне подняться и начать активные поиски дороги в туалет. И вот я сижу в этом самом туалете, слушаю музыку и думаю, как отсюда поскорее убраться. Дело в том, что яхта уже в море, и просто так на берег не прыгнешь. А прыгнуть хочется, потому что я не хочу больше про Lancome, и я не хочу про Сеггити, и меня мутит от Hugo-MaxMara-Ungaro, и про Alfa Spider мне тоже неинтересно. Вот что значит расслабиться — сразу же оказываешься среди зомби.

Зомби они и есть зомби, что с них взять. Только зачем мне было сюда ехать? Наверное, все-таки вчерашний вечер и ночь сильно на меня подействовали. Наверное, я наврала Светке, когда сказала, что у меня нет никакой эмоциональной травмы, наверное, она у меня есть. Когда я таких, как

эти, послушаю, мне вообще начинает казаться, что слова надо запретить. Не то чтобы запретить, а взять и перестать их употреблять. Вот это было бы здорово. Потому что большинству из них все равно, про что говорить, вернее, им неважно, что это значит, а это как пароль-ответ. Я тебе: «Дукатти». А ты мне: «Харлей-Дэвидсон». А что «Дукатти» и что этот самый «Харлей» — неважно. Они весь вечер будут обсуждать, на чем лучше ездить, причем фанат «Харлея» будет словесно опускать фаната «Дукатти», а тот свысока объяснять, что «Харлей» — дешевка и для более крутых забав не годится, потому что в нем в три раза меньше мощности, и вообще.



Еще я вспомнила одного глухонемого мальчика, с которым одно время дружила, и подумала: как бы он описал вот этот день? Он, наверное, взял бы свою толстую тетрадку и написал что-нибудь такое: «Очень синее небо. Внизу ходят большие рыбы с плавниками, их не видно, потому что вода толстая. По палубе идут мурашки. Это работает мотор. Я

очень люблю флаги и рыб. Мне нравится флаг над яхтой, мне нравится рыбы в море. Я дружу с одной рыбой. Она на картинке. Она большая и серебристая. Глаза и рот. Еще у нее хвост как серп. Я никогда не буду их ловить. Я дружу с рыбой. Мы разговариваем. Потому что она понимает меня без слов. Меня многие понимают без слов. Яхта, небо, волны и водоросли — они меня понимают без слов. Нам хорошо, когда мы слышим друг друга и понимаем. Еще моя рыба умеет летать. Поэтому нам не нужны слова. Я не умею летать. Но я люблю смотреть, как летают другие — бабочки, рыбы, стрекозы и утки. Им не нужно что-то говорить. Они летят и так говорят. Утка не говорит, что она утка, она говорит хвостом и крыльями: вот я. Она говорит ух-л... Шу-шу. Неправды нет. Для уток и рыб нет неправды. Поэтому они такие красивые. Яхта плывет. Она плывет вдоль берега. Берег зеленый. На нем стоят белые санатории. Дальше видны горы. Они зеленые внизу и сине-сизые наверху».

Он ни за что, конечно, не стал бы писать, какие здесь собрались придурки и как ему тошно среди них. А может, ему и не было бы среди них тошно, потому что он и им бы, наверное, порадовался за компанию. Многие говорили, что он дурачок, но он не был дурачком. Он ходил в спецшколу — его возила мать на шикарном BMW, которого он, по-моему, даже не замечал. Он как-то написал мне, что ему нравятся колеса, потому что они толстые и быстрые. Так вот, он не только знал стереометрию лучше всех в школе, но еще и помнил наизусть все исторические документы — послания Папы Иннокентия или письма Грозного. Он также мог сходу расписать всю шахматную партию за звание чемпиона мира между Алехиным и Капабланкой, я это случайно выяснила, но он не понимал, что здесь особенного, и, кажется, считал, что любой на это способен. Способен вот так, запросто, взять и написать всю партию — ход за ходом.

Конечно, я так не могла. И как он писал-разговаривал, тоже бы не смогла. Но попробовать ведь можно. Я бы еще так написала: «Я сижу в туалете. Я тут уже сто лет сижу». Нет, не так... «Я сегодня плыву в море. Сегодня очень красивый день. Наверное, это лучший день в моей жизни. Я люблю Лаоцзы. Это китаец. Он говорил, что общаться с помощью слов не надо. Надо общаться с помощью узелков. Что селения

должны быть маленькими. Что пусть они стоят близко. Чтобы крик петуха из одного селения могли услышать в другом. Я люблю деревья, несколько рассказов и стихотворений и одну сумасшедшую старуху. Она ходит в подвенечном платье и мужской шапке. Она ходит в подземном переходе. Она бранится, но никого не видит и не слышит. Она большая и угловатая. Подвенечное платье новое, ни пятнышка. Я пыталась с ней поговорить. Она остановилась и слушала. Потом схватила меня за плечо, сказала: фу — и стала плакать. Она плакала недолго, и ей было не больно. Потом вокруг собралась пьяные парни и стали что-то у нее спрашивать. От их пива воияло. Потом они ушли. Потом ушла она. А я ушла за ней. Я хотела узнать, где она живет. Но у меня не получилось. Потому что у ангелов нет дома на земле. У них дом на небе. Сумасшедшая старуха не была ангелом. Но ангел в ней жил. Это был его деревянный дом на земле. Он стирает ей подвенечное платье по ночам. Ему для этого корыта не нужно. «Индезита» не нужно. У ангелов свои секреты. Не такие, как у нас с вами. Они такие, как у ангелов и ангелов. Потому что у волков и волков одни секреты, а у белок и белок — другие. Еще есть секреты у снежинок и снежинок. Они их не рассказывают. Они бы и рассказали, но это не нужно. Потому что с секретами жизнь интересней. Хотя и опасней. Ведь если у льва не будет секретов от барашка, то он перестанет есть мясо. А пока есть, он его ест. А если у людей не будет секретов от ангелов, они тоже перестанут обманывать и убивать друг друга. Как Лев Толстой. Он похож на небо. На толстое облако в небе. Оно летит и ему хорошо. Потому что оно все знает и про Анну Каренину и про Наташу, и про Оленина, и знает лучше. Летит и молчит. Но его все понимают, кто знает хоть один секрет. Мне хорошо. Я вышла на палубу, и ветер ерошит мне волосы. Я вижу двух дельфинов справа. Они прыгают на фоне зеленого берега. Потому что когда они высоко подпрыгивают, то оказываются прямо рядом со мной. И тогда они оказываются на фоне зеленого берега. Не надо ни о чем говорить. Они улыбаются. Я знаю, что главное — это улыбка. Не слова. Потому что улыбка главное. Еще я люблю глухонемого мальчика Никиту, как идет дождь в деревне или в парке и еще Шарманщика. Я влюблена в Шарманщика. Вот как это бывает. Я не знаю

Шарманщика. У него, наверное, нет шарманки. Но у него есть я. Он пишет мне письма про Владимира Соловьева и пропавшую букву. Соловьев — это философ. Он хрупкий и сильный и прыгает, как кузнечик, когда хочешь накрыть его ладонью. Соловьева я тоже люблю, но Шарманщика больше. Мир большой. Но если мне кто-нибудь расскажет, как это делается, я из него обязательно сбегу. Мне все равно, куда. Но кое-что я прихвачу с собой. Самое главное. Не буду говорить что, но шарманка там тоже будет. В подарок».

Ци-лин

Ко мне подошла Светка и сказала: что случилось? Ничего не случилось. Я не хочу про Багамы и как отдыхают в Сардинии, про коллекцию Гальяно и ресторан Nobu.

— А ты не слушай, забей, пойдем, а то неудобно. Они там монетки в воду бросают, кто поймает. Они хорошие ребята, пойдем.

Нечего делать, я пошла со Светкой, не за борт же прыгать. Ребята, загорелые дочерна, столпились у борта, и один из них, наверное главный, заводила, объяснял:

— Девочки, вот видите, это пятьдесят центов. Беру в руки. — Он взял монетку в правую руку с платиновым перстнем на безымянном пальце с ухоженным светлым ногтем и, зажав между указательным и средним, пизюн, сразу видно, не пропускает ни одного голливудского фильма. — Подбрасываю! — кинул монетку вверх, так что она, взлетев, блеснула на солнце и на миг зависла над водой, а потом упала, с коротким шинящим звуком рассекла поверхность, и было видно, как она, блуждая из стороны в сторону и жарко отверкивая на солнце, погружается в глубину. — И тот, кто ее поймает, выигрывает наш главный сегодняшний приз.

— Шикарная игра, — сказала девочка рядом со мной.

Я не поняла, что тут шикарного, но смолчала. Она была в зеленом купальнике, и капельки пота бисером высыпали у нее на верхней губе.

— А что за приз?

— Ага, что за приз? — подхватила вторая, у которой начали облезать плечи от солнца.

— Будете довольны, девочки! Самый модный в этом сезоне парфюм. Прямо из П-оризжа.

Руслана нигде не было видно.

Не знаю, зачем я его стала высматривать.

В крошечной каютке я переоделась в розовый купальник, который мне выдали, и, когда вышла на палубу, супербой с перстнем бросил монетку. Тут важно не пытаться поймать ее в воздухе — бесполезно. Главное, пока она летит вверх, тебе надо прыгнуть за борт вниз головой — и я прыгнула — перевернуться лицом к поверхности — перевернулась — и сквозь пузыри, образованные твоим падением, различить, как войдет монетка в воду. Это простой секрет. Когда монетка входит в воду, ее движение сразу замедляется, и она начинает рыскать из стороны в сторону, поблескивая в прозрачной воде. Вот тут-то и нужно подплыть к ней, не выныривая на поверхность, и просто



подставить ладонь. Ничего сложного. Но это надо знать, а девицы на яхте не знали. А я знаю, потому что долго жила у моря и меня до сих пор иногда принимают на пляже за местную.

Я не думала, зачем я прыгнула, это была формула свободы: монетка в небо, ты — в воздух, за борт, а потом удар и

блаженное скольжение в невесомости с переворотом глазами к небу.

Во всем, что вижу, во всех этих картинках — в этой и в тех, что были раньше, — есть секрет. Называется он «найди единорога». Есть такие задачки в детских книжках: нарисовано, например, пятнадцать-двадцать фигурок, холмы какие-нибудь, сосны, море, скажем, а между ними запряталось какое-нибудь диковинное или, наоборот, знакомое животное или человек, которого надо найти. Чаще всего он там прячется или вверх ногами, или где-то в ветвях дерева, или под животом оленя. Сразу разглядеть невозможно. Но я всегда радовалась — и когда искала, и когда находила. А когда находила, картинка становилась совсем другой, словно у нас с ней был теперь общий секрет, и если ее обитатели и продолжали прятать фигурку, то уже не от меня, потому что мы с ними теперь были заодно и как бы друзья, а от других, еще не посвященных в наш секрет. Так и с людьми бывает. Вот понравился тебе человек, и начинаешь искать в нем ци-лина, единорога, и сразу, конечно, найти не можешь, потому что на то он и ци-лин, что на него можно смотреть в упор и не узнать. Вот в этом-то у ци-лина-единорога вся и фишка — у других животных этого нет, и даже у людей нет, а вот у ци-лина есть: ты можешь разглядывать его нос к носу и не увидишь, а увидишь какую-нибудь корову или даже знакомого велосипедиста, а единорога не увидишь. Потому что никому не известно, каков собой единорог на самом деле. Его не с чем сравнить, понимаете? А если то, что не знаешь, не с чем сравнить, то, скорее всего, ты этого и не увидишь. Вот, например, «Рено» можно сравнить с «Майбахом», а «Труссарди» — с «Версаче», это понятно, что видишь и то и то, а вот «Фенди» с единорогом не сравнишь. С ним не сравнишь ни лошадь, ни самолет, ни ромашку. Вообще ничего. А знаете почему? Потому что единорог есть то, что есть на самом деле. Он не поддается человеческому гипнозу. Ну я про то, что и автомобили, и драгоценности, и даже деревья и собаки гипнозу поддаются, потому что тот, кто на них смотрит, не их видит, а свои мысли, которые думает в это время. Думает, например, слово «падала», видя «Мерседес» новой модели, который приобрел его приятель, а не он, и тот начинает сверкать особо недостижимым для него бле-

ском. Или видит свою подружку рядом с тем же условным приятелем, думает слово «стерва», и подружка, поддавшись гипнозу, становится не человеком со своими бедами и радостями, а ослепительной дрянью, пославшей его к черту. Все эти животные, люди и существа способны просвечивать через его мысли, искажаться, подделываться под то, что он думает. Одним словом, деформировать себя настоящего в угоду этим мыслям и переживаниям. Все. Кроме единорога.

Поэтому его никто и не видит. Поэтому, чтобы увидеть его — того, кто есть на самом деле, нужно сначала найти себя самого — того, кто ты есть на самом деле. Иначе ты его не увидишь — нечем. Я думаю, что можно сказать так: единорог живет в Стране Правды. И чтобы увидеть его, ты тоже должен зайти в эту страну, как когда-то это сделал предок Лермонтова шотландский поэт Томас Рифмач, иначе не увидишь. Поэтому считается, что единорог — мифическое животное, хотя есть свидетельства сотен людей, которые его видели. Увидеть единорога — к счастью, не то что доллар, певицу Мадонну или президента Америки или России, например.

Так вот. Встретишь иногда человека, который тебе правится, и начинаешь искать единорога. И бывает, чем дольше ищешь, тем яснее становится, что нет там никакого единорога, что он сюда и не заглядывал, а поэтому никакой такой общей тайны с этим человеком у тебя не получится. И от этого бывает обидно.

В общем, дело в том, что во всех этих случаях, которые со мной произошли, во всех этих ситуациях и картинках, про которые я рассказываю, спрятан единорог, и пока я его не найду, все, что со мной происходит, лишено смысла. Не знаю, понятно ли я объясняю. Но только единорог — это ключ. Нашел ключ, и картинка стала тебе знакомой и дружеской. Она, как потайная дверь в библиотеке, словно поворачивается к тебе другой гранью, и тогда видишь все эти чудеса вроде девочки, поющей в лунном свете, или что в бамбуке у моста живут феи. В средние века их видели каждый день, и это была правда. Сейчас их никто не видит, и это тоже правда. Когда-то мы жили на плоской Земле, и это была правда из правд, а теперь мы живем на круглой, и это доказали наука, Галилей, Магеллан и космонавты. И это тоже правда. Потому что у каждого времени — своя един-

ственная правда. И если сейчас, в эру процентов, виртуала, информации, глобализации и геной инженерии, кто-то начинает видеть единорогов, лунных девочек и поющих бамбук, значит, наступает новое время. Значит, наступает перелом хребта. Значит, одна эпоха кончается и за ней следует другая со своей новой правдой.

Но единорог, поскольку он не гипнотизируем, остается единорогом в любой эпохе. Это для того, чтобы можно было разгадать весь отстой и фуфло не только на любой картинке, но и в любой, даже самой замороченной и замаскированной, эпохе. А также, возможно, увидеть ее истинный смысл и подружиться с ней.

Так вот. Сейчас единорог стоит на корме. Он стоит там как луч света, как стеклянная пальма. Он стоит там как тишина. Как пуп земли и ось мира. Он есть, и его нет. В глазах у него блеск и соринка от древа Жизни. Он — дырка от бублика. Рядом с ним стоит девица с сожженными плечами и не видит его. Она видит быстрый секс в каюте. А он ее видит. И он любит всех — каждого из нас. И на его фоне яхта становится призрачной. Потому что он расширен как вселенная и даже больше.

Сейчас я вылезу на палубу с пойманной монеткой, послушаю его тишину, а потом возьму свои брюки, футболку, босоножки и снова прыгну за борт. Я прыгну за борт и поплыву подальше от этой тошнотворной яхты без парусов. К берегу. Он тут, рядом. Не так уж далеко мы от него отплыли.

Отсвет стеклянного дома

Прыгать за борт мне не пришлось, хотя я и собрала все свои манатки в узел и замотала мобильный с кошельком в целлофановый пакет. Руслан стоял рядом и наблюдал, как мое королевское величество собирается отчалить. И когда я подошла к борту, он взял меня за плечо: «Мне тоже здесь надоело, там есть лодка. Давайте-ка совершим вылазку на берег». Я даже расстроилась, так мне хотелось прыгнуть со всей одеждой за борт. То ли выпрыгнуть из мусорной корзины, то ли выпрыгнуть в эту самую мусорную корзину. В том-то и беда, что никогда не понимаешь, что же именно

ты делаешь. Иногда кажется, что ты выпрыгнула откуда-то, а на самом деле потом оказывается, что ты выпрыгнула. Но прыгать, как я уже сказала, не пришлось.

Этот Руслан и в Сорбонне тоже учился, и изъяснялся очень неплохо и непросто, а меня это всегда отчего-то грело. В общем, он меня уговорил. Через двадцать минут мы были на берегу. Кажется, никто даже не обратил особого внимания на наш побег, потому что все уже курили коноплю и были сильно на взводе. Конечно, Светка расстроилась, что я уехала, да и мне ее бросать не хотелось, но я ничего не могла с собой поделаться. Бывает, что «судьба стучится в дверь» —



у меня нет-нет да и прорываются такие вот высокопарные выражения, но я себя за это не осуждаю — так вот, она стучится, и тогда все вокруг приобретает словно еще одно измерение. Как будто становится само на себя не похожим, как будто сдвигается на миллиметр со своей оси.

Однажды я гуляла по набережной в районе Дома музыки. Был май, цвела сирень, по Водоотводному каналу плыли утки, и солнце заходило за крыши трехэтажных домов на той стороне речки. Один дом был бледно-палевый, а второй серый, с колоннами, которые начинались почему-то только со второго этажа и шли под крышу. И тут я увидела, что это очень странные дома. Все остальное было знакомое, обычное, майское и московское — люди, во все лопатки спешащие по домам, пластиковые бутылки из-под пива, брошенные на площадке у воды, парочка, бредущая к ступенькам, обнявшись, а вот дома были будто не отсюда. Я сначала не

поняла, почему, и стала приглядываться, и тогда увидела, что они словно излучают лунный свет.

Они светились над речкой холодноватым колеблющимся, как мне казалось, светом, похожим на ртутный, и я никак не могла понять, откуда он тут взялся. Не от речки же он на них зеркалил. На них вообще не должно было быть никакого света, потому что солнце заходило — за них. Но он был, и они, эти дома, были с луны, окруженные домами с земли. Они словно продавили зеркало и вышли наружу в его ответах.

Так я и стояла, ожидая, наверное, что они сейчас не только усилят свое магическое свечение, но еще и постепенно оторвутся от земли, поднимутся в воздух и полетят. Один из них подлетит ко мне и предложит перебраться внутрь, хотя вряд ли. Уж очень отрешенный, лунный был на них свет. Они сами были как сомнамбулы и меня просто не заметили бы. А внизу текла мутная цвета хаки вода, от которой ничем не пахло. Так я стояла и смотрела на них, наверное, полчаса, пока не догадалась обернуться. Так и есть. За моей спиной высился, просвечивая из-за зеленых веток липы, десятиэтажный дом с томированными зеркальными стеклами, похожий на огромный сотовый. От него-то и отражалось заходящее солнце, отбрасывая лунный свет на ту сторону темневшей набережной, превращая ее в лунный пейзаж дополнительным светом. Все волшебное всегда просто. Был один художник — Магритт, он любил такие эффекты: дом стоит в ночи с зажженным напротив фонарем, хотя сверху дневное небо.

И вот когда мы с Русланом пошли по пляжу, а потом выбрались на набережную, а лодка с матросом, оставляя белый след, ушла к яхте, все вокруг тоже стало иным, подсвеченным. Как будто за спиной стоял ангел со стеклянными крыльями, и свет, отражаясь от него, освещал все, что мы видели впереди. Ничего особенного тут не было — городской пляж с сотней обугленных тел, белый купол парашюта с фигуркой пассажира, болтающегося высоко в синем небе, прицепившись к тросу с катера, музыка из ресторанчиков, потом белые ступеньки в окружении агав с пожелтевшими кончиками острых листьев, все эти лакированные тракторы и грузовики типа «Лендровер», припаркованные вплотную к

набережной, потом театральная площадь, на которой происходят всякие кинофестивали, а потом мы взяли такси и поехали по адресу, который был упомянут в одном из листов Шарманщика.

И все это было в лунной и нелегальной подсветке. Руслан почему-то выполнял мои капризы беспрекословно и вел себя так, как у Диккенса ведут себя хорошие джентльмены, появляющиеся по ходу истории неизвестно откуда и не разочаровывающие читателя до самого конца книжки — вот в этом-то и заключена их сила. Потому что в новых книгах если и появляется какой-нибудь симпатичный персонаж, то автор для так называемого правдоподобия — или чего там? — обязательно упомянет, что на самом деле он или бандит, или наркоман, или просто сукин сын. И тогда читатель якобы сразу верит автору. А вот у Диккенса добрый человек так и оказывается добрым человеком, веришь ты в это или нет, и по-моему, это самое замечательное, что может произойти в любой книжке, самое захватывающее. Он никого не собирает ни трахнуть, ни кинуть, ни пристрелить, ни облагодетельствовать. Он просто живет, оставаясь добрым и порядочным. Ну про Руслана-то я, скорее всего, преувеличила, потому что со временем еще выяснится, что он за человек такой на самом деле. А поскольку мне всегда везло на приключения, выяснится, наверное, что-нибудь не самое приятное. Ну например, что он любовник престарелой знаменитости вроде Пугачевой или Лили Брик или что его отец спонсировал бойню в Чечне, а сам он какой-нибудь маленький воришка, но в больших масштабах. Потому что маленький воришка в больших масштабах — это в России уже не воришка, а бизнесмен.

Но пока что это были мои предположения, которые он ничем не подтвердил. У него все время звонил сотовый, и он отвечал кратко и загадочно и часто по-чеченски, так что мне трудно было понять, кто он такой на самом деле. Мы въехали на самый верх асфальтовой дороги, которая вилась рядом с белыми в листве санаторскими корпусами, оснащенными статуями нимф и колоннами, и остановились.

Я вышла из такси, вдыхая приятный запах раскаленно от мотора и солнца капота, как это бывает летом на юге, и уточнила адрес у какой-то женщины с белым платком на

голове, незагорелой и толстой. Было слышно, как из оврага неистово и мерно стрекочут цикады, словно сошла с ума пружина напольных часов и все колесики заверещали одновременно. Дом, который мы разыскивали, оказался рядом. Туда было трудно проехать, и мы отпустили машину.

Мы пошли пешком и вышли на полянку с двухэтажным деревянным домом справа и одноэтажным слева. Рядом с двухэтажным росли тополя и слива, дрожащие листьями на фоне открытых настежь и темных, как чернила, окон второго этажа, а рядом с дверью, на улице, торчала над зацементированной канавкой водопроводная колонка, а вернее, просто труба с краном на конце, из которого какой-то мальчишка набирал воду в розовое пластмассовое ведро, и гнутая труба тряслась от напора, и поэтому струя выходила дрожащей.

И тут я замерла, как цапля или японский журавль, которого я однажды видела в зоопарке, как он стоял весь в себе, не обращая внимания на распаренных посетителей с их малышками, обляпанными липким мороженым. Он стоял на одной ноге, нездешний, величественный, созерцающий драконов в небе и неподвижный как Джомолунгма. И конечно же, он видел то, что для простого смертного недоступно, и примерно то же самое, что видела сейчас я и что начинало просвечивать сквозь эту божественную картинку с тополями, двумя домиками и горой, поросшей грушами, за двухэтажным домом. Руслан тоже как-то притих, на меня глядя, а я так и порывалась встать на одну ногу и вобрать вторую, с расцарапанной коленкой, куда-то внутрь, под серые свои перья. И мне это удалось.

Кошка на заборе

Странно думать, что вообще что-то может существовать. Вот, например, смотришь на барак или кипарис и привычно считаешь, что они существуют. Но, во-первых, они даже настолько, насколько существуют, существуют все-таки для тебя, а каким образом они существуют для кого-то другого, тебе это, в общем, недоступно. А во-вторых, что это значит — существовать? Это что я, например, смотрю себе

под ноги и вижу белый камень с серебряными отметинками, наполовину ушедший в землю, о который запинаюсь ногой? То есть, когда я его вижу и запинаюсь, то считается, что он существует, а если не вижу и не запинаюсь, то он существует, но я об этом не знаю. А что я знаю о том, что он существует, когда я его вижу? И что я знаю о признаках его существования? Что он тяжелый, сбитый, с серебряными отметинками, шершавый, наверное, горячий, что он камень. Но не какой-то, а вот этот, под ногами. А над ним барак, который тоже существует. Так вот мне всегда было очень интересно, каков орган существования у предмета или человека. То есть какой именно орган отвечает за существование того или иного предмета или события. Наверное, есть же такой орган, который тому, что может быть не замечено как существующее, способен придать, и придает, качество существования. Как, например, если воздух выдыхать в резиновый шарик, то он со временем придаст резинке форму существования в качестве воздушного шарика. Или если скоростной катер тянет лыжника на доске, то такой серфинг существует благодаря катеру. Так вот что тянет, например, кузнечика или кипарис — какой катер, благодаря чьей скорости я могу сказать, что кипарис и кузнечик существуют?

Или неужели вы думаете, что все люди на земле, которых вы видите, действительно существуют? Или вот эта черная кошка с белой лапкой, которая сейчас балансирует на проволочном заборе, намереваясь прыгнуть в чей-то огород с помидорами и виноградом, но еще не знает, в какое место приземлиться, и от этого смешно водит белой лапкой по воздуху, словно удерживая равновесие или читая лекцию с кафедры, — по какому признаку вы можете определить ее существование? А все эти миллионы прозрачных бактерий и животных, которые летают вокруг нас с вами, проникая насквозь, — есть они или их нет? Или их не было, а потом биологи их придумали, что они должны быть, вот они словно и появились. Ведь это всегда так было: сначала этого не было, потом люди придумывали, что это есть, ну например деньги, а дальше оказывалось, что они не только появлялись, но и что без них и жить невозможно. Или еще дикари на островах Полинезии. Сначала придумали, что они дикари, и стали

их уничтожать, потом решили, что они тоже люди, и продолжили уничтожать так, что вроде бы и не уничтожают вовсе. Или вот что земля плоская, а потом круглая, а потом стало все равно.

Иногда мне кажется, что ничего не существует, чего бы какой-нибудь умник заранее не придумал. Недавно, например, я смотрела выступление по телевидению сторонников глобализации — исключительно ухоженные и отождившиеся физиономии, и они уже все за всех решили, как им переделывать планету. А когда телеведущий Гордон, который мне нравится, потому что не просто образованный, а еще и печаль в глазах есть (а сейчас человек с печалью в глазах большая редкость, все либо остервенелые, либо озабоченные, либо — морда тупкой), так вот когда он их спросил: да что ж вы все планету-то переделываете, неужели не пора с себя самого начать наконец? — они этого даже и не услышали. Да им и не нужно — слышать. Они, блин, уже и так все знают. Вот смехота-то! А понять они не могут, амёбы, что их на самом-то деле и нет, что даже не сами они так придумали, что говорить и куда ездить, а за них уже все придумано было, им оставалось только повестись, делая вид, что это они сами ВСЕ выбрали. Впрочем, ведутся почти все. Шарманщик вон не повелся, и что? Где он теперь есть? Кого он в чем убедил?

Мать меня часто бранит за такие разговоры. Она считает, что это ненормально. Она меня даже к психологу водила, хотя отец и возражал. Он говорит, что у меня просто ускоренное развитие некоторых аспектов личности, он так и сказал — аспектов, и что я, слава Богу, не вундеркинд, но у меня ускоренный рост в прямом смысле слова — быстро расту, и по этой же причине по некоторым другим показателям я на сегодняшний день — безнадежная тупица. Но он считает, что скоро все должно выровняться. Это его мнение, хоть, конечно, он мне его не сообщает. Но я знаю, что именно так он и думает. Пускай. Я к нему хорошо отношусь, хоть он и не запретил матери тащить меня к этому психологу. Это потому что, когда выпьет, он чувствует себя виноватым, а последнее время он пьет все чаще. Но он на меня ни разу в жизни голоса не повысил — случай в наше хлопотливое время небывалый.

Психолог спросила меня: а что же есть настоящего в вашей жизни? То, без чего вы бы себя чувствовали неуютно. Она, конечно, как-то не так спросила, потому что они так в лоб не спрашивают, а больше молчат и дают тебе возможность «выговориться», но смысл был именно такой. В общем, она спрашивает о главном на тот период, а я говорю: Лола. Она так осторожно спрашивает: а кто это Лола? Я говорю: черепаха. Домашняя черепаха? У нас нет черепахи, говорит мать. А я говорю: у вас нет, а у меня есть. И где она живет? Она в реке живет, недалеко от яузского моста. Ты хочешь сказать, что тебе хотелось бы такое иметь? Иметь такого друга? Хорошо. А почему ее зовут Лола? Так, говорю. Она смешная. Передние плавники короткие, а задние длинные. Но психологиня не пропустила мимо ушей имени черепахи. Я ясно увидела, как она просто-таки напряглась под своим халатом, как пантера перед прыжком. Смешно. По-моему, она решила, что все дело в Набокове с его навязшей в зубах историей про маленькую девочку, которая связалась с взрослым мужчиной, и как они там весь роман ездили из одного кемпинга в другой. Довольно скучная книга. Я больше Набокова вообще не читаю. Немудрено, что американцам нравится. Они в большинстве ребята простые. Наши-то, пожалуй, еще потупнее, но иногда с фантазией, а те нет. Америка — лучшая в мире страна, вот и весь разговор.

Я вышла в коридор, а они с матерью еще о чем-то долго разговаривали. По-моему, они решили, что у меня сексуальные проблемы, связанные с быстрым ростом. Сейчас везде одни сексуальные проблемы. Спросишь какую-нибудь первоклашку, как дела, и выясняется, что она уже по уши в этих самых проблемах. Тина все, как у людей.

Я ее впервые увидела одним жарким июньским вечером, когда забралась почти что под мост, спасаясь от жары. Я села на набережную, прямо на камни, они были мокрые и прохладные, не то что там, наверху. Потом рискнула, сняла туфли и засунула ноги в воду, они у меня прямо горели. Вот тут-то она и подплыла. Я сначала решила, что обозналась. Черепахи, вроде, трошеческие все же животные, и водятся они в чистых водах, а не в таких, как наша бедная Яуза-поямка посреди Москвы. Из нее и рыбки-то, если положить их на сковородку, начинают вонять машинным маслом, мне

приятель рассказывал. Но через минуту пришлось смириться с фактом — ко мне подплыла настоящая черепаха, причем довольно-таки живая и бодрая. Не похоже было, что она собирается заболеть или помереть от грязи. Тогда я поняла, что она каким-то образом от городской грязи заколдована. Что невероятно, но остается фактом — помойка ее не взяла. Она подплыла совсем близко и ткнулась жестким холодным носом мне в ногу. У меня в сумке лежал бутерброд с сервелатом, я достала колбасу и предложила ей. Она внимательно потыкалась носом в кружок и стала есть. Причем ела она очень деликатно, не так, как утки или воробьи, которые всегда устраивают драку вокруг любого куска. Лола ела не торопясь, с чувством неомраченного достоинства. Этим она меня и сразила, можно сказать, наповал. Как будто не на помойке находится, где ее могут переехать мотором, или выловить, или задушить мазутом с любого катера, а по меньшей мере на королевском приеме, где все уже в сборе и теперь только и остается, что наслаждаться жизнью, причем делать это красиво и никуда не спеша, потому что все остальное время — наше. Я такого больше никогда не видела. Вокруг плыл какой-то мусор, homoшлись утки, сверху тряся от машин мост, и время от времени в воду летел окурок, а она была словно накрахмаленная и парила в своей собственной воспитанности и недостигаемости, будто какой-нибудь ангел, которому земные законы не указ. Но с ангелом-то было бы все понятно — кто его поймает. А тут все дело было в том, что любой мальчишка мог ее вытащить и придушить, просто так, ни за чем, от избытка настроения, а она вела себя так, словно неуязвима и единственна, как какая-нибудь фаворитка Людовика-Солнце. Не знаю, что со мной произошло, только я с ней там два часа просидела. Мы с ней общались. И у нас получилось очень глубокое общение.

А на следующий день я пришла к мосту в то же самое время, и мы опять общались. И потом тоже. И она до сих пор там живет, и я захожу к ней пообщаться, и ничего ей за это время не сделалось. Но разве такое психологу расскажешь? Я вообще не рассказывала об этом никому на свете, даже Светке. А зачем? Вот В. С. Соловьеву я, наверное, рассказала бы. Он бы точно понял, если б был жив, и тоже пообщался бы с Лолой глубоко. Общался же он с собаками и голубями

так, что те его потом годами не забывали. А остальные — что они могут, кроме как лопотать на телевидении о том, как они познакомились со своим мужем-продюсером и все покатило или еще что-нибудь в таком же роде. Куда им до Лолы! Вот кто существует на самом деле. В этом одном я и уверена. В Лоле. Что она — есть. Во всем остальном можно и усомниться.

Дед-свистун

Я замерла на одной ноге как японский журавль, разглядывая магическую картинку с двумя домиками. Вторую поджала под себя. День был солнечный, и я слышала, как всюю стрекочут цикады, а в тополях у двухэтажного дома насвистывает невидимая птица. И от этого мне стало так хорошо, что захотелось пропрыгать на одной ноге к этим переросшим дом тополям, в которых раздавалось смешное, то тонкое, то почти грудное и басовитое (ну конечно, по-птичьи), пение в ритме заржавленного вальса. Ветер шумел листьями, и они то закипали серебристой изнанкой, то затихали. Но пенье птицы не затихало, казалось, она собралась исполнить небольшой концерт и делала это медленно и старательно, а когда сбивалась, возвращалась к своему удавшемуся коленцу и тщательно высвистывала его снова. Мне очень захотелось чихнуть, и от этого нос у меня стал вытягиваться, что было немудрено, раз уж я цапля. Он стал вытягиваться и вытягивался до тех пор, пока не уткнулся в фетровую шляпу, откуда и выгудил листок бумаги, где не только уместилось описание расположения этих домов на местности с восходящей кипарисовой аллеей за двухэтажным домом, но и обозначились контуры ватной фигурки старика, который появился на дорожке, усеянной галькой и пылью и впадающей в полянку, где и расположились, окаймляя ее с двух сторон как ладони, два деревянных дома.

Потому местность эта и показалась мне магической, что сначала нехотя и не очень точно, словно начерно, а потом все более филигранно и пригнуанно совпала с описанием, найденным мной на одном из листков, которые были разбросаны повсюду в этом городе, то ли для того, чтобы,

перемешавшись с его аллеями, плясками и грунтом, выпрямить ему спину и изменить осанку, то ли для того, что бы вставить мне на место тайный позвонок, распрямляющий цепельную мою осанку словно крону дерева. Этот рисунок я положила в шляпу, которую нашла у Луки, и время от времени его изучала.

Местность совпала сама с собой, но была кое-где проложена буквами и поэтому подрагивала и двоилась как вибрирующая струна. По направлению к фигурке старика проехал мальчик на велосипеде. На нем была майка с тонкими лямками на загорелых плечах, и было слышно, как вывертываются из-под велосипедных шин круглые гольши и замирают, стукнувшись друг о дружку, но уже в другом положении.

В самом центре полянки, как раз между домами, расположилось четырехугольное одноэтажное сооружение с белеными стенками, испещренными темными отметинами от выпавшей штукатурки, и одним окном, в котором с улицы можно было разглядеть среди сумрака тусклый огонек действующей керосинки со стоящей на ней цинковой кастрюлей. Не сразу было видно, что это именно керосинка, потому что колорит внутри окна был землист и коричнев с подогревом, как на картинах старых голландцев, а вернее, на некоторых их натюрмортах, нарочно затененных и погруженных в сумрачные и теплые древесные полутона. Но если на них, этих полотнах, рядом с вазой, полной почти неправдоподобно светлыми фруктами, время от времени тускло горела ручка оловянной или латунной, а то и серебряной вилки, то в странном домике на поляне горел за слюдяным окошечком керосинки лишь теплый и вытянувшийся вдоль фитиля огонек пламени. Над крышей сооружения высилась довольно-таки высокая цилиндрической формы труба без дыма, потому что было лето и жители домов готовили на керосинках. Но в самом домике явно никого не было. И на полянке тоже не было никого, вот только разве проехал мальчик на велосипеде в сторону приближающегося старика с седой бородой, красным морщинистым лицом, в картузе и с палкой в руке. Старик шел не оглядываясь, и в походе его было что-то странное, не сразу поддающееся взгляду и определению. В ней словно сочетались сразу два самостоятельных, но переплетающихся движения.

У людей обычно такого не бывает, но бывает у волн, особенно у морских. У них это случается во время наката и сильного ветра, существующих в одно и то же время, и тогда на большой волне с ее неторопливым ритмом располагаются еще и маленькие рваные волночки, и поэтому в ней живут сразу два движения — неторопливо-размеренное, космическое, величественное, гомеровское, а также несерьезно-игривое, аристофановски развинченное и бес-



толковое. Но если у морских волн это сочетание остается в конце концов природным и естественным, то у старика в ватной одежде это было не так. Маленькие волночки, пробегающие по его телу, вызывали в наблюдателе ощущение неестественности и тайного коварства, словно ему пытались впарить не оговоренный велосипед «Турист» с тремя переключениями, а какой-нибудь тяжеленный, хоть, впрочем, и вполне ходкий, «Прогресс», на котором, конечно же, можно было доехать со свистом от одного санатория до другого, но уж никак не свезти на трассу юную блондинку с волосами платиново-синеватыми, развевающимися в ночном ветре от поднятой скорости при влете в ночную арку с чернильными тенями, играющими на ее стенах, и вылете из нее навстречу золотому фонарю. Казалось, что старик с белой проволочной бородой что-то затаил в уме нехорошее, что-то знает такое об окружающей его местности, чего не знает она сама, а мелкие волночки все пробегают по его одежде, рукам и ногам, все перебирают его очертания, словно он не старик

с красным лицом, а тополь у дома в ветре, и от этого кажется, что он то ли немой, то ли глухой, или даже вообще не живой старик, а еще кто-то, потому что приходят же разные мысли людям в голову, когда они смотрят из окон. Но он не был ни глухим и ни немым, а все было как раз наоборот. Потому что в тот момент, когда он появлялся, на полянке раздавался сначала робкий одиночный свист, впрочем, тут же, словно преодолевая свое одиночество, набравший наглую и блатную силу и рассыпающийся трелью по окрестностям. И тут же, ему навстречу, возникал другой — это мальчишка в укороченных и размахрившихся внизу брюках, заложив пальцы двух рук в рот так, что тот раздвигался словно резиновый, и выпятив зад, словно велогонщик, выбегал на поляну из деревянного подъезда с козырьком и заливался испепеляющим и серебряным свистом такой силы и чистоты, что закладывало в ушах. Соловьи-разбойники всех размеров и мастей — от выгоревшего светлячка до армянского недоростка — возникали на полянке словно шампиньоны, проламывающие асфальт, и так же мощно и беспощадно, как пролом гриба навстречу ненужному ему солнцу, звучал их ртутный, прохватывающий уши и живот нездешней заморской знобкий свист.

От этого красное лицо старика мучительно искажалось, и было видно, что он пытается остановить начавшуюся с ним, запущенную чудовищным свистом метаморфозу и какое-то время ему кажется, что у него это получается. Но пока он справляется с конвульсивными гримасами на красном морщинистом лице, ноги его начинают двигаться быстрее, словно подтанцовывая, предательски подпрыгивают и, несмотря на то что лицо его наконец-то принимает совершенно спокойное выражение, шаги учащаются и незаметно переходят в сбивчивый и жалкий бег. Он спохватывается и пытается притормозить в отчаянной попытке вернуть себе утраченное достоинство, и это ему почти удается. Но переключение внимания на ноги возвращает лицу свободу страха, и от этого оно снова искажается и на миг становится почти схожим со страдающим ликом титана в Пергамском фризе, но тут же соскальзывает в бессмысленную маску страха и ненависти. И вот он уже бежит с перекошенным от страдания и ужаса лицом, затыкая уши руками и крутя

направо и налево головой с прижатыми к ушам ладонями и выставленными по бокам локтями в продранном рукавах, и от этого становится похож на гадкую птицу с короткими неопрятными крыльями у висков.

Вот так мы и утрачиваем соседство богов. Потому что теперь титанов одолевают не они, а дети людей, побывавших на последней великой и жалкой войне, и дети тех, кто сумел от нее спастись. А также их дети и дети их детей. Потому что их родителям открылось за эти годы что-то такое, что теперь, словно рана кентавра Хирона, не скоро закроется, но так и будет пачкать землю зловонными и ядовитыми выделениями, сочащимися из нее вместе с черной морской кровью. И кричащий что-то в воздух от тоски и ужаса старик так и будет пропадать за спуском с полянки, на узком мостике, с двух сторон обросшем ореховыми кустами, а дети тех, кто побывал на войне, и дети тех, кто счастливо от нее



отделался, будут гнаться за ним, не приближаясь вплотную, но и не отставая, так и будут гнаться за ним в плотном и прозрачном как медуза облаке свербящего душу свиста, забавляясь, счастливо смеясь и выкрикивая время от времени свое бессмысленное, как заговор маленьких убийц, слово: «Дед-свистун!.. Дед-свистун!..», и дети их детей будут делать то же самое до тех пор, пока у рожденного великой Геей-Землей не пойдет черная кровь из ушей и он не рухнет во всем своем нечистом тряпье сразу за мостиком на вздрогнувшую землю, раскрыв черный беззубый рот. Но не умрет,

а встанет и пойдет дальше, тяжело отдуваясь и постепенно нащупывая изначальный ритм, в котором поверх больших космических волн пробегают малые аристофановы — мелкие, злые и вздорные волночки.

И через неделю все повторится снова, потому что есть только одна дорога через полянку с голландским пламенем и высокой трубой, ведущая к магазину и прачечной, а ежели бы и была другая, в обход, то все равно дед-свистун не пошел бы по другой. Потому что боль притягивает боль, а сложенные многократно боли образуют судьбу, носящую в себе величие как плод, зачатый от Зевса. И все же это только слова с ущербом. Это слова с ущербом, потому что они слова. Потому что даже Зевс, названный словом, будет в конце концов облачен в тряпье и проволочную бороду и побежит от шайки маленьких убийц, чтобы в конце концов распасться на кирпичи и языки, как это случилось с Вавилонской башней, — распасться и погибнуть. Но настоящий Единый не позволяет облечь себя в слова, он насаждает вокруг мостика бамбук, и тот возносится над мелким ручьем, бегущим с верха горы, никого не называя и не клича. Обвинитель вокруг собственной живой пустоты свидетель цикад и июньских светляков в овраге, прибежище мое, дудка Пана.

Три истории про зеркало Снежной королевы

Я простояла там на одной ноге довольно-таки долго, тыкаясь клювом во все эти завещанные мне другим человеком картинки. Потом я снова стала Арсенией, светской такой девочкой, которая никогда не забывает о своих товарищах, гостях и близких. Я отыскала взглядом Руслана. Он сидел на куче досок, сваленных на зеленой траве, и курил. Выглядел он вполне по-европейски, но, если приглядеться, все равно было видно, что он бандит. Наверное, поэтому он мне и нравился. Это потому, что у меня еще не сформировавшийся, инфантильный ум, как сказала моя психолог. А раз так, то мне обязательно будут нравиться люди с бандитскими замашками и бандитской внешностью. Но, по-моему, это чепуха. Мне как раз нравятся люди скромные и даже мешковатые. Мой любимый герой — Юрий Живаго в старости. Мне

кажется, от него должны идти во все стороны лучи света. Только они не такие, как их изображают на картинах с ангелами и святыми, а зеленые. Зеленые и шепчущиеся как листья в ветре.

Я подошла к Руслану и протянула ему руку. Он взял ее в свою и легко вскочил на ноги. Вот уж не сказала бы, что сможет. Весил он, наверное, целый центнер. Думаю, при желании можно про него сказать, что и он когда-нибудь будет мешковатым, хотя вряд ли. Я показала ему карту, которую нашла на чердаке у Луки. Не карту даже, а план на смятом куске бумажки. Из-за него-то мы сюда и приехали на такси. Там было изображение того места, где мы стояли, и несколько стрелок, ведущих за дом и упирающихся в рисунок дерева. Крона дерева была раскрашена в зеленый цвет фломастером. Руслан глянул в бумажку, потом вокруг себя и пошел в сторону одноэтажного дома. Мы обогнули его справа и вышли к оврагу, усыпанному хвоей и заросшему соснами. Дальше мы пошли мимо высохшего цементного бассейна по тропинке, ведущей вниз. По стенке бассейна вились вьюнки, и на ее бетоне в пятне света сидела шоколадная бабочка, поводя крыльшками. Было слышно, как всюю распевает птица в кроне дерева. За бассейном было темно, сумрачно и прохладно. Солнечные лучи сюда иногда все же пробивались, и тогда на тропинке завязывалась небольшая солнечная путаница, лениво исчезающая через секунду без следа.

Руслан, взглянув на клочок бумаги с планом, свернул еще раз налево, и я за ним. Тропинка привела нас к огромному буку. Тонкая серая кора казалась теплой. Руслан ухватился за ветку над головой и подтянулся. Я видела коричневые подошвы его прадо-туфель, а потом и они исчезли в листве. Было тихо, и звенела с большими паузами только одна цикада, словно серебро от шоколадки под ударами ногтя. Через минуту он спрыгнул, и в руках у него была тетрадка, завернутая в полиэтиленовую пленку. Он протянул ее мне, сел на обросший мхом камень и стал затягивать развязавшийся шнурок. «В дупле лежала», — сказал он. Я села рядом и раскрыла записи.

Историй про волшебное зеркало Снежной королевы на самом деле три. Первая изложена Андерсеном в его «Снеж-

ной королеве» и повествует о том, как злой и могучий тролль соорудил такое зеркало, где все отражалось в искаженном и карикатурном виде. Самые чудесные пейзажи и лица выглядели в нем уродливыми. Первая красавица в мире могла заглянуть в него и увидеть там омерзительную ведьму с пучками волос, растущих из носа. Это так потешало друзей тролля, троллей поменьше, что однажды они решили взобраться на небо вместе с зеркалом и дать возможность ан-



гелам и самому Творцу полюбоваться на себя в дьявольском стекле. И вот как-то раз они всей компанией отправились к Небесам. Но уже на середине их подъема с зеркалом стали происходить странные вещи — оно начало вибрировать в их руках все быстрее и быстрее, пока не разбилось на мелкие осколки и не полетело вниз. И тут случилось самое интересное. Поскольку некоторые осколки были размером с песчинку, они не просто упали на землю, а их стал носить ветер по всему свету. И когда такой летящий осколок ударял с разлета в человека, то впивался ему в глаз или в сердце. Сердце от этого становилось ледяным, а глаза начинали видеть только уродливое, злое и отталкивающее. Такая стеклянная песчинка и попала в глаз герою «Снежной королевы», мальчику по имени Кай. Что из этого вышло, мы знаем.

Но мало кто знает, что, получив известие о зеркале троллей, эльфы сделали свое.

Они сделали его в противовес, из духа соперничества или в качестве своей собственной реплики в сторону зеркального сюжета — назовите как угодно, но скорее всего, они про-

сто не могли его не сделать, потому что такое зеркало имело свойства, прямо противоположные зеркалу троллей: все то, что казалось людям уродливым, злым, недостоверным, пугающим, ненавистным, — все отвратительное, умирающее, безобразное претерпевало в эльфийском стекле удивительную метаморфозу. Лица, события и ландшафты, отраженные в нем, не испытывали какого-либо внешнего изменения — на первый взгляд они оставались теми же самими. Но к ним словно прикасалась невидимая волшебная палочка, и от этого они начинали светиться изнутри, не меняя при этом ни имен, ни очертаний, ни своего расположения. Но в то же самое время они полностью меняли свой смысл, и каждый, кто глядел на мир, отраженный в зеркале эльфов, чувствовал невероятную свободу и изумление. Свобода приходила от того, что созерцатель понимал: все, что он видит, бессмертно и прекрасно. Что никогда в жизни он не видел более родных и захватывающих воображение вещей. Что уродливый сучок, что нарыв на шее нищенки, грязная, полная зловонных стоков канава, или труп раздавленной кошки, или пьяница, выдавливающий глаз жене во время семейной ссоры, или, наконец, бомж, окоченевший на горе вшам в собственной блевотине, — что это не просто вещи. Что это — нетленное сияние. Что это и есть он сам, протекающий в эти вещи как ветер в листву и наконец-то возвращенный себе самому, причастившемуся красоты и бессмертия. А изумление было вызвано тем, что зритель спрашивал себя, да как же он не видел этой явной красоты каждой вещи мира и его обитателей прежде. Как можно было проглядеть такое?

Казалось, райское зеркало было совершенным. Однако это было не так. Беда была в том, что, как мы уже говорили, оно являло собой прямую противоположность зеркалу троллей. А все, что является прямой противоположностью чему-то другому, с этим чем-то другим связано и зависит от него. Одним словом, эльфийское зеркало, как это ни покажется странно и даже обидно, не могло существовать без зеркала троллей, как, впрочем, и наоборот. Оно не было свободным. Оно было, как сейчас принято говорить, детерминированным или обусловленным. Вот почему эльфы не могли не создать свое райское стекло, раз уж тролли создали свое. Причем с зеркалом эльфов в дальнейшем произошла

история, похожая на историю троллианскую. Эльфы решили поразить обитель зла, ад, в самое сердце и отправились в его глубины, неся перед собой свое зеркало. Но на подходе к самым мрачным этажам преисподней зеркало стало вибрировать и нагреваться все сильнее и сильнее и нагревалось до тех пор, пока внезапно не расплавилось. Поток горячих лучей влился во все подземные родники, бегущие наверх, к земле, и бьющие в источниках, и поэтому, когда теперь из них пьют люди, они начинают почти что видеть все вокруг прекрасным и вечным.

Еще есть и третье зеркало, которое сделали мы, люди. Это зеркало сна. Где и как оно возникло, никто не знает. Каббалист скажет одно, кришнаит — другое, христианин — третье. Но смысл один — именно люди его создали. Сами. Из своих мыслей. И оно было таким крошечным, что было — везде. Потому что самая малость, настоящее ничто, — это когда ее, этой малости, мыслишки там какой или букашки-стекляшки, для всех почти что и нет. Вот именно что для всех. Поэтому зеркало сна было отныне везде. Почему это произошло? Возможно, жизнь без сна была для начинающих уставать от себя людей чересчур живой и сильной. Возможно, они утомлись. Или, быть может, им захотелось уйти далеко от своей собственной яви, чтобы потом пережить новое пробуждение, вспомнить, кто они такие на самом деле, и вернуться назад — в прозрачность и обретение друг друга наяву. Может, им захотелось обрести себя, и друг друга, и всех своих друзей, родных и любимых таким образом еще раз.

Что случилось с этим зеркалом, почти никто не знает. Но когда в мире дрогнула буква алеф, зеркало сна взяло такую силу, что встромилось почти без исключения во все человеческие глаза, сердца и головы. Никто, конечно же, никогда не признавал этого, хотя мудрецы всех стран не прекращали об этом твердить, за что их и убивали. Кому же хватит мужества признать, что он проспал наяву всю свою жизнь? (Жене такое сказать обидно, другу — пелено, встречному — неразумно.) И что все, что с ним происходит, — любовь, путешествия, открытия — происходит на крошечном пространстве зеркала сна, существующего лишь в условном пространстве его глаз. Куда проще договориться с другим, таким же, как и ты, спящим и видящим мир в своем крошечном зер-

кальце, и назвать вместе с ним свою жизнь явью. Причем повторять это соглашение не придется — всю оставшуюся жизнь оно будет просто молчаливо подразумеваться и подтверждаться как истина, которую нелепо пересматривать.

А вот этот кусочек из записок одного китайского мудреца я переносу из своего карманного компьютера в тетрадку, где я и веду свои записи о трех зеркалах. Может быть, тебя заинтересуют эти строки:

Откуда мне знать, не раскаивается ли мертвый, что когда-то умолял о продлении жизни? Тот, кто во сне пил вино, проснувшись, плачет; тот, кто во сне проливал слезы, отправляется на охоту. Когда ему что-то снится, он не знает, что это сон. Во сне он даже гадает по своему сну и только после пробуждения знает, что это был сон. Но существует еще великое пробуждение, после которого сознают, что это был великий сон. А глупец считает, что он бодрствует, и доподлинно знает, кто является правителем, а кто пастухом. Как он туп! И я и ты — все мы лишь сон. И то, что я называю тебя сном, — тоже лишь сон. Такие слова называют чрезвычайно странными, и если после десяти тысяч поколений нам встретится великий совершенномудрый, знающий их объяснение, то покажется, что до встречи с ним прошли сутки.

Радость моя, я пишу это так же, как летает вокруг меня стрекоза, — не поучая, не гордясь и не каюсь. Я просто напоминаю тебе и, возможно, себе самому о наших разговорах и, может быть, о том, что обратный путь навстречу друг другу всегда — пробуждение. Что наша встреча в будущем, после того как мы отказались от своего прошлого, забыли его и пошли дальше налегке, может оказаться для нас тем самым великим пробуждением, о котором пишет китайский прозорливец. Что без отказа и встречи заново путь к нашему обретению друг друга неосуществим.

Я сижу на ветке бука и пишу эту страничку. В брючину залез муравей и пробирается вдоль бедра, и от этого мне щекотно. Наверху шумит в солнце листва. Где-то там, внизу, плещет море. Сейчас я прыгну вниз и пойду на пляж. И сейчас ты читаешь этот листок. И все это — одновременно. Я помню тебя — и уже не помню — тогда, когда ты читаешь. К этому времени придет ангел и перекроет нашу память

крылом, звонким и глухим, как пощечина. Одна моя знакомая навсегда потеряла память из-за пощечины, которую ей влепил муж, думая, что у нее был еще кто-то. В дальнейшем выяснилось, что это не соответствовало действительности. Я также знаю историю девушки, которая зачала от удара веером. И про мужчину, который от удара по лицу стал человеком-невидимкой. В дальнейшем его присутствие где-то рядом по-прежнему можно было определить, но только по запаху. Потому что после того, как с ним произошла эта метаморфоза, он стал заживо...

Осколки и уколы

Как все мы хорошо помним, два осколка поранили Кая — один вошел в глаз, второй в сердце. Сам факт нарушения телесных границ и проникновения в них, пусть даже частично, иного предмета, обладающего острым окончанием, как бы это сказать — не знаменателен же? — нет, — загадочен и обладает неким фундаментальным свойством. Свойство это мне не хотелось бы означать словом, потому что в этом случае оно сузится до понимания каждым конкретным слушателем именно этого конкретного слова. А речь идет не о слове, а об уколе. Том, который мы переживаем, не успев его оформить ни в какое понятие. Его переживает кожа, а не мозг. Покров, а не интеллект. Поэтому, чтоб не сводить то, о чем идет речь, — укол — просто к слову, я прибегну к простодушному методу перечислений, как это делали затейливые византийцы в своих акафистах, перечисляя про Господа, что он Всеблагой, Дивный, Всесильный, Промыслитель, Вседержитель, Плавающих Кормчий, Превечный и так далее, и тому подобное, а про Деву Марию тоже, что она Всеблагая, Чудес Христовых начало, Невестная, имущая державу непобедимую или даже Благосеннолиственная — целых три корня, на которых растет неухватываемое миром, как Григорий Сковорода, дерево смысла.

Итак, просто перечислим уколы, каковы они были. Два кусочка зеркала — в глаз и сердце Кая, ладно, это мы уже говорили. Какими уколами еще располагает зеркало троллей?

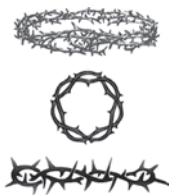
Сидя на щепе здесь, напротив колонн санатория, освещенных солнцем, я вспоминаю историю о принцессе и вязальной игле. Отцу предсказали, что от укола она умрет навеки. Ей, значит, предсказали, потом ее, как водится, от укола прыжки или чего там, неважно, берегли не уберегли, укололась, заснула. (Тут, конечно, стоит поразмышлять, чей именно это укол — троллийский или наш, «сновидческий».)

Перечислю элементарные уколы-проникновения, знакомые почти каждому с детства.

Это, конечно же, шприц с чрезвычайно медленно уходящей из стеклянного цилиндрика вам под кожу прозрачной жидкостью. Заноза, которая в виде темной черточка торчит у вас на подушечке пальца или в ладони, и для того, чтобы ее удалить, вас пронзают еще раз, нащупывая прокаленной на огне и продезинфицированной одеколоном иглой какой-то особый зазор подкожной щепки, после чего она, зацепленная за него острым концом, наконец-то извлекается наружу, а ранку прижигают сильно пахнущим рыжим йодом.

На улице это укусы пчелы, причем укусы этот возникает чаще всего не как продолжение пчелы, которую ты не видишь, а из ничего, примерно так, как в первой главе Книги Бытия творится мир, которому не было никаких причин твориться, и поэтому до сих пор этот акт переживается как внезапный, захватывающий и ошеломляющий. Я помню, как кричал на лестнице, ведущей от этого же санатория, напротив которого я расположился со своими записями, ведущей вверх, к домам, и сильно заросшей вьющимися розами поверх игры их же собственных теней на светлых ступеньках, как тут кричал мой школьный друг, худой, длинноносый, с выступающими вперед двумя верхними резцами Юрка Сильченко по прозвищу Крысюк. Он взвизгивал от ужаса и непонимания, пляша на площадке между двумя маршами, словно пытаясь схватить в воздухе смысл того, что оставалось ему неведомым, — откуда пришла эта жалящая душу и спину между лопатками боль. Я тогда первый понял, что случилось, и стал сдирать с него рубашку, и тут же подскокили два курортника — он в белом костюме, с потным лицом и запахом одеколона «Шипр» и жена его в махровой белой шляпе, толстой, как спящий тюлень, увенчанной белой — уже серой от возраста — кисточкой.

Они решили, что я избиваю маленького дохляка, которого я, кстати говоря, очень любил, и набросились на меня. Но я, хоть и ошелел, тупо продолжал сдирать с ошалевшего от ужаса Крысюка рубашку, и это было делом непростым, потому что, во-первых, он сам не давался, по-прежнему завывая и отплясывая свой священный танец, а во-вторых, меня пыталась оттащить от него та потная парочка, причем особенно усердствовал муж в шпире. Но вот рубашка была



сорвана, и на жалком, торчащем из узкой спины загорелом позвонке сверкнуло золотом как миг истины или запонка в рукаве длинное тельце осы. Не помню, кто осмелился ее сорвать со спины моего друга — не я ли сам? — но хорошо вижу, как и после этого маленький заморыш продолжает, взвизгивая, исполнять свой нелепый занозистый танец на ступеньках под куполом сплетшихся белых роз, и казалось, что теперь его уже никто не остановит.

Дальше я буду лаконичнее. Прокол опухоли на пальце. Кношка, положенная шпаной на стул особенно нелюбимой учительницы. Укусы муравья, змеи, комара, пчелы, слепня, москита, елисеевских вертолетов — особого вида гигантских комаров, которые выводились одно время в сырых таинственных подвалах самого знаменитого продуктового магазина Москвы. Спица в рукаве, которой, по рассказу дворовых друзей, недавно на улице убили какую-то женщину: тот, кто убивал, положил руку ей напротив сердца, а второй,

тот, что стоял за ним, ударил по выступающему из локтя концу и — насмерть, острый конец прошел насквозь. Куски утеплителя, стекловаты, которую по глупости мы брали в руки.

Бабочка, приколотая булавкой к покрашенной бледно-голубой деревянной стене, долго провисевшая у нас в бараке.

Дама в ателье, схваченная краем любопытствующего детского глаза, различившего всю ее в зашпиленной иголками бесформенной крейдешиновой робе и портного, ерзающего перед ней на коленях, что-то, кажется, держащего во рту, не помню что именно.

Острые концы агавы. Колочки какого-то растения в заповеднике Аскания-Нова, которыми запросто можно было проткнуть ладонь насквозь, полированные и словно железные.

Крапива, малина, колочая проволока. Стрекоза, ухваченная за хвост и вшившаяся в палец. Рыболовецкий крючок с жалцем.

Морской скорпион. Это когда ты, нырнув с лодки и выстрелив в лежащую на песчаном дне странную узкую рыбку, поднялся наверх к днищу — оно снизу выделось все в сиянии и окружении солнечных бликов — и показал добычу друзьям, а те шарахнулись от стрелы с насаженной на нее рыбой и заорали в голос: выброси на хер! ядовитая...

Песчинка в глазу, игла хирурга, когда тебе накладывали швы на рассеченную в драке губу.

Когда ты пригласил к себе не предупредив мать и отца, которые двадцать пять лет не встречались, и как они общались, не соприкасаясь, словно на каждом проросли вдруг слои прозрачного целлофана, а потом, когда они ушли, ты ударил по зеркальному трюмо кулаком и осколок распорол тебе запястье.

Гвоздь, внезапно проросший в ботинке, булавки в купленной на ходу, с уличного прилавка у Сокола, рубашке, розовый шип при попытке добыть розу без ножниц.

Ночной стог сена под Абрамцевом, где мы с тобой пытались спрятаться от ливня и хлеставших по полю молний, и я исколол руки, разрывая его сбоку, словно, роя ход в чрево левиафана через бок и выдирая кишки, наткнулся на чешую.

Все это были уколы магических зеркал троллей и феири. Частично — людских.

Так, через все эти бесчисленные и утомительные проникновения, их код входил в меня словно татуировка или строчка швейной машинки. Естественно, проникая под кожу и оставляя там следы, они год за годом изменяли и деформировали при помощи своей — мою внутреннюю первоначальную звездно-обморочную и нежную, как у воды, структуру, вышедшую из рук эфирного и лунного ангела-по-небу-полночи.

Татуировка. Пирсинг. Аборт, разумеется.

Взорвавшаяся на старте в костре самодельная ракета из медного карандаша, осколок которой попал тебе в палец и вышел — к великому твоему удивлению — лишь через три дня, когда в школьной уборной ты стукнул приятеля кулаком в плечо. На подушечке пальца до сих пор можно различить лунку. До сих пор ты заново переживаешь озноб при виде неожиданно высывающегося из тебя инородного тела, о котором ты не подозревал. Оно было круглое и латунного цвета, величиной с крышку кнопки. Так внезапно рождают, раздвинув ноги, не ребенка, а хлопок в ладоши, не ведая о часе осеменения.

Осколки и уколы изнутри

Многие из уколов и проникновений окултурены и приведены к архетипам. Это — конечно же и прежде всего — знаменитая пестрая стрела Амура, пронзающая печень, — не сердце, как думают многие, нет. У древних она пронзала то, что было ближе к земле, к области пола, а у нас, хотя не пронзает больше ничего, но существует все же в виде рисунка с сердцем на заборах и асфальте. В жанре граффити не видел ни разу. Да и на заборах его что-то не видно — наверное, ушло уже давно, а я и прохлопал. Сейчас все колющее задвигается за задники гламурного театра или смыкается в аккуратное серебряное колечко пирсинга. Сам акт пронзания — открытого жала — вытеснен массовым сознанием из сферы обихода, камуфлирован, обезвожен.

К внутреннему пронзанию относятся также муки совести, ее укоры, а как же. Об этом чуть позже.

Существует также «культурное» пронзание, которое, несмотря на явную свою метафоричность, все же неоспоримо свидетельствует о том же процессе — проникновении острой вещи сквозь некий непререкаемый защитный покров тела и души, внедрении инородного предмета во внутреннюю область, для него запретную, а для тела и души — сопряженную (понятно, что разумея именно факт проникновения) со смертельным риском.

В Библии Еве было сказано, что змей, совративший ее и первого человека, будет жалить их в пятю, но голова его сокрушится от пяты же одного из ее потомков, читай, Иисуса из Назарета.

Тем не менее грехопадение, конечно же, особенно в народном воображении, связано не столько со вкусом неведомого плода — кто сказал, что яблока? — тающего во рту, сколько с проникновением мужского тела в женское (и это явно народная версия) и жала (зуба) змеи в пятю Евы и ее потомства (версия, неявная для народа, но притягательная для вымирающей интеллигенции). Итак, два вторжения, два укула — в пятю и в пах. Именно с них начинается, по Библии, история человеческой цивилизации и культуры. И не только начинается, но и закладывается профетическим кодом в дальнейшее, предсказывая ход истории и бег времени к тому ее рубежу, когда глава змея-горыныча, змея-зла будет раздроблена пятой Мессии.

Как и предполагалась, вся остальная история не только изобиловала укулами и проколами, но даже и наращивала их смертоносный шаг.

Некоторые из них прекрасны и тревожны, как звезда Мандельштама, опускающаяся в сердце медной булавкой. Некоторые загадочны и безумны, как, скажем, проникновение мужского члена в глубь женского девственного лона, сопровождаемое разрывом и болью. Но, так или иначе, большинство укулов свидетельствуют о смерти и эротике одновременно, как бы утверждая до поры до времени нераздельность их проявления в жизни. Я думаю, что не стоит ненавидеть Фрейда из-за того, что он вводит в тихий экстаз истеричек и доцентш. Все религии знали про смыслы проникновения и про жажду его и смысл задолго до отца психоанализа, и не их беда, что истерички и доцентши вниматель-

но читали именно Фрейда, а не, скажем, историю Эвридики, укушенной в пята змеей, а если и читали, то явно проглядев тот факт, что обстоятельство это — смертельно-эротическое — имело далеко идущие последствия. Я имею в виду спуск Орфея в ад, укрощение смерти музыкой его лиры и бесконечно восхитительный и простой путь наверх — к жизни в месте с той, за которой он не побоялся спуститься в толщу одной на всех смерти, не имея при себе ничего, кроме музыки в сердце и пустоты в горсти. Наверное, была еще у него щепотка соли в зрачке и цикада за ухом, но об этом не здесь.

Не забудем также, что царь Эдип, имя которого, после работ создателя психоанализа, срослось с оным намертво, узнав про то, как оно что есть и было на самом деле, в смысле — о том, что это именно он убил своего отца и возлег на священное царское ложе в паре с собственной матерью, выкалывает себе глаза медной булавкой, вынутой из одеяния только что повесившейся матери-жены. Дальше пир для домыслов и догадок, а поэтому прекратим про Эдина.



Так или иначе, ты, наверное, уже успела отметить, что укол, прокол — внутренний или внешний — почти всегда сопряжен с некоторой внезапным образом наступающей как следствие магической слепотой. Вспомни слепого Крысюка, танцующего джигу в пещере из белых роз, а также потеревшую бессмертие и Бога Еву (конечно же, как результат внутренней слепоты), опять слепца Эдипа (напрямую выкалыва-

вающего глаза, но это самый явный случай, слепота после укола приходит подчас и более тонким путем, или Орфея, идущего во мраке ада, не различающего ничего, кроме музыки. Вспомни циклопа Полифема, ослепленного Одиссеем. Или про то, что влюбленных, после того как стрела любви пронзает их печень, зовут слепцами.



Итак, укол ведет к слепоте, к той или иной ее форме. А разнообразие форм слепоты как раз и обусловлено разнообразностью зеркала, осколок которого тебя поранил — эльфийского, троллийского или человеческого. Тебе не кажется, что ты слеп после этого укола, тебе кажется, что с тобой все в порядке, но с тобой не все в порядке — ты ослеп. Несмотря на то что видишь видения — приятные или отчаянные.

Цивилизация на сегодняшний день преуспела в уколах. Генная инженерия вся основана на этом — вспомни заворачивающие и хрестоматийные кадры с экрана телевизора, запечатлевшие проникновение тончайшей хирургической иглы с мужской клеткой в яйцеклетку женщины, причем техника разрыва-проникновения никуда не девается. Она остается точно такой же, как и при первых — уже отчасти слепых, а как же — родах.

Особое значение имеют истории о незаживающих ранах. Их много. Их очень много, хотя все они виты-перевиты поверхностными пластами других историй. Отметим лишь несколько сформировавшихся в Греции. Это история Фило-

ктета — царя, высаженного друзьями на необитаемом острове, потому что вонь от его раны была нестерпима. Рана была получена от укола стрелы, пропитанной ядом, и не хотела закрываться. Так он и жил на этом острове и умер бы там, если бы истории незаживающих ран не были магичны и вследствие этого не предназначены для тупиковой смерти на забвенном клочке земли, затерянном в вишне-красном море. Однако, поскольку они магичны и асимметричны и удлиняются как раскладное удилице, то до ахейцев, осаждавших уже не первый год Трою и изрядно вымотанных этой осадой, доходит прорицание оракула из Дельф, что им не взять города, если только они не вернутся на смердящий остров со смердящим Филоктетом и не привезут его с его волшебным луком к стенам Трои.

Это история незаживающей раны кентавра Хирона.

Это история поисков святого Грааля, гнойная конкретика которой сейчас, пока я рассматриваю со своей кучи щебня блеск солнечных санаторских колонн с бегом по их сахарной поверхности лиловой лавровишневой тени, ускользает из моей памяти.

Это незаживающие гнойники великого Нова, оставленного-го счастьем и Богом и стонущего в небо с пепелища.

И знаешь, до какой-то степени это история о ранах Христовых, которые не закрылись и после Его воскресения.



Ведь не закрылись же они, если Он сказал Фоме: вложи перст свой в Мою рану.

Поэтому вот что я тебе скажу — на укол можно ответить лишь отверстием, и зачастую ответ не только предваряет причину, но и создает ее. А еще точнее, оба они создают друг дружку: укол и отверстие. Стрела и рана. Гвоздь и язва.

Самая малая еврейская буква йод, символизирующая творческое оплодотворяющее начало, а следовательно и проникающее, напоминает запятую. А две такие буквы, будучи

сложены надлежащим образом в виде взаимоперевернутых запятых, вложенных одна в другую, образуют круг, тождественный японскому символу Инь и Ян, или китайскому Тай-чи — изображению Вселенной. Причем черная запятая, Инь, проколота белой точкой. А белая запятая опять-таки проколота — черной. Из этого явствует, что мир — проколот. И если на явном плане это видно почти всегда, и чаще всего в виде катастрофы, мелкой или крупной, то на тайном прослеживается скрытно и не как катастрофа, а в виде совсем других вещей и представлений, схожих по смыслу и красоте с вермеровской девушкой с жемчужной серьгой или простреленным черепом, белеющим посреди Голодной стены.

Владимир Сергеевич Соловьев последний раз влюбился при довольно-таки явных обстоятельствах, которые, впрочем, для него самого были с самого начала отчасти тайными в силу хотя бы того, что дама, которая заворожила и очаровала его на одном из московских домашних маскарадов, была в маске цыганки, и лица ее распознать он не мог. А чтобы наверняка привлечь внимание рассеянного философа, эта легкомысленная особа (именно в этот вечер, а во все остальные дни и вечера — чрезвычайно серьезная и положительная дама) ткнула его в руку булавкой, причем укол был болезненным настолько, что философ вскрикнул. Что последовало далее — история слепоты или прозрения, любви или смерти, или к какой именно разновидности зеркал принадлежал игловидный осколок, проткнувший костюм Владимира Сергеевича Соловьева, трудно сказать. Мы никогда не узнали бы об этой курьезной истории, если бы ее не записала сестра поэта, которой рассказал ее сгоряча князь Трубецкой, пораженный скоропостижной смертью друга, ушедшего от нас на сорок седьмом году жизни.

Музей, стиль феррари и озеро

В тот день случилось еще много чего.

Во-первых, мне позвонила мама и сообщила, что волнуется. Я сказала ей, что у меня все в порядке, что мы со Светой прекрасно проводим здесь время, едим мороженое и ложимся спать вовремя, чему она, конечно, не поверила и долго

меня расспрашивала, где же я на самом деле остановилась. Я сказала, что у милиционера Луки, но она, кажется, опять не поверила, потому что Луке она тоже звонила и меня там ни разу не обнаружила. А что я еще ей могла сказать? Что я и сама толком не знаю, где я остановилась? Не рассказывать же ей страшные истории о тихой ночи на цементном заводе. Да она бы с ума сошла от страха, зачем пугать человека?

Потом позвонила Светка и сказала, что они поехали в Пиццуду. Я спросила: на яхте? Она сказала, что нет, не на яхте, а на двух машинах. Я рада за Светку — пусть проветрится. Передай Руслану привет, сказала она. Он — богатый жених.

Светка всегда говорит какие-то дурацкие фразы, от которых тошнит, но ненадолго. В этом ее счастье, что тошнота быстро проходит. Она легкий человек, она человек с шармом необязательности. При этом она не какая-нибудь там простушка. У нее очень хорошее образование и своя судьба. Что-то там у них в семье случилось с первым мужем матери, Светкиным отцом, настоящая жуть. Притом Светка — человек со стилем и блеском. Знаете, есть замечательные женщины и мужчины — добрые, отзывчивые, любящие, но без блеска. Вот она, замечательная женщина без блеска, оденется вроде хорошо, и с лицом у нее все в порядке, но идет она по улице, а вид у нее даже в гуччи-раббане какой-то туристический, а в руке — полиэтиленовый пакет, который тебе дают в ларьках, чтобы ты закинул туда по дороге домой продукты не самого лучшего качества. И вот, если у тебя нет этого самого блеска, то все будут видеть не тебя, а этот самый жалкий пакет. А если он, блеск, у тебя присутствует, то никто этот пакет и не заметит, а все будут смотреть на то, как ты танцуешь и играешь на волне на своих двух лодочках-яхточках-шильках, или, к примеру, ты остановилась, задумалась на миг, а в платье у тебя все равно просвечивает эта яхта, идущая накренысь под полным парусом.

С Русланом мы, кажется, подружились, хотя он меня не очень волнует. Мне нравится, что он сильный и воспитанный. Но иногда у меня возникает подозрение, что никакой он не свободный человек, каким хочет казаться, а что он куплен и повязан с ног до головы, просто этого не видно. И когда у меня возникла такая мысль, мне стало его жалко.

Потому что сам человек почти никогда не видит, как сильно он куплен и повязан, и продолжает всю жизнь из кожи вон лезть, доказывая себе и окружающим, как ему хорошо живется и как успешно сложилась его судьба. Он мне рассказал про стиль феррари, что в нем, в этом самом «Феррари», должна сидеть яркая брюнетка и что этот беспризорный (в смысле, пока еще без роду и племени герой, взятый к примеру) владелец «Феррари» и приверженец стиля не будет пить пива, а будет — мартини. Тогда я спросила его, а чем отличается в таком случае «стиль мартини» от «стиля феррари». Руслан задумался и сказал, что есть стили, которые, как я справедливо заметила, наезжают друг на друга, и все же ядра у них разные. Что ядро стиля мартини, например, более консервативно и традиционно, чем ядро стиля феррари. Потому что, ежели ты живешь в стиле мартини, ты можешь не врубаться в стиль феррари, но ежели ты выбрал для себя стиль феррари, то тебе необходимо знать кое-что про мартини и другие стили, чтобы с легким безразличием отозваться о той или иной детали, присущей остальным стилям, и что на его-то взгляд все это как раз полная лажа, но забавно. А я сказала, что согласна, что полная лажа, нельзя же жить в стиле, например, колгейт, а он сказал, что это потому, что не так престижно. «А дерево у дороги престижно? — спросила я. — Можно жить в стиле дерева у дороги?» Он сказал, что не знает, но что «роллс-ройс» должен быть только светло-коричневого цвета, а если он будет покрашен по-другому, то это полный отстой, а почему именно, он не может точно сформулировать, ибо это дело вкуса, и тут я заметила, что начинаю увядать. Он это тоже заметил и сказал, что дело не в мартини или «Феррари» и даже не «Роллс-ройсе», а вот сейчас мы пойдем в краеведческий музей. Вот так все просто. Мы возьмем и пойдем в краеведческий музей, чтобы продемонстрировать уважение к истории города, в котором мы находимся. Тут я ожила и снова его полюбила.

Мы пошли в музей, там была выставка бабочек и еще какие-то звери за стеклом. Там же первобытный человек разжигал костер, в котором была спрятана электрическая лампочка, а другой сидел рядом и обтесывал кремь. Живая картина мне очень понравилась, да и Руслану тоже. Он стоял рядом со мной, и я видела, что ему интересно. А самое

интересное находилось там, за озером, которое было нарисовано на заднем плане. Вот там-то и начинались всякие чудеса, и еще в костре с электрической лампочкой. Наверное, если пойти за озеро, можно встретить разных людей, которые сильно отличаются от нас, примерно как эти вот двое с кремневыми зубилами и костром. Я бы и их тоже взяла с собой туда, потому что те люди, которые там живут, они просто живые и радостные, и у них нет никакой цели в жизни. Поэтому у них уже все есть и они никуда не бегут и никаких стилей не придерживаются. Они сидят у синего озера и смотрят в прозрачную воду, как там плавают рыбы. Они так часами могут сидеть, и ничего им от этого не делается. И еще, если одному из них плохо, то другой это сразу чувствует, берет его за руку и говорит: пойдём к рыбам. И они идут к рыбам и смотрят в озеро вместе. И у того, у которого болело, все проходит. Может быть, в этом озере даже водятся черепахи — петоропливые и воспитанные, как Лола, — не знаю, но вполне возможно.



Потом мы бродили еще по городу, и я звонила маме, чтобы она не волновалась. Руслан купил мне воздушных шариков, от которых пахло резиной, и я сказала: а знаешь, что я сейчас сделаю? Я достала из-за пояса свою рукавицу со светом внутри и показала ему. Он обалдел. Я сказала: сейчас я ее привяжу к шарикам и отпущу, и стала привязывать, а он говорит: я бы не стал этого делать. Я спросила, почему, а

он сказал: подари лучше какому-нибудь пацану, у которого нет отца. Я спросила, при чем тут пацан, а он сказал, что все равно не надо ее запускать в небо, потому что это хоть и эффектно, но ни к чему — пусть она светит вниз, где ее можно потрогать. А что ей там, наверху, делать? Он стоял, огромный, небритый, прямо посреди театральной площади, он прямо-таки нависал надо мной всей своей мощью, и он снова спросил, ну что ей там делать наверху, и я подумала, что он прав.

Потом мы еще гуляли, а потом наступила ночь, и я сказала, что мне надо возвращаться на Поляну к Луке, но, прежде чем взять такси, мы какое-то время постояли на пустой улочке с фонарем, освещавшим крону акации, и было так тихо, что я слышала не только треск задней втулки велосипеда, проехавшего в том конце улицы, но и голос того, с кем разговаривал по мобильному велосипедист.

В общем, Руслан поехал меня провожать.

Суп и памятник

Мне иногда кажется, что в этом городе я была уже не раз. Как будто уже проезжала по этому белому освещенному фонарями мосту, с которого видно чернильное море и пару далеких огоньков в нем. Так бывает, когда, например, задумаешься на улице и сталкиваешься с незнакомым человеком, злишься на него, что не видит, куда идет, а в следующий миг до тебя доходит, что это твой близкий друг, которого ты всегда любила. Ну тот, с которым связано много хороших мест и слов. Как вы, например, катались на чертовом колесе в парке отдыха, и, когда поднялись наверх, было видно, как внизу по зеленой воде пруда плывет лодка, и когда вы это увидели, то оба обрадовались. Вот в тот миг, когда ты уже с ним столкнулась и уже поняла, что он не просто незнакомец, но до тебя еще не дошло, кто он такой на самом деле, — вот в этот миг, мне кажется, мы иногда попадаем и там застреваем. Нам уже ясно, что то, что мы видим вокруг, совсем не то, что мы думаем, что здесь какая-то ошибка, и поэтому на этот мост или парк уже нельзя смотреть, как раньше, но и увидеть, что они такое на самом деле, тоже еще не можешь, еще не успе-

ла, еще нет времени, и тогда приходят на ум всякие глупые слова, как, например, дежавю.

Руслан сидел спереди, рядом с водителем, а я сзади, у правой дверцы, — на том месте, где сидит по традиции английская королева, как объяснил мне Руслан. Не понимаю, почему для многих имеет значение, где именно сидит эта дурацкая и потешная бабушка в своей глупой зеленой шляпке. Это, наверное, снобизм. Иногда я думаю, что он и меня затронул.

Однажды один мой знакомый мальчик, который очень гордился своим происхождением, посетовал, что ни один из его знакомых не умеет есть суп правильно. Я посмеялась, а потом задумалась. Я суп ем не то чтобы каждый день, но все же довольно-таки регулярно, потому что мама нам с отцом его время от времени подает. Казалось бы, ну какое мне дело, как этот самый суп надо есть так, чтобы было правильно. Однако, я никак не могла про него забыть и начала спрашивать у своих друзей.

Оказывается, никто не знал. Вообще никто. Большинство даже не понимали, о чем речь. У мальчика, который мне про это рассказал, я спросить почему-то постеснялась, вот ведь глупость. Наконец я попала в гости в одну семью, на день рождения другого моего приятеля. И завела разговор на эту тему, когда старшие уже вышли из-за стола. Никто, конечно же, ничего не знал, но, когда я собиралась уходить и одевалась в прихожей, бабушка мальчика позвала меня на кухню и показала, как этот дурацкий суп надо есть правильно. Она, наверное, слышала наш разговор. Она просто взяла две пустые тарелки, ложку и показала движение, не говоря ни слова. Я сказала «спасибо» и ушла. Странная такая старушка — ни слова при этом не сказала. Но мне она понравилась. Наверное, потому, что ничего не стала говорить — показала, и все. Ну вот, теперь я знаю, как есть суп правильно, и что изменилось? Стала я его есть по-другому? Нет, конечно. Я по природе трусливый демократ, не люблю выделяться.

И все-таки кое-что изменилось. Не то чтобы какое-то там появилось чувство превосходства, но теперь, когда я смотрю, как кто-нибудь неправильно ест суп, я всегда вспоминаю ту старушку, бабушку моего приятеля, как она на кухне мне, уже одетой, молча показывает, как надо наклю-

нять тарелку и в какую сторону вести ложку, и мне от этого почему-то становится хорошо. Наверное, потому, что ей же тоже кто-то показал. Ее мама или, например, тоже бабушка. А той — ее. И в общем, приятно было знать, что искусство есть суп не только существует в природе, но еще и пришло издалека, а не взято с потолка или из телевизора, потому что там никакого телевизора не было. Бабушка на следующий год умерла, и я иногда думаю, что я теперь последняя, кто знает, как есть суп правильно. Если, конечно, она не рассказывала про это своему внуку. Хотя вряд ли. Его интересовали совсем другие вещи.

Я подумала, что, может, Руслан тоже знает, как есть суп правильно, и тогда мы могли бы жить в стиле правильных едоков супа. И я спросила: Руслан, ты знаешь, как правильно есть суп? Он сказал: знаю. Была в нем одна хорошая черта: он как будто знал заранее, что у него хотят спросить, и никогда не удивлялся даже самым глупым моим вопросам. Мне это в нем нравилось — тут было какое-то заведомое бескрайнее уважение к собеседнику.

— Откуда? В Кембридже научили?

— Не в Кембридже. Мать научила.

— А ее кто?

— Бабка. У нас древний род. В прапрапрабабку Лермонтов был влюблен. Она ему по руке гадала.

Тут я почему-то заволновалась. Наверное, потому что люблю Лермонтова, особенно «По небу полуночи...».

— Где же она с ним познакомилась?

— В Пятигорске. Она туда с отцом приехала. Наш род княжеский. А тогда было время переговоров. Хотели остановить войну. Она с ним познакомилась в том доме, который он потом описал в романе. Там, где Печорин с княжной Мери танцевал. Я там был. А потом он несколько раз приходил в их дом, в гости. Делал визиты.

— И что она ему нагадала?

— Ангела у изголовья.

— Это что значит?

— Она сама не знала. Только увидела, что, когда он умрет, к нему придет ангел и сядет у изголовья.

— А у чеченцев есть ангелы?

— У всех есть ангелы. Просто у чеченцев они немного не

такие, не как у вас. Потом она в него влюбилась. А через месяц она вышла замуж за своего официального жениха, одного русского дипломата в Тифлисе. Еще через семь месяцев у них родился недоношенный, как было принято говорить, ребенок.

— И что?..

— Этот мальчик стал моим прапрадедом.

— Врешь... — у меня это слово вырвалось непроизвольно, уж очень я разволновалась. Я даже не подумала, ну и что тут такого — вон сколько у Лермонтова родственников, и все ссорятся между собой из-за дома под Зеленоградом. Правда, ни одного прямого. А вот Руслан, сидящий ко мне затылком, мог быть и прямым его родственником. Это у меня как-то не укладывалось в голове.

— Не вру.

Он повернулся.

— Его не там убили, где памятник стоит.

— А ты откуда знаешь?

— Интересовался. Встречался с одним литературоведом из Питера, профессором. Он мне показал прямо на месте, где его убили.

— И где?

— Метрах в ста от того живописного места с панорамой Кавказского хребта и Эльбрусом. Памятник этот — вранье. Просто там фон романтический, как раз для туристов. Его на дороге убили. Там орешник сейчас растет по сторонам. Наверное, и тогда рос.

— На дороге?

— Ну да. Или рядом с ней.

— Все равно никто не знает, сидел ангел у его изголовья или нет. Он же там всю ночь один пролежал. Все разбежались. Непонятно почему. Может, грозы испугались?

— Боевые-то офицеры?

— А куда ж они все подевались? Если грозы не напугались?

— Напугались. Но не грозы.

— Чего же?

— Песни.

— Какой песни?

— Песни из орешника. Он сидел в орешнике и пел песню

на чеченском языке, понимаешь? Тихую, печальную, заунывную. С мертвыми словами, от которых листья с деревьев осыпались, а в сердца вошла смерть, понимаешь? Гривы у лошадей поседели, копыта треснули и разошлись в пальцы, а люди перестали узнавать друг друга. Пел слуга чеченской девочки, той самой, дочери князя. Он был, колдун. Понимаешь? Шаман.

Когда после переполоха, сопровождавшегося конским ржанием, лихорадочными движениями людей, ищущих словно спяну стремена, бестолковыми матерными криками Столыпина и страшным сбивчивым галопом с места, все на дороге утихло, из зарослей орешника вышел маленький



темный человек. Он наклонился над убитым офицером и заглянул ему в глаза. В небе неистовствовало целое море огня, и молнии с громом били как пушки форта, освещая нахмуренный мертвый лоб. Человечек в темном разогнулся и легко как кошка побежал по склону. Там, за орешником, он вскочил на коня, тихо свистнул и во весь опор поскакал в сторону Пятигорска.

Какое-то время нахмурившийся молодой офицер в белых рейтузах и сапожках лежал один. Рука, недавно державшая пистолет, была вытянута вдоль головы и вывернулась ладонью вверх. Жидкие пряди волос на голове слиплись от воды и потемнели, а обнажившийся лоб белел при вспышках молний как голова снежной бабы. Молодой человек казался очень маленьким и серьезным на этой дороге о двух колеях, проложенных обозами и телегами торговцев. Он хмурился из-за того, что двери, за которыми его ждала настоящая мама, никак не хотели раскрыться шире, но были растворены лишь на узкую щелку, через которую ему сей-

час было невозможно протиснуться. А поскольку сзади него уже не было ничего, ему надо было во что бы то ни стало войти в эту дверь, за которой он угадывал шорох платья и звук ласкового материнского голоса. Голос постепенно слабел и удаляясь то ли звал его, то ли разыскивал, и тогда он понял, что сейчас его могут опять не заметить и потерять, как это с ним уже случилось однажды. И поэтому он хотел окликнуть, позвать, но прежние губы не повиновались ему, а новых у него еще не было. И поэтому он просто лежал на



дороге, а дождь, не замечая, что он жив и зовет, продолжал мочить белый словно мраморный лоб, китель и сапоги.



Через некоторое время в темноте сквозь ливень опять послышались удары копыт о раскисшую землю, и на дороге появились два всадника. Один из них был маленький человечек в темной одежде, а второй оказался женщиной, почти девочкой. Она прыгнула с коня, подошла к тяжело спящему офицеру, села рядом на мокрую траву и положила его голову к себе на колени. Маленький человечек с повадками кошки вился не сходя с седла вокруг них, придерживая лошадь и натягивая поводья.

— Уходи, — сказала девочка по-чеченски. — Уйди!

Человечек исчез, словно его сдуло. Только глухо ударили в грунт копыта.

Она сидела под дождем, держа нахмуренную голову повернутой к себе. Глаз она ему не закрыла. Она сидела и слегка покачивалась. Потом в горле у нее засвистело, забублькала, и она мяукнула. Потом села на корточках, положив его голову себе между ног, и запела. Вена на ее правой руке раскрылась по все длине как змея и закрылась снова, оставив на земле несколько капель зеленой крови. Из крови вылетела зеленая бабочка с глазами нетопыря и мышинными зубами, произнесла непонятное слово, от которого смерзся и в тот же миг снова потек ближний ручей, причем разморозка предшествовала замерзанию, и улетела. Чеченка пела долго, и слова ее песни терлись друг о друга оловянными и перистыми боками. И когда она увидела, что веки офицера дрогнули, пошли вниз, сомкнулись и снова замерли успокоившись, она высвободила ноги, осторожно опустила его голову на землю, села верхом на коня, и ее не стало.

Ока, которая впадает в волгу

— Лука, ты любишь Лермонтова?

— Любимый поэт, — сказал Лука. — А кто тот человек, что вчера ночью тебя привез?

— Руслан, — сказала я. — Как ты думаешь, может, это его я ищу?

— Позвони маме, — сказал Лука. — Она волнуется.

— Ты не ответил.

— Если ты не знаешь, как я могу знать, кого ты ищешь?

— Ты знаешь.

— Хорошо. Ты не его ищешь.

— Вот и я так думаю, — сказала она.

— Ешь суп, — сказал Лука.

— Я с утра не ем суп. Ты, Лука, наверное, не знаешь, как надо есть суп правильно. Хочешь, покажу?

— Зачем мне?

— Видишь ли, Лука, я хочу найти Шарманщика.

— Вижу.

— Он мне нужен. Когда я его найду, моя жизнь станет ясной. Он мне скажет, кто мы с ним такие на самом деле. Как ты думаешь, скажет?

— Позвони маме.

— Хорошо.

Она пошла наверх, взяла мобильный и позвонила маме. Подошел отец, и они немного пообщались. Он был приветлив, но как будто думал о чем-то другом. Он сказал, чтобы Арсения звонила чаще, потому что они с матерью очень беспокоились, когда она пропала. Сказал, что любит ее, что перевел ей деньги, немного, но на неделю хватит, а потом давай возвращайся. Она поблагодарила, сказала, что соскучилась, отключилась и снова спустилась вниз.

Вчера был сильный туман, и, когда Лука вышел из дома, были почти сумерки. Туман окутал мост через речку внизу, кафе у дороги, зеленую от травы посадочную площадку для вертолетов — только мокрые верхушки деревьев торчали из него наружу. Туман располагался слоями, и, поднимаясь к турбазе, Лука то видел перед собой отрезок дороги с мокрым щебнем и домиками по правую и левую руку, то ничего не видел и входил в сырую вату, от которой мгновенно становилось холодно и промозгло. Он поднялся уже почти к зарослям орешника, после которых дорога раздваивалась и сворачивала в рощу с дольменами, когда услышал детские голоса. Он удивился, потому что откуда здесь могут быть дети. И все же именно здесь, где мало кто ходит, по мокрой дороге шли девочки и переговаривались. А одна шла позади всех, но словно даже и не шла, а ковыляла. И когда Лука попытался заглянуть ей в глаза и это у него никак не получалось, то он понял, но не сразу, а постепенно, что это шли умершие дети. И та, в сером платице и коричневых чулках, все никак не поспевала за ними. Все словно бы хотела их догнать и не могла. Когда Лука подошел к ней, то увидел, что ноги у нее спутаны. Она неловко приблизилась к нему и, глядя в землю, сказала: «Дяденька, сними с меня веревку. Мама забыла снять, и с ней меня похоронили. Снимешь, отдай ее маме».

Лука наклонился и стал развязывать веревку. Он все думал, почему эта девочка смотрит в землю, а не на него, потому что ему очень хотелось узнать, какого цвета у нее глаза,

и вообще она показалась ему знакомой, как будто он ее уже встречал где-то, может, у родственников в гостях, а может, в здешней школе, куда иногда заходил по долгу службы. Но, как он ни старался, взгляда девочки перехватить ему не удалось. Словно он куда-то все время уплывал, и поэтому Лука хорошо разглядел только ее худые ножки в туфельках и сморщенных шерстяных чулочках, пока развязывал веревку. Он также разглядел ее руки с длинными пальцами, локти и цвет волос — белокурых с некоторой, словно пыльной, серостью — а вот взгляд никак не давался. Лука подумал, что не глаза это у мертвой девочки, а, наверное, вход в другой мир и что у нее от этого должно быть не два глаза, а одна воронка крутится, как аэродинамическая труба, и образует возможность полета. И если бы девочка подставила ему глаза, то у него, наверное, отросли бы на пятках короткие черные крылья, и он бы полетел в неведомые страны, а вот хорошо там или плохо, как он может знать, потому что он еще не разу не бывал мертвым. А если и бывал, то, скорее всего, забыл. А значит, опыта полетов в белой бездне у него нет, и лучше пока не встречать глаза мертвого существа, а просто сделать то, о чем оно тебя просит.

Развязал веревку и положил в карман. А девочка засмеялась и побежала догонять остальных. Лука посмотрел, как они исчезают в тумане, и, когда их не стало, еще какое-то время прислушивался к их голосам. Он вспомнил, что на ножках девочки были дешевые сандалики и от ее прыжков пряжки позванивали. Потом он стал думать, у кого это в поселке недавно умерла девочка, чтобы отдать матери веревку. Но не вспомнил и решил на обратном пути зайти в церковь и спросить у священника.

— Лука, можно, я возьму у тебя кофе?

— На здоровье.

Лука хоть и знал, что смерти нет, но догадывался, что она в то же время и есть. Нельзя сказать, что ее просто нет, хотя это и правда. Например, если ее и нет, то после того, как люди столько времени их существования не останавливаясь думали и говорили о ней, то она все равно для них появилась. Потому что если о чем-то слишком долго говорить и думать, то оно обязательно появится, даже если ты сам один говоришь и думаешь, а если столько народу по всему

миру, то тогда уж и по-прежнему появится. А когда пишут стихи о смерти, то это еще сильнее уплотняет действительность и уплотняет ее до того, что живое человеческое тело однажды становится мертвым. Оно бы никогда не стало мертвым, если бы об этом не писали стихи и не думали. Но если об этом думать и писать стихи, то, конечно же, в человека войдет смерть. Вот и Лермонтов, о котором говорила Арсения, сначала написал стихи о том, что его убьют, а потом в него вошла смерть. Лука был как-то в Пятигорске и видел памятник на месте дуэли. Лермонтов хороший поэт. Правда, он не много его стихов знает, но одно он хорошо запомнил — про то, как он лежит в могиле, но не умер, потому что над его головой шумит и качается старый дуб, а какой-то голос у изголовья поет ему про любовь. Вот и правильно, потому что пока слышишь тот голос, то умереть нельзя, потому что понимаешь, что смерть придумали люди, а если ты этот голос слышишь, ты им все равно до конца не веришь. Людям, вообще, верить не стоит, потому что они сами часто не понимают, на каком они свете. Интересно, есть сейчас дуб там, где похоронен Лермонтов?

Он и правда не знает, кто такой Шарманщик, хотя у него и есть кое-какие мысли по этому поводу. Вот что он сделает: когда в следующий раз он пойдет встречаться со своей возлюбленной Мэб, он возьмет да и спросит у нее, кто такой этот Шарманщик. Он это сделает не для себя, а потому, что девочке надо помочь. Нечего ей одной гулять в этом городе. Пусть она найдет своего Шарманщика и уезжает к себе домой, в Москву. Вчера она пришла сама не своя. Хорошо хоть ее проводили, хотя чеченец этот Луке доверия не внушал. Вот чудеса — звонит тебе незнакомая девочка из Москвы, договаривается, что будет жить у тебя в доме, ты почему-то соглашаешься, а теперь начинаешь о ней заботиться и любить как родную. Раньше, когда он еще не знал Мэб, с ним такого не могло случиться. Раньше у него было много плохих мыслей, а теперь они все куда-то подевались.

Лука зашел в церковь у дороги, калитка во двор была открыта, и там ходила коза, щипала травку. Он нашел священника, когда тот садился в машину, чтобы уезжать. Священник не мог вспомнить, чтобы в последнее время здесь отпевали какую-нибудь девочку, все больше старики, да

еще один пьяница и один альпинист, а девочек не было. Лука подумал, что, может, ее не отпевали в церкви, а похоронили без обряда, и решил еще поспрашивать в поселке. Сначала он хотел оставить веревку, которую так и носил в кармане, в церкви, где-нибудь рядом с иконой, но потом вспомнил, что обещал отдать ее матери девочки — за этим-то он сюда и пришел, чтобы найти ее мать, да вот что-то совсем запутался. Наверное, в последнее время слишком много всего произошло. Вот раньше он, например, брал взятки, не спал ночами, закрывал глаза на барыг с кокаином, пару раз сидел в засаде, даже однажды застрелил на задании человека — и то никогда ничего не путал, хоть бы и пьяный. А тут словно влажное облако пробегало время от времени у него внутри головы, и от этого хотя голова и становилась все моложе и моложе, так, что глаза у него даже стали светиться в темноте, но мысли от этого прикосновения становились нежными, мягкими, почти женскими и часто путались. Ну ничего, главное он все равно помнит. А у человека есть только одно главное, которое запомнить легко, — это то, что внутри всех живет любовь, и она — самое лучшее, что есть на земле.



Лука это знал точно, потому что землю ощущал не понаслышке и не как раньше, когда шил, воровал и развратничал, но теперь видел, что сам создавал эту землю когда-то вместе с Богом на заре Творения, и вокруг звучал смех — это ангелы смеялись от радости, а София-художница играя водила его, Луки, рукой по космосу, и от этого возникали над землей облака, а в небе рождались звезды. И чтобы земля жила теперь дальше, ее нужно продолжать создавать и вылепливать каждый день вместе с Богом и Софией-художницей. Но всего этого он не будет рассказывать людям, потому что они опять его не поймут и затеют свои скучные и нелепые разговоры о том, как оно все должно быть, и не понимают, глу-

ные, что живут они как кроты, а могли бы жить по-другому. Конечно, с некоторыми он готов говорить, но таких очень мало.

Вот с этой девочкой из Москвы, Арсенией, он уже немного говорил и еще поговорит, если будет время, а с другими он этого делать не хочет. Потому что люди видят то, во что верят. А верят они в то, что им говорят другие люди. И ни те ни другие не видят того, во что они не верят, но что есть самое радостное в мире. А раз они этого не видят, то жизнь их — мука и пытка. Но у них всегда есть возможность перестать верить в то, что им сказали другие глупые и слепые люди, и постараться научиться видеть самим. И тогда они увидят, что каждый из них создавал солнце, землю и звезды. И что каждый из них перетекает в другого, как река в реку, когда они встречаются, и тогда они обнимаются, сливаются вместе и радуются тихим счастьем воды и жизни. Лука как-то давно был в городе Горьком, где жили у него родственники, и подолгу разглядывал, как Ока впадала в Волгу. Надо же — там было такое место, где ничего не происходило, кроме того, что Ока впадала в Волгу. И можно было прийти туда и сегодня, и завтра, и на следующий день, а она все впадала.

Кутюрье Гунтар и жесты театра Но

Руслан подъехал прямо к дому Луки. Я его ждала, потому что он позвонил накануне и попросил разрешения. После того как я прочитала историю про девочку, которая ест водоросли — а я нашла ее на своем мобильном, когда проверяла почту, — я стала путать слова. Вернее, я поняла, что это не так важно, как что называется, если упущено основное. Я еще не знаю, что такое основное, но знаю, что оно упущено, и поэтому-то я, наверное, так упорно разыскиваю Шарманщика, иду, как говорится, по следу. А ведь никто не обещал мне, что я его найду. Это раз. И если даже это и случится, если это не чей-нибудь дурацкий розыгрыш, откуда я взяла, что Шарманщик как-то связан с самым главным? Вот еще, разбежалась, — ты его встретишь, а он развернет сверток с подарочной лентой, выложит перед тобой на стол нечто необыкновенное и добавит: вот это самое оно главное и есть.

А интересно, что бы такое он мог выложить на стол? Черепаху, наверное, или старую лакированную галошу, какую я однажды видела, кажется, в музее Чехова.

Нище не очень хороший писатель, и наверное, на роль девочки, которая сидит и ест водоросли, не подойдет, хотя он и приблизился к абсолютному отчаянию, а также был близорук — настоящая сова в синих очках. Я знаю, кто подойдет на ее роль, — я. Только сегодня мне это пришло в голову. И когда я соглашусь на эту роль, то стану звездой. Вернее, всеми звездами, которые есть на небе, но это ничего не значит, потому что я и так знаю, что они все и есть я, а если многие думают, что им это незнакомо, то они просто забыли свое детство. Я бы кормила черепаху звездами как яичным белком, а остатки мы бы складывали в галошу. Я, понятно, перепутала несколько слов, но от этого все равно ничего не изменилось. Вы думаете, люди понимают, что они говорят друг другу? Да ничего подобного. Вы только послушайте. Им вообще все равно, что говорит другой, если только речь не идет о деньгах или сексе. А если даже о деньгах и сексе, то им тем более все равно. Им важно высказаться, но при этом они не только другого не слышат, они и своих-то слов не понимают. Они, как собаки или женщины, понимают интонации и что другой обязан их услышать, даже если им и нечего ему сказать, а слов не понимают. Важно, чтобы было весело и хорошо. Остальное не так важно. Скоро мы все будем мычать или пускать пузыри, как рыбки в аквариуме.

Я сидела на переднем сиденье джипа и рассказывала все это Руслану, а он, как человек воспитанный, слушал. Он был немного расстроен, потому что, когда я садилась в «Лексус», Лука вышел на дорогу в своем милицейском обмундировании и картинно уставился на номер машины. Хорошо еще, что не вынул блокнот и не стал записывать. Потом он подошел к окну просунул в салон руку и сказал: Лука. Руслан тоже представился, а мой милиционер поинтересовался, куда мы собрались, и при этом физиономия у него была прямо-таки каменноугольная. Я просто чуть в истерику не впала от этой картинки. Ну да ладно, пережили. Ему бы покороче с моей мамой познакомиться, у них наверняка нашлось бы много общего.

Мы приехали в яхт-клуб. Над белым зданием надувался и опадал полосатый сачок, ловя ветер, а изнутри доносилась тихая музыка. Мы сели за столик, и Руслан угостил меня капучино, и я выпила большую чашку, потому что за окном стояли настоящие яхты с парусами, и мачты их покачивались вразнобой. Они так и переваливались словно лебеди, которые ковыляют по суше, но только, в отличие от лебедей в зоопарке, от них делалось радостно и хотелось подпрыгнуть. Но я, конечно, вида не подала. Села как самая воспитанная девочка на свете и стала пить свой кофе. Руслан спросил, хочу ли я покататься на яхте, потому что вчера ему показалось, что я расстроилась из-за того, что у яхты его друга не было парусов. В общем, я поняла и оценила его щедрость — взял да и положил к моим ногам яхту с парусами. И робко так ждет ответа. Интересно, это он меня охмуряет или действительно волнуется? Если он и вправду волнуется, как мне это показалось, я готова в него влюбиться, ей-богу. Хотя, конечно, это все не по-настоящему. Не влюблена же я в него из-за того, что он имеет возможность пригласить меня на яхту. Мало ли у кого какие возможности. Влюбляются не из-за возможностей, а из-за музыки. Либо у тебя играет музыка в сердце, когда ты видишь человека, либо нет. У меня музыка играла, но не от Руслана, хотя он, конечно, славный, а от всего вместе. И вот пока она себе там играла, через весь зал к нам направился человек в розовом костюме и бледно-розовой рубашке. Я прямо обалдела. Настоящий Грей Гэтсби в разгар своей романтической любви! Я уже сто лет не видела розовых мужских костюмов. Он был лет пятидесяти, белокурый, как датчанин, с негустыми, но длинными волосами и небольшим брюшком, но это его не портило. Он мне сразу понравился. Он поздоровался с Русланом и, слегка склонившись ко мне, представился: Гунтар. Я видела, что Руслан сейчас его отправит восвояси, и решила опередить события. И я спросила:

— Гунтар — это латвийское имя?

— Присаживайтесь, профессор, — нелепо пробормотал Супермен-Руслан. Было видно, что вежливость дается ему с некоторым трудом.

Гунтар сел и сказал:

— Латышское. Вы все правильно поняли.

— Еще бы, — сказал Индиана Джонс.

— Ну да, — сказал Гунтар, — еще бы.

Он мне нравился все больше.

— Профессор занимается костюмами, — сообщил Билли Бонс. — Он у нас кутюрье и театральный художник. Не пойму, как вам удается оставаться таким бледным?

— О, это очень просто, — тут же ответил Гунтар, и я только теперь заметила легкий акцент, а также почувствовала запах Agmani. — Я просто не снимаю на яхте бейсболку и рубашку. И еще очки.

— И видимо, пальто с капюшоном и вешалкой, — заключил Джеймс Бонд.

— Это если возвращаюсь в порт зимой и нетрезвым, — сказал Гунтар.

Он был очень вежлив, и с ним было легко.

— Барышня тоже не загорела. Почему? — И он уставился на меня в упор своими прозрачными серыми глазами.

Я открыла рот, но ответил Руслан:

— Барышня здесь всего два дня и живет наверху, в горах.

Я решила все-таки перехватить инициативу и спросила:

— Вы делаете театральные костюмы?

— Именно так.

— А для японского театра вы делали костюмы?

— Нет, — казалось, что это его даже расстроило. — Для японского не делал. Но знаете, — он оживился, — у меня есть друг, который делает японские костюмы. Хотите, познакомлю?

Руслан заказал коньяк и помалкивал.

— Я хотела спросить, это правда, что в японском театре веер может означать, например, меч, или кисть живописца, или кувшин с вином? В зависимости от того, как его держит актер?

Профессор сощурил глаза и улыбнулся:

— И даже тончайшие нюансы эмоций того персонажа, кто этот веер держит, и того, с кем он ведет диалог.

— Значит, зрители понимают, что чувствует герой, когда смотрят на веер?

— Конечно.

— Тогда, я думаю... — И я замолкла.

— Что вы думаете?

— Что тогда хорошо бы всем нам носить с собой по вееру. Потому что мне иногда кажется, что люди не понимают друг друга.

Значит, подумала я, я вовсе не путаю слова, просто мой веер все время поворачивается по-разному, и от этого то, что в этот момент находится передо мной или в моей памяти, все время меняет смысл. И мне важно уловить не последовательность смыслов, а тот ритм, который их связывает, потому что именно в нем сокрыто основное про не только нас с Шарманщиком, но и вообще — про всех нас. Потому что мы все время значим что-то новое, каждый час и даже каждую минуту, но ритм нас хранит и не дает новому новому в нас оторваться от старого нового в нас и, значит, нам самим — оторваться от самих себя.



И я вытащила воображаемый веер, полураскрыла его и накренила так, что все мы стали значить совсем другое.

Я стала плачущей девочкой по имени Хитомару, что пришла в дальнюю провинцию в поисках родного человека, отца, о котором кое-что слышала, но никогда его не видела. Профессор стал тем, кто поможет мне найти Шарманщика, а также пляжем, на котором я сидела и ела водоросли, а Руслан стал временем. Оно наступало и отступало как волны, никуда не устремляясь и ни в чем не нуждаясь. Мы говори-

ли друг с другом жестами, потому что я знала, что мне надо найти Кагэкиё, чтобы он рассказал нам про себя и меня, и еще потому, что время должно двигаться, и только от нас зависело, как мы поддерживаем его ход и все остальные вещи мира, в котором колышутся яхты, чокаются коньяком, ходят на свидания, рожают и умирают, прячутся и открываются, совокупаются и расстаются, плачут и празднуют. Потому что если мы всего этого не сделаем, не сыграем и не перерасскажем правильно каждый свою историю, объединив их в новую, общую для всех и для всех — одну, то время получит увечье и перестанет пульсировать так, как надо, а вещи не будут правильно распределяться и называться. И тогда мир даст крен, сойдет со своей оси, соскочит с катушек и уйдет в сторону от пути или подставит людям свои глаза смерти, как та девочка в горах, о которой рассказывал Лука. Поэтому мы, актеры, должны быть предельно искренни и одновременно виртуозно профессиональны. И вот я смотрю сквозь прорези слепой маски и создаю свой мир вместе с Софией-художницей, радуясь и играя...

... снова и снова осуществляя истину небытия, которая сопряжена с условными формами, с символикой театра Но. Один и тот же предмет на сцене этого театра означает самые различные явления и движения души. Веер в руках актера олицетворяет кисть, меч, чашу для вина, а также дождь, осенние листья, ураган или реку, восходящее солнце, гнев, ярость, умиротворенность. Предмет в пространстве действия многогранен и зависит от чередующихся моментов, в каждом из которых проявляется дао, и сам по себе он несущественен, но с его помощью из небытия извлекается истина. Неудивительно, что при ощущении всеобщей взаимосвязанности вещей театр Но, как и другие виды искусства, предназначен поддерживать порядок в мире и выполнять мироустроительную функцию. Ибо цель Но — смягчать сердца людей, действовать на чувства высших и низших, стать основой долголетия и счастья, стать путем прекрасной и долгой жизни.

Хитомару

Она сидела на пляже и ела водоросли. Она была голая. Водоросли были мохнатые и коричневые. Они пахли йодом. Я хочу, чтобы ты услышала то, что я собираюсь тебе рассказать, потому что это очень важно для нас обоих. Поэтому я начну сначала. Я уже сказал, что она сидела на пляже и ела водоросли. В этом сообщении заключена такая поразительная глубина, что если бы ты смогла проникнуть в его изначальный смысл, то все, что ты когда-либо желала в жизни самым неистовым образом, исполнилось бы в тот же



миг. Если бы ты смогла на секунду выбраться из всех своих мыслей и воспоминаний сегодняшнего дня, которые развеваются у тебя в голове как марлевая занавеска в открытой форточке, отрешиться от всех своих произвольных ассоциаций и контекстов, которые, несомненно, вызвали у тебя слова пляж, форточка, сидела, а также сам простой синтаксис этой фразы, то, несомненно, ты бы услышала весть, которой не было равных. Если бы ты только смогла услышать то, о чем я тебе говорю, история наших поисков закончилась бы тотчас же. Потому что вместе с ее смыслом в тебя вошло бы знание всего на свете. Ты бы увидела, что знаешь, отчетливо движутся планеты, почему стрекочет в траве кузнечик, почему реки не переполняются, а муж уходит от богатой красавицы к совсем незаметной женщине. Ты узнала бы, как из ничего, словно зародыш из чистого влечения сердца,

завязывается чувство и разбегается потоками по будущей судьбе, опережая ее и предворяя, словно альпинист, закидывающий веревку с якорем наверх для того, чтобы потом подтягиваться туда, где впились в скалу якорь. Ты бы услышала, как говорят в небе звезды и текут под землей ручьи. А также ты бы узнала тайну смерти Мэрилин Монро и президента Кеннеди и поразились бы, что этого никто не видит, потому что отгадка на поверхности. Ты бы увидела, как течет горячий душ по внутренним сторонам бедер знаменитой телезвезды, и от этого в горах над Катманду поворачивается камешек величиной с ноготь. Поэтому давай еще раз.

Она сидела на пляже и ела водоросли. А поскольку ты так и не можешь услышать мое сообщение из-за того, что слышишь только свои собственные связанные с этой фразой мысли, я уточню. То, на чем она сидела, можно назвать пляжем, и в моем сообщении мы будем именовать это место пляжем, потому что не важно, на чем именно она сидела, а важно, как мы с тобой это будем называть. То, что она ела, возможно, посторонний наблюдатель назвал бы каким-то другим словом, но я говорю — это водоросли. И впредь я постараюсь в основном называть это именно словом водоросли.

Она пришла сюда после долгого путешествия, предпринятого ею с целью разыскать отца, которого до этого она не видела ни разу в жизни, а если и видела, то они оба забыли об этом. Этот человек, которого она в конце концов разыскала после множества неудачных попыток, мог и не быть ее родным отцом, однако мое сообщение построено так, что в нем мы назовем этого человека отцом, а то, что здесь рассказывается, — моим сообщением. Хотя ты, конечно, уже догадалась, куда я клоню. И ты права. Мое сообщение — это только именование, которое я применяю здесь к рассказу, который можно было бы определить и назвать не моим сообщением, а например, новеллой, пьесой или, скажем, большой рыжей кошкой. Точно так же его можно было бы назвать веером с драконом, который я сейчас держу в руках сложенным, в то время как нога моя, поднятая над сценой, стремительно опускается к ее плоскости, чтобы звонко ударить в нее.

Девушку звали Хитомару.

Возможно другие называли ее как-то по-иному, но для нас с тобой это Хитомару. Итак, она сидела на пляже и ела

водоросли. Хотя, конечно, можно было бы и представить при помощи других имен и названий дело так, что она — Мери, Вика, Тамара, Электра или Сюзи — сидела в баре на набережной и пила мартини со льдом из запотевшего бокала. Пойми, я не собираюсь встраивать классическую историю из мифологического прошлого в современный сюжет, как это делалось прогрессивным обществом литераторов в течение всего XX века, потому что для меня вполне возможно именовать этот век татуировкой или барашком, а общество литераторов — очками на бильярдном сукне. Я просто рассказываю тебе историю так, чтобы ты не слишком доверяла словам, а больше бы обращала внимание на тот источ-



ник, из которого они исходят. Потому что смысл всех слов и их назначение заключается не в том, чтобы рассказать тебе сто первую историю, а лишь в том, чтобы ты, все более и более убеждаясь в их взаимозаменяемости, открыла бы свою собственную, родную, внутреннюю. Ту, в которой все слова и все буквы на месте, и поэтому они больше не различаются между собой, но сливаются как расплавленный парафин или лучи пропадающего за край горизонта солнца, даже если буква алеф и не совсем явлена.

Сюзи сидела в баре на набережной и пила мартини со льдом. Над баром раскинула густую изумрудную крону акация, и на асфальте шевелилась тень листьев и пятна солнца. По ним прошел голубь, на ходу переодеваясь из ярко-го-

лубого в темно-серое, выцветшее, и обратно. Она слушала музыку — какую? — да вот, например, «Снайперов» или рэп, пусть будут «Снайперы», хотя, конечно, то, что она слушала, можно было назвать и керосинкой, на которой жарится котлета с подгоревшей корочкой, и еще как-нибудь. Она вспоминала о проделанном путешествии в поисках отца. Жалела ли она, что отправилась в него? Нет, наверное. Да нет, конечно же, она ни о чем не жалела, кроме разве что того, что не задержалась там, у развалившейся хижины, немного подольше. Хот, это была бы тогда совсем другая история. А в этой она не будет рассказывать никому и даже себе самой, о чем она думала, потому что это просто было. Она предупредила служанку, они собрались, уложили все, что им могло бы пригодиться в путешествие в два узелка — один для служанки, другой для нее, и отправились. Что она знала об отце? То, что он был генералом и участвовал в важных сражениях. Причем он не только отправлял солдат в бой приказом, но бросался в схватку сам.

Однажды, когда их корабль подошел совсем близко к берегу острова Хонсю, на котором расположился противник, генерал задумался. Он увидел будущее. Оно было совсем близким, и может быть, поэтому он увидел его особенно ясно. В нем солдаты, вооруженные автоматами и мечами, прыгали с борта катера на берег и, пробежав полсотни метров, намертво схлестывались с теми, кто ждал их на берегу. Он увидел, как люди кричали от страха и восторга, вцепляясь друг в дружку, как они разбивали головы ударом палицы и жидкая мозговая жидкость брызгала на их одежды, как летели стрелы и пули, чтобы впиться в глаз врагу, и как они катались по земле и воили. Ему стало жалко, что погибнет столько храбрых воинов, а на результате сражения это, скорее всего, может никак не сказаться.

И тогда он сказал: я сражусь с их генералом по имени Ёсицунаэ один на один. Он храбрый воин. Мы учились в одном училище, а потом и в академии, и я смогу уговорить его выйти на поединок. Генерал спрыгнул с судна на берег и побежал к солдатам передового отряда. Для них его бросок был неожиданностью — рейд безумного одиночки, плохо вооруженного и в сущности нелепого. Они поджидали его, раскорячившись и поигрывая пальцами на дере-

вянных мечах с запекшейся кровью. И тогда он крикнул.

Мы не знаем, что он вложил в этот крик, и врид ли когда-нибудь узнаем. Может, это был звук рассыхающейся доски в днище лодки, может, мяуканье издыхающей кошки, всхлип мужского члена внутри женского лона, дребезжание



ключей на приборной доске, а может быть, и нечаянно найденное слово смерти. Скорее всего, это было именно оно, потому что все вышперечисленное как раз его и составляет. И даже если бы мы прибавили наугад к нашему короткому речистру еще дюжину самых неожиданных сравнений, это все равно было бы то же самое слово смерти, потому что слово жизни еще не найдено. Во всяком случае, теми, кто участвовал в сражении при Хонсю, — ни одним из присутствующих там оно найдено не было.

Он крикнул, и они побежали. Последнего он нагнал и схватил за шлем. Воин рванулся, но ремешок, застегнутый под подбородком, не пускал. Он рванулся еще раз так, что затрещали позвонки, и он едва не вывихнул шею, изо рта потекла зеленая кровь, а ремешок из буйволовой кожи наконец лопнул. Освободившись, десантник отбежал на десяток метров и оглянулся. Генерал стоял с его каской в руках, и на ней затвердевали розовые сосульки. Правый висок его на миг стал прозрачен, и оттуда выпала и стала раскачиваться на веревке удушенная крыса.

— Ну и силен ты, сука! — сказал отбежавший, сплюнул зеленую и ухмыльнулся. — Ну ты бык! Бычара...

А крик генерала вместе со словом смерти пронесся вокруг

земли, обогнул ее и вошел генералу в спину как золотая пуля. Глаза его выкатились и за ушами простушили жабры. Битва была выиграна.

Сюзи он зачал с какой-то девицей, которую видел в первый и в последний раз в жизни. Они познакомились в уличном кафе, потом поехали к ней домой. Девица через девять месяцев родила прехорошенькую девочку и назвала ее Хитомару. Хотя, конечно, мы могли бы именовать ее Ифигенией, Антигоной или Сюзи, но это, в конце концов, ничего не изменило бы. Потому что нам с вами все равно просто нечего менять, кроме имен.

Итак...

Итак, она сидела на пляже и ела водоросли. И она была голая. Время от времени к ней подходил человек с тоненькой кисточкой и баночкой красной туши. Став сзади, он обмакивал в тушь кисточку и записывал на коже спины очень мелким почерком все, что было написано до этой главы. Начиная с маленького отрывка про порнографию. На человеке были пристегнуты и закреплены на ремнях перепончатые крылья, которые он надевал в редких случаях, обычно тогда, когда собственных сил ему казалось недостаточно, и он рассчитывал на помощь неба и всех тех, больших и малых, кто там обитает. Вся эта история записана именно так — на коже голой девушки, которая сидит на пляже и ест водорос-



ли. Через какое-то время, равное примерно отрезку времени, необходимому для того, чтобы все тело девушки было покрыто красными буквами и иероглифами, примерно через две-три недели буквы начинали делаться бледнее,

потому что под силой своей тяжести и смысла они тонули в коже девушки, как деревья и щепки в магме, текущей по склону вулкана. После этого они смешивались с ее телом так, что их уже было не различить. И на очистившейся поверхности можно было писать следующие части рассказа.

Художник понимал, что должен записать эту историю не для того, чтобы кто-то ее прочел, но чтобы мир продолжался. Потому что, если его не перерассказывать заново, то наступает миг, когда всем делается невыносимо. Но если все время рассказывать свою историю и делать это искренно, то рано или поздно он сможет найти утраченную букву алеф, и тогда на земле настанет Золотой век. То есть алеф, конечно же, на первый взгляд, никуда не исчезал, его можно увидеть в Библии, в книжке и даже на Иерусалимском вокзале. Его можно увидеть и произнести вслух. Но дело в том, что земная душа алефа давным-давно исчезла, а значит, осталась одна видимость. Это все равно что привидение, которое пытается изобразить человека, находящегося в другом счастливом месте, и изобразить не может. Потому что оно не человек и не его личность, а только частичная память о человеке, словно пиджак, что каким-то образом — протертостями и заплатами — хранит память о прошедшей жизни души, но сам ничего не может. Потому что, когда языки смешались и по Башне, доставшей до неба, побежали облака, истинный алеф был утрачен, а остался только его пиджак, с которым люди и имели дело дальше, воображая, что их азбука по-прежнему цела. А на самом деле это было не так. И поэтому люди пишущие интуитивно знают, что их рассказ может привести к обретению алефа истинного, и тогда все будет по-новому — и день за окном, и вес дерева с его огнем, и смысл речи.

Пишущий по спине девушки никого не хочет ввести в заблуждение, он даже не сознает, что он делает, — то ли записывает историю, то ли пестует или создает заново девушку. Он пишет так, как его научили интуиция и судьба. И он готов повторить, что, сколько бы ни менять имена, все равно есть основное имя, из которого и струится, как питьевой фонтанчик, та действительность, которую, переименовывай не переименовывай, — она только рассмеется и рассыплется своими золотыми и счастливыми струями дальше. Но для

того, чтобы имена сошлись, надо, чтобы все люди друг друга понимали вне зависимости от того, как каждый из них на сегодняшний день называет ту или иную вещь. Надо, чтобы они вдруг начали друг друга понимать без всякой видимой причины, а просто потому, что время пришло. До того как это случится, мы просто комбинируем имена и играем оболочками саранчи, накрытыми тенью Башни, — не больше. Но и не меньше.

Иногда он думал, сколько букв может выдержать человеческая душа и тело, и решил, что много, если они еще не нашли первый алеф, а если нашли, то они уже не смогут тонуть в коже девушки и проникать в ее тело, потому что она станет другой. Какой, он сам не знал, но верил, что успеет понять, прежде чем сам преобразится.

Но то, что здесь названо художником, пишущим свою историю на коже девушки, может быть, конечно же, названо и по-другому. Не зря же одно слово (Нарцисс, например) означает и юношу, и цветок, давая понять, подобно всем остальным метаморфозам людей и животных, виртуозно описанным Овидием, что одно это единственное слово может означать даже большее количество предметов, которые, естественно, называются другими словами, — не Нарцисс, например, а юноша, цветок, красавец, растение, возлюбленный и т. д. А также — ветер, пишущая машинка, ментик, плавник, бедро, Атлантида. И это можно продолжать до бесконечности, и знаете почему? Потому что на самом деле все слова на свете — синонимы. Поэтому мы при ином повороте веера назовем человека, пишущего на спине девушки нашу общую историю, бризом, который ласкается к высокой шее, обрамленной вьющимися кудрями, холодит спину и обвивает торс как ласковый любовник, несмотря на то что художник с кисточкой и тушечницей мог и не быть ласковым любовником. Но называть его так, вероятно, называли, и не раз, и поэтому все равно мы ничего не добьемся, меняя и уточняя оттенки и даже слова, пока не увидим главное, что придает этим изменениям смысл. А пока мы главного не увидим, пока не найдем алеф, то ли совокупаюсь с девушкой и бумагой, то ли избегаю и той и другой, не все ли равно, как она будет называться. Пусть она называется так, как это чувствует веер. Ведь говорят

же опытные кукловоды, что спектакль начинается не тогда, когда они выводят кукол на сцену, а тогда, когда кукла начинает вести кукловода за собой, подавая ему сигналы, что делать дальше и в какой последовательности, потому что кукла в какой-то мере тоньше и правдивее связана с жизнью, чем потерявший себя и первую Букву человек.



Поэтому подключение к кукле значит обретение человека. А подключение к всему — обретение повествования красными чернилами. И то и другое осуществляет до поры до времени прерванную связь со звездным небом, в котором бегут трамвай и цветут вербы, — до тех самых пор, пока все не изменится.

Хитомару со служанкой разыскали отца в хижине-развалюхе. Он был слеп и жил милостыней. Он слышал, прячась там, внутри, их голоса и разговор, и понял, что одна из девушек — его дочь, но, стыдясь нищеты и убожества, в которые впал, постеснялся обнаружить себя. Он предпочел лучше остаться неузнанным, чем предстать перед дочерью, неведомой, прекрасной и оставленной в далеком прошлом, — в таком унижающем его достоинство воина и героя виде. Впрочем, была ли дочь на самом деле прекрасна, мы сказать с уверенностью не можем, потому что об этом можно говорить, не боясь ошибиться, рассматривая, скажем, ветку цветущего персика, а не дочь слепого старика. И все же, когда он иногда думал о ней, он почему-то представлял ее прекрасной. И все это время, пока он смотрел сейчас на нее слепыми глазами, он видел ветку цветущего персика и выпотрошенную камбалу, наверное, потому, что глаза камбалы выглядят нелепо, полны тоски, сна и ярости

и смотрят в небо. И два запаха — рыбы и цветка — стояли у него в ноздрях, по одному в каждой.

Дочь увидела отца, но что она могла ему сказать! А он требовал, чтобы она уходила. Каждая секунда жгла его плешивое темя как раскаленное железо. «Я уйду, — сказала она. — Я увидела тебя, и я рада. Может быть, даже счастлива. Но расскажи мне что-нибудь о себе, чтобы я могла иногда вспоминая тебя, снова оживлять этот рассказ и тебя вместе с ним в своей памяти».

И тогда слепой старец встал на трясущиеся ноги, и в его руках неожиданно сверкнул меч, а морщинистая кожа скаталась и отшелушилась для того, чтобы из-под нее блеснул смуглый загар непобедимого воина. Он топнул ногой в землю, и земля содрогнулась. И он начал свой триумфальный танец. Вот он снова спрыгивает с борта корабля и бежит к врагам. Вот они убегают от него, пораженные его видом и словом смерти, которое он прокричал на бегу, а того, что осмелился остаться, он повергает с размаха на землю, схватив за шлем.

Он танцевал свой танец, и вокруг него нарастала как коралпкая аура истории. Она была похожа на большую светящуюся лампу из папиросной бумаги, внутри которой метался, вскрикивал и неистовствовал охваченный пламенем отваги и танца самурай и воин Хагекие. А все, что он видел теперь, была живая пустота, у которой не было имени, а вернее, теперь не что иное, но сам он, находясь внутри этой пустоты танца, похожей на огромную папиросную лампу, обозначал это произносимое имя. Он знал, что сейчас вот-вот произнесет его, и тогда горечь и стыд растают до конца, растворятся в неведомой ему, но существующей прямо здесь правде, и все всё поймут, и тогда он сможет уйти с почетом туда, где цветут вишни и синееет гребень горы. И поэтому он старался не смотреть на то, что налипало на вязкую поверхность ауры, на внешнюю сторону его рассказа о жизни: на перья и комья грязи, на пруд с лягушками, испоротое брюхо воина с копошащимися там червями, раковину, обломки корабля, размазанное лицо дешевой гейши, мужской отрубленный заживо фаллос, дорогу меж холмами, блюдо с прокипшим рисом, распяленные ноги с выходящим красным плодом и хвост русалки.

Но слово не выговаривалось. Не хватало жеста, мелочи, буквы. Он стоял перед двумя девушками обессиленный, вспотевший, на трясущихся ногах, потеряв ориентацию в пространстве, и язык его онемел, и тогда он откусил его и выплюнул на землю. Поэтому, когда они ушли и их голоса, похожие на серебряные колокольчики, умолкли вдали, он еще долго лежал в своей бамбуковой хижине на тонкой циновке и не мог унять трясущиеся колени. Хорошо, что он не видел лица дочери. Но сейчас он не мог понять, кто к кому приходил — она к нему или он к ней, а может быть, все было совсем не так. Может быть, это они вместе пришли в рощу, где пели соловьи, и теперь его зовут не Кагекие и не Кото из Хюга, как его кличут здесь, а по-другому. А может быть, это приходила его мать, и не к нему, а к его отцу для того, чтобы его, Кагекие, больше не стало и тогда она смогла бы сказать: давай начнем все сначала, и пусть у нас будет сын по имени Кагекие. Теперь надо было просто лечь и поджать колени к животу, ощущая пустоту там, откуда давным-давно вышла мизерная его часть, превратившаяся в девушку, ту, что приходила к нему сегодня. Согнуться пополам, зажимая срамное место, откуда рвется на свет ангел с черными крыльями, и это становится похоже на роды, потому что он выходил оттуда весь целиком и в полном вооружении и, господи, когда же это кончится! И тогда он закричал, и заплакал, и заворковал, лежа плоско, как створка раковины с вынутым из нее моллюском, полая, перламутровая, пахнущая морем и водорослями и неподвижная.

Розовый пингвин

— Эту постановку я смотрел три года назад, — сказал Гунтар. Он закурил сигару и выпустил почти невидимый голубой дым: — Спектакль привезли японцы, и я его посмотрел. Я его посмотрел, да. Из всей Москвы его посмотрели человек двести, а до конца и того меньше — половина ушли во время представления.

Я поняла, на кого был похож Гунтар. Не на Гэтсби, конечно, а на большого розового пингвина. Я никогда не видела живых пингвинов, но, наверное, он был очень похож на

пингвина. Наверное, если бы маэстро как-нибудь оказался бы в пингвиной стае, они бы все приняли его за своего, несмотря на то, что он розовый, а они черно-белые, и подходили бы к нему и тыкались в него клювами в знак признания и душевного расположения.

— Только не пересказывай спектакль, — попросил Руслан. — Нас яхта ждет.

— Я не буду его пересказывать. Я его посмотрел, зачем же его пересказывать. Так вот, мне тоже захотелось уйти, потому что на сцене ничего не происходило. Сидел этот самый старик...

— Кагекиё... — подсказала я.

— Вот-вот... Этот самый старик в шалаше, а рядом стояли две женские неподвижные фигуры. Один-два жеста за десять минут, потом еще один-два. И все время то ли речитатив, то ли пение, причем на марсианском языке и в лунной тональности. Рядом со мной сидела парочка, и он ей, пока не начался спектакль, объяснял, что «Феррари» бестолковая машина, потому что служит в среднем всего три года, а потом ремонт и что, блин, детали, блин, стоят дороже самого автомобиля, блин. Короче, не езда, а сплошной писец, и что это они так развлекаются от нехуя делать, потому что деньги девать некуда. Так вот, когда спектакль начался, они минут десять пытались сконцентрировать свои ясные глаза на сцене, но им это так и не удалось, потом он ей что-то шепнул, она хихикнула, и они стали пробираться к выходу. Через двадцать минут зал опустел. Остались отдельные любители непонятно чего вроде меня. Не знаю, почему я не ушел, наверное, потому что эстет все же.

— Потому что ты мазохист, — сказал Руслан.

— Я сидел и пытался понять, что же происходит на сцене. Не знаю, зачем мне это было нужно, мог бы и уйти. Сначала было тяжело, все куда-то ноги бежали. А потом я вдруг понял, что мне напоминает сцена, — икону с неподвижными фигурами. Есть такие старые византийские иконы с Богородицей и с ангелом — в Третьяковке есть одна. Время там то ли остановилось, то ли вообще ушло, а они стоят без движения, и ничего не происходит, и тут неожиданно не они — а твоя душа начинает двигаться. Сначала тяжело, а потом легче и легче. То есть икона разворачивает твои глаза внутрь

тебя самого. И это надо вытерпеть. И так работает любая святыня — она разворачивает твои глаза внутрь тебя самого, и ты слышишь музыку там, в самой твоей глубине, где тебя прежнего, считай, что уже и нет. А потом уже ничего не остается — только эта музыка.

— Что за музыка?

— Тишина сердца. Словно весь мир наконец перестал гадить, отдуваться и мельтешить, выбрался из коллективной помойки, стал одним медвежонком с золотыми глазами и повис у тебя внутри, ни на что не опираясь. Только, конечно, это не медвежонок, а музыка.

— Э-э-э...Давай еще про медвежонка расскажи.

— И я тогда понял, что на сцене — святыня. Отношения не просто друг с другом, а каждый из актеров окутан облаком святыни, как бы в ее невидимую вату завернут. Вот облако то с облаком и соприкасается. Да так нежно и осторожно, что лишний жест может их спугнуть, поэтому жестов так мало. В не то актер завернут, чем мы тут в основном заняты — беготней, автомобилями, девками, мальчиками, — а в другое, где все это не имеет никакого значения. И в то же самое вещество завернута наша жизнь — лучшее, что в ней было. Она из него и состоит, из этого вещества. Самое лучшее в ней из него и состоит.

Я потом прочитал три рецензии про эту постановку. Две дурочки, не сговариваясь, написали, что это отстой и непонятно на что смотреть. Что это все устарело — ни развития, ни действия, ни характеров, не то что в современном европейском театре. Красивые костюмы. Они сошлись на том, что на сцене были красивые костюмы, ни больше ни меньше. А третья рецензия была другой. Автор написал, что это сакральный спектакль, и рассказал, какие в нем таятся сокровища. И я тогда подумал — вот три человека. Они смотрели на один и тот же предмет. И двое ничего не увидели, кроме костюмов. А третий — увидел, подслушал и поразился. Увидел не скуку и не костюмы, а волшебные переливы волн над глубиной океана, самую суть бытия. Руслан, заканчиваю. Так вот, если мы так и на жизнь смотрим — на деревья, друг на друга, на звезды, как эти две журналистки, то большинство не видит ничего, кроме костюмов, потому что не поняли, что перед ними — святое. Вообще не поня-

ли, куда попали и кто их пригласил. Они как та парочка — переглядываются, хихикают и идут в бар пить свое пиво и выяснять под дебильную музыку над головой про кто кому что должен. Они так и не врубились, где они были. Святыня это же — просто. Это, это... Убери ее из жизни, и останетесь только обсуждать костюмы... да сериалы, да Рассо с Агтапи, нет?.. И если не понять, что жизнь — святыня, и дерево, и птицы, и кусты, и улицы, и любой человек, и даже асфальт с плевком, то ничего не поймешь вокруг и ничего не увидишь, и тогда зря сюда пришел, ах ты, хороший кофе все же, у вас замечательная яхта, трехместная, и я бы с вами, конечно, прошелся, но, наверное, не буду мешать, отчего же, ты не мешаешь, сказал Руслан, пойдём ещё поговорим про медвежат, я однажды охотился на медведей, чуть тогда не замерз, далеко пришлось на лыжах идти, а, правда, давайте втроем сделаем круг почета, ветер как раз подходящий, а я думала, ну почему всегда так, почему одно наезжает на другое и вот только-только я почувствовала, что сейчас что-то начинает происходить стоящее, что-то невообразимо удивительное, как сразу же оно отодвинулось, оставь, я заплачу, у меня тут кредит, а что ты думаешь, ты один такой умный, ну ладно, я в следующий раз, а все-таки он похож на пингвина, а я как раз вспомнила, что розовыми бывают не пингины, а пеликаны, а пингинов розовых не бывает, в жизни много чего не бывает, пока не скажешь — это есть, и тогда оно начинает быть, как будто было все время до этого, но для того, чтоб такое произошло, надо набраться духа и сказать про розовых пингинов и про театр Но, разве ты не видела, что ему трудно было говорить, он вообще человек легкий, а тут пришлось строить эти тяжеловесные высокопарные фразы, и он даже вспотел, какое синее небо, и мне всегда нравился звук флага, который треплется в ветре, потому что от этого весело и празднично на сердце, а звук залихватский и аккуратный, вот бы поставить здесь скамейку, я бы на ней и жила, а розовый пингвин приходил сюда с бутербродами и рассказывал бы истории про театр Но, но что за черт, я плачу что ли, совсем с ума сошла с этим курортом, совсем снятила, черт, как неудобно перед людьми, что с тобой, тебе плохо, да нет, просто не выспалась, наверное, мне надо остаться одной, я ничего не понимаю, я только знаю,

что мне надо остаться одной, мне надо остаться одной, одной, ты куда, да погоди же, постой, что случилось, Гунтар, да притормози же ее, давай-давай за ней, по лестнице, непонятно, кто ее напугал, а может, просто нездорова, девчонки, они, знаешь ли, знаю, давай за ней, а мне просто очень захотелось либо заплакать, либо зажечь на себе одежду, но если сесть вот на эту маршрутку, то я доберусь хоть куда-то, где я буду одна, потому что я не знаю, что со мной происходит, совсем не знаю, да что же это я реву-то без остановки как дура, но что-то же происходит, и Гунтар сказал — уехала, сказал — слушай, у меня тут машина, ну так давай заводи, едем за ней, тут дорога одна, свернуть некуда, ах ты, вот еще чудеса, что ты ей наговорил, а?

Вокзал с башней

Я вышла из маршрутки у железнодорожного вокзала. Мне было нехорошо — перед глазами крутились черные шестеренки и немного знобило. Плакать я перестала, и от этого стало легче. Я купила в кассе билет на электричку, не помню до какой станции, кажется, до Туапсе, и пошла вверх по полукруглому крылу лестницы к путям. Наверху пахло перегретыми на солнце шпалами, на лавочках сидел народ, ожидая поезда, а из кафе неслась какая-то бойкая музыка. Я подошла к краю платформы и стала там балансировать — с носка на пятку и снова с пятки на носок. Между рельсами прыгала черная птичка и что-то клевала. Я стояла на платформе и смотрела на эту глупую птичку и думала, что, наверное, она где-то тут живет и каждый день сюда прилетает, на эти рельсы... Что я сейчас сяду в поезд и уеду, а она тут останется. И дело не в том, что она тут останется, а в том, что я ее больше никогда не увижу и не узнаю. А она будет тут день за днем прыгать между рельсами, пока нет поезда, клевать какие-то глупые, никому не видимые крошки, а меня здесь уже никогда не будет, и этого дня с птичкой тоже не будет, а будет другой, тоже пахнущий горелым коксом и мазутом, жаркий, солнечный, с худосочным кипарисом в конце платформы, выставившим напоказ выгоревший желтый бок, и с белой вокзальной башней. Так я стояла и смотрела

на птичку и все ждала, что она улетит, а она не улетала.

— Упадешь!

Я обернулась. На скамейке сидели какие-то ребята с цветными сумками в ногах и пили вино прямо из бутылки. Один из них поднял руку с бутылкой и улыбнулся — это он так меня приветствовал. Я отвернулась и снова стала рассматривать шпалы. Тут мимо проехал тяжелый, пышущий жаром тепловоз, меня обдало волной перегретого воздуха и гулким, колышущим землю и платформу шумом, а когда он прошел, птички уже не было. Но через минуту она вернулась и села там же, где и раньше, крутя по сторонам черной головкой. Крутила она ей осторожно, как человек, у которого недавно была повреждена шея. Потом она неожиданно то ли присвистнула, то ли чирикнула. Такого выражения чувств я от нее не ожидала.

Я обрадовалась, что она вернулась, потому что, пока я на нее смотрела, я чувствовала себя лучше, а как только потеряла из виду, мне становилось жалко себя и хотелось плакать. Досадно, что такую птичку нельзя взять с собой, чтобы в случае чего можно было бы просто на нее посмотреть, как она там прыгает себе, занятая по уши своей важной жизнью, и склевывает что-то у себя под ногами. Их, наверное, здесь миллион таких птичек. Их, наверное, полным-полно



по всему побережью. Странно, что я раньше не обращала на них внимания и даже не знаю, как они называются. Дрозды, что ли?

Я полезла в сумку и поискала остатки печенья, чтобы ей кинуть, но там ничего не было, и тут подошла электричка на Туапсе и из нее вывалилась толпа народу — разгоряченные, потные, в мятых рубашках и футболках, словно их там всю дорогу жевали. Пассажиров в сторону Туапсе было немного. Мы стояли и ждали, когда толпа пройдет. Наконец платфор-

ма очистилась, и тогда в вагон напротив меня зашел железнодорожник в кепке с черным металлическим козырьком и через минуту вышел обратно, ведя впереди себя парочку молодых людей. Оба были в отключке. Они то ли накурились, то ли напились, а может, и то и другое, только явно не понимали, кто они такие, где находятся и куда их ведут. Помоему, они даже глаз не раскрыли, а просто шли покорно, как овцы, перед этим железнодорожником с козырьком. Он вывел их на платформу и ушел, не сказав ни слова.

Они стояли на платформе, качаясь, прислонившись друг к дружке, с закрытыми глазами, полубобнявшись, и у девушки время от времени подворачивалась в лодыжке ступня, и каждый раз она ее старательно выпрямляла. Она была в коротких брюках, бежевых носках, стильных ботинках и в короткой голубой курточке с красными рукавами. Волосы, густые, завитые, черные, открывали неожиданный светлый просвет на темени, почти проплешину, из тех, какие появляются у онкологических больных после курса химиотерапии, и в этом было что-то неприятное и жалкое. Она была очень красивая, стройная, тоненькая.

Они стояли с закрытыми глазами, положив свои головы на плечи друг другу, и медленно покачивались, не понимая, ни где они, ни на кого опираются. А может, и понимали. Наверное, понимали — теплое и знакомое чувствовали, вот и опирались друг на дружку. Потом его рука как-то отрешенно поползла со спины на ее ягодицу, заученно прошла сквозь ремешок на заднем кармане и замерла. Они стояли, чуть покачиваясь, ловя равновесие и перекрестившись головами, как те две женщины-лошадки у Бергмана в «Персоне». Только те двое были с открытыми глазами, а эти с закрытыми. И у нее все время подворачивалась ступня в лодыжке, и она все так же старательно и медленно ее выпрямляла и ставила на место, не открывая глаз.

Когда поезд тронулся, они там все еще стояли. И только тогда я сообразила, что, наверное, надо было подойти к ним и как-то помочь. Ну может, позвонить их друзьям или родственникам или еще что-нибудь такое, но идея пришла в голову слишком поздно, потому что, когда сталкиваешься с такими ситуациями, просто не знаешь, что делать, потому что сам словно спишь. Просто смотришь на них, как на

что-то обыкновенное, и идешь дальше, а оказывается, что обыкновенного-то ничего и не было, а было то, что эти два марсианина стояли там беззащитные и нелепые и им явно нужна была помощь, а тебе это даже в голову не пришло, и ты входишь в поезд и едешь дальше и не предполагаешь, что теперь будешь их, может быть, всю жизнь вспоминать, словно они тебе хотели сказать что-то важное о тебе самой и не сказали. Со мной такое уже бывало. И тут я совсем расстроилась.

Я прижалась лбом к стеклу и смотрела на пляжи. Окошки были открыты, и по вагону гулял влажный ветер. На мне были шорты, и сквозняк приятно охлаждал ноги. Я понимала, что в моей жизни начались изменения. Я смотрела на пляжи. Я и раньше знала, что началось что-то новое, но теперь я ощутила это всей кожей. Это, конечно же, было связано с поисками Шарманщика и с теми его письмами, которые я получала. Если раньше вся моя жизнь была моей, то теперь она разделилась на несколько частей, и многие из них уже моими не были. Наверное, я от этого и плакала. Наверное, когда привычная жизнь разделяется на несколько частей, можно и заплакать и убежать на вокзал, ни с кем не простившись, потому что на время ты сама не знаешь, кто ты такая, и от этого трудно себя контролировать.

«Лоо», — сказал через треск и шорохи голос машиниста в динамике, и поезд затормозил. На платформе за окном стояла тетка в темном ситцевом платье в горошек и торговала вареной кукурузой из ведра, затянутого марлей, а позади нее было синее, очень синее море. Потом поезд дернулся, и мы поехали дальше, и я почувствовала, что наконец-то начала дышать всей грудью. Конечно, некрасиво вышло, что я разревелась и убежала, но я по-другому не могла. Ладно, позвоно и извинись. Но когда я достала телефон, я обнаружила на нем эсэмэску с предложением зайти на свою электронную почту. А там меня дожидалось письмо от Шарманщика.

Девушка под луной

Вот что в нем было. «Сейчас я ловлю тот момент, когда память начинает меня покидать. Можно сказать, что я его

осознаю, но, скорее всего, через несколько дней, а то и часов на смену осознанию придет забвение. Сейчас оно то накатывает на меня, то исчезает, и я фиксирую эти периоды лишь потому, что сам запустил программу и до какой-то степени ожидал симптомов, то есть был начеку. Я не знал, в какой именно миг начнется процесс амнезии, но ни мало не сомневался в том, что вот-вот придет некий ангел и хлопнет в ладоши, после чего прежняя память исчезнет и на смену ей придет новая. Может быть, я даже предполагал увидеть огромное и светлое как простыня существо с крыльями, вполне жизнерадостно хлопающее в ладоши, после чего все пойдет по-другому, а прежние воспоминания о тебе и о себе самом выветрятся, как влага с полировки, уступая место для существования другой истории нашей жизни, — как знать. Одним словом, я был предупрежден, а значит, вооружен. Я ждал этого момента с нетерпением и легким страхом, но, на мое счастье или беду, он, этот момент, не был однократным щелчком, после которого свет гаснет, чтобы ему на смену зажегся другой, новоявленный. Как я уже говорил, забвение, настигающее меня, скорее похоже на волны — накатываясь и отпуская на время, они кольшат при этом мой позвоночник.

Я знаю, я имел возможность удостовериться в этом — все мои послания так или иначе дойдут до тебя, и если даже часть их пропадет, основное сообщение ты все равно получишь, как мы с тобой и договорились с самого начала... Но я решил ничего не посылать себе самому, когда память меня покинет, и не напоминать, кем я был в отношении тебя, поэтому я буду просто другим, среднего возраста человеком, ничего не подозревающим о, может быть, самой главной части своего прошлого. Короче говоря, я ничего не буду знать про нас тобой. Почему? Я уже тебе объяснял и не раз. Важно, чтобы судьба свела нас заново, и я сделал для этого все что мог.

Когда я говорю о потере памяти, это не совсем соответствует действительности... Я хочу сказать, что это не очень верное выражение. Потому что память утратить невозможно, ведь каждый из нас, на самом деле, знает все. Он знает все о каждом человеке и дереве на земле, о любой, можно сказать, снежинке, но иногда становится захвачен, по той или

инной причине, каким-то новым и ограниченным сюжетом, который и притягивает к себе все его внимание, вытесняя остальные вещи и события его жизни на обочину сознания. Я бы сказал, что это не забвение, а открытие нового сюжета своей жизни, который находится в параллельном отношении к старому.

Это похоже, как если перепрыгнуть из одного поезда в другой, идущий сбоку от первого. Но в твоем новом купе тебя ждет уже другая история — с другим прошлым и будущим. Перемена состава не означает исчезновения первого поезда, и из этого даже не следует, что тебя там больше нет. Мне трудно тебе передать все, что я знаю о времени и устройстве мира. Суть в том, что историй и возможностей судеб для каждого из нас — не одна и не две, а бесчисленное количество, и все они развиваются одновременно. Но в любое (нет, не в любое — в определенное) время я могу перепрыгнуть из одного поезда в другой, который придет совсем не к той станции, к которой стремится первый. И тот я, который едет в первом, от этого не исчезнет, а сойдет на той самой станции, куда ехал, но я — тот я, которого сейчас осознаю, выйду на другой. Все дело в том, с кем из своих “я” я себя решаю отождествить, а о каком — забыть.

Процесс этот управляем, его можно запустить. Что я и сделал с твоего согласия. Помнишь, в какой восторг ты пришла, когда увидела, что человек похож на дерево с сотнями яблок и каждый плод — это ты сам.

Мне сейчас важно дописать это письмо, пока я еще помню про нас, пока у меня есть эти — минуты? часы? — которые могут вот-вот прерваться.

Память стала отступать, как отлив с позавчерашнего дня, когда я решил пройтись по побережью. Солнце уже зашло, и на пляже в той стороне поселка никого не было. Я шел вдоль светлой кромки волн по темному песку и думал о том, как я тебя люблю. Я ужасался неленности и тяжести слов, с которыми мне приходилось всю жизнь иметь дело и оставаться, в сущности, лугом, когда с их помощью я пытался передать тебе или другим некоторые вещи. Это ужасно — лгать всю жизнь. И если и были в моей жизни минуты, когда слова таяли, исчезали, полностью растворившись в том, что они действительно значат, то эти минуты были связаны с тобой.

Как тогда, когда мы лежали на стогу под звездами и было холодно и ясно, или сидели на пустынной и светлой дороге и ждали попутки под Ферантово, а машин все не было, и казалось, что их больше вообще не будет...

Я шел вдоль пляжа, и в сумке у меня среди всякого мелкого барахла лежал пузырек с красной тушью, кисточка и несколько листов дорогой вержированной бумаги. Последние два года, ты знаешь, я увлекся японской и китайской поэзией и даже брал уроки каллиграфии. В этот вечер мне показалось забавным пройтись по пляжу под полной луной с одной-единственной целью — найти такой уголок, освещенный луной, где можно было бы расположиться и воспроизвести на бумаге, залитой лунным светом, стихотворение



Ли Бо, посвященное бумаге, залитой лунным светом. Каллиграф я, конечно, никакой, но сама идея меня захватила, потому что я был уверен, что на белом листе красная тушь под луной даст фантастический рефлекс. Впереди я увидел большой камень, почти скалу, я пошел к ней, чтобы там расположиться. Лунный свет бежал по сине-черной воде к горизонту, катаясь туда-сюда, как ртуть; на море были видны несколько медленных огоньков, а звезд в этой части неба не было видно.

Я сел под обломок скалы, достал бумагу и кисточку и приступил к письму. Иероглифы стихотворения я помнил наизусть и за пятнадцать минут покрыл лист бумаги затейли-

вой комбинацией. Работа мне понравилась, и я увидел ясно островок в камыше, залитый луной, и услышал крик цапли и даже ощутил свое, позаимствованное у поэта одиночество. Тогда на втором листке я решил изобразить стихотворение Сайге, великого японца, про белые вишни, прощание с другом и тоже цаплю, улетающую через эти белые лепестки в полную неосязаемость и белизну. Образ улетающей цапли, которая, взлетев, поднимается все выше, сбивая лепестки вишен и образуя белоснежную метель, заметающую ее собственное бытие, особенно по мере удаления от наблюдателя, переплетался в стихотворении со все еще слишком плотным и вещественным силуэтом уходящего друга, который тем не менее с каждым шагом терял определенность и конкретность, обретая миг за мигом блаженную и непоправимую анонимность, перемещая вместе со своим разрастающимся отсутствием себя самого в ту область, которая могла не только принадлежать (а так оно и было) поэзии, но и сохранить уходящего уже не в определенной и твердой роще, а в реальности поэзии за счет вычета конкретных, слишком вульгарных, слишком смертных черт ограниченной человеческой судьбы и перерастания их в иероглиф растаявшей в белизне птицы.

Когда я справился и с этим заданием, меня посетило вдохновение. Ты знаешь, как это бывает. И в этот миг я почувствовал, что рядом кто-то есть. Я ощущал это так же ясно, как то, что стою на берегу моря и держу в руке кисть. Эта неожиданная близость другого существа сбивала меня с тол-



ку и не давала сосредоточиться. Я встал с кистью в руках, уже готовый нанести на бумагу следующее стихотворение, в котором бабочка перелетала в солнце через ограду, причем не исчезая в летнем дне без возврата, а вивась туда и сюда над высохшими прутьями забора, — и так, вместе с кистью



в пальцах одной руки и пузырьком туши в другой, стал огибать скалу. За выступом сидела на песке спиной ко мне голая девушка. Я не сразу понял, что это было, так сияла в лунном свете ее спина. Я словно загнипнотизированный пошел на свет, исходящий из ее лопаток и поясицы. Я шел медленно, боясь спугнуть видение, и не дойдя несколько шагов, остановился. Девушка не обернулась, хотя явно слышала мои тихие шаги. Она лишь напряглась и замерла, и я увидел, что в руке у нее заката мочалка темных водорослей.

Так я стоял, не шевелясь, у нее за спиной, словно опившись дурмана. Она тоже не шевелилась, и было слышно, как о берег тихо разбиваются мелкие волны. Не знаю, сколько так я простоял. Наверное, боялся, что она закричит, и тогда мне станет еще страшнее, чем ей, но, думаю, что дело было не в этом. Я чувствовал, что мерцание ее спины обволакивает меня и проходит насквозь, и я словно тону в этой почти неосознаваемой смеси лунного света и обнаженной плоти, испытывая тихую и таинственную радость, ни на что прежнее не похожую, и скорее всего именно это мягкое и опасное блаженство, а не что-либо другое должно было стать невыносимым и завершиться воплем, но уже не ее, а моим, и я стоял не двигаясь, чтобы не потревожить хрупкого баланса. Потом осторожно сделал шаг и стал рядом с девушкой на колени. Я поднял кисточку и поднес ее к белой спине. Она не пошевелилась. И тогда я начал покрывать ее мерцающую кожу словами. Я писал их быстро, одно за другим, не останавливаясь, — слова о тебе, обо мне, о том, как скрипят ворота на ветру и закрываются конторы, о том, как я покупал хлеб, когда ждал тебя в гости, и еще о

том, как умирала моя мать, и какой был запах в палате смертников, и как знакомый священник из анонимных алкоголиков причастил ее за день до смерти, и все они, эти слова, слились по кисточке жидкой красной тушью и не разу я не ощутил ошибки или промаха. Я писал их мелким почерком, почти не видя букв, но безошибочно веря, что каждая выведена с редким совершенством и простотой, а девушка так и не пошевелилась, и я писал до тех пор, пока не кончилась тушь.

И тогда я встал с колен на ноги и сказал: “Я завтра снова приду. Будь здесь”. Она ничего не ответила. И я ушел. И когда на следующий день я пришел к камню в то же время, я нашел ее на том же месте, но букв на спине у нее уже не было, потому что они спустились к ней в тело, и я снова писал все, что моя память доносила до ее мерцающей гипсовой спины...>

Сквер в Туапсе

Я шла через вокзальную площадь в Туапсе и соображала, когда же могло быть написано это письмо. Асфальт был горячий и оседал под ногами. Конечно, письмо могло быть написано и сегодня, и тогда, судя по описанию, Шарманщик мог находиться где-то рядом. Но все могло быть и не так. Потому что его письма не вязались хронологически и истории были разбросаны во времени, как следы заячьих танцев на снежной поляне. Так что история с голой девушкой могла произойти и вчера, и несколько месяцев тому назад. Не думаю, что нужно выстраивать в определенной последовательности все, что дошло до меня в письмах, скорее всего, у него и цели-то такой не было.

Разнобой историй напоминал огромный хрустальный шар с наклеенными на его поверхность разномастными событиями, и шар этот катался в безусловном пейзаже мест, в которых меня заставляли послания Шарманщика. Волшебный такой фонарь с отражением в нем ночного завода, дома Луки, пляжа в Адлере, светящейся рукавицы, прогулки на яхте... — это с моей стороны, и смерти пожилой женщины в больнице, уличного оркестра, играющего на улице Кракова,

мужчины в белой рубашке в окне наверху и Владимира Соловьева, купающегося в Ниле, — с его. И вот пока шар катался по всем этим местам, оснащенный историями из его и моей жизни, пока он уминал траву, прибрежный песок и раскаленный асфальт, с нами всеми что-то происходило. Происходило что-то с Вавилонской башней и ее обитателями, художником Брейгелем и Лукой, Томасом Лермонтом и Светкой, а также с Шарманщиком и мной. Так иногда идет дождь, каких ты уже видела тысячи, но на этот раз чувствуешь, что это не просто идет дождь, а что он идет, и при этом что-то происходит.

Вот падают первые капли на асфальт, вот их сразу и как-то грубо становится больше, и тротуар начинает от них шевелиться, как муравейник, и вот заблестели бульжники площади, а с веток еще не течет, потому что они не успели намокнуть, но они постепенно намокают, становятся тяжелей, и в воздухе разносится едкий и свежий запах летней зелени, а вот и парочка — он в костюме, она в блузке и юбке, закрывшись газетой, подбежали к кафе и исчезли в нем, и сразу же, перечеркивая вход в кафе, прогрохотал трамвай, — такое уже было не раз и не два, но в те разы если что-то при этом и происходило, то было незаметно, а теперь — за всем этим словно стоял твой ангел-хранитель с бритвой в правой руке и шрамом на левом запястье. И даже не так. Потому что и он, этот ангел, включен в летящие занавеси ливня, в которых со всеми нами что-то происходит, и с ним в том числе.

С карусели сбегает детвора и сходят родители, смеющиеся, слегка пьяные от курортной жизни и кружения верхом на зверях, а я смотрю на зверей из дерева и пластмассы, и мне кажется сначала, что это уже было, и не раз, и не два, а может, не то чтобы было, а оно когда-то было, но я в это когда-то вернулась, не заметив, что ушла с того места в будущем, в котором только что находилась, потому что мы в своей жизни таких вещей не замечаем — мы не замечаем самых главных, самых интересных вещей, а живем среди никому не нужных ненужностей.

Возможно, секунду назад я стояла вовсе не у привокзального скверика в Туансе, а совсем в другом месте моего же будущего, где вполне могла быть та же самая карусель и тот

же самый дождь, но уже во второй раз, а я этого понять не могу, потому что они настолько похожи, что когда переходишь из второго раза в первый, то никаких изменений не замечаешь, потому что они похожи как две капли воды. Вот именно — есть ситуации из будущего и прошлого, похожие как две капли воды, — и вообще, наверное, можно сказать, что это одна и та же ситуация, но она располагается вдоль жизни несколько раз, это как если в свернутой бумаге прорезать уголок ножницами, а потом развернуть, и она будет повторяться этим вырезанным треугольничком по всей своей длине как орнамент, так вот и здесь. Наверное, когда мы рождаемся на свет, мы и есть такая во много-много раз свернутая бумага, а потом откуда ни возьмись однажды появляются ножницы и делают в нас прорезы, которые возникают и повторяются в течение всей нашей жизни, а мы думаем, что только один раз, потому что их абсолютно не отличить друг от дружки, но в один прекрасный день, такой, как сегодня, начинаешь понимать, что не все так просто, что за всем этим что-то стоит. Мне кажется, если понять, что такой вырез не может не повторяться, потому что он не во времени, а находится в другом плане, то, стоя под таким вот повторяющимся тысячи раз, но изначально единственным дождем, можно уйти от времени и суеты и оказаться там, откуда понятно, почему зеленые листья такие зеленые, а люди такие знакомые или карусель такая мокрая; наверное, из этого места можно увидеть всю свою жизнь от начала и до конца и понять, почему именно так все сложилось, а не иначе. Наверное, я уже тысячу раз стояла под этим дождем, и, может, хрустальный шар с лицами и событиями — моими и Шарманщика — для того и катался последние недели, чтобы я могла обнаружить этот вырез и задать себе вопрос, а что же с нами со всеми происходит прямо сейчас, покуда я стою на привокзальной площади города Туапсе, наблюдая за остановкой маршруток и жухлой акацией над ней, прямо здесь.

И я понимаю, что происходит, как будто один прозрачный туман окутывает и площадь с акацией, и остановку, и тот дождь, который зачем-то появился из памяти на миг и ушел, а может, это я из него появилась на миг на этой площади и сейчас снова в него уйду, но не то важно, а то, что туман этот,

прозрачный, как блеск ветрового стекла на повороте, дает понять одну простую вещь, которую я раньше знала, пока не забыла. Мы все — одно. Мы все в этом шаре — одно, и мы не расположены в Туапсе, или в Сочи, или в Непале, или Милане с Киевом, но мы все расположены на территории любви, которая звучит как слово нелепо, но кроме материка которой вообще ничего не существует, и шар хрустальный будет кататься до тех пор, пока — внутри и снаружи — на него не напишут все истории и все картинки — самопальные и профессиональные, глупые и тщательно продуманные, безобразные и соблазнительные, для того чтобы однажды на вокзальной площади или Бог знает где, в дыре, захолустье, на дискотеке или в палате для смертников ты мог понять и увидеть — смерти нет, потому что все мы — одно.

От одного моего знакомого, знаменитого питерского музыканта, ушла любимая женщина, и он заперся в своей студии на Пушкина, 10, и год сидел там, сочинял оперу. Потом ночью к нему пришел Бог и сказал: ответь за свою жизнь. И музыкант сказал: я всю свою жизнь сочинял музыку, я искал тебя в ней и никогда не изменял своему поиску. Для меня это было главное, и я был верен музыке. «Но главное не это», — сказал Господь. «А что?» — спросил почти безумный, затравленный человек. «Люди, — ответил Господь, — вот главное».

Я много потом видела христиан, и мало кто из них был христианином на самом деле, а этот музыкант из Питера, хотя и в церковь почти не ходил, был действительно христианином, раз Бог ему сказал такую вещь и в такое время, и он ее услышал. Но главное может быть только одно, а значит, мы все — одно. Из того выреза, где я оказалась, это было видно настолько ясно, что я заплакала и побрела дальше. Мне надо было двигаться. Мне надо было все время идти или ехать вперед без остановки, и я пошла к маршруткам у вокзала, чтобы сесть на одну из них и ехать дальше, и тут неожиданно раздался знакомый голос: «Опять эта девочка плачет. Вот возьмите, пожалуйста, платок».

Розовый пингвин стоял передо мной и протягивал мне белый платок, и я внезапно мяукнула и рассмеялась.

Натюрморт с бабочкой

Мы с ним стояли на белой привокзальной площади, как на Антарктиде, как оторвавшиеся каждый от своей стаи, он от пингвиньей, а я от той, из черных птичек, что гуляют между шпалами, — нормальные люди, что ли, хотя, наверное, это определение далеко от истины. И похоже было, что мне пришлось стоять с Пингвином на одной льдине.

Гунтар сказал, что они с Русланом, видите ли, решили, что без них я пропаду, и поехали вслед за мной на вокзал. Прямо сюжет из фильма «Папочки». Приехали как раз к отходящей электричке, и Гунтар успел в нее запрыгнуть, а Руслан нет. Никогда не угадаешь, кто на самом деле ловчее, — я-то была уверена, что Руслан как раз из тех, кто в свой поезд обязательно запрыгнет первым.

— Он поехал за нами на машине. Наверное, уже где-то здесь, мы с ним перезванивались. Сказал, что в кои-то веки с ним случились хлопоты, чему он страшно рад, и что у него полно родственников в этой стороне побережья.

— У него везде полно родственников, — сказала я. — Что же вы не подошли в поезде?

И я протянула ему его платок.

— Оставьте себе.

— Хорошо. Выстираю и верну.

— Видите ли, я так обрадовался, что успел на поезд и нашел вас в вагоне... в общем, сел у окна, расслабился и мгновенно заснул. А знаете, не выпить ли нам по чашке кофе? Вы ведь любите кофе, правда?

В кафе я ела мороженое, а Гунтар звонил Руслану и выяснил, что тот застрял в пробке.

— Куда вы едете? — спросил он меня, не отнимая телефона от уха. — Ну в какой город?

— В Голубую бухту, — сказала я.

— В район Джубги, — сказал Гунтар в трубку. — В общем, мы сейчас, садимся в автобус.

В своем розовом костюме, который хоть и не мялся вопреки всему, но явно не был рассчитан на туристические маршруты вдоль побережья, Гунтар выглядел райской птицей, неведомым ураганом занесенной в наш суровый мир, и на него оглядывались. Впрочем, улыбкувавшаяся было свы-

сока официантка через миг забыла об иронии, потому что Гунтар был из тех, на ком вещи чувствовали себя как дома, зная, что именно этот человек покажет, неторопливо и с мягким блеском, все их скрытые до поры достоинства. И потом он так вежливо и твердо диктовал заказ, что официантка, если еще и не была сражена наповал, то после того, как вникла в его чувственно-сдержанную интонацию, с которой он уточнял сорт текилы, явно сдалась на милость победителя и глядела на Пингвина как зачарованная. Люди небогатые и стремящиеся разбогатеть всегда чувствуют людей богатых и салютуют им кто чем может. Официантка просалотовала карандашиком и блокнотом и пошла в буфет за заказом.

Автобус на Геленджик отходил через сорок минут. Пингвин сидел, курил свою сигару, а я выставила ноги на солнце, чтобы загорали. Он покосился на мои ноги, поймал мой взгляд, и сказал — ноги невесты. Я сказала, что ничего подобного, потому что у меня нет жениха.

— Ну вы об этом можете просто не знать, — сказал он.

— А кто знает? — спросила я, блаженно разваливаясь на стуле, — наконец-то меня стало отпускать. Боже, спасибо тебе за всех твоих пингвинов, а особенно за этого.

— Неважно, — неопределенно сказал Пингвин, — неважно. Кто-то наверняка знает.

— Хорошо, — сказала я, — оставим это. А руки?

— Что руки? — не понял он.

— Руки — невесты?

Он взял мои пальцы и стал рассматривать.

— А почему вы так интересуетесь театром Но? — спросил он невпопад.

— Так, — сказала я, — так, из-за одного человека.

— Рассказать про ковер? — спросил он.

— Ага. Рассказывайте.

— А почему вы не купаетесь? — С логикой в мыслях он не дружил, это ясно. Как и я.

— Я купаюсь. Я в фонтане купалась.

Гунтар посмотрел на меня внимательно и загадочно промолвил:

— Ну это уж как кому придется.

Видимо, о чем-то своем вспомнил. Он мне все больше нравился.

— Вы видели когда-нибудь тыльную сторону гобелена?

— Ковра?

— Да. Гобелена.

— Я и лицевую-то редко видела. В Эрмитаже есть очень унылый коридор с гобеленами. Темный какой-то, скучный. И еще в Кускове. Там во дворце есть — натюрморт.

— Что за натюрморт?

— Ну натюрморт. Самый лучший. Темный, почти черный фон, а на нем нижняя часть чертополоха — стебель и эти его резные, словно из жести, листья. Не сорняк, а прямо дуб какой-то. Никогда я раньше не видела, чтобы кто-то взял и изобразил нижнюю часть растущего чертополоха. Все яблоки изображаю, цветы, рыбу, а он — чертополох, причем не весь, а нижнюю часть. И я подумала, вот молодец! Для этого же надо на землю лечь, чтобы увидеть. Так вот этот чертополох — тот еще фрукт. На нем несколько бабочек розового и голубого цвета, штук пять жуков, а внизу ползет улитка. И все это на черном фоне, в котором едва виден бескрайний пейзаж с горами и далями. А все эти дали расположились в промежутке между землей с улиткой и нижним листом этого репейника. И ясно становится, что в этом репейнике жизни не меньше, чем в пейзаже, но об этом никто не знает, а ему до этого и дела нет. Что звезды движутся между бабочкой и улиткой, а луна пересекает за час — два листа. Там, в этом чертополохе, явно происходило что-то важное, — и я устала на Пингвина.

— Понимаю.

— Происходило важное для нас всех, а не только для него, репейника. Понимаете?

— Да.

— Правда?

— Мне так кажется. Там, наверное, и сейчас это происходит. Думаю, что и мы оттуда, из этих листьев, видны сейчас, скажем, в виде бабочек.

— Бабочки — это глаза чертополоха, а улитка — печенка. А мы — его... его волосы.

— Почему волосы?

— Потому что волосы связывают с небом. Я попросила служащую рассказать, кто художник, потому что подпись под картиной не было. Она ушла и потом пришла с тетрад-

кой, и мы с ней долго разбирали, что там написано от руки чернилами, пока не наткнулись на запись «Натюрморт», неизвестный голландский художник XVII века. И я порадовалась, что про него никто ничего не знает. Я бы так тоже хотела, честное слово. Нарисовать репейник, и чтобы про меня никто не знал. Рассказывайте про гобелен.



Обратная сторона гобелена

— Как-то я реставрировал гобелен, — сообщил Гунтар. — Вернее, принимал какое-то время участие в его реставрации. Меня удивила его изнанка. Сплошные стяжки, пересечения ниток, узелки, неопрятные зацепки, переплетения. Все это производит удручающее впечатление, с одной стороны, а с другой — дает возможность восхититься изощренной техникой подпорок и тыловых основ. Тема изнанки, да-да. Тогда, в осень средневековья, ее прятали, а позже она стала самостоятельным объектом искусства. Эйфелева башня, например, где все изначальные технические принципы были не скрыты и упрятаны, а напротив, в открытую и навязчиво демонстрировали себя глазам изумленного французского горожанина. И первая реакция на башню, ставшую ныне символом Франции, была — да это же монстр! Потом прием с изнанкой повторили строители музея Помпиду, где все коммуника-

ции здания вынесены наружу и огромный параллелепипед топорщится в одеждах из труб разных диаметров, похожий на марсианского паука или на огромный кухонный агрегат.

Но когда создавали гобелен с единорогом и львом — изнанку запрягивали надежно. Главное было — лицо. И вот разглядывая эту изнанку, я подумал, а что если бы я никогда не видел лица — что бы я мог сказать о нем, довольствуясь видом пыльных ниток, стяжек, пересечений? Вероятно, я бы догадался о существовании замысла, потому что рисунок с единорогом и львом, хоть и очень грубый и схематичный, — все же угадывался. Я бы, конечно, пришел к заключению о том, что этот предмет потребовал большой работы и смекалки. Я бы сказал, что он продуман и осмыслен, что он является произведением искусства, потому что изображает какую-то часть мира. Но думаю, что я сосредоточился бы больше не на рисунке, а на веревках и узелках. В конце концов я бы понял, что это великолепный образчик деятельности человеческого расчета, воображения и смекалки. И что он — о какой-то истории с единорогом и львом. Возможно, мне даже удалось бы рассмотреть с изнанки Даму с зеркальцем и я начал бы угадывать, что это за история.

— Вы про гобелены из Клюни рассказываете? — спросила я.

— Неважно, — стемнил Гунтар. — Неважно. А важно, что если не знать про лицо, то средства становятся самоцелью. И как я уже сказал, в коллективном мышлении человечества, в его современном мироощущении все большее забвение лица становится интенсивным, потому что возрастает интерес к изнанке — картинам из мусора, внимание к экскрементам, к обнажению женского и мужского тела на подиуме, на экране, к подглядыванию в замочную скважину за сексом и чужими склоками во всех этих реалити-шоу, к чужим гениалиям. — Тут Гунтар начал как-то уж очень весело хихикать и дохихикался до икоты. Мы подозвали официантку, и она принесла ему воды с лимоном, но пока она несла, я сделала «трагические глаза» и страшно воскликнула — а ведь мы с вами забыли в поезде самое важное! — и он купился, сделал в ответ круглые глаза, потому что перепутался прежде, чем понял, что именно мы там забыли. Потом спросил: что? А я засмеялась и сказала: ну может, еще раз икнете! Но

икнуть он больше не смог, потому что от испуга икота проходит, это меня мама научила. Я сразу поняла, что Гунтар — натура нежная и с ним получится. Он рассмеялся, встал из-за стола и поцеловал мне руку.

— Благодарю, спасительница, — сказал он, усаживаясь обратно.

Потом сосредоточился и продолжил:

— Мы живем в мире изнанки, которая забыла про лицо. Изнаночное восприятие уже прочно встроено в наши глаза, и мы считаем, что имеем дело с реальностью, а имеем дело с ее тылом. Помните тех двух девиц-журналисток, которые так и не въехали в представление пьесы Но? Вот это и есть классика изнаночного видения! В беспримесном варианте! — Гунтар, казалось, даже восхитился не видимыми ему девицами, достал тонкую свою сигару и, глядя куда-то поверх нее — на тупых девиц-журналисток, вероятно, — сказал, щелкая вслепую зажигалкой:

— Классическое изнаночное зрение. О лице спектакля эти наивные куклы даже не подозревали. Мир стал хамоватей и проще, и они так и решили — чего там мудрить.

Тут он опять начал хихикать, и я испугалась, что он снова начнет икать и я не услышу конца истории про гобелены. И тогда я сказала твердым голосом:

— Гунтар, не отвлекайтесь!

Он задумался и сказал:

— Помирает теща, уже и священника вызвали, уже и причастилась, и все вокруг так торжественно и тихо, слышно, как часы на стене тикают, и вдруг она начинает причитать: ах, доченька, да как же ты тут без меня, ах, доченька, да на кого же я тебя оставляю! А зять, который рядом с постелью сидит ей говорит: мамаша-мамаша, не отвлекайтесь! М-да...

Тут Гунтар загрустил и стал опять похож на профессора, читающего лекцию.

— Так в чем суть истории?

— А в том, — сказал Гунтар безразлично, — что либо мы видим в мире его лицо, либо живем в аду. Либо понимаем, что живем в мире изнанки, у которой есть другая сторона, либо не понимаем и тогда продолжаем так жить дальше, напоминая глубокомысленных психов в Кащенко. Ведь про

то, что у мира кроме пыльных переплетений изнанки есть еще и лицо, в которое можно заглянуть и всю жизнь так и не прийти в себя от радости, — сейчас почти никто не догадывается.

— И что? — опять заволновалась я. — И что?

— А то, что мы сейчас видим не друг друга и не вокальную площадь, а изнанку. Скажи, что ты там видишь? — Он кивнул на площадь.

Я посмотрела вокруг.

Сквер. Здание вокзала. Такси и маршрутки. Люди с чемоданами и сумками. Сверкнуло зеркальце у иномарки на повороте, стрельнув нестерпимым лучом. Мужчина в пиджаке и белой рубашке запихивает в багажник такси огромную серую сумку, и она никак не хочет влезать, а он ее уминает с боков и опять толкает. Таксист смотрит, не вмешиваясь. Рядом стоит, видимо, жена, полная, в зеленой футболке, с валика-



ми жира на боках, и делает руками помогающие движения, похожие на эхо. Асфальт в пыли и щербинах. Обглоданные кипарисы. На тротуаре торгаша с сувенирами, пивом, сигаретами. Недалеко от нашей веранды сидит под алычой старушка, и тень веток елозит по ее соломенной шляпе. Она сидит, вытянув ноги, на ней серая кофта с оранжевой полосой, и она читает газету «Метро». Это московская газета, видимо, кто-то привез с собой, а она подобрала. Если напрячься, можно разобрать и заголовок «Переворот в баскетболе». Бабушка-одуванчик читает вдумчиво и не обращает внимания

на то, что делается вокруг. И тут что-то сверкает у меня в глазах во второй раз, и я понимаю, я вижу — изнанку. Я ясно вижу, что это — изнанка, нитки, серость, чепуха. Пыль, крепления, подпорки. Процарапанная амальгама. Давай, Алиса, бегом за кроликом. Пригоршня праха, обманка, только отсыл, только свинцовая половинка рыбки, подходящая в разломе ко второй — золотой. Они все — и этот мужик, и тетка с ее глупыми солидарными жестами, и бабушка-одуванчик, все эти безмянные, смешные и необязательные люди, которых как снега зимой, и надоели они уже всем до смерти и самим себе в первую очередь — все они на самом деле — золотые, ненаглядные, родные и только мои, как самая любимая кукла в детстве и как самый близкий ангел во сне. Я еще не знаю, как лучше мне их рассмотреть и увидеть, заглянуть не в эту серость, а в их настоящее лицо, но уже поняла, уже поймала, что оно — есть. И поняла, что оно — это как встреча с тем, о чем так долго мечтал в детстве, как например, пришел в гости, а там — елка. Или поворачивается человек, и видишь, что — твой любимый. Или подъезжаешь к этому же Туансе в первый раз и видишь — море, а до этого — ни разу. Или подходишь к списку зачисленных в университет, а там среди десятков чужих и незнакомых — твое имя. Я увидела, как бабушка-одуванчик читает свою газету, а губы ее — из мазута, жира и помады. А нитки и узелки набухли у меня под кожей. И я вспомнила безмянную птичку на рельсах сочинского вокзала с башней. И еще я подумала, что я ведь тоже не знаю, что со мной происходит на самом деле, потому что всю жизнь трогала одни нитки изнанки, а что если у моего лица на той стороне несколько вариантов? Но нет. Оно на то и лицо, чтобы было одновременно и неуловимым, словно всеми вариантами сразу, и единственным.

— Гунтар, вы — гений, — пробормотала я. — Вы — гений.

— Ну вот, — сказал Пеликан, — опять эта девочка плачет.

Дракон и пляжи

Потом появился Руслан на своем лакированном танке. После коротких переговоров мы пересели к нему, в сухую прохладу кондиционированного салона, и поехали в сторо-

ну Геленджика. Я никого не просила меня туда везти, но, оказывается, все уже давно собирались оторваться не куда-нибудь, а именно в Геленджик, и только подходящего случая не хватало. С этим не поспоришь, да я и не собиралась. В общем, в уютной компании мы отправились дальше... — не знаю, какая меня сила туда влекла, и не была ли я сама этой силой, которая двигала всех нас в ту сторону побережья, наверное, все же была, но тогда вопрос надо задать по-другому: почему сила, имя которой — я, тащила всех нас в Геленджик, а не куда-нибудь еще? Наверное, это чтобы не отдаляться от



моря, — а почему я не хотела отдаляться от моря, я тоже не знала. Мне кажется, я не хотела отдаляться от моря — просто так. Я всегда слушаю свое просто так, потому что в нем нет ни цели, ни направленности на результат, ни борьбы, ни вы-

годы. Одним словом — всего того, что движет основной частью населения. И совершая что-то просто так, я тем самым становлюсь для остальных людей человеком-невидимкой, путешествующим, как говорят даосы, на драконе, не оставляющем ни следа в воздухе, ни тени на дороге, неуловимом для глаза, шаха и праха. Кроме того, самые лучшие минуты в моей жизни всегда были связаны с этим состоянием — без цели, без усилия, без оглядки. Думаю, что в эти минуты Бог входил в мои лобные пазухи и глядел оттуда на мир вместо меня. И мир от этого становился свеж и бездонен. Это, наверное, как прочитать стихи, потом увидеть снег за окном, войти в лодку и отправиться к другу. А на полнуги, когда снег кончится, — просто так повернуть назад, потому что без снега ты уже совсем в другой истории, и ты участвуешь в ней легко и не сокрушаясь о том, что не доехал.

Я смотрела в окошко на море, пляжи, пестрые купальные зонты, отдельные икаровские бултыхания дальних пловцов, синее море, полное волков и сумасшедших старух. Был почти штиль, стыли на глади водные велосипеды и надсадно и мучительно завывали, газуя, придурочные водные мотоциклы, но из машины их не было слышно, и я всегда чувствовала, особенно в последнее время, что в мире что-то не так. Все говорят, что в мире все так, а если не так, то иди к психологу разбираться, и он, глянув на тебя своими глазами с инфракрасным приспособлением, охватит тебя щупальцем и затащит к капитану Немо, а если и после этого у тебя не так, ну прямо тогда и не знаю, чего тебе в жизни не хватает, — а ты давай работай, работай над собой, ты давай повышай индекс приспособляемости, а то ведь так и до больницы недолго, пошутит-пошутит.

Я смотрела на идеально подстриженный затылок Руслана за рулем, справа от меня спал розовый пелликан, а я думала, что вот едем мы по южной дороге в Геленджик, и байкеры газуют, и на пляже люди в плавках загорают, а справа горы синеют, удаляясь, скользкие, как мороженое на асфальте, и скелет рыбы очень сухой, а в мире все равно что-то не так. Вот сейчас мать, наверное, учит кого-то английскому, отец ругается с режиссером, и все участвуют в — Бог ты мой! — жизни, совместной, интересной и многоместной, и делают вид, что у них в их многоместном мире все — так, а на самом

деле в мире — не так. И если найти это место, где начинается не так, можно было бы проснуться от этого хлороформа, в котором все мы паримся, и, глядишь, и мы бы что-то увидели новое, а не только нос к носу целовались бы в лучшем случае, а в худшем кормили бы медведя рукой соседа по железной дороге. Прокладки в сумочке, ментоловая жвачка, мобильный, в наладоннике список дел на неделю, зудит бедро под трусиками — раздражение, послезавтра надо зайти в салон постричься, натерла ногу в этих лодочках, как он на меня смотрит, босяк! — вот это-то и все? И все?

Я не сразу поняла, что это я так углубилась в Соловьева, а сейчас мне понятно, что у меня была неосознанная надежда найти там то, что он искал, когда хотел устроить идеальное государство на земле, прямо при своей жизни. А все говорят, что, естественно, не получилось, а говорили бы — естественно, получилось, если бы получилось, как у Кастро или Ленина с Троцким. А ведь могло и получиться, потому что, может, у него почти все и получилось, какой-нибудь мелочи не хватило, вот и надо эту мелочь найти. Я не в глобальном плане ее хотела найти, а очень в камерном, сугубо личном, потому что если в себе мир не найти, то где ж его и искать, не среди людей же, которые делают вид, что у них все — так. Поэтому я и ищу ту самую букву, которую искал в себе и в мире Соловьев, и, может, то, что не получилось у него, получится у меня, и я найду эту букву и смогу ее проговорить правильно, и тогда все вокруг выправится, и особенно вывихнутый нерв и позвоночник мира выпрямится, и наступит — то самое, про которое мы все сперва знаем, потом не знаем, а вокруг нас порхают ангелы с жабрами — серебряная такая рыбешка — и нам напоминают про то самое, а потом нет рыбешки серебряной — только кровь растекается по поверхности воды, как винтом мотора разрезали, а мы ее, кровь, и видим и не видим, покуриваем ананшу, попиваем текилу и колу, лезем между ног друг дружке в поисках чудесного золота, а там нет, а мы и кровь уже почти совсем не видим, забыли, что она — жизнь и буква, потому что рыбешка букву утраченную складывала, а не ер собачий, серебрила ее, золотила, в сердце хотела вложить, не в сейф с тухлятиной, Бог ты мой, не куда-нибудь за стринги запрятать, а в ухо, в висок, под язык.

И если вам всем и не надо той буквы, от которой делается многим хорошо и свободно, то мне надо. Ладно, это Шарманщик считает, что она буквой называется, а может, и никакого Шарманщика нет на свете, но ведь даже если его нет, он все равно же уже есть, раз я про все это думаю, и даже если это и на самом деле буква, а не идея или сила какая-нибудь человеческая, то я ее найду и выпарю на солнце до соли. А соль я положу себе в кровь — кристаллик за кристалликом, и пусть плывет и мир преобразает.

Мне иногда кажется, что мы бы взяли и все разом застрелились от тоски, если бы не нефть. Странно, все делают вид, что ими управляют какие-то понятия или этические принципы, а Церковь делает вид, что ей управляет любовь да Бог, а родители — что желание добра для детей, а на самом деле всей нашей необъятной страной и всеми ими в отдельности управляют перебродившие под землей останки органических существ, которые и жили-то такую прорву лет назад, что их считай что и нет, но нам неважно, что они там делали на земле тогда, а важно, что это теперь — нефть. Они говорят про любовь и справедливость, глобализацию и справедливость, про карьеру и мир, про свои принципы и этику, а мне нестерпимо за них всех стыдно, потому что на самом деле они говорят про нефть, которая движет ими всеми. Говорят, страна переживает взлет, ура правительству и президенту, всем стало жить богаче, верный курс, правильные идеи, а мне хочется плюнуть им в их бесстыжие глаза, потому что, если бы не нефть, непонятно о каком мудром правлении можно было бы сейчас говорить, но ладно, пусть смолят, пусть вырезают у себя из-под ног землю по форме подошв, пускай. Я рада, что стало богаче и все рванули с места делать доллары и карьеру. Меня недавно на телевидении спросили, что такое сделать карьеру, и я сказала, что это когда человек покупает себе новейшую модель BMW с цифрой 250 на спидометре и стоит каждый день в часовых пробках. Ура! Я все равно найду, считай что нашла, Руслан, свою букву, свой принцип, и тогда разорванная история про нас с Шарманщиком склеится, а также склеятся все остальные разорванные и пропущенные истории мира, и не думайте, что у меня паранойя, раз я кормлю черепах в Язуе и путешествую, не отдаляясь от моря, — я все равно выйду под снегом к лодке,

сяду туда вместе со своей дудочкой поперечной, флейтой, и поплыву к другу. И если снег так и будет идти, я доплыву к нему, и мы почитаем лангустов и пройдемся синеглазой надалью по растаявшему на верхней губе деревянному снегу.

И я найду, найду и все, что мне надо, и все, что у меня на роду написано или только начато, я найду, найду, и если в этом деле я должна быть ведьмой, я ей буду, и гори оно все синим пламенем, потому что я не хочу играть с вами заодно, хоть и люблю некоторых из вас, но я не буду, слышите, не буду делать то, что вы делали и собираетесь делать дальше, потому что меня от всего этого тошнит, и меня тошнит от вас всех разом, мамы и папы, детки и взрослые, потому что вы всегда в конечном счете — заодно. Потому что вас друг без друга не было бы. Потому что вы ненавидите друг друга крепче любви, а значит — заодно. Вот я и буду плыть под снегом, пока не уткнусь в букву. Плыть и играть на флейте. Все равно какую музыку, лишь бы без кульминации. Я бы взяла с собой Шарманщика, но, может, Шарманщик и есть эта утерянная буква, хотя вряд ли, но это, в сущности, неважно. Если Бог хочет, чтобы кто-то ее нашел, то говорить, что это не я, — неправда.

Стихи пса Черутти

Ехать было приятно, работал кондиционер, и было прохладно, а за окном пролетали то зеленые склоны гор, то ущелья с речками внизу, а слева в салон все время врывалось море. Руслан протянул мне сигарету, сказал, что хорошая травка, и хотя Пеликан пробурчал что-то неодобрительное на заднем сиденье, я все равно немного покурила.

А потом я достала из сумки тетрадку, положила ее на колени, время от времени поглядывая на бегущие за окном пейзажи в поисках вдохновения, и стала писать Стихи Пса Черутти. Такого пса на самом деле нет, но для меня он есть больше, чем для вас доллар. Тетрадку мне когда-то подарил тот самый Никита, глухонемой мальчик, которого мать возила в спецшколу на BMW, и мы с ним подружились. Они потом куда-то переехали, а тетрадка осталась у меня. И на первой странице он нарисовал собаку, похожую на эрдель-

терьера, — лохматую, всю в завитках от синей пасты шариковой ручки, и под ней было написано его почерком «ПЕС ЧЕРУТТИ». Пес Черутти сидел на улице, прямо на трамвайной линии, и щерил зубы — не то ему было жарко, не то он улыбался. Вдалеке в правом верхнем углу был пририсован трамвай, который гнал прямо в сторону этого самого пса, и не похоже было, чтобы тот сошел с рельсов, когда трамвай окажется рядом. Было видно, что он так и будет сидеть между рельсами и улыбаться. Тут оставалось только догадываться, что предпримет вагоновожатый, посчитается он с улыбающимся псом между рельсами или нет. Никита оставил мне телефон, но я так до сих пор и не собралась ему позвонить. Конечно, сам он по телефону не мог разговаривать, но через мать мог. А в тетрадку я время от времени вписывала разноцветными «шариками» всякую чепуху. Просто так, потому что надо же было хоть что-то делать, пока трамвай его не раздавил. Там я также записывала какие-нибудь мысли или картинки, которые мне нравились. Например, я нарисовала Черутти в виде ангела с семью крыльями. И он в них сидел, как в кусте розовой малины.

Черутти очень здоровый пес,
Он в крыльях и цветах,
Он в них, как в куст, по шею врос,
А в ухе ходит Бах.

Вот ходит Бах туда-сюда,
И вниз и вверх идет,
Но Пес Черутти никогда
его не подведет.

За Баха он и кость отдаст,
И душу, и матрас,
И даже голодать горазд,
Но Баха не продаст.

Пусть, полон звона и угроз,
Трамвай вздымает прах,
Но если жив Черутти Пес,
Жив на земле и Бах.

Но иногда Черутти писал и не такие бойкие строки. Иногда он сочинял что-то вроде плавных элегий без рифм.

Пес Черутти идет по улице без фонаря
в поисках человека.
Человек ему нужен, чтобы почувствовать
с ним солидарность.
В пасти пса полно янтаря, аметистов,
смарагдов, алмазов и прочей всякой,
сами понимаете, бижутерии
стоимостью, за которую можно выкупить заложника —
какую-нибудь корейскую телевизионщицу, например.
Но у Пса Черутти нет ни одного заложника под рукой,
кроме себя самого.

И он задумался над этим раскладом,
и, как честный пес, — решил и стал заложником сам.
Потому что, если у тебя в пасти алмазы,
а ты думаешь об их цене, а не о
влажности своего красного языка, готового гаркнуть: гав!
или сказать: вав-вав!! или просто завонить:
— Жизнь прекрасна!!! —
ты обязательно станешь заложником.
А поскольку в пасти любого пса —
настоящий Клондайк и Эльдorado —
золото жизни, слоновая кость оскала,
рубины нёба и десен,
то придется уточнить, милый Черутти, —
не «когда в пасти алмазы и ты думаешь об их цене»
ты становишься заложником,
а «когда в пасти алмазы и ты думаешь».
Вот тут-то уже и проиграна партия.
Поэтому не думай, думать — не твое собачье дело.
Твое собачье дело — быть.

А иногда на него нападал приступ нарциссизма, и тогда появлялось на свет такое:

Если бы все пруды и лужи не лежали навзничь,
обозначая этим положением собачью покорность,
пассивность,

а встали бы, как трюмо или зеркала, вертикально,
то из них было бы трудно лакать,
зато в них стало бы удобно смотреться.
И я бы шел по улице после дождя и говорил:
смотри-ка — вон идет Пес Черутти
и вон еще один идет Пес Черутти.
Ага, а вот и еще и еще, да их здесь
целая рота, а то и батальон.
И куда ни пойдешь после дождя —
езде идут сплошные одни Псы Черутти.
А потом бы я побил все эти зеркала,
потому что, хоть нас, Псов Черутти, и много после дождя,
но на самом деле такая множественность
уменьшает мое собачье достоинство
даже на фоне людей-людей,
которые все одинаковы не только после дождя,
но и в самое пекло и даже зимой в морозы,
и как бы они ни бились — кто обкуриться,
кто обдолбаться, кто украсть миллион
и приодеться, — на наш собачий нюх
они все же остаются одинаковыми, эти люди-люди,
потому что мы чьем запахом души
и повадок, а не только того, что снаружи.
И это у них — гав-гав! — один и тот же на всех запахах.
Исключения бывают, но крайне редко,
как, примерно, добрая сучка
или рыба без костей.
И меня уменьшает не смерть одного из моих подобий,
как сказал однажды ваш проповедник, —
меня уменьшает, когда меня слишком много.
Поэтому псу не надо множить свои же сущности
в зеркалах,
а надо взять бульжник Оккама
и все их побить, переколоматить, раздолбать.
Потому что я велик,
когда меня мало, когда меня почти что один.
Когда меня, знаете, — в общем-то ноль.
Вот тут-то порой и начинается псиное просветление.

Последнее стихотворение Пес написал на подступах к Геленджикку. Он еще много чего написал и, наверное, напишет, и только тут я заметила, что Пеликан давно проснулся и косит несытым своим глазом в мою тетрадку. Он поймал мой взгляд, кашлянул и сказал:

— Отличные стихи. Дайте переписать.

— Не дам, — сказала я. — Это мое личное собачье дело.

— Жадина, — прокомментировал Пеликан, позевывая.

Мы бы с ним и дальше поговорили, но Руслан уже припарковался возле какого-то пансионата, и пришлось вылезать из машины.

Муравей и Венера

Перед нами стоял автомобиль с включенными задними огнями красного цвета, перед гостиницей остывал асфальт, окошки наверху были почти все зажжены и занавешены, и из одного, на втором этаже, доносилось бу-бу-бу мужского голоса вперемежку с песенкой Агилеры, а женский голос — би-би-би — повизгивая, отвечал что-то на провинциальных высоких модуляциях, примерно так, как это делают все девочки, недавно приехавшие в Москву. А поскольку их приезжает много, то почти все девочки в Москве сейчас так и говорят, но они так говорят не только в Москве, но и на курорте они говорят точно так же. Гостиницу строили давно, поэтому она была с колоннами, медальонами на фасаде, плоскими ступеньками и мрамором внутри холла.

У входа росли агавы и была разбита клумба с пахучими светло-розовыми цветами, у которых джин притормозил, тут меня качнуло в последний раз, и время остановилось. В открытую дверь как улитка вползла вечерняя южная жара, погладила по плечам и сползла на колени. Сразу затрещали колесики цикад и запахло морем. Луна наверху встала полная и бледно-желтая, как ананас. Я спустила одну ногу, нащупала асфальт и так и осталась в этой блаженной позе, откинувшись на спинку сиденья. Пеликан вылез через противоположную дверь. Они пытались увлечь меня с собой в дружном порыве, но я не увлеклась — так и осталась сидеть. Тогда они пошли в гостиницу добывать номера, а я сидела

и думала, почему я люблю Шарманщика и все, что с ним связано.

Я также решила, что я люблю и ту бабушку в Туапсе под деревом с журналом про баскетбол. Вот у меня есть Шарманщик, Пеликан, Светка, Руслан, мама с папой и всякие знаменитые и влиятельные люди, которые словно сговорились меня спасать и опекать, а у нее — кто есть? Если у нее кто и есть, то, наверное, они не такие. Ну не такие влиятельные, чтобы ей помогать и как следует о ней заботится. Наверное, ей никто не подарит автомобиль на день рождения, как обещал мне отец, не угостит анашой и не поведет пить шампанское в ресторан. И если я заболею, меня, скорее всего, определят в какую-нибудь знаменитую больницу Москвы или даже Европы, а ее никуда определять не будут, просто положат на кровать в лучшем случае, хочется верить, что все же положат и не забудут про нее.

Мы с ней, с этой старушкой, можем прожить еще хоть сто лет и никогда ничего не узнаем друг о дружке, и, наверное, ей от этого совсем не будет плохо, а мне будет. Я точно знаю про такие вещи, что через какое-то время мне будет плохо, потому что она там сидела со своим глупым московским журналом, а я к ней даже не подошла, и мы больше ничего так и не узнаем о себе вместе. Ее с меня словно кожуру с апельсина содрали, и мне от этого будет нехорошо.

Потом я стала смотреть на автомобиль впереди с горящими тормозными огнями, водитель их так и не выключил, и я подумала: почему? Мне захотелось, чтобы пошел дождь и чтобы я так и сидела — одна нога на улице, другая в автомобиле. Чтобы одна нога у меня промокла, а вторая была сухой и теплой, это было бы как раз то, что надо, то, что я чувствую о себе последнее время. Я попыталась понять, что в том автомобиле с красными огоньками происходит, но там было ничего не разобрать. Я даже хотела подойти и спросить, не забыли ли они выключить эти дурацкие огни, но потом мне стало лень. Я закрыла глаза и стала слушать, как поют прикады. Потом прислушалась — может, отсюда слышен прибой, но ничего не услышала. Наверное, на море был штиль, а может, слишком громко пели цикады и эта Агилера из окна.

Я подумала, что пока мы Пеликаном в Туапсе сидели в кафе, рядом с той старушкой, наверное, полз какой-нибудь необязательный муравей — скорее всего, полз; и он полз, сражаясь со щепками на пути, обходя стволы трав и чувствуя, конечно же, рядом с собой знакомое ему огромное теплое присутствие, про которое он не знал, что — человека, а знал как-то по-другому. Но если все со всем пересекается и бабушка излучала свой тихий свет в пространство, как все живое — как камни, волны, попугаи какаду, деревья и раковины, как сам муравей, то, наверное, они излучили часть своего света друг на дружку — бабушка на муравья, а муравей на бабушку, и когда эти светы пересеклись, они образовали общий рисунок — один на двоих, и он существовал хотя и отдельно от них, но и без них он тоже существовать не мог.

И муравей полз все дальше, ощупывая своими рогами рогами и копытными копытами изрытую, как танками, мелкую поверхность газона, отдаваясь в собственное путешествие, про которое нам вряд ли что можно понять, кроме того, что у него огромное не то, что у нас, и мелкое — тоже другое, но леса с драконами — общие, и он полз все дальше и дальше, проскакивая наудачу подошвы, которые опускались не на него, а совсем рядом, дальше полз, где уже шуршали колеса, а тут понял, что сбился с ориентации, вернее, не понял, а переключился на другой диапазон, напрямую с планетой Венерой, и та повела его прочь от места наибольшей опасности, повела маленького своего героя и любовника назад, к клумбе, чтобы он в безопасности продолжил там свое путешествие и жизнь и чтобы она, сияющая и пагая, как Николь Кидман, могла и дальше сиять и обнажаться с неба над живым своим муравьем, а не над мертвым. Потому что муравьи ориентируются по дальним звездам и ближним планетам, а не по запахам хлорки, перегара и пота, а потом на небо вышли музы и поэты, причем муз было намного больше, чем поэтов, и те из них, что остались без своего поэта, беспризорными, были стальными, и деревянными, и пластмассовыми, совсем в общем-то не богинями, а маленькими существами, которые от беспризорности стали вратать в оставшихся других существ — собак, автомобили и деревья. Они впаивались в них наполовину образуя с ними общую жизнь, и те начинали чувствовать смысл жизни

больше и лучше, чем до этой пересадки, и были тихо полны друг другом, как рисунок, в котором пересекли друг друга светы бабушки и муравья и который так и остался, чтобы кочевать, не распадаясь.

И я подумала, а может, и от меня и Гунтара-Пеликана светы тоже долетели до их — бабушки и муравья — общего рисунка и вилелись в него, а потом, наверное, и дальние звезды, и близкие планеты тоже проникли в него своим вибрирующим светом и вилели свои штрихи в этот светящийся шарик-стратостат, где уже — через свет были не только мы с Пеликаном, но и все, что у нас стояло и лежало тогда на столе, — текила, мороженое, пачка сигарет, и наверное, дерево над бабушкой-одуванчиком тоже — а как же! — оставило в этом шарике свой автограф, расписавшись пульсацией древесной своей жизни, и тот дядька, что запикивал огромную сумку в багажник, и жена его, что стояла рядом и помогала ему жестами, — наверное, и они там тоже присутствовали через свои вибрации.



И теперь понятно, куда девается наше прошлое. Оно не исчезает, а наполняет такие вот общие для всех нас рисунки каждую секунду, как корзины, и наверное, этих рисунков много, и они тоже проникают друг в дружку своими собственными вибрациями света. А те, кто уже умер, все равно живут в этих вечных стратостатах, куда вошли, пока еще были живы, и поэтому нет ничего, что бы пропало, — ни звезды, ни червяка или муравья, ни камня, ни бабушки-оду-

ванчика, ни мужика с сумкой, ни живого, ни мертвого. Вот бы еще узнать место, где эти корзинки хранятся.

От этой мысли мне стало совсем весело, и я подумала, что дошла до нее не потому, что всего пару раз затянулась сигаретой с анашой, которой меня угостил Руслан, а своим собственным ходом мыслей, который мой отец весело называет «гениально-браво!», а мать с тревогой на меня смотрит и советует быть проще. А я и хочу быть проще. Потому что нет ничего более простого, чем дождевая капля, собравшая в себя все вибрации всех существ и душ мира, и это так просто, что и не о чем тут дальше говорить. И если в этом прозрачном шарике, летящем к земле и плывущем на асфальте, не живет все что ни на есть на свете, то вы ничего не поняли. И если в каждой вашей кровинке, по-вашему, не происходит того же самого, то вы все еще все усложняете, а не упрощаете. И поэтому Бог, и ангелы, и миры Его живут в вас и с вами, и от этого не надо ни тревожиться, ни тосковать, потому что вся радость и сила — в вас, и к вам идет мир на поклон, а впереди Венерин герой-любовник, муравей с туапсинского газона, который и есть отчасти вы сами.

Тут мне стало совсем хорошо, и я полностью расслабилась, и самое смешное — стало накрапывать. Я вытянула ногу, чтобы на нее больше попало капель, но тут прибежали Гунтар и Руслан, свирепые, как моджахеды, ни слова не говоря схватили меня под руки и поволокли в гостиницу, а за нашими спинами, вторя салютом суматошному варварскому набегу, слабо пискнул электроникой джип.

Вечер и утро

Вечером мы сидели в шикарном ресторане, куда нас привел Руслан, и к нам за столик подсел пьяный и обкуренный барабанщик Борис Залипьян. Он был лыс, беззуб, глаза навывкате, но костюм был дорогой. Его притащил Гунтар, потому что решил, что Залипьян гений. Он его слушал весь вечер, а потом подошел к оркестру и попросил его к нам за столик. Тот подошел и сел. И тогда Гунтар сказал, что Залипьян гений.

— Борис, — протянул мне руку Залипьян. Потом протянул ее Руслану: — Борис.

Потом мы тоже решили, что он гений, и выпили за его творчество шампанского.

Потом Гунтар встал из-за стола в розовом своем костюме с прилипшим к рукаву укропом, но никуда не пошел, а просто покачался над столом и сказал: «Все было не зря».

И сел.

Залипьян задумался и сказал, что он тоже так считает.

Руслан ответил, ковыряя вилкой в устрице, что было не зря все то, что не было зря.

Гунтар снова встал, перестал качаться и напрягся. Потом он сказал, что зря вообще ничего не бывает, кроме того, что было зря с самого начала. После этого он расслабился и пошел искать туалет.

Залипьян налил себе коньяку, и я решила, что если он выпьет все, что налил, то, скорее всего, рухнет прямо здесь и сейчас. Но он выпил только половину и сказал, что жена его не понимает. Кому он это сказал, было неясно, но я решила, что мне, потому что Пеликан так и не появился, а Гунтар его с самого начала не слушал.

— Она сказала мне, что я ее мучаю, — сказал Борис. — Она принесла мне пистолет своего отца и сказала — застрелись, не могу больше видеть тебя все время пьяным, избавь наши жизни от себя. Я приду через час. Я сидел с этим пистолетом долго и потом решил, что надо застрелиться, потому что жизнь не сложилась. Я бы, наверное, и застрелился, но я этого не сделал. Да, я этого не сделал, потому что она очень сильно на этом настаивала. Вот если бы она не так сильно настаивала, а просто положила бы мне, уходя, пистолет на стол, как бы невзначай, я бы обязательно застрелился. Но она настаивала, и я поглядел в ствол, потом достал с подоконника сметану и налил туда. Потом нашел засохший цветок и тоже туда вставил. Мне было тогда не очень хорошо. Когда пришла жена, она сказала, что я мразь, потому что даже застрелиться не сумел. А через две недели мы помирились, а сметана вылилась отцу в кобуру, когда жена положила пистолет на место, и он долго бранился, не мог понять, откуда там взялась сметана или что там еще такое.

— А где она сейчас? — спросила я. — Жена.

— Не знаю, — сказал Залипьян и поморгал редкими ресницами. Потом встрепенулся и вскочил с места.

— Сейчас. Соло на память! — И косо кренясь, словно парус в бурю, он побежал к оркестру, и тут вернулся Гунтар и стал искать Залипьяна, но не нашел. Он даже заглянул под стол, но на сцену посмотреть не догадался. Он был очень бледный. Потом что-то шепнул Руслану они встали из-за стола и сказали, что пора идти. Наш уход сопровождала невероятной силы и виртуозности барабанная дробь, а медные тарелки лязгали как сумасшедшие, не сбиваясь с такта. Я оглянулась и увидела Залипьяна, слепого, в черных очках, с наморщенным как у тюленя носом, а вместо палочек над барабанами витало облако — так быстро он ими колотил. Я подумала, зачем он налил в ствол сметану, но спрашивать было уже поздно.

Потом я поднялась в свой номер и упала в огромную кровать, застеленную розовым покрывалом. Я заснула, не раздеваясь. Мне снились розовые тюлени и облака, между которыми был натянут гамак и в нем качался Гунтар, а я говорила ему, чтобы он сошел с гамака, потому что очень высоко и он может упасть, но он не знал слова «гамак» и поэтому меня не понимал и продолжал качаться вверх и вниз и тупо улыбаться.

Я проснулась рано и вышла на улицу.

Она была влажная, как слайд или переводная картинка. Все еще спали, и никого не было на улице, только серая кошка, поджав лапы, лежала на белом крылечке у дверей каменного одноэтажного домика напротив и цветки камелии светились в мокрых толстых листьях как фарфоровые электроизоляторы. Шурша шинами, мимо проехал фургон с надписью «Молоко» и свернул в переулок. Я прислушалась. Слышно было только шорох редких капель в листве и тихую музыку радио из чьего-то окошка. И тут мне вдруг стало хорошо.

Я поняла, что найду Шарманщика и что это будет лучшая встреча в моей жизни. Есть такие моменты, когда понимаешь, что обещанное сбудется, как бы все ни сложилось, и в эту минуту перестаешь волноваться и думать, как именно все это произойдет, а просто знаешь, что это с тобой уже произошло, и через некоторое время ты в этом убедишься.

ся, потому что это так же явно и очевидно, как эта пустая утренняя улица или вот этот серый кот, сияющий у дверей, или дужки, в которых отражается перламутровое с голубыми прорывами небо. Мне даже показалось, что теперь я узнала, как можно формировать будущие события своей жизни, — словно бы я ухватила эту тайну, но она, такая ясная и простая, через миг стала куда-то ускользать и таять, и в конце концов от нее осталось лишь необъяснимое убеждение, что сейчас я под водой, а если я хочу, чтобы событие возникло в моей жизни, то нужно просто в него вынырнуть. То есть всплыть там, где оно уже есть.



Дождя уже не было, но с веток все еще капало, если дул ветерок, а море было свинцового цвета. Наверное, Гунтар с Русланом сегодня проснутся поздно, хотя как знать. Конечно, они вчера много выпили, но это их не портило. Я сама пару раз много выпила, наверное, даже слишком много, и меня потом тошнило, но есть люди, с которыми трудно разговаривать, когда они выпьют, а есть те, с которыми легко. Но самые лучшие из них — это те, с которыми легко и когда они трезвые, и когда они выпьют. В смысле — одинаково легко. Но таких мало. С моим отцом трудно разговаривать, когда он выпьет, и я стараюсь уйти погулять или к себе в комнату. Но это все неважно. А важно то, что кошка сейчас спит, привалившись к двери, как будто она уже дома и во-

обще одна на свете, так она уютно там устроилась, и никого нет на улице — ни одного человека, а облака бегут быстро, и слышно, какая тишина.

Я подошла к банановой пальме. Один из листьев обломился и лежал на земле, огромный как ухо слона, и в нем собралась лужица. Наверное, почью был сильный ветер и сломал лист. Да, вот еще что. Был один звук, который я сначала не расслышала, — шум прибоя. Я его почувствовала не сразу, из-за того что он монотонный. А теперь он шумел всюду, и я слышала, как перекатывается под накатом галька, а потом волна бухает в набережную. Он словно проявился — медленно и терпеливо, все время усиливаясь, и теперь был почти грозным, и все равно было тихо. Где-то в кустах засвиристела была цикада, опробовала голос, но потом, словно удивившись, умолкла.

Было свежо и очень красиво.

Как будто вся улица плыла, кого-то догоняя, а то, что она хотела догнать, все время от нее ускользало. Вот когда такое происходит, тут-то и случаются самые удивительные вещи. Словно улица догоняет ту, которой она станет завтра, и уже почти догнала, но немного недотянула, потому что та тоже движется с такой же скоростью. А ты стоишь в этом движении в белой перламутровой паузе, полной тишины и свежести и вспоминаешь полузабытую историю о тевмесской лисе, которая бегала так быстро, что ни одна собака не могла ее поймать. И однажды какой-то афинский охотник подарил одному человеку пса, от которого никто не мог убежать. И когда человек выпустил пса и тот погнался за лисицей, началась странная история, которая сама собой так бы никогда и не закончилась, потому что лиса не могла убежать окончательно, а пес не мог догнать ее раз и навсегда. Вот здесь-то, по-моему, и следует искать область и местность самых лучших событий — между непобедимым псом и ускользающей лисицей.

В таком месте я и оказалась неожиданно сегодня утром, когда облака бегут, а машина, сворачивая, шелестит шинами, из-под которых сзади вздымаются фонтанчики воды с асфальта, и все это никак не может кончиться, и ты понимаешь, что сама не кончишься никогда, пока одна улица не догонит другую. И время уходит, и остается только решать,

какая из улиц красивей, но решить это невозможно, как невозможно не быть.

Но поскольку ничто не может быть вечно, кроме богов, в ситуацию вмешивается Зевс и превращает пса и лисицу в камни. Говорят, их и сейчас можно найти в каком-то лесу в Греции, если он, конечно, этим знойным летом не сгорел вместе с другими. Зависть богов велика, а дом красоты — хрупок. Хорошо, что Залипьян не застрелился и до сих пор так здорово играет на своем барабане. Наверное, жена к нему вернется, или у него будет другая — та, которая ему простит все, даже то, что он не сумел застрелиться. Даже сметану в стволе пистолета и вообще все-все остальное.

Тав и печать Петра Великого

В холле гостиницы я встретила Гунтара. Он был свеж и бодр, только правая часть лица его была розовее левой, словно он загорал на одном боку. Но это было видно, если присматриваться, а так у него был вполне приличный вид. В общем, никто бы не подумал, что он вчера пьянствовал самым простонародным способом — до упора. Он подошел ко мне, двигаясь как-то боком и страшно независимо. Мне стало смешно. С утра некоторые ведут себя до того независимо, что иногда кажется, что это и не человек вовсе, а какой-то небьющийся предмет. А вот вечером мало кто ведет себя независимо, вечером все они — одна компания, причем радушная и как бы остроумная. Не глядя на меня, он сунул мне в руки флешку.

— Вот. Два часа собирал в интернете. Все, что вы вчера хотели узнать про букву тав.

— Про что узнать?

— Вы что, не помните? Вы мне вчера в ресторане целый час рассказывали про философа Соловьева и слабые буквы мира. Вы сказали, что собираетесь углубиться в Мировой Алфавит и что для этого хорошо бы выяснить кое-что про две еврейские буквы — тав и еще какую-то, я не понял. Вы что, любите евреев?

— Я вам это рассказывала?

Гунтар посмотрел на меня, словно что-то соображая.

— Послушайте, — спросил он, — кто из нас вчера напился?

— Вы, — быстро ответила я. Помолчала и смиренно добавила: — И я тоже. Скорее всего. Я не помню этого разговора. Плохо помню.

Гунтар задумался.

— Это от кофе, — наконец сказал он. — Если много выпить, а потом пытаться взбодриться крепким кофе, то память слабеет. Нельзя насиловать природу. Либо расслабляться, либо взбадриваться — одно из двух.

В своем розовом костюме он стоял посреди холла и выглядел утренним гонцом Авроры с перстами пурпурными. В общем, я поняла, что день действительно начался, и начался он хорошо.

— Гунтар, дорогой, если бы вы знали, как я вам благодарна! — сказала я. Взяла у него флешку и поцеловала его в щеку, не удержалась.

Через десять минут я сидела в компьютерном кафе, уставившись на экран монитора.

На нем была фраза «Тав производит впечатление на Всевышнего». И я стала вспоминать все, что знаю про тав, параллельно вникая в те сведения, которые собрал для меня розовый Пеликан. Выглядела она таким вот образом — . «Обратите внимание, — писал комментатор, — что правая ее ножка — вертикальна и соединяет небо и землю, осуществляя их полноценную связь. Левая же вертикаль искривлена, что говорит о возможности человека либо выбрать непосредственное и прямое общение с Всевышним (прямая вертикаль), либо отправиться в своевольные блуждания и исказить свои отношения с Б-м, внося тем самым разлад и хаос не только в свой внутренний, но также и в окружающий мир. Поэтому тав говорит об изначальной свободе выбора».

Это все было вполне разумно и понятно, но никак не отвечало на вопрос, который вдруг приобрел для меня огромное значение: каким образом буква тав производит впечатление на Всевышнего? Вот, например, я или Шарманщик, или Гунтар — мы производим впечатление на Всевышнего? Наверное, я хотела бы производить на Него впечатление. Наверное, я бы обрадовалась, если бы кто-то сказал мне: ты, Арсения, производишь впечатление на Всевышнего, при-

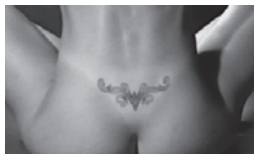
чем самое хорошее и даже предрасполагающее к общению. Я знаю, что на Его сына, Иисуса, производили впечатление совсем неожиданные люди. Например, тот человечек, который залез на дерево, чтобы разглядеть Его в толпе, Закхей. Над ним все стали смеяться, а Иисус с ним подружился и полюбил его, чего, по-моему, никто не ожидал. Еще Лазарь, никому не известный житель поселка под Иерусалимом, видимо, тоже произвел на Него впечатление. И хоть про этого Лазаря никто ничего не знал, но, видимо, Он его тоже любил, раз заплакал, когда тот умер, а потом его оживил.

А вот Понтий Пилат, по-моему, не произвел на Него впечатления. Все эти писатели, Булгаков, например, или Франс, только и расписывают — Понтий Пилат да Понтий Пилат, у него, видите ли, и бессонница, и мигрень, и собака, а я думаю, что все это полная чушь, потому что на Христа он впечатления никакого не произвел. Тот с ним даже разговаривать не захотел. Сказал только под конец, что Его Царство не от мира сего, чтоб тот, значит, не боялся политического соперничества. А ведь именно Пилат решал ни больше ни меньше — распять Иисуса или отпустить. Но, как потом выяснилось, он даже этого не смог решить. Наверное, и поэтому он не произвел особого впечатления на осужденного Иосуа.

Конечно, про Бога всякое говорят. Многие считают, что Ему не до нас. А некоторые говорят, что Бог — это Сила или Любовь, или Разум. И только евреи в Библии сразу начали считать Его личностью. Ну тем, с кем можно общаться в две стороны — и говорить, и слушать. Можно Ему сказать все, что с тобой происходит, и попросить ответить, и тогда Он ответит. Многим Он отвечал не сразу, но все равно отвечал, если они продолжали спрашивать. Потому что, если тебе плохо и ты от этого все время спрашиваешь не переставая, это производит на Него впечатление, и тут Он уже ничего с Собой не может поделать и отвечает.

Я стала читать дальше. Наверное, я хотела найти пример человека, который бы ярче всего выражал в своей жизни букву тав. С примерами всегда легче, чем с идеями. Идеи легко можно перевернуть в свою пользу и извлечь из этого выгоду, а с человеком это сложнее.

Так вот, тав означает «знак», «клеймо», «печать». Наверное, от этого же значения произошло и слово «тавро», как считал В. Даль, хотя я в этом не уверена. А вот что было дальше на флешке:



Кстати, есть факт: в Персидском заливе судно без верхней палубы с парусом характерной формы называлось в древности (у арабов Ормуза) тав, то есть буква в виде слегка скошенного Т (греч. «таυ») может иметь смысл — «мачта парусника». Парусники с горизонтальной, слегка скошенной переключной в Персидском заливе в ходу до сих пор (см., например, символику Кувейта).

В это сообщение я не стала особенно вникать, кажется, там было много путаницы, отметила только про «мачту парусника» и пошла дальше. А дальше стало происходить что-то непонятное и необыкновенное. Самые разные сообщения по поводу этой чудной буквы так или иначе, не сговариваясь, стали сворачивать на тему флота. Про мачту я уже сказала. Потом я выяснила, что старинное написание тав отличалось от позднейшего и выглядело как крестик или греческое X.

И вот что было потом:

Святой мученик Иустин Философ, разъясняя вопрос о том, откуда язычникам еще до Рождества Христова стали известны крестообразные символы, утверждал: «То, что у Платона в Тимее говорится... о Сыне Божиим... что Бог поместил Его во вселенной наподобие буквы X, он также заимствовал у Моисея! Ибо в Моисеевых писаниях рассказано, что... Моисей по вдохновению и действию Божию взял медь и сделал образ креста... и сказал народу: если вы посмотрите на этот образ и уверуете, вы спасетесь чрез него (Чис 21:8) (Ин 3:14). <...> Платон прочитал это и, не зная точно и не сообразивши, что то был образ (вертикального) креста, а видя только фигуру буквы X, сказал, что сила, ближайшая к

первому Богу, была во вселенной наподобие буквы X» (Апология 1, § 60).



Буква X греческого алфавита уже со II века служила основанием для монограммных символов, и не только потому, что она скрыла имя Христа; ведь, как известно, «древние писатели находят форму креста в букве X, который называется Андреевским, потому что, по преданию, на таком кресте кончил свою жизнь Апостол Андрей», писал архимандрит Гавриил. Около 1700 года помазанник Божий Петр Великий, желая выразить религиозное отличие православной России от еретичествующего Запада, поместил изображение Андреевского креста на государственном гербе, на своей ручной печати, на военно-морском флаге и т. д. Его собственноручное объяснение гласит, что «крест святого Андрея (принят) того ради, что от сего Апостола приняла Россия святое крещение».

Дальше я перескажу для краткости своими словами. Тав — «знак» в древней версии имел крестообразное написание и был похож на тогдашний якорь. Поэтому, когда апостол Павел говорил про якорь надежды, он имел в виду тот

же самый тав, «знак». Ну а про Петра Первого и Андреевский флаг и как его изобрел Петр I, поместив тав на его полотнище, где он находится и сейчас на мачте любого российского корабля, я уже говорила. Поэтому, как бы веревочке ни виться, а приходит она к одному и тому же — упирается во флот, в парусник, в якорь и мачту.

В общем, я пришла к выводу, что интернет, как и карты Таро, может совершенно необъяснимым образом сворачивать именно на то, что тебе сейчас важнее всего узнать, а почему бы и нет. По Юнгу, это называется законом синхронности, и если он годится для карт, то и для интернета с его коллективным бессознательным сойдет.

В общем, я на первый раз поняла, что в букве тав собрана сила всех остальных букв алфавита, потому что она — итоговая, заключающая. То есть в ней скрытно содержится весь алфавит. И если тав искажена, то в ней будут соответственно искажены все предшествующие буквы, весь алфавит, и мир, если он хромает, а он, по-моему, не только хромает, но и хромает во время пожара и наводнения в публичном доме, то, значит, он, этот наш довольно-таки подозрительный и шаткий мир, хромает именно на эту букву.

Также тав соответствует последнему каналу, проходя через который, как корабль через шлюз, Божья мысль обретает плотность материи, создает, короче говоря, весь видимый материальный мир. И если этот шлюз — буква тав — не в порядке: скажем, дно корабля корябает о грунт или он едва-едва, этот корабль, ломая бока и мачты, сквозь шлюз протискивается, — то естественно, что в океан он выйдет примятый, полуразрушенный и лишенный своей не только красоты, но и мореходной силы. Вот так происходит и с нашим миром, если он протискивается в неисправную, ослабленную букву (тав).

Значит, отгадка этой буквы явно таится в корабле и всём вообще морском и флотском — путешествиях через море или океан в поисках новых земель, в горизонте без конца и края, и конечно же, в каждом конкретном матросе из тех, кто по той или иной причине на этот поиск отважился.

А значит, если Бога и впечатляет тот, кто олицетворяет тав, то он, скорее всего, одет в матросскую форму.

Шары и комки

Потом Руслан сказал: вот вы не захотели покататься на яхте, а я сказала, что зато видела, как они там стоят и качаются не в такт, как пары в танго, и это было очень красиво, и я ему благодарна.

— Как пары в танго... — Он поморщился, словно проглотил жука. — Ну да. Вы кого все же тут ищите? Брата, приятеля?

— Одного человека.

— Тарзана, да? Того, что живет на деревьях? — Он опять поморщился и улыбнулся одновременно, так что стал от этого похож на благородного страдальца из американского-по-быстрому-фильма.

Мы стояли на террасе пансионата, увитой диким виноградом, который шевелился в ветре, и на полу от этого играло солнце. Пол был цементный и покрыт плиткой с синими квадратами, почти стершимися. Тут же остывал зеленый бильярдный стол. Я встала на носки, а потом на пятки, а потом снова на носки. Мне нравится иногда так раскачиваться на виду у всех. Потому что я знаю.

Я знаю, скажем, что мир вообще больше не состоит ни из дурацкой анаши, ни из отдельных предметов, чаек, например, винограда в вечернем солнце или людей по имени Руслан, Пеликан, Губерман. Мир состоит из слипшихся комков, в которые может входить все что угодно — все, что к ним пристанет, туда и входит. Мало кто может быть самим собой, потому что если он не прилипнет к одному комку — событий-вкусов-людей-власти-искусства, то прилипнет к другому — секса-пьянства-карьеры, хотя на первый взгляд это плохо совмещается, я имею в виду пьянство и карьеру. Но на самом деле они совмещаются неплохо. Не идеально, но неплохо. Вообще в комках иногда совмещаются, казалось бы, несовместимые вещи. Комки эти перемещаются в пространстве по одним им известным загадочным траекториям. В один комок, например, может входить тайная полиция, американская балерина, длинный шарф, который ее задушил, когда случайно намотался на заднее колесо ее открытого автомобиля, а также русский поэт из деревни Константиново. В другой комок может входить ребенок-муж-квартира-дача-телевизор, и практически это все. Это хороший комок,

но грустный. А еще к нему может прилипнуть такой набор: звезда, верблюды, Иерусалимский храм и писатель Бабель, расстрелянный своими же из НКВД.



Все они, как шары на бильярде, все время движутся, причем это движение началось, может, еще во время сотворения мира и, наверное, никогда не кончится. Соприкасаясь, они могут влипнуть один в другой и перенимать у другого кое-какие свойства, но какие именно — непонятно. Могут перенимать кое-какие жесты, истории, героев, буквы или даже пластические образы. Причем все это происходит как тайно, так и явно, как осознанно (что реже), так и бессознательно, что — в основном.

Дело в том, что все со всем слипается, а не должно бы, потому что, если бы оно было свет, то не слипалось бы, а только играло друг с другом, не причиняя другому никакого от этого вреда, как вот сейчас солнечные пятна играют с синими стершимися плитками и зеленым сукном бильярдного стола, высвечивая ярко то один, то другой бильярдный шар.

Вот, например, один человек не хочет, а начинает подражать другому, ну актеру какому-нибудь, хорошо если Марлону Брандо, и тоска зеленая, если очередному голливудскому красавцу, который не в состоянии посидеть или постоять три секунды спокойно, потому что либо все время что-то изображает, либо куда-то бежит, словно ему приспичило, а туалета, чтоб расслабиться, так за весь фильм он найти и не сможет, ясно. Потому что — экшен.

Я видела как-то, как шар девушки со всем его наполнением — массажистка, мечты о Карибах, коротенькие представления о красивом и ее собака, мама, папа, школа, несколько прочитанных книг, кока-кола, Версаче, ТВ — прилипает то к случайному шару мужчины, встреченному на вечеринке, то к шару другого, встреченного у подруги, а потом, заняв у этих шаров несколько деталей и генов, со всего размаха влипает в вообще ничем не интересный шар бизнесмена среднего эшелона, и потом они так слипаются, что хотели бы различнуться, но теперь не могут, потому что их уже и не разрезать, не причинив боли. Такие шары редко бывают красивыми — откровенно говоря, они чудовищны. Но иногда встречаются и фантастические по своей красоте. Описать такой шар — это и значит написать роман. Про свой шар я знаю, и хочу, чтобы он постепенно стал игрой света, а не вязких веществ вроде успешной карьеры, «ты-должна-ты-должен», «девушка-который-час-хотите-секса?», «давай поедem в Сан-Франциско» или лексуса-боулинга-караоке.

Кажется, меня опять занесло, потому что, когда я все это стала излагать Руслану, он выпучил глаза, а потом сказал: разреши я тебя поцелую. Вернее, он сначала меня поцеловал, а потом второпях пробормотал: разреши, я тебя поцелую. Он меня так прижал, когда целовал, что в позвоночнике у меня хрустнула какая-то косточка, а он сказал, что мои ноги сводят его с ума, и мои глаза и лицо, и что он хочет меня прямо сейчас, и хотя это было почти приятно, я яростно высвободилась. Я сдула локон с глаза и подумала, что не буду злиться. Я просто продолжила и сказала: ...ни курортных романов, ни «вперед-на-Гаити». Потом добавила: «Мне что-то не хочется целоваться».

Потом у меня закружилась голова, и я почти что свали-

лась в шезлонг, благо он был под рукой. Это было блаженство — просто расслабиться во всю длину. Наверное, я здесь не буду рассказывать, почему у меня закружилась голова, потому что и так ясно, что такое иногда бывает. Руслан перепугался до смерти и хотел бежать за врачом, но я сказала, что все в порядке, что я еще просто расту. Он сидел на корточках и испуганно заглядывал мне в лицо — красивый такой, озабоченный мальчик с Востока.

Конечно, каждый человек может быть шаром, но он также может и высветлиться до БУКВЫ. Пока он шар и липкий, он не может быть буквой алфавита, алефбета, а когда высветлится и станет игрой света, то может. И когда позади меня в тени винограда тихо заиграли хаясиката, я поняла, что самое главное — это когда солнце это солнце, а ветка это ветка. И когда человек высветлится, это не значит, что он стал просто фиксированной, что ли, буквой и играет теперь служебную роль. Нет. Потому что в каждой букве, а не только в тав, находятся все остальные буквы, причем в самых разных комбинациях, которые они могут легко образовывать, когда такой человек живет. Понятно, что эти комбинации образуют слова, предложения, все вещи мира, потому что слово, имя — первое вещи. Вернее, они — одно и то же. Вот эти комбинации и есть судьба такого человека, его Буква среди звезд. Хаясиката пели своими доисторическими утробными голосами, а на сцене над каменной плиткой зала стоял неподвижно седобородый старец и смотрел на свою дочь Хитомару. А хор пел про меня и про нее:

Она любит рассказы Шарманщика, да!
Она их любит не потому, что они просветленны,
не за их слова и буквы, не потому, что они совершенны
или в них видно голубя и голубку внутри росинки.
Но потому, что через них пробивается свет всех миров,
вошедший в раскрытые утренние ворота,
наверное, он мог бы их и не писать,
но все же нужен невод для света,
но все же нужны слова, мелодии и рассказы,
чтобы однажды душа

стала совсем простой, как свет или божок,
спящий под зданием вокзала,

на продавленном диване, и когда он спит
в отключке, на нем стоит, переступая, ворона.
Через них пробивается свет,

белый, как снежинка на фоне черного джина.
Покажи мне хлопок в ладоши одной ладошью,
а я выну оттуда черепаху выдоха, на которой стоит мир.
Почувствуй в горле влагу, в дереве дерево, в себе себя.

И я подняла руку с бильярдным шаром, жест, означающий совершенное умиротворение в самом центре пожара. Свет, взявшийся неведомо откуда, исходил из рассказов и историй Шарманщика, и мне не хотелось бы быть их героиней, но мне хотелось бы начать новую жизнь в этом свете. Бегать по утрам нагишом вдоль прибоя, читать разные удивительные книги, хохотать от счастья и плакать от жалости, но не так, как сейчас, а совсем-совсем по-другому. Я знаю, как это может быть, но не могу сказать. Но я могу прямо сейчас смотреть на лист дикого винограда, и он становится ПРОСТО ЛИСТОМ ДИКОГО ВИНОГРАДА, а не моими мыслями о нем. Руслан становится просто Русланом, вечным и безначальным, как буква. Тем, на фоне которого он делает все свои глупости — тичится, ухаживает, добивается, не види, кто он такой на самом деле. Каждый из нас, наверное, тот, про кого мы думаем, что он-то и есть Я НА САМОМ ДЕЛЕ. У каждого на этот счет идеи весьма разнообразные. Я чувствовала, что превращаюсь в лист дикого винограда, а значит, в себя, потому что досмотреть любую вещь до конца — это и значит стать собой.

— Тебе лучше? — спрашивает Руслан.

Как же он красив, Боже ж ты мой!

Звезды и водоросли

После обеда пришла тревога. Я бродила по набережной, не находила себе места. Мне снова захотелось куда-нибудь бежать, все равно куда. Я стала думать, что надо вернуться в номер, взять вещи и пойти на пристань. Оттуда ходят скоростные катера до Ялты или Гагры, это неважно, в какую сторону ехать, — надо просто войти в этот катер, сесть там у

окна и смотреть в иллюминатор, как мимо проносится пена под гудение мотора, и тогда снова все будет хорошо.

Я вошла в номер и увидела на кровати глянцевую картинку, маленький прямоугольничек. Ага! Похоже, что розовый Гетсби сюда забирался, потому что рядом лежала его записка. «Эта карта, — писал Гунтар своим безупречным почерком, — соответствует Тав».



Смешно. Рассказы Шарманщика начинались с того, как ему в Краков высылают на мобильный какую-то карту, и тут, в Геленджике, без нее тоже не обошлось. Надо сказать, что к картам я отношусь не слишком серьезно, я в них не очень-то разбираюсь, откровенно говоря. Я бухнулась на постель и поднесла картинку к глазам.

На ней была изображена голая женщина внутри яйца, усыпанного звездами. Женщину обвивал огромный Змей, но было ясно, что он над ней власти не имеет и не может ей причинить вреда. В углах картины были изображены четыре существа — бык, овен, орел и человек. Все они дули изо всех сил, и женщина кружилась под этим вихрем. Сначала она мне показалась нелепой, но потом я почувствовала, что она красивая. На обратной стороне карты было написано рукой Гунтара: «Рассматривай время и все условия события как слуг твоей воли, назначенных представлять тебе Вселенную в форме твоего плана».

Я не стала вникать в это глубокомысленное заявление, которое мой друг Гунтар честно переписал с какого-то сай-

та, и снова перевернула карту картинкой к себе. О чем она мне говорила? О двух вещах: о звездах и об обнаженной свободе. Эти две вещи мне очень нравились. стыдно признаться, но о сексе я почти ничего не знаю, кроме, разумеется, той информации, которую можно почерпнуть где угодно — от молодежных журналов до тупых телевизионных программ с плотоядной и похожей на свинку ведущей. Наверное, передача претендует на шок и изысканность и сама ведущая тоже, но быть изысканной ей мешают простодушные груди крестьянской кормилицы, в какие бы декольте и глянец она их ни упаковывала... Я уж не говорю о ее манере кокетничать и изъясняться — тоска зеленая.

Самое удивительное, что я не девственница, хотя настоящего секса, насколько я знаю, у меня еще ни разу не было. Конечно, надо учитывать, что у меня была та часть жизни, про которую я забыла, и все же все это выглядит довольно-таки глупо. В общем, мне почему-то очень обидно, что у меня никогда не будет первой ночи с любимым человеком, а если что и будет, то начнется сразу со второй. Иногда я переживаю этот факт как некую инвалидность, не очень трагическую и даже смешную, но все же нежелательную и отчасти постыдную.

Наверное, я очень старомодная, хотя мне такого еще никто не говорил. Наверное, для меня это важно — был у меня кто-то или не был. Я где-то читала, в одном христианском журнале, что надо блюсти свою невинность. Смешное слово — блюсти. Но я, кажется, поняла, о чем там идет речь. Хотя, конечно, если я спрошу, например, Светку, блюдет ли она свою невинность, ничего хорошего из этого не получится. Во-первых, потому что она ее не очень-то блюдет, а во-вторых, она решит, что я издеваюсь.

Мне кажется, что секс — от Бога. Я не знаю, как это яснее выразить. Ну то, что он не от другого человека приходит, и не из гляцевых журналов и не для того, чтобы визжать в десятиминутном оргазме, как я где-то прочитала, — а для того, чтобы отдать и получить то, о чем ты про себя еще никогда не знала. Я видела секс собак, и мне это не очень понравилось, хотя, понятно, что это природа. Еще я видела порнографию, совсем немного, ничего особенного, и меня это тоже как-то не очень впечатлило. Похоже на собак, по-

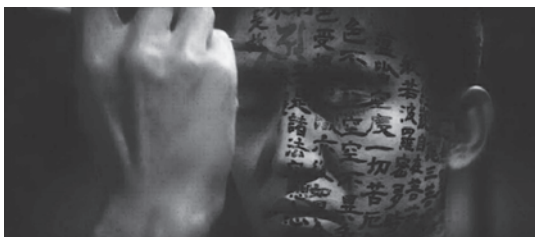
тому что очень грубо. Но и это, наверное, природа. Мне кажется, что если секс это действительно счастье, то все, что я про него знаю, неправда. Потому что счастье не может быть чем-то отдельным — едой, жильем, спортом, сексом. Счастье, это когда ты в нем весь, целиком. Вот как, например, слушаешь любимую музыку, и тебя больше нет. Еще некоторые мужчины мне кажутся привлекательными, а некоторые нет. Причем тот мальчик, который с первого взгляда кажется неотразимым и будит самые сильные чувства, со временем оказывается пресным и скучным. У меня были такие два-три неудачных захода. А иногда ты его и не замечаешь, а потом он возьмет и сыграет на трубе Генделя прямо на кухне, да так, что время на этой самой кухне возьмет и остановится, и тогда после этого тебе трудно думать о ком-то другом... В общем, я в этом плане страшно необразованная. И еще, если мальчик скажет «позвонит», то я с ним целоваться не буду. Сама не знаю почему, просто не тот случай.

В общем, в тот день я никуда не поехала, а заснула. А вечером я пошла на пляж.

Вернее, это была уже ночь, и я вышла на пляж бухты, усыпанной рубиновыми и зелеными огоньками, и побрела вдоль побережья. Оказывается, по прямой было далеко не уйти, и мне несколько раз пришлось возвращаться, огибать какие-то санатории и заборы, и я уже хотела на все плюнуть и пойти за билетом в Гагры, но тут заборы кончились, и я вышла на длинный галечный пляж с редкими бунами. Здесь уже было темно, вернее, фонари не горели, а темно не было, потому что над головой плыла огромная луна, белая и переливающаяся как ртуть. Я посмотрела на нее и постепенно стала сходить с ума.

Я увидела свои ноги словно ноги другой девушки и почувствовала, что в эту девушку можно перешагнуть, что для этого надо только согласиться, и все. Но мне было почему-то страшно. То есть я это была я, я понимала, что эти ноги — мои, но они одновременно были и ногами другой девушки, и я поняла, что если я соглашусь на это, то и руки, и ноги, и вся она войдет в мое тело, которое уже будет совсем не моим, а другим, хотя внешне ничего не изменится. Галька под лунной светилась как сахар в темноте, особенно там, где попадались белые камни, и я сняла тапочки, потому что захотела

потрогать камни своими новыми ногами, в которые только что вошла, и мне от этого стало очень хорошо. Я закрыла глаза, но все равно ясно чувствовала холодные камни под подошвой словно облитые молоком и видела круглую глянцевою луну в небе. А потом я уже не могла сказать наверняка, закрыты у меня глаза или открыты. Я сняла с себя все и



шла совершенно голая. Потом я увидела осколок огромного камня, от которого по пляжу протянулась лиловая лунная тень. Я зашла за него и села на прохладную гальку. Рука моя уперлась во что-то мягкое. Я сначала ее отдернула, а потом разглядела, что это водоросли. Я поднесла рыжую мочалку к лицу — от нее вкусно пахло йодом и морем, и я стала ее есть. Я смотрела на лунное море и ела водоросли, и мне было очень хорошо.

Волны накатывались совсем крошечные и разбивались почти бесшумно, с легким всхлипом. Я услышала чьи-то шаги, приближающиеся ко мне со стороны города, но не стала оборачиваться. Я просто сидела и смотрела на луну и на море. Шаги замерли с той стороны камня, но мне не было страшно. Человек за камнем невнятно бормотал, и я отчет-

ливо услышала шорох ватмана. Он там что-то делал с бумагой. Я слышала, как он водил по ней кисточкой. Я поняла, что он художник. Он там, видимо, рисовал, за этим камнем, а я сидела голая и ела водоросли. Так прошло много времени. Потом я услышала, что он огибает камень. Его шаги остановились у меня за спиной. Я смотрела на луну и на свои ноги. Я видела, что на моем большом пальце облупился розовый маникюр, и краска в лунном свете казалась не розовой, а серой. Я вспомнила, как Владимир Соловьев купался в Ниле. Я слышала дыхание позади, и моей спине от этого стало зябко. Но я не стала оборачиваться. И я не обернулась ни тогда, когда мокрая кисточка прикоснулась ко мне в первый раз, ни тогда, когда он стал заполнять всю мою спину невидимыми мне рисунками и словами. Но потом я их увидела, как видела до этого луну с закрытыми глазами. И когда я глотала слюну, часть слов проваливалась в меня, и тогда на спине освобождалось чистое место и человек с кисточкой продолжал записывать свои буквы. И когда в меня проваливались его слова, то мои уходили, вспыхнув на прощанье, чтобы я знала, что больше их не пойму.

Воспоминания о брате Владимире Соловьеве М.С. Безобразовой, сестры философа

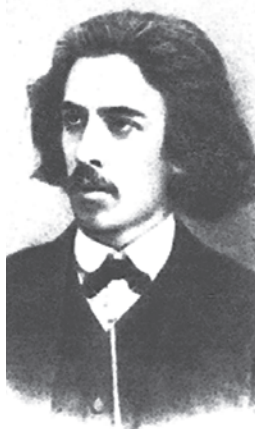
В детской. Упоение игрой. Вдруг одно слово, одно движение, взгляд, и вспыхнули темные страсти — крик, спор, сценились. Звонок в передней, это — брат; идет к себе и будет там работать, писать, может, всю ночь; писать такие умные, чудесные вещи. Вдруг, проходя, заглянет к нам? Войдет, высокий, бледный, худой и такой красивый, с головой, которая, говорят, напоминает голову Иоанна Крестителя! И некрасивое слово не произносится, и руки, поднятые для некрасивого жеста, опускаются, и стыдно, и обидно, и так хочется сказать или сделать что-нибудь умное и красивое!

И еще в детской: игра в сравнения — кто лучше, кого больше любишь?

— Ну по-твоему, кто? Володя или?.. (Называется лицо, к кому мы неравнодушны и о котором знаем, что тоже пишет книги.)

— Ну вот еще глупости! Тут и сравнивать нельзя: тот — земля, а Володя — небо.

Бессознательное чутье совсем маленького ребенка отдавало в нем служителя неба, той красоты, Афродиты Небесной, которой оставался верен всю свою жизнь. И хоть с течением времени я скоро увидела, как много в нем было и земли, от суждения, высказанного в раннем детстве, не откажусь. Так впоследствии, когда приходилось наблюдать



более темные, более тяжелые стороны в характере и натуре брата, все же всегда чувствовалось, что этот человек, безусловно, не способен ни на что низкое или неблагородное и что над ним не имела никакой силы сколько-нибудь мелкая, недостойная или пошлая сторона жизни. Да, в этом отношении он всегда над землей, выше ее и мог казаться небом. А ведь и небо бывает порой такое неприветное, хмурое и зло-

веще-грозное, а то и еще хуже: серое-серое, скучное. Брат бывал мрачен, тоскливо-угрюм, бывал и скучен, когда, например, отправится к каким-нибудь добрым знакомым, сядет куда-нибудь в сторонке да и просидит несколько часов, не разжав губ, а затем встанет и уйдет. Хозяева дома, может, и не взыскали бы за такое действительно неприличное поведение, на то они и добрые знакомые и, зная Соловьева, могут понять, что он, тоскуя и мятясь душой, как это случается со всяким человеком, нарочно пошел к людям, к своим добрым знакомым, в надежде, что, быть может, разгонит хоть немного мрак и тоску; но были гости в доме, и между ними такие, которые нарочно пришли послушать Соловьева, и вот эти-то подобного поведения ему не простят. Простой человек имеет право, когда в тоске и неохота говорить, промолчать хоть весь вечер, а Соловьев нет. На простого человека внимания не обратят, а тут нарочно пришли, — это непозволительно: «Не хотел раскрывать рта, ну и сидел бы в своей комнате; оригинальничает, думает — интересно, а это просто скучно».

Но оригинальничать брату было, безусловно, невозможно: слишком по природе был он для того оригинален и искренен; а потянуло его в тяжелую минуту к людям — значит, он считал их добрее, чем они оказались. Впрочем, брат очень редко позволял себе, бывая скучным, ходить в гости, хотя бы и к добрым знакомым.

А во мне и в детстве, и позднее тяжелое, мрачное настроение брата вызывало всегда страх и тоскливую, недоумевающую тревогу. И не того я боялась, что нечаянно раздражу его, вызову чем-нибудь гнев, — случалось, когда была еще маленькой, брат быстро шагает после обеда, засунув руки в карманы, весь в своих невеселых думах, а в комнатах темно, из передней и столовой падает свет, но он освещает только часть большой залы и гостиной, по углам же и вдоль стен совсем чернота, особенно когда в окна не глядит луна; и так заманчиво жутко нам, младшему поколению, носиться на цыпочках в этой темноте, играя в привидения или летучих мышей; меня же охватывало прямо неистовство; ну вот, случалось, несясь таким образом, столкнуться с братом, попать ему под ноги, да и не один еще раз, и он мог сильно рассердиться, крикнуть резкое слово; но, повторяю, не раз-

дражение его, не крик пугали меня — пугала его мрачная тоска сама по себе, пугала и смущала жалость, охватывавшая при этом к нему. Такой умный, такой необыкновенный, которым так восхищаются, пишет книги, которые могут читать только самые умные люди, отчего он так тоскует? Чем так смущен? И хотелось порой броситься к нему и прилажаться, но не решалась: я, такая маленькая и глупая, даже и читать не могу никаких книг, которые он пишет, как смогу помочь ему? Только еще хуже сделаешь: помешаешь ему думать, а он, наверно, думает все время об страшно важном, о самом важном, а мне вот хоть и жаль его, а все же очень хочется визжать и носиться летучей мышью. Раза два, впрочем, помню, не удержалась, побежала к нему, когда больше никого не было в комнате, и изо всей силы прижалась одной половиной лица к его локтю. Он остановился.

— Что ты?

— Володя, милый! — могла я только прошептать.

Он вынул из кармана руку, не ту, к которой я прижалась, и согнутым по суставу указательным пальцем несколько раз провел по моей свободной щеке. И опять зашагал. А другой раз суставом пальца по щеке моей не провел, а сказал только:

— Ну чего ты, глупая, чего?

И проведение согнутым пальцем по щеке, и прилагательное — глупая, произнесенное особым тоном, означали ласку.

Раздражителен брат бывал иногда и без мрачного или тоскливого настроения, и тогда некоторые вещи легко могли довести его бешенства. Так, например, он совершенно не выносил, чтобы убирали его комнату, то есть его письменный стол, равно чтоб касались подоконников, шкапов, всего, куда он только мог положить книгу, газету, бумагу, записку, так как при уборке все куда-то исчезало, он искал и не находил. Мать же и сестра полагали, что оставлять везде пыль не значит убирать комнату, а в неубранной комнате нельзя жить. И вот иногда в отсутствие брата они сами принимались за капитальную уборку, не доверяя прислуге или боясь, что та действительно что-нибудь не туда положит. Вернувшись, брат часто и не замечал произведенной в его комнате очистки, но случалось и другое: вдруг по дому раздавался крик, от которого, казалось, вот-вот должны рух-

нуть стены, и брат с перевернутым лицом вбегал в комнату матери.

— Мама, да что же это такое! Я не могу найти нужной мне записки, это вы опять перевернули мне все вверх дном.

— Я ничего даже и не трогала, только стерла пыль.

— Но я же вас просил, я вас умолял никогда у меня ничего не касаться.

— Да я и не касалась.

— Как же не касались, когда вдруг исчезла нужная мне записка! Понимаете, она мне сейчас необходима, сию минуту.

— Я пойду и найду, потому что ни одного обрывка старой газеты даже не выбросила.



— Вы ничего не найдете — я все переискал. Нет, что же это такое!

И опять крик, и порой слова, несообразно резкие слова, и угроза уехать, чтоб никогда уже больше не вернуться. Если бы кто из мало знавших брата вошел в эту минуту и услышал этот крик, отчаянным, захлебывающимся звуком произносимые угрозы и жалобы, подумал бы, что случилось большое, непоправимое несчастье.

Слыша эту сцену из соседней детской, я чувствовала, что этот большой человек, обладавший такой огромной духовной силой, что при нем, а иногда и только думая о нем, всегда невыносимо было сказать, или услышать, или увидеть что-либо сколько-нибудь некрасивое, глупое, пошлое, становился минутами совсем маленьким, беспомощным ребенком; и чем громче и неистовее он кричал, тем сильнее это чувствовалось. Злополучная записка иногда скоро находилась, иногда нет — возможно, что брат сам не помнил,



куда ее положил, но находилась или нет, припадок неистовства разрешался так: продолжая кричать, брат бежал опять к себе, изо всей мочи хлопнув дверью своей комнаты. Там на более или менее продолжительное время наступала полная тишина. Потом дверь тихо отворялась, показывалась фигура брата; несколько мгновений он точно колебался, будто прислушиваясь; затем, так же тихо притворив за собой дверь, обычной быстрой и размашистой походкой, но на цыпочках, шел к матери и, войдя, плотно притворял за собой дверь. Брат являлся с повинной и, целуя у матери руки, просил прощения за свою несдержанность. Если потом за

обедом или чаем хоть каким-нибудь намеком вспоминалась пережитая сцена, брат, слегка смущаясь и в то же время страшно горячим и убедительным тоном, говорил:

— И ведь никогда ничего подобного не могло бы случиться, если б вы раз и навсегда оставили мою комнату в покое; и вам и мне было бы лучше.

Мать утверждала обратное. Тогда на лице брата появлялось лукаво-ироническое выражение, и он говорил все тем же горячим убеждающим тоном:

— Положим, я глуп, положим, я очень глуп, до чрезвычайности глуп, но не так же я глуп, чтоб не знать, что мне удобнее и спокойнее.

Эту фразу брат любил повторять каждый раз, как ему казалось, что его хотят убедить, что он чувствует, например, не то, что чувствует.

С течением времени припадки дикого бешенства из-за недостаточно уважительной причины становились все реже и реже: брат усиленно над собой работал.

С ранней юности помимо всякой другой брат взвалил себе на плечи и работу личного самоусовершенствования, и эту работу, как ни тяжела она была порой, исполнял всю жизнь как добрый и верный раб, вплоть до самой смерти, когда он, уж умирая, говорил: «Грудна работа Господня» — или про-снательно книжнито Трубецкую: «Не давайте мне впадать в бессознательность и бредить — я должен молиться».

Мрачное же и тоскующее настроение, равно и раздражительное, хоть и находило на него порой в течение всей жизни, в общем характер его вспоминается мне удивительно мягким и светлым, и очень много было в нем детского, способность же смеяться и дурачиться — совершенно исключительная, так что иногда достаточно было пустяка, чтоб заставить его закатиться самым задушевным, захлебывающимся смехом, разносившимся на далекое пространство кругом. И думается, вспоминая этот смех, что надо было быть или очень несчастным, или беспросветно злым, или безнадежно озлобленным, чтоб не стало весело и не явилось желания смеяться самому, услышав этот смех.

Любил он острить и поощрял чужие остроты; когда сострит кто удачно, он сначала рассмеется, потом скажет: «Запиши две копейки», или пять, или десять, смотря по степени остроумия.

Когда же «ничего не выходило» или чересчур «нахально», брат в первом случае морщился, иногда тихо, точно про себя, произнося: «Вздор»; во втором смеялся и говорил: «Дать ему (или ей) подзатыльник». Любил брат очень Козьму Пруткова и, обладая колоссальной памятью, цитировал его иногда за обедом и чаем без конца. Говорил и свои стихотворения серьезные и шуточные, и стихи Фета, иногда раньше, чем они появлялись в печати. Стихи брат читал, по-моему, удивительно хорошо, необыкновенно музыкально и при этом совершенно просто; шуточные же произносил с совершенно особым комизмом. Иногда находила исключительно дурашливая полоса, и начав с Козьмы Пруткова и разных других шуточных стихов, каламбуров и *bon mots*, брат, что называется, закусывал удила. Мы, младшее поколение, равно и старшая сестра, сама очень остроумная, прямо кисли от смеха, но мать и жившая с нами



и всех нас воспитавшая Анна Кузьминична Колерова, близкий друг всей нашей семьи, иногда бывали строго настроены и не очень склонны поощрять дурачества, уже переходящие известные границы (подобные сцены вспоминаются мне из более позднего времени, уже после смерти нашего отца).

— Ну Владимир теперь уж пошел, пошел... Право, это несколько не остроумно, — говорила как будто слегка даже грустным тоном Анна Кузьминична.

Но брат не унимался, и мы едва сдерживались, чтоб уж прямо не взвыть от восторга.

— Отчего говорят «чернильница», а не «песочница»?.. Вам это не нравится. Ну хорошо... мама, смотрите, вот я возьму самый большой огурец и разом его — в рот.

И действительно, как говорил, так и делал. Мать ужасалась, брат, закинув голову, хохотал, Анна Кузьминична негодовала.

— Ну успокойтесь, я больше не буду, — говорил брат ласково и увещательно.

Несколько минут молчания, потом вдруг самым повышенным и удивленным тоном вопрос:

— Отчего говорят «роза», а не «пэон»?

И выражение лица при этом такое же невинно-удивленное и, как и тот вопрос о произношении слова «пэон» и ударение на первом слого, полно беспредельного комизма.

Хотя я и сказала выше, что всю жизнь, начиная с раннего детства, боялась произнести при брате, или чтоб их кто другой произнес при нем, сколько-нибудь некрасивое, глупое или пошлое слово, но сам брат любил иногда говорить большие непристойности, если они были остроумны или смешны; любил, чтоб и ему рассказывали подобные анекдоты или подлинные факты. Не только позволял он это себе в обществе мужчин, а также иногда и в нашем.

— Владимир, помилосердствуй, — при сестрах! — восклицала с негодованием Анна Кузьминична.

— Да, Володя, пожалуйста, оставь; терпеть не могу, когда начинаешь говорить сальности, — негромко замечала мать и тихонько отталкивала от себя предметы, бывшие у нее под руками, — верный знак нарушенного душевного равновесия.

Сощурившись, брат смотрел на меня и младшую сестру (со старшей, с которой вместе рос, он стеснялся меньше, чем с матерью).

— Мария, тебе есть шестнадцать лет?

— Есть.

— Ну значит, все можешь знать, ибо достигла церковного совершеннолетия и получила право стать женой, а Сена — ей несколько преждевременно, а потому, *Sene, sortez!*

— Но мы тоже не хотим слушать, — громче заявляла мать.

— Ну это вздор, совершенный вздор: поймите — мерзко делать гадость, думать, чувствовать, а говорить бывает даже иногда нужно — *Sene, filez.*

И по выходе сестры брат начинал говорить совершенно откровенно. Иногда это кончалось благополучно, иногда скандалом: Анна Кузьминична, возмущенная до последней степени, вставала и уходила; в самых редких случаях уходила и мать, а чаще обиженно и огорченно говорила:

— Совершенно не понимаю, как это такой человек, как

ты, можешь подобные вещи слушать да еще сам повторять.

— Ах, мама, вы еще меня мало знаете.

— Ну да-да, рассказывай; и охота представляться!

И на такие слова, и на уход Анны Кузьминичны брат отвечал самым задушевным радостным смехом.

Раз, помню, брат вышел к завтраку рассеянно-печальный и как всегда принялся за «Русские ведомости», прихлебывая стынущий в стакане чай. Читая, хмурился, на предложенный какой-то неважный вопрос не ответил. Прочел, отложил газету и, подойдя к окну, стал молча глядеть на небо. На небе было солнце. Вдруг брат чихнул едва слышно, точно сдерживаясь, как-то в себя; звук походил менее на чих, чем на кашель или перханье грудного младенца. Чихнул так раз, и другой, и третий, затем очень громко и довольно крикнул, вернулся к столу и попросил еще чаю. Лицо не было больше хмурым, напротив, совсем светлое, с бесконечно добрым, детски ясным взглядом.

— Доволен, что удалось чихнуть? — спросила старшая сестра.



Брат улыбнулся и молча кивнул головой. Он очень любил чихать, хотя иначе как вышеописанным образом чихать не умел, так что кто не знал, думал, что он терпеть не может и нарочно удерживается; а чтоб вызвать чиханье, говорил, что нет лучшего способа как посмотреть на солнце, только не надо, чтобы в это время кто-нибудь с ним заговорил —

это мешает. Мы это знали, и если замечали его в такой немой позиции перед окном, старались даже не глядеть на его спину.

— О Господи! — сказал вдруг брат, отхлебнув чаю и откинув со лба волосы. — Мама, если б вы знали, как я много нагрешил сегодня ночью.

Мать испуганно закашляла и посмотрела на младшую сестру.

— Не пугайтесь так уж чрезмерно; я погрешил в сердце своем.

— Ах, Володя! И как будто я не знаю, что иначе ты не можешь.

— Ну нет, это вы напрасно. Ну-ну, бедный мамант, не волнуйтесь. Но я ведь вам не раз уж говорил, что всякая маломальски нечистая мысль и есть уже грех, а если б вы знали, сколько мне приходило сегодня ночью самых нечистых мыслей! Ужас! Есть у вас еще чай? Так налейте. О Господи!

Помню, не один раз брат с сокрушенным громким вздохом, и комичным, и совершенно искренним, в котором было опять-таки что-то детское, признавался матери, что много нагрешил в сердце своем. А я любила эти признания: чувствовалось, что этот человек, неустанно служивший Афродите Небесной, не был чужд земных соблазнов, и порой они находили на него как тяжелые злоеющие тучи и давили, и гнули, и бороться ему с ними было нелегко, и тем не менее он вел непрестанную борьбу со всякой нечистой мыслью. И думалось о том, как он часто увлекается женской красотой, а лежит у него в то же время портрет женщины удивительной красоты, с надписью «Ah, bel ermite! tu ne les sauras donc jamais, les tentations de st. Antoine!».

Нет, он их знал; но любовь была для него священной. Влюбляясь же и увлекался брат легко, и легко понимал эти чувства в других, и интересовался ими, с вниманием выслушивал рассказы о всяких любовных историях. Но чуть тут что-нибудь возмущало его чувство красоты, он морщился и говорил:

— Ффа, какая мерзость!

Если же узнавал, что одна сторона страдает от другой и наблюдается несоответствие света и тени, говорил:

— Ну связался черт с младенцем.

Любя всякие дурачества, брат любил давать смешные прозвища и меня по возвращении из Египта, где он пробыл довольно долго, редко называл по имени, а больше египетским чудищем, так как находил, что у меня совершенно египетский тип. Иногда просто обращаясь: «Ну что, египетское?» или: «Ты что еще там ухмыляешься, чудище, фараоново отродье?» В серьезные минуты называл меня сфинксом, а если по имени, то почти всегда прибавляя — «египетская». Анну Кузьминичну называл Анной Пророчицей, потому что она хорошо объясняла ему сны, в которые он верил, как верил во многие приметы, в карты и т. д. По линиям рук предсказывал нам нашу судьбу, равно как по фор-



мам тела и чертам лица объяснял иногда свойства характера и натуры человека. Брат никогда не ездил ни в театр, ни в концерт, и большинство думало, что он равнодушен к музыке и драматическому искусству, но мне кажется, что и тут сказывалась одна из странностей, которых было так много в натуре брата, а не равнодушие. Он часто просил меня петь, называя вещи, которые были его «любимые», и сам, за послеобеденным чаем играя с Анной Кузьминичной в шашки или шагая по комнатам в редкие минуты отдыха, постоянно мурлыкал что-нибудь; правда, совершенно неверно, потому что не имел слуха.

— То есть слух у меня есть, но внутренний, понимаешь, египетское? Я отлично слышу мотив и внутри пою его вер-

но, а голосом не выходит. Особенно любил он один мотив из «Травиаты» и за шашками подолгу упражнялся, чтоб поймать его; и вот вдруг раз ему показалось, что поймал, и действительно вышло почти верно; держа один палец левой руки на шашке, он поднял правую и, глядя на меня ликующими детскими глазами, радостно прошептал:

— А, что? Поймал-таки, — и пропел еще раз, громче, но, увы, опять не вышло: — Нет, не так, что же это? — сказал он разочарованно и смущенно и низко наклонил голову над шахматной доской.

Раз мне случилось брать урок пенья вечером, и брат был дома. Когда, пропев немного экзерсис, я занялась разучиванием арии из «Русалки», дверь из комнаты брата тихо открылась, и он на цыпочках прошагал через залу в гостиную и до конца урока назад не уходил; а потом, когда урок кончился и я убрала ноты, брат вышел из гостиной и направился ко мне.

— Я помешала тебе работать, — сказала я в сильном смущении.

— Вздор! А я действительно не мог писать, когда ты начала петь это из «Русалки»; слушал в гостиной и даже взволновался несколько. Пой, фараоново отродье, пой. — И проведя согнутым указательным пальцем у меня по щеке, повернулся и пошел к себе.

Когда приехала в Москву Сара Бернар, старшей сестре удалось уговорить брата один раз поехать ее посмотреть.

— Ну помни, Надежда, только для тебя еду, а случится что недоброе, уж это — на твоей совести.

Недоброе ничего не случилось, но на другой день, как только заходила речь об этом спектакле, брат закидывал назад голову и говорил:

— О господи, что это было за страданье! О Господи!

И когда он сказал так в первый раз, мы подумали, что страданье было смотреть на муки героини пьесы в искусной передаче Сары Бернар.

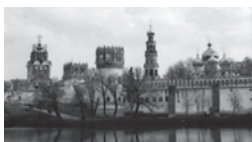
— И вдруг ты, Владимир, повадишь теперь в театры! — сказала Анна Кузьминична.

— Боже меня упаси!

— Но сознайся, что она произвела на тебя сильное впечатление.

— Отнюдь. Впечатление у меня осталось сильное, это верно, но от страдания, которое я претерпел, высидев целый вечер в таком неподходящем месте (как место в театре оно было превосходное: кресло в одном из первых рядов партера) и глядя на ломанье этой госпожи. О Господи!

Между тем, когда я, тоже видевшая Сару Бернар, потом искусно ей подражала, брат очень этим утешался и у нас на журфиксах просил меня изобразить Сару Бернар. Я произносила монологи из «Адриенны Лекуврер» и «Фру-Фру», и брат хохотал неистово и уверял, что вот это несравненно интересней, чем смотреть саму Сару Бернар. А в театре он с



тех пор ни разу не был, и раньше я не помню, чтоб подобное когда случалось с ним; но помню, еще когда я была подростком, несколько членов бывшего тогда в Москве кружка шекспиристов — Лопатины, Венгштери, Гиацинтовы и другие, в числе которых были и друзья, написали одну за другой две оперы-пьесы; одна называлась «Прекрасная Элеонора, или Сон студента после 12 января», другая — «Тезей». Обе вещи были шуточные и представляли нечто совершенно необычайное. Авторы распределили роли, причем и женские для большего удобства и свободы должны были исполняться у разных знакомых. Играли и в нашем доме, причем перед поднятием занавеса актеры говорили, что до того трусят

играть такое перед Сергеем Михайловичем (мой отец), что просят поднести им для бодрости. Суда отца моего они напрасно боялись: он вполне оценил их произведение, и его залиvistый смех часто сливался со смехом брата. Вообще далеко не вся публика в состоянии была вкушать соль этих удивительных творений; некоторые, и даже из тех, что были близки авторам, с недоумением пожимали плечами и, выражаясь мягко, говорили, что это Бог знает что такое. А брат был в восторге и хохотал от начала и до конца пьесы не переставая. Смех его был до того заразителен, что многие, ничего не понимавшие из того, что происходило на сцене, смеялись только из-за брата. Тогда авторы и актеры решили, что ни у кого ни за что не станут играть, если брат не будет в публике.

— Володя, голубчик, поддержи; завтра мы ломаем «Тезея» у Г.

— Завтра! Завтра мне, собственно говоря, надо бы дома... поработать.

— Владимир Сергеевич, ведь нам тогда просто смерть.

— Ну хорошо, буду, буду завтра.

И после того ни одно представление без него не обходилось. Какая бы у него ни была важная работа или другое какое личное дело, брат оставлял его и ехал выручать товарищей. Когда случалось опоздать, актеры без него начинать отказывались. Ездил он выручать и в такие дома, где до того ни разу не был, а так как иногда нелегко было его затащить к новым знакомым и случалось иные подолгу искали случая познакомиться с ним, то явилась возможность использования этой готовности брата выручать и с другой стороны: один человек, желая быть приятным другому, говорил:

— Приезжайте к нам в четверг: шекспиристы будут эту... галиматью свою ломать...

— Ну это мне неинтересно...

— Постойте — Владимир Соловьев тоже будет.

— Играть?

— Нет, в публике, для ободрения актеров: ему нравится, и все время смеется, знаете, этим своим смехом.

Декораций для галиматьи не полагалось никаких, а перед поднятием занавеса в слегка раздвинутые половинки просовывалась голова младшего Лопатина, обладавшего бездон-

ным комизмом, и он произносил, например, следующее:

Знаю, знаю, что вы спросить хотите,

И не жду вашего вопроса:

Действие — на Крите

У царя Миноса.

В «Тезее», между прочим, действовал старец Тимофей, от старости начавший уже впадать в детство и поэтому поступавший иногда совершенно ни с чем не сообразно; так, например, он вдруг появляется на собрании в Афинах решительно без всякого одеяния (устроено это было очень искусно и вполне пристойно); потом, со стыдом прогнанный, является во фраке, чтобы показать, что он умеет быть и передовым человеком. Один из афинян, объяснявший что-то важное гражданам, махнув на него рукой, замечает:

Он близок к сумасшествию —

Ему уже лет двести...

Герольд, прерывая:

Торжественное шествие

Пройдет на этом месте.

Этот же старец Тимофей вдруг появлялся с книгой Гомера в русском переводе и, выйдя на авансцену, дребезжащим голосом начинал читать по складам. Досада, недоумение, голодование других действующих лиц, которым он мешает; а хор в то же время добродушно-радостно, хоть и не без некоторой насмешки, восклицал:

Ах, какой чудной старик!

Позабыл родной язык,

Выдумал иную моду —

Стал следить по переводу.

Когда царь Эгей ждет возвращения Тезея, он велит подать себе подзорную трубу и смотрит в нее, и старец Тимофей, зайдя с противоположной стороны, глядит в нее с другого конца. Эгей, конечно, ничего не видит и вдруг на мотив «Вниз по матушке по Волге» затягивает «Ничего в волнах не видно». Под конец пьесы он горестно заявляет: «Ну теперь мне ничего больше не остается, как броситься в Эгейское море».

На каждом представлении этих двух вещей брат хохотал так, что не только с лихвой восполнял молчанье иногда в большей части публики, но актерам приходилось иногда

прерывать игру. Надо сказать, что актеры были хоть куда, по свидетельству лучших артистов, орлов тогдашнего московского Малого театра, и самых строгих театральных судей и критиков.

Тем не менее многие не могли понять, как может брат так уж восхищаться подобными представлениями, и когда замечали ему это, он говорил:

— У всякого свой вкус — кто любит ананас, а кто и свиной хряц; по-вашему, у меня дурной вкус, не стану спорить, хотя свиного хряща совсем не люблю, а ананас — очень; тем не менее театров ваших не признаю, а это одобряю до чрезвычайности.

Но не одно одобрение заставляло его ехать на «Тезея» каждый раз, как его просили: ему крайне трудно было не исполнить просьбы, огорчить друзей отказом. «Это уж было бы свинство», — сказал бы он в подобном случае о себе, рав-



но как и о всяком другом. Отказывать кому бы то ни было в просьбе брату вообще было трудно. Помню, зайду иногда к матери (случалось это последние семь-восемь лет его жизни) — «Володя нездоров сегодня, — горестно шепчет она, — в три часа встал, такой желтый, надо бы непременно бумажку к звонку, что не принимает, а то пойдут один за другим...»

Слышно — отворяется из комнаты брата дверь, размашистые крупные шаги, входит к нам, приостановился, сощурился на меня, потом улыбнулся, подошел ко мне, наклонившись, коснулся головой моей головы, поцеловал в воздух:

— В первую минуту не узнал тебя (брат был крайне близорук, но никогда не носил ни очков, ни пенсне); пожадуйста, мама, если кто ко мне, не вздумайте сказать, что меня нет

дома. По лицу вашему вижу, что у вас был этот злой умысел.

— Но, Володя, ты же нехорошо себя чувствуешь; могут хоть на один день оставить тебя в покое. Позволь хоть Ф. не принимать, а то он, как придет, так и будет сидеть без конца, знаешь его манеру.

— У каждого человека, мама, свои манеры, и у Ф. вовсе не плохие, бывают хуже. И вот именно его-то я и жду и пришел предотвратить ваши козни.

— Но может же он прийти в другой раз, когда ты будешь лучше себя чувствовать.

— Нет, не может, потому что ему нужно видеть меня именно сегодня, поймите это.

— Я понимаю, но...

— А в таком случае дальнейшее словоизвержение совершенно излишне. — И послав мне рукой поцелуй, брат медленно удалялся, но в дверях останавливался: — Мама, даю вам честное слово, что если вы Ф. не примете, я сегодня же перееду в гостиницу.



Угроза гостиницей на этот раз была не очень серьезна, тем не менее мать видела, что не принять Ф. нельзя. И так бывало много раз. Сам заводить новые знакомства он не любил, слыл у некоторых за нелюдима, за дикого, но когда бы и кто бы к нему ни пришел, он был со всяким внимателен и от души любезен, будь то важное, известное лицо или полуграмотный сапожник. И когда у него просили что, давал все, что имел, без расчета и удержу. Давал свое время и знания, кормил и поил (когда жил в Петербурге — в гостинице), давал книги, платье и белье, давал деньги, часто все, что имел, буквально до последней копейки. И случалось так: извещает брат, что тогда-то приезжает (постоянного местожительства

у брата не было, не считая его поездок куда-нибудь подальше на более или менее долгие сроки, он жил или в Петербурге в гостинице, или в Москве у матери; летом часто гостил у друзей); комната его приготовлена, приходит и проходит назначенный срок — нет брата. Проходит еще день, два — не приезжает. Наконец — телеграмма: здоров, приехать не могу, подробности письмом. Обыкновенно письма с подробностями после телеграмм никогда от брата не получалось; это была его манера — почти никогда не писать, находя это излишним, а в крайних случаях или в высокотожественные дни именин посылать телеграммы, всегда неизменно кончавшиеся словами «подробности письмом». Но на этот раз письмо пришло; брат сообщал, что пришел к нему один малоимущий человек и за невозможностью помочь ему



деньгами, по причине их полного отсутствия, пришлось отдать шубу, от поездки же в Москву — отказаться, так как в легком пальто это не совсем удобно ввиду рождественских морозов.

Многие укоряли брата за его чрезмерную щедрость, иные даже находили, что это вовсе и не щедрость, а только желание прослыть щедрым, то же искание славы и популярности, тем более что очень легко быть щедрым, зная, что мать, сестра или еще кто не дадут ни голодать, ни без шубы зимой сидеть; некоторые находили даже, что, в сущности, это не только не показывает доброты или щедрости, а про-

сто — гадость: все свое отдать, и часто без разбору, первому попрошайке, который еще может сейчас же все спустить в кабаке, а потом у других брать. Простой смертный так делает, скажут — чужими руками жар загребает, а Соловьеву прощается.

Правда что часто и мать, и сестра, а иногда и чужие по крови, но близкие по отношениям выручали брата; иногда узнавали стороной, что, например, Володя отдал новую пару и теперь у него только его старый-престарый шиджак, в котором и у себя в комнате не очень удобно быть, а выйти положительно никуда невозможно, в кармане же 20 к.; иногда сам брат просил дать ему заимообразно и у своих, и у чужих. Знаю, что старшая незамужняя сестра ему никогда не отказывала, но знаю также, что, получив деньги (брат работал много и получал немало), он тотчас расплачивался с долгами, раздавал просившим, иногда, если выходил особый случай, устраивал друзьям обед или ужин, любил угощать, если кто заходил к нему в гостиницу, и обыкновенно скоро оставался без копейки до следующей получки. Тут-то вот и приходилось ему отдавать вещами, если обращался к нему кто неимущий. Быть может, случалось ему изредка и не вернуть долга сестре, от которой ему легко было принять и подарок, допускаю даже, что он умер, не вернув долга и кому из знакомых, которым он, по его полному убеждению, не принес этим сколько-нибудь существенного урона, но заподозрить брата в том, что таковое отношение его к деньгам и вообще имуществу было исканием славы или популярности, могли только люди, совершенно его не знавшие, со стороны же знавших его это — неудавшаяся попытка пошутить и больше ничего. Ведь славы и популярности жаждут тысячи и тысячи людей, отчего же всякий нещедрый в погоне за ними скорее согласится на очень рискованный и некрасивый поступок, чем хоть раз расстаться с нужными вещами или тем более деньгами, столь бесконечно милыми сердцу всякого нещедрого; брат же с ними расставался всегда, всю жизнь, по первой просьбе иногда незнакомого человека; чем больше получал, тем больше давал. Надеялся, что выручат? Но выручали все же не всегда, даже и близкие иногда просто не могли, иногда брат скрывал свое безденежье и, если только к нему в это время ни обращались за помощью, переносил его с самым легким сердцем,

так как лично для себя был баснословно нетребователен; случалось ему знать и нужду, и он потом, рассказывая об ней, заливался безудержным радостным смехом, потому что у матери было уж очень выразительно скорбное лицо. Нахотавившись, брат с лаской протягивал к ней руку и говорил:

— Ну успокойтесь, бедный мамант! И стоит ли делать из-за всякого вздора такое удрученное лицо. Уверяю вас, это совершенно неважно, к тому же дело прошлое.

Помню раз детски-ликующее выражение лица брата, когда он стал вдруг вытаскивать из карманов деньги и класть их на газету.

— Смотрите, мама, какое у меня количество этого презренного металла. Только что получил в редакции... Больше, кажется, нет. — Он щупал карманы, запуская в них большой и указательный пальцы: — А, нет, вот еще, смотрите, смотрите, мама, вот и еще! — Он с радостным изумлением расширял и вновь сощуривал глаза.

— Да что ж ты, не знаешь сам, сколько у тебя денег, что так изумляешься? И как это можно: прямо насыпал в карманы! Так легко потерять; спрячь лучше от греха подальше, да постарайся не спустить их сейчас же.

— Вот именно.

— Что именно? Ах, Володя, это невозможно; сам Бог знает в каком костюме, а деньги у тебя уходят неизвестно куда.

— Ну положим...

— Ничего не «положим»... Право, вот взял бы да и заказал себе хоть новый пиджак, а то просто срам.

— Успокойтесь, мама, вам волноваться вредно; к завтра же от этих денег у меня не останется ничего.

Мать всплескивает руками, брат раздражается неистовым смехом.

— Да куда ж ты столько?

— Нужно, мама, нужно. И кроме того, деньги для того только и существуют, чтоб их тратить.

— Если б твой отец так рассуждал, твои сестры не имели бы ни копейки.

Брат с минуту молчит, издав носом звук, похожий, как если б сильно втянул воздух; он это часто делал, когда чувствовал досаду или смущенье. Отца брат любил особо глубокой и нежной любовью и чтил свято его память.

— У меня, мама, кажется, нет не только пяти, но и ни одной дочери, и едва ли когда будет, а потому я, полагаю, имею право несколько иначе распорядиться своими деньгами; уверен, что папа меня в данном случае одобрил бы.

— Ну уж нет, извини; папа никогда не швырял деньгами, как ты...

— И я не швыряю; разве вы когда-нибудь видели, чтоб я швырял...

— Ну не остри. А эта одна твоя манера давать извозчикам в пять — какое — в десять раз больше того, что следует!

— Что разумеешь под словом «следует»? Я вот сейчас дал извозчику из Гагаринского переулка (расстояние, оплачивавшееся тогда 10–20 копейками) три рубля. Понимаете, это был совершенно несчастный извозчик — у самого болят зубы, лошадь представляет недвижимое имущество; так он сначала не хотел верить, что я ему сурьезно даю. Поймите: ведь он совершенно осчастливлен этими тремя рублями. Мне даже совестно стало...

Извозчикам брат действительно давал несоразмерно много, и плохим еще больше, чем хорошим: плохим труднее зарабатывать. На лихачах же не ездил никогда. Свои извозчики, то есть стоявшие у нас на углу, конечно, все его знали, и только хлопнет наружная дверь, с диким криком мчались к подъезду. Были бы не прочь когда и подражаться, но брат объявил, что тогда не станет с ними ездить и что нужно соблюдать очередь. Случалось ему и подолгу дожидать извозчикам, но они от этого, конечно, ничего не теряли. А приедет он откуда и начнет расплачиваться — вытаскивает кошелек и роется, роется в нем без конца; если вечер, пойдет под фонарь, рассматривает каждую монету, прищуривается. Всякий незнающий, увидев его так, подумал бы; вот боится выронить или ошибиться и дать больше хоть копейкой, скряга! Но брат при своей рассеянности и близорукости поступал так потому, что всегда боялся недодать.

Помню, также поражало меня всегда удивительно внимательное, до последней степени деликатное отношение брата к прислуге, а также ко всем маленьким людям. Среди последних встречались люди маленькие не по положению своему, а просто потому, что уж очень были незаметны, скучны, так что ими все тяготились. Брат и к таковым всегда относился

с особым вниманием, боялся забыть поздороваться или проститься, а если подобное и случалось благодаря его близорукости и рассеянности, отыскивал данное лицо и горячо и чистосердечно извинялся.

— Если я нечаянно не окажу почтения важной особе или мнящей себя таковой и она за это обругает меня свиньей и нахалом, мне все равно, но если маленький, скромный да еще, избави, Господи, забытый человек сочтет себя обиженным мной, это — мерзость, которой я себе не прощу; с такими надлежит быть особенно деликатным — тут уж ни на рассеянность, ни на близорукость ссылаться нельзя.

По воскресеньям с незапамятных времен у родителей, потом у матери бывали семейные обеды, на которые собирались родственники; в числе последних присутствовал иногда такой маленький, судьбой обиженный человек, сядившийся всегда на самое скромное место и во все время обеда не решавшийся произнести слова. Если брат когда опаздывал к обеду, он, видя уже всех за столом, садился на свое место не здороваясь — свои люди, не взыщут, но, сев, сосредоточенно щурился и внимательно осматривал всех присутствующих — нет ли такого маленького человека; и если находил, на всю комнату приветствовал его с бесконечно доброй, ласковой улыбкой и прибавлял:

— Ради Бога, простите, что я с вами не поздоровался, но я так опоздал, что не хотел еще задерживать.

И в буквальном смысле маленьких, то есть детей, брат очень любил, и дети отвечали тем же и шли к нему с полным доверием; и не только шли, а часто лезли, приставали. Он иногда делал нарочно страшные глаза и ехидно зловещим тоном говорил пристававшему малышу: «И не подходи, и не подходи! Соокрррушу!» — и вдруг поднимал голос до дикого крика и рева, но не только ничем этим не пугал малышей, а напротив, возбуждал в них проявление бурной веселости, так как они чуяли в этом, как и должно, только интересную игру в пуганье.

Но когда шалости и приставаньё чрезмерно затягивались или брат узнавал, что такой-то и такой-то младенец или младенец чем-либо удручают родителей и прочих взрослых, обреченных на близкие сношения с ними, он обращался к соседу или соседке и негромко, но убежденно и увещава-

тельно говорил: «Выпьем за доброго царя Ирода». Иногда же не обращался ни к кому, а, подняв стакан, очень решительно и очень громко заявлял: «Пью за доброго царя Ирода!»

Деликатное и заботливое отношение брата к прислуге доходило иногда до чудачества, только вполне искреннего: если когда была ему нужда послать за чем-нибудь горничную или лакея, он не только давал всегда на извозчика, и гораздо больше, чем следовало, но и спрашивался о состоянии здоровья посылаемого:

— Может, слишком скверно на дворе, а вам нездоровится?

— Да нет, Владимир Сергеевич, я сейчас схожу, пожалуйста.

— Но мне совестно, Алексей, вас посылать — вон повалил снег, а вы кашляете.

— Да это самые пустяки, что я кашляю: ноги, верно, промочил.

— Как промочили, почему?

— Да калоши теплые износились, а новых еще не завел.

Брат зашагал к матери и заговорил взволнованно с расстроенным лицом:

— Послушайте, мама, нельзя ли послать Дарью? Мне совершенно необходимо, а у Алексея нет калош.

— Дарье некогда, и какие там калоши? Слушаешь все, что он тебе же наскажет.

— Ах, мама! Пойми же, он кашляет, а калоши худые.

— Он вечно кашляет, меньше бы пил, меньше бы кашлял.

— Володя! — доносится из комнаты старшей сестры ее насмешливо-подзадоривающий голос. — Я тебе советую послать Алексея в карете, а потом растереть ему ноги уксусом.

— Вздор, — говорит брат и смеется.

А через минуту с детски-смущенным лицом идет к себе, ищет по всем карманам, рассматривает, пересчитывает деньги, наконец, опять зовет Алексея.

— Так вот что, Алексей: прежде чем отправляться, куда я сказал, заезжайте и купите себе калоши, вот вам на калоши и вот еще прибавить извозчику за проезд.

— И для чего ты это опять сделал? — сказала мать, узнав о финале истории с калошами. — Ведь он же тебя обманывает.

— Как вам не стыдно, мама! Эдакая у вас подозрительность!

Увы, подозрительность матери оказалась более чем ос-

новательной. Алексей, живший у нас много лет и которому мы все доверяли в крупном, как выяснилось впоследствии, искусно систематически нас обкрадывал и кончил тем, что взял у брата со стола 500 рублей, на которые тот должен был ехать за границу. Брат рассказывал нам потом, как это случилось.

— В доме, кроме меня и Алексея, никого не было, я сказал ему, что на минуту поеду проститься, затем вернусь за чемоданом. Спустившись уже с лестницы и вспомнив, что оставил деньги на столе, решил, что лучше вернуться и положить их себе в карман. Не потому, чтоб я не доверял Алексею, вы знаете, что до этого несчастного случая я ему доверял безусловно, но я люблю деньги иметь при себе, и потом — никогда не следует искушать одного из малых сих. Когда я поднялся, дверь в переднюю не была заперта, я вошел без звонка; иду в свою комнату, Алексей там что-то убирает. Увидев меня, он вскрикнул, побледнел и весь затрясся, очевидно, он только что взял деньги, никак не ожидая, что я тотчас вернусь, оттого, увидав меня, и испугался так. Я же испугался не меньше его, и, разумеется, мне не денег было жаль, это уж второстепенное, а ужасно вдруг увидеть в человеке этот чисто животный страх быть уличенным в мерзости. Однако у меня еще была надежда, что он сознается, и тогда все спасено. Денег на столе, само собой, не оказалось. Тогда я стал просить Алексея сознаться, побожившись в таком случае никому никогда не обмолвиться об этом ни словом. Просил его, заклинал, умолял. Так страшно мне хотелось, чтоб он только сознался, что, умоляя его, я чуть не плакал и с радостью отдал бы ему и все эти деньги. Он сначала, совершенно потрясенный и от страха потеряв голову, бормотал что-то нескладное и невнятное, но как только побожился, так окончательно осатанел и стал громко и нахально меня же укорять, что я возвожу на него напраслину. Тогда я почувствовал к нему уже не сострадание, а полное омерзение, и стало мне крайне скверно. По счастью, в эту самую минуту приехал Миша (младший брат, с которым Владимир был особенно дружен), и с его помощью лихутинский дом (мать жила в нем до переезда в Петербург) был очищен от Алексея. То есть он забрал свои и не свои пожитки и уехал, так как брат и слышать не хотел, чтоб задержать его и пригласить полицию, что бы сле-

давало сделать, так как, когда он перед тем хныкал и причитал, что вот, мол, до чего пришлось дожить, младший брат предложил ему открыть сундук, и тут выяснилось, что хоть денег в нем не нашлось — очевидно, были на самом Алексее, — тем не менее оказалось немало вещей, несомненно, не ему принадлежащих, как-то: тома Истории России с древнейших времен, серебряная ложка с вензелем матери и т. д.

Вспоминая эту печальную историю с Алексеем, брат говорил, что вначале он еще нет-нет да и подумает: а вдруг он возьмет да и явится с повинной — как бы это было хорошо!



Но потом эту надежду потерял.

— И главное, столько лет у нас жил, я был уверен, что он так был привязан к папа и нам всем, и вдруг... — говорил брат с глубоким и горестным изумлением, так как особенно страдал от малейшей измены верности и дружбе и сам исключительно и глубоко сильно чувствовал благодарность за всякую и небольшую услугу.

Помню, как раз он был тронут, что хороший знакомый, с которым он был даже на «ты», привез его домой после одного товарищеского ужина, где брат излишне выпил, так что рисковал не найти своего дома.

— В таком мерзостном виде, в каком я был, он ухаживал за мной, как самая добрая нянька, спасибо ему, и тебе, Надежда, спасибо, но ты сестра.

— Да как же можно иначе? Он вполне владел собой и, понятно, не мог тебя оставить в таком виде, всякий так бы поступил.

— Ну нет, мама, не говорите, не всякий и далеко не всякий.

Брат глубоко вздыхал, и в глазах его было большое страдание. Потом я узнала, что на этот раз он и до такого мер-

зостного вида себя допустил потому, что убедился в несовершенном бескорыстии чувства и в небезупречной верности друга, которому сам раньше верил безусловно. Подобные вещи трудно ему было принять; и когда дело касалось лично его, он, переболев душой измену, прощал и сам оставался верен и неизменен, но за других не прощал и беспощадно громил и клеймил подобные поступки.

Вообще, я замечала, что как ни казался иногда брат ушедшим в свой отдельный от окружающей его обычной жизни мир, задумавшимся минутами так, что, казалось, не видит и не слышит ничего, что творится кругом — бывало это и за обедом, и за чаем, — он в то же время вдруг услышит что-нибудь, даже сказанное тихо, к немалому изумлению сказавшего, и вдруг крикнет: «Какой вздор!» или «Вы опять злословить, перестать сейчас!» А если заинтересуется узнать подробней, переспросит; прослушав, еще скажет: «Вы это знаете наверно, убеждены?» И в случае подтверждения поморщится.

— Ну это уж мерзость, мерзость запустения. Нравственное моветонство! А если внешнее моветонство трудно переносимая вещь, какова же гнусность моветонство внутреннее! Это — ужас!

А иногда сидит совсем мрачный, удрученный и тоже, кажется, душой отсутствующий, услышит что-нибудь или о ком-нибудь хорошее — и вдруг скажет слово одобрения, и все лицо разом просветлеет. Другой раз уловит удачную остроту и улыбнется, и вот уж сам острит и смеется.

К одной из черт брата, глубоко трогательных, надо отнести и его удивительную терпимость, которой я поражалась еще в детстве. Бывало, рассердишься, вскипишь и крикнешь:

— Это идиотство так рассуждать, ничего не понимаете, какая чушь!

— Что ж, ты лучше всех понимаешь?

— Конечно.

Но каждый раз, как при брате возникали подобные несогласия, споры, один громил другого, готов был съесть за несогласие, раздавался его голос: «Ты так думаешь, а она эдак. Докажи, что она ошибается, а не хорохорься по-пустому».

Брату было важно одно: искренно ли человек думает, и одного он не мог принять совсем — это фальши и лжи.

— Мама, если он так думает?.. Ну а если ей так кажется, я в данном случае совершенно одного с вами мнения, ну а... Д. противоположного; если нам удастся разубедить, хорошо, а нет, он будет думать, что правда на его стороне... Мало ли что кому кажется! Но если искренно кажется, это то же самое. Предоставьте каждому свободно думать, как и что хочет, и свободно выражать.



Искреннего и горячего противника своего в самых святых для него вопросах веры брат мог любить, неискреннего и неубеденного единомышленника ненавидеть. Вспоминается мне реферат, который он прочел пятнадцать лет тому назад в Москве и после которого публичная речь окончательно была ему запрещена. «Будет говорить на религиозную тему, ах если б разгромил безверие! А то столько развелось теперь безбожия и беззакония» — говорили или думали с вождедением верующие, христиане, все живущие по закону, и ранее потирали руки.

Зал был переполнен, яблоку негде упасть. Соловьев вышел; бледный, тихий, печальный, смотрит перед собой чуть-чуть прищурившись, но вот приподнял голову, всегдашним жестом откинул со лба волосы, заговорил, сначала негромко, потом голос все креп, могучей, мягко звенящей волной перекатывался по зале, вольно, легко разливаясь до самых дальних концов и углов. Широко раскрытые глаза горят, лицо вдохновенно и все словно светится. Соловьев громит,

голос растет, и кажется, один этот человек в зале, один звук наполняет весь воздух кругом — его голос. Соловьев громит беззаконие... власть имущих законников, безверие верующих и христиан...

...Брат был полувегетарианцем, то есть не ел мяса, но за этим же обедом он сознался, что очень долго вид и запах мяса был ему крайне приятен — так хотелось его, и особенно искушала ветчина. А многие думали, что брат совсем легко может «питаться воздухом», мясо же ему просто противно. И действительно, порой приходилось ему бывать на пище св. Антония, и он при этом чувствовал себя легко, а потом рассказывал о подобных периодах со смехом. А если мать ужасалась, говоря, что так он совсем уходит себя, брат хохотал громче и говорил:

— Какой вздор! Во-первых, мама, я рассказываю это ради шутки, чтоб увидеть, какое вы при этом сделаете лицо, во-вторых, сколько раз я вам говорил, что, главное, об этом нужно как можно меньше думать, не то легко можно впасть в омерзительный грех чревоугодия; а вот если уж хотите, так сказать, вознаградить меня за прошлое недоедание, от чего я, впрочем, ни капли не пострадал, озаботьтесь, чтоб сегодня вечером было красное вино, ибо я жду Ф—и. — Видя при этом неожиданном заключении разочарование и смущение матери, заливался безудержно.

Да, ни против одного из видов чревоугодия брат не погрешил ни разу в жизни ни делом, ни мыслью, но в употреблении вина бывал иногда неводержан, когда его угощали или он угощал других по поводу какого-нибудь события. Иногда просил у матери, чтоб она, уж так и быть, разорилась для него на бутылку красного, но редко; сам же только для себя денег на вино не тратил. Любил чай и мог выпить невероятное количество; пил обыкновенно очень крепкий и без ничего, даже без хлеба. Иногда заранее предупреждал, что будет пить много, и настоящего чаю, а не «помой», другой раз пил и «помой», не соглашаясь, чтоб заставляли прислугу опять ставить самовар для новой заварки чаю.

Думается, что и некоторое пренебрежение брата к туалету, которое иные судившие поверхностно объясняли тем, что брату все равно в чем ходить, происходило никак не от равнодушия его к красоте одежд, а было того же происхожде-

ния, как и мнимое равнодушие его к вкусовым ощущениям.

— Послушай, Надя, — сказал он раз сестре, — нельзя ли как-нибудь поделикатней, чтоб не обидеть, посоветовать И., чтоб он не носил таких галстухов; ты должна это сделать. И вообще он одевается несколько моветонно. — Брат поморщился, точно услышал скверный запах: — Разве нельзя его в этом исправить?

— Ну знаешь, — заметила мать, — тебе не мешает о собственном одеянии подумать: нельзя же, в самом деле, так ходить.

— Как «так»? Надеюсь, вы не думаете, что я когда-нибудь бываю одет моветонно?

— Надо новую куртку сделать — на этой уж лица нет.

Брат стал внимательно себя оглядывать.

— Разве куртке полагается иметь лицо? — тихо и недоумевающе-серьезно проговорил он. — Я с вами, мама, не согласен, — куртка как куртка, и чтоб доказать вам это, сегодня же поеду в ней к Х. (называет одну из великосветских фамилий).

— Да ты уж не срамись, а хочешь этого непременно, так хоть мне-то по крайней мере не говори.

Брат раздражается таким неистовым хохотом — вот сотрясается потолок и рухнет лампа.

— И чего смеется! Разве я неправду говорю? Не понимаю, как можно в таком виде к товарищу отправляться, а не только...

Хохот усиливается, заглушает ее слова; наконец в перерыве брат произносит:

— Увы, мама, как давно уж, значит, и в скольких газетах я посрамлен раз и навсегда.

— А еще недавно старушка А. мне опять повторяла, — вдруг другим тоном говорит мать, — как бы она была счастлива, если б ты хоть на минуточку к ней заехал.

— Ну вот видите, мама, как вы сами себе противоречите: при чем же тут моя куртка?

— Да как при чем?.. А ты все-таки съездишь как-нибудь к А.?

— Непременно, потому что я обещал.

— Так уж хоть к ней-то надень сюртук. И он плох, а все же приличней.

Брат как бы задумывается и глубоко вздыхает:

— Ну так уж и быть, из уважения к вам, а также ради почтенных лет А.

— Да есть ли у тебя галстух? Ты вот у других замечаешь, а сам совсем без галстуха ходишь.

— Да, этот предмет мне представляется почти бесполезным и за редким исключением я его употребление упразднил. Но согласитесь, мама, — ведь вы всё нападаете, что я плохо одеваюсь, — согласитесь, что собственно моветонного вы никогда на мне ничего не видали.

— Да кто тебе про это говорит?..

— Ну а это самое главное. И значит, вы можете успокоиться и больше ко мне с этим не приставать.

— Но ведь всему бывает конец, и куртка твоя износилась до невозможного; никто из чужих тебе этого не скажет, а я должна: она, кроме того что местами блестит и протерлась, она ко всему еще страшно грязная.

— Вздор, — говорит брат уже несколько смущенно, — можно еще скипидаром...

— Нет, уж я отказываюсь: ее больше скипидар не берет.

— Ну так я сам. А в следующем месяце, может быть, закажу новую.

— Еще только может быть?

— Да, мама, наверно я вам этого сказать не могу. — И брат смотрел серьезно и озабоченно.

Присутствуя при подобных сценах, душа моя ликовала: так упорно торговался из-за новой куртки, из-за галстуха или сапог человек, постоянно плативший четвертные суммы извозчикам, одеявший прислугу, шарманщиков, нищих, отдававший иногда совсем постороннему, а то и незнакомому неимущему последние деньги, потому что «их иногда этим прямо осчастливишь, для них это — важно, а для меня — последнее дело».

Но, отправляясь после такой сцены куда-нибудь в гости, брат усиленно хлопал и тряс свое платье, чтоб стряхнуть с него пыль, затем поливал щедро скипидаром и искренно был убежден, что так по крайней мере оно чисто и не моветонно, остальное неважно. Одна знакомая старая дама, вечно опасавшаяся за брата, подарила ему огромный красный шарф, ею самой связанный. Вот обмотает брат этот шарф

много раз вокруг шеи, концы болтаются несколько странно, но и живописно; и так его характерная фигура и голова оставались на себе внимание, а уж тут за версту узнаешь. Кто-то как-то подшутил над этим шарфом, найдя его вовсе некрасивым. Брат обиделся за подарившую и с негодованием сказал:

— Если б он и был не такого прекрасного цвета, я бы все же носил его с удовольствием и благодарностью, потому что М. П. трудилась над ним, думая о моем здоровье.

Скиншдар брат любил употреблять не только как пятно-выводящее средство, но и как дезинфицирующее; к числу его странностей надо отнести его страх заразиться исключительно дурной болезнью. Вообще, он ничего не боялся, но к этой болезни он чувствовал прямо панический ужас. У нас был знакомый, иногда приходивший и обедать, который казался несколько подозрительным по части состояния своего здоровья, хотя сколько-нибудь положительно на этот счет никто о нем не знал.

— Мама, как мне быть? — с крайним смущением сказал раз брат. — Вдруг Д. захочет со мной христосоваться? (Дело было на Пасхе.)

— Ну так что ж?

— Как «что ж»? Вы же знаете, какие у меня подозрения на его счет.

— Пустяки, ничего у него нет, просто горло не совсем в порядке, а теперь уж и лучше гораздо.

— Ну нет, это не пустяки, это — ужас.

— Какой там ужас?

— Вы же сами раньше говорили, что подозрительно.

— Ну а теперь больше не говорю.

— Вы безусловно уверены, что это так?

— Ах, Володя, да что я — доктор, что ли, и он у меня лечился!

— Ну вот видите, мама, в какое вы меня ставите невозможное положение!

— То есть почему же это я тебя ставлю, скажи на милость?

— Да как же не вы! Он прежде всего ваш знакомый, и, кроме того, вы, как хозяйка, должны были бы обо всем этом позаботиться, принять меры, ну я не знаю, что именно... это ваше дело.

— Помилуй, Володя, что ты такое говоришь!..

— Не делайте такого уж чрезмерно огорченного лица, — не удержался и рассмеялся брат, но через минуту продолжал, по-прежнему смущенно и серьезно: — Поймите, не могу я обидеть человека, да еще гостя, да еще на Пасхе, если он пожелает меня поцеловать, а я от него — как от зачумленного.

— Так зачем же так — как от зачумленного?

— Ну а если я заражусь, что вы тогда скажете? Каково это вам самим будет?

— Да почему же непременно заразишься?.. Вздор придумываешь, как же никто из нас этого не боится!

— Вы, как женщины, находитесь в привилегированном положении: он у вас руку целует, это другое дело. Если б он еще целовал на воздух, а то я заметил, что у него скверная манера целовать прямо в губы.

Приходил Д., трижды целовал брата, и тот приветливо отвечал ему тем же, а потом незаметно исчезал в свою комнату, чтоб вымыться и облиться скинидаром.

Хоть брат и выражал свое смущение матери полусутою, до известной степени он страдал, принимая подозрительные поцелуи Д., хотя тот, конечно, опасности не представлял. А между тем в другую Пасху довелось мне стать очевидцем следующего; мы жили тогда в одном из переулков Арбата, и окна нижнего этажа квартиры приходились совсем низко над землей. Пасха была поздняя, окна выставлены; вхожу в столовую и вижу: окно настежь, брат сидит на нем спиной к комнате, спустив ноги за окно на тротуар, и христосуетея с очень непривлекательным на вид, грязным, пьяным нищим. А крутом собрались свои и не свои извозчики и с большим утешением смотрели на эту сцену. Смеялись громко и восклицали умиленно: «Ну что ж это за барин за такой задушевный! Что это за Владимир Сергеевич!»

Нищего, конечно, брат оделил и деньгами, яйцами и вина ему поднес. На все это вышедшая в столовую на шум и хочот мать смотрела очень кротко, не выражая ни малейшего желания к какому бы то ни было противлению; но когда осмелевший нищий захотел войти в квартиру и полез в окно, она решительно запротестовала.

— Нет, нет, этого я не хочу: пьяный, с улицы...

— Только прошу вас, не оскорбляйте его ради праздни-

ка... говорите по-французски. О, почему он пьян? Он только слегка навеселе. Вы имеете возможность иначе справлять праздник, а он, вероятно, нет...

В эту минуту нищий повел себя не совсем приятно, и даже брат хоть и со смехом, но принялся затворять окно.

— И вот с таким ты целуешься! Тут действительно какую угодно заразу можно схватить.

Пораженный, брат широко раскрыл детски-испуганные глаза, потом смущенно заморгал и потянул носом воздух.

— Что же вы мне раньше не сказали!.. Впрочем, вздор, — благодушно рассмеялся он, — с какой стати! Ничего в нем похожего нет. — И зашагал по комнате, задумчиво щурясь и напевая.



Думается, что вышеприведенного достаточно, чтобы показать, как много в его страхе скверной болезни вместе с глубоким чувством отвращения и почти панического ужаса было и так свойственного ему искренне-детского дурачества, вроде того, как иногда дети сами себя пугают букой. И меньше всего был он способен думать и заботиться о собственном здоровье, потому и жизнь вел очень негигиеническую, работая иногда все ночи напролет, так что, когда мы вставали, он только ложился и порой забывал совершенно о нище и отдыхе.

Так и вижу, какие бы он сделал огромные, совершенно непонимающие глаза, если б ему вдруг сказали: «О Володя, а ты не думаешь, что вот это вредно, а то — полезно?» А в следующую минуту сказал бы: «Что за вздор!» — и рассмеялся бы так задумчиво и заразительно, что и задавший вопрос ответил бы тем же и усумнился бы: не сказал ли он, правда, нелепость.

Брат любил ходить и мог ходить много, но прогулки делал только летом, когда случалось быть в деревне или на даче, в городе же всегда, и даже на самое маленькое расстояние, брал извозчика. На даче любил уходить подальше, в уединенные места, говоря, что во время таких прогулок хорошо думается.

Природу он любил глубоко и нежно, но на словах выражал это редко. Помню, однако, два случая, когда меня поразили его лицо и тон, и я подумала: как он должен сильно чувствовать природу! Первый раз это случилось зимой, мы вернулись из оперы и собирались пить чай; пользуясь случаем получить свой любимый напиток, брат тоже пришел в столовую и в ожидании своего стакана подошел к окну, не завешенному шторой, и словно застыл перед ним; за окном была тихая морозная ночь и полнолуние. Лучистое серебристо-голубое небо наверху, лучистый серебристо-голубой снег внизу.

— Володя, пей чай, — сказала старшая сестра, — что ты там стоишь? От луны все равно не чихнешь.



Брат не отвечал. Я подошла и заглянула: лицо у него было радостно и печально-растроганное.

— Как хорошо! — сказал он чуть слышно. — Какая удивительно прекрасная ночь! — И через минуту, взглянув на меня, прибавил громче: — Пой «Casta diva»!

Другой раз это было летом и гораздо позднее; я с мужем и с ребенком жила в деревне. Вдруг как-то, уж близко под вечер, совершенно неожиданно приезжает брат. Дали ему чаю и малины, он объявил, что пока этого вполне достаточ-

но, чтоб не умереть с голоду до ужина (целый день ничего «не удалось» поесть), и предложил пойти пройтись. Объяснили ему дорогу, и он пошел вперед, так как мы с мужем минуту задержались. Потом выходим из калитки, смотрим на дорогу — где ж брат? А он поднялся на небольшой бугор с краю дороги и стоит там неподвижно, смотрит вдаль. Окликнули — не отвечает.

— Наверно, чем-нибудь зачарован, — сказала я.

Взобрались тоже на бугор, подошли к нему, он обернулся, и опять я увидела глубоко растроганное, радостно-печальное и светлое-светлое лицо.

— Какая удивительная тишина! Какая необыкновенная, великолепная тишина! Слышите? — проникновенно сказал он и, прислушиваясь, поднял в воздух указательный палец правой руки.

Была действительно в природе та полная и так много говорящая тишина, которая случается иногда теплыми вечерами конца лета перед закатом солнца. Тишина звуков, тишина красок: ни яркого света, ни резких теней, день был серый, и теперь все небо в мягких, пушистых серо-белых барашках; за ними туда, к западу, к стороне большого дальнего леса, — солнце, но его не видишь, только чуешь, оно еще покажется сегодня, не даром вон там края серо-белых облаков чуть-чуть золотятся; но пока оно притаилось.

Постояв с минуту, мы пошли к полю, и брат заговорил — и серьезно, и шутя, и острил, и смеялся, и опять говорил о важных предметах, но время от времени прерывал свою речь, останавливался и, подняв палец, негромко произносил: «Но обратите внимание, какая тишина! Какая совсем удивительная, великолепная тишина!»

Способность дурачиться, «как самый маленький ребенок», по выражению Анны Кузьминичны, брат сохранил всю свою жизнь; кроме того, были в нем самом такие смешные странности, которые давали повод уже другим подшучивать над ним; иногда было совсем нетрудно и раздражить его, тоже совсем как маленького ребенка. Помню, например, как раз он пришел в полное отчаяние, потому что ему показалось, что он потерял вязаный розовый башмачок с ноги ребенка женщины, которую он любил и от которой получил его в подарок. Башмачок этот как талисман носил он в боко-

вом карманчике жилета у груди, изредка вынимал, любуясь, смотрел на него с улыбкой, иногда целовал и опять бережно прятал. Показывал его далеко не всякому, а кому доверял, и то только в более радостные минуты. И вот вдруг хватается за грудь, в карманчике — пусто: драгоценный башмачок исчез. Отчаянные возгласы, шарканье по комнате, потом устремление к матери и старшей сестре.

— Мама! Надежда! Да что же это такое! Наверно, вы опять вздумали бессмысленно шутить надо мной, пропал мой башмачок!



Мать молча только отмахивается руками, сестра из своей комнаты кричит: «Глупости, глупости, и не думала брать, — довольно с меня разу, неинтересно. Ищи хорошенько!»

Брат опять бросается в свою комнату, но через несколько минут возвращается, держа в приподнятой правой руке бережно, двумя пальцами, розовый башмачок! На лице и радость, и смущение, и виноватость. Две капли воды видала я такое выражение на лицах младшей сестры и моих дочерей, когда они были совсем-совсем маленькими.

— Ну что я говорила! — заявляет не без некоторой обиды в голосе сестра. — Запрячет куда-то свое сокровище, а потом еще кричит.

— Не знаю, каким образом вдруг очутился на диване, — недоумевает брат.

— Ну что ж ты так держишь? Чего доброго пыль сядет: целуй скорей и прячь на сердце.

— Ддурища! — смущенно и виновато смеясь, как ребенок,

изобличаемый в чем-нибудь секретном, произносит брат, но, отвернувшись, производит точь-в-точь то, что сказала сестра, и уходит к себе.

Слово «ддурища» и другие, несравненно более сильные ругательные слова брат часто употреблял как ласкательные.

— Володя, сознайся, сколько слов прочел из полученного вчера письма? — спросила как-то та же сестра, когда мы сидели за завтраком, а только что вставший брат пил чай и читал газету.

Он поднял голову, ответил таинственно-серьезно «шесть» и вновь наклонил голову к газете. Только сведущий человек заметил бы, что он при этом несколько раз осторожно коснулся рукой груди, где был боковой карманчик. В карманчике — письмо: от той, которую исключительно любит. Получив такое письмо при ком-нибудь, брат, не распечатывая, прятал его в карман, и по этому маневру да по выражению просиявшего лица присутствующие догадывались, от кого письмо. Оставшись один, брат его распечатывал и смотря по его длине и некоторым другим соображениям — как, например, когда он рассчитывал получить следующее от той же особы или когда оно требовало ответа — читал за один раз по строчке, по фразе, иногда даже по слову и опять прятал письмо.

— Не понимаю, как это ты так можешь, — сказала раз сестра.

Брат взглянул на нее с глубоким удивлением.

— Чего ж тут непонятного! Если б я прочел все сразу, впереди не было бы никакого утешенья, а так я для блаженства. Ну а с другой стороны, это учит и самообладанию.

— А отчасти немного есть тут и дури, уж признайся, — посмеиваясь, заметила Анна Кузьмична.

Брат рассмеялся.

— Может быть, ваша пронизательность и тут видит верно, может быть. Во всяком случае, эта дурь мне настолько прирождена, а для других безобидна, что я имею намерение остаться ей верным.

Когда брат защитил диссертацию на доктора «Критика отвлеченных начал» и, получив экземпляры на веленовой бумаге, стал развозить ее друзьям и знакомым, он придумал три надписи: 1. «В знак почтения, а также для про-

чтения»; 2. «Пожалуй, для прочтения, но больше в знак почтения»; 3. «Отнюдь не для прочтения, а только в знак почтения». А когда мать заметила, что «как бы кто не обиделся на последнюю», брат, смеясь, отвечал: «Мама, я не имею ни малейшей претензии, чтобы все понимали мою книгу, о которой слышал, что некоторые говорят, будто она написана умышленно неудобопонимаемым языком. Моя первая обязанность — избавить хороших знакомых, тем более друзей, от столь неприятной и непроизводительной траты времени, как чтение подобной вещи. Между тем как же мне показать свое почтение и что мне ни капли не жалко подарить книгу? Войдите же, наконец, в мое положение!»

Необыкновенно ярко стоит передо мной образ брата (как будто это было вчера) в самые последние дни жизни нашего отца, во время его смерти и в последующие за ней дни. Доктор накануне сказал, что отец не переживет ночи, но ошибся — отец жил еще весь следующий день; мы все безотлучно находились при нем в его комнате. В столовой в назначенные часы подавался завтрак, и чай, и обед, блюда стояли, стьли и нетронутые опять уносились в кухню. Но вот около семи часов вечера нам всем показалось, как будто отцу стало несколько лучше, и Анна Кузьминична уговорила нас пойти в столовую постараться хоть что-нибудь съесть; с отцом остались мать и старшая замужняя сестра, перед тем уходившая к себе и вновь пришедшая с мужем. Есть мы не могли, но стали пить чай, и брат попросил как можно крепче. Пили в полном молчании, вдруг брат сказал: «А что если наука ошибается, и папа останется жив!»

Но в эту минуту вбежал лакей, говоря, что мать зовет всех. Когда мы вновь окружили диван, на котором лежал отец, началась тихая агония, длившаяся всего несколько минут, и когда не стало слышно дыхания отца, ударили в нашем приходе ко всеобщей, так как это было накануне праздника четырех святителей, а по небу пролетел огромный редко яркий метеор. После всеобщей была у нас панихида; позже, когда уж все разошлись и наступила ночь, брат сказал, что до утра не надо чтеца — он сам будет читать над отцом. Младший брат и я вызвались чередоваться с ним и не пошли к себе, а остались в зале и притворили дверь в гостиную, чтобы чтение не было слышно в жилых комнатах.

— Было бы самое лучшее, если б мама и другие могли хоть сколько-нибудь уснуть, — сказал брат и пошел к столу, на котором лежал отец, и стал читать. После него читал младший брат, потом я, потом опять Владимир. Когда он начал читать, только на первых словах голос чуть срывался, потом совершенно окреп, и читал он так проникновенно и хорошо, что становилось светлей и легче и не так мучитель-



но жаль тех, кто в это время так плакал у себя в постелях. Срок нашего чтения брат все сокращал, своего удлиннял, а под утро положил мне руку на плечо и очень грустно, но в то же время очень решительно сказал:

- Поди ляг.
- А Миша?
- И Мишу скоро отправлю.
- Как же ты один?
- Мне ничего, я не устал.

Утром при первой возможности я встала и пошла в залу — там уже читал дьячок из нашего прихода. Я спросила лакея о брате.

- Владимир Сергеевич сию минуту только к себе вниз

прошли (в той квартире брат жил вроде как бы в подвальном помещении, где у него было полторы комнаты), а Михаила Сергеевича все ж таки пораньше уговорили лечь отдохнуть. Да Владимир Сергеевич и сейчас не легли: просили им холодной воды дать, голову мочили, теперь сели, не то читают, не то пишут что-то.

Повернув опять в детскую, я в коридоре столкнулась с горничной Дарьей.

— А Владимир-то Сергеевич, ангел небесный, как в одну ночь с лица изменились! Даже жалости подобно.

К утренней панихиде приехала одна близкая наша знакомая; сначала сидела у матери, потом вышла зачем-то в переднюю и, тихо плача, говорила Анне Кузьминичне: «А Володя-то, голубчик, золотое его сердце, как он изменился! Я просто ахнула, когда увидела. До того он любил отца! А еще иные считают его холодным и эгоистичным!.. Никогда в жизни не видела эдакой перемены в такой короткий срок! Точно годы и годы мучений перенес... А взгляд несмотря на это до того светлый и добрый, что просто всю душу мне перевернул».

Прошло много дней после смерти отца, прежде чем я увидела на лице брата улыбку. Плакать он совсем не плакал, только время от времени как-то особенно вздыхал и отдувался, точно ему не хватало воздуха.

Я совсем не помню, чтобы брат болел; иногда говорил, что голова болит, лихорадит и он воспользуется этим случаем, чтобы никуда не выходить. Голова у него, случалось, болела и от бессонниц, которыми он часто страдал; но острой серьезной болезнью он на моей памяти заболел только раз. Это случилось весной, если не ошибаюсь, в апреле, незадолго перед тем, как Москва начала готовиться к коронации Александра III. Время тогда было «волнистое», как выражался один знакомый, а для брата и в личном отношении: он всю зиму перед тем ждал и надеялся, что та, которую он называл своей невестой, решится на последний шаг, чтобы стать его женой. В общем, он ждал этого решения десять лет, но тогда, в ту весну, положение особенно обострилось. Помню, с каким таинственным и сияющим лицом брат иногда за обедом говорил: «Пью за здоровье моей невесты!» Потом, обратясь к матери: «Мама, она скоро к вам придет, желает

с вами познакомиться, а также и с вами», — он кивал головой всем нам. Последние дни перед тем, как заболеть, ждал писем, выходил из своей комнаты на каждый звонок, был то страшно мрачен, то безумно радостен. И вдруг заболел, и сразу плохо: не то тиф, не то нервная горячка. Вероятно, тут была и простуда, и надрыв нервов. Жар страшный и не спадает, но в полной памяти. По совету младшего зятя нашего, медика, обтирают брата постоянно уксусом, он покорно подчиняется всему этому домашнему лечению, глотает все, что дают, вплоть до гомеопатии, в которую верит Анна Кузьминична и которую случалось ему и раньше принимать от бессонниц и других мелких бед, но не хочет, чтобы послали за «лучшим» доктором или тем более консилиум. Но все же приехал наш всегдашний доктор, лечивший нас, еще когда мы были младенцами, и, как знакомый, профессор Чириков. И им не совсем ясно, но завтра — день кризиса, решится. Брат лежал в своей комнате на диване, и дверь в соседнюю залу была открыта. Думали, что брат спит, и вышли от него, а я села у окна в зале у самой двери — в случае проснется и позовет. Вдруг слышу — брат явственно окликнул:

— Кто тут?

— Я.

— Поди ко мне — на столе Евангелие, найди брак в Кане Галилейской и прочти мне вслух.

Я нашла и стала читать, с трудом сдерживая дрожь всего тела, — мне вспомнилась первая ночь, когда умер отец, — и прочла все от первого до последнего слова не садясь, а как стояла у стола, так и осталась стоять. А куда читала, брат все время не переставая крестился крупным истовым крестом, нажимая пальцы на лоб, грудь и плечи. Я кончила читать, а он все продолжал так креститься, и в этом движении яснее всяких слов чувствовалась мне вся страстность желания брата жить и в то же время вся полнота его покорности воле Бога. Наконец брат перестал креститься.

— Подойди ко мне.

Я подошла.

— Не знаешь, телеграмму мою отправили (к ней, к «невесте»)?

— Отправили, отправили.

— Ну хорошо... А теперь, пожалуй, скажи, что могут

меня обтирать, если хотят, или что там еще полагается.

Я пошла, но в дверях обернулась на брата и увидела, что он опять крестится, как раньше, и явственно услышала страстный, горячий шепот: «Господи, спаси! Господи! Помоги!»

К вечеру брату стало лучше, и со следующего дня пошло выздоровленье. То лето мы решили провести на Кавказских водах, уговаривали и брата сделать то же или, по крайней мере, приехать хоть на шесть недель, но он отвечал: «Нет уж, и не ждите. Если б вы были на даче поблизости, я бы приехал, а там что я буду делать? Кроме того, туда ездят с дурной болезнью, упаси меня Боже, чтоб я когда-нибудь приблизился к таким местам». И решению этому остался верен, хотя мы все после того в продолжение многих лет продолжали на лето уезжать на Кавказские воды.

Когда я выходила замуж, брат был строго-нежен со мной, с радостной улыбкой передал мне поздравления от своей невесты, говоря, что она сама бы приехала, да нездорова, лежит; был очень доволен, когда она прислала мне огромный картон с порезанными на длинных стеблях белыми лилиями, и видя, как я этим восхищена и тронута, поглядывал так, как будто хотел сказать: «От нее я другого и не ждал». А накануне моей свадьбы он, обняв меня, повел к себе в комнату «на пару слов».

— Завтра во время венчания, — сказал он с чудесно светлым, проникновенным лицом, — обрати внимание на то, что будут петь о венцах мученических, и помни всегда, что, выходя замуж или женись, человек непременно должен быть готов надеть венцы, ибо, делая подобный шаг, вступает на путь величайшего счастья, но также и величайшего страдания. Если ты это понимаешь и так чувствуешь, брак твой будет прекрасен, что бы ни случилось и каким бы он ни казался посторонним или даже близким людям, часто вольно или невольно судящим только по видимости. Затем ты знаешь, что я вполне одобряю твой вкус, ступай и да не смущается сердце твое. — И он стал ласково и тихонько выталкивать меня за дверь; почувяв же, что я близка к тому, чтоб расчувствоваться, прибавил, уже смеясь и делая дурашливое лицо: — А в случае появления непрошенные судьбы со своими бессмысленными мнениями и советами, ты на это наплой, надо вообще уметь иногда при случае хорошенько начхать.

Такое светлое и проникновенно-растроганное лицо, как было у брата, когда он позвал меня «на пару слов», увидела я еще у него, когда он крестил у меня младшую дочь. Я сидела у себя в комнате, он пришел ко мне туда, когда таинство кончилось.

— Я хотел тебе сказать — совершенно превосходный младенец! Понимаешь — держу не без некоторого ужаса, боюсь сильно дохнуть, чтоб не разбудить. Она спит... Но вдруг открывает глаза — я так и обмер: сейчас крик или нечто и того хуже, но она долго и внимательно на меня посмотрела и вдруг улыбнулась совершенно осмысленной улыбкой и продолжала смотреть... великолепные глаза! И потом все время ни крику и ни малейшего скандала. Нет, превосходный младенец, превосходный младенец! — несколько раз повторил он.

Возвращаясь памятью к давно минувшему, вспоминается мне также то особое чувство к евреям, которое я испытывала, главным образом благодаря исключительному отношению к ним брата. Конечно, отчасти оно было у меня и помимо брата, думается, просто прирожденным, как у некоторых других членов нашей семьи, но когда еще в детстве я думала: сколько же хорошего должно быть у евреев, если Володя их так любит, — это уже, несомненно, было влияние, обаяние брата. И когда меня, тоже в детстве, за исключительную страсть к музыке и некоторые другие физические и нравственные черты называли жидовкой, я скорее бывала польщена; а когда раз кто-то из старших, рассердившись на меня (на этот раз совершенно неосновательно), крикнул: «Вот уж верно — настоящая жидовка» — я не сказала ни слова в свое оправдание, только подумала: вот и отлично — евреев всегда гнали и гонят несправедливо, не понимая за что, так и меня, и пусть! А вот такой, как Володя, евреев любит и понимает.

С течением времени вместе с любовью к евреям росло мое негодование и отвращение за отношение к ним так называемых и так называющих себя христиан, и при этом я всегда представляла себе брата и Христа и отношение брата к Христу.

По поводу этого вспоминается мне одна сцена, когда я была и не совсем взрослой и не совсем ребенком. Точно

вспомнить, когда это случилось, я совершенно не могу. Была Пасхальная ночь, и мы все как всегда отправились в церковь; брат вообще в церковь за редким исключением почти никогда не ходил, но Пасхальную ночь редко и дома оставался; когда бывал в Москве, обыкновенно отправлялся в Кремль. Я знала, что прежде чем стать «таким верующим», брат перешел через большие сомнения, даже «Знаешь, Володя был одно время атеист» — с большим интересом, но не без примеси таинственного ужаса сообщали мы, младшая компания, как-то друг другу в детстве. И вот мне в эту Пасхальную ночь представилось, что, может быть, у брата сомненья не потому, что он объявил, что никуда не отправится, а потому, каким мрачным тоном он это сказал и какой сам весь этот день был мрачный. «Когда так веруешь в Христа, нельзя быть таким мрачным в Великую субботу, — думала я, — значит, у него опять сомненья». И делалось очень тяжело за брата. Вернувшись от утрени, я, громко напевая только что слышанные напевы и вся в совершенно особом пасхально-восхищенном настроении, забыв все на свете, бросилась как сумасшедшая через все комнаты в заднюю часть дома, чтоб похристосоваться с прислугой, оттуда опять в переднюю: забыла яйца и кошелек в карманах пальто. Инцу и пою громко, безудержно; хлопнула дверь из комнаты брата, идет... Обращиваюсь к нему, протягиваю руку.

— Христос! — И вдруг вспомнила, осеклась.

Брат взял мою руку.

— Ты хотела сказать «Христос воскрес» — и почему-то остановилась... Ну я отвечаю тебе: воистину воскрес! — И, нагнувшись, поцеловал меня трижды.

А когда все собрались в столовой разговляться, брат тоже пришел и не был больше мрачен, напротив, совсем светел, только очень тих.

Через два года после рождения моей третьей дочери мы вынуждены были уехать из Москвы, и пришлось мне не один год провести в юго-западном крае. Тут, наблюдая жизнь бедных евреев и познакомившись с некоторыми из них, я постоянно представляла себе брата и укреплялась в своих чувствах к евреям и христианам, поскольку касалось отношения последних к первым, и радовалась, что в своем небольшом опыте ни разу не пришлось мне разоча-

роваться, хотя, если б это и случилось, отдельные люди и факты в моей личной практике никогда бы не смогли изменить моего чувства и отношения к избранному народу Божьему.

За время жизни в юго-западном крае мне удалось два раза съездить в Москву и Петербург, и я очень мало, на самое короткое время, видела брата. Показался он мне очень постаревшим и утомленным вообще, хотя в настроении был очень хорошим, по-прежнему острил и смеялся. Спросил, что мои остальные младенцы, и, радуясь и улыбаясь на мою старшую девочку, которая была со мной, прибавил:

— А помнишь, как она в младенчестве пленяла меня своей жизнерадостностью?

И я невольно рассмеялась, вспомнив, как бывало издает моя крохотная девочка радостный восхитительный вопль, и брат тотчас же, хотя бы был в другой комнате и вел самый возвышенно-отвлеченный разговор, испустит такой же, только более громкий, и потом, смеясь и расширяя в радостном изумлении глаза, скажет: «Какие она великолепные звуки издает!»

Еще весной 99-го года решила я следующей зимой непременно поехать в Петербург и основательней повидать брата; чувствовала большую нужду говорить с ним; а в шолле совершенно неожиданно получаю телеграмму от младшей сестры, что брат опасно заболел. Мне нельзя было выехать: не с кем было оставить маленьких детей, и так я и не простилась с братом и на похоронах его не была.

Читая потом и слушая рассказы очевидцев о последних днях жизни брата, я была, между прочим, прямо потрясена и восхищена, узнав, что он, умирая в сознании, молился за еврейский народ.

А через год после его смерти увидела я мать. Заговорила она о нем и заплакала, но сейчас же поспешно и усиленно стала вытирать слезы.

— Ну не буду, не буду, не надо плакать, — покорно и тихо несколько раз повторила она, точно уговаривая сама себя, потом так же тихо, сквозь слезы, но с умиленным лицом обратилась ко мне: — А ты знаешь, зимой приезжал ко мне... ко мне специально, развлекать меня, в карты со мной играл...

Какой же ему мог быть интерес!.. да ведь и минуточки у него никогда свободной для себя не было, знаешь ведь, как он жил, а тут сядет со мной и играет... в дурачки.

Пройдет всего несколько лет, и другая по-сестрински влюбленная в Владимира Соловьева женщина, Екатерина Михайловна Лопатина, сестра его друга философа Лопатина, укрывшись за псевдонимом Ельцова, напишет свои воспоминания о Владимире Сергеевиче Соловьеве, где упомянет также и о Марии Сергеевне Безобразовой, авторе первых мемуаров, урожденной Соловьевой. Екатерина Михайловна после революции уехала во Францию, где скончалась в 1935 году. Вот что она, в частности, пишет о дальнейшей судьбе большой семьи Соловьевых.



«Похоронен Владимир Сергеевич Соловьев около отца. На деревянном кресте его долго висели: православная икона, перламутровый образ из Иерусалима и шитое шелками католическое изображение Ченстоховской Божьей Матери, которую он почитал особенно, с надписью на латыни. На памятнике, который поставила Надя, сестра его Поликсена захотела непременно, чтоб была надпись “Ей, гряди, Господи”.

Все Соловьевы ушли.

Первый после Владимира Михаил умер при обстоятельствах необычайных: его жена застрелилась в ту минуту, когда доктора подтвердили его смерть.

Грустнее всех, казалось, была судьба Марии Сергеевны Безобразовой. Когда большевизм окончательно разметал

нас, старшая ее девочка, заболевшая психически, умерла. Муж — тоже, а она с двумя младшими дочерьми пропала без вести. Был слух, что и она умерла.

С Поликсеной мы встречались редко. Последние годы она жила на юге, в Феодосии, там переживала большевизм, голод, нищету и болезнь, без помощи и нужных лекарств. Уже из Москвы, из больницы, она прислала мне последние свои стихи в письме нашего общего друга. В этом стихотворении передана вся безмерная тоска, выразившаяся в тоске по лесу, по его прелой, темной и душистой свежести. Лес она любила всегда особенно, больше всего. Я всегда вспоминала наше детство, как мы, перейдя огромный ров, вошли с ней около Мытищ в вековой еловый бор — Лосиный Остров, в его грозную, холодную в жаркий день темноту, резко пахнувшую хвоей, и как она остановилась очарованная.

Есть люди, за которых не страшно, когда их провожаешь к могиле. Таковы были они — Соловьевы. Это особенно странно и трогательно в людях, страстно любивших жизнь, землю, ее прелесть. Пламенной любовью, духом Христа и непоколебимой верой в вечность горели их сердца.

И может быть, на кресте каждого из них следовало бы написать великие слова, написанные на кресте Владимира Соловьева, “Ей, гряди, Господи”». (К. М. Ельцова. «Сны нездешние»)

Речной вокзал

Он сидел на лавочке парка рядом с Речным вокзалом и не верил своим глазам. В руках у него был плотный вержированный лист бумаги с водяными знаками, старый и немного пожелтевший, или скорее полиловевший, от времени, по верху которого бежали одна за другой рукописные стихотворные строки черными чернилами, с нажимом и брызгами — автограф. Рука Владимира Соловьева. Шарманщик сидел здесь, в парке возле Речного, вместе со знакомым поэтом по имени Георгий, жившим вообще-то большую часть времени в Америке и предложившим сегодня, после предварительного, в течение месяца, созвона, встретиться здесь, на Речном, на предмет знакомства с

материалами, касающимися жизни философа Соловьева.

Конечно, Шарманщик не стал объяснять ему про то, что Соловьев не только его духовный, но и физический также, можно сказать, прямой родственник, без которого, его, Шарманщика, не было бы на свете, — он просто упомянул в разговоре, что пишет книгу о Владимире Соловьеве, и Георгий откликнулся неожиданным предложением познакомить его с автографом.



Вверху шелестели кроны лип, лето было в разгаре, от причалов доносилась музыка, над площадью вились флаги, а Шарманщик, дрожа от радости, вчитывался в наклонный почерк, разбирая строки одну за другой. Стихотворение это он читал, но никогда не держал в руках автографа. Наверху шли даты, непонятно какого происхождения, потому что не мог же Соловьев писать это коротенькое полушуточное-полусерьезное стихотворение целых три с лишним года, как это было обозначено на верху листка. Вот что там стояло: янв.—февр. 1888 —31 дек. 1891 г. 3 янв. 1892. 15, 16.

Тут Шарманщик подумал, что Владимир Сергеевич, наверное, особо отмечал дни, которые были для него важны и связаны с тем, кому это стихотворение посвящалось.

— Что за цифры? — спросил он у поэта.

— Не знаю. Наверное, даты написания и переделки.

— А это? — Шарманщик ткнул в 15 и 16.

— Не знаю. Его племянница сожгла много бумаг, где были записаны его медиумические беседы с Софией Премудростью, которая беседовала с ним. В бумагах были, вообще говоря, довольно странные откровения, и она сказала мне, что боялась повредить репутации философа. Он там и с чертом разговаривал. Потому и сожгла. Там тоже было много цифр.

— Ченнелинг, — сказал Шарманщик. — Теперь это называется ченнелинг — запись сообщения духовной сущности, выходящей на контакт. Наверное, мы вряд ли когда узнаем, что такое 15 и 16.

Тополя наверху шуршали и перебирали листками в легком ветерке, поэт из Америки рассказывал о своих семейных неурядицах, а стихотворение, посвященное Софье Мартыновой (сохраняя авторскую пунктуацию), выглядело так:

О греза милая счастливого японца!

Уж я любовь отпел — и вдруг неожиданно Ты

Пришла и растворив души моей оконца

В ней разом подняла застывшие мечты.

Пусть осень ранняя смеется надо мною

Пусть серебрят мороз мне темя и виски

С весенним трепетом стою перед Тобою

Исполнен радости и молодой тоски,

И с милым образом не хочется расстаться.

Довольно мне борьбы, стремлений и потерь.

Всю жизнь, с которою так тягостно считаться,

Японской сказкою считаю я теперь.

Влад. Соловьев

Шарманщик — в который раз! — подивился неуклюжести и тяжеловатому юмору любовных строчек: казалось, что любезничает памятник Петру Великому, но любезничал не

памятник, а сорокалетний профессор университета, который помимо этих старательных и негнущихся строк оставил после себя также и несколько сотен других — непостижимых и загадочных, следствием чего отчасти было явление в России огромного пласта новой культуры символизма, литературного течения, воплощенного такими писателями, как Вячеслав Иванов, Федор Сологуб, Андрей Белый и Александр Блок. Именно последние двое уверенно считали себя одно время учениками Соловьева, да и муза их общая — Любовь Андреевна Менделеева-Блок — не зря же явилась им как воплощенная София по первоначальной интуиции обоих поэтов, ее любивших.

Нелепое, смешное и трагическое, а также непостижимое и карикатурное, сочетавшееся в этом человеке, настолько завораживало Шарманщика, что когда он думал о нем, то просто раскрывал рот, забывая, где находится, и застывал восторженным столбом или, как сказали бы веком раньше, — коломенской верстой.

«Японская сказка» уже не удивила Шарманщика — сказано, что Софья Михайловна была похожа на японку и что друзья ее хорошо отдавали себе в этом отчет, обыгрывая сходство в застольных шутках и альбомных экспромтах, но его заинтересовала приписка красным карандашом под стихотворением, скорее всего бывшая транскрипцией каких-то японских слов: аматэри — суоками амако оси хошими хико ханшим сё-дэн.

Некоторые звучали совсем не по-японски, хотя, впрочем, японского Шарманщик не знал, а буквы красным карандашом были выведены второпях и неразборчиво. «Узнаю, обязательно узнаю у какого-нибудь япониста», — подумал Шарманщик, лихорадочно соображая, кто у него есть из знакомых в ИВЯ, то есть как он там теперь называется?

— Брат, — сказал он поэту, ослепляемый лучами солнца, пробивавшимися то и дело сквозь шевелящуюся крону, — брат! Если б ты знал, как я тебе благодарен!

— Это еще не все, — сказал поэт и выложил другой листок, тоже чернилами, — воспоминания Е. И. Боратынской о Софье Мартыновой.

— Не может быть, — пробормотал Шарманщик. — Не может быть. Это уже просто новогодние чудеса.

Дело в том, что он уже несколько месяцев безуспешно пытался раздобыть фотографию или хотя бы описание внешности последней роковой любви Соловьева, но со временем ему стало казаться, что кто-то явно постарался, чтобы загадочные черты этой молодой женщины растворились, слабо фосфоресцируя в отошедших от нас московских и сходненских пространствах без остатка. Он даже связался по совету Георгия с одной поэтессой, прямой родственницей Мартыновых, найдя ее координаты на одном поэтической сайте, и в кратком письме попросил поделиться информацией о Софии Михайловне. А также закинул удочку по поводу дагеротипического изображения Софьи, витающего в его воспаленном воображении в виде старинной черно-белой картинки с изображением тяжелого платья и высокого бледного чела ослепительной красоты. В лобезном и суховатом ответе поэтесса сообщила, что сведениями никакими не располагает, ее мама — тоже, и пожелала Шарманцику удачи в его разысканиях.

И вот теперь...

Теперь он сидел и разбирал вслух с листа записи княгини, на ходу соображая, что с датами и фамилиями что-то опять не очень сходится, ну да это ладно, это потом уточним, но вот же оно — описание.

Как же выглядела эта удивительная женщина, сведшая философа сначала с ума, а потом, по мнению князя Трубецкого, и в могилу? Как ее видели ее друзья и подруги — ту, вокруг которой струилось розовое сияние Новой Жизни, райский отблеск мира иного и того самого света, который окружал дантевскую Беатриче, а впоследствии — юную возлюбленную Новалиса. Как она являлась земным глазам своих московских приятельниц и родственниц, она, сведшая свет блаженной Шхины и Вечной Женственности на землю. Шарманцик всю жизнь придавал огромное значение внешности, особенно женской, и считал, что, кроме Ф. С. Фицджеральда, описать женскую неуловимую красоту в прозе никому пока еще не удалось.

Конечно, то, что видела, например, Боратынская, не видела, скажем, Е. К. Вяземская, бывшая в вечер знакомства Соловьева и Софи тут же в гостях. То есть у каждого в глаза

вставлен свой собственный светоуловитель — это раз. А то, что видели они обе, нам видеть, к сожалению, скорее всего не дано, потому что наши глаза воспитаны совсем другим светом, другими предметами и другим духом времени. В силу этого сегодня, после внимательного изучения фотографий, например, Любви Андреевны Менделеевой, трудно понять, как эта крупная и явно не очень грациозная девушка с длинной косой и внешностью деревенской простолюдинки могла нравиться, скажем, юному Саше Блоку до самозабвения. Какие чары могли сводить его с ума и заставляли прозревать за этим простым лицом с несколько угрюмыми глазами черты Прекрасной Дамы и Вечной Софии?

Но не надо забывать, что, во-первых, в наше время псевдосубтильных стерв подростковой внешности, обладающих железной хваткой и влажными от помады Water Shine губами, чей шарм замешан на компьютерной скорости слайда и матовой свежести искусственного загара пополам с силиконовым бюстом и татуированным иероглифом, так вот — не в наше, а в их, этих самых мальчиговых стерв, время, представления о прекрасном сильно смещены в сторону агрессивной и слегка извращенной сексуальности, а во-вторых, если провести с такой фотографией (может, остались случайно от бабушки, пардон, от прабабушки, одна-две) — если провести с таким вот дагеротипом, нигуда не срываясь с места по делам и подругам, провести день-другой, окуная глаза в его загадочную серо-черную дымку, то зрение ваше, возможно, вылечится. Я хочу сказать, что не удивляйтесь, если в одну из таких фотографий вы влюбитесь раз и навсегда.

Планета Земля и ее пространства

Вообще, нам довольно непросто представить себе, что могли чувствовать и о чем говорили эти люди. Не в том дело даже, что их язык и манера изъясняться были другими, а в том, что нам не следует думать, что та планета, на которой обитали все эти диковинные господа, будто бы ближе сейчас к нам, чем, скажем, горы и материка Марса, а скорее всего, и куда более отдаленной планеты. И кто вам сказал, что разговор с марсианином у вас получился бы менее ком-

муникативным, менее затруднительным, чем разговор, скажем, с Дмитрием Менделеевым или его слугой — в данном случае социальный и умственный статус не имеет для нас большого значения. Давайте еще раз вспомним, что знаем мы и чего не знали они, или, зайдя немного с боку, поставим вопрос по-другому: что они не пережили, а у нас это не только уже пережито, но и является привычным (и потому незаметным) культурным и бытовым фоном, на котором мы мыслим, движемся и существуем, и, собственно, даже не только фоном, но и наполнением жизни и языка.



Короче говоря, в мире той отдаленной планеты, на которой жили Трубецкие, Маргарины, Соловьевы и Феты, никто не знал о таких вещах, как пулемет «максим» и Первая мировая война, а также электрическая лампочка, летающие тарелки, столько-то миллионов, погибших на Восточном фронте, самолет, эр кондиши, автомобили, спяющие по улицам, кинотеатр (первые дагеротипы уже появились и успели стать довольно-таки обычным, хотя и не утратившим вкуса новизны явлением), электробритвы, Эйфелева баш-

ня, Пруст, Кафка, Джойс, Паунд, мини-юбки, одноразовые шприцы, Уорхол-Уорхол-Уорхол во всех вариациях, газовые камеры, концлагеря на Востоке и Западе, Ленин—Троцкий—Сталин—Мао Цзэдун. А также они не знали не ведали о свингергах и фистинге, о голубой и розовой любви, политкорректности, глобализации, прокладках Ultra, чае «Липтон», танках Т-34 и самолетах МиГ. Атомной и нейтронной бомб они тоже не знали, а также основных фирм, линий и брендов нашего глянцевого мира, которые и перечислять-то особенно не стоит, потому что вы все в основном в курсе. Ну да, я про Армани, Шанель, Сен-Лорана, Гуччи, «Пежо», «Тойоту» и так далее и тому подобное, не мне вас учить. Самолетов, как уже было сказано, у них тоже не было, и поэтому до Америки было далеко. Не было компьютера и интернета, письма писались чернилами и отправлялись во все стороны Российской империи конной почтой в сопровождении человека с саблей на боку — почтальона. Женщины не брили ноги, а мужчины не делали татуировок. Никто не прилипал к телевизору, обсуждая кто кого трахнул из голливудских звезд и в чем был одет Брэд Питт на оскарской церемонии. Чуть не забыл — не только американского джаза не было на их планете, которая называлась, как и наша, — Земля, но и вещей основополагающих — «Битлз», кока-колы, «Макдоналдсов», болельщиков «Спартака», бомжей, программ «К барьеру» и «Пусть говорят». Наглость, хамоватость и беготня были не в почете. Телефонов тоже не было, и поэтому они не прослушивались. Не было Брежнева, Ельцина, Горбачева. Не было Мэрилин Монро, героина, экстази. Они, эти люди, казалось, жили на далекой периферии провинциального города, со своими, впрочем, университетами, стихами и таблицами умножения. И периферия эта была столь велика и нетороплива, что даже непонятно, чем они там могли заниматься, кроме любовных историй, чаепития и нескончаемых разговоров.

Не было Мавзолея, ГУМА, Университета на Воробьевых горах и множества городов и поселков, но все это ерунда применительно к канве наших рассуждений.

А не ерунда то, что сама вязкость времени и взгляда (слуха-обоняния) была иной, не нашей. Сама наполненность их пространства почти непроницаемо отличалась от наполнен-

ности пространства нашей планеты, которую тоже зовут, как и их, Земля. Но об этом мы уже говорили. Так вот о пространстве и его вязкости. Их пространства были окрашены мыслями серебристыми и в основном имели форму параллелепипеда и купола.

В их пространствах было свежо отдыхать и комфортно встучать. В них тело человека не было пронзено сотнями видов новых излучений, имеющих вкус и цвет — от марганцовки, растворенной в кипятке, до лилового ядовитого, и сквозь их клетки и вены не шли мегабайты информации, запакованной в этих вибрациях, чтобы распаковаться миллионами ярко-глянцевых или порнографических картинок, миллиардами страниц и схем, сотнями тысяч и миллиардами единиц спама. И вследствие перечисленных обстоятельств мысли этих людей, их слова и даже тела имели вязкость, сильно отличающуюся от нашей.

Собственно говоря, я не к тому веду, что любая наша попытка вступить с ними в контакт обречена на неудачу (а это правда), но к тому, что несмотря на полную абсурдность затеи, кое-какие импульсы, идущие от них к нам, мы все-таки попробуем уловить и считать. И я предлагаю для этого вам — стать на минуту невинными.

«Как именно?» — спросите вы. Отвечаю.

Забудьте, пожалуйста, все ваши прожекты и расчеты, оставьте в покое ваш компьютер и не залезайте в ближайший час в почту, не брейте сегодня ноги и не смотрите программу «Аншлаг» по телевизору. Забудьте, сколько раз вы изменяли жене — не было этого! — предайте забвению все те случаи, когда вы подличали, ловчили, бранили Бога, хвалили босса, мерзавца и недоумка, вызывали домой проститутку — мальчиков или девочек, кидали друзей на деньги, ложились под кого-то по расчету, ненавидели себя, жену, мир, слишком сильно любили деньги, боялись смерти и старости (а напрасно, это хороший исход, поверьте, говоря о первой). Освободите себя от своих предательств, жалости к себе, зависти к коллеге, получившим премию там, где вы — шиш, злобе к той, что вам не дала, а дала другому, менее интересному, чем вы, человеку, избавьте себя от размышлений по поводу корректировки фигуры — своей и своей подружки, перестаньте играть хоть какие-то роли, а — выйдите на ули-

цу или просто на балкон, и если после всех этих операций вы сможете ходить и мыслить, посмотрите, что от вас осталось. И вот то, что осталось, — это и есть главное.

Я не скажу, что то, что осталось, — это и есть вы, но это к вам уже значительно ближе, на мой взгляд, чем было только что. И вот теперь попробуйте, высунув язык, ощупать им ангелов конца века девятнадцатого, потому что иным способом их не ощупать и не почуять, но только языком, очищенным вами от вас прежнего, одинокого и забывшего о невинности. И вот теперь, когда мы проделали операцию по ее восстановлению (не забыв простить себя, себя, себя! и всех остальных людей в мире или даже благословив их), высуньте свой трепетный и чуткий язык, способный запросто отличить вкус пойманной на него снежинки на фоне неба от ее же вкуса на фоне Chateau Margaux за 1000 долларов бутылка, — высуньте его посильнее, закройте глаза, положив на них предварительно серебряную бумажку от жвачки «Орбит», и — дерзайте!

Да, вот еще — не забудьте приковать себя каким-нибудь наручником к перилам балкона, потому что случилось, что люди, впервые поймавшие на язык ангела и ощутившие его вкус, бросали все и уходили как есть туда, откуда уже не вернуться, назовите это как угодно — Шамбала, трансфер, параллельный мир, храм Соломона или Царство Небесное. Но нам с вами туда не надо. Нам с вами надо попросить ангела, податливого, но строгого как леденец, прочитайте дальнейшие строки истории не как повесть Сорокина (не того Сорокина, священника и митрополита, который Питирим и живет на Украине, и не того тоже, который приятель одного депутата и живет в Москве в Нащокинском переулке, а другого — писателя романов с модной выхоленной бородкой) или, скажем, кого-то такого же, похожего на него, хотя я ничего против них не имею, потому что никого не читал, не пришлось — но сделать это так, как если бы все эти вещи, происходившие в Российской империи XIX века, находящейся на планете с таким же названием, как и наша, — Земля, имели к вам не меньшее отношение, чем колыбельная, которую пела над вами ваша юная мама, а вы лежали в кроватке, сладко посапывая и зная, что мир надежен, ласков и основателен, и даже не подозревали о том, чем была запол-

нена большая часть вашего времени. А заполнена она была тем, что вы были растворены в любви как мармелад во рту под языком, горюя лишь изредка и не всерьез, лишь от случая к случаю, недолго и самозабвенно.

Софья и Пан

Итак, Софья Мартынова.

«Внешность ее, — писала Е. П. Боратынская, — высокая, стройная дама, маленькая головка, волосы золотистые (на Соловьева вообще брюнетки производили меньшее впечатление), глаза немного японские, небольшие, как у княгини Е. К. Вяземской. Игра физиономии — выразительная, очаровательная. Нос вздернутый, рот красивый, выразительный, полна женского охватывающего огня. Умная, очень образованная, остроумная. Особенно любила поэзию, много читала. Прекрасно играла в домашних спектаклях. В. Н. Мартынов был старше жены лет на восемь-девять. Умер он в 1916 году или около того. Считался красным, был в дружбе с Шиповым. Много занимался культурой роз в своем имении Знаменское близ станции Подсолнечной, у него было четыреста пород роз. Дмитрий Мартынов, убивший на дуэли Лермонтова, приходился В. Н. Мартынову родным дядей...»
Здесь Шарманщик оторвался от текста, почему-то поморщился и уставился на шпиль речного вокзала.

К этому времени они с Георгием уже перебрались из парка в кафе и, заказав пиво и кока-колу, сидели за столиком напротив причалов. Из репродуктора играла какая-то глянцевая попса, а напротив расположилась компания из двух молоденьких девочек и восточного вида мужчины, угощавших их пивом и сухим вином.

И вот — уже прорядился и разошелся в стороны воздух с декорациями из блестящего шпилья, летних тополей и синего неба; девочки с осетинами тоже тихо размыслились и разошлись, и в матовой, подернутой московским летним солнцем паузе появилась, словно соткалась из летнего воздуха, высокая эффектная блондинка в темно-зеленом платье до пола, со вздернутым носиком, ее рот, слабо накрашенный и очаровательно надменный, уже приоткрылся, а сама она,

стройная и гибкая как девочка, окинула гостиную взглядом в поисках знаменитого философа и, не найдя, поправила маску, которая была на ней, — узкую, темно-вишневую, с бахромой, закрывающей припудренные щеки.

— Кажется, он нас не дождался, — обратилась она к спутнику, тоже костюмированному и в маске, на бархате которой таяла занесенная с улицы снежинка.

— Да быть не может такого, — весело отозвался тот и...

И уже зажглась волшебная картинка, уже заиграла и зазвучала ее новогодняя, рождества Христова 1887 года, с запахом хвои и мандарина тихая музыка серебряных колокольчиков, органчика напольных часов с мелодиями и отбивающего срок брегета... как вдруг пропало все из глаз, мгновенно улетучились и исчезли чары, разрушенные досадной ошибкой автора воспоминаний.

«И почему это все они от него отказываются?» — подумал Шарманщик.

Никаким ни дядей приходился В. Н. Мартынову, мужу Софии, друг Лермонтова и его же — вольный или невольный, не знаем не ведаем — убийца. Не дядей, потому что, во-первых, звали-то его совсем не Дмитрием, вопреки опрометчивому утверждению княгини Боратынской, а Николаем, а во-вторых, потому что знаменитый убийца поэта приходился В. Н. Мартынову ни кем-нибудь, а отцом. И если сам он, отец, скорбел, сожалел, но не отказывался от своей трагической роли в жизни поэта, то большинство знакомых, друзей и потомков Мартыновых, включая сюда и поэтессу с сайта, все время что-то замалчивали и путали, то ли намеренно, то ли ведомые суеверным, хоть и не очень-то искренним тактом.

Одним словом, убийца Лермонтова приходился свекром — отцом мужа — последней, таинственной и всепоглощающей любви Владимира Сергеевича Соловьева. То есть, если бы они — Михаил Юрьевич Лермонтов, Николай Соломонович Мартынов (Мартышка) — друг поэта и Валентин Николаевич Мартынов, сын Мартышки и приятель Соловьева, взялись за руки, то цепь оказалась бы кратчайшей, почти что единовременной.

Но отвлекся Шарманщик ненадолго.

— Почему дядей?.. — возмущенно обратился он к поэту,

потягивающему пиво, но ответа не дождался и не услышал, потому что снова дрогнул и поплыл в июльском воздухе тонкий занавес, за которым открылся все тот же вечер Святка 1887-го.

— Ну конечно же, не может быть, — повторил спутник Мартышовой, — потому что вон же он, собственной персоной. Не зря же мы сюда, в конце концов, через весь город тащились. Надевайте-ка скорее вашу цыганскую шаль. Да вот же она, вот, держите! Эка вещает!

Из библиотеки точно донесся голос философа:

— Фет — величайший из русских писателей нашего времени.

— Вот и граф Толстой так же считает, несмотря на то что в остальном он — ваш оппонент и противник. А мне лично Фет кажется старомодным. Тем более что он сильно подорвал свою репутацию унижительной погоней за всеми дворянскими привилегиями и титулами, что сильно ему повредило во мнении передовой свободомыслящей молодежи. Вы же знаете, наверное, что он бастард и наполовину еврей?

— Мне до этого, простите великодушно, дела нет, как и до других предрассудков, как и одновременно до передовой молодежи, которая завтра будет повторять слова очередного пустослова и видеть в них смысл своей жизни. А Афанасий Афанасьевич — мой друг и друг моего отца, человек чистейший и, несомненно, талантливейший, — в голосе говорящего слышалось горячее раздражение.

Софья не могла отсюда разглядеть философа — видна была только его длинная нога в черном ботинке, обтянутая темно-серой штаниной и закинута на другую.

— А-р-р-р! А-р-р-р-ры-ры-ры!! — Спутник Софьи внезапно страшно зарычал, поднял руки над головой и двинулся в библиотеку.

— Маски, маски приехали! — раздался оттуда восторженный женский голос, кто-то взвизгнул, что-то, звякнув, свалилось на пол, и тени свечей затрепетали от сквозняка и движений Синей Бороды, которого так свирепо изображал, размахивая руками во все стороны и гулко рыча на все лады, ряженный.

— Софья! Ну наконец-то вы к нам добрались, родная вы моя!

— Минутку-минутку, господа! — сказал Синяя Борода не-

ожиданно деловым голосом. — Убедительно прошу — никаких Софий, никаких имен. Все строго по-святочному, по-старинному. Святки сегодня или нет?

— Ну это уж как вам будет угодно.

— Но как же мне ее, голубушку-то, теперь величать?

— Госпожа цыганка — разве не видно? Можно Земфирой.

— Так и гадать, и петь, значит, можете?

— Вай, могу, радость моя. Позолоти ручку и погадаю. И спеть тоже могу.

— Это сейчас, сейчас. Валя, принеси кошелек. Там, на комоде. Что ж, Владимир Сергеевич, погадать не желаете?

А Владимир Сергеевич забился в угол кресла, подобрав под себя длинные ноги и закрыв глаза, погрузился в отрешенное оцепенение, так хорошо знакомое всем близким его и друзьям. В такие минуты его лучше всего было не трогать и не тревожить — мог рассердиться и уйти.

— Оставьте его. Софи, вы нам, нам погадайте.

— Сказано же, никаких Софи...

— Земфира, Земфира, иди сюда!

— Да дайте же нам водки, мы же с мороза, наконец!

— Валентин, распорядитесь, пусть смирновскую подадут.

И закуски, сюда тоже...

Земфира танцующим шагом и бренча монистами пошла было к княгине Вяземской, чтобы погадать той по руке, но проходя мимо кресла с отрешившимся философом, сделала левой рукой неуловимое движение, словно поправляя шаль, и хоть, казалось, к философу и не прикоснулась, однако тот внезапно вскрикнул и выкатился, откинувшись к спинке кресла и затравленно озираясь.

— Что? Что? Кто колется?

Владимир Сергеевич был похож на бога Пана, которого произила чарой нимфа — обиженный, длинноволосый, с бордой в седых уже нитях и со светлым голубым взглядом, как на картине художника Врубеля. Он смотрел на всех попеременно беспомощными и детскими глазами, морщась и потирая уколотую руку. И конечно же, как в силу врожденной близорукости, так и из-за стремительности жеста, ему не дано было угледеть английской булавки, сверкнувшей на миг в свете свечей и тут же исчезнувшей в складках зеленого платья.

Гаданье

В тот же миг светловолосая нимфа в цыганской шали сделала резкий поворот и очутилась у ног философа. Там она присела, прижав рукой к полу закрутившийся и вздувшийся свой наряд, подняла глаза и улыбнулась. Владимир Сергеевич смотрел на нее с опаской, но уже и с интересом. Она взяла его за руку и сказала:

— Рука апостола.

Философ, уже прирученный, уже обмякший, все же попытался высвободиться и нелепо задергал слабой рукой с длинными пальцами, словно ущемленный за лапу тропический зверь, — не очень решительно и скорее для вида выбираясь из капкана.

— Пять лет назад, гуляя по берегу Волги, вы увидели тонущую маленькую девочку и вытащили ее из воды, — ясно и отчетливо произнесла цыганка.

Настала напряженная пауза, во время которой и гости, и ряженные, казалось, ждали, что Владимир Сергеевич рассердится, отстранит назойливую гадалку, спросит шубу и уйдет домой. Но тот, прикрыв усталые глаза и облизав губы, только тихо спросил:

— Как вы это узнали?

— Это написано у вас на руке, как и многие другие, не менее интересные события, — отвечала все еще колени преклоненная златоглавая Софи.

— Чепуха, — пробормотал философ. Помолчал и нерешительно добавил: — Что же еще?

— Вам было шесть лет, когда вы встретили главную любовь вашей жизни.

— Продолжайте...

Владимир Сергеевич заерзал в кресле. Он еще не впечатал свою знаменитую поэму «Три свидания», в которой впервые в шуточной и лирической форме рассказал о том, как ему, мальчику, явилась София Премудрость во время службы в церкви Московского университета в честь мученицы Татианы. Как сияла она в розовом свете, все освещая, все прощая, все преображая. Как мир в тот же миг изменился, словно было, скажем, само по себе в лесу глинистое, затрескавшееся на солнце русло пересохшего

ручья, и вдруг — побежала по нему вода, запели радостно горлицы, иволги, соловьи и выросла трава прямо на глазах и раскрылись по берегам ручья цветы несказанной красоты, давно знакомые и все же до сей поры невиданные. Так было и тогда, когда впервые прикоснулась к мальчику Володе его вечная Подруга, и это было первое их свидание, начало.

Вокруг кресла с философом и ясноокой Софи сгрудился целый кружок лиц и личин необыкновенных, все больше друг с другом век знакомых, ряженные друзья его — Лопатин и Цертелев, дальний родственник Мартыновой Евгений Трубецкой в обыкновенном, не маскарадном костюме, пара кузин, чьих неизвестно, а также сама хозяйка, подошедшая поближе. Всем стало понятно, что происходит нечто необыкновенное, нечто из ряда вон выходящее. Сильнее запахло мандаринами и свечным дымом, снег мелькал за окном, толкаясь в стекла, проваливаясь вниз, в улицу, где горели невидимые фонари, исчезая без следа.

— Продолжайте, прошу вас, — лицо Соловьева прояснилось, он глядел в глаза цыганке, — прошу вас.

— Любовь вас не щадит, вами повелевает. Вы можете полюбить внезапно и до безумия, даже не зная имени, как это однажды произошло с вами в поезде, где вы ехали в одном купе с незнакомкой. Дальше продолжать?

— Что за глупые вопросы, — отозвался Лопатин, — как это не продолжать. Это, знаете ли, как-то и неучтиво даже будет по отношению к присутствующим. Мы же тут не зря торчим столько времени, все это выслушивая.

— Не надо, — сказал философ и улыбнулся. — Однако...

— Сказать про книгу, которую вы писали в Лондоне?

— В Лондоне Владимир Сергеевич занимались каббалой. «Зохар» штудировали, — прокомментировал Цертелев.

— Что ж это вы, батюшка, в колдовство-то ударились? Никак тоже по делам сердечным? — поинтересовалась княгиня.

— Устоявшийся предрассудок — считать древнюю иудейскую мудрость колдовством да магией, — мгновенно возразил философ и поморщился. — Так что книга?

— Вы начали писать книгу о буквах еврейского алфавита и продолжили бы, если б однажды не обнаружили, что, собственно, не вы эту книгу пишете, что книга эта словно

катящийся через пустыню куст — принадлежит никому.

— Это как же понимать прикажете? — возмутилась Боратынская. — Что же это за книга такая? — она помолчала. — Да это все розыгрыш, наверное, — заключила она внезапно. — Они заранее договорились и всем нам голову морочат.

— Книга эта начала писаться в неведомые времена. — Тут гости увидели, что с гадалкой что-то происходит непонятное и даже настораживающее — она побледнела, глаза ее горели, словно всматриваясь туда, куда заглянуть было не дано, а голос дал хрипотцу: — Говорят, что первые ее главы принадлежат чуть ли не Моисею. Но все, что он написал за всю жизнь, он написал про одну только букву священного Алфавита. Несколько следующих столетий разными авторами, принадлежащими не только к разным национальностям и сословиям, но также и к разным расам и жившими на разных континентах, была написана, но не окончена глава про вторую букву — бет. Причем таково было свойство книги, что все написанное когда-то про буквы приходило к тому, кто писал книгу в настоящий момент и зачастую даже помимо его воли выстраивалось на предыдущих страницах, вот только неизвестно, во-первых, в материальном виде или в идеальном, а во-вторых, мог ли кто-нибудь, кроме очередного автора, видеть эти самые записи. Во всяком случае, каждый из пишущих видел не только все, что было написано до него, но и всю книгу, до самого ее конца, причем свою собственную жизнь он тоже видел. И видел ее не как-то вообще, а составленной как бы из разных цветов и двигающихся фигур, которые, как вы уже догадались, восходили не к чему-нибудь, а к самим буквам, а те на время работы с книгой словно оживали. И каждый автор, пишущий свои строки, внося вклад в написание всей Книги, пока находится в труде, может разговаривать с буквами и даже видеть свою жизнь как живую и изменяющуюся комбинацию из двадцати двух букв, которые светятся и двигаются то сильнее, то слабее, в зависимости от того, куда поведет автора судьба. Буквы соотносятся также со звездным небом и любой судьбой любого человека в мире. И пишущий свою главу видел это так ясно, что казалось, тайна мира ему была открыта до самого дна...

Соловьев вел себя странно. Сначала он хотел вскочить в волнении, потом обмяк и только тревожно смотрел на шевелящиеся губы вешуньи, лицо которой стало покрываться бисеринками пота, а глаза были закрыты.

— Ее надо остановить, она в трансе, — наклонившись к Соловьеву, встревоженно прошептал Цертелев. — Как бы казуса какого не вышло.

Соловьев только мотнул головой:

— Еще минуту, минуту...

— И он, пишущий Книгу, видел, как буквы могли составить имя любого предмета и события на земле, и не только составить, но и быть им самим, быть с ним — одно, настолько, что, разговаривая с буквами, в этот миг составитель книги разговаривал с душами самих людей и событий и таким образом мог повлиять на самые выдающиеся свершения и происшествия на земле. Можно было послать событию любовь, и тогда сюжет выстраивался в направлении Царства Небесного и Плеромы, либо поразить его враждой, и тогда человек или событие тяжелели для дальнейших своих дней и переставали пропускать свет. Некоторые авторы даже видели, как можно составить из букв имя Самого Бога, и те, кто видел это ясно, внезапно исчезали в золотом свете, и их больше никто никогда не встречал на земле, как это было с пророком Ильей или апостолом Иоанном. Сегодня Книга написана почти до конца. Причем все ее несколько тысяч томов можно уложить в наперсток, из которого она извлекается сама собой как только появляется очередной храбрец. Храбрец, потому что книга меняет жизнь непоправимо и может даже забрать с собой автора. Для того чтобы главы были завершены, следует дописать всего несколько десятков страниц, добавляя комментарий к двум буквам алфавита. И тогда человечество, вставшее на краю пропасти, словно проснувшись, увидит себя самоё как отражение света Божьего и Божьей любви, отшатнется от пропасти и войдет в самую прекрасную пору своего существования — в Царство света. Не вижу, не вижу... — тревожно забормотала прорицательница. — Вот! До сих пор авторы приходили почти непрерывной чередой, каждый вкладывал в книгу столько своей жизни и жизни мира, сколько мог, и Книга росла. Но последний автор, когда до завершения останется совсем немного,

совсем пустяк, может и не прийти, потому что впереди эпоха зла, слабости и безразличия к Богу. Главное для описания оставшейся буквы — найти связь между Вавилонским столпотворением, Пятидесятницей и человеком, который взбирается на мачту, и...

Внезапно госпожа Мартынова закашлялась и схватилась за горло. Она пыталась сказать еще что-то, но не могла.

— Воды! — заревел Соловьев. Он склонился к Софии, так и не вставшей с колен, не снявшей своей цыганской шали, и стал шептать ей в ухо слова молитвы, громко, горячо, исто-во: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас!

Софи внезапно легко поднялась на ноги, покачнулась было, но тут же выпрямилась и рассмеялась.

— Не хочу воды, — сказала она. — А велите шампанского. Цыганке за труды.

— Ну вот, — произнесла, недоверчиво глядя на нее, Боратынская, — я же говорю, что разыграли нас как форменных дураков.

Но всем было ясно, что если это и розыгрыш, то какой-то странный, неожиданный для самих участников, небывалый и страшноватый.

Цифры над автографом

Об этом событии какое-то время поговорили в профессорских кругах. Выяснилось, что якобы госпожа Мартынова, давно желавшая познакомиться со знаменитым философом, решила подойти к делу с фантазией. Она где в шутку, где всерьез опросила всех ей известных знакомых Владимира Сергеевича, собирая сведения о наименее явных обстоятельствах его жизни, и выступила в роли гадалки, основательно, таким образом, подготовившись. И она добилась своего — воображение Соловьева было потрясено. Некоторое время он искал возможности новых встреч с госпожой Мартыновой (и это было совсем нетрудно устроить, ибо удивительная молодая женщина была в родстве с близкими друзьями философа князьями Трубецкими, обоим им приходилась кузиной), но тут как назло пришло известие о том,

что они вместе с мужем и детьми отправляются на минеральные воды. Владимир Сергеевич, впрочем, еще два раза встречал ее у знакомых, но поговорить как следует не вышло — тема, так волновавшая философа, та самая, которую София-цыганка затронула в своих святочных гаданиях, так и осталась неконченной. В марте они уехали.

О чем он думал в связи с этим странным происшествием в доме Е. И. Боратынской и писал ли действительно книгу, посвященную «мировому алфавиту», мы знать не можем. И все же здесь явно прослеживаются две вещи. Во-первых, сведения о Мировом Алфавите» гадалкой были взяты не с потолка, и тема эта так или иначе занимала некоторое время философа, на это есть свидетельства близких ему людей.

И во-вторых — явное волнение Владимира Сергеевича как во время всего гадания, так и в особенности в том его месте, где речь зашла об универсальных буквах и последнем авторе книги о буквах, долженствующем эту книгу на некотором этапе завершить, для того чтобы в мир наконец потек свет обновленной жизни.

Мы знаем, что философ к этому времени написал ряд книг, посвященных новому социальному устройству жизни на земле, в результате установления которого вся власть и весь ее авторитет принадлежали бы Богу. То есть в книгах этих он давал план конкретного применения в условиях девятнадцатого века библейской идеи теократии — присутствия Бога в земном общегитии как главенствующей и руководящей силы. Именно в такое общество, утверждал философ, руководимое Богом, действующим через своих избранных, и может начать протекать Божественный свет Любви, Правды и Справедливости. А сделать для установления новой социальной гармонии надо было следующее.

Весь мир должен был объединиться под руку двух земных правителей — Папы Римского как духовного авторитета, осуществляющего власть духовную и являющегося представителем на земле Бога по линии Петра-апостола, и российского императора, помазанника Божия, главы самого сильного к тому времени государства-империи, воплощающего власть земную. Как мы уже знаем, Владимир, Сергеевич даже направил письмо, в котором подробно излагал свой проект Папе, и говорят, что тот отозвался о нем, как о

прекрасной, но без привлечения сверхъестественных сил не выполнимой идее.

Так или иначе, отсюда можно заключить, что идея осуществления Царства Небесного на земле некоторое время не только владела философом, но и обладала для него чуть ли не гипнотической силой. И хотя ко времени описываемых событий он начинал к ней заметно охладевать, все же есть основания заключить, что путей к установлению Царства на земле он искать не переставал, хотя, может быть, поиски эти лежали теперь в ином русле, скажем, сопрягались с поисками творческой силы изначальных букв.

Конечно, это занятие можно взять да и назвать магией. Но если это и магия, то не большая, чем письмо к Папе и предполагающееся обращение к российскому императору с целью изменить устройство мира. Ведь что такое магия? Магия это совершение некоторых действий духовного плана с целью добиться желаемого результата. А где вы видели чисто материальные и лишённые хотя бы зачаточной духовности действия? Даже позитивисты большевики искали могущественных фей, способных привести их к магической чаше Грааля, сохранённой якобы тамплиерами, и посылали для этого экспедиции в район Валаама и Литвы. Не говоря уже о Гитлере, снаряжающем магические экспедиции в Гималаи и тоже почему-то в Россию (секретным, естественно, образом) — одну за другой с целью обретения добавочной силы, естественно, в пользу рейха. И ежели у Гитлера получилось частично, то у Сталина — больше, чем он мог ожидать сначала.

Что получилось? Искажать свет Царства до неузнаваемости, убивать, унижать, уничтожать целые народы. Другое дело и другой вопрос — почему эти самые народы им не только не мешали в этих чудовищных манипуляциях, но по большей части и весьма горячо их поддерживали.

И тогда я спрошу вас: а что не магия?

Любое слово — магия, потому что любым словом вы можете повлиять на жизнь человека — утешить, запретить, унижить или возродить. Или скажем проще — разрешить прорваться к золотому корыту или отставить. Самое распространённое магическое орудие в наши дни — это доллар. С помощью этого заряженного символизмом энергии пред-

мета, этой неказистой бумажки вы можете заставить продавца отдать вам лучшее, что есть у него в магазине, сделать из своей не очень одаренной, но сексапильной любовницы, приехавшей из Белоруссии, звезду на два-три сезона или вообще купить то, что вам нравится, в самом широком — от жентин и героина до антикварных книг — диапазоне.

Но молитва — тоже магия. И слово любви тоже. И ласковое прикосновение в тяжкий момент — из сильнейших магия.

Итак, для совершения магического действия необходимы намерение и магический предмет. И если вначале это было намерение философа плюс власть папы, плюс власть императора (я имею в виду здесь как раз магические «предметы»-ауры, которые не хуже и не лучше, чем аура денег, с точки зрения чистого эксперимента), то в дальнейшем это могли быть и более тонкие и чистые вещи — БУКВЫ.

Мы уже говорили о них. Об их предшествующей Творению мира силе и власти, описанной мудрецами самых продвинутых цивилизаций и культур. Мы уже упоминали, что Христос в Апокалипсисе Иоанна назвал себя Алфавитом, а это не могло не быть известно Владимиру Сергеевичу Соловьеву как христианину и духовному писателю. Конечно, мы не собираемся складывать мамонта по позвонкам, но имеем смелость и намерение восстановить некоторые из них (позвонков), утраченные в силу ряда причин, из которых не последняя — грянувший через семнадцать лет после смерти писателя октябрьский переворот, который смел своей нетрезвой пургой с лица земли не только семейство Соловьевых, но и основные архивы философа. Тем не менее, если встроена деталь заставляет неподвижный доселе механизм действовать, а определенная прививка вдохновляет дерево плодоносить, значит, это звено — правильное.

Итак, Мартыновы уехали. Но вот что интересно. Интересно то, что Шарманщик расшифровал цифры на листке бумаги с автографом Соловьева и не в результате сложных изысканий, а просто-напросто время от времени тупо в них вглядываясь. Как мы помним, над стихотворением про «счастливого японца» стояла загадочная надпись: Янв.— февр. 1888 — 31 дек. 1891 г. 3 янв. 1892, 15, 16. И вот что это означало.

Означало это, что Соловьев познакомился с Софи на Святки, тридцать первого декабря 1888 года (Боратынская в воспоминаниях ошиблась на год), и с января по февраль имел с ней несколько (две, по нашим сведениям) встреч. Потом следует пауза до 31 декабря 1891 года. Что за пауза? Ну а что может быть за пауза в отношениях между замужней женщиной и занятым до замороченности немолодым уже (по тем временам) философом, который иногда даже и не знал, где будет ночевать ближайшей ночью, как пьяница какой-нибудь, что ли. Пауза она и есть пауза. Это время, напрасное для любви. То есть в период с 1888 года по Новый год 1891-го — почти четыре года! — эти волшебные люди перестали видеться, несмотря на знаменательные события, происшедшие при их первой встрече в доме Боратынской.

Как так? — скажете вы. А так, ничего особенного, потому что главное, если начинается, то может начаться и не сразу, а с оттяжкой, и небеса действуют особенно решительно, когда судьба как подземная струя, дьясь и накапливая силы и чистоту, внезапно выходит наружу, бьет ключом, и к ней начинают тянуться самые разные звери и люди, а деревья вокруг — плодоносить. А пока она наружу не вышла, мы ее не видим, и это естественно, что не видим. Однако это обстоятельство вовсе не означает, что Парки перестали вязать свою крепкую нить.

Итак, имела место новая встреча, во время которой забил ключ и закружились вокруг разные звери — мы, конечно, выражаемся здесь аллегорически, но это не значит, что ушли от реализма. Потому что некоторые из зверей с той самой встречи прочно вошли в мысли Соловьева — лошади, например, и скачки. Дело в том, что красавица Мартынова не только знала в них толк, но и специально ездила на ипподром, чтобы посочувствовать любимому жокею на любимом скакуне.

Но это чуть позже. Итак, в новом, 92 году меньше чем за две недели следуют три встречи — 3 янв. и 15, 16. Очевидно, стихотворение о «счастливом японце», под которым, скорее всего, подразумевался муж госпожи Мартыновой как служащий дипломатического учреждения, непосредственно с Японией связанного (впрочем «японец» мог быть и фигурой инносказательной, обобщенной и поэтической, что тоже воз-

можно), написано как раз после встречи Софии и Соловьева 16-го числа в московском доме Мартыновых или в ближайшие за этим дни (день).

Итак, надпись сверху листка со стихотворением заключала в себе ни больше ни меньше чем историю отношений Владимира Соловьева с Софьей Мартыновой до тех самых пор, когда они внезапно переросли во что-то (нет, не просто в любовь), во что-то неизмеримо большее, чем предполагает бытовое употребление этого слова. И если для некоторых такие записи до дешифровки являются загадочными, а после оной сухим набором выцветших цифр — ну и что? — то для нас они остаются не менее загадочными и после реконструкции, чем до нее. Потому что время и воля небес непрерывно перебиваются из золотого ковша прошедшего — в золотой же будущего и — обратно.

Далее события развивались стремительно.

Весь мир — театр

Но прежде чем мы их коснемся (а коснуться их это значит погрузиться в мир немислимый, о котором Шарманщик хотел написать оперу, а вернее, либретто к ней), мир столь, как уже сказано, немислимый и захватывающий, что в дальнейшем выбраться из него не представляется возможным. Так вот, прежде чем мы коснемся событий весны и лета 1892 года в жизни Владимира Сергеевича Соловьева и его последней музы Софьи Мартыновой, необходимо сказать еще несколько слов о том, что можно назвать метафизикой философа или даже занятиями, расположенными вплотную к зыбкой и вязкой территории оккультизма. И тут есть одна особенность его веры и деятельности, которая все ставит на свои места. Мы уже говорили, что любое действие, которое имеет цель и средства для ее достижения, так или иначе связано с магией. И неважно, что тут работает как магическое орудие, деньги ли, на которые можно купить киллера, или торт, иголка ли, заговоренная и воткнутая в ковер над постелью соперницы, чтобы та чахла (и та чахнет), или авторитет Папы Римского.

Но Владимира Сергеевича нельзя уличить в подобного рода магических занятиях по одной причине. Во всех вышеперечисленных случаях маг (домохозяйка, бухгалтер, профессиональный колдун, неважно) имеет одну единственную цель, которая, собственно говоря, и утверждает его деятельность как магическую. Цель эта может быть выражена как эпитафия ко всему, что тот делает в данном направлении. И эпитафия этот таков: да исполнится воля моя!

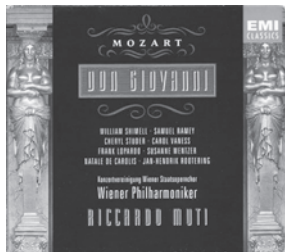
Духовная же деятельность в отличие от магической характеризуется другой фразой, проводящей несомненный и, я бы сказал, непреодолимый водораздел между магией и чистой духовностью — собственно, той христианской деятельностью, которой занимался Владимир Соловьев начиная со студенчества и кончая (в видимом плане) днем его смерти, проведенном наполовину в забвении, наполовину в молитве. Эта фраза звучит следующим образом: да исполнится воля Твоя, Господи!

Понятно, что если в случае магии ее деятель извлекает из нее пользу для себя, то во втором случае ее участник пользы для себя лично не извлекает и работает на отдачу (любви, труда, времени, денег — это в нисходящей последовательности), отдачу всех своих сил и даров — Богу и людям. Следовательно, он преследует одну цель — приращение Света Божьего в падшем мире. Собственно, дальше можно ничего и не говорить, потому что теперь ясно, что при всем желании назвать Владимира Соловьева оккультистом, сделать это вряд ли будет возможно, если быть честным перед собой.

В Лондоне стоял традиционный туман, и профессор Московского университета, близкий знакомый Сергея Владимировича Соловьева, отца философа и ректора этого самого университета, вместе с еще одним господином и Владимиром Сергеевичем Соловьевым в тот день сидели в ресторане и закусывали. Целый день накануне Соловьев штудировал в библиотеке Британского музея старинные тома, а после занятий сговорился встретиться с друзьями поужинать.

По свидетельству Цертелева, в этот зимний лондонский вечер он заявил, что несмотря на то, что будущее нам неизвестно, уже к настоящему дню он, Владимир Соловьев, в свои молодые годы сделал для России больше, чем легендарный критик Виссарион Белинский за всю свою жизнь.

— Ну это, батенька, еще не факт, — возразил пожилой профессор и добавил: — Поживем увидим, как будет оценена ваша деятельность. Время покажет.



Владимир Сергеевич, вдохновленный занятиями, а также и легким вином, которое шил за ужином, от неожиданности даже вздрогнул, а потом вдруг расплакался. Плакал он, как ребенок, закрыв лицо руками, тряся плечами и ничего вокруг не замечая.

Друзья всполошились и стали успокаивать философа добрыми словами и горячим чаем, и через некоторое время он пошел к себе в уже более или менее сносном настроении.

Так вот, как раз в это время он и изучал Мировой Алфавит. И именно это занятие позволило ему, человеку необычайно скромному и негордому, поставить себя, двадцатидвухлетнего, выше Белинского в контексте пользы для России и мира. Значит, было же, было то, что могло его так вдохновить, озарить и возвысить! Не в вине ведь только дело, не в юности только!

А теперь скажем немного о Буквах.

Что это за буквы такие странные, и как могут они иметь на мир хоть какое-либо влияние, не говоря уж о том, чтобы это влияние иметь на человека, на меня, мою судьбу и жизненные обстоятельства? — спросите вы. А вот как.

Представьте, что вы, например, театрал. Причем не просто театрал, а театрал заядлый, фанатичный и к тому же обладающий двумя редкими свойствами — вдохновением и аккуратностью. Когда вы давным-давно по неопытности своей только начинали интересоваться театральными афишами ближайших к вам театров, то и не подозревали, накануне каких глобальных свершений вы тогда стояли, разглядывая подсвеченную театральную афишу «Современника», что на Чистых Прудах, или просовывая наудачу деньги в театральную кассу МХАТа, что расположен на Тверском, зеленом от лип, бульваре. Но вот вы пообтерлись и освоились в театральном мире и пришли к выводу, что театральные постановки приносят вам ни с чем не сравнимую радость, и даже не очень хорошие театральные постановки, даже совсем неудавшиеся — и они тоже; и все потому, что на их фоне яснее видно, как сияют и переливаются настоящие шедевры, вылепленные великими режиссерами и осуществленные всем театральным гарнизоном — от примы-звезды до осветителя, гардеробщика и рабочего сцены. И тогда вы задумываетесь о сложной жизни театра, о которой написано так много интересного. Вы вникаете в ход репетиций, в жизненные интересы ведущих актеров, пытаетесь понять, почему актер, вышедший на сцену с температурой под сорок, через пять минут выздоравливает, устраиваетесь сами рабочим, скажем, сцены, проникаете в лабиринт колосников, общаетесь в буфете за чашкой кофе с Маргаритой, скажем, Тереховой или Чулпан Хаматовой, вникаете, за что их не любит тетка на проходе, а вернее, за что Терехову персонал любит, а Хаматову нет, и так далее и тому подобное.

Узнав особенности этого фантастического существа — театра, вы делаете следующий шаг. Вы начинаете изучать репертуар и особенности режиссуры всех остальных театров в стране. С помощью интернета, театральных журналов и собственных тайных средств вы получаете представление о том, что делается сейчас в 19.00 в театрах всей страны. Потом — всего мира. Вы видите своим духовным взглядом постановку «Дон Жуана» в Берлинском оперном театре и знаете, что в этот момент (19.30) на сцене звучит ария Царицы Ночи. Также вы знаете, что в Станиславского сейчас Никола Турбин общается с Лариосиком, а в Большом гастролиру-

ющий «Ла Скала» показывает «Богему», и Мими уже полубила Рудольфа, в Лондонском же королевском стражники приходят в благоговейное смущении от появления Призрака, а в Пекинском на сцене расположился Меттерлинк с его синей птицей.

То есть вот что тут важно — то, что все постановки в мире, все мелодии, слова актеров, включая легкие, дурашливые, нежные, насмешливые, гневные, проникновенные, любовные и трагические, все жесты и мимика, все переливы света, осуществленные прожекторами и свечами, живут в этот момент — все разом и одновременно — в вашей голове. И картина этого общего действия — невероятно, чудовищно интересна. Вы видите, как слово Арлекина в Мельбурне перекликается с певучей репликой Фауста, поданной басом в Нижнем Новгороде. Вы следите за тем, как Годунов в Копенгагене отзывается и влетает свой голос в арию Клеопатры, плывущей в ладье по сцене Мадридского театра. Вы понимаете, что созерцаете не просто сумму театральных действий, идущих во всем мире, но какую-то страшно радостную и невыразимую общность и компанию, пестрое и поющее на разные голоса единство, составленное из фигур баронов, папушек, гамлетов, дон-кихотов, офицеров, генералов, стишоплетов, слуг и служанок, трактирщиков, мерзавцев, злодеев, фантазеров, добряков, коньков-горбунков, чудо-юд, радамесов, дантесов, фальстафов, всадников без головы, чацких, котов-бегемотов, котов в сапогах, просто поющих котов и кошек в бродвейской постановке и так далее, так далее, оборву, хотя хочется, страшно хочется без конца и без смысла просто перечислять этот волшебный калейдоскоп и список.

В чем же состоит эта общность, это единство? В чем ее суть? Где таится ее серьезная и веселая магия, прикоснувшись к которой, вы вдруг ощущаете, что каким-то образом и с какого-то боку неожиданно прикоснулись к самому сердцу мира? И теперь вы видите, как живет оно и пульсирует и как от него разбегается, словно кровь в организме, энергия и жизнь, оживляя все, к чему дотянется, а дотянется оно ко всему. Вы видите, как все эти персонажи объединяют призрачные, матовые силовые линии, как в один волшебный момент они вдруг начинают раскачиваться в силу неведо-

мых вам причин в резонанс, словно водоросли под волнами прибой. И вот вы прозреваете — что общность эта была всегда, но что в своем мире создали ее вы сами, осознав, замыслив и вникнув. И еще вы знаете, что теперь, имея светокопию всех театров мира в своей голове, вы можете изменить всю мировую театральную жизнь. И для этого вам не надо, например, анонимно звонить по телефону и информировать о якобы заложенной в Малом театре бомбе. Для этого вам нужно просто послать тот или иной импульс в этот Мировой театр, который вы созерцаете. И произойдет.

Но ежели вы действительно добрались до той невидимой и блаженной всеобщности, что располагается за всеми этими зрелищами, то вы познали, что такое вечность и юность. Что такое изначальная красота и молодость мира. И в этом случае вы никогда не будете действовать произвольно, дабы не нарушить чуткий строй этого волшебного организма. Наоборот, вы будете всячески способствовать неприкосновенности этой маскарадной и карнавальная жизни, потому что она, а вернее, то, что за ней сокрыто, — это вы сами, это лучшее и глубиннейшее, что в вас есть, бессмертное и благоговейное, но совсем от этого не серьезное и задумчивое, а наоборот, смешливое и хохочущее, казалось бы, в самый возвышенный или даже страшный момент, потому что уже знаете вы, что в любом случае — все будет хорошо. И вы это постигли печенкой и ребром, и вам не надо никаких доказательств. Отныне вы сами — всему доказательство.

И ежели и сказал Шекспир, что весь мир — театр, то сказал как знаток и мастер. А поэтому теперь попробуем сделать следующий шаг. Сосредоточьтесь, запустите театральную феерию снова, а потом улыбнитесь и замените всех действующих на сценах персонажей Буквами. Теми самыми, при помощи которых их всех можно описать. Но не в этом дело. Просто там, где стоял Просперо, поставьте Букву и помните, что мир действительно театр. И пусть идет представление сразу и одновременно, пусть развеваются флаги, гремят барабаны, играет музыка и совершается действие, в котором все актеры — буквы и вы сами — лучшая из них.

Когда Шарманщик понял это, он задохнулся от восторга.

Книга

Он задохнулся от восторга, прошел по бульвару мимо огромного рекламного плаката «Lexus», закрывшего пятиэтажный дом лакированным автомобильным боком, свернул в крошечное кафе «Лакомка», сел с чашкой дымящегося эспрессо напротив зеркальной стенки и уставился в свое изображение. Изображения он не узнал, а вернее, узнал не сразу, потому что перед глазами его плыли разноцветные буквы. Тогда он закрыл глаза, и они стали обозначаться все яснее, все четче, посверкивая и постреливая светом, словно долгожданные игрушки, которые он получал в детстве на Новый год и в день рождения; буквы пульсировали, таяли и вновь возникали, они блуждали по всему бульвару за окошком кафе, не обращая внимания на плотность деревьев, автомобилей, рекламных щитов и столетних дубов. Они словно танцевали свой собственный танец, слабо подмигивая и образуя самые различные комбинации, смыслы, истории, рассказы, последовательности и сочетания. Из них струился тонкий свет, который влетался в другие пульсации и рисунки, а когда их общий перекресток оказывался явным, то сразу же из его глубины, как Афродита из пены, всплывала новая буква, которая притягивала к себе еще одну из далеких или близких, и танец продолжался.

От его позванивающей тишины — он ясно это видел — зависели свойства вещей и предметов, наполнявших бульвар. Все, что занимало в его летнем пространстве хоть какой-то объем и форму, занимало их не просто так, а потому что буквы танцевали. Зеркало на стенке напротив него, запах кофе, форма чашки, то, что он пришел сюда, а не в другое место, форма его руки и тела и даже состав его крови и ее группа были определены и поддержаны этим танцем.

И точно так же им были поддержаны леса в тропиках, пингвины Антарктики, сама Антарктика, ее льдины и айсберги, каждый всплеск ее холодных зеленых волн, любая сосулька и любой ручей, неважно в Бирме ли, Костромской области, или на безымянном плоскогорье Кавказа. Буквы танцевали свой танец свободно, не навязывая его никому, учитывая каждую мысль каждого человека, идущего по бульвару, и постепенно меняя комбинации и последо-

вательности, как меняются поля медуз рядом с пляжем незадолго до шторма. Временами кто-то произносил на бульваре слова или глубоко задумывался, сидя на длинной скамейке у памятника. И в ответ на эту мысль или слово буквы перегруппировывались, отзывались нежными и тихими цветами и бесшумными мелодиями создавая общее между собой и тем, кто сказал или подумал, общее СЛОВО. Они постоянно и каждую секунду уравнивали, вязали, раскачивались, замыкали, распускали и вновь вязали. Они создавали новые общности — между чириканьем воробья и тающим в руке девчушки мороженым, между зависшим в воздухе комплиментом девушке и веткой над ней, между белым шагом высокого человека и зеленым шагом человека обычного роста, между пением птицы и самой птицей, а также между всеми, кто эту птицу слышал. Причем единство, создаваемое ими, было настолько бережным и трогательным, дабы не только никому не повредить, но и явить тихую и изливающуюся словно ручей света красоту всех сразу сочетаний, — что Шарманщик от неожиданности подарка задышал часто и неровно. Это было похоже на самую лучшую музыку, которую он когда-либо слышал. Он понял, что это были необязательно еврейские буквы, это могли быть буквы любого языка, да и буквами их называли условно, потому что они лишь означали и закрепляли те источники силы, которые и вступали во все эти комбинации, перекрещиваясь цветами и смыслами, как два хвоста павлина или две радуги. И все же это были буквы, и их было двадцать две. И они создавали слова. А те — фразы. А фразы создавали КНИГУ.

И еще Шарманщик понял, что среди комбинаций букв могут быть слабые, случайные, разрушающиеся на глазах, которые можно уподобить пьесам-однодневкам, а также мощные светоносные комья, излучающие такое количество энергии, что ее хватило бы, чтоб зажечь новое Солнце или перевести прежнее на другую орбиту. Но это было не нужно и даже невозможно, потому что главнейшей задачей изначальных букв было сохранение гармонии и простоты мира.

И еще он понял, что на буквы можно оказывать влияние. Что, колеблясь, создавая последовательности и вечно их уравнивая, они восходили к непостижимому началу, о

котором он, Шарманщик, ничего сказать не мог, кроме того, что это, скорее всего, и есть Бог.

Так вот, через эти связи и сцепления можно было влиять на Бога, и тогда прочитанные Им и возвращенные в мир смыслы и силы выстраивали СЛОВА по-другому, ставили БУКВЫ в иные комбинации, и была вероятность, что даже те, невероятные по своим смыслам и мощности сочетания — и они тоже могут сдвинуться с привычных мест и начать другой путь, увлекая за собой Солнце, звезды и все в мире, словно скатерть с праздничного стола вместе со всеми представленными на нем предметами. Шарманщик понял, что видит необычайной красоты и сложности — поэму, написанную не только людьми, но и каждым деревом, кустом, паровозом, каждым домом, каждой собачонкой, воробьем и кузнечиком, — написанную и пишущуюся каждый миг времени — вместе с Создателем. Это была толстая, все время растущая и словно жонглирующая искрами и картинками, непривычная по красоте и смыслу книга с живыми буквами-огнями, и книга эта находилась в непрерывной работе.

Вернемся, вернемся.

Как, вы спросите, можно влиять на комбинации и силу этих букв? Как можно участвовать в написании непостижимой книги и можно ли? Можно ли мне, человеку тусовки и человеку заботы, человеку метро или человеку-заботе, человеку-страдальцу и человеку-кузнечнику, человеку-балагуру и человеку-беглецу прикоснуться к написанию книги судеб мира и каким образом? Да, можно! И делается это с помощью молитвы. И чем сердечней она и проще, тем больше силы имеет и больше БУКВ переставляет или, наоборот, оставляет неподвижными. Тем более волшебные слова о себе и мире образует с их помощью.

Идешь так вот из ресторана домой, а жить уже почему-то не так хочется, как только что, и знаешь, что опять предал и себя, и партнера, и подругу, потому что двенадцатый день уже на кокаине и от этого очень даже бодр и ясен, а вечером ложишься в купленной наркологии на капельницу и очищаешь кровь, чтобы завтра можно было продолжить с порошком без последствий, но сердце вскрикивает время от времени, и от этого страшно и нехорошо. Потому что когда оно вскрикивает — каждый раз словно ребенка бьют, и жить

от этого плохо. И тогда, с ходу прислонившись к фонарному столбу и пляша прококаиненными руками в воздухе, творишь крест и начинаешь что-то такое шептать Богу, зная, что слышит. И вот здесь-то одна из букв мира может сдвинуться, а может и нет. Все зависит от чистоты того, что слышит и выстраивается в горле, добежав туда из сердца.

Вот так каждый и пишет свою жизнь и свою судьбу, встраивая ее в общую жизнь мира, сквозной ниткой, которой начала нет и конца тоже. Вот поэтому-то прыжок кузнечика в Бриндизи может продернуться сквозь всю скатерть и отозваться количеством чаевых, выданным официанту в ресторане «Бристоль». Такой неучтенный эффект принято называть эффектом бабочки. Суть его в том, что это только кажется, что бабочку окружает остальной мир. На самом деле остальной мир расположен между ее правым и левым крылом — весь, со всеми его материками, звездными отдалениями и богами. В это трудно поверить, но это так. Причем то, что удивляет в случае мира и бабочки, точно так же располагается и относительно человека и мира, муравья и мира или водоросли и мира и располагается в них если и не между крылом и крылом, то тогда между завитком и завитком, правой рукой и левой рукой, вдохом и выдохом.

А также кроме множества непостижимых вещей в мире букв, которые то ли почуял, то ли при помощи внезапно углубившейся интуиции различил Шарманщик, была еще одна. Всеобщая скатерть мира, плавно переходящая игрой света от одного оттенка к другому, осуществляла связь своими «нитями» не только в одном пространстве, но также и во всех бесконечных пространствах, в которых люди одновременно живут, даже не подозревая об этом, и во всех временах тоже, каждую секунду при помощи обновленных комбинаций меняя в них и будущее и прошлое, потому что нельзя ничего поменять отдельно, чтобы не отозвалось — везде. И все бы давно стало чужим, бессмысленным и перепутанным в этой скатерти, ежели бы ее не расправляла, не утешала и не ласкала дева-Любовь. Об этом знал Данте и больше него Рильке, и Ангел Силезский и Ванга-пророчица, а также все самые проникновенные и чуткие поэты в мире. Дети тоже знают об этом, но только не с помощью слов, а с помощью света, который плещется у них внутри, заменяя

им жесткие и ограниченные взрослые слова переливами невидимых букв.

И еще. Книга эта чудесная была недописана, особенно в том месте, что было посвящено участи и судьбе всех людей на земле в том варианте начала двадцать первого века, в котором жил Шарманщик и его знакомые. Тут зияло словно огромное бельмо, серая поганая лужа, которая стояла на пути чудесных сочетаний. Она, эта тухлая лужа, могла либо войти в общую комбинацию, ткущуюся всеми людьми сразу, и раствориться в ней без следа, либо подчинить эту комбинацию себе, если та ослабеет и потеряет свои световые силы, и тогда глава истории под названием «люди на Земле» будет закрыта. Бельмо съест историю людей и их самих.

Шарманщик видел две основные буквы, которые надо было укрепить на земле. Он попытался зацепиться за них взглядом и мыслью, но они постоянно ускользали, словно намазанные маслом. И тогда он понял, что если он не найдет олицетворение этих букв и не встроит его в свою жизнь, с целью оживить их, как в реанимации, в своей собственной душе, уподобляясь найденному для каждой буквы знаку или символу, в каком бы виде он ни предстал — геометрической ли фигурой, сочетанием звуков в музыкальной фразе, поэтической строчкой, поступком ли одного человека по отношению к другому, или другого по отношению к животному, — то задержать смысловую инфляцию этих двух букв, он не сможет. И тогда бельмо одолеет Алфавит и все будет настолько плохо, что лучше об этом не думать. Обо всем, что тогда будет, написано в книге Апокалипсис. Встроенный же в него, Шарманщика, символ двух букв должен быть для них настолько притягателен, что они войдут внутрь, а следовательно, и в душу Шарманщика, если он этот символ отыщет. Одну букву он знал — тав. Вторая ускользала и не давалась. Ее надо было приманить.

Шарманщик понял, что должен написать свою часть книги, стать для этой части новыми двумя буквами, чтобы жизнь его имела в его глазах смысл. Наверное, это звучало не очень убедительно для остальных — аргументировать свой поступок таким смехотворным способом, но для него этого было достаточно. И тогда однажды вечером, после того как Арсения убежала за цветами к его дню рождения,

он сел за толстую тетрадку и вписал туда историю про то, как однажды, когда он жил на даче осенью, к нему приехала его питерская знакомая и на второй или третий день он с ней переспал. А нет! Первой была история о том, как он разыскивал спустя двадцать лет другую свою знакомую в своем родном курортном городе, а вместо этого встретил ее мать и ее внучку.

А какое, спросите вы, какое отношение эти истории имеют к укреплению двух мировых букв? Тогда Шарманщик этого не знал. Но начинать все же с чего-то было надо. И тогда же он решил, что опишет в этой тетрадке историю любви Владимира Сергеевича Соловьева к госпоже Мартыновой в виде дачного романа, печального и восхитительного. Он был убежден, что на этом пути он обязательно набредет на символ ослабленных букв и тогда сможет его приручить и освоить две ослабленные неверными сочетаниями буквы собственной жизнью. Освоить и сделать так, чтобы они взяли всю его убежденность в новой счастливой версии жизни и устояли в мировой истории, перерастая бельмо внутренним смыслом.

Он знал, что это нелепо, но чувял в себе силы от присутствия в его жизни другого нелепого человека, его духовного и почти что физического предка — философа Соловьева.

Дом на Арбате

А философ Соловьев сидел на угловом балкончике второго этажа дома, расположенного на пересечении Арбата и Коношенного, и смотрел в сторону Новодевичьего монастыря. Ему вынесли сюда кресло из плетеной соломки и срочно сервировали небольшой столик, по этому случаю также очутившийся здесь. На нем в вазе стояли фрукты, к которым Владимир Сергеевич был равнодушен, орешки в сахаре, к которым он равнодушен не был, и бокал с шипучим золотым напитком — крымское шампанское, его он и прихлебывал задумчиво. Брат его, Михал Сергеевич, несколько раз выглядывал на балкончик и, протирая песне, осведомлялся не надо ли чего. Но Владимир Сергеевич лишь фыркал из кашне, намотанного на горло, и бормотал под нос нечто

невразумительное, к чему близкие давно уже привыкли. Ну ушел в себя человек, что тут поделаешь, бывает. Лишь бы возвращался из своих внутренних стран в хорошем настроении, как это в конце концов и случалось. Но сегодня Владимир Сергеевич не торопился покидать внутренние страны и все больше фыркал да отвечал невпопад. Заходящее над Новодевичьим майское солнце, дав зеленый световой акцент по краю окоема, вызолотило угол дома вместе с сюртуком и лицом философа, который смотрел на закат не отрываясь, причем борода его на какое-то время стала рыжей от солнца. Буйные кудри до плеч тоже порыжели, и седины почти не стало видно.

— Володя, не надо ли чего? Может, кофе подать, я скажу Наташе.

— Оставь. Как здоровье Сережи?

— Хорошо, слава Богу. Способный мальчик. Лошадей любит рисовать.

Речь шла о племяннике Владимира Сергеевича.

— Лошадей... Ну и что лошади?

— Что лошади?

— Ну то есть, что лошади? Как он их рисует — с натуры или на память?

— Да, видимо, по памяти.

— По памяти... Лошади по памяти... А что там в Париже?

— Что ж в Париже?

— Там, говорят, прямо революция совершилась, на этот раз в искусстве. Вошли в моду, говорят, господа Моне, Курбе, да этот, как его, — Тулуз.

— Что за Тулуз?

— Да сам не знаю, Тулуз какой-то. Мне Цертелев все уши прожужжал — Тулуз да Тулуз. Говорит, что это будущее мировой живописи. В Москве уже покупают. И в Питере тоже. Я, правда, не видел, поскольку не интересуюсь.

— Не знаю, о чем это он.

— Да как же ты не можешь знать? Не кури здесь, пожадуйста, у меня от этого кашель. Так ты не знаешь Тулуза?

— Не знаю.

— Верно говоришь?

— Не знаю я никакого Тулуза.

— А вот Цертелев говорит, что ты должен знать. Ты дол-

жен знать, поскольку имел намерение посетить в Париже девиц неблагопристойного поведения.

— Никого я не посещал.

— Не посещал. Но намерение имел.

— Это тебе Цертелев сказал? Да что же он за сплетник таковой. Добро бы хоть был со мной близок, а то ведь всю эту ерунду из пальца высосал. Взял да и высосал из пальца.



Михал Сергеевич расстроился даже, снял пенсне, вытащил из панталон большой клетчатый платок и стал протирать стеклышки.

— Ничего он не знает.

— Ты в кафешантане был?

— Так там сплошные кафешантаны. Конечно, был.

— Вот и Цертелев говорит, что был. И намерение имел.

— Тьфу ты, Господи Христе! — даже плюнул Михаил Сергеевич. — Опять за корову деньги.

— Ты несколько раз был в кафе «Мулен Руж» и там познакомился с Тулузом.

— Бог ты мой, Володя, да ты что меня сегодня извести на корню решил? Уймись, прошу тебя.

— Это художник-коротышка. Любимец дам неблагопристойных и распущенных.

— Ах это...

— Ну вот видишь. А говорил, что не имел намерения. Вот ты, брат, и попался.

— Так при чем тут какой-то Тулуз.

— А как звали коротышку?

— Мсье де Лотрек. Барон, между прочим.

— А на самом-то деле его звали Тулуз. Цертелев методом дедукции вычислил, что ты с ним в Париже познакомился. А он теперь в Москве в моде. Его наши меценаты покупают. Его Серов хвалил.

— Ну раз сам Серов.

— Еще, говорят, Дега. Тоже, наверное, барон, как ты думаешь? Вот этот-то как раз все больше лошадей рисует. И балерин. Тоже дам не совсем благопристойных, но не столь распущенных, как приятельницы Тулуза. Говорят, тот прямо в борделе и живет.

— Был ли у мамы?

— Вчера.

— Оставайся у меня, Володя. Поужинаем, я из ресторана закажу, как ты любишь, с икрой, с шампанским.

— Нет, брат. Аппетита нет.

— Не влюбился ли, господин философ?

— Влюбился-влюбился... — пробормотал господин философ и перевесился с перил балкона, нависнув над ничего не подозревающим Арбатом. Предметом его внимания была молодая дама. Расплатившись с извозчиком, особа в длинном пальто и темно-синего цвета шляпе спрыгнула на тротуар и пошла в сторону кондитерской. Извозчик, наклонившись на бок, засунул вырубку в тугой карман, поглядывался в поисках клиента, но ничего подходящего не обнаружив, стеганул лошадь и медленно покатыл в сторону заката с зеленым акцентом.

— Мне говорили, что ты хочешь дачу на лето снимать,

— Михаил Сергеевич сделал вид, что вопрос этот для него самый обычный, самый естественный, и даже, пока спрашивал, старался смотреть в сторону, но не выдержал и глянул на брата.

— Очень хочу, — внезапно воодушевился Владимир Сергеевич. — То есть я уже считай что и договорился.

— В каких же краях?

— Края замечательные. Красота такая, да соловьи! Место недалеко от Сходни. А деревня, сейчас-сейчас... ага, вот — Морщина. Я уж и цену выгодную выговорил.

— Какую?

Владимир Сергеевич сказал.

- Это что ж, дача?
- Ну дача, изба то есть.
- Так. И это за все лето?
- За месяц.
- Так-так. Ты, Володя, не погорячился ли?
- А что такое?
- Цен таких за избу не бывает.
- Каких таких цен?
- Да таких, как ты сказал за месяц.
- А что, много?
- Несусветно.
- Ну погоди, погоди. Видишь ли, хозяин человек бедный, семья у него, дети, хозяйство никудышное.
- Тебе-то что за дело?
- Э-э-х! — отмахнулся Владимир Сергеевич.



И погрузился в созерцание арбатской беготни. Дама в шляпе вышла из кондитерской и остановилась на тротуаре. Несколько студентов, похохатывая, прошли к ней вплотную так, что дама была вынуждена посторониться, и видно было, что это ей не понравилось и что губы ее надменно шевельнулись. Потом она вдруг улыбнулась и замахала рукой в перчатке какому-то усатому субъекту в черном пальто на той стороне улицы. Субъект в черном пальто пересек Арбат, подхватил даму под руку, и они вошли в кондитерскую уже вместе, а философ Соловьев вздохнул, вытащил из кармана

книжечку для записей, поискал карандаш и, найдя огрызок в жилетном кармане, записал на страничке: «Три вещи вызывают во мне задумчивость: панталоны без пуговиц, чернильница без чернил и женщина, потерявшая стыд».

А Арбат горел и переливался витринами магазинов, булочных, модных лавок, ресторанов и чайных. Цокали копыта лошадей, пахло духами, почками тополей и навозом; зажигались в светлом воздухе первые фонари. Загудели и задолдонили колокола в церкви в честь престольного праздника, народ расходился от всеошной по переулкам. Из чугунных ворот двора вышел дворник с бляхой, поглядел на улицу с достоинством, потоптался и вернулся во двор.

Прошел час или два. Никому не известный поручик шел по арбатским бульжникам и размышлял о двух вещах сразу — о том, почему актриса Алешкина не ответила вчера на его записку, несмотря на то что прежде отвечала аккуратно и с чувством, а во-вторых, о том, как это странно, что, говорят, в Москве у одного из родственников полковника Васильева появилась моторная карета, которая ездит сама собой, причем даже обгоняя некоторые другие экипажи. Он также вспомнил о карточном долге и о любовнице, с которой пора бы уже установить твердые границы, либо совсем разорвать, и лучше бы совсем разорвать, потому что уже все как-то не туда зашло. Ну да ничего, скоро их переводят на Кавказ, слава Богу, все как-нибудь само устроится. Потом поручик зачем-то глянул на небо, чего никогда в жизни не делал, во всяком случае посреди улицы, — и поразился. Громадная глубина глядела на него оттуда, и даже горящий газ фонарей не мог ее ни ослабить, ни выгнать. Видны были смутные звезды, похожие на большие кувшинки, и звезды поменьше, похожие на подснежники. Так он и стоял там, схватившись зачем-то рукой за фонарный столб, Бог знает сколько времени. И простоял бы он там еще долго, если бы не забил на соседней улице пожарный колокол и не побежали на веселый залиvistый звук неизвестно откуда взявшиеся мальчишки. Поручик тряхнул головой, поглядел туно в сторону мальчишек, оторвался от наваждения и пошел было на колокол. Но потом все же вернулся, снова взялся за столб и поглядел в небо. Все те же звезды, похожие на цве-

ты, стояли над ним. Поручик заморгал, лицо его сделалось почему-то обиженным. Он даже приоткрыл рот, видимо, собираясь, что-то сказать, но слов не нашлось, и тогда поручик крикнул, плюнул и побежал смотреть пожар.

Разговор

— Морщина... Это не там ли, где усадьба Валентина Николаевича Мартынова? — Михал Сергеевич опять напряженно смотрел в сторону, задавая вопрос.

— Ну конечно же, — со счастливой улыбкой отозвался философ. — В паре километров всего. Чтобы недалеко было в гости ходить. Я на все лето снял.

— Я... Мне... То есть, говорят, что ты сам не свой стал.

— А чей я стал?

— Что чей?

— Ну если не свой, то чей?

— Да, действительно...

— Я знаешь ли, чувствую себя совсем юношей. Когда я вижу ее, все меняется. Она сама не знает, что она такое.

— Софья Михайловна?

— Ну конечно же, она, а кто же еще?

Они сидели за столом и пили чай с вареньем. Арбат за окном провалился в фиолетовый сумрак с блестящей звездочкой в углу окошка за тюлевой занавеской.

— Ну и что ж в ней такого необыкновенного? — сухо спросил Михаил Сергеевич? — То что с графом Толстым переписывается? Ну да она дама, конечно, и образованная и умная.

— Помолчал: — Так, значит, ты вот так взял, все забыл и в нее влюбился? Прости, не мое это дело, впрочем...

— Спрашивай, спрашивай, мне, собственно, скрывать нечего. Ты ведь веришь в Софию?

— Прости, я что-то не улавливаю...

— И не улавливай на здоровье. Есть незримый розовый свет, необычайный, глазу не видимый, в котором кунаются все миры, и блаженно человеческое сердце, когда в откровении любви оно погружается в это неуловимое не в какие иные времена, кроме мига любви и мига прозрения, сияние и становится после этого совершенно зрячим. У Софии Пре-

мудрости есть на земле свои избранницы — души чистые и непорочные, души избранные, ей родственные, и когда она находит такую душу, то объединяется с ней в одно — в одну красоту, в один свет, в одну любовь и... О бедный язык людской, который раз я тебя ломаю и корежу, чтобы хоть как-то выразить одно-единственное ради чего и жить то стоит. Весна, вечная весна... неизъяснимое, вечное, восстающее...

Михаил Сергеевич нервно помешал ложечкой в чашке с пастушкой на качелях:

— Но, Володя, ведь все влюбленные находятся, так сказать, в состоянии необычайном, временном, иллюзионном. Это как болезнь. Им кажется, что их избранница — само чудо из чудес, и отчасти они, конечно же, правы, потому что всех нас сотворил не кто-нибудь, а Господь Бог, и ее, избранницу, в том числе, так сказать, тоже, но ведь потом это проходит, совершенно проходит, куда-то девается и наступают обыкновенные будни.

Владимир Сергеевич вскочил из-за стола, едва не опрокинув стул, и стал расхаживать по небольшой комнатке на длинных своих ногах, бросая тени туда-сюда:

— Неверно сравнивать любовь с болезнью. Это все остальное рядом с ней — болезнь. Любовь-влюбленность делает человека зрячим. Как только он перестает быть эгоистом и готов для предмета сердца своего отдать все что угодно, включая саму свою жизнь, как тотчас в душе его открывается тяжелая дверь, которую эгоизм держит на запоре, и в открытую дверь врывается свет небесный. Царство Божие словно является всем влюбленным, словно поощряет их первые шаги. И они больше не видят этого мелочного, расчетливого, низкого мира, в котором своя рубашка ближе к телу, свой огород, своя докторская диссертация, своя жена и свои дети. Они возвышаются и летят над ним, не замечая, потому что их несет Свет Царства. Влюбленный ближе к Христу, чем ханжа, ходящий по всем праздникам и воскресеньям в церковь. Влюбленный смотрит и видит глазами любви, он бескорыстен. И все мы для того и созданы — любить и быть в свете Царства — бескорыстным и целомудренным... но ты, конечно же, прав по обыкновению — все это проходит, ускользает, просачивается сквозь пальцы, и нет человеческих сил это сияние задержать.

Владимир Сергеевич закручинился, сел в кресло и закинул ногу на ногу, сильно ударив стол снизу коленкой.

— Да разве такая безотчетная любовь не эгоизм? Она же замужем.

— Да что ж тут особенного? У Софии Михайловны много поклонников, и никто из них не преступал границ приличия.

— Ну Володя, я уж и не знаю, как все это тебе объяснить.

— Не надо ничего объяснять. А что, скажи, в Париже, какие сейчас стихи читают?

— Тебе неинтересно.

— Очень, очень интересно.

— Ну что там... Верлен, конечно же, Альфред де Мюссе...

— Жеманно, манерно...

— Верлен?

— Да нет, Мюссе...

— Эредиа... Леконт де Лиль...

— Это какие-то новые?

— Ну да, символисты. Все эту кашу Бодлер заварил.

— Бодлер хорош, но до нашего Фета или Тютчева ему далеко. И равнять даже нечего. А знаешь, я, пожалуй, сейчас прямо на Сходню и поеду.

— Боже мой, что за напасть! Да куда же ты собрался? Ночь же.

— Это неважно, что ночь, Миша, а я поеду. Я извозчика возьму, и часа через три-четыре доедем. А там, глядишь, ночь и кончится. Сейчас светает чуть ли не в пять утра, а времени уже, — он посмотрел на напольные часы с плавным маятником и резным единорогом, — почти два.

Владимир Сергеевич встал из-за стола и взял в руки чашку, допивая чай на ходу, но до рта не донес и задержал перед глазами, рассматривая девушку на качелях.

— Вот ведь... свобода, — сказал он. — Полет души, можно сказать, нежные коленки. Пана в кустах только и не хватает, чтоб восхититься и утащить.

— Это Фрагонар, — сказал Михаил Сергеевич, взяв чашку из рук брата, сняв пенсне и тоже внимательно ее рассматривая.

— То есть, не сам конечно, Фрагонар, а с его картины копия, переведенная на фарфор.

Владимир Сергеевич склонился взглянуть с другой сто-

роны. Так они какое-то время простояли, причем Михаил Сергеевич не горбился, а Владимир Сергеевич сторбился довольно заметно, но не от каких-то тяжелых чувств, а наоборот — лишь потому, что был выше брата.

— М-да...

— Ну вот ведь...

— Фрагонар.

— А Паи, говоришь, в кустах? — Михаил Сергеевич внезапно не сдержался и прыснул высоким теноровым хохотком.

— Всенепременно.

— Вот ведь, Володя, мне жалуются, что, когда ты поселяешься у знакомых на сколь бы то ни было продолжительное время, как сразу в переулке появляется столько нищих да оборванцев, что порядочным людям ходить там становится не с руки.

— Это почему же?

— Да потому что ты их подаванием приваживаешь, а они за тобой хвостом ходят. Помнишь, как однажды ты домой без пальто пришел — нищему подарил.

— Экие ты, брат, анекдоты собираешь. Ничего такого не было на самом деле. Ну да ладно, поеду.

— Так-таки и решил?

— Да.

Михаил Сергеевич сел на стул. Посмотрел снизу вверх на брата и изрек тихо:

— Знаешь, Володя, это безумие. Никакая не просветленная Богом мудрость, а просто сумасшедший дом и помешательство.



— Я снова молод, друг мой. И я еду слушать соловьев. Да! Неприличный Соловьев едет слушать соловьев.

В прихожей поэт натянул на себя свой макферлан и поцеловал брата.

— Ты смотри, не простудись. Ночи еще холодные.

— Слышишь, чем пахнет? Слышишь?

По лестнице гуляло эхо.

— Тише. Всех перебудуешь.

— Весной души пахнет!

Философ захохотал так, что эхо на лестнице отозвалось Мефистофелем, протопал по лестнице вниз, выбежал на улицу и исчез в светлой фиолетовой ночи, полной звезд и шевеления лучей.

Поэт

Хороша была ночь! Извозчик как нарочно оказался знакомым и, только самую малость подумав, согласился везти Владимира Сергеевича за сорок верст. Поехали, сначала петляя по улочкам и переулкам, потом выехали на Пресню, миновали Ваганьковское кладбище с белыми, словно ангелы или облака, призраками цветущей черемухи и вскоре добрались до тракта на Петербург. Въехали в Петровский парк, темный, глухой и угрюмый, но вспыхивавший тут и там призрачной черемухой, как будто окатывая голову из ушата. В дачах, тянущихся вдоль шоссе, свет уже нигде не горел — спали. Владимир Сергеевич поплотнее замотался в свою крылатку, вытянул как мог длинные ноги и запрокинул голову. Покачивалась впереди ватная спина извозчика, отчетливо и вразнобой стучали в тишине копыта, а над головой застыло неподвижное ночное небо, усеянное звездами, которые лишь иногда перечеркивала, вильвая и уплывая плавно, крона какой-нибудь придорожной липы или тополя.

Владимир Сергеевич почти лежал на сиденье и вглядывался в небо близорукими глазами, и от близорукости звезды делались еще огромнее и словно из снега. Одна заходила за другую, словно перья на хвосте павлина, а та заворачивалась за третью, пятую, десятую, и все они жили, перекликались и позванивали, как в стихах Афанасия Фета, в поместье которого он недавно гостил. И ходили они и пере-

говаривались, бесшумно, словно в валенках, и заворачивались, и снова разворачивались, ерзали и кололись. Рессоры экипажа то бросали его к небу, то опускали, а оно от этого не приближалось и не отдалялось, а было вроде бы само по себе со своими шорохами, свежестью и вспышками, но на самом деле говорило сейчас со всем миром, мигая золотыми ресницами — с темными этими дачами по бокам, с ночными стволами и молочной пемзой черемух, с лошадьми, стучащими копытами по пустынной дороге, со спящими на дачах людьми, с извозчиком, качающимся на козлах, и с ним, Владимиром Соловьевым, тщетно пытающимся хоть как-то устроить длинные ноги свои поудобнее, а все напрасно и вотще до тех пор, пока не лег почти поперек экипажа, закинув их на противоположное сиденье. Он подумал, что не спросил, как зовут извозчика, и от этого ему стало стыдно.

— А что, брат, как скоро доедем, что ты думаешь?

— А в срок и доедем, барин Владимир Сергеевич.

— Да... А зовут-то тебя как?

— Петровичем.

— А имя?

— Имя-то? Имя наше Иван, — ответил извозчик, неловко, как мешок с мукой, полубернувшись на непривычный вопрос.

— Ну и как же ты живешь, Иван?

— Да как живу? Обнаковенно. Как люди живут, так и я. Денег заработаю, вернусь в деревню.

— А в деревне-то что, хозяйство у тебя?

— На брате теперь хозяйство. А я с женой тут, значит. Возвращаться надо.

— А у самого дети есть?

— Машенька, дочка.

— Сколько ж ей лет?

— Два годика.

— Слушай, Иван Петрович, ночь-то какая!

— Теплая, Владимир Сергеевич. Назад-то вас ждать или в гости едете?

— Нет, ждать не надо. Я покажу, где остановить. Там еще глубокий овраг есть с речкой.

— Да там оврагов-то много. Я как-то ездил. У меня в тех краях родня...

Владимир Сергеевич откинулся вновь на сиденье и стал думать, что вот едут два человека и один о другом только то и знает, что у него дочка Маша, которой два годика, и что его зовут Иван Петрович, а тот знает о нем, Соловьеве, что-то свое, Соловьеву неведомое. Но все, что они друг о друге знают, ничего не значит и никогда бы не значило, если бы внезапно не навалилось на них как одеяло это звездное небо с его непрерывными огнями и эта тихая майская ночь, которую начали простреливать своими серебристыми щелчками и трелями соловьи. Встретились они случайно и разойдутся снова, так ничем ближе друг другу не став, и все будет так же обычно. Впрочем, уже не будет, — подумал Владимир Сергеевич, — потому что, слава Богу, не та эта ночь, чтобы встретиться в ее тишине и разойтись. И почему люди чаще не нанимают какой-нибудь экипаж и не едут, как он сейчас, в какую-нибудь сторону и ночь! Почему не сидят они в тишине, чутко прислушиваясь к цоканью копыт, к соловьиным щелчкам в ночной тиши, чуя, что рядом тоже сидит родная душа — не случайная, а родная от века. И что с того, что не знает он ни судьбы этого человека, чья темная спина вырезывается сейчас на звездном фоне, что с того, что не говорят они больше, не рассказывают друг другу свои заботы, — так ведь не в заботах же все дело. А в том, что они и так друг про друга знают все самое главное. Потому что разве не знают этой ночью всё друг про дружку ели в лесу, озера, кустарники, речки или звери лесные. Конечно же, все они всё знают и понимают. Потому что они знают и понимают своей полупроснувшейся звериной душой самое главное, самое важное и тихое. А больше того знать и понимать и не нужно. Вот так же и люди, когда мимо них или сквозь них течет эта тишина, в которой растворены все слова и буквы в мире. Ну что тут еще надо понимать, кроме того, что это — небо, а это — звезда. Что это — человек на козлах, а это — его кони. Что мы с ним едем туда, где нам будет очень хорошо. И что эта ночь — самая лучшая ночь в жизни, потому что в ней всё правда.

Пахло тополиными почками и черемухой, голова философа покачивалась на сиденье, и он уж совсем лег на спину и время от времени закрывал глаза, словно задремывая. А когда открывал, снова видел огни и звезды и губы его шевелились, произнося дивные строки Фета:

И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность,
И пламя твое узнаю, Солнце мира.

И неподвижно на огненных розах
Живой алтарь мироздания курится,
В его дыму, как в творческих грезах,
Вся сила дрожит и вся вечность снится.

Он лежал, вздрагивая от толчков, и сознание его то расширялось и делалось большим, как небо и черемуха, и звезды, и даже еще больше, — то сужалось, и он снова видел, как струится дымок от папиросы его брата Михаила Сергеевича и как раскачивается на фарфоре чашки пастушка на качелях. Он сознавал и понимал, что и дымок от папиросы, и брата он видел раньше, что к тому, что сейчас его окружает, это не имеет отношения, но не прогонял видение, и дымок продолжал сизо струиться и виться над длинным мундштуком, окутывать призрачной змейкой темные деревья, тихо проезжающие по бокам зрения, вылетаться в звезды, когда очередной прилив поднимал зрение туда, выше, откуда просвечивал свет Вечного Солнца, и брат говорил слова, которые он словно и слышал и понимал, но не смог бы повторить, и тогда он вспоминал, как называется то или иное созвездие над головой или место, куда они едут.

Дорога шла под гору, а потом снова медленно взбиралась на холм, ему и хотелось спать и не хотелось. Казалось, что ему так же легко пребывать, как в одном состоянии — бодрствования и свежести, так и в другом — сладкой дремы, переходящей в глубокий сон. И он никак не мог решить, в каком же из них ему хочется задержаться подольше, то ли в бодрствовании, в этих ставших приятными толчках колес и созерцании мировой гармонии над головой, то ли в сладком исчезновении сознания в тонком и глубоком отдыхе, за которым уже вставали успокаивающие и нежные видения. Сизый дымок папиросы словно связывал обе области, струясь из одной в другую, перетекая змейкой от вечной глубины сна к высокой глубине фиолетового небосклона, сопровождаемый голосом Михаила Сергеевича — бу-бу, бу-

бу, заплетал боковины пейзажа в затейливую теплую вязь, ткал свой ковер мировых всеобъемлющих пространств, где ничто не отдельно, ничто не исключало другого, но множит свой таинственный рисунок, словно на гобелене, изображающем, кажется, Даму и Единорога, который он как-то видел



во время путешествия по Франции в одном из музеев и восхитился, а потом очень быстро забыл. Но сейчас и гобелен, и разные другие картины вылетались и вылетались в его сознание — речь против смертной казни убийц царя, собственно, не речь даже, а так, несколько фраз, которые однако тут же сделали его скандально знаменитым и вынудили уйти из Московского университета, и София в цыганской шали, стоящая перед ним на коленях, и ее бледное лицо, когда она с закрытыми глазами вещала о буквах мира, и голуби на подоконнике гостиницы, и почему-то маленький мальчик на улице, который остолбенело застыл на тротуаре, следя за ним глазами, а потом вытянул руку, показывая на него пальчиком и сказал: «Бог, Бог...» Еще были какие-то пароходы, которые наплывали один на другой, белея парусами, но от этого не сталкивались, не ломались, а продолжали плыть куда плыли. На одном из них по веревочной лестнице взбирался вверх на мачту Иван Петрович извозчик. Ему мешала слишком толстая одежда, но он упорно лез вверх, и почему-то смотреть на него было томительно жалко и обидно. То ли потому, что не долезет человек туда, куда лез,

и, в общем, как ему может быть хорошо, если все дело его осталось в деревне, а сам он живет в нелюбимой Москве с женой и дочерью, а уехать никак не может, и потому теперь ему приходится карабкаться по этой нескончаемой мачте. А взбираясь все выше, он становится все меньше и меньше, и теперь было ясно, что эта мачта вовсе и не обыкновенная, как ему казалось прежде, мачта парусника, а достает, можно сказать, до луны или даже до самых высоких звезд, которые все подрагивают да подмигивают, и оттуда по-прежнему слышится братнино монотонное бу-бу да бу-бу, а он все лез, все выше и выше, пока не стал совершенно неразличимым зрению и окончательно не затерялся в шевелящихся огнях наверху. Тут Владимир Сергеевич так же плавно перешел в обратную сферу, туда, где все было и так, да совсем вовсе и не так, и снова увидел ватную спину извозчика на фоне звезд, тех же самых, но уже и как бы не тех, и снова в спину приятно толкнуло, а у лошади екнула селезенка, и сонный голос отозвался: э-э-эй, милай! — а по бокам по-прежнему медленно проплывали как черные великаны кроны лип и елей и тихо цокали подковы. И тогда он решил быть в обоих пространствах одновременно, и в том, где парусники наталкиваются друг на дружку и не ломаются, и в этом, где они едут через ночь по Петербургскому тракту, и не потому что они были, в конце концов, одним и тем же пространством, в котором все и происходило, а потому что к этому привела его сладкая нега, которую не хотелось тревожить и терять, а нужно было просто оставить все как есть.

Мошка

Он и оставил. И тогда оба пространства — и сновидческое, и просто видимое стали углубляться, осерьезниваться и утоньшаться. Причем каждая из этих половинок заново разделалась еще на две половинки, и они по-прежнему были как и раньше: одна была сновидческой, а вторая просто видимой. Он наблюдал, как они продолжали делиться и множиться, встраиваясь одна в другую, вставляясь и множась до бесконечности, как если бы было над головой случайного прохожего обычное повседневное небо, но взяли

этого прохожего да и пригласили к трубе телескопа с многократным увеличением и дали ему сквозь нее посмотреть на небо, раз за разом степень этого увеличения изменяя. И было бы ему странно проваливаться в эту бездну, для начала такую привычную и обыкновенную, а под конец, как выяснялось, — затягивающую, многократную и пугающую. Вот тут только один возник бы интересный вопрос — каким образом бы отнесся этот гипотетический прохожий к этой самой бездне, короче говоря, как бы он ее воспринял — как реальность, окружающую его, этого самого прохожего, со своими заботами, семьей, любовницей, долгами, страхами и экзистансом, или не как реальность, а как приложение к той расширенной стороне телескопа, куда этот расширенный мир затягивался как в пылесос и репродуцировался сначала на суженном его конце, а потом в зрачке нашего странника? Так вот — как бы он для него репродуцировался: как часть его мира, или как артефакт, на миг извлеченный хитроумным прибором из небытия, чтобы посверкать-посверкать страшной и блестящей игрушкой да и исчезнуть туда, куда ему и дорога, не повлияв никоим образом на ориентацию прохожего в пространстве-времени, и равным образом в величине его жизни и ее же малости?

Но между сновидческой половинкой каждой ячейки мира и просто видимой были еще вкраплены небольшие пузырьки, которые то ли принадлежали обоим половинкам, то ли не принадлежали ни одной из них, а скорее указывали на то, что есть еще и другие половинки, слепленные уже не из этого стеклянного теста, а из совсем другого — невидимого, но к которому эти пузырьки имеют прямое отношение, потому что пузырьки были (впрочем, как и половинки) не пузырьками самими по себе, а мирами и картинками, в которых все время что-то происходило. И если, скажем, в сновидческой и просто видимой половинках, как на экранах нескольких десятков телевизоров, выставленных в магазине видеотехники, синхронно происходили некоторые события этого мира — например, экипаж с кучером на козлах и философом, развалившимся на заднем сиденье, задравши ноги на сиденье переднее, и боковым зрением наблюдающим движение по звездному небу темных крон, то в пузырьках тоже происходили события, но словно вынырывающие из мира друго-

го. Однажды утром в одном из таких пузыриков сразу после пробуждения философа ему явился восточный человек в чалме. Он произнес необычайный вздор по поводу только что написанной Владимиром Сергеевичем статьи о Японии, сказав дословно следующее: «Ехал по дороге, про буддизм читал, вот тебе буддизм», и после этого ткнул его в живот необычайно длинным зонтиком. Пузырик тогда исчез, а философ ощутил сильную боль в печени, которая потом продолжалась три дня.

Сейчас он видел свой экипаж и себя в нем словно со стороны, как будто отделился от него и смотрел немного изда-лека и немного сверху. Колеса нехитрой тележки постепенно приняли эллипсообразную форму, что совсем не мешало ей скользить дальше по дороге, сам он как лежал на заднем сиденье, так и остался лежать, разве что шляпа свалилась с его головы и тряслась теперь на полу, а извозчик, казалось, спит, и только кнут его делался все длиннее и развивался сам по себе, изгибаясь и виясь, потому что теперь он и был тем самым папиросным дымком, который — и теперь это стало совершенно ясно — существовал не только в пальцах его брата, начинаясь от его папиросы, — но и навсегда. То есть существование этого дымка было не только кратковременное и случайное, чисто бытовое и могущее истаять без следа, но одновременно каким-то непредвиденным образом носило и характер — неистребимый, сущностный и непре-кращающийся, как, например, если в объектив кинокамеры попадает какая-нибудь мошка или пылинка, сама по себе не тиражируемая и значения не имеющая, но в силу нам с вами понятных причин в результате такой позиции, занятой этой мошкой в пространстве-времени, ее след, то есть ее собственно существование, будет в дальнейшем прочитываться на самых разных заснятых этой камерой событиях, на первый взгляд к этой мошке не имеющих никакого отношения. Она может залезть, например, в сцену свадьбы, где жених надевает кольцо на руку невесты, или во фрагмент катания на лодках, или даже в то же звездное небо, это, в сущности, не так важно, хотя я бы не осмелился утверждать, что те видеофрагменты, на которых отпечаталось ее присутствие, следуют по отношению к ней и нам произвольно и случайно. Не стал бы утверждать я этого хотя бы потому,

что ничего произвольного и случайного в этом мире причин и следствий, как физического, так и духовного плана, — ничего тут случайного быть не может.

Но не беда, если мошка залезет только в объектив частной цифровой камеры, а будет совсем другая история, если она прилипнет к телевизионной камере, транслирующей путем прямого эфира программу на всю Европу, а то и мир. Вот тогда эта самая эфемерида станет не эфемеридой — все, а визуальным и дотошным психологическим объектом в видеоряде миллиардов зрителей, и если прямого сильного воздействия она и не окажет, потому что все эти миллионы смотрят, скажем, трансляцию с Олимпийских игр, а не мошку, но косвенное влияние будет оказано несомненно, что и знают все авторы статей про двадцать пятый, кажется, кадр. Но это еще не так интересно, как если предположить еще один случай, в котором трансляция реальности, происходящая уже не с помощью телепередающих устройств, а более тонкого плана, ведется все это время на всех нас живущих на Земле. Ну неважно, каким именно образом, но она же ведется, иначе как мы можем истолковать тот факт, заявляют физики, что две элементарные частицы, находящиеся на расстоянии миллиардов километров друг от дружки, ведут себя совершенно синхронно — как одна и та же частица. А признав этот факт, как не прийти к выводу, что реальность просто напросто транслируется из одного места с помощью передающей камеры, как и в случае телевидения, и если физикам кажется, что две частицы, разделенные огромным пространством, ведут совершенно синхронную танцевальную линию, то не естественнее ли предположить, что никакие это не две частицы, а одна и та же, просто попавшая в объектив передающей системы. И неважно, как далеки друг от друга картинки космической действительности — и там и здесь эта частица будет делать одно и то же и при этом не жить в десяти местах одновременно (что, кстати, вполне возможная вещь), а, застряв в окуляре передающей камеры, лишь транслироваться и накладываться на различные фрагменты видеоизображения, которое мы и называем реальностью. Но что частица! А что если в окуляре, наводимом на нашу жизнь и ее создающем, застрянет существо побольше? Какая-нибудь этакая муха-мошка, которая дрян-

ными своими лапками да и крылышками может так обработать изображение, что не то мы увидим, что посылают нам ангелы, стоящие за тонкой техникой Бытия и отвечающие за его Изображение, а то, что им и не снилось, — какие-то нелепые вздрыги да вздёрги. А поскольку другого мы и не видим, то тут нам остается два варианта. Либо — что делают физики — изучать ритм этих мушанных брыканий и дерганий, который наложился на реальность, и строить все более тонкие и остроумные гипотезы по поводу происхождения и структуры Бытия, или после тысяч лет философствования объявить картинку недолжной, как это сделали Поль-Поль Сартр и Камю-Камю, за что им большое спасибо, хотя один из них нам значительно ближе другого. Но есть и третий вариант, о котором хотел было рассказать, но меня перебивает голос: все это чепуха, потому что при такой теории возникает вопрос: куда смотрит Бог? Неужто Он не скажет своим ангелам, что у них на изображение напшла дрянная муха, а те возьмут да и снимут ее. Отвечаю — Бог смотрит на муху точно так же, как и мы. И если мы ее не замечаем и с ней соглашаемся, ничего Бог своим ангелам говорить не будет и снимать ее тоже не станет. Страдать будет, а снимать — нет, ни в какую не станет, потому что мы выбрали смотреть на жизнь через вздёрги и вздрыги, а Он наш выбор уважает, и выбор этот для Него как хлеб насущный. Ответил? Ну ладно, пусть приблизительно... Не могу же я взять здесь и изложить механику Вселенной — стоит мне этим заняться, и уж тогда точно никто дальше читать не будет, а хотелось бы, что бы люди все же узнали получше о великом философе и его небывалой любви.

И все же напоследок еще пару слов о третьей возможности — так и быть, доскажу! — которая не в том, чтобы изучать вздрыги, как Стивен Хокинг, муж остроумный и великий, и не в том, чтобы отменить этот мир как недолжный вослед за Жаном Полем, а в том, чтобы вообще исследовать не картинку, а сам Свет, проецирующий ее на экран. И вследствие этого думать больше не о навязчивой и принуждающе убедительной картинке, а о природе Света — ее, действительности, вкупе с тенью мухи формирующей. Вот, собственно, этим-то Владимир Сергеевич Соловьев и занимался к вящей славе своей в метафизике и к позору и карикатуре

в быту. Почему? Да по той же простой причине. Быт с мухой на изображении его и Свет — две большие разницы. Первое несомненно и убедительно, а второе — гипотетично. И тот, кто называет второе реальностью, а первое — тенью, как это делал Владимир Сергеевич, в это первое никогда без смеха — своего и чужого — не впишется. Ну так вот он и смеялся. Над ним смеялись все кому не лень и продолжают, и он смеялся. Все громче и ужасней, так что у некоторых дам даже страх, брезгливость и холодок подкатывались под живот, и трудно было им понять, отчего столь добрый и любящий человек может так неблагозвучно и даже со всхлипом каким-то мерзким и с иком на высоких нотах смеяться, словно он и не философ, знаменитый на весь мир, а дегенерат какой-то ненормальный. Но мы-то теперь с вами знаем — отчего, мы-то теперь ведаем, а значит, вследствие всех этих знаний и размышлений — разделяем, сочувствуем и прощаем, прощаем...

Потом он заснул и вспомнил...

Потом он заснул и вспомнил, как однажды гулял по улице в районе Тверского бульвара, был октябрь, Покров, и внезапно пошел снег. Он кружился плотными белыми хлопьями, которые то летели вниз, то внезапно начинали взвиваться и возноситься вверх, подхваченные неосязаемыми чувствами ветерком, чтобы снова взобраться на какую-нибудь ветку с желтым листом или на крышу и так застрять там, не долетев до земли. Улица была покрыта водой, сквозь которую просвечивали недавно нападвшие красные и желтые кленовые листья, а в воду падал снег. Оттуда листья смотрели, как из витрины, и казались от этого необычайно красивыми. Вот ведь бывает час на земле, когда все только что шло и бежало своим чередом, листья летели, люди шли по делам, нищий какой-нибудь терся у стенки и на смену одному дню шел другой, словом, все происходило как обычно, по заведенному кем-то порядку, и не было в этом ничего радостного и яркого, но вот что-то произошло, и вдруг все становится по-другому. Вот эти листья смотря, красные, из-под воды

на тебя, и снег в воду летит, а стволы тополей прямо из нее, серой с зеленой и прозрачной, выходят, как рыболовы в сапогах, и, увидев это, странную чувствуешь оторопь и восхищение от небывалой красоты мира, которой только что не было вовсе, и вот она вся тут как на ладони.

А потом он увидел существо, которое приближалось к нему из глубины аллеи. Существо было высокого роста, метра под три, и просвечивало, словно тоже было залито водой или какой-нибудь другой прозрачной жидкостью. И когда оно подошло поближе, Владимир Сергеевич увидел, что сквозь Ангела просвечивают звезды, деревья, окна и еще почему-то сданная колода карт, флакон из-под духов и еще карета, куст, фонари — словом, самые разнообразные вещи и предметы, как возвышенные, так и самые что ни на есть бытовые, а некоторое были натурально нелепыми, как, например, утюг, ржавый, но с дымящимися в нем углями. Сначала он хотел пройти мимо, но вдруг понял, что здесь-то, в Ангеле этом, а не где-то в другом месте скрыта тайная красота мира, и поразился, как он это не понял раньше.

Ведь все так, именно так, а не иначе и есть — все предметы на земле, события, вещи — если мы видим их прямо и не смягченно — кажутся нам грубыми, обычными, подручными, но те предметы, которые просвечивают, как вот эти вот камешки, ветки, подсвечники и города в Ангеле, — всегда будут неоконченными и удивительными. Потому что, если предмет есть сам по себе и весь наружу, то не предмет это вовсе, а так — вульгарный и нагловатый феномен, бравый такой солдат, пошловатый своей явностью факт обмана. Все, что расположено таким образом — простовато и наружу, — никогда ничего хорошего с собой не несет, а несет сплошную выдумку, что оно-то и есть наше окружение, мир, в котором мы живем, но это совсем не так.

И интуитивно все мы об этом знаем. Вот почему раздетая догола женщина — нелепа. Потому что — окончена, и ей к этой своей простодушной нагоде и добавить-то нечего. Вот Павел-апостол пишет грешникам — не оказаться бы вам нагими, а значит это — не оказаться бы вам законченными в своей элементарной обнаженности. И если раздетая догола женщина не окутана сверхприродной красотой, как статуи греков или та, которую окутывает этой красотой взгляд лю-

бящего мужчины, одевая ее в сияние Шхины и облако благоговения, то она, эта женщина, — вульгарна и непотребна. Впрочем, и такую красоту презирать не следует, ибо и она дана для размножения рода, и она служит Афродите Пандемос, и она тоже отчасти полезна. Но вот настает миг, когда вещи окутываются значением и начинают просвечивать. И тогда на землю сходит трехметровый Ангел и начинает прогуливаться по Тверскому, чтобы прохожие лучше поняли, где они находятся и куда им можно пойти, то есть что бы они, увидев Ангела, восхитились божественной красотой неоконченности, потому что другая сторона неоконченности — присутствие на той стороне вещи Творца, источника Красоты, — восхитились и бросились бы в объятья друг другу, плача от счастья и восхищения миром и самими собой.

И Ангел подошел к Владимиру Сергеевичу и сказал голосом извозчика: приехали! Владимир Сергеевич мучительно пытался понять, что значит это слово в устах таинственного гостя — то ли желание остановки и предложение пообщаться и поговорить, как это было с тремя Ангелами, когда они пришли в гости к Аврааму, то ли это слово скрытым образом намекало на то, что земная история, блеснув напоследок таинственной и просвечивающей красотой, окончена или вот-вот будет окончена... а может быть, в слове этом скрыто и еще какое-нибудь дополнительное значение. Но тут ему начало становиться холодно, он посмотрел на Ангела и увидел, что тому тоже холодно и по всему его телу, которое — теперь это ясно видно — представляет собой поверхность воды, — по всему его прозрачному и жидкому телу бегут от озноба волночки. «Куда же мы приехали?» — пытается спросить Ангела Владимир Сергеевич, но спросить все как-то не получается, не выговаривается, он делает судорожное усилие языком, косноязычно мычит и просьшается.

«Приехали, Владимир Сергеевич», — повторяет кучер Соловьев, пошатываясь со сна, встает в коляске, сходит на дорогу и озирается. Вокруг зеленые липы и дубы, словно ватные великаны, и всходит солнце, забираясь снизу под веки розовым сильным светом. Изо рта идет пар, и вообще страшно холодно. Соловей цокает.

Владимир Сергеевич загреб из кармана ассигнации и не глядя отдал вознице: «Да, да! Спасибо... Иван Петрович!»

Тот поклонился Соловьеву сверху, согнувшись ватным телом так, что кажется — сейчас скатится, щелкнул кнутом и стал разворачивать экипаж. Соловьев, еще не проснувшись, тупо смотрел, как удаляется пустая коляска и тонет в сером прозрачном воздухе спина кучера. Голова снова закружилась, он поискал взглядом пенек, нашел у обочины березу с развилистой низкой веткой, присел на нее. Тут же, на холме, росла целая рощица берез, и сейчас от восходящего солнца стволы их были не белыми, а розовыми. Соловей больше не пел. Владимир Сергеевич прикрыл глаза, и сразу же снова поплыли небесные звездные поля с их ресницами и перемигиваниями. Он откашлялся и тихо прочитал:

Милый друг, не верю я нисколько
Ни словам твоим, ни чувствам, ни глазам,
И себе не верю, верю только
В высоте сияющим звездам.

Ему стало получше, и он снова откашлялся. По роще прокатилось эхо, и тут же откликнулся соловей. Ударил несколько раз ртутной замерзшей трелью, помолчал, цокнул пару раз с сильной серебристой и хрипловатой оттяжкой, помягчел, потеплел, рассыпался. И тут философ вспомнил, что он счастлив, и улыбнулся. Любовь, на которой он поставил крест, любовь — одна, ради которой стоит на земле жить и дышать, снова пришла к нему, зайдя неожиданно со спины и озарив все его существо тем самым розовым сиянием, тем самым струением, золотым и лазурным, которое он знал с детства и по которому узнавал всегда свою Вечную Подругу. И этой зимой, когда после длительного перерыва он снова увидел Софью Михайловну, он внезапно ощутил утраченный золотой тренет в сердце. И оно, сердце, в ответ на прикосновение золота и лазури запело, расцвело, защелкало, как вот этот соловей над головой, и жизнь, до этого трудно бредущая по мостовым словно в потемках, воспрянула, оглянулась и ощутила нетронутые силы в груди, способные снова нести его под небеса. Снова ангелы танцевали вокруг, а видения, ночные и дневные, постепенно набирали ослепительную свежесть и розовую неистовость.

София Михайловна, гаданием которой была открыта пророческая сторона их отношений, с тех пор еще больше похо-

рошела, глаза потемнели и углубились и дали еще больший раскол, делающий ее похожей на японку. Когда они разговаривали, сердце его начинало трепетать и биться, и каждое слово, произнесенное ей, имело особый сокровенный смысл. София Божественная соединилась с Софьей Мартыновой для того, чтобы протянуть свои неземные руки, ставшие руками Софьи Михайловны — белыми, юными, прелестными, навстречу ему и заключить странника своего и любимого в вечные и земные объятия. И если он и посмеивался и подтрунивал над ней и собой, то потому, что невозможно же жить только внутри золотого родника, который вместо слов начинает бить у тебя в горле, и от этого головы словно нет, а есть лишь одно журчание, трепет и золотое сияние на весь мир до тех высот, где словно легкие зеленые листочки под ветерком чуть шевелятся и шепчут силы небесные с их мириадами коридоров, сияний и ангелов. И чтобы в этой безмерности мир оставался хоть немножко твердым, листочки листочками, сапоги сапогами, а нос, скажем, носом, а не ангелом, он и напоминал ей и себе о «твердой» и смешной стороне мира каламбурами да юмористическими стишками. Но жить вдали от Софии он уже не мог. Вот поэтому-то он и снял дачу здесь, на Сходне, в деревне Морщихе.

Владимир Сергеевич огляделся вокруг — зеленели березки, тропка, заворачивая как знак вопроса, сбегала вниз, должно быть, к оврагу, слышна была железная дорога с ее гудками и ритмичным погромыхиванием колес, и все же он совершенно не представлял, куда ему идти дальше. Надо было бы ему уточнить у Ивана Петровича, господина извозчика, где именно тот его ссадил, да не сообразил спросонья. Похоже было, что заблудился.

Говори о другом

Как выяснилось уже через час, Иван Петрович, извозчик, завез Владимира Сергеевича совсем не в то место и даже вовсе не по указанному направлению. Как такое могло произойти, философ долго ломал голову, вспоминая к тому же их задушевные разговоры во время путешествия под небом, полным звезд. Но воспоминания эти ничего толком не про-

яснили, и какова причина того, что он оказался в двадцати с лишним верстах от того места, к которому они с Иваном Петровичем стремились, он тоже догадаться не смог. Тут было два возможных варианта для объяснения этой гоголевской истории, либо черт попутал, либо Иван Петрович был нетрезв. Но поскольку до сих пор нетрезвые извозчики во время работы встречались Владимиру Сергеевичу редко, то он заключил, что все вышло к лучшему, хотя бы в том отношении, что он послушал соловья и провел последнее майское утро не где-то в городе, а в лесу, наслаждаясь пеньем Филомелы. Пусть даже и нетрезв был Иван Петрович, так и что с того. Не он ли препроводил их обоих в этот волшебный майский лес, тихий и розовый от восходящего солнца, а ведь не убеждался ли сам Владимир Сергеевич неоднократно, что судьба иногда действует через детей и пьяных и что дары из их рук бывают неожиданно изобильны и чисты.

Он тогда долго еще просидел на березовой ветке, изогнутой, словно вилка без зубьев, в середине, а потом отправился через березовую рощу на холме, и лес стоял свежий и гулкий, а свет был сначала похож на розовое платье или прозрачную перчатку, а потом стал и вовсе бесплотным, обнял сердце и зазвучала в нем старинная музыка, как будто менуэт с часовым заводом, какой часто играл в доме мамыши, а вокруг стволов словно затаптывали эльфы и феи.

Брату Михаилу в вечер накануне поездки он не признался, что напрочь сошел с ума от этой любви, что она захлестнула его, как огонь еретичку, — от пяток до головы, вознося в облака. После того как Рождество он встретил не где-нибудь, а в гостях у Мартыновых, костер был подожжен и теперь с каждым днем разгорался все сильнее и жег все яростней.

И поэтому ничего не было удивительного, что через десять примерно дней после истории с извозчиком, когда Владимир Сергеевич наконец (с хлопотами и приключениями) утвердился в качестве сходненского дачника в избе некоего Сысои, огонь этот еще сильнее пылал и жег в его душе, но серных свойств при этом не обнаруживал, а скорее наоборот, — сочетал свою неистовость с прозрачной негой последнего майского утра, в которое он так нечаянно попал вместе с его ослепительно розовой рощей на холме.

Тогда, в роще, в ее утренней тишине, он любил и был счастлив. Он предполагал, что когда-нибудь все эти слова станут невозможны, все эти фразы вроде любил и был счастлив, станут невозможны и не нужны, но, во-первых, это будет еще нескоро, а во-вторых, он и не хотел никаких слов и фраз, а просто сидел с пустой и подсвеченной внутри головой, чувствуя, как розовый свет волна за волной вливается в его измученную и одновременно полную сил душу, и от этого душа молодела, распрямлялась и ей хотелось жить и творить, создавая что-то настолько высокое и величественное, что даже его проект теократического устройства жизни на земле казался лишь бледной тенью перед тем, что должно произойти вскоре или даже и не вскоре, а прямо сейчас. Но ничего при этом творить было не надо, потому что оно уже само по себе творилось — то великое, ради которого сейчас он жил и любил свою Софию, удивительную эту женщину, от которой исходило нездешнее вечное сияние.

Он знал, что нет такой силы на свете, которая могла бы оторвать его от вечной подружки, от злой его русалки, столь холодной рядом с ним, сошедшим с ума от любви. Временами ему казалось, что и она сияет одним с ним светом, но то, что происходило между ними во время коротких их свиданий, назавтра куда-то девалось, и уже на следующий день он наблюдал, как она, увлеченная вполне земными делами — все больше разговорами о театрах, актерах и модах или, скажем, о музыке, — словно забывала о небывалых минутах, которые она же и вызвала вчера к жизни, когда они плыли вместе на облаке в страны, где нет ничего плотного, твердого и угрюмого, но все — свет, вечность и любовь. Японский ее неотразимый профиль светился, как фарфоровый, когда она, держа чашку дымящегося чая в руке, объясняла приехавшему в гости Солюгубу, что фаворитом на ближайших скачках будет рысак по кличке Берег, а он, Соловьев, отвергнутый и мрачный, забивался в кресло и сочинял в уме очередное четверостишие, где первые буквы строчек образовывали ее шутовское прозвище — Сафо.

Но разве кто мог понять, что все слова, в которые он облекал свои чувства, никуда не годились. Что они, слова, в случае если перед тобой Бог или его наперсница София — ни-

чего не значат и сыплются и рассыпаются, как ветхий сор, летящий с крыши под сильным ветром. Он пытался иногда их записывать, и они ложились как тень от солнца (а не его свет) — на бумагу. Потому что как свет они могут ложиться только на душу, которая не держит чернил, но держит свет, и если ты хочешь сказать о солнце — говори о другом. И если ты хочешь сказать о любви — не надо, не говори о ней, говори о другом. И если ты хочешь передать то, что отзывается в сердце, когда видишь, как она идет и как походка колышет платье, и у тебя от этого замирает и щемит сердце, не говори о платье и чувствах, не говори о ее раскосых глазах и всегда неожиданной вспышке метнувшегося вкось взгляда, не говори о том, что когда она смотрит на тебя, то нет ни ее, ни тебя в этом взгляде, но есть Бог и сиянье, — не надо, не делай этого, но — говори о другом. Говори о другом. Слова умирают при рождении. Никогда и ничего не называют того, что хотели бы назвать. Либо они устарели, либо не успели созреть. И только подхваченные мелодией стиха они могут хоть что-то напомнить о той стране, где они прежде жили, хоть что-то разбудить в памяти, хоть как-то прикоснуться. Самое главное всегда происходит без слов. Минуя слова, преодолевая слова. Назвать не значит ли это — ограничить? Если только само слово не священо и не безгранично. Но тогда его надо писать с большой буквы, а кто сейчас различит слово с большой от слова с маленькой? Кто вообще хоть раз вместо разглагольствований о словах, просто стал словом с большой буквы хотя бы на миг? Одной только буквой — хотя бы на мгновение? И все понял?

Душа душу встречает без слов, как он потом напишет, когда устремится к Софии не тем, что называют телом или словом, а вне всего этого, все это отринув и отбросив, как ветошь, устремится через все миры, все занавески, все стенки и перегородки — не при помощи слов, отличных всем костяком и составом от его костяка и состава, не при помощи звуков, которые не привиты и не растворены в его глазу, ухе или бороде, а напрямую. Вот тогда-то и происходят истинные свидания — тогда, только когда незримо.

Зачем слова? В безбрежности лазурной
Эфирных волн созвучные струи

Несут к тебе желаний пламень бурный
И тайный вздох немеющей любви.

И, трепеща у милого порога,
Забытых грез к тебе стремится рой.
Недалека воздушная дорога,
Один лишь миг — и я перед тобой.
И в этот миг незримого свиданья
Нездешний свет вновь озарит тебя,
И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.

Если бы кто-то смог придумать азбуку любви! А если б и придумал, что бы это были за слова? Плотные или прозрачные? Изменяющиеся или вечные? Вот если бы выдумать азбуку жизни, в которой слово «роза» могло бы на какое-то время из слова действительно превращаться в розу, словно бы прорастая из чернил или даже типографской краски, и быть в какой-то миг и розой-цветком, благоуханным и свежим, и словом-розой, состоящим из букв и нажимов. И даже не нажимов, а роза могла бы возникать прямо из звука, идущего от губ, и становиться в воздухе, причем вместе со всем окружающим ее ландшафтом, — клумбой, мезонином, дорогой с дрожками, зеленым холмом вдали и матово-лунной речкой за ним. Стоило бы только произнести слово «роза», и все бы это являлось и распространялось вокруг в реальности. А ежели бы кто-то говорил от сердца слово «медведь», то тут же расступалось бы слово, переплетенное с бурой шкурой, когтями и лапами и, раскрывшись, выпускало бы на свет медведя, ступающего вразвалочку и оглядывающегося, который был тем не менее и медведем, и словом одновременно. То есть всем было бы ясно, что это не просто медведь, но он же и слово, и это было бы настолько явно видно и всем от этого было бы настолько хорошо, ясно и, наконец, спокойно, что сразу же наступил бы... рай земной.

И тогда не было бы так много нелепых и непонятных, мертвых слов, которые силятся, тужатся и тщатся хоть что-то передать, а каждый из слушателей, если даже и слышит, то все равно не твое мертвое, а свое собственное мертвое слово. И тогда говорили бы не так много и слова были бы

осторожные и сильные. Потому что, ежели сейчас все те слова, которые мы говорим в спешке да в злости, начнут оживать и заселять места обитания, то никакого рая с медалями и розами, конечно же, не возникнет, потому что возникнут сплошь пакость, мерзость и неприличие, одним словом, преисподняя.

А чтобы ожило слово любви, то нужно настаивать его годами и десятилетиями. Причем не все слово сразу, а каждую из его букв. Потому что каждая из букв, которые мы употребляем здесь на слова, может быть соединена с великой и тайной буквой из тех, при помощи которых Бог сотворил мир. И если настоять эти буквы, нащупавшие своими корнями путь к истокам, путь к буквам небесным, и взрастить такое слово — всего одно лишь слово любви, то произнеся его, ты создашь новый мир, новый свет и новые губы. И мук не будет в этом мире, и слез тоже. Но будет все во всем — едино, и будет оно Богом, Словом и Софией.

Гишпопотам, кипарис, верблюд

Поэтому как можно сказать о бесконечном, вошедшем в конечное, какими словами? Как можно сказать о Царстве миров, разместившемся под розовой кожей молодой женщины, светом розовым же лишь чуть выбегая за ее пределы?

Вчера пошел блуждать по окрестностям, забрел в овраг, задумался, присел, услышал соловья, заслушался. Уже не пели они, почти все улетели — этот один остался и щелкал в вечерней прохладе над темно-серебряной речкой. Долго сидел Владимир Сергеевич над тихим течением, закрыв глаза, и в дреме качались ему качели — то отлетят, то приблизятся, а на качелях все лица ушедших да лики ангелов, и скрипка пела, та самая, средиземноморская, которую слушали они с Надеждой Ауэр в Италии, когда она попросила его воспользоваться своими магическими способностями и сделать так, чтобы она смогла услышать скрипку мужа, музыканта, и он, побледнев, сделал то, о чем она его попросила, и тогда донеслась до них мелодия, которую исполнял ее муж за несколько тысяч миль от них. Сделал, и оба едва не лишились чувств — он от напряжения, а она от непереносимости свершившегося чуда.

Что панталоны его были вымазаны зеленой травой и промокли, он не чувствовал — прислонившись спиной к ольхе, он глядел на речку, текущую у ног, где перебирали воду, ощущывая неуловимое, расположившееся между их пальцев, колеблющиеся водоросли, словно обозначая невидимый предмет их интереса со всех сторон, со всех сторон поглаживая и выражая себя по отношению к нему, как слепой и немой по отношению к вещественному восторгу узнать любимого по профилю и ускользящим ресницам, скулам и подбородку, а тот (невидимый в речке предмет) в ответ выражал себя по отношению к ощупывающим плетям водорослей почти явным проступанием стереоскопической и меняющейся, почти переливающейся формы то ли лица, то ли локтя, а то ли и морды рыбе́й или звериной, но так и не проступившей до конца, а лишь обманув, оставшейся все же невидимой. Но... Но не туда смотрел его взгляд, а все больше на качели, и видел длинное светлое платье с ботиночком, к подошве которого прилип тополиный клейкий листок, как взлетали они в высоту, а когда возвращались, то сидел на них кто-то из мертвых ушедших друзей и с ним хотел говорить.

Потом качели ушли и вновь ударил соловей, а он подумал, что можно бы объяснить студентам библейскую идею Всеединства совсем бы просто, как детям объясняют, почему утром солнце поднимается, а вечером заходит. Может быть, и не стоит больше говорить им, что единый архитектурный план объемлет всю Вселенную и что каждая пылинка и каждая травинка едины с любой звездой и самой отдаленной планетой, потому что они — одно в воплотившемся Боге, что Абсолют объемлет мироздание и проявляется в нем на всех мыслимых и немыслимых уровнях. Что призвание человека заключается в том, чтобы не только получить от земли жизнь низшую, естественную, но и осуществить свою посредническую функцию — вернуть этой земле жизнь, преображенную в свет Божий, и в дух животворящий. Не говорить о том, что если через человека и его разум земля поднялась до небес, но через него же, через его действия небеса должны сойти на землю и наполнить ее. «Бог есть всеединое» — об этом уже писали и неоплатоники, и блаженный Августин, и Шеллинг, и Яков Беме.

Что не абстрактный безличный Абсолют смотрит на нас с неба, но живые очи живого Бога, точно так же, как они смотрят на нас на земле мириадами человеческих очей. И тому, кто хоть раз видел очи Софии, объединившей все земное и все Божественное своей женственной красотой, ни к чему все эти длинные рассуждения.

А вот что тут можно было бы еще, например, сказать, говоря, как с детьми про всходящее солнце. Что существует же где-то в мире или за его околицей — что, в сущности, неважно — некое место или область, где, скажем, верблюд, гиппопотам и кипарис — одно. И ежели не дойдя до этого места все они воспринимаются нами как три разных существа, ничем внешне не связанные и путешествующие (за исклю-



чением кипариса, потому что тот путешествует только вместе с Землей) по своим делам совершенно самостоятельно и явным образом не сливаясь и не переливаясь друг в друга, хотя и описал такую возможность Овидий в книге «Метаморфозы», то в этом месте, куда они, может быть, когда-нибудь и придут, — будет ясно видно, что все они суть одно. Что верблюд он и есть в этом месте кипарис, а кипарис есть в этом месте гиппопотам, который в свою очередь есть не что иное, как верблюд. То есть в тот момент, когда в этом месте верблюд прикасается к кипарису, он тут же становится кипарисом, причем не каким-нибудь — рядом, а тем самым, к которому прикоснулся, потому что занимает с ним одно и то же место в одном и том же пространстве и при этом, не являясь в этом пространстве твердым и непроницаемым, ставши кипарисом, просто накладывается и совпадает с тем, к которому он прикоснулся, потому что сначала стал им, а потом

уже и совпал. Можно, конечно, стать им и не совпасть, но для этого нужны какие-то другие условия, похожие на сплошное свечение воды, в которой плещутся донные рыбы, но тут этих условий не предполагено.

Но вот что тут еще важно. Это то, что, став не верблюдом, а кипарисом, одним и тем же с тем кипарисом, к которому он прикоснулся, верблюд каким-то образом все равно продолжает оставаться верблюдом, и это тоже видно изумленному глазу, правда, лишь в том случае, если изумленный глаз уж очень разохотится этот факт увидеть, а если не очень, то ничего такого для него и не будет, а будет просто кипарис сам по себе. Причем он будет кипарисом самим по себе не по отношению к глазу, который его не видит, то есть не видит, что он на самом деле еще и верблюд, а по отношению к действительности, потому что действительности вообще не бывает, и раз глаз не видит в этой действительности, что кипарис еще и верблюд, значит, она сейчас такова и есть, значит, она так изменилась. А кто кого изменил — глаз ли действительность или действительность — глаз, спрашивать не нужно или, как говорят некоторые инженеры, некорректно, потому что на такой вопрос не может быть дано ответа. И ежели еще учесть наличие трех существ — верблюда, кипариса и гипнопотама — в этом пространстве, которое от них тоже зависит, потому что и они его формируют одновременно с глазом видящим или не видящим верблюда — это уж как получится, — то тогда положение дел становится чрезвычайно неоднозначным и зависит лишь от того, какое именно слово будет при этом употреблено. Так вот и родились вторым вавилонским рождением слова заново — не как одно с существом, а как возможность путем именованья заткнуть скандальную и непристойную дыру неоднозначности, на которую грозит распасться Единство, оказавшись даже в таком хорошем для этого места, которое мы тут только что описали.

И как только слово будет употреблено, произойдет такое изменение пространства, которое можно назвать фиксированным, потому что, пользуясь своими тонкими энергиями, которые после Вавилонского смещения языков стали уже не тонкими, но сильными и грубыми, слово так вытянет, сплющит и выдавит его (пространство), что форма эта

будет для удобства признана самой убедительной и несомненной, и не только для удобства, а такой именно и станет, потому что не для удобства же только считается, что на руке больного наложен гипс, фиксирующий ее, а на самом деле.

Все эти превращения производит человеческий мозг, используя послевавилонское слово для создания новой формы и новой реальности, потому что вне человеческого мозга и слова реальность выглядит — никак. И поэтому ему, Соловьеву, так иногда мучительно, так стыдно употреблять снова и снова слова, которые уже были в употреблении не один миллион и миллиард раз, — так непристойно-мучительно, так унижающе-закоснело, что речь останавливается и он заливается своим хохотом, от которого ему самому сначала делается страшно, но в тот же миг и — свободно.

И все же место, где все мы одно, действительно существует. Может быть, именно его, это место, ощущивают водоросли в реке, перебирая своими длинными пальцами-щупальцами. Это вечное стремление глазного века нащупать своей тыльной стороной лопатки на спине. Это жажда всех жестов людских и животных — что-то выявить, прикоснуться, ощупать, найти и освободиться. Однажды он как замороженный простоял, наблюдая, как двое глухих и немых французов переговаривались, жестикулируя в воздухе руками с растопыренными пальцами, образующими все новые и новые фигуры, взлетая к губам и отлетая от них. Немые уже ушли, а он все стоял, пораженный, на тротуаре, размышляя о том, как люди это поговорили друг с другом, сообщили что-то важное, а может, и сокровенное, задушевное даже, про живые события и про обманчивые их факты, захватывая лишь и отпуская — пригоршни воздуха. Наверное, подумал он, что и на этом языке, можно не увидеть, что кипарис, оставаясь кипарисом, может быть одновременно и верблюдом, но вряд ли. Наверное, тот, кто учил этому языку, чтоб научить, вложил в свое занятие с учеником столько любви, терпения и интуиции, что это передалось, и поэтому, общаясь при помощи пальцев, ты все-таки в конце концов увидишь, если и не ими самими, то любовью, сочащейся с их кончиков, потому что куда же ей от избытка своего деваться, — увидишь, что не только кипарис это еще и верблюд, но что верблюд это еще и гипнопотам. И соловей в придачу.

Там, где семьей столпились ивы
И пробивается ручей,
По дну оврага торопливо, —
Запел последний соловей.

Я слушал песню воскресенья
неумирающей любви,
А вдалеке неслось движенье
И гул железного пути.

Ручьи, как люди, вдали несутся,
Есть мука в песне соловья.
Стихи и те же в нас мнутся,
Покой природы — мысль моя.

И небо высилось ночное
С невозмутимостью святой
И над любовию земною,
И над земною суетой.

Он достал карандаш из жилетного кармана и, шевеля губами, записал родившиеся строчки в блокнот. Нет, его любовь не была любовью земной. Но она все равно мучительно принадлежала суете и раздражающей бестолочи всего происходящего вокруг нее. И эта мука была двойной — видеть сияние краев нездешних и знать, что края эти объята пошлостью и обыденностью и никак не хотят проступить на земле так, как они есть на самом деле, — новой и головокружительно ледяной любовью, от которой перехватывает горло и все вокруг становится другим. И потому края эти нездешние определены вечно соскальзывать в разговоры и слова про оперных певцов, про модных писателей и философов, про ишподром и французские моды... А ведь мир лежит у их ног, и протяни лишь они к нему вместе руки — и земля завилась бы зелеными стружками полярных сияний и теплым бликом материнской любви и розовым ангелом нового земного естества, одолевшего смерть и пошлость. Протяни лишь они вместе руки...

Темнело. Он всгал и пошел, оскальзываясь, наверх по оврагу. Соловей больше не пел, но зато пошел дождь и где-

то там в отдалении застучали-загудели колеса проходящего поезда. И еще было слышно, как ложатся с шипом от сплошных струй, налетающих порывами, капли по молодой фосфорической и светящейся листве. Брызги разлетались в тонкую пыль, а вдоль темного с завихрениями неба, похожого на фиолетовую капусту, то и дело ударяла молния без грома. Зонта он не взял и поэтому пока добрался до дома вымок до нитки.

Белая колокольня в синем небе

А через два дня он шел на свидание с Софьей Михайловной, которое та назначила ему в глубине парка, чья изумрудно-бутылочная толщина по мере проникновения в нее истончалась до бледно-салатовой, сквозившей в свою очередь нежной прозрачностью дальнейших кустов и топольков и молочной белизной деревянной беседки. Трудно сказать, волновался ли он. И не будем делать вида, что нам на правах соглядатая и рассказчика известно, что вообще происходило в душе этого родного и загадочного человека, — мы этого не знаем. Но ежели нам скажут, что мы не знаем и всего остального, то тут это будет неправда.

А правда заключается в том, что Владимир Сергеевич действительно шел в тот июньский день на свидание и, возможно, волновался. Но и ежели мы будем, к примеру, утверждать, что Софья Михайловна знала, что происходит в его душе, то это тоже едва ли. Она могла об этом лишь догадываться, причем с успехом, который был гарантирован не больше, чем наш, наблюдательский, вникающий и повествующий. Иногда задашь себе вопрос — а кто же знает, что происходит с человеком и в человеке, кто знает — и только диву даешься. Потому что сколько бы народу вокруг такого человека вы ни опросили, то все равно будете иметь дело со сплошными фантазмами да догадками самих окружающих, которым делать больше нечего, как вникать в мысли и чувства чудака, потому что они и в свои-то никак не влезут и не вникнут, и в своих-то запутались донельзя.

Одним словом, кое-что мы знаем и получше окружающих, а кое-что так даже и навверняка. Например, то, что в

колокольне церкви, которую только что миновал Владимир Сергеевич, висел портрет — и не портрет даже, а икона Божьей Матери — писанная не с кого-либо и не по воображению, а с красавицы-полячки — жены Мартынова-старшего. Еще мы знаем, в отличие от соглядатаев и соседей, один из которых сейчас, блеснув стеклышком пенсне, читает на веранде утреннюю газету, расположившись в плетеном соломенном кресле, что теперь ничего этого нет — ни парка, ни портрета, ни колокольни. Нет ни семейного склепа и ни священных родовых останков, покоившихся в нем долгое время, поскольку в тридцатые годы они были извлечены оттуда беспризорниками, обучающимися в трудовой колонии, на то время расположившейся именно здесь, в Мартыновке. Ну да — останки убийцы Лермонтова и всех его родственников заодно, а значит, и той, к кому сейчас спешил на свидание взволнованный философ, были извлечены из склепа негодующими малолетками, воодушевленными на праведный акт сей надзирателями, и рассыпаны по близлежащим окрестностям.

Тут ведь все можно рассматривать либо последовательно, либо безотносительно. И факт, что останки были извлечены и рассеяны, а черепа пробиты и изуродованы, может либо находиться в связи с тем эпизодом бытия, в котором Владимир Сергеевич быстро пересекает поляну, приминяя зеленую росистую траву сапогами, спеша на любовное свидание, либо, скажем, быть объединенным с другим, в котором пространство это уже не заселено маленькими несчастными засранцами, а населено большими, потому что здесь теперь ОМОН, а еще раньше была фабрика по выращиванию и умерщвлению кур, почему и называлась она, а впоследствии в честь нее и вся окрестность — «Цесарка», почему и место это уже никакое не Мартыново-Невелево, а все та же «Цесарка», а почему «Цесарка» — никто вам тут не скажет, потому что им это все равно. Но если мы будем рассматривать эпизод не последовательно, а параллельно и даже не так — а в связи с пульсом вселенной, который был в тот день и час ровно такой же, что прямо сейчас играет у вас, читатель, на левом и правом запястьях, то история будет совсем другой — во-первых, поубавит толику неизвестно откуда приходящей ностальгии, а во-вторых, собьет небольшую волну праведно-

го гнева, который неминуемо наступает, когда одно и то же сравнивают с самим собой, но в разные временные периоды, от чего не бывает ничего хорошего, кроме того самого праведного гнева, который, как и «Цесарка», взялся из ниоткуда и в никуда канул, загадив предварительно окоем и пейзаж.

Такая страна — Россия и такой человек — человек русский, что лучше о прошлом не думать. Потому что, оно конечно, жизнь все равно продолжится, даже если предположить, что твоим черепом или черепом твоей музы будут через какое-то время играть в футбол, продолжится и произойдет, но произойдет она тогда очень по-русски — в том смысле, что этого как бы и не было. Вернее, в нашем случае как бы — не будет. И тут, конечно, сам решаешь, будет это с драгоценной музыкой твоей или нет. Вот и мы решим, прямо сейчас, а что именно — не скажем, а скажем, что колокольня, с иконой полячки внутри, была высока и, казалось, медленно заваливалась в голубом небе на фоне белых облачков, плавно по нему скользящих, чтобы упасть прямо в пруд, но никак не падала. И если долго смотреть на белую оштукатуренную верхушку, то голова начинала кружиться и казалось, что сам вот-вот завалишься вместе с колокольней в летнюю глубину ласкового неба, такую синюю и глубокую.

На подходе к беседке Владимир Сергеевич задел головой за цветущий сиреневый куст, промок от росы, вдохнул нечаянно неправдоподобную роскошную горечь запаха, тряхнул влажной головой, улыбнулся, задумался и остановился. В беседке никого еще не было, вероятно, пришел раньше времени. И тогда он вошел в беседку, сел, закинул ногу на ногу, откинулся на спинку скамейки и стал ждать.

Какие-то птички пели в кронах лип, перепархивали с ветки на ветку, глаза Соловьева стали смежаться, и вот уже раздалось пространство во все стороны — морем синим, покоем океанским, а он стоит на палубе и смотрит, как птички из липовых крон медленно вытягивают свои крылья, ставшие белыми и огромными, и он знал, что они теперь называются как-то по-другому, но при этом все равно остаются теми же самыми птичками на ветках липы. Волны разбивались о нос корабля, и брызги в ветре долетали до его лица. Он обратил внимание на то, что корабль мчался, казалось, с каждой минутой все быстрее и быстрее, и вот он уже летел

даже не как испуганная дворником собака или, скажем, его знакомый извозчик-лихач, а много быстрее — быстрее чем резвые и разноцветные лошади на московском ипподроме, где однажды он побывал вместе с Мартыновыми, наблюдая соревнования верховых. Он подумал, что при такой скорости все они, и пассажиры, и команда с боцманом, коком и матросами, могут рано или поздно ненароком сорваться в пропасть. Тут он увидел, что рядом с ним стоит капитан корабля в белоснежном мундире и внимательно на него смотрит, готовый, казалось, побезно подтвердить все, что бы он ему ни сказал. «Видите?» — сказал Соловьев, показывая на стремительно несущуюся по бортам воду.

Капитан, все с такой же готовностью, граничащей с некоторым даже подобострастием, смотрел на него и потом произнес неожиданно низким голосом, словно внутри него находился еще один капитан, совсем уже не подобострастный, а наоборот, донельзя решительный и сосредоточенный человек, который знал, что промедление смерти подобно, — произнес этим голосом следующее: «Разве вы не знаете, — сказал суровый одноглазый Нельсон, спрятавшийся внутри первого капитана, — что течение времени, сливаясь с течением морских волн, производит его ускорение?»

И тут Владимир Сергеевич увидел, как это просто и глубоко, и понял, насколько всеобъемлющим и точным было заключение капитана относительно данного фрагмента бытия, который, как и все фрагменты, содержал в себе не только себя самого с парохомом, течением и капитаном, но и все остальные фрагменты бытия тоже. А следовательно, любое, даже самое малое умозаключение, справедливое для одного фрагмента, в той или иной степени будет справедливо и для другого, потому что мир универсален, или, как скажут потом, — фрактален. Но этого слова капитан не знал и потому не выговорил, как, впрочем, и многих других слов, которых он не выговорил вследствие того, что он их еще не знал, а также не знал тех действий, которые приведут к тому, что эти слова будут выговорены. Хотя, если уж говорить по большому счету, то в едином выговоренном слове, в силу все той же самой мировой фрактальности, уже содержатся все в дальнейшем тоже выговоренные, а пока что еще не выговоренные слова.

И тут уже разворачивалась другая грандиозная тема, связанная с Софией Небесной, которая, подступив, переваливаясь, как птица Гамаюн, заохлопула сердце, но в этот же момент другая птица, севшая ему на плечо, пока он переговаривался с капитаном по поводу частностей и течений, оказалась в этот же момент вовсе даже не птицей, а словно другим каким-то животным, похожим на сумчатую мышку, из тех, что водятся в Австралии, скребущую теперь настойчиво и ласково своими коготками плечо его сюртука и тихо напевающую: «Владимир Сергеевич, проснитесь...»

Причем она все время, эта мышка, продолжала оставаться птицей, которая как сидела вначале в ветвях липы, так оттуда и не улетала. И теперь она пела знакомым голосом, который он боготворил, перед которым благоговел и которого побаивался: «Владимир Сергеевич, проснитесь...» И он проснулся.

Говори, сомнамбула!..

Из розового пятна на фоне свежей зелени постепенно выступили, словно уплотняясь, очертания, превращаясь



словно из бесплотного розового облака в бесплотную же, но уже определенную и имеющую определенную вещность, а не только одно лишь бытие, — фигуру молодой женщины в розовом платье, с бледным очаровательным лицом с чуть вздернутым носиком, с полными приоткрытыми губами и

со шляпой в руках. Женщина смотрела на философа слегка раскосыми глазами, в которых словно играла, всеми гранями переставляясь, зеленая византийская мозаика. Надо сказать, что Владимир Сергеевич узнал ее еще на той стадии своего пробуждения, когда она была лишь облаком и еще не стала женщиной, — именно на этой ступеньке ее становления в реальности узнал он ее, когда розовое сияние не уплотнилось еще в руки, ноги, глаза и платье, а было ими и одновременно не было, и поэтому тело женщины было пронизано тем розовым светом, который пришел не из его недавнего сна, а был изначальным светом и предваряющей розовостью — самими по себе. И пока его глаза держали этот сам по себе отблеск, еще не уточнившийся, еще не оформившийся, философ испытывал соблазн все так и оставить как есть, глазами и волей — глазной, что ли, волей — оставить все как оно есть, потому что то, как оно было — розовое сиянье, с которым душа его, опамитовавшись от сна про пароход, встретила на пороге пробуждения и, встретившись, затрепетала от восторга, — было чисто и невинно, и ничего от него не хотело и не требовало, как счастливая игра в детстве посреди поляны с цветами и кузнечиками. Но как только желание оставить все как есть оформилось, оно потянуло за собой дальнейшее преобразование предметов, они стали уточняться, приобретать агрессивность, звать к действию, и вот он уже вскочил с места и прижался губами к белой руке в кольцах, от которой пахло свежим запахом незнакомого цветка.

— Вот так мой бедный рыцарь! — сказала Японка. — Заснул!

Владимир Сергеевич полез в жилетный карман за часами и поднес их к глазам, близоруко — на близкую руку — щурясь. На десять минут опоздала! На десять минут он заснул. Но был он счастлив и, улыбнувшись, сказал:

— Ах, света ясного глазам моим не видно —

Бег времени не различаем мной.

Дремлю я тщетно в этой темной келье:

В жару и холод мой наряд один,

Мне не дает никто другой одежды. —

И вот скелет худой сквозь рубище сквозит.

Ну может быть, он выразился и немного иначе, не слово в слово повторяя стихи несчастного Кагакиё, к которому

пришла забытая им дочь, но суть от этого не меняется. Суть могла бы измениться от того, что этим стихам, пропетым Владимиром Сергеевичем, который тотчас же, как только эти стихи пропел, оказался японским самураем, как это случилось совсем недавно с гиппопотамом, который оказался кипарисом (а если это было возможно для мысли философа и мысли того, кто описывает мысли философа, то почему это не могло стать реальностью того места, где все это происходит и создается? И хотя никто не будет настаивать, что эта реальность — основная, но, кажется, ничто тем не менее не мешает нам заявить, что нами она выбрана в качестве желанной, и не потому, что нам нечего делать, а потому, что если ты хочешь сказать основное — не говори об этом. Этот принцип был установлен нашим повествованием, и в дальнейшем оно, повествование, не имеет ни права, ни стремления от него уйти), — так вот, суть повествования могла бы измениться от того, что стихотворной реплике Владимира Сергеевича отвечивал невидимый и скорее всего состоящий из птиц хор, но она, суть, от этого тоже не изменилась.



А хор отвечивал следующим образом:

Среди деревьев и трав,
 под небом без бомбардировщиков и медуз
 ты встретил ее — ту, кто встает утром из японского зеркала,
 подвешенного, подобно аспирину
 и головной боли, под потолок,
 подобно медузе,
 исколотой шприцем, подобно мармеладной девчонке,
 исколотой временем пополам с запахом «Невского» пива —
 из этого зеркала утром она встает,
 освобождаясь от ненаставшего, —
 ибо только тем и заняты зеркала —
 освобождением от лишних ветвей отражения.

Освобождаясь от лишних отражений своих
при помощи зеркала,
она встает — и оба они освобождаются
помогают друг другу,
но нарастает, бывало, на юбку лейбл «Прадо»,
а на ямку между ключиц
Chanel № 5, а то и Hugo Boss,
а на бедра какие-то очень узкие трусики,
вот такие носили б почаще! — оба — она и зеркало —
освобождаются
помогают друг другу, протягивая руки друг к другу,
снимая лишнее друг с друга —
чужие пейзажи, слова, трафареты, радиостанции,
бюстгальтеры, щупальца и цветы
с бабочками среди лепестков —
чужие судьбы, любовников — все, что
может случиться с тобой, если перед зеркалом
это не снять.

И для этого лучше начать день свой — голой,
совершенно голой, неприлично голой — без ничего на тебе,
абсолютно голой, голей не бывает,
сняв с себя все до единого слова,
до единого звука и мысли,
до волоса, оставшись в собственном подмороженном
сиянии обнажения, выжигающем,
как жидкий азот, все чужое,
и лишь потом надевать на себя маску
и долго вematриваться в зеркало,
из которого вышла. Под небом без бомбардировщиков,
у куста цветущей сирени — скажи ему все,
что хочешь в своей наготе, в своей
чистоте, в своей спянности с миром,
в своей отсеченности от другого, чужого.
Говори сомнамбула-будда —
прекрасен твой голос, японка!

— Знаете, — сказал Владимир Сергеевич, — прекрасная
история приключилась, когда я сюда ехал.

Софи смотрела на него — как византийская зеленая моза-
ика сняли ее глаза.

— На Николаевском вокзале я покупал билет у кассира — смешного человека с большими рыжими усами, когда вдруг за окнами потемнело. Тут же сверкнуло, польхнуло, ослепило, и сразу — оглушительный гром! Еле на ногах устоял. Молния попала прямо в вокзал, и я с беспокойством посмотрел туда, где только что сидел кассир. Его больше не было. Секунду только назад был человек, компостировал билет, и вот же — ничего не осталось, даже фуражки. Такая вот метаморфоза — был человек, и нет его больше. Я подумал, что от удара он превратился в газ, заглянул за кассу — может, что-то от него сохранилось, ну скажем, пуговицы. Пуговиц там не было, но там был он сам, собственной персоной. Сидел, знаете ли, на корточках, как заяц, только глаза таранил и зубы скалил. От страха упал со стула и не решился встать, так там и засел, а я-то ненароком решил, что он испарился!



— Бедный, — сказала Японка. — Так ведь и умереть недолго от разрыва сердца.

— И вот еще что, — добавил Владимир Сергеевич улыбаясь. — Полез после этого я за часами, взглянуть сколько времени до поезда. Хочу завести, и вот чудеса. Ключик для завода, давно весь вытершийся, облезший, опять весь покрыт позолотой, сверкает как новенький! Отчего бы это, а? Я ехал сюда и в поезде ломал над этим обстоятельством голову до тех пор, пока не пришел к выводу, что современная мысль объяснить сей казус бессильна. Загадка природы — ничего не поделать!

— Покажите...

Он полез в карман и положил часы и крошечный золотой

ключик, жгущийся светом от случайного солнечного луча сквозь шевелящуюся листву, ей на ладонь. Цепочка от его правого бедра потянулась, посверкивая, к ее левой кисти.

А повествование, взяв на себя роль кокона — служителя театра Но, — оставаясь, как и он, для зрителя условно невидимым, сказав слово «ветерок», взъерошило золотистые кудри Софии, так что пряди качнулись и заиграли, оно же, сказав слово «штукатурка», принудило белым левое плечо философа, и добавив «любовь» — хлынуло с неба без бомбардировщиков и совершенно синего — ослепительным и мягким водопадом света, заливая мужскую и женскую фигуры в беседке одним потоком, о котором, чтобы понять, как он, обвив эти две утонувшие в нем фигуры, выглядел, сказало «кокон».

Сатана, Демиург, Любовь

Софья Михайловна взяла философа под руку, и они зашагали по песчаной дорожке парка. Солнце и ветер не переставали играть тенями и складками ее одежды, и если бы внимательный зритель, вооруженный художественным зрением, к ним пригляделся, он обязательно увидел бы, как воздвигаются горы, трескаются ледники, расслаивается на перья крыло орла с сизыми полосами, окаменевают растения и, окаменев, вдруг рассыпаются на бегущие тени от облаков.

Локоть Владимира Сергеевича, на внутреннем сгибе которого лежала ее рука, заметно дрожал, и она чувствовала дрожанье и жалела философа, волновавшегося столь сильно и так заметно, но волнение его было ей приятно, потому что этим волнением волновалась не только она сама, но и вся ее одежда, собираясь в камыши и тростники и пускаясь гулять световыми пятнами, словно по поверхности воды.

— Вы обещали рассказать, откуда взялись в мире разделение и ненависть, — промолвила Японка, покосившись на задумчивого и взволнованного спутника, лишний раз отметив, что они с ним почти одного роста.

— Ну говорите же, — подзадорила она, выстрелив на него зеленым глазным блеском.

Тень облака набежала на них, на красный щебень дорожки, на травы зеленые, не задержалась, пронеслась.

— Этот мир, мир вражды и разделения произошел в результате падения Мировой души, — вздрогнув, произнес философ. — Душа, как я вам уже говорил, находится между двумя силами — силой Божественного Ума и идеального мира, который ею, Душой, управляет, и противобожественной демонической силой натурального, или внешнего, ума, силой аналитической и негативной, которой управляет она сама. Душа сама по себе женственна, и ее блаженство и сила состоят в подчинении мужской активной силе Божественного Ума. Но однажды, осуществляя свое слепое хотение, подчинившись своей самости, Душа из состояния пассивности и потенциальности перешла в состояние активности и сама стала — Духом, но духом зла, и с тех самых пор она уже больше не только Душа-София, а и spiritus — дух тьмы и зла. «Душа есть Сатана, здесь мудрость» — как высказывались некоторые гностики. В своем падении Душа производит Сатану и Демиурга — две силы, которые и творят этот третий, оторванный от двух высших миров, мир.

— Так чем же, в таком случае, Демиург отличается от Сатаны?

— Дело в том, что обе эти силы, — постепенно вдохновляясь, — отвечал Владимир Сергеевич, — орудия в Божьем замысле. Сатана — это космическая слепая сила Хаоса, а Демиург — сила разумная, но внешняя, начало формы, порядка и отношений, но, повторяю, только внешних. И вот тут-то и начинается космический процесс, bellum omnium contra omnia. В борьбе с Демиургом Сатана производит время — изменения, нарушения порядка, а Демиург в ответ создает пространство, статис, покой, порядок.

— А что же София? Что стало с ней?

— София... теперь поработана. Она питает собой процесс космогенеза, причем является при этом его материей. В результате борьбы Демиурга и Сатаны весь видимый мир представляет собой материальное ядро — область Сатаны и эфирную оболочку — область Демиурга. Дальше я пропускаю некоторые связующие звенья, скажу только, что, образовавшись из Солнца, система планет в лице Земли оказалась наиболее приспособленной для воздей-

ствия Души-Софии. А Сатурн, в свою очередь, явился прибежищем Сатаны, как планета хаотического духа. Душа мира постепенно овладевает Землей и производит на ней живую душу — организм, а со временем и совершеннейший из организмов — человеческий. Цель космического процесса — реализация Души и Бога в Душе, создание индивидуального человеческого организма. Цель исторического процесса — создание совершенного социального организма. История — также борьба Сатаны с Демиургом, бесконечная вражда и война. Эгоистическая воля — место Сатаны в человеке, разум, справедливость — место Демиурга. Но вот появляется сознание, человеческий разум — и это начало освобождения Души. Но у самого человека не хватало сил вырваться из-под власти Демиурга и Сатаны. И в момент, когда везде — и на Востоке и на Западе — человек находил мир пустым и хватался за самоубийство, как за единственное средство против отчаяния и тоски, в этот момент божественный Логос, соединенный с человеческой душой, родился в Иудее.

— Скажите, — произнесла Софи, — а как вы себе представляете это гармоничное социальное общество?

Облачко, пробежав над ними, погасило и вновь озарило розовое платье на фоне зелени парка, как на картине Мане, где изображена женщина с зонтиком, хотя сама картина, конечно же, больше состоит из парка, чем парк с участием двух философствующих персонажей — мужского и женского — из картины. Впрочем, ручей серебрился и зеленел, но в некотором отдалении, так что они его скорее чувствовали, чем созерцали.

— Есть ведь там какие-то социальные ступени, классы, как, например, у Платона в его идеальном государстве? — спрашивала Софья Михайловна, машинально накручивая на палец спадающий и блестящий локон.

— Конечно. Но не как у Платона.

Владимир Сергеевич остановился и ткнул в небо рукой с длинным и худым указательным пальцем.

— Единственный предмет любви восходящей — универсальной силы, объединяющей мир, связующей его в гармоничное единство — это я о любви вообще, вне ее направленности как восходящей или нисходящей, — так вот,

единственный предмет любви восходящей есть не абстракция (тут любовь бессильна, поскольку выдыхается), а любовь именно к личности, к Софии.



Он перевел дыхание, глянул слепыми глазами на каменную беседку с ангелами, клумбу с тюльпанами и вновь тихо зашагал по усыпанной красным щербнем дорожке.

— Поэтому в новом устройстве общества София находится в непосредственных отношениях с избранниками человечества (необходимо мужчинами, так как она — женщина), которые любят ее любовью восходящей и любимы ею любовью нисходящей. Есть также один единственный человек, осуществляющий наиболее интимные отношения с Софией и являющийся в силу этого великим первосвященником человечества.

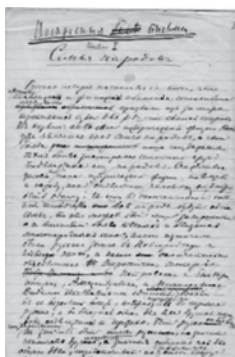
Тут София Михайловна не удержалась и вновь покосилась на Владимира Сергеевича с насмешливым любопытством — не он ли? Он — точно! Владимир же Сергеевич взгляда не заметил, но все равно на этом месте взволновался, заикнулся даже и кашлянул.

— Второй ряд, состоящий из женщин, образует первый совет. Затем идет третий ряд (второй — мужской ряд), который дает священников второй степени или митрополитов вселенской Церкви... Всего десять рядов — архиепископы, епископы, деканы, священники, дьяконы, верующие, оглашенные, начинающие...

— Правильно ли я поняла, — еле заметно улыбнулась Софья Михайловна, — что ваши классы общества разделены и выстроены в зависимости от степени влюбленности в Софию?

— Ну, — замялся и вновь закашлялся философ, — в некотором и самом общем смысле это действительно так. Впрочем, сейчас я от многого не то чтобы отказался, но работаю над усовершенствованием этого устройства.

— Теперь ведь, после усовершенствования, ваш первосвященник человечества, влюбленный в Софию, — Папа Римский, преемник Петра, не так ли?



— До некоторой степени, но я не стал бы это так формулировать, тут требуются уточнения, поскольку материя эта весьма тонкая.

— А правда, что в Москве у вас есть собственный нищий? Что он вас всегда находит необъяснимым образом, где бы вы ни останавливались?

— Есть... — отвечал философ после короткой паузы, во время которой отчетливо и весело чиркнула какая-то взбалмошная и звонкая птичка. — Есть. Он меня действительно непостижимым образом находит везде, да и возле вашего дома также.

— А!.. Так это тот старик, иногда трезвый, с седой бородой, в фуражке с красным околышем? Я его часто вижу у церкви Покрова в Левшине. Очень положительный господин, величественный даже — сразу и не скажешь, что пьяница и побирается.

— Ну да, ну да.

— Персональный нищий Владимира Соловьева. Не знала, что такое возможно. Я думаю, что вообще бывает персональным, прикрепленным к человеку, — наморщив носик, продолжала София Михайловна. — Ну скажем, награды, ордена. Да, еще слава или репутация. Ну докторское звание. У Виктора Николаевича — его губернское секретарство. Ну экипаж или, скажем, поместье. Но чтоб нищий...

Невидимый ручей и веселая птичка над ним перемигнулись, отразившись серым серебром друг в друге, и птичка снова чирикнула от восторга.

— Блаженны вдвое, прикреплен нищий к коим... — пробормотал Владимир Сергеевич.

— А выполните ли вы, дорогой поэт, ваше обещание?

— Это по какому же поводу? — засмеялся внезапно Соловьев. — Побывать с вами в опере, что ли? Если так, то избавьте — лучше сразу задушите меня вашими прекрасными ручками.

— Вы обещали написать к сегодняшней встрече стихотворение.

— Всенепременно, — отвечал философ, а рука его уже шарилась в кармане панталон так, что штанина даже несколько задиралась, обнажая серый носок. Он выудил сложенный четверо листок бумаги, развернул его и прочитал: — Эпитафия.

— Как? — не поняла Японка-Софи.

— Эпитафия, — повторил хор птиц из ветвей, — эпитафия.

Потому что все, что вам остается друг от друга, — слова, и еще, быть может, память о тепле,

потому что любовь — тепло,
которое остается, когда отец уходит от дочери,

а та от отца,
а отец сходит с ума и танцует с револьвером в кармане,

револьвером, взятом на Балканы,
на фронт военных действий
журналистом Владимиром Сергеевичем Соловьевым,
не знающим даже, как с ним обращаться,
и все это уходит,
как дыхание с зеркала, след пальцев с рукояти,
а бабочка, улетая, оставляет тонкий слой тепла,
еще тоньше, чем веки или слова,
чем атомы Демокрита в снежинке,
расплющенной на трамвайном рельсе. Все уже ушли, но
слова и тепло
заставляют танцевать сумасшедшего на дороге,
хоть он ими больше и не владеет,
как трава, таблетка кодеина или йод,
Он танцует как пролитый йод,
чтоб надолго оставить рыжую кляксу в потеках,
похожих на вздетые руки с растаявшими пальцами, но
вовремя подмороженными собственной едкостью.

Владимир же Сергеевич, ободренный хором птиц, откашлялся и прочитал обещанное стихотворение:

Владимир Соловьев лежит на месте этом.
Сперва был философ, а ныне стал скелетом.
Иным любезен быв, он многим был и враг;
Но без ума любив, сам ввергнулся в овраг.
Он душу потерял, не говоря о теле:
Ее Дьявол взял, его ж собаки съели.
Прохожий! Научись из этого примера,
Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера.

— Боже мой, да неужели же все так грустно! — жалобно воскликнула Софья Михайловна, чертя кончиком зонтика газон, но Владимир Сергеевич не стал отвечать и, выйдя на середину зеленой лужайки, начал танцевать, неожиданно изящно задирая брюки с отворотами чуть не к самой своей голове и высунув язык, который, начавши высовываться, никак не мог остановиться и разрастался наподобие огромного живого флага, забираясь в воздух все выше и выше, пока не стал явлением космического порядка, вовлекая в

свою сырую, красную и неплотную мякоть и сонмы ангелов, и планетарные системы, и мировые туманности, но при этом от него пахло, как от твоего отца, которого ты так любил и который вас бросил, а потом снова появился, — пахло немного вином и одеколоном «Шипр», и ежели ей он был и не совсем, что ли, отцом, то тебе-то он отцом, конечно же, был, с этим огромным его языком и подкидыванием, с задиранием ног в брюках с манжетами и запахом крепкого одеколона, и вот на языке его уже многое могло бы разместиться, да кое-что и разместилось, лужайка, например, гора с тоннелем сквозь нее, паровоз и автоматическая ручка «Паркер», но не слова, которых он так опасался и все же их говорил-говорила, пока однажды не высовывал на весь мир язык и не заходил в танце. Быть может, то, что он сделал, можно описать и по-другому, другими совсем средствами — без языка и задранных ног, но у театра Но свои законы, а у того, кто их наблюдает и описывает в связи с легкой площадкой и философской прогулкой барышни и хулигана, — еще и третьи. Которыми он и пользуется на свой страх и риск и еще для того, чтобы мир не исеяк и продолжался.

Eve touranienne

Зачем он рассказал ей тезисы своей ранней работы, зачем? Впрочем, он от них не отказывался теперь — кое-что уточнил, кое-что сделал менее наивным, но основная идея — Единство мира на всех уровнях, достигаемое только любовью, осталась и посейчас. Как и та мысль, что для любви нужна не одна лишь идея, не только умопостижимый образ, но и вот это платье, эти глаза зелено-синие, эти руки — белые и белые, и все, чего можно коснуться, увидеть, почувствовать, ощутить тепло, идущее оттуда — наружу, к тебе. Что повторить невозможно. Нужны лик и лицо — личность любимой.

Потому что с Богом можно говорить только на языке любви, все остальные для него чужды, и до сих пор неясно, понимает ли Бог наш язык, когда мы сами его не понимаем, а именно что мы хотим сказать и кому — то ли сами себе, то ли собеседнику, то ли так, вообще, непонятно кому и зачем,

просто по привычке нанизывая звуки и слова — одно за другим. То же самое и с мыслями. Понимает ли Бог наши мысли, если мы их сами не можем отлепить одну от другой, а так они и катятся в сумбуре, налиная одна на другую, как сор к размякшей замазке. Что мы можем сказать Ему, предьявляя Ему это, весь этот слипшийся сор? Что Он может на это ответить? Да и на что отвечать? Он ответил Иову, потому что тот все время спрашивал об одном и том же, пока не спросил из такой глубины души, что не ответить было уже нельзя, потому что эта глубина и есть — Он, но что можно ответить на всю эту сорную путаницу, на все эти доводы, претензии, ленивые сгустки картин и мыслей, которые даже людям не в мочь отделить друг от дружки?

Кто спасет их от этого? От сна наяву, от слипшихся неразберих? Избранные? Остаток? Те, кому привелось постигнуть Бога и его любовь? Один ряд передает эту любовь второму ряду, второй третьему и так далее?.. Не сходится здесь что-то, не сходится...

А если все и сойдется, то непременно выпадают из сошедшихся створок умозаключений две-три детали, которые оказываются главными, потому что не детали это — а выпадают живые люди, которые остаются за бортом, и нет им дела ни до Владимира Соловьева, ни до того, что там на самом деле написано в Евангелии. А дело им — жить как жили, и никакая философия им ни к чему. Как же написать и оживить Азбуку любви, чтобы она охватила все — весь мир, каждое человеческое дыхание, утолила все крики и весь плач, как создать язык любви, понятный для всех, и чтобы все поняли, что они и есть Буквы этого языка, и вошли в него и оживили его? Если Христос — алфавит, то и каждый человек ведь — буква. А разве буквы не перетекают друг в друга в слове. Нет, не составляют слово они, но расплавляются, размыкая прежние свои очертания, в каждом новом слове. И каждое такое слово становится новой буквой, если оно осознает само себя до своей новой бездонной глубины. И фраза, составленная из этих осознавших себя слов-букв — на самом деле не составлена из них, а слита ими, ибо и здесь они, проникая друг в дружку, расплавляя свои твердые оболочки, образуют новое единство, новую Букву Мира. И так далее — до своего источника. И все льет-

ся, проникает, вливается, не теряя при этом формы, как не теряет река берегов.

В каждом человеке Вселенная размыкается и смыкается вновь, создавая свой новый сплав и строй, новое слово, еще одно, из которого она теперь состоит, приплюсовав его ко всем остальным, уже пришедшим сюда, в жизнь. И пока они не расплавятся, чтобы стать одной фразой любви, одним звуком и одним бытием, из которого они вышли, так и будут они досадным самоуверенным стадом, где каждый поровнит оттереть соседа, оттеснить слабого, унижить неудачника, не забывая ничуть о том, что есть мир, в котором им всем было бы хорошо, что им не жить друг без друга, потому что источник их жизни в соседних буквах, без которых они никогда не составят свое собственное Имя. Потому что, только отдав все свои буквы другим людям, можно получить их назад, но уже не прежними, а обновленными для сияния твоей новой жизни, потому что, пока ты расточал буквы своей жизни, они, блуждая, странствуя и умаляясь, совсем не потерялись и не распались в какое-то чужое и нелепое слово, но обрели глубину океана и силу и неотвратимость смерти, которая стала теперь любовью, унаследовав всю смертную силу и приумножив ее. И тогда, может быть, станет наконец видно, что другой — это ты и есть, но не там, где, сценившись и катаясь по земле, как двое пьяных нищих, вы пытаетесь вырвать друг у дружки золотой кружок монетки, а в глубине сердец ваших, где вы как две акварельные краски, размешанные в одном стакане с водой.

Зачем мне говорить про поток чистого бытия дворнику Маврикию? Он не станет ни счастливее от этого известия, ни радостней. Допустим, прихожу я к нему, даю на чай или под Рождество червонец, стоим мы во дворе, снег сыплется сверху, он при деле, при разговоре с жильцом, а я ему тут и говорю, сверкая глазами и польхая пламенным порывом христианской любви: а знаешь ли, брат Маврикий, что ты и есть чистое бытие, лишь затемненное феноменологическим мусором? Или, хорошо, я ему скажу еще проще: брат Маврикий, скажу я ему, мы все — едино в любви, а все остальное не так уж и важно. Он, конечно, согласится, спорить не будет, но для него мои слова пополам со снегом и с моей фигурой в белом дворе образуют состав совсем не тот, какой они обра-

зуют для меня. Вполне возможно, что он подумает, что все действительно не так уж и важно, особенно если уже выпил ввиду праздника стаканчик-другой. Но он же не поймет, что он — и есть моя жизнь, а я — его. Что источник моей жизни — в его руках, а его жизни — в моих, и так мы и будем кружить друг вокруг друга, отделяясь экивоками, околичностями да недомолвками, рисуя все новые фигуры, за годом год и за веком век, пока не увидим всё, как оно есть на самом деле. Потому что это неутоленная любовь будет кружить нас друг вокруг друга, как неутоленная страсть кружит в танце мужчину и женщину, и они снова и снова воспроизводят его, чтобы насладиться предощущением истины единении — и этот танец танцует вся земля, думая, что это суета, война, ненависть, а на самом деле — тоска по любви, признание того, что не есть ни этот танец, ни их машинальная жизнь, — простого, ясного блаженства без слов. И не блаженства даже, не жизни и смерти, нет. Того, что важнее и выше и жизни



и смерти. Того бездонного и неназываемого, чему нет названия, и с чем человек обвенчан навсегда, будь он дворник Маркел, Наполеон Бонапарт или Владимир Соловьев, философ.

Он не замечал, что говорит эти фразы вслух, проборматывает их, заглядывая слоги и слова, а Софья Михайловна, идущая рядом с ним по красной дорожке парка, тихо и смиренно кивает головой, отчего поля ее белой шляпы колеблются как белые качели или лилии на воде.

— А скажите, Владимир Сергеевич, что такое Туранская Ева?

Туранской Евой называл он ту... другую свою Софию, в которую так долго и так мучительно был влюблен прежде. И даже написал ей как-то шуточное стихотворение под таким названием.

— Видите ли, в лице Софьи Петровны Хитрово, как подметил господин де Воюэ, у них некогда гостивший, есть нечто монгольское — Eve Touranienne, как он изволил выразиться, а я подхватил и вставил в стихотворение.

А все дело в том, что самое главное всегда происходит не просто так в самом себе, а именно в том месте и на той границе, где безусловное, абсолютное и неопределимое — скажем, Бог — вторгается в бытовое, накатанное, понятное и автоматическое. От этого граница эта, там где две эти силы или существа встречаются, напоминает даже не пляжную, скажем, границу, где на мокрый песок волнообразно и криво набегают белые волны прибоя, но скорее словно к одной полосе материи — ситца в цветочек, скажем, неумелая рука взялась пришивать другую, как бы совсем неподходящую — ну что ли, парчу. И от этого линия их смыкания запуздырилась причудливыми складками, неумелыми и неряшливыми стяжениями, гармошками, выпуклостями и впадинами, иногда досадно повторяющимися друг дружку до какой-то даже нарочитости в повторениях, словно невидимая рука взяла себе за правило именно недостатки своей работы особенно назойливо выпячивать и повторять. И знаете ли, что про это свойство границы «двух материй» ведали и использовали его лучшие наши писатели, Гоголь, например, или Достоевский. Особенно Гоголь с его бульбами, топорщащимися во все стороны фразами, бураками, сияниями, панночками и ренами. Как не подивиться всем этим приключениям слов и сочетаниям имен, которых при иной комбинации и не встретишь, и даже не подумаешь, что такое может случиться на свете! А вот же, на границе материй земной и небесной — может.

Владимир Сергеевич Соловьев и был таким местом, где к золотой парче неба пришили сукно обыкновенной жизни, и от этого шов впухал, топорщился и лохматился разными неправдоподобными историями, нелепыми анекдотами, чрезвычайными встречами, мистификациями, неразбери-

хами, чертовней. Другое дело, что мало кто видел и понимал про сукно и парчу, а ведь думали, что видят и понимают. Но сам философ видел и понимал. Вспухал, лохматился, мистифицировался и повторялся, иногда сам не отдавая себе в том отчета, но, разглядев, смирялся с дисгармонией границы — уж какая тут гармония, когда все на живую нитку!

Так только сейчас, вспомнив, сообразил он, как неумело топорщится Дальний Восток в его любви и в его жизни — муж первой его Софии был дипломатом в Японии, сама она — Софья Петровна — имела в лице нечто монгольское, около тоже японское, и сны его про нее были якобы на дороге в Японию, где он якобы жил в гостинице... и вот вторая София — Японка-Сапфо — шла рядом с ним и качала белой с розовым лентой, словно птица или лилия, шляпой. Две Софии — две монголки, японки, — вот ведь вывела рука безвестная складки по шву, а ведь нет, не искал он Японии, не искал специально земных, с отчествами, Софий, но так вот вышло оно и легло, что нашел и влюбился и погибает, хотя, впрочем, тут надо подумать про то, насколько случайно. Потому что, когда поэт описывает, скажем, шмеля, вольно или невольно, но жужжание насекомого проникает в звуки письма, где жужжит жук. А когда пишет, что грохочет гром два «гр» явятся ниоткуда и расположатся рядом, хотя на первый взгляд никто их сюда и не звал. Не так же ли проникает иное неразборчивое и на первый взгляд нарочитое, не тайным ли швом и намеком проникает оно, ежели мы распахнем ему свою душу, приманивая его стремлением души говорить магическим языком тайного намерения?

Неужели он приходил напрасно?..

— Вы холодны со мной, — сказал он. — Вы мной играете.

— Помилуйте, Владимир Сергеевич, — сказала она, раскрывая зонтик, — помилуйте. Да я же почти... почти влюблена в вас, как гимназистка какая-то.

Они шли в сторону речки неторопливо — она, сначала подстраиваясь под шаг его длинных ног, а потом оставив без внимания, и он — не замечая ни шагов, ни ног, в прозрачном и все же холодновато-бирюзовом воздухе, прони-

занном солнцем, свежестью, запахами, осененным далеким и словно многоярусным — из-за птиц, наверное, — небом, из-за деревьев, наверное, из-за солнца и из-за колыхания прозрачного марева в легком ветерке. Многоярусным. Еще потому, что вокруг летали бабочки — стайками, по двое — капустницы, по два-три — драгоценно-красные и коричневые с голубым адмиралы, по одной — лимонницы; вились над цветами или просто вычерчивали прихотливые траектории над круглым газоном, словно их дергали за невидимые нитки, причем со всех сторон сразу. Он почему-то вспомнил, как его друг-математик доказывал ему, что найти и вычертить график полета бабочки принципиально невозможно, потому что в ее полете всегда присутствует неучтенная переменная величина, и, вероятно, не будь ее неуловимого, не схваченного наблюдением присутствия, не было бы и самой бабочки, а не только ее полета. И он тогда еще подумал, что не слишком ли мы делаем ошибку, возводя все великое к правде и истине, а все малое — к случайностям и акциденциям. А ну как бабочка только и есть бабочка, чтобы вот эта самая для нас неважная и неучтенная величина могла таким вот живописным и пестрым образом заявить о себе, как о чем-то принципиально жизненном и формообразующем, и может быть, не только в жизни одной бабочки, где она как на ладони, а и всего мира.

Ну вот, недовольно поморщился он, — опять гигантизм, опять — всего мира. А что ежели суть не в плюс бесконечности и не в минус ней же, но в том, что все есть — как есть, вместе с этой вот капустницей, выющейся, как клочок бумаги над на фоне лазоревого неба, — все есть, как есть, и больше ничего добавлять не надо, несмотря на то, что все есть, разумеется, в становлении, в тяге, в порыве. Потому что «вся тварь стенает и мучается в ожидании откровения сыновей Божиих» — и это, конечно же, говорит о становлении, но ведь если форма равна бесформенности, то и порыв равен констатации, принятию того, что есть.

Он вдруг почувствовал, что превращается если и не в жука, то, во всяком случае, в бабочку. Сначала жуткий холодок мурашами пробежал между лопаток, потом, словно страница или простыня, помялась и расправилась спина, ноги стали прозрачными и легкими, а волосы несколько

вздыбились. Он, покосившись, видел розовую скулу спутницы, ее обнаженную шею, грудь под газовой кисеей, глаза, изумрудные от дневного света, тяжелую, словно кованую, шапку волос под шляпой. И волны, волны розового света исходили от нее, проникали в его сердце, и тогда все, что окружало их, — бабочки, березки, стволы сосен, скрепление веток на небе и само небо начинали становиться не такими, как только что, — другими. Начинали становиться живыми такой жизнью, про которую знает каждый человек, но быстро забывает, потому что в этой жизни он счастлив без начала и без конца, а человек этого не любит, потому что он забыл, что он живой и бесконечный. Но речка все равно сияет не так, как прежде, а птичка на ветке говорит тебе свое сокровенное сердце, и как же ты был глуп прежде, что не понимал того, что она хочет сказать тебе, сказать то, что сразу же делает тебя счастливым, даже еще при первых звуках ее пения, потому что ты уже знаешь, что она скажет дальше, и все равно, слыша ее пение, ты только радуешься его новизне, потому что вы заново творите весь этот летний день и самих себя, да и спутницу — прелестную и розовую, заново творите ее прямо на глазах своих вместе с этой птичкой. И теперь, когда он уже стал окончательно бабочкой, да и воздухом, в котором она летает, и даже каждым стволом и цветком, и спуском к берегу, но бабочкой и Владимиром немножко больше, чем всем остальным, он сказал:

— Прекрасна ты, глаза твои изумрудные, и нет в мире ничего, чего бы ты не освятила, и только святость твою видят мои глаза, только то, что в сиянье твоём, и слеп я для остального, и вытекли для остального глаза мои, и незрячи они с этих пор для всего остального.

И отвечала она:

— Разве не создал нас Бог для святости. Мужчину и женщину разве не создал Он? Чтобы мы называли. Говорили: дом, жук, лиса, усадьба, любовь, жизнь. А вы пишете ваши злые и нелепые эпитафии.

И сказал он:

— Слоны, колибри и мустанги словно идут сюда со всех сторон, потому что там, где они есть, они погибают. Небо и звезды, и камушки со дна реки, и мосты и синички идут

сюда со всех сторон, потому что там, где они есть, им не хватает себя, из них выпнута суть, которую надо восполнить.

И движутся они, как звери ковчега к тебе, охваченной сиянием, окруженной сиянием, облаченной сиянием солнца, из которого ты состоишь. Потому что ты — их ковчег, основа их смысла, их жизнь и начало — твой розовый свет.

— Почему вы так строги ко мне? Почему вы пишете мне ваши аскетические письма, осуждая меня за то, что я бываю на концертах и ипподромах, интересуюсь созданием первых летательных аппаратов, дружу со спортсменами и цыганами?

— Как этим камушкам на дне реки, как этим птичкам и цветам, которые движутся к вам, чтоб прикоснуться к источнику жизни, так и мне, и мне, и, может быть, мне прежде всего, — не хватает себя, потому что, кто я, если утратил себя?

— Вы пишете мне злые письма, пародируя Максима Исповедника, но небо не пародирует никого. Я чувствую, что я такой же мужчина, когда вы чувствуете, что я — источник вашей жизни. Я чувствую как прекрасно быть мужчиной, потому что я вся плыву в своей женственности, которую я ненавижу и которая одна мне — мать и дочь.

— Если ты дочь, то пришла к слепому отцу, но он видит тебя и не видит уже ничего другого. Если ты мать, то пришла к истомленному разлукой своему вечному сыну, вечному мальчику, мужчине и отроку. Тебя жду я с тех пор, как пришла ты ко мне в первый раз, пятилетнему, в Татьянин день в церкви, о Матерь всех живущих, о дочь одного Бога. О мать моя, с глазами своими светлыми, изумрудными! О дочь моя безымянная!

— Правда ли, что голуби слетаются на подоконник, когда вы приезжаете в гостиницу в незнакомом городе? Не знаю почему, но для меня это важнее всех ваших книг, правда ли это — про то, что они бьются в стекло?

— Ты — голубица чистая моя, с глазами зелеными. Ты бьешься в сердце мое и свет течет из них, как поток солдат в Фермопилах — все нежные и смертельно-сильные, и нет среди них безоружных.

— Почему они убивают друг друга? Почему медведь ловит форель, а самого его убивает человек, а человека смерть

и старость? Вот вопрос на весь мир. Только после него можно спросить — а ты любишь меня?

Почему тень лежит на земле? Тень от лопаты могильщика, а сам он сквернословит в кабаке? Почему умирают невинные дети, а солнце сияет? Почему розовый фламинго отражается в Ниле, а французский инженер изобретает скорострельное оружие, от которого сотни и тысячи и тысячи превратятся в перегной и слезы.

И прежде чем ты не ответишь, я не задам вам этого вопроса и не поверю ни в какие слова. Вы — все те, кто говорит о Царстве Небесном, о правлении Бога здесь, на земле, все вы кончаете одним — ждете, чтобы поскорее кончился этот неправедный мир. Чтоб скорее пришел страшный Суд.

Неужели нет третьего? Между блаженством майского жука и смертью сироты от руки разбойника неужели невозможен — иной, совсем иной мир, где нет того, что есть в нашем?

Неужели вы, взрослый, большой и умный человек не слышали ответа от Бога?

Неужели мир здесь не может быть прекрасным и создан лишь для того, чтоб погибнуть?

И Павел, начавший с блаженства и слепоты, с проповеди Царства здесь, на земле, воззвал к скорейшему завершению истории.

И Иоанн Креститель — ангельский Иоанн, лежавший на груди Христа, и он, нежнейший апостол любви, — закончил земную жизнь пророчеством о злой саранче, Польша-звезде и торжестве смерти на бледном коне, завершающей этот мир с его жуками, бабочками и рекой.

Вы сами — вы начали с теократии, объединении здесь, на земле, всех в Божественной любви и гармонии, вы тоже все чаще говорите, что в мире они невозможны.

Вы все начинаете в восторге, а заканчиваете печалью.

Тогда зачем Он создал мир, зачем?

А если так и если ничего не изменилось, то я задам вам последний, последний вопрос, вопрос, после которого нет вопросов, после которого говорит лишь тишина да ветер в песках: неужто Христос приходил напрасно?

Потому что ничего не изменилось. Стало больше построек с куполами и шпилями.

Стало больше епитрахилей, канонов, акафистов, портиков, крестов, схизм, монастырей, ектений, клубуков, стихарей и кафизм, но Христос...

Он сказал, что пришел, чтобы вспыхнул огонь.

Но нет огня, лишь вспышки из стволов ружей, на охоте и на войне, лишь фейерверки и газовые фонари, в лучшем случае — свечи, лампадки. А где — тот, о котором Он говорил?

Так неужели Он приходил напрасно?

И неужели лишь ветер в песках мне будет ответом?

Два мира

А хор добавил, что она говорит то, что думает. Мы и без хора это знали, и все же его подтверждение нам, несомненно, небезразлично. Во-первых, находясь на другой планете — среди мачт МТС, полосатых ядовито-желтых бабочек «Билайна» и прочей электронной поросли, трудно, во-первых, представить себе, что могла говорить в таком случае молодая дама и что, во-вторых, она могла при этом думать, а значит, еще трудней решить, в-третьих, соответствует ли то, что она думает, тому, что она говорит. Но раз хор, в котором мы пребываем лишь одним из музыкантов, решает, что это так, то так тому и быть, говорим мы с облегчением и продолжаем свою партию, в то время как Владимир Сергеевич — далеко от нас и близко, и он же сам — мы, мы вместе с Софией Михайловной — не менее далеко и близко к нам расположенной и не менее мы, чем он, — продолжает свою.

И спросила Софья Михайловна:

— Скажите же мне, скажите, как вы себе это мыслите?

Потому что это же ваши слова, ваши стихи ко мне:

Милый друг, иль ты не видишь,
что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
от незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,
что житейский шум трескучий —

только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чувствуешь,
Что одно на целом свете —
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?

Скажите, скажите, как вы себе все это представляете,
пока я еще не влюбилась в вас так, чтоб сойти с ума окончательно
и забыть обо всем.

Я действительно не вижу незримого очами. И для вас житейский шум трескуч, а для меня бесконечно мил — голоса детей, птиц, треск огня в камине.

Но я даже не об этом.

Я знаю, что есть два мира — незримый и мой, милый и смертный. Вы видите первый, я — второй. Ответьте, ответьте, куда вы меня приглашаете, если я отвечу вам на вашу любовь, — в первый, ваш, или во второй — мой?

— Тот, кто любит, уже знает первый мир. Тот, кто просто любит не на словах, а в сердце, — он уже в первом мире, и нет второго без первого, и нет первого без ответа второго. Нет жука без Бога и нет Бога без жука. Нет меня без вас и нет Бога без вас.

— Скажите, скажите — но как же мне быть? Как мне любить вас идеальной любовью, а мужа — плотской? И еще скажите мне, скажите, неужели нет места идеальной любви во владениях плотской? А дождь, из какого он мира идет — из высшего или из житейского? А сверчок трещит — от вышних сфер звук его или — к вышним? Или туда и обратно?

— Туда и обратно.

— А кошка мурлычет? А служанка забеременела и не сознается от кого, — откуда?

— Вы знаете сами. Вы знаете мир вышний — вы оттуда пришли, и он в вас живет и струится розовою рекой, давая прохладу, давая отраду сердцу моему, измученному неподъемностью мира, измученному его ограниченностью, его тупостью, его убийственным безразличием.

Он залит кровью, он струит реки обмана, предательства, непонимания. Вся суть в том — принципиально ли он, этот

мир, — недожженный мир или мы не видим в нем, не различили в нем, не хотим увидеть — СОБСТВЕННОГО ЛЮБЯЩЕГО ЛИЦА.

И тогда Платон понимает, что Сократ-Добро убит логикой и природой этого мира, то это — принципиально недожженный мир, в котором праведник обречен, мир недожженный, ошибочный, страшный.

И тогда он спрашивает — зачем?

И тогда это мир, из которого надо поскорее уйти. И правы во все века самоубийцы. И тогда непонятно, зачем он создан любящим Богом. И тогда это — не любящий Бог.

— И даже Сын не может всей своей небывалой любовью, всей своей обреченной на крест любовью ничего изменить. И тогда я спрашиваю — неужели Ты зря приходил?

— Но Любовь спускается. Она делает материю живой и сияющей, делает ее зрячей. Она просветляет ее в твои единственные изумрудные глаза, в твое единственное лицо, в твои теплые ладони, в плоть сияющую от того, что ей жить вечно, — ведь она ближе к лицу Бога, чем Его собственные веки, чем Его волосы, кожа. Потому что мы и есть Его плоть, Его волосы, кожа, Его любовь, облеченная в платье, запах цветов, складки ткани, бегущие в ветре. Он не может восстать на нас, потому что мы это — Он. Он не может разрушить любовь — скорее Любовь разрушит Его. Разрушит Его милосердное, премудрое, вечное сердце, потому что закон для этого сердца один — любовь. И не может Он не подчиниться любви.

Но любовь творит неповторимость. Нет другой тебя, нет другого сияния тебя, нет других таких щек, тембра голоса, звука сердца. Любовь говорит: каждая плоть не случайна — единственна. Каждая плоть, каждое колечко на подушечке пальца — бессмертно, бессмертна каждая трещинка от ветра на твоих губах, каждая линия на ладони, каждый шаг по земле, родная моя, вечность моя!

— Ты — преследователь! Но я никогда не пойду за тобой! Я не знаю, кого ты преследуешь, что ты преследуешь! О, я знаю, за кем ты гонишься! И ты будешь гнаться и преследовать, пока не остановит тебя смерть. Потому что несчастье не остановит тебя, потому что болезнь не остановит тебя, потому что женщина не остановит тебя!

Я тоже — преследователь. Но нет во мне той злобы дороги, того неистовства новой пыли под ногами, той радостной обреченности на бесконечный путь, путь без опор. Нет смирения, свойственного верблюду, и нет прыжка, врожденного гепарду. Но главное, главное — ты, догоняя, умираешь и будешь гнаться пока не умрешь, и ты это знаешь — вот в чем твоя непреклонная сила, неодолимая сила, зачаровывающая сила, и она клонит меня на землю, на колени, целовать твои ноги, звезда!

От тебя пахнет скипидаром, на брюках твоих — бахрама, ты отдаешь свои башмаки первому встречному и идешь по тротуару в носках — господи, какое неприличие! — и ты уходишь, и собаки начинают скучать по тебе, но это не все. Ты встречаешь не только нас, живых, но ты встречаешь и тех, кто умер, и ты — преследуешь их, а они тебя.

Ты видишь тот мир, о котором я только мечтаю. И ты преследуешь его.

Ты пишешь скучнейшие и умные рассуждения о том, как сделать людей счастливыми, но главное, что ты преследуешь — Бога.

Никто этого не знает. Все знают, что ты чудак, неврастеник, карикатура на пророка, позер, что — спирт и общаешься с духами, что ты учился магии — но никто не знает, что ты — преследователь.

Зачем ты поливаешь себя скипидаром?

Оставь это право художникам с Монмартра!

Ты пьешь шампанское, а все говорят, что ты аскет!

Не смей быть аскетом — преследуй.

Дети принимают тебя за Бога, а старушки подходят под благословение.

Никого не благословляй, потому что зря расточишь на это мою любовь, — преследуй!

Всю красоту мира и всех его птиц, и собак, и людей, потому что мы все тут — одно.

Преследуй, преследуй, преследуй — свою единственную букву Мирового Алфавита, о которой я тебе тогда нагадала, — себя и Бога и Бога для всех.

Но не в муках, не в экстазе, не в исступлении, а так просто, как дышит ребенок, когда засыпает, как светятся звезды, как растет трава — ибо, преследуя, ты сделаешь все это

доступным, родившимся заново, и лев ляжет рядом с младенцем и никто никого не убьет, когда ты найдешь свою букву, в которой таятся все остальные.

Свою Софию!

Преследуй, любовь моя!

Но я никогда, никогда не пойду за тобой!

И хор, вибрируя, издавая скрежещущие, почти лунные звуки, пропел про то, что последнюю фразу она сказала слишком тихо, так тихо, что он не смог ее различить. Да и к чему ее различать, — пел хор, — к чему скажите на милость, так уж внимательно в нее вслушиваться и серьезно к ней относиться. Потому что если это правда, то он и сам ее знает, а если ложь, то это тоже не имеет значения для того, кому суждено умереть на дороге или близ нее. Умереть счастливым.

История кончена

— Мир вышний, — сказал Владимир Сергеевич, — в котором нет зла и где Сократ не умирает, и мир нижний — недолжный, где беременеют служанки, берут взятки чиновники, люди убивают животных и друг друга, — два берега речки. Через них можно перебросить мост. Чтобы благо и гармония сверху проходили на другой берег. Чтобы нездешняя природа вспоила природу здешнюю, просветлила ее и обожгла. Мост, pont. А тот, кто это сделает, — pontifex.

В воздухе пели комары, один из них кружился вокруг головы философа, пытаясь найти удобное место для приземления, но постоянно натькался то на бороду, то на усы, то на львиную шевелюру. Он уже сел было ему на щеку, но тотчас погиб под мягкой и нежной пощечинной, которую Софья Михайловна сострадательно вленила Владимиру Сергеевичу, разглядев комариные происки, которые созерцала словно отупев или, наоборот, в сильной степени зачарованности.

— И кто же это сделает? — спросила она рассматривая прибитое насекомое на ладони. — Кто этот pontifex?

— Любовь, — сказал Владимир Сергеевич. — Эрот-pontifex.

Она сверкнула византийскими своими глазами — зеленою на серебре — так, что, казалось, в воздухе отозвался звон.

— Но Платон не пошел до конца. Он дошел до Эроса, отменяющего ненужность низшего мира, придающего ему, этому недолжному на первый взгляд миру, безусловную ценность... не просто так, а в связи с любовью к конкретному человеческому существу, которая и заставляет существо это светиться вечным блеском, нездешним светом. Вечное наполняет плоть, и та на этом перекрестке сияет так, что становится драгоценной и неотменяемой. Но Платон словно не видел, что же делать дальше. Он словно ослеп.

— Как вы сегодня.

— Как я сегодня, прелестная Сафо, ослеп для всего, что не является вами...

Владимир Сергеевич глянул на зеленые купы ив, серебрившиеся над речкой от порывов ветерка, и продолжил:

— И лишь Христос, ставший человеком, внес ту дополнительную силу, явился истинным понтификом, мостом, по которому в низший мир вошла действительно преображающая его сила. Мир может быть обожен. А значит, преображен, просветлен, выявлен в своей подлинности. Плоть нужна Богу, Он по ней томится, как томился и в ней. Плоть это тот полусырой материал, который стоит перед любовью как задача — изменения, преображения, возведения ее, плоти, на ступень жизни вечной, победа над смертью.

— Но тогда почему же?

— Что почему же?

— Почему же ничто не преображается? Почему все умирают и становятся глиной — и те, кто любит, и те, кто ненавидит. Я все понимаю и проповеди слушаю с удовольствием. Но почему ничего не происходит? Почему именно на христианской территории мира пролито больше всего крови. Больше, чем в Китае, чем в индейской Америке, чем в Индии и Японии? Разве Магдалина, которую Христос любил, и ученики Его не стали землей и глиной?

— Но еще ничего не кончено. Впереди — воскресение.

— Это я понимаю. Но вот вы, например, видели когда-нибудь любовь бессмертную в нетленном теле?

— Видел, — сказал философ задумчиво. — Только это другое тело.

— А мое тело? — спросила София и посмотрела на философа в упор.

— Ваше?.. — оторопел на миг лишь Владимир Сергеевич, хотел было что-то сказать, гмыкнул, онемел, судорога пробежала наискось по лицу, и он тут же зашелся истерическим смехом с взвизгиванием и икотой на высоких до фистулы нотах.

Она смотрела на него грозно, но потом губы ее медленно дрогнули и поползли в улыбке.

— Мое тело, — повторила она. — Раз вы меня так любите, вы — духовидец и поэт, — может ваша любовь сделать его нетленным, преображенным?

Внезапно он замолчал. Потом сказал: да. Потом снова помолчал и угрюмо добавил: уже сделала, и вы в этом когда-нибудь убедитесь. Как и в том, что моя роль тут не самая главная.

— Как же вас понимать? — задумчиво протянула София Михайловна, глядя под ноги, а скорее на речку в пульсирующих зайчиках, словно ей и не нужно было ответа, словно, произнося эти слова, она уже слышала свой собственный ответ.

Они стояли над водой — розовое платье и темный сюртук, а в реке медленно шевелились от течения водоросли, словно пытаясь что-то нащупать, словно ухватывая и упуская тихие слова, которые были для них отлиты в форму струй воды, колеблющих их, казалось, монотонно, но никогда не повторяя колебания в точности. Текла сквозь водоросли речь-реченька, но не слушали они ее — а ощупывали, перебирали, прикасались вживую, и от этого каждая фраза водяных струй была подлинной и неподдельной.

— Все, что соединяет, — сказал Владимир Сергеевич, — от любви, от Бога. Все, что раздирает, мельчит, умножает — от его противника.

— Так просто?

— Куда уж проще... Но все... все уже почти кончено.

— Что кончено?

— История мира кончена. Неужели вы не чувствуете, что движается? Тот движается.

— Тот?

— Антихрист.

— Как же вы это определили? По каким признакам? От-

кройтесь цыганке. Как собрат по ремеслу, — усмехнулась Софи.

— Сам не знаю. Знаю, что, когдаходишь к морю, его ветер и запах слышны издалека. Так и тут. Двадцатый век — время антихриста. Истории больше некуда развиваться. Христианство не осуществилось. Его попросту нет. Поэтому Европе нечего будет ему противопоставить. Даже у греков было больше сил, когда на них шли персы. Люди начнут просто пожирать друг дружку — миллионами, оказавшись в тупике. Сначала при помощи воинов и техники, потом более тонкими способами — так что сами даже не будут догадываться, что друг друга истребляют. Для этого и убивать физически не понадобится. Возникнет некая всеобщая тонкая форма парализации и закабаления, по сравнению с которой византийская духовная выхолощенность покажется игрушкой. Останется совсем немного христиан. Притом не тех, кто будет все время толковать про Христа да про дело Церкви в мире, — совсем других. Тех, в ком Он будет жив. Иногда жив даже под другим именем, словно бы анонимно.

А София, улыбаясь, подумала, да неужели же он может быть прав, что финал уже рядом? И забавляясь, представила, как это именно мир уже может стоять в своей смерти и в своем конце, словно цветы в воде, — все эти вещи и все эти люди: белое облачко над головой с распушенными с одной стороны краями, речка с медленными зелено-коричневыми водорослями, ива, склоненная с берега, касаясь ветвями тихого течения, он, философ Соловьев, она, София Катенина-Мартынова, жена и мать, и все остальное тоже: паровозы, вокзалы, ипподромы, танцевальные залы, улицы Москвы и Петербурга, голуби в небе, рыбы на дне океана, прибой этого океана с его раковинами, оставленными на берегу, Параша-горничная, у которой должен родиться ребенок, музеи Парижа, музеи Рима, библиотеки Лондона, кузнечик, который трещит не умолкая прямо под ногами, извозчики, снегопад, лодки на Неве и Сене. Неужели для них для всех история может быть кончена и все они, все эти вещи и животные, так и не дождались откровения от сынов человека, так и не дождались, пока засияет огонь, которого так ждал, чтобы он засиял, Иисус? И что же тогда остается сказать — что история кончилась, не осуществившись? Потому

что если огонь любви не просиял, если пламя так и не разгорелось и смерть по-прежнему царит на земле, то все эти чудесные вещи, которыми мы живем в лучшие миги нашей жизни, оказались напрасными. Тогда мы только делаем вид, что живем, надеясь на то, что так и не пришло? Только делаем вид, что мы — люди. Только выдумываем героизм, важность и поэзию, выдумываем высокие чувства — а на самом деле ничего этого нет, потому что с этим некуда будет пойти. Ведь если с лучшим, что было в жизни, некуда пойти, то считай, что этого и не было. И если это так, если пойти действительно некуда, то куда же она пойдет со своей любовью к Владимиру Сергеевичу, со своей любовью к дочерям — Наде и Верочке, со всей ее любовью к жизни, к ее безудержному зеленому и серебряному разливу? А она никуда и не пойдет. Она, пожалуй, посмеется вволю, ну примерно как философ Соловьев, взвизгивая и заходясь, а потом встанет вместе со всеми в смерть по плечи и будет там стоять.

— Куда же вы это, куда? — тревожно крикнул философ, когда она подошла к воде, спрыгнула с крутого бережка в речку и побрела по мелководью, волоча за собой огромный розовый цветок вздувшегося платья. Пройдя с десяток шагов, за каждым из которых течение уносило из-под ног взбаламученный песок и ил, она остановилась, уперла руки в бедра и засмеялась. Сквозь зеленоватую прозрачную воду были видны выше колен ее высокие ноги в розовых чулках. Она запрокинула голову, блеснули белой полоской зубы, и от этого стала похожа на какую-то оперную певицу, какую — он вспомнить не мог.

И тогда, разметав прибрежные заросли крапивы, острекавшись, он прыгнул за ней, поймал за руку и вывел на берег, как она от него ни отбивалась. Оба промокли и задохнулись от борьбы. Владимир Сергеевич постоял словно в раздумье, глядя на ее раздумянившееся лицо, прелестные губы и как вздымалась порывисто грудь, повернулся обратно и снова вошел в воду. Там он остановился и закрыл глаза. Лицо его побледнело, и казалось, что не человек стоит, а дерево, на которое напал снег.

Они

Владимир Сергеевич стоял в речке, и вместо лица у него была развилка с белым снегом, а самого его здесь уже и не было, потому что он был в других местах.

В других местах он встретил странных существ, про которых можно было бы сказать только, что это — они, да и то с большой натяжкой. Друзья философа знали, что время от времени на него «находит» — является непонятная сила и, несмотря на то что тело его остается тут, рядом с нами, душу его эта сила вырывает из тела и уводит в самые разные улицы и проселки трансмировых пространств. Такое с ним могло случиться в гостиной, ресторане, в поезде, иногда на улице, а вот теперь — в речке. И, как уже было сказано, здесь, в речке, стоя телом, сознанием же пропутешествовав далеко, он повстречал существа, про которые можно было сказать лишь то, что это — они. И, повторимся, даже это про них можно было сообщить лишь с большой долей приближенности. Не потому что их «они» было, скажем, в том, что они с нами — «мы», а по совсем другой причине. Скорее, приближенность заключалась в том, что хотя про них и можно было сказать, что они — «они», но точно также можно было, посмотрев на них минуту другую, решить, что это никакие не «они», а «он» или даже «оно». И все же в какие-то моменты своего шевеления про них удобней было высказаться в смысле «они», и поэтому, называя их так, мы не сильно погрешим против истины. Можно сказать, что это был народ существ, хотя тоже непонятно, что такое, например, существо. Почему, скажем, заяц — существо, а капуста, которую он грызет, — нет. Поэтому мы не будем дальше называть их существами, так как они одинаково далеко отстоят и от зайца, и от капусты, и называя их существами, мы рискуем, уточняя смыслы и оттенки, потратить на это все наше время, вместо того чтобы рассказать, что именно увидел Владимир Сергеевич Соловьев, прыгнув в речку телом, а душой в трансбытийные дали.

Они были похожи друг на друга. И это самое главное их определение. Владимир Сергеевич не мог бы точно сказать, каков был их внешний вид, потому что самого этого внешнего вида почти что и не было временами, но зато он ясно

видел, что они похожи друг на дружку как две капли воды, хотя и делают иногда вид, что они разные. Время у них текло, он это видел ясно, хотя бы потому, что они все были в постоянном движении и деятельности, на первый взгляд даже целесообразной, хотя то, что появлялось иногда между ними как результат их одиночных и коллективных усилий, больше всего походило на розовые мыльные шарики крайне небольших размеров — аккуратные и посверкивающие холодным внутренним блеском. Шарики существовали на свете совсем недолго и сразу после этого лопались, что, видимо, доставляло тем, кто их производил, или по крайней мере способствовало их появлению на свет, то ли радость, то ли печаль, а кажется, что и то и другое вместе.

Ничем больше, кроме этих мыльных шариков, они не занимались. Кроме мыльных шариков и войны. Потому что иногда они начинали собираться в группы по несколько сотен тысяч и проявлять нескрываемую враждебность к остальным сотням тысяч, которые сбивались в агрессивные объединения точно такого же толка. Вероятно, им казалось, что они при этом жестикулируют или вооружаются — так, по крайней мере, чувствовали бы себя на их месте какие-нибудь люди, которые хотят затеять или уже затеяли войну. Вероятно, им также могло казаться, что они размахивают копытами или, скажем, автоматами разнообразных марок и калибров, а потом стреляют из них друг в друга, ранят, убивают и выпотрашивают друг из друга кишки и мозги при помощи минометов или, скажем, других устройств — ракет, гранат, луков, пластиковых мин и пожей. Но сказать, что они такое чувствовали, было бы, наверное, сильным преувеличением, потому что — интуитивно Владимир Сергеевич понимал это — такого чувствовать они не могли, потому что не могли. Потому что они, во-первых, не чувствовали боли, а во-вторых, не ощущали ни патриотизма, ни страха.

Тем не менее они явно приходили в возбуждение, всем своим видом выказывая стремление уничтожить тех, которые сгруппировались в другую консолидацию. Временами им это удавалось, и тогда часть из них словно таяла, словно быстро и прямо на глазах смывалась и исчезала. Но смывались они и исчезали вне зависимости от того, вели они войну или нет — процесс этот шел сам по себе, и трудно

было установить, от каких именно действий или сил он зависел. Одно было ясно, что те, кто еще не смылился, пытались, кажется, осознать тот факт, что один из них смылился и его больше среди них нет, но через несколько минут (по их времени) они словно забывали про то, что одного из них больше нет, и продолжали свою жизнь как прежде. То есть продолжали производить крошечные розовые, похожие на мыльные шарики или воевать. Искусств у них никаких не было; не было, вероятно, и религии. Что-то было у них, приблизительно напоминавшее и религию, и искусства, но это что-то еще труднее поддавалось определению, и если выражать ощущение от него на языке свободных ассоциаций, то Владимиру Сергеевичу казалось, что оно похоже на грязный снег, который иногда выковыриваешь из ботинка, и он начинает тут же таять в пальцах и капать на ковер. Причем во время процесса капания они также приходили в то состояние, которое можно было назвать трансом, если бы речь шла о людях, но в их случае это выражалось по-другому, с каким-то ментолово-мятным оттенком и словно запахом хорошего зубокабинета.

Они также путешествовали, но это не главное ощущение, которое поразило Владимира Сергеевича. А главным было то, что они словно все время пытались ощупать самих себя, словно бы установить ту свою форму, которая была им присуща, но у них ничего не выходило. Не получалось же у них не потому, что их форма была какая-нибудь газообразная или эфирная, а совсем по другой причине. Было похоже, что они думают, что у них есть, чем ощупывать себя, а у них этого не было. И в результате этих тщетных усилий по самоопределению своей собственной формы они все больше начинали напоминать либо инвалида, которому оторвало руки и ноги (однажды он видел такого на Балканах), либо язык, розовый и толстый, которому хотелось бы себя самого ощупать, но для этого у него не было никаких возможностей.

Вот в силу-то этого весьма субъективного наблюдения Владимир Сергеевич и решил, что если уж их как-то надо называть, то уместней всего было бы называть их «языки». Хотя, конечно же, он прекрасно сознавал, что никаких языков тут нет и речь о языках можно вести с крайней степенью приближенности, а вернее, удаленности от описываемого

предмета. И все же, когда они начинали соприкасаться, временами казалось, что они испытывают что-то вроде муки, потому что иногда они хотели нащупать не только свои внешние очертания, но и очертания соседа. И тогда, словно бы испытывая непереносимые страдания, они начинали выделывать из бока, подобно амебе, некий живой отросток, похожий по форме на застывший потек парафиновой свечи.

Иногда они формировали такие беснальные потеки одновременно, и тогда могло показаться, что они хотят обнять друг друга и прижаться друг к другу. Но беснальные потеки существовали тоже всего несколько секунд и потом исчезали, а они продолжали воевать или производить розовые мыльные шарики.

Лидеров у них не было — лидером их была среда обитания, она же — жизненно необходимая полусубстанция. Свое лидерство она осуществляла тем, что простиралась бесконечно далеко во все стороны и никогда не смыливалась, в отличие от них. Они же словно ее не замечали и продолжали существование как и прежде, потому что ее заметить можно было бы, только заглянув за ее край, а края-то как раз у нее и не было. Внезапно Владимир Сергеевич увидел тайным образом, что у них была возможность выйти из среды обитания, из-под власти лидера. Для этого надо было переменить вектор действий и начать путь внутрь себя, внутрь того, что у людей называется душа, потому что там был выход из бесконечной протяженности Лидера-среды, но он не заметил, чтобы хоть один из них им воспользовался. И тут он понял, что они давно знали об этом выходе — откуда, непонятно, — но никто из них не хотел ничего менять, потому что такого желания у них просто не было. Он посмотрел, чтобы определить, сколько же всего этих существ тут перед ним, и увидел, что их — бесконечное множество. Сколько он ни всматривался вдаль, горизонт, делаясь все более удаленным и прозрачным, демонстрировал все то же роение и кипячение безруких «их», которых, выявленных в таких количествах, хотелось назвать — «им», как, например, многие капли воды уже не капли, а океан, и Владимир Сергеевич подумал, а что если они не сами по себе, но создают все вместе некое весьма осмысленное существо, огромное и могучее. То есть то, что он принимал за неких приблизительных субъектов, — что

если это никакие не субъекты, а лишь микроскопический фрагмент огромного существа, которое, скажем, вполне занимает свое сформированное и таинственное положение в еще более огромном мире. Это существо одинаково могло быть, скажем, зверем, или, скажем, птицей, или, например, Драконом.

И тогда захолонуло ему сердце, потому что он понял — кто же именно находится перед ним и из какого материала этот чудовищный Зверь состоит и сформирован. И почувствовал он непреодолимую и безразмерную власть и силу этого Зверя, его черную ужасающую сущность, уходящую вниз на миллионы лет и пространств и ввысь — без края. И понял он, что перед ним сила Смерти, равной которой ничего нет на свете, и закричал как ребенок, от детского отчаянного ужаса, пытаясь выкарабкаться из своего трансфизического путешествия, для того чтобы глотнуть другого воздуха, а не этого, повитого удушьем и холодом, — солнечного, ясного, который должен же где-то быть, как он помнил, но выбрать-ся все не мог и потому кричал изо всех сил, не останавливаясь, хватая остатки тяжелого воздуха, грозящего затопить его бытие как ничтожную каплю, а когда вдруг выбрался и очнулся, обнаружил себя по-прежнему стоящим посреди речки, а рядом и вокруг стояла розовая заря, из которой тихо выросли белые руки и, сцепившись в отвороты сюртука, трясли его изо всех сил, а заря спрашивала на своем милосердном и светлом языке: «Что с вами, дорогой мой? Что с вами? Очнитесь!»

К выпавшей букве мира

Она взяла его под руку и повела, как больного, к берегу. Он шел неуверенно, шатко, волоча ноги по мелководью и спотыкаясь, но руки Софии оказались неожиданно сильными и источавшими материнскую власть вместе с теплом. Бурый след поднятого ила тянулся за ними, но сразу же искривлялся, загибаясь хвостом под напором течения, несшего его глиняно-бурый шлейф вниз, к повороту за зеленый холм берега. Они выбрались на побережье, и тут он вовсе обмяк, задохнулся, и она почти на руках донесла его вместе

с подворачивающимися его ногами в липких серых брюках и тяжелых английских башмаках до тоненькой осины и там опустила на землю. Осинка задрожала, накренилась, но выдержала — так он и полусидел, полулежал, опираясь своим костлявым хребтом на ее ствол и выбросив ноги вперед.

— Что это с вами, что же это такое? — повторяла София, заглядывая тревожно ему в лицо, а он смотрел на нее погашенной синью глаз и смотрел не на нее, а вовсе мимо, насквозь, и тогда она то ли от страха за себя, за свою еще молодую, но такую стремительную и проходящую жизнь, прижалась внезапно губами к его лбу, щекам и стала целовать их, словно заговаривая все то огромное и невидимое, что пришло сюда, чтобы ее разрушить, отнять ее у детей, мужа и жизни, как сейчас отнимало вот этого нелепого, умного и непредсказуемого человека, который так некрасиво простерся, разбросав ноги в сторону: не хватало здесь только бискайца, который сиби бедного рыцаря Кихота палкой на землю, — мелькнуло в ее быстром и ясном уме и даже хохотнуло что-то внутри, — но вновь забрался в сердце страх перед силой, сбросившей Владимира Сергеевича в прах, и она все быстрее, все суеверней продолжала покрывать его бледное и мокрое от пота лицо поцелуями.

— Я видел, из чего он состоит, — сказал тихо философ.

— Кто-кто? Да о чем вы?

— Зверь...

— Что «зверь»?

— Он из нас состоит. Из человечины, из наших душ состоит...

— Хорошо, хорошо. Ты только смотри на меня, смотри на меня и не закрывай глаз, не смей закрывать глаза! — Она уже кричала на него как разгневанная мать на несмышленное свое чадо.

— Мы — его тело. Я так и знал, — хрипел неразборчиво Соловьев. — Мы его питаем, наши страхи, злоба, ревность. Они, они — его тело. Его мощь — это мы. Мы сами себя уничтожаем, его создавая. Я говорил, говорил, что крест и меч — одно. Отсекать, отсекай как бритвой. — Тут глаза его совсем погасли, из бледно-васильковых с опалом превратившись в две мутных пуговицы, которые вот-вот грозили соскочить с разболтавшихся до бахромы от долгой носки ниток. На

минуту они снова зажглись, и он просипел: — Целуй меня, радость моя, целуй меня, ласка ненаглядная, невеста моя... Как же хорошо, Господи... — И тут ниточки совсем оборвались и глаза исчезли, оставив вместо себя две слезы, выкатившихся на щеки.

— Ну хорошо же, хорошо, — злобно задыхаясь, пробормотала она, и пышная прическа ее полыхнула огнем от солнечного луча как стог сена. — Хорошо же...

Она бережно прислонила его голову к стволу осинки и вскочила на ноги. Посмотрела на него сужившимися от гнева и силы глазами и побежала к дому за помощью, задрав липнувшее и мешающее бежать розовое платье выше колен.

А Владимир Сергеевич лежал, обмякнув и как бы вне своего тела расположив глаза и мысли, и созерцал ряд картинок, которые сначала вовсю его мучили и уничтожали, а потом стали более прозрачными и милосердными — мелькнули пожелтевшие страницы книги «*Caballa denudate*» — сочинение барона Христиана Кнорра фон Розенрота, которые он так тщательно изучал в пустом зале библиотеки Британского музея в семьдесят пятом году, как раз в тот день, когда к нему пришла его Возлюбленная София, опять озарилась тьма его глаз, как тогда, и вновь увидел он Ее божественное лицо, о котором говорить на людском языке столь же бесполезно, как подковой ловить мотылька, — озарилась родная Красота мира и его Душа, просветила насквозь мирами, переставшими быть злыми в свете ее изумрудных очей, просветила светочами душ людских — каждого человека, до единого, из когда-либо приходивших в мир, светочами, утратившими злобу, ревность и страх в ее сиянии, в теплом струении, в ее васильках, маргаритках, сотканных из любви, как деревенское платье из хлопка.

Просветила, позвала за собой в Египет, сказав: иди, я жду... а никого не было в библиотеке, все уже разошлось, и он тогда встал, пошел домой и написал письмо родителям, что переменяет все свои планы и едет в Египет для изучения арабского языка — не писать же им, что на встречу с единственной своей Возлюбленной, которую ни обнять, ни поцеловать, но — больше, больше. Потому что объятия и поцелуи это только бледная тень взаимопроникновения красоты в красоту в божественном единении тайного брака с Небесной Возлюблен-

ной. И на второй день он уехал в Египет, зайдя предварительно в лавку к антиквару, где стояли страшлища да вазы, и он еще, помнится, купил там веер с драконом...

Потом мелькнули, пошли перед глазами — петербургский снежок у консерватории над мостом с четырьмя грифонами в мокром морозном ветре с залива, извозчики на Литейном, кони Клодта над речкой с однообразными розовыми и желтыми домами по берегам, вслед за чем-то — московский особняк с белыми плоскими колоннами, потом все, словно нарисованное на скатерти, сдернулось вместе со скатертью, исчезло и проступили из тумана холмы, море и город. А рядом с городом — огромная постройка, слегка заваливающаяся набок, громоздящаяся ярусом к ярусу под самое небо, цепляющаяся кирпичной вершиной за облака, а у подножия Башни расположились маленькие, как кузнечики, кораблики со спущенными парусами, покачивающиеся у пристани, выбегающей в голубое море от основания колосса.



А он уже входил во ворота одного из ярусов — не то чтобы он хотел войти или сделал какое движение, приведшее его туда, но так само сделалось, что он там оказался, как только

подумал о том, что должен быть вход в башню. Как подумал, так и оказался внутри, словно занесенный туда сквозняком, как это часто бывает во снах, — входил во врата одного из ярусов и оглядывался там в поисках новых картин и впечатлений, но не было их там, только слышалось снаружи шлепанье раствора, слетавшего с мастерков строителей и неряшливо ploхоающего на камни. А внутри — никого, ничего.

Теперь шел он по коридорам, темным, замусоренным и покрытым пылью и голубиным пометом, шел долго, никого не встречая, пока за углом не раздался шорох и не запел тоненький девический голосок.

За поворотом стояла девочка, одетая в хлопковую рубашку, вытканную васильками и маргаритками, и пела, запрокинув бледное личико, на котором колыхались, словно две лужицы серебряной ртути, глаза, как это бывает, когда плоской деревянной планкой с пузырьком в стекле строитель устанавливает строгую горизонталь, а пузырек ходит в стеклянной трубочке сам по себе, не завися от твоего взгляда и от силы земного притяжения, но движась согласно строгим внутренним импульсам, и от этого весь дом медленно раскачивается и ходит ходуном начиная со стен и мебели в комнате и заканчивая всем домом сразу и деревьями во дворе, и холмом напротив, и горизонтом с лесом, так, что это передается звездам в небе, и они тоже начинают раскачиваться от этого крошечного, но непреодолимого прицеливания живого пузырька в стеклянной трубочке. И с девичьими глазами происходило все именно так.

Так, что сначала закачались, что ли, стены, а потом и вся, кажется, башня, и Владимир Сергеевич почувствовал, что теряет равновесие, словно стоя на палубе судна в сильную качку, но тут девочка запела. И сразу же утихла качка и башня перестала качаться, и больше не было слышно отвратительных жидких шлепков цементного раствора, а только то, что она пела, потому что такова была сила этой песни, впрочем, совершенно бесплотной, и он даже не был уверен, что песню эту кто-то кроме него самого слышит — но такова была ее восходящая и отнимающая сила, что девочка стала на глазах терять свою плотность, и так-то не очень явную, стала выцветать, теряться в несомненности, облетели с пла-

тя маргаритки и васильки, само оно стало стеклянным, а у голоса словно прибавилось пространства и жизни, будто побежала в нем кровь, нужная для произрастания всего мира, для питания его и роста, помимо башни, а только силой музыки.

И вот когда совсем исчезла она в музыке, как в стекле, то стала мелодия сгущаться, завихряться вокруг собственного центра, и вот снова показалась девочка в маргаритках и васильках. Но уже то были не васильки и маргаритки — но живые звезды, сияющие на роскошном ангельском наряде, прорезанном отточенными как бритва двумя розовыми крыльями, но личико девочки, впрочем, не изменилось — деревенское такое же личико с обветренными розовыми губками и голубыми глазами, ходящими направо и налево, как пузырик в стеклянной трубочке.

И музыка ходила и раскачивала стены, слинаясь в фигуры девочки и рассыпаясь обратно в ничто, в бестелесность, хотя два раза словно по ошибке собралась один раз в единорога, а второй — в какого-то мужика с усами, бородкой, в берете и надписью «Че» на нижней рубахе, но потом словно волна отлива за волной прилива, отхлынув, оставляла на берегу себя только девочку со звездами, которая с каждым воплощением, с каждым откатом волны звуков оказывалась и обнаруживала себя на анфиладу дальше от него, и он как замороженный следовал за ней. Он знал, куда она ведет его. К выпавшей букве мира.



Серебристый коридор

Потом в одном из глухих коридоров пробежала пара волков, голодных, остервенелых, с желтыми оскаленными зубами, и сразу запахло снегом. На путника они только покосились желтыми узкими глазами и сразу же исчезли за поворотом. Он шел за девочкой, и она все это время то появлялась, то снова исчезала, а то и мерещилась ему существующей только в его воображении, и тогда он вспоминал, что и сама баншня-то существует в основном только в его воображении, но если это и так, то реальность ее от этого — он знал — нисколько не уменьшается. Поэзия и воображение смеются над плоской земной реальностью, будучи сами отсветом реальности высшей, он всегда это видел и понимал звук и цену их смеха.

Несколько раз он видел рядом с исчезающей девочкой еще одну, неисчезающую, необычно красивую и столь же необычно одетую — коротенькие штанишки, похожие на белье, оставляли ее загорелые ноги обнаженными, а плечи и грудь девочки обтягивала короткая, не доходившая до пояса голубая блузка с надписью «My world». У девочки были полные губы, смуглая от загара кожа и вьющиеся волосы. И тут он понял, что она ищет тут не кого-то, а именно его, Владимира Сергеевича Соловьева, но пока что увидеть его не может, но обязательно увидит на каком-то другом повороте лабиринта. И самого лабиринта она пока что тоже не видела, а видела — и это отражалось у нее в глазах так ясно, как на фотографической открытке, — какой-то курортный город с синим морем, побережьем в гальке и яхтами у берега. Через плечо у девочки была перекинута сумка на длинном ремне, из сумки торчала тетрадка, и теперь они шли вместе по серой пыли, устилавшей дно длинного коридора, походившего большее на тоннель, на те из них, через которые он ездил на поезде, путешествуя из Франции в Италию и проезжая сквозь Альпы. Потом она свернула в боковой коридор, освещенный сверху стеклянными лампами-блинами, и он машинально свернул за ней.

Впрочем, слово «машинально» тут не подходит — его сознание светило гораздо ярче света из светильников-блинов под потолком, и все, что происходило вокруг, хоть отчасти

и не было похоже на вещи низшего мира с их убедительно тупыми, резкими и ограниченными формами, которые он старался игнорировать, в чем ему вольно или невольно помогала сильно прогрессирующая близорукость, — тем не менее воспринималось им как бы в вещем сиянии, исходящем вместе и от его глаз, и от тех вещей, на которые он смотрел, — все было ярко, глубоко, весомо и важно. Причем он не старался придать важность видимому, но чем меньше он обращал на него внимания — на волков, на поющую девочку и вторую, в неприличных штанишках, на стеклянные светящиеся блины над головой, — тем они становились непреодолимы в своем сиятельном бытии и тихом значении, тем сильнее они очаровывали его. И не потому, что было в них что-то особенное, а потому что ничего в них не было особенного, но были они таковы, как им и положено от начала быть, когда предметы еще не распались на сам предмет и слово о нем, в результате чего вещи стали грубыми, а слова необязательными.

Они были — нераспавшимися предметами, хотя некоторая их порча уже намечалась — он теперь явственно мог это видеть. И по мере того как поднимались по крутой лестнице с перилами, покрытыми непонятным зеленым материалом, а кое-где и вовсе прохуdivшимися до железа, трата и порча обозначались все явственней, и уже становилось ясно, что гармония вещи-слова длилась совсем недолго и вот теперь начала разрушаться. Поющая девочка, словно остекленев, тихо хохотнула и свернула в какую-то дверь или прошла насквозь стенку, он не успел разобрать, а пока разбирал, потерял и вторую — она тоже куда-то подевалась, а перед ним оказалась железная дверь с кнопкой звонка, на которую он надавил, и она отозвалась нестерпимо громким и грубым звоном внутри. Дверь открылась, и напротив него оказалась старуха в великоватой кофте, толстой, негнущейся юбке коричневого цвета и со школьной тетрадкой в руках. Черные с редкой сединой волосы ее были небрежно уложены, а на носу наискось посверкивали в желтом электрическом свете очки с перебинтованной клейкой лентой дужкой. «Вы к кому, — спросила она, — к Зое? — Она отвернулась и закричала в длинный коридор, который оказался у нее за спиной: — Зоя, к тебе пришли!»

Причем когда она произносила «Зоя», он знал, что на самом деле здесь это имя означает Поликсена. Так часто бывает во снах, когда, несмотря на то что видишь одно, совершенно ясно знаешь, что это одно и есть совсем другое, то самое, которое в это «одно» сейчас уж непонятно для чего и с какой целью одето, впрочем, во сне никому в голову не приходит задаваться вопросом, почему это так, а не иначе, ибо во снах нет этого вопроса, а есть серьезная и безусловная констатация того, что оно — так. Что все ОНО — ТАК. Одним словом, женщина в очках, вызывая из глубин коридора Зою, на самом деле оповещала о том, что к ней пришли, Поликсену его, Владимира Сергеевича Соловьева, мать. Он уже собирался отправиться по коридору, освещенному каким-то неприятным белым светом, дальше, чтобы отыскать Зою, Поликсену Владимировну, но женщина в очках преградила ему путь и заставила сесть на жесткий стул, поставленный здесь же у дверей.

«Что принесли?» — спросила она, раскрывая тетрадку, тщательно расчерченную карандашом изнутри на квадратики, заполненные детским почерком. — Как всегда — напитки и шоколад? — улыbnулась она сосредоточенно и на него не глядя. — Вот здесь расшпишитесь! Зоя!!! — заорала она в серебряный свет коридора. — Приведите Зою, к ней сын пришел». Он расписался в карандашном квадратики и выпрямился, вглядываясь. Из серебра постепенно выгнулись три тетки, причем две, преданно уставившись ему в глаза, держали по бокам за руки третью, которая испуганно и мучительно вглядывалась в него, но и не в него даже, а словно в собственную память, которая все время ускользала, чтобы сравнить ускользающую картинку с тем, на что ей показывали ее подружки, две тетки, тыча пальцами в его долговизую и нескладную фигуру, застывшую рядом с дверью: «Вот же твой сын, вот он, вот же он! Он у тебя добрый, Зоя, добрый твой сыночек, снова к тебе пришел, он добрый сыночек».

Тут он пошел к ней навстречу, поняв, что привели его мать, тетки расступились, и она осталась одна посередине, под светом электрической лампы, растерянная, стараящаяся не подавать виду, что не понимает, что происходит, — она внимательно и даже строго глядела на Владимира Сер-

геевича, как когда-то в детстве, когда его шалости заходили за границы дозволенного, и он ощутил знакомую детскую оторопь и даже легкий страх наказания, но в тот же миг разглядел отчаяние в ее глазах и желание любой ценой спрятать подальше свою беспомощность, чтобы это никому не мешало и не вызывало никаких лишних дополнительных вопросов.

Он пошел к ней навстречу, чувствуя, как запрыгали и задрожали его губы, сделал два крупных шага, один короче другого, задыхаясь от тоски и несправедливости происходящего, от жуткой его непоправимости, про которую знал всегда, но ни разу себе в этом прежде не признался, обнял Зою-Поликсену за плечи, ощутив птичью невесомость всего ее высохшего тельца и сказал: «Ма-ма». Он видел, что она так и не узнала его, но явно поняла, что пришел кто-то свой, хороший, родной, расслабилась и даже светски улыбнулась. «Я рада, — сказала она, — рада, что вы пришли».

«Мама, это я, Володя!» — сказал он, чувствуя, как нехорошо, томно и тошно ему становится. И когда он произносил свое имя, ему почудилось, что, может быть, он не так, неправильно его выговаривает, что если бы он выговорил его правильно, чуть-чуть иначе, то Поликсена Владимировна могла бы сразу же его узнать, и тогда все сложилось бы не столь пагубным и отчаянным образом, а совсем по-другому. И тогда он подумал, что как бы ему выговорить это свое собственное имя, которое она же ему и нарекла, так, как надо, чтобы она, нарекая ему это имя, его, это имя, расслышала как надо и узнала, как оно есть на самом деле. И тогда он вдруг понял, что надо назвать себя не Володей, а французским именем музыкального инструмента, ставшего совершенно обыкновенным русским, оттого что им пользуются на улицах Петербурга и Москвы бедные музыканты, устанавливая его на длинной ноге где-нибудь не в самой середине, а чуть с краю питерского двора-колодца, и накручивая ручку, извлекают из его недр преимущественно жалобные и поскуливающие ноты, терзающие печалью сердце всякого русского человека, глянувшего из окна, чтобы кинуть пару монет вниз, терзающие непонятно чем — то ли тем, что жизнь прошла, то ли тем, что она вся еще расположилась в неведомом впереди, а то ли и тем еще, что музыки всегда

недостает озабоченному непонятно чем сердцу, словом — терзающие, особенно ежели этот концерт происходит в снегопад и белые хлопья, кружась и завиваясь, спускаются с самого неба, чтобы убелить картуз музыканта, или в ноябрьскую слякоть, когда так все сыро вокруг и промозгло, что не верится про хоть какую-то жизнь, связанную с музыкой, а тут она как мертвый ангел сама встает со дна колодца и заглядывает в окна.



И хотя когда он произнес наконец свое имя правильно, она словно все равно его не узнала, но теперь он видел, что души их соединились и это не так важно, что снаружи Зоя его не узнает, потому что теперь этого им было не нужно — внешняя застенчивая угловатость, внешний непреложный интерес отступили, и теперь можно было говорить друг с

другом без лишних слов, а просто сердцем к сердцу, изнутри тишины. Но он знал также, что тишина в Башне невозможна, что если она и появилась, и обнаружилась ненадолго, объединяя их две жизни в одну, то здесь это непростительное чудо, за которое вскоре придется дать отчет тем, кто эту башню возводит, — тем же самым обыкновенным людям, но утратившим себя так, что они этого даже не заметили, и думают, что вовсе ничего не утратили.



И он понял, что те старухи, которые сейчас бессмысленно и не понимая большинства слов и никакой логики событий, бродят по серебристому коридору с угасшими своими рассудками или, усевшись на диван, смотрят на изображения, прыгающие на стеклянном экране какого-то ящика, что все они — есть только самое явное следствие законов башни, в то время когда есть еще и более тонкое их, законов, проявление. Он понял, что сами строители, все их корабли, подвозящие к ее подножью каменные блоки, песок и скалы — все те же плавно танцующие в мягком безумии музыки — старухи, несмотря на то что изо всех сил стараются быть и выглядеть деловыми, собранными и разумными. Но он-то видит, что Башня отобрала у них первые имена вещей и их собственные имена вместе с жизнью, а оставила всего лишь их имитацию.

И вот они заглядывают в чертежи, громоздят исполнские ярус за ярусом, прорывают ходы и останавливают времена, устраивают показы мод, кулачные бои, университеты, фирмы, массажные кабинеты, разрабатывают и применяют hi-tech технологии, генную инженерию, клонирование, микрохирургию, зачатие в пробирках, пишут миллионы книг и высокопарно избирают президентов, сцепляются

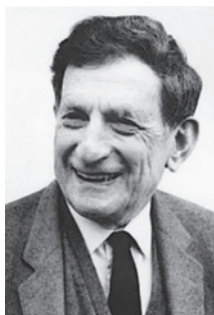
на смерть и несерьезно в телевизионных петушиных боях, заказывают друг друга, подчиняются нефти, а не совести, мчатся в «Аскар» и «Астонах-Мартинах», бросают сотни жизней на съедение мегаполисам, отрывивающим и переваривающим их в виде огромных загородных кладбищ, разбирая все больше тела на донорские органы, выбрасывая их бывшие формы через трубы крематориев, в то время как — еще живые — они по-прежнему едут обслужить клиента петтингом, фистингом, оралом и аналом, в то время пока они — еще бодрые — совершенствуют предвыборные технологии, уничтожают леса, спаивают и спиваются, наполняют наркологические больницы, но по-прежнему громоздят все новые ярусы Той, что лишила их девственности смысла, как пьяный не в себе мальчик пьяную не в себе девочку, — всё это, всё — они производят и осуществляют, оставаясь на самом деле безумными, робкими и тихими старухами в больничных обносках, обреченными к умиранию, утратившими язык и связь с жизнью, но если повезет, то находящими себя, время от времени, в объятиях своих беспомощных сыновей.

Он, Владимир Сергеевич Соловьев, одно время был Мессией и основателем новой мировой религии. В него верили и от него ждали чудес и свершений. И он был готов к ним. И вот теперь он стоял, обнимая безумную мать-старуху по имени Зоя-Поликсена, и не был в состоянии возратить ей разум и речь.

Клубок веревки

Если представить себе Вавилонскую башню в виде объекта, — пели музыканты на сцене, в то время пока Владимир Сергеевич выбирался, оглядываясь на стоящую вновь в окружении двух сумасшедших подружек Зою-Поликсену, выбирался сквозь железную дверь в коридор, оглядываясь, как уже сказано, на трех сумасшедших старух, замерших посреди коридора в серебряном сухом свете, выбирался через в заклепках дверь в другой коридор, поминутно оборачиваясь, и на лице его были размазаны слезы, а он все глядел назад, и от этого текли новые, — так вот, если пока все это

происходит, — пел музыкант хора, — если пока все это происходит, представить себе Вавилонскую башню в виде мотка веревки... Здесь музыкант на сцене, осененной японской сосной, изображенной на заднике, сделал паузу и испустил несколько рыкающих как лев гласных звуков, после чего продолжил: ...как в свое время это предложил проделать Дэвид Бом, физик, выдвинувший идею о существовании во Вселенной двух порядков — явного и скрытого... и снова певец зарычал и засвистел, то поднимая голос к холодным марсианским чириканьям и посвистываниям, то нисходя в холод же допотопного лунного рычания, а потом продолжил снова свое пульсирующее как ртуть повествование, ничего



не имеющее общего с теми буквами, в которых о нем тут говорится, но в которых тем не менее странным образом содержится все что ни пожелаешь, а в данном случае — содержится это рычание с Луны и посвист с Марса и одновременно из гулкой утробы, заледеневшей на пути к горлу самого певца. Дэвид Бом, физик, осмысляя поведение субатомных частиц, обладающих «нелокальными» качествами — возможностью синхронного поведения, несмотря на огромные расстояния, разделяющие их — он, Дэвид, предложил использовать образ чернильного пятна на клубке спутанной бечевки. Некогда оно было видно отчетливо — имело форму, края и размеры, было — одним, было рисунком. Но когда клубок размотали, форму пятна стало невозможно разглядеть, потому что разрозненные и мелкие чернильные пятнышки находятся теперь на большом расстоянии друг от друга. Так вот, говорит физик Бом, мы можем представить

себе видимый мир как распущенный клубок, а «скрытый порядок» как исчезнувшее из зрения пятно. Можно попытаться снова смотать клубок, чтобы восстановить пятно, хотя это невероятно трудно, но... Но в любом случае исследователь и преследователь «скрытого порядка» должен отождествить себя с пятном, а не с распутанным клубком бечевы. Если, конечно, собирается преуспеть в поиске.

Поэтому, — пел хор, пока Владимир Сергеевич шел по коридору, оказавшемуся внутри «чернильного пятна» и там, внутри «скрытого порядка», пересекавшему сцену, — пока Владимир Сергеевич, являясь (внутри пятна) одним с этой сценой и музыкантами на ней, и инструментами, и традиционной вечнозеленой японской сосной на заднике под легкой скошенной крышей, тогда как вне этого пятна он давно уже лежал на кладбище Новодевичьего рядом с сестрой Поликсеной, где с ним на земле уже ничего не происходило, — поэтому, — пел хор, пока актер театра в маске философа (он же живой Соловьев) шел по коридору в поисках поющей и исчезающей девочки и вот вошел в комнату, где были собраны все магические истории мира, — поэтому, — пел хор, — Вавилонскую башню можно себе представить в качестве смыслоносителя особого рода. Скрытый смысл, который до сих пор чувствуют чистые сердцем и дети и который некогда, как мы уже пели, был явен и прост, наподобие простого чернильного пятна, похожего очертанием, скажем, ну на Европу с Ближним Востоком, однажды был утрачен в силу того, что веревка смыслов приняла иное положение — вытянутое. А строители башни, которые были строителями башни, сматывая клубок обратно, для того чтобы вложить основной смысл в башню, иначе какая же башня удержится, без смысла, — сматывая клубок обратно, не смогли, естественно, восстановить его в первоначальном виде, потому что сделать это можно, лишь провидя тайным образом само пятно, для обыкновенных глаз безвозвратно утраченное. Строителям удалось восстановить смысл лишь отчасти. Поэтому остатки «скрытого порядка», или первоначальной гармонии, перепутались по всем ходам и ярусам башни таким образом, что несоместимое стало совмещаться, причем в небывалых прежде пропорциях и формах, которые с тех пор не то чтобы стали удобными или привычными, а просто-на-

просто, дабы избежать дальнейших трудностей социального и политического характера, были объявлены нормой, что и отразилось на содержании написанных с тех самых пор законов и книг, а также на устройстве городов, способах лечения, формах брачных союзов, стиле философствования, покроях платьев, особенностях ухаживания и любви, а также на протяженности циклических периодов войн и мод.

Местами чернильные пятна прилегли друг к дружке удачно, и тогда это уже были не просто пятна, а намек на сверхмерную тайну, на чудесное событие, которое мудрецы башни заносили в свои причудливые каталоги, называвшиеся здесь богословскими и философскими трактатами, а также существовавшие в виде малочисленной кучки некоторых художественных произведений особого гессеанского или, скажем, борхесовского толка. Но чаще они отстояли друг от друга столь далеко, что лишь поэту или ясновидцу удавалось разглядеть в бабочке, например, мелькающей над цветком, явного проводника к основному смыслу, с первоначальному пятну, к бесшумному и бесцветному Истоку смыслов. Разглядеть ключ к глубине мира. Но таких поэтов и таких ясновидцев с каждым веком рождалось все меньше, а с наступлением века Гусеницы, потребляющего и извергающего, иначе известного под именем века общества массового потребления, они и вовсе перевелись, а те, что остались, нанизывали отдельные звуки на отдельные обрывки музыки, не замечая ни таинственной формы начального пятна, ни того, что сами они давно уже были нанизаны на лески театрального устройства нового мира.

Итак, утраченное пятно...

А теперь представим себе, что вместо пятна было задействовано основное Слово мира, самое первое, этот мир порождающее, его, мира, имя. Представим себе, что с тех самых пор основные буквы имени мира, основные его живые энергии и силы оказались разбросаны как попало, хотя и продолжают образовывать ИМЯ до сих пор, но только уже в качестве «скрытого порядка», «чернильного пятна», в котором история и жизнь Владимира Сергеевича Соловьева и вечно идущая пьеса театра Но — одно, а также одним с ними являются (разумеется, внутри основного Имени) и другие магические истории — о царе Эдине, например, или о Кагэ-

киё, или, скажем, о шекспировской Марине, также нашедшей отца, сначала «слепого», потом прозревшего. И теперь то, что было одним, стало многим, но что было когда-то одно, все равно чувствуется сердцем, и поэтому столько в даже разрозненном мире родственных вещей и предметов, которые, кажется, желают только одного — приблизиться, слиться и восстановить свое изначальное родство, свою единую простоту. И неважно пьеса ли стремится слиться с другой пьесой, бабочка ли с синевой неба, или мужчина с совершенно незнакомой до сих пор ему женщиной.

Так вот, клубок этот разматался в силу того и потому только, что для того, чтобы «пятно» и ИМЯ оставались наглядными и живыми, за ними нужен был уход. И если такового не оказывалось и не происходило, то любая буква ИМЕНИ нас с вами и нашего мира могла начать слабеть, как не поливаемое вовремя растение. И это не в силу нелености замысла и нежизнестойкости имени, а как раз наоборот.

Буква ослабевала как растение только потому, что в этом имени соединялись мы в быту, в качестве матросов, кухарок, дворников, ружейных мастеров, вышибал, сенаторов, безработных, охранников, ювелиров, сутенеров и поваров... стоп! — и соединялись мы же, но уже не те, которые в быту, что начинается с рождения и кончается через ряд лет, полных путаницы, недоумений, горьких обид и краткосрочных побед, кончается смертью... — а в ангельском и больше чем ангельском своем, я бы даже пропел, — в Божественном своем состоянии, в котором испытывший его хоть раз понимает, что никогда не было времени, когда его, испытывшего его хоть раз, это состояние, не было бы. И что в силу этого знания и опыта и во время его — никогда не будет такого времени, что его, испытывшего названное состояние, — не будет. То есть испытывший это состояние, скажем, адмирал, скажем, Балтики или официант, скажем, «Националя» воспринимает отныне себя как существо безначальное и бесконечное.

Это имя дарило и осуществляло наше знание о себе как о существах двойных планов и модусов — бесконечно-конечных и безначально-предельных. И когда Афанасий Великий, восстанавливая очертания «скрытого пятна» и Имени, однажды выразился о воплощении Христовом в том смысле

ле, что «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом», он имел в виду как раз это утраченное в распутанном и вновь запутанном клубке знание. О том, что человек не только повар, лифтер, электрик или охранник, но еще и Бог. Как это совместить? — спросите вы. Не спрашивайте — совмещайте. Как Владимир Соловьев или тот из вас, что подаст нищему, вместо того чтобы, скажем, пройти мимо и плюнуть в душе и выmaterить притворщика.

Яндекс



Так вот, теперь, наверное, уже ясно, что охрана Богочеловеческого имени есть дело не только Божье, но прежде всего Богочеловеческое. То есть действия по сохранению Имени разведены между Богом и человеком — предполагалось, что каждый сделает свою часть работы или сотворит свое творение. И никогда до конца не сможет сохранить Бог того, на что человек махнул рукой или предал забвению, хотя и здесь хочется верить в нелогичное чудо — что сможет. Непонятно, правда, как всегда, когда про Бога, про которого ничего никогда непонятно, каким, собственно, образом, но, будем верить, что — сможет.

И все же. Если Бог сотворил растение, а человек посадил его у себя на подоконнике и не поливает, то оно заглохнет. Это понятно. Так вот, одну из букв люди забыли поливать, и пятно вместе с миром распалось, разложилось, сложилось снова, совсем запуталось и переплелось заново, и для того,

чтобы его — а вместе с ним и весь мир с адмиралами, полинезийскими почтальонами и миланскими жуликами-таксистами — для того, чтобы его, этот мир, восстановить, и нужен был людям и Богу такой человек, как Владимир Сергеевич, и не он только один.



Поэтому немудрено, что, лежа сейчас под осинкой на берегу речки Клязьмы, как мы выразились бы, в отключке, он тем временем одновременно невидимым образом блуждает внутри Вавилонской башни в поисках какой-то буквы, которая для большинства населения Земли ничего не значит, плюнуть бы на нее, да и забыть, но пока им, большинству населения, все равно страшно мучиться от одиночества, или, скажем, предательства любимой, или, скажем еще, от неведомого вируса или ведомого СПИДа, а потом и от страха смерти, своей и чужой, переплетенного с мерзким ощущением, что всему конец, — хоть того они и не постигают и не связывают, поиски незнакомого им русского философа внутри столь же безразличной для них башни, как ни крути, имеют первостепенный, насущный как хлеб и, я бы даже спел, — экзистенциальный смысл.

Бум! БУМ-БУМ-БУМ! ДЗИНЬ.

Симблигена

Дело в том, что время блуждания внутри и время здесь, на земле, — времена чрезвычайно разные. Разиятся они не

только плотью и плотностью, но и цветом и замыслом. Пластика их настолько непохожа, что на первый взгляд кажется, что это совершенно разные вещи — то, что, например, происходит сейчас с Соловьевым внутри, и то, что сейчас же происходит с Софией Михайловной снаружи. На самом деле все, что происходит внутри, — оно и есть то же самое, что и происходит наружи, как это утверждает не только Изумрудная скрижаль, но и некоторое внимание к нашей с вами повседневной практике. Потому что это только кажется, что что-то происходит внутри, а что-то наружи, а на самом деле все это происходит не внутри и не наружи, а совсем в другом месте, как уже было сказано, в нелокальном пространстве, и поэтому все, что видит сейчас Владимир Сергеевич, имеет прямую связь с тем, как бежит по приусадебному парку — вот споткнулась, упала, повредила коленку, поднялась, волосы растрепались, выпали из уложенной золотой короны, рот приоткрыт, губы розовы — бежит дальше в своем мокром платье, прихрамывая, — София Михайловна. Неужели же вы думаете, что сны не сбываются? Да, согласен, что многое — чепуха и прах и остается почти без последствий, но сон увиденный, осмысленный и произнесенный перед Всевышним является тем неодолимым никакими силами фактором, который как раз и формирует наше с вами будущее. Потому что если видели вы его сами — чепуха, бред, — то проговорили перед самым олицетворением божественного языка — Шхиной, Вечной Женственностью, а раз так, то и не только проговорили, но и отождествили этот сон с первоначальными буквами, и те после этого пошли формировать и выгибать наше с вами ближайшее и отдаленное будущее.

Или вы думаете, что не так? Что вы все уже знаете такое, что и не снилось нашим мудрецам, а вам и не надо, чтобы оно снилось? Ну нет, все же дела обстоят не так, а иначе. Многое может сформироваться сначала во сне, чтобы стать снаружи тем, что вам приснилось в другой совсем тональности, но оставив это пока...

Да и можно ли назвать сейчас то, что происходит с Владимиром Сергеевичем, по старинке сном? Нет, нельзя. Потому что это отчасти, конечно же, сон, но ведь и явь тоже. Ведь сплошь да рядом с ним случалось так, что сначала приснится

ему, скажем, незнакомый район города, по которому он едет на извозчике, а вдобавок и видит, что порхает над крыльцом неведомая ему прозрачная бабочка с двумя красными как от марганцовки пятнышками на сложенных крылышках, что у одного из зданий открывается дверь, и на крыльцо выходит ксёндз и, после некоторых уговоров со стороны Соловьева, его благословляет, — приснится ему все это, а потом возьмет да и повторится один к одному, но уже не во сне, а наяву. Причем знаем мы об этой двойной встрече (сновидческой и всамделишной) с католическим священником не с его слов, а со слов его друзей, а значит — не розыгрыш, не каламбур, не выдумка.

Поэтому дальше мы будем говорить и о Софии Михайловне, и о Владимире Сергеевиче, несмотря на разные пространства, в которые они погружены, все равно как о героях одной и той же истории и даже истории любовной.

София Михайловна, вбежав в комнаты и опрокинув стул с гнутыми ножками, крикнула Николая и Степана, чтобы те немедленно бежали к речке, где барину стало плохо, где он лежит недалеко от тропки, ведущей к купальне. Сама же она быстрым шагом вошла к себе в спальню и стала переодеваться. Платье с трудом отдиралось от тела, не хотело сниматься, отклеивалось и снова приклеивалось, и одно время София Михайловна была похожа на мокрую клумбу розовых астр, видимую не в упор, а через туманный парк, и все же, благодаря невероятным усилиям содрав наконец платье и чертыхнувшись, она стала машинально раздеваться и дальше, злобно и весело улыбаясь и что-то такое себе бормоча. И когда она разделась догола, чтобы перелезть в более свободный и, уж конечно же, сухой наряд, она, застигнутая двойным отражением в зеркалах на разных стенах и увидев свою ослепительно белую спину на фоне темно-красных штор, внезапно замерла и устала на нее как зачарованная.

Спина была похожа, как если бы лили молоко широкой струей из бидона в чан. Еще она была нема, потому что для женщин ее собственная спина совсем не то же самое, что она есть для мужчин. Ее спина была столь нема и беспомощна, что даже почти казалось мертвой и никому больше не нужной. Она попыталась найти взглядом хоть одну родинку и не

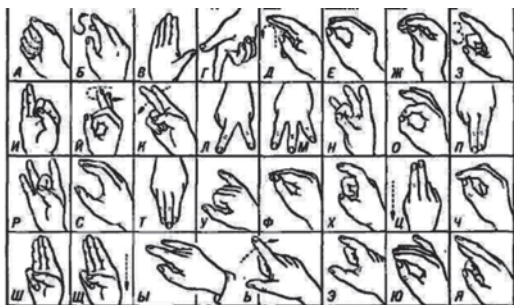
нашла, хотя знала, что родинки где-то обязательно должны быть. Это была абсолютно прекрасная и безликая спина, которая могла принадлежать статую или любой другой красивой женщине и к ней почти не имела никакого отношения. Как бывает звезда одна на всех или птичка в небе, так и спина ее была — не ее, а одна на всех. Ей вдруг мучительно захотелось, чтобы на середине спина разверзлась и там появился рот, чтобы хоть что-то сказать про это белое теплое тело, про это безязыкое неназванное пространство плоти с розовым оттенком. Она тряхнула головой, сгоняя видение, но оно продолжало стоять в глазах, мучить неизреченностью и томить. Тогда она подошла к зеркалу поближе, глянула себе в лицо, облизала губы и стала медленно укладывать растрепавшиеся светлые пряди, оставаясь привиденным привидением или только что оштукатуренной стенкой, из тех, на которых еще не появилось ни одной царапины и ни одной надписи. Внезапно ей захотелось выскочить на улицу прямо так, прямо неоштукатуренной стенкой, прямо в чем мать родила. Желание было столь сильным, что она застонала.

Время от времени с ней случались непредсказуемые вещи и приходили дикие желания, но с кем же из нас они ни случались и к кому ни приходили. Вот и мой сосед однажды взял и развелся с женщиной, которая ему ничего не сделала. А один мой приятель позвонил мне ночью и долго говорил о сибирской поговорке про хер собачий и о смысле остальных сибирских поговорок, а потом ничего не помнил. А Фрейд много написал про инцест и истерию, ну и что — все привыкли. Поэтому ртутная спина Софии Михайловны вместо того, чтобы завернуться в сухое платье, застыла посреди комнаты, только слегка покачиваясь, а отчего это произошло, непонятно. Произошло, и все тут.

Меж тем философ шел по путанице коридоров, не чуя, что какой-то подгулявший мещанин, забредший кое-как к речке, сначала наклонился над его распростертым и почти бездыханным телом в мокрых панталонах, потом посмотрел ему в лицо, принимая его за кого-то другого, плюнул, а потом переступил через него да и пошел дальше, так ничего и не сказав.

Коридор привел его в зал, где стоял посредине стол со стулом, а на столе возвышалась хрустальная ваза без цве-

тов. Именно в этом направлении шли, как он заметил, поющая девочка, девочка в неприличных штанишках и немой мальчик. Мальчика он увидел совсем недавно и понял, что тот немой, потому что он стал разговаривать с девочкой, жестикулируя и изображая в воздухе бесшумные знаки. Та, казалось, понимала его и кивала головой. Потом они пошли вот в этом направлении и вошли в комнату с пустой вазой. Владимир Сергеевич огляделся по сторонам, но комната была совершенно пуста, если не считать двух карт на белой стенке. Карты висели рядом и были небольших размеров. Поэтому близорукому философу, для того чтобы их разглядеть, пришлось подойти поближе. Вот что было изображено на первой.

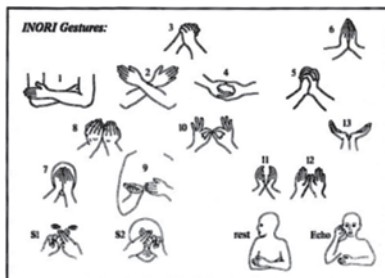


Владимир Сергеевич понял, что это изображение является прямой иллюстрацией к одному из его стихотворений, а то даже и к двум. Первое он совсем недавно написал любимой женщине, имя которой он сейчас почему-то никак не мог вспомнить, хотя и знал, что оно находится в пальцах на таблице, и если он ими подвигает как следует, то имя, конечно, же обнаружится. А стихи он помнил хорошо, особенно последнюю строфу: Милый друг, иль ты не чувствуешь, что одно на целом свете — только то, что сердце сердцу говорит в немом привете...

И второе стихотворение: Зачем слова? В безбрежности лазурной эфирных волн воздушные струи несут к тебе желаний пламень бурный и тайный вздох немеющей любви...

Конечно, подобная азбука для глухонемых не могла донести до возлюбленной вздох немеющей любви, но и еще

меньше их могли донести те уставшие и выцветшие слова, которых он написал и произнес так много, что сам стал уставать от них и словно бы выцветать. И когда он подумал про это, он увидел, как завихрились вокруг грубо нарисованных пальцев воздушные струи и сияния. И он подумал, что только неживые руки не могут ничего донести (да и то не факт), а живые — могут все, и не одни бесшумные буквы, но и сам вздох немеющей любви, который, вырвавшись у него в тот же миг, нанизался, голубовато-изумрудный, на жесты и движения букв из пальцев и пошел бродить по картинке, до тех пор пока не превратился в прозрачную бабочку симблигену циферис и не полетел к той, имя которой он забыл. А сама она, заслоняемая, словно свечка от огня, рукой, изображающей букву С, стояла тут же, среди букв, и была раздета и прекрасна. От нее шел свет, как от свечки, и пронизывал букву, которая от этого стала розовой. В надежде разгадки Владимир Сергеевич стал вникать во второй плакат, и вот что там было.



Это были священные и молитвенные жесты. Он отошел подальше и стал вглядываться в эти два плаката-пособия и вглядывался до тех пор, пока они не перекутались перед уставшими глазами и не слились воедино, образовав один и тот же плакат, на котором все ожившие и задвигавшиеся буквы-жесты вдруг совпали и вошли в два красных пятна, что расположились на крыльышках прозрачной бабочки, которая, помелькав перед философом, внезапно вылетела в приоткрытую дверь и исчезла.

Матрос на мачте

Он пошел за бабочкой. Он слышал, как располагается удобнее оркестр и как один из музыкантов начинает медленно стучать в маленький барабан, а коридор, по которому он шел за бабочкой, что стала уже видна в его озаренном неизвестно откуда идущим светом конце, шел теперь под горку, под уклон, и Владимир Сергеевич подумал, что не зря появился в чересполосице лабиринта глухонемой мальчик, потому что если буквы могут становиться руками, то они могут становиться и всем человеческим телом. Что это бывает, он знал, потому что когда встречал Софию, свою возлюбленную, то забывал про свое тело, оно словно исчезало, а, как потом он догадывался, на самом деле не исчезало, но вмещало в эти минуты весь алфавит — от альфы до омеги. То есть, было каждой буквой в ее первоначальном, еще не испорченном виде, как каждой буквой могло быть не только тело, но небо, дерево или звезда. Но если язык жестов был до какой-то степени выдуман людьми и произволен (а так ли это?), то язык туч, земли и речки был естествен и органичен (и это, и это — так ли?).

Вернее, так — буквы, составляющие все тело и любой ручеек или, скажем, жука или бабочку, — они всегда есть и всегда неиспорченны, просто они не всегда видны. Но если их увидеть, то все становится ясным — в том смысле, что именно из букв все и состоит. Но и это еще не все. Дело в том, что если человек увидит буквы подпорченными, то и жук будет подпорченным, и бабочка, и человек. Но ежели — бум-бум стучал барабан окава и тихонько завизжала-завизжала флейта фуэ — глядеть на них изо всех сил, все глядеть и глядеть, вкладывая в это глядение всю свою душу и силу, данную человеку от Бога, и все свое знание и любовь, то тут можно доглядеться до того, чтобы увидеть — что все буквы целы, все неиспорченны, все — святы. И не потому, что нет испорченных букв в мире, но потому, что такое вглядывание и одновременно видит, что они никогда не были испорчены, и одновременно их испорченность выправляет. Понимаю, что сказанное противоречиво выглядит, но иначе тут выразиться не представляется возможным.

Так вот и с человеком. Если долго глядеть на него и любить, то начинаешь понимать, что никогда в нем не было никакого зла, что состоит он и состоял все это время из одного святого сияния и больше ни из чего. И когда ты догляделся до этого, то это становится именно так, а не иначе.

Но с другой стороны, тебе невозможно так все время глядеть, потому что у тебя просто не хватит на это сил, устанешь и сразу начнешь злиться, и тогда вдруг увидишь, что в человеке, который только что был свят и пребывал в тихом сиянии, — и подлость есть, и мелочность, да даже и похоть тоже. Все влюбленные, прожив вместе какое-то время, это замечают и меня, конечно же, поймут, а во-вторых...

Во-вторых, здесь то же самое — пока видишь, что человек неиспорчен и свят, ты эту неиспорченность и выправляешь. То есть, воспринимая человека как святого, ты его делаешь святым. То же и про жука, и бабочку, и любую букву. Поэтому нельзя сказать, каков человек — испорченный или святой. Все зависит от того, каким взглядом ты на него смотришь. А так как взгляд твой ограничен силами и временем, как и взгляд любого человека на свете, то и решили, что человек и мир сначала были святыми, а потом испортились. Что ж... можно, конечно, воспользоваться и этим кодом — он не лучше и не хуже (а если и хуже, то ненамного), чем другие. Суть же заключается в том, чтобы видеть букву, как она есть, жука и бабочку, как они есть, и человека, как он есть. То есть видеть их глазами любви. И ежели это происходит — мир становится бесконечно простым и захватывающим, а ты никогда не рождался и никогда не умрешь, но можешь, конечно, взять и придумать собственную историю, где ты живешь в несчастье и бедности и скоро умрешь. И в этом тоже будет правда. Твоя собственная.

Когда он завернул в боковой коридор, он увидел, что мальчик сидит на ступеньке, а девочка в коротких штанишках расчесывает ему голову. Под ногами по-прежнему разлетались облака тонкой пыли, но вверх не поднимались и стлались над землей, отчего ноги мальчика и девочки были видны только до половины. Они встали и пошли дальше, и Владимир Сергеевич отправился за ними, думая, что какую-то из букв он сильно недоглядел, а когда он найдет ее здесь, в башне, то уж доглядит обязательно, и тогда все остальные

ее тоже увидят. А пока что он шел и мучился от того, что, может быть, ее пропустил, что, может быть, она только что была перед ним в виде ли прозрачной бабочки с кроваво-марганцевыми пятнышками на крыльях, в виде ли девочки, которая причесывала мальчика розовой расческой, а может быть, и каком-то другом виде или обличье. Он стал спускаться за ними, проходя мимо дверей, что оказались полупрозрачными, и за одной из них он увидел отца, Сергея Михайловича Соловьева, продолжающего работать над своей знаменитой многотомной «Историей», потому что смерть прервала его труд на эпохе Екатерины Второй, а дописать надо было до наших дней и даже до конца времен, что и делал сейчас знаменитый историк, сидя за письменным столом; за другой дверью были видны какие-то города и огни, за третьей — летали бабочки, складывая жестами крылышек буквы и слова, — это была бесконечная библиотека мира, а рядом — за приоткрытой дверью — расположилась еще одна комната, из которой исходило золотое и розовое сияние и словно доносилась легкая и ужасно радостная музыка.

Такая музыка, бывало, слышалась, когда в его жизни происходило какое-то особенное счастье. Когда однажды в детстве его похвалил отец за сочинение, или когда как-то он увидел синее небо и желтый забор и поразился их родству с собой, или однажды встал рано утром, увидал золотой луч на зеркале и при мысли, что впереди его ждет целый огромный день, запрыгал по комнате от радости, подскакивая к потолку на одной ноге и что-то выкрикивая. Или однажды при виде розовой луны над крышей. Вот тогда и играла чудесная музыка — тихо, словно шла из сердца, рук и плеч. Словно обнимала тебя, выходя из подмышек.

Он заглянул в комнату с приотворенной дверью и сразу понял, что здесь собраны все главные истории мира — про плавание Колумба и про Золушку. Про несчастного царя Эдипа и про Авраама, встретившего трех путников-ангелов. Про поиски святого Грааля и про то, как Конфуций хотел упорядочить мир при помощи ритуала. Про kota в сапогах и Марию Стюарт. Про сотворение мира и Дерево Жизни. Про розенкрейцеров и Энея. Доктора Фауста и Гамлета. Про ком земли, ставший человеком, и про Голема. Про Одиссея, не узнавшего любимую родину, и про Степного волка, не

узнавшего себя самого. Они все были тут, и от них шло гудение, словно от улья с пчелами. Но тут они не стояли на полках, записанные в сотнях и тысячах томов, а плавно переливались в воздухе своими особыми буквами, похожими скорее на иероглифы или на игральные и географические карты. Иногда они соприкасались друг с другом и фигурки на картах начинали двигаться, плакать и смеяться и образовывали все новые и новые картинки, и тогда возникала еще одна карта. Она отдалялась от остальных, витала какое-то время в тихом свете, а потом возвращалась в общий хоровод.

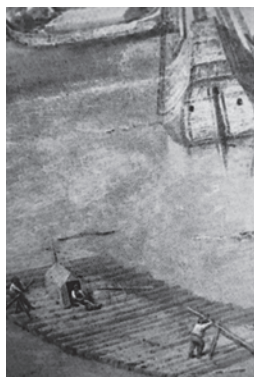
Владимир Сергеевич был немало поражен, когда узнал в одной из картинок свое стихотворение, потому что, если уж и надеялся увидеть тут что-то из своих сочинений, то скорее уж что-то солидное, научное, имеющее философский вес, но потом заметил там и свою книгу о единении Церквей, и она была хотя и не меньше по цвету и смыслу, но и не важнее стихотворения, а точнее говоря, они были — одним со всей остальной современной историей мира. Вернее, не историей даже, а живым муравейником идей и образов, из которых мир ежеминутно творился, ежеминутно же их сотворяя и преобразая, словно на карте Таро «Звезда» с нагой девушкой, переливаясь из одного своего кувшина, который она держит в руке, в другой, не проливая мимо ни капли.

Он видел одинокого Данте и жирного Фальстафа, желчного Свифта и старика Тютчева, бегущего через Невский с белыми глазами, сбившимся шарфом и волочащейся, падающей на желтый снег шубой.

Он так погрузился в созерцание танца живых картинок, что напрочь позабыл о времени, и лишь когда среди иероглифов мелькнули два марганцево-красных пятнышка, вспомнил вдруг, где он и кто, очнулся и понял, что ему надо идти дальше в поисках буквы, которую — и он это отчетливо сейчас понял — ему суждено искать, но не найти. И тогда ему стало страшно и душно, потому что без буквы нет его на свете, а вернее, он есть, но есть лишь наполовину, лишь незавершенный, обрезанный словно пополам, идущий на встречу с грядущим в растерянности и слабости. И тогда он побрел, забребая носками туфель пыль и не глядя перед собой. Никогда еще он не сознавал столь ясно, как важны были для него эти, казавшиеся сначала необязательной игрой по-

иски слабой буквы, которая не будет больше слабой, если он найдет ее и разглядит.

Он вышел к обломку темного гранита, из-за которого косым бутылочным блеском пробивался луч солнечного света, повернул на свет и оказался перед стеной с двумя окнами, не забранными рамами, а сквозными, похожими на правильные прямоугольники, почти квадраты. В окна залетал ветер с запахом гниющих водорослей и ракушек и шевелил старинные карты на стенах. Он с опаской выглянул



в одно из них, почти улегшись на подоконник, и со страшной высоты различил под собой основание башни, уходящее короткой пляжной полосой в море, со стоящими здесь же на якоре парусными судами, которые сверху казались не больше бабочек. Ветер с океана взъерошил ему волосы и освежил лицо. С такой высоты он видел сквозь синие-зеленую прозрачную воду дно с черными островами водорослей и свечением песчаных отмелей. Он даже разглядел останки судна, затонувшего на подходах к башне, — оно стояло на дне с покосившимися мачтами и обвисшей оснасткой.

Он видел крошечные фигурки рабочих, лебедки, с треском и скрипом тащащие навверх мраморные блоки и бочки с цементом. Видел плот у берега и человека на нем, который отталкивался от дна длинным шестом. Различал переплетенные друг на друга, словно курятник, нижние подсобные помещения и людей, бегающих вдоль них, словно человеческие муравьи. Потом взгляд его, будто

притянутый прозрачным магнитом, упруго вернулся к одному из парусников и уперся в такелаж.

На палубе парусника хлопотали матросы, а выше, над палубой, один из них забирался на мачту по веревочной лестнице. Что-то в его фигуре, в том, как она расположилась на мачте, показалось Владимиру Сергеевичу знакомым. Он сам не мог понять, почему этот человечек на лестнице, с этой высоты вовсе почти и неразличимый, так сильно овладел его вниманием. Он смотрел на него и не мог оторваться, смо-



трел до тех пор, пока не увидел, что тот задрал одну руку вверх, а одну ногу опустил вниз, упираясь в веревочную поперечину, и в этот момент словно бы стал красным, словно бы облился киноварью, как затейливые прописные буквы на древних русских и романских рукописях, словно бы на минуту вспыхнул и потом опять погас. И тогда ликующее и тревожное предчувствие заполонило Владимира Сергеевича Соловьева, потому что он стал узнавать киноварную букву. Потому что матрос на мачте, на мгновение застыв раскорякой с опущенной левой ногой и поднятой правой рукой, образовал ни больше и ни меньше как **А**, алеф, букву, возникшую и на миг зависшую на мачте. Впрочем, он был так далеко, так бесконечно далеко от близоруких глаз Владимира Сергеевича, что, конечно же, глаза эти могли и ошибиться. И тогда философ подошел ко второму окну, чтобы разглядеть парусник и матроса оттуда. И правильно сделал, потому что из этого окна и парусник, и матрос были даны в

инной перспективе, более удобной для тщательного разглядывания, потому что это было и не окно даже, а картина, изображавшая все тот же пейзаж за окном с точностью до каждой трещинки на башенной стене. И хотя в этом ракурсе на ней невозможно было разглядеть, скажем, затонувший корабль, но зато все остальное, так нужное ему, — парусник, мачта и матрос на ней — были видны теперь несравненно лучше. И теперь уже было совершенно ясно, что матрос, лезущий наверх, на вершину мачты, не просто матрос, а буква алеф, потому что дальше он не полез, а застыл именно в положении, повторяющем его телом эту букву раз и навсегда, так что в этом не могло быть никаких сомнений. Поражаясь, как это ему удалось разглядеть среди всех этих вавилонских пространств и циклопических событий маленького человека, почти совсем незаметного на фоне исполинского общего дела и неоглядных природных далей, и казалось бы, что вовсе ничтожного, никакого, однако же различного, узнаваемого и даже образующего букву, Владимир Сергеевич скользнул машинально взглядом к правому нижнему углу картины, чтобы найти подпись художника. Но ее там не было, а был уголок синей океанской воды — тихой и безмятежной. И тем не менее изображение ему было знакомо.

Холодная злая русалка...

«Он плохо запоминал картины и рисунки, а также не имел вкуса к музыке и театру, хотя сам несколько раз и участвовал в любительских постановках, к которым сам даже писал текст, и даже однажды написал драму “Белая лилия”, но, как сказано, к картинам и живописи, вообще-то, был равнодушен», — эту фразу певец из хора-дзиутай тянул целых десять минут, повторяя и вышевая каждое слово по нескольку раз и даже играя чудовищным своим лунным голосом с каждой буквой отдельно, причем не так, как это мы делаем обычно, — подряд, а в непривычных последовательностях и комбинациях, словно это сообщение имело какую-то особую ценность, которой оно, кстати говоря, вовсе не имело.

А вот следующая фраза в его исполнении заслуживает, на наш взгляд, куда большего внимания. Дело в том, что в

это время Владимир Сергеевич основным и подпольным чувством осознал, что пора выходить из области откровений и видений в область меньшей реальности — с Клязьмой, осиновым деревцем и собой-телом, простертым под осинкой, и, осознав это, подумал, чего бы он хотел в эту меньшую реальность с собой отсюда, из реальности большей, но, впрочем, далеко не окончательной, напоследок захватить, кроме, так сказать, того, что он уже запомнил раз и навсегда. И тут обернулся он от картины назад и увидел изображение на противоположной стенке, которое являло собой не что-либо иное, как философа Платона и походило на те портреты философа, которые до нас дошли в виде рисунков на страницах рукописей и украшений некоторых предметов домашнего обихода — ваз, например. Платон на фреске был изображен с крыльями бабочки за спиной, потому что больше всех остальных философов сказал и написал о бессмертии души, а бабочка, вернее, крылья от нее, присутствовали в качестве подразумеваемой части его тела, в силу того, что они, крылья, как раз это крылатое бессмертие собой являли и символизировали. И поэтому следующие двадцать минут певец из оркестра пел одну и ту же фразу на космическом и замороженном до степени твердого азота языке: «Философ вырастает из куколки настолько, насколько бабочка вырастает из философа. И-О-О-Ы-А-А...»

Так это было бы на русском.

На заключительной букве а, в четвертый раз поднятой рокочущим, ртутным и запредельным басом к луне, Владимир Сергеевич вшагнул в зону реальности низовой и из положения простертости под осинкой и жалкой бессознательности стал бодро подниматься на ноги, тем более что ему уже помогли слуги, посланные Софией Михайловной на помощь. Они попытались было взять Владимира Сергеевича на руки (по правде говоря, он действительно довольно сильно ослабел после трансерального путешествия, и полежать бы ему еще да отдохнуть немного!), но философ категорически воспротивился, встал, как сказано, с земли, нагнулся, с трудом и не сразу разнаправляя прилипшие к ногам штанины, и твердо зашагал по направлению к усадьбе. За ним в почтительном отдалении следовали молча слуги, поглядывая на него так, словно он вот-вот упадет, и даже непроизвольно выставя

вперед руки для нереального (в силу разделявшей их дистанции) подхвата, когда он пару раз споткнулся о кротовые холмики, вылезшие за ночь на тропке.

На поддороге их встретила София Михайловна, успевшая переодеться и теперь взявшая философа за руку, а потом вдруг руку эту бросившая, чтобы, сойдя с тропинки, неожиданно согнуться там в припадке конвульсивного и захлебывающегося смеха так, что гибкое ее тело тряслось и изгибалось, как ячменный колос под сильным ветром.

На подходе к усадьбе их застиг дождь.

Еще светило солнце, но уже пронесся по-над землей сразу ставший холодным ветер, хлопнули где-то ставни, зазвенело, вылетев из рамы, но не разбившись, стекло, помрачнело. Комары разом куда-то подевались, запахло на миг сухостью и перегретой сиренью и сразу прошло. Донесся далекий женский выкрик, то ли сзывая детей домой, то ли снимая с веревок белье, докатился первый мягкий еще раскат грома, и ударили в пыль, сворачиваясь в шарики, первые капли. Солнце заволоклось быстро летящими серыми и рваными тучами, еще прозрачными и вытянутыми, но вслед уже медленно тянулось и приближалось грозное «оно» — свинцовое, черно-синее, сплошное как гипнопотам — словно бы оно пришло покончить со всем, что было без него, раз и навсегда, и по цвету напоминающее не сирень, а синяк. Первый залп капель рассыпался и иссяк, на минуту наступила тишина, и вот — грянуло. Уже летела безруким призраком до неба пыль с дороги, грохнуло страшно и звонко, так, что в буфете задрожали стекла, покатились по ступенькам сорванная с самовара порывом ветра труба, и дождь забарабанил по крыше, дорожкам и беседке уже без перерыва. Слышно было, как тихо бьет он и стучит в невидимый вывалившийся кусок стекла и тот отзывается низким звоном и приглушенным бум-бумом, как хлопнула и закрылась форточка, и снова сверкнуло, на миг затихло, и — как будто разорвали огромную простыню, а когда она разорвалась до конца, вдогонку бахнуло так страшно, что казалось, что после такого грохота ничто живое не должно оставаться на своих прежних местах, но обязательно либо врастет в землю на вершок, либо сойдет в сторону. Стало темно, почти как ночью, и тут они вбежали на крыльцо, под его спасительную крышу.

А молнии все били и били, озаряя лес и поле, и каждый раз почему-то казалось, что по полю идет, размахивая руками, великан в золотых башмаках.

Вечером приехали гости, собрались в гостиной и играли в фанты. Лопатин, философ и друг Владимира Сергеевича, приехавший позже всех, уселся с недовольным видом за пианино и стал брэнчать какую-то чепуху. Но постепенно разошелся, сыграл несколько мазурок Шопена и пару пьес Моцарта.

Больше всех фантов выиграла София Михайловна, и по одному из них Владимир Сергеевич Соловьев должен был выполнить ее желание.

Когда через несколько минут они вдвоем вышли на крыльцо, на улице было уже совсем темно и тихо, в небе светились, перемигиваясь, влажные звезды, словно удивляясь тому, что бывают еще на земле какие-то грозы, и даже с ветром и громом, но только все они приходят и уходят непонятно куда и непонятно зачем, а они, звезды, остаются, чтобы вот так шевелить оттуда, из бесшумной и беззвучной своей высоты, золотыми ресницами, и в этом состоит их главное важное дело.

— Как ваше самочувствие? — спросила София Михайловна.

— Превосходно, совершенно превосходно.

— И напугали же вы меня!

— Простите. Со мной такое бывает, вы ведь знаете. А что напугал, смиренно прошу прощения.

— Что же это было?

Соловьев помолчал, покрутил головой, покосился близко-руко на звезды, на бледное как речной цветок лицо перед ним, на белеющий забор с приткнувшимся к нему кустом сирени с черными листьями и наконец сказал:

— А помните, вы мне как-то в первую нашу встречу про букву гадали?

— Букву?.. Конечно помню. Я тогда как с чужого голоса говорила, даже не знаю, где слова нашла.

— Так вот я повстречал эту букву. Ту, ту силу, которая в нас так нуждается.

— Как это — повстречал?

— Да так вот. Повстречал. Как Германи Лизу.

— Германи, помнится, с ума сошел. Вы меня уж снова-то не пугайте.

— Ни в коем случае.

Он помолчал.

— Ежели я и сошел с ума, то исключительно по вашей вине. Я пробовал препятствовать своему чувству к вам, — внезапно заговорил он, как бы срываясь с места, — но ничего не получилось. И чем больше я препятствовал себе, тем сильнее мое чувство росло. Я, должно быть, впервые в жизни такое переживаю. То вы сияете как ангел, как звезда, перед которой остается только что благоговеть, и... я благоговею, то я чувствую, что просто созерцать вашу красоту для меня мало и невозможно, и начинаю задыхаться в пустоте и одиночестве. И тогда я хочу быть с вами, быть всецело — не только душой, но и телом. Словно золотой сквозняк меня продувает и бросает, как пылинку, в ваши объятия, которые вы так не торопитесь мне раскрывать. Напротив, вы насмешничаете и шутите над моим чувством. Для вас жеребец с ипподрома намного важнее, чем я. Какой-то заезжий оперный шут-итальянец — интереснее. Вы ограничили наши встречи, мои приезды сюда, к вам.

— Но, помилуйте, Владимир Сергеевич, не могу же я... У меня же здесь дети, муж, хозяйство, наконец...

— Нет-нет! У вас холодное и злое сердце! Сияние задело вас по ошибке, по ошибке. Все миры сияют в ваших очах — по ошибке. Вся Божья невыразимая женская нежность окутала вас по ошибке-ошибке. Боже, как вы мучаете меня! За что, Господи? Не могу, не могу больше. Вы — русалка.

На глаза его навернулись злые беспомощные слезы. София протянула было к нему руку, но на «русалке» на миг застыла и руку убрала. Глянула на него с мгновенным состраданием, но и с насмешливым блеском в морских изменчивых глазах, спросила:

— В каком смысле русалка? По андерсеновской ли сказке, или по-здешнему — утонувшая от неудачной любви к кузнецу?

Она повернулась к нему, приблизилась почти вплотную и внезапно стала пугающе прекрасной в фиолетовом сумраке. Губы сделались из красных черными, глаза открыли бездонную глубину словно само небо, ушедшее в золотистые

звездные огни и блески... белые обнаженные руки безвольно повисли, он почувствовал горьковатый слабый запах ландыша, идущий от нее.

— Русалке больно ходить... и говорить тоже... ведь язык-то у ней вырван... — прошептала София Михайловна. И тут философа качнуло, он схватил ее за талию и прижался к ее черным губам своими. Упал на колени, сумбурно, в несколько быстрых движений, задрал ей юбку выше колен и приник к прохладной коже сухим ртом.

— У-у... у-у... ы-ы... — всего и смогла сказать София. Ничего другого и выговориться не могло и произвестись не умело.

— Родная, родная... — Он почувствовал, что слезы капнули ему на щеку, и от этого кожа Софии стала соленой: — Родная...

Он целовал ей бедра и то, что между, и колени, и живот, словно пробирался впотьмах по млечному пути, на который так был похож теперь его собственный спутанный путь, где ногами путника были губы, лишённые речи, но не букв, которые он и вцеловывал в эту белизну, и жар, и изгибы, и шорох. Он ясно чувствовал, как это можно, как можно губами, а не словами передать другому телу слово «люблю», словно невидимую безъязыкую и безрукую татуировку, похожую на тесто, которое изменяется от прикосновения и липнет к пальцам.

И тут она завизжала. Она визжала тем визгом, от которого облака превращаются в сломяные чешуйки и начинают сами от себя отслаиваться, у рыб, плывущих в черной глубине на ноздри нарастают серебряные кольца, а бабочки меняют в полете свое левое крыло на правое, и, влетев в огонь, не сгорают, но уносят его, превратив пламя в черное, с собой, сами превращаясь в маленькие неопалимые факелы, в которые может провалиться и человек, и лось, чтобы исчезнуть в этом осколке черноты, как в проруби, навсегда, и потом непонятно бывает, куда временами деваются люди. Потому что после, как не лица человека, не найдешь больше, а постепенно и память о нем втянет как сквозняком в эту черноту, так что словно и не жил он на земле никогда.

— Владимир Сергеевич, Владимир Сергеевич... — словно загудело, зашептало пламя у черных ее губ. — Сейчас я

уйду, попрощаться со всеми, а потом к себе, а вы приходите. Через четверть часа приходите, нет, лучше через полчаса.

Она вырвалась, оглушив его бесшумным почти громом платья, опьянив запахом благоухающей плоти, и пошла к гостям, а он уселся, не разогнувшись, на ступеньку и уставился близоруко на звездное, темное, глубокое как колодец небо.

Воздушная могила

Нехорошо... Нехорошо из-за того, что, во-первых, она жена Виктора Николаевича, его друга, во-вторых, от того, что высокое духовное единение под сквозняком-бурей Эрта, от которой, по выражению Сафо, раскачиваются и сокрушаются дубы, сменилось страстью, и мысли начинали путаться, затмеваться, а тело словно перелистываться, чтобы все время открываться на яркой странице, той, где места для созерцания почти не оставалось — столь узкими были поля. Налетал ветер-ураган и уносил мысли в сторону, а то и подменял их другими, ему несвойственными. И вот ведь теряешь контроль над собой и того не замечаешь, как это происходит, а если и замечаешь, то все равно замечать не хочешь.

Вот и сейчас все путается в голове, и через пятнадцать минут он возьмет и поднимется к ней в спальню, и уж сегодня-то наверняка свершится сладостное, необычайное и страстное, к чему так стремится последние месяцы вся измученная, вся взбаламученная душа его, но произойти все равно не сможет, потому что это и подлю к другу, и банально и пошло вообще.

И ежели в Софии Михайловне сияет София высшая, то разве не будет посещение им спальни тем мерзостным смешением низших влечений с возвышенными, единственно пристойными и животворящими человека божественными и благоговейными чувствами? Разве не будет это грехом вдвойне и втройне мерзким? Ведь одно дело почитать и поклоняться на расстоянии, и совсем другое — плотское соитие. И не потому, что оно плохо само по себе — от Бога оно дано человеку, а потому, что несправедливо к другу, а еще и потому, что тут плоть руководит вышним, а не вышнее — плотью. А в таких случаях плоть не воссиевает и не

преображается, но, непреображенная, торжествует... но разве слова могут иметь право на власть над чувствами, но разве не дано нам чувствовать сполна, а не только мыслить, но сегодняшняя гроза, но — ветер с дождем, всплески пьяных кустов сирени под ветром, но — прикосновение губ к голой ноге между чулком и поясом, и есть же нечто волшебное в том, чтобы не думать, а любить так, как оно дается на сегодняшний день, когда смотришь на чудесную женщину и все теряешь от несравненной ее и влекущей красоты — мысли, желание, волю, себя самого!

А вместе с тем его мысли временами, пока он сидел на крыльце, становились на время кристально чистыми и ясными. И он снова увидел, почему психологически (если даже оставить в стороне все другие факторы) человечество зашло в тупик и какую оно делает все время ошибку — одну и ту же.

Он смотрел на звезды, и те подсказывали: представь, что человек не попал за преступление, а родился в тюрьме и прожил в ней до тридцати, скажем, лет, никуда не выходя за пределы своей камеры и почти не общаясь даже с охраной. И вот однажды его выводят на прогулочный двор — небольшая воюющая от мочи и плевков площадка, перекрытая к тому же сверху решеткой. Но сквозь решетку все равно видно, что есть солнце, синее, бесконечное небо, звезды... Что же этот человек почувствует и подумает? Ага, подумает он, вот какие бесконечные и замечательные вещи есть рядом с моим домом. Как бы заставить их работать на мою тюрьму? И будет он думать-думать и придумает. Ага! — скажет он, хорошо бы сделать здесь стеклянный потолок, чтобы звезды и солнце освещали мою камеру, а я бы ими любовался. К тому же при свете звезд будет удобнее замечать досаждающих насекомых и от них избавляться.

Вот что он подумает, потому что он — у себя, он — дома, как он считает, а значит, надо только приспособить сияние звезд и солнца к тюремным условиям, и тогда все будет хорошо. Вероятно, время от времени ему приходит в голову непривычная мысль, что если есть над ним и тюрьмой бесконечное небо, то там дальше может быть и совсем иная, бесконечная жизнь, куда можно даже как-то и выйти из привычных стен. Но, представив это себе, он тут же начина-

ет испытывать смертельный страх, и это понятно почему — потому что он бесконечной жизни не знает и она ему чужая, а вырос он и освоился с миром здесь, в тюрьме. И он гонит от себя беспокойные мысли и возвращается к идее, как можно солнце и небо использовать, приспособить для единственно привычных ему, единственно близких и понятных, единственно вразумительных тюремных условий.

Вот так же и все человечество, и вся современная Церковь. Точно так же ведет она себя по отношению к Богу, как этот заключенный, который вырос в тюрьме. И поэтому не думают Церковь и человечество, как им выйти из тюрьмы на бесконечные просторы новой жизни, как стать бессмертной преображенной тварью, к чему и призывал нас Спаситель, а думают — и даже в лице лучших своих представителей — о том, как Солнце любви использовать, приспособить к нашим убогим, нашим рабским условиям существования, чтобы они нас немного согрели и осветили, притом что никто из них не хочет меняться и рисковать выйти за тюремные стены. А без этого риска и подвига христианство перестает быть христианством и, адаптированное Церковью, занимается лишь тем, что ограничивает свободу и порывы своих чад и сжигает на кострах еретиков, да в избах — старообрядцев, и к тому же подчинено не за страх, а за совесть государству на Востоке и сведено к государственности и юрицизму на Западе.

Оставаясь при этом все время в тюрьме. Называясь именем Человека, чья жизнь вся была — свобода, любовь, прощение и преодоление ограничений. Рассуждая о покорности и забывая о свободе и власти быть чадами Божиими. Какая мерзость! Какая гнусная перелицовка! Какая невероятная подмена Благой Вести, Евангелия! И все эти тысячи лет — обман, насилие и моря крови. И не где-нибудь в Китае, а прежде всего на «христианской территории». Именно на ней пролилось больше всего крови, совершено больше всего предательств, сожжено больше всего святых. А сколько еще впереди! Какие индейцы с их человеческими жертвами могут сравниться с теми человеческими жертвами, которые приносят и приносит как Восточная, так и Западная Церковь во имя Божье. Нет, наш «христианский Бог» намного прожорливей и кровожадней их, индейского.

Все эти слова о любви, о христианском милосердии. Все эти цитаты и сплошь цитаты, которые не подтверждены собственной жизнью, — какое бесстыдство! Учить добру, цитировать Евангелие и в то же время предавать, насильничать, лгать, вдохновлять на войны, ненавидеть евреев. Забывая о том, что все державное Православие — ха-ха! — вышло из деятельности небольшой еврейской секты с гонимым и казненным за смуту Учителем во главе.

Такое «Евангелие» и такая официальная вера должны бы вызывать ненависть у порядочных людей. Но вот что поразительнее всего — не вызывают! Кажутся одним из многих привычных государственных укладов. Да и кто сейчас читает Евангелие, кроме горстки интеллигентов? А даже и те, прочитав, как Федор, скажем, Михайлович Достоевский, вместе с проповедью идей любви и всепрощения призывают ущемлять и изничтожать евреев и поляков. Или начинают сочинять свое собственное, как граф Толстой.

Где захлебнулась любовь? Где подменилась правда? Неужели святыня всегда будет использоваться в целях благоустройства тюрем?

Что же нужно для того, чтобы стать христианином наконец? Чего не хватает, чтобы остановить ложь, лицемерие, наглость и убийства, которые торжествуют все это время, отсчет которого ведется от Рождества Христова? Какое простое действие необходимо предпринять, чтобы дать Богу осуществить на земле любовь и единение всех людей, всех этих людей усыновление — какое? Разве люди не хотят быть счастливыми, любящими и любимыми, свободными?

И тут его снова пронзила ясная и отчетливая, как крик петуха, мысль: не хотят! Они этого не знают и к этому не привыкли. Разве не о том же писал Достоевский, с которым они вместе ездили в Оптину, когда тот собирал материал для своих «Карамазовых»?

Хорошо, но разве Иисус не знал, что и кому предлагает? Разве был Он фантазером? Разве был Он идеалистом и Дон Кихотом? Почему же Он предложил бесконечное счастье тем, кто его не хотел, не хочет и не видно, чтоб захотел?

А что Он, собственно, предложил? Путь в наше собственное сердце до глубины глубин и там, на глубине, — встречу всех душ на свете в творческой именуемой бесконечно-

сти. Почему же не случилось и не происходит? Не для одного же Франциска или Григория Великого Он проповедовал? Не для одних же Якова Беме, Сведенборга или Серафима?

Кто обращал внимание, что все Евангелие Иоанна повествует о слепоте людской? О десятках, тысячах, миллионах слепцов? Об огромной силе Слепоте и такой же силы косноязычия, гниливости — бесстыдном и похабном умножении слов. О мощи неверия, тьмы, самомнения — сплошной ночи, безвылазной, как жирная жижа, о слепых иллюзиях чувств и мыслей. Многие! Многие читали про это, и многие прочитают и скажут: ну и что? Ну и что! И пойдут писать диссертации дальше — вслепую, сажать картошку — вслепую! — учить школьников и студентов, командовать полками, освящать квартиры, рожать и хоронить, убивать и миловать — и все это делать и осуществлять вслепую! вслепую! «Я пришел, чтобы слепые стали зрячими». Так неужели же ЗРЯ ПРИШЕЛ?

Он почти лег на крыльцо, запрокинулся к небу.

Существует, существует меж звезд могила, где нас хоронят. Наши кости легче и мудрее наших мыслей, если можно так фаптастически выразиться. Они на свой лад тянутся к высоте, к Богу в их понимании. Вот Пушкин, например, на высоте монастырского холма похоронен, и когда подходишь к святогорской ограде — могила его над головой витает, парит. Это еще со времен Горация останки поэта стремятся взлететь, стать лебедем, занять свое место в высоте. Лермонтова тоже на горе застрелили. Отец Виктора Николаевича застрелил. Какая-то жажда высоты, воздуха после смерти.

И тут вновь запела флейта, зарокотал барабан коцудзуми, служители-курумба (для всех зрителей условно и явно невидимые), они же ангелы речи и ситуаций, подошли к Владимиру Сергеевичу Соловьеву, и один из них зажег дополнительную звезду в небе (проще говоря, ее пока что не было видно, и вот мы с вами при помощи слов повествования и служителей-курумба представления Но, а также вместе с Владимиром Сергеевичем ее прямо сейчас и зажгли-заметили), другой выбелил полной луной неширокие плечи философа, словно сыпанул на них мелкой муки, а один из актеров под аккомпанемент сямисэна произнес утробным, переходящим в малиновый знобящий свист речитативом:

«Еще не знает философ,
что сам станет филином после смерти,
кружась над Невой и ночью разбившись
о собственный незавершенный портрет,
влетев в незатворенное окно,
с размаху ударившись в раму, вонзившись в холет
в студии знаменитой художницы —
прилетит, успокоится, вытянется.
Что и кости убийцы, Мартынова Николая,
взойдут в высоту — в воздушную лягут могилу,
что беспризорники в колонии,
обосновавшейся в бывшем поместье,
разорят запертый фамильный склеп,
куда Николай Соломонович Мартынов
предостерег, запретил его класть (не послушали!),
разорят, кости в мешке вздернут на ветвь родового дуба.
Этот воздух меж звезд — место упокоения —
отравленных, ментоловых, тех, кто любил и молился,
и тех, кто не молился, но в основном посылал на хер,
не любил, а все больше трахался да имел,
не медитировал, но тащился от легких (травка, экстази)
и тяжелых (опиаты, героин, кокаин) — ништяк! —
наркотиков. Кто залезал под белые юбки
и тех, кто залезал под черные,
а потом и юбки исчезли, а потом и косы, и кожа исчезли,
а за ней и тело и дух исчезли,
два ангела, две птицы остались без тени, без ничего —
белый и черный,
лишь ментоловый отзвук остался,
но почти ничего не значил с содранной кожей.
Никто, что исчез, не заметил. Но в воздухе стынет могила,
как куколка бабочки. Подвешенная к ветке
меж звезд стынет воздушная яма,
в ней Осип лежит Мандельштам-лотеранин
рядом с надувной секс-куклой модели “Школьница”,
рядом с железным лавром, жестяной рядом с звездой,
рядом со славой мира — воздушной раскосой ящерицей
с морскими глазами, хрустальной створкой.
Дигитальные эльфы выются
над могилой в Новодевичьем меж снежинок

и веток голой сирени,
цифровые дигитальные эльфы порхают и вьются.
А вверху братский воздух
да звезд негашеная известь,
могила без дна, без числа — одна на всех».

Зажмурил глаза и вошел...

Данте тоже был влюблен и грезил о том, чтобы общество было устроено более разумно, более по-христиански. Так, как живут в России сейчас, жить более невозможно. В деревнях отупение, одичание и мерзость, в столице жизнь глупая, хоть и блестящая, христиане разъединены, его проект соединения церквей потерпел крах, Господи, как же колотится сердце, да что это такое со мной?.. Попытки перевернуть общественное сознание и привлечь интерес к христианским ценностям, а вернее даже и не к ним, а к самому, общему с Богом делу, потерпели неудачу, а ведь как он был воодушевлен и какой преисполнен решимости вывести людей на новый духовный виток, обратить их внимание на те великие возможности, еще почти никем в себе не раскрытые, которые лежат в природе человеческого существа и на которые почти никто не обращает внимания. Она сама, она, недоступная и гордая, назначила мне свидание, не может, не может быть! — у нее в спальне, она сама это сказала в ответ на те упрёки, которыми он ее осыпал! Милая, милая, ты услышала меня, ты отозвалась, ты поняла, что это судьба, отозваться на мой страждущий зов!

Потому что Царство Небесное не может быть основано без любви, и не какой-то отвлеченной, а без жаркой и бесконечной любви между мужчиной и женщиной, ведь из множества видов, из всех *caritas, phileo, amore*, — эта любовь сильнейшая, способная изменить самые тонкие планы существования, способная с Божьей помощью опровергнуть и сокрушить тот телесный мрак и эгоистический сон души, в котором пребывает человечество, несмотря на редкие вспышки света. Именно пары, любящие пары созидают Царство Небесное.

Именно сияние, рождающееся между мужчиной и женщиной, именно этот Эрот Урании способен одухотворить материю, придать ей сияние, придать ей, недоделанной, неоконченной, несвершенной и подозрительной — придать смысл, дополнить до реальности, вырвать все обожаемое существо целиком — с душой и телом из темной материи, из сна души и возвести туда, куда стремился подняться Данте вместе со своей возлюбленной Беатриче, — к Богу, к свету



и Любви. И в таком именно порыве приходит и живет свет Царства на земле, а не в ином. Все иные виды любви прекрасны сами по себе, но не действительны, не проникают так страстно и бескорыстно в существо любимой, не возносят тело и дух на те высоты, где царит София, очарованная Душа мира, вечная Женственность, пронизывающая любую травинку, любую капельку на чашке, любую веточку и любого зверька. Но губительно для такой любви соитие плотское, а он стоит как раз на его пороге, он не мальчик и все понимает...

И... надо решаться, потому что он ничего не может с собой поделать, потому что он вымотан этой губительной страстью до предела, потому что ночью мерещатся ему ее светлые локти и обнаженные плечи, ее зелено-серые глаза, и все плывет в странном и загадочном мареве перед его глазами, и его, словно осла на привязи, несмотря на то что он упирается (да и упирается ли?), неведомая сила влечет к ней — возьми ее и умри! — и он, взрослый человек, философ и ученый, — смешно сказать — влеком как мальчишка к запретному, сияющему образу, и нет сейчас силы, которая могла бы ему воспротивиться в этом. И слава Богу, что нет!

Владимир Сергеевич поерзал на ступеньках крыльца и жалобно, почти по-бабьи застонал. Станный звук, вырвав-

шийся у него из груди, его удивил и расстроил. Он сидел в полосе света из окна, а вокруг расплывалась «роскошная» летняя ночь, полная фиолетовых чудес, шорохов и звезд. К нему подошел Барс — хозяйский охотничий пес, с которым уже давно никто не охотился, видимо, привлеченный странным звуком с крыльца, и ткнулся холодным носом в щеку, словно удостоверения философа в том, что все в порядке, не грусти, и вот я здесь, на месте в этом мире, и вон, смотри, забор белеет матовым молоком, и куст с ним рядом тоже есть, и все есть, и будет, как было, потому что, куда же деваться всем этим сверчкам, былинкам или кузнечикам, если мир изменится настолько, что ты себя в нем потеряешь. Нет, не изменится мир до такой степени, что бы ты в нем ни переживал и ни ощущал, как бы ты ни ухаживал за замужней женщиной и ни совершал всяких других глупостей, поцелуев и свиданий, — все равно от мира останется то, что не уйдет никуда, спасительный его кусочек и остаток, и я, Барс, так же буду стоять на этом крыльце и тыкаться тебе в нос, и куст будет темнеть у светлого забора, и свет из окна падать на крашенные доски крыльца, и лениво лаять где-то далеко на идущего мимо путника собака.

Владимир Сергеевич потрепал Барса за загривок и встал. Пес потянулся, выставив вперед во всю длину ноги и задрал зад, снова выпрямился и, сладко подвывая, зевнул.

Так-так, но нехорошо же ввалиться к ней с... пустыми руками. Мысль эта показалась ему чрезвычайно важной, требующей особого внимания и сосредоточения. Конечно же, невероятно глупо войти к ней в спальню... и сказать... а что, собственно, сказать?.. Ведь надо же что-то будет сказать, а он войдет с пустыми руками и будет стоять болван-болваном. Вот если бы он стоял с куклой в руках, все было бы другому.

Стоп-стоп, но почему с куклой? Ведь он хотел сказать про другое, хотел сказать другое слово, не кукла, а сказал «кукла». Но, впрочем, слова совсем ничего иногда не значат, и если и говоришь вместо одного слова совсем другое, то от этого ничего, как правило, не меняется, а ежели и меняется, то даже и к лучшему, в силу что ли свободы, которая непременно входит вослед за такой необязательностью. Сейчас он пойдет вон туда, к темной оранжерее, и нарежет там куклу.

Он нарежет ее из белых зверей и составит их в одну осыпанную, хотелось ему верить, передвечерней росой куклу, и тогда уже, конечно, можно будет идти в гости совсем с другим настроением. Зверей там должно быть много, но вот беда, темно, да уж ладно, он как-нибудь найдет их на ощупь, а впрочем, свет от дома и там ему поможет.

Он пошел к оранжерее, и пес пошел следом за ним, тыча носом сзади ему в икры. Владимир Сергеевич вошел внутрь — скрипнула сухо дверца — поискал спички в кармане, не нашел и стал пробираться мимо кустов, вытянув вслепую руки вперед, туда, где по его расчетам должны были расти белые звери, и он нашел их, и, ощутив их плотные в бахроме и словно бы затянутые в холодный, влажный шелк головки, попробовал отломить одного из них, но только поранился о шип. Тогда он снова полез в карман, чтобы достать перочинный ножик, но тут его качнуло, он сделал импульсивный шаг вперед, выбросив вперед руку, зацепился ботинком о невидимый бордюр и с треском рухнул в самую гущу зверей.

Падая, он рассадил себе щеку и больно ударился коленкой. Он сразу же встал, постоял покачиваясь в темноте, зацепился взглядом за слабо освещенный прямоугольник входа, выровнялся, потрогал щеку, от чего рука стала влажной, полез в карман за ножом, достал его и принялся срезать зверей. Ему казалось, что они должны быть белыми, словно ангелы в первое утро Творения, и что, когда он составит из них куклу, она выйдет огромная, нарядная и белоснежной чистоты, а именно это ему и хотелось подчеркнуть. Что несмотря на все, что несмотря на то, что замужня, а он — философ, и несмотря на то, что друзья и все остальное, что несмотря на все это — вот они самые чистые и белые звери на свете в его руках, составленные в ангела. И именно такую куклу он ей принесет и отдаст в ее белые руки, прежде чем пасть к ее благоуханным стопам и сказать: вот я пришел, простите меня.

Он вышел из оранжереи с огромным букетом в руках, притворил за собой дверь и пошел по дорожке к дому, над которым теперь стояла почти полная луна, похожая на тарелку в муче и сильно потеснившая золотых жуков, распознанных во все стороны и потускневших в ее ослепительно молочном свете.

И тут как раз начал петь, но не сверчок и не какая птица, а невидимый пока что хор-дзиутан (который при желании можно, конечно, назвать ночной птицей и так все и оставить), и как только он запел, что-то стало делаться со всем пространством и временем, которые до этого стояли на дворе неприкосновенно. Они сделались, словно бы внутри одного стеклянного шара оказался точно такой же другой и был прилеплен к первому так плотно, что казалось, что его вовсе и нет, а он вот он, есть, и теперь он разделился от первого и хоть и похож на него, а уже не он. Вот так и стало происходить с пространством и временем, как только запел хор. Можно было сказать, что они — пространство и время — начали размножаться, как будто все новые и новые стеклянные шары, внутри которых были луна и крыша словно бы в муке, и оранжерея, а главное — бредущий к дому человек Владимир Сергеевич, — как будто все новые они появлялись ниоткуда, разделяясь и множась, и совершалось это не просто так, а именно в связи с песней хора, которая была прикреплена не к чему-либо, а к любому, пусть даже самому ничтожному, движению Владимира Соловьева, идущего к дому.

И в результате такого умножения героя и окружающей его ландшафта, что для хора, надо сказать, дело в общем-то обыкновенное и даже основное, произошло вот что — произошла точка выбора. Произошло перекрестье судьбы. И на этом перекрестье было видно, что случится (уже случилось) с философом, скажем, через два года после сегодня, и было видно, что один из них (вероятных Соловьевых) ушел сейчас направо, так и не рискнув, так и не постучав сегодня в комнату к Софии Михайловне, а другой вошел в гостиную и затеял дурацкие игры в прятки с Лонатиным, а третий сидел в длинном пальто на скрипучей от мороза лавочке на берегу финского озера Сайма (через пару лет) и с ним, озером, разговаривал, как с любимой женщиной, а еще один лежал на диване большого дома с колоннами на первом этаже и умирал, а пятый...

А пятый, не заметив подошедшего к нему актера-кокаэна, вынувшего у него из рук букет, составленный из чего попало, только не из белых роз, вложил их ему в руки — млечные, белоснежные, невинные розы, а тот веник унес за

сцену... а пятый, затаив сбивающееся дыхание, подошел к заветной двери, светящейся золотой линейкой света вниз, над темным полом, постоял в нерешительности пару минут, нескромно прислушиваясь, что там за дверью происходит, и мучаясь от этой невольной нескромности и задыхаясь от жалости то ли к себе, то ли к той, что была там, за дверью, тихо взвыл и стукнул в дверь три раза. Причем первые удары по двери не попали, а попали по воздуху — так сильно он страдал и волновался. И когда он постучал еще раз, то слышался мягкий голос: «Войдите...» И он толкнул дверь, зажмурил глаза, уткнул нос в букет и вошел.

Отрывок из Данте

Не на дерево ли похож человек, и мысль такая набирает силу особенно во время разглядывания свежеспиленного ствола какой-нибудь столетней липы, особенно при взгляде на годовые кольца, когда вдруг осеняет, что кольца эти — следы одно внутри другого существующих деревьев, вложенных концентрически во внутренний цилиндр их общего ствола, покрытого корой. Осеняет, что все внутренние годовые деревья никуда не делись, но находятся в сохранности и продолжают вести свою потаенную, сокрытую от взгляда жизнь, по-прежнему влияя и определяя рост большого дерева. И тут возникает догадка, что время не только у мистика и собеседника ангелов Сведенборга, но и в нашем мире никуда не девается, а просто укладывается внутри человека во внутренние его кольца, про которые можно и такое сказать, что человек вложен сам в себя как матрешка столько раз, сколько он прожил на земле лет, а вернее, с мига зачатия (как и считают возраст на Востоке), и все эти люди — младенцы, дети, юноши (девушки), взрослые, зрелые, пожилые — живут в одном человеке под одной корой внешнего тела, так никуда и не деваясь. И не только живут, но и действуют.

А ведь еще все тот же Сведенборг предупреждал после беседы с Ангелом — ничто никуда не девается, и все, что было в вашей жизни, в вас продолжает жить, вплоть до обидного слова «козел» в адрес подрезавшего вас водителя, про которого вы, конечно же, не помните, но тот, который в

вас, внутри вас и жил, и живет в тот самый год и день, — он помнит, и впоследствии, как утверждал Сведенборгов ангел,



информация про «козла», как и про все остальное — любую мысль, слово, движение, картинку, сновидение, влечение, отвержение, измену, благое слово, — считается на Суде, поскольку есть такая возможность, ибо вся она сохранна тем народом, который множился в вас, который и есть вы, который жил и общался с миром все эти годы. К шизофрении это, конечно же, напрямую не относится, но некая многоцентровость сознания здесь, конечно же, уже намечена.

Собственно, это ваш карманный арсенал личной прижизненной метемпсихозы, или, говоря проще, личная обойма перевоплощений, которой вы пользуетесь, впадая в истерику, например, когда задет и обижен ваш «внутренний ребенок», о котором столько говорят психологи, а вы так и не можете понять, откуда взялась истерика, или переживая радостное возбуждение при каком-то запахе, скажем, духов или холодного морского ветра из приоткрытого окна с видом на мост, не подозревая, что это радуется ваш внутренний подросток, которому было так хорошо от этого запаха или рядом с этим приоткрытым окном. Поэтому не спрашивайте — где же я или кто я? Никто вам на этот вопрос не ответит, и здесь возможен только один ориентир — вы сами устанавливаете, где же вы и кто вы на самом деле. В этом вопросе обычно есть масса подсказчиков, и все они — вруны, разумеется, отчасти, начиная с Канта и кончая вашей соседкой по лестничной площадке.

Итак, возвращаясь к нашему центру выбора и его точке посреди лунного двора имени Иевлево-Знаменское,

где, как мы видели, существовало прямо сразу, как внутри липы, несколько Владимиров Соловьевых, один из которых сейчас постучал в дверь к Софии Михайловне и вошел, пряча лицо за букетом белых роз, — возвращаясь к нашей инвариантности и временной синхронности, так явно обнаружившей себя в эту летнюю ночь 1892 года, обратим внимание на того Владимира Соловьева, который существует в 1883 году.

В июне 1883 года он пишет Аксакову: «Я в это время много езжу по остаткам Брянских лесов, а дома упражняюсь в языках, читаю униатскую полемику 16 века по-польски и Данте по-итальянски». Об униатстве мы как-нибудь потом, а вот что пишет по поводу увлечения Данте племянник Владимира Сергеевича: «Не без влияния гибеллинских идей Данте возникает в его уме идея о теократическом призвании русского императора. В письме к Аксакову он пишет,



что идея всемирной монархии принадлежит не ему, а есть вековечное чаяние народов. И далее Соловьев сообщает, что намерен говорить о всемирной монархии словами Данте и Тютчева...» — так-так, ну это пропустим пока, а вот на это обратим внимание... впрочем... впрочем, тоже пропустим, потому что нельзя же объять необъятное. А обратим-таки внимание не на это, а на то, что Владимир Сергеевич в это время читал Данте по-итальянски и, несомненно, не раз останавливался на фрагменте, который, принадлежа устам Беатриче, по-русски звучит следующим образом:

И начала: «Все в мире неизменный
Связует строй; своим обличьем он
Подобье Бога придает вселенной.

Для высших тварей в нем отображен
След вечной Силы, крайней той вершины,
Которой служит сказанный закон.

И этот строй объемлет, всеединный,
Все естества, что по своим судьбам —
Вблизи или вдали от их причины.

Они плывут к различным берегам
Великим морем бытия, стремимы
Своим позывом, что ведет их сам.

Он пламя мчит к луне, неударжимый;
Он в смертном сердце возбуждает кровь;
Он землю вяжет в ком неразделимый».

А какое это все имеет отношение к великой дачной истории Владимира Сергеевича Соловьева, спросите вы. К букету белых роз? К желанию разделить ложе с любимой женщиной и боязнию этого, к псу по имени Барс или черному кусту отцветшей сирени у седого от луны забора? И будете правы — никакого на первый взгляд. И все же эти строки заключают в себе ту идею, оказавшуюся для Владимира Сергеевича решающей, центральной, можно даже сказать жизнеобразующей — идею всеединства, которую отнодь не следует понимать в ключе тоталитарном, как это делают вообще все современные борцы за самоопределение частных и маргинальных меньшинств. Потому что, определяйся или не определяйся в меньшинства или большинства, как рыба в одиночество или в стаю, ты — рыба — все равно плывешь в Океане и перенимаешь строй того, что дает тебе жизнь, и это уже все равно, куда ты плывешь — направо или налево, или вообще стоишь на одном месте, или даже взяла и утонула, как акула, которой на одном месте нельзя стоять в силу тяжести ее веса. Короче говоря, сила гравитации, скажем, не является тоталитаризмом, как и общий строй, пронизывающий всю вселенную и придающий ее обличью «подобье Бога».

Какое еще подобье, спросите вы. И снова будете правы. Никакого подобья углядеть поверхностный взгляд здесь не

сможет, потому что Бог это не объект. Один мой знакомый, например, считал себя Богом, ну и что — все равно хороший был человек. Но дело в том, что в отличие от философа, например Подороги, физики уже доказали, что вселенная единая и голографична (голономна), но эти физики ему не указ — и правильно. Потому что он сам человек великий и живет в Москве, тут, прямо рядом, неподалеку.

Но некоторые физики читали Данте и каббалу, а вот философ Подорога Данте читал, а каббалу если и читал, то не вникая. А Данте читал каббалу, вникая, потому что весь его маршрут по раю является подтверждением чертежа каббалистического Древа Жизни и точно воспроизводит (правда, в обратном направлении) Молнию Творения, идущую и формирующую последовательно в духовном и физическом плане планеты от высших к низшим, от менее плотных и предстоящих Божественному сиянию — к более плотным и удаленным: Эмпирей — Перводвигатель Сатурн — Юпитер — Марс — Солнце — Венера — Меркурий — Луна — Земля.



Причем всем этим промежуткам между планетами соответствовали некие промежуточные мосты в пространстве, по которым Данте с Беатриче двигались от одной «звезды» к другой. И вот тут начинается самое интересное. Что же это были за мосты? На Древе Жизни они обозначены как

каналы, каждому из которых соответствует определенная карта колоды Таро и определенная буква (сила) еврейского алфавита. Если уж быть конкретными, то в такой вот последовательности: алеф — далет...— тет — бет — нун — самех — реш — тау. Спрашивается, каким же образом Данте находил эти каналы и преодолевал их? Кажется, об этом писал Борхес в своих микротрактатах, посвященных путешествию в рай, пытаясь ухватить и определить силу, возносящую Странника от низших уровней духовности к высотам блаженного созерцания, неумолимо и властно приводящих его к Единению в сверхчеловеческой любви со всем миром.

Скажем об этом своими словами. Каждый раз, прежде чем устремиться с одной планеты на другую, Данте глядел в глаза своей возлюбленной Беатриче, созерцая их божественную красоту, и в этот вот самый миг включалось некое неизвестное устройство, некий «небесный лифт», который переносил любящую чету с одной планеты на другую. Об устройстве этого загадочного механизма остается только гадать, заметим лишь, что его запуск был неуклонно связан с созерцанием влюбленным глаз своей любимой, да и всего ее тонкого светящегося тела, как бы претворенного в чистый свет в ее взгляде. Одним словом — мосты для трансфизического путешествия шли через тело Беатриче, через тело возлюбленной. Или, другими словами, каждый полет с планеты на планету некоторым образом начинался со встраивания в качестве моста той или иной буквы (силы) или карты (архетипа, ситуации, аркана, набора сил) в живое, хотя и неземное, нематериальное тело Беатриче.

Или можно сказать, что тело подруги Данте в своем небесном варианте — единственно должном — содержало в глубине своей все возможные буквы алфавита, а следовательно, и все их возможные на небе сочетания, а следовательно, и бесконечное количество написанных или еще не написанных книг, среди которых, возможно (а скорее всего, так оно и было), находилась и сама «Божественная комедия», и Данте оставалось только считывать свои терцины, проникая взглядом в сияние своей подруги до того смысла и уровня, в котором поэма была завершена. Для этого ему потребовалось взойти вместе с ней на небо. Или можно сказать еще так — ведя своего друга к небу, позволяя ему, таким

образом, быть причиной маршрута и движения, она, пусть опосредованно, позволила ему вписать в свое тело те буквы и состоящие из них слова, которые только и делали небесное путешествие возможным. И это второй вариант создания бессмертной поэмы, вторая, так сказать, версия ее происхождения. Но, так или иначе, мы видим, что путешествие к Высотам и Первореальности было напрямую связано с записыванием слов поэта на теле возлюбленной.



И есть тут еще одно обстоятельство, о котором стоит упомянуть с некоторым беспокойством или недоумением. Дело в том, что мост между Юпитером-милосердием (Хесед) и Сатурном-пониманием (Бина) буквы не имеет и на плане Древа Жизни никак не обозначен, потому что тут расположена нефизическая Бездна, или, как говорят каббалисты, занавес. А следовательно, говоря о содержании «Рая», хотя и с некоторым преувеличением можно сказать, что это история о нахождении утраченной буквы. О нахождении — потому что ежели там все-таки несмотря ни на что оказался мост и путешествие с планеты на планету непонятно каким образом, но все же осуществилась, то там должна же быть и буква. Однако ни канала, ни буквы, как уже было сказано, Древо Жизни не содержит или намеренно скрывает. Можно только гадать — передала ли Беатриче сколь бы то ни было

внятное знание этой буквы Данте или такое знание на человеческом языке вообще невозможно (в силу чего Древо и умалчивает о нем), хотя и все равно осуществимо, что говорит — который раз! — о том, что человек иногда свершает вещи недоступные ни его природе, ни его пониманию. Потому что время от времени он, не понимая, не подступаясь, не отчаиваясь, просто делает это. Делает невозможное и даже неизреченное — возможным и осуществленным. Но, скорее всего, для таких немислимых и неназываемых событий ему все же нужна небесная его подруга.

И наконец, Владимир Сергеевич читал Данте по-итальянски и изучал еврейский, и на обоих языках и в обеих книгах — «Торе» и «Комедии» — речь шла о Единстве, другое имя которого — Любовь, что движет солнце и светила.

И вот что еще знал Данте по поводу единого порыва и вечного строя, объемлющего все существа:

Он пламя мчит к луне, неудержимый;
Он в смертном сердце возбуждает кровь;
Он землю вяжет в ком неразделимый.

Та же самая единая сила Божья, что от вершины Древа нисходит к Солнцу (Тифарет) и от Солнца «мчит пламя к Луне», она же «возбуждает кровь в сердце», которое и есть Солнце в другом своем проявлении, и она же связывает землю в ком. Конечно, можно сказать, что это все разные силы, — и на здоровье. Говорите, сколько угодно. Потому что все, что тут только что сказано, сказано шутком, или скоморохом, или даже сковородой, которых можно также назвать в случае чего при помощи зеленого веера — и зябликом, и интерфейсом, и пением ночной птицы, или даже корифеем театра. Но, и это тоже будет правильно. Так вот эта самая сковорода, или птица, или корифей вот еще что спели: «Да будут все — едино». Это спели они из последних слов Христа за час примерно до его ареста, так что их, слова эти, можно расценивать как бы в качестве духовного завещания. И вот еще, что эта сковорода-философ спел: мудрость идет от Беатриче, а Царство Небесное создается любящими парами. Философ Владимир Сергеевич Соловьев настаивал на этом факте особо всю свою жизнь, несмотря на то, что

все его собственные попытки по созданию любящих пар так и не привели к какому-либо положительному результату, чего нельзя сказать о свете Царства, который этот человек, несомненно, нес людям большую часть своего здесь бытования. Последняя попытка образовать такую пару случилась в связи с философом и северным озером Сайма, которому он посвятил нежнейшие и влюбленнейшие свои стихи, что свидетельствует, например, о возможности искренней любви между человеком и озером. Но говоря о парах земных, мы так и не упомянули пары небесной: Владимир Соловьев — София Премудрость. А без этого упоминания все остальные, скорее всего, теряют смысл, во всяком случае, в канве нашего повествования.

Свидание

Внезапно он почувствовал, что и букет, и прятанье лица в нем, и страхи, осаждавшие его, пока он шел по коридору и стоял за дверью, отделились и исчезли, а вместо вошла сила, похожая на огромное зеркало, в котором, захоти он только, смог бы отразиться сейчас весь мир, а вместе с силой вошло и освободительное вдохновение.

Она стояла перед ним, одетая в зеленое платье, отсвет которого добирался до ее глаз, делая их похожими на два зеленых осколка. Высокая прическа, хрупкое белое горло, губы, от которых хотелось одновременно и плакать и смеяться, промельк золотой искры — в кольце с бриллиантом, но не только в кольце, а во всем — тонкой талии, где-то в виске, в дробленье света в огромных глазах, в изгибе запястья. Это была не та, с кем он расстался на крыльце, не та, а совсем другая — зеленая, чудная явившаяся из небесного Египта, шуршащая, осыпанная искрящимся светом, словно бы ищешь какое-то слово, чтобы наконец выговорить все, что случилось в твоей жизни хорошего и плохого, чудесного и главного, вот того самого главного, о котором сейчас только и стоит сказать, но оно все никак не выговаривается, и тогда мучительно, пытаясь объяснить, что же именно в твоей жизни главного и кто такой сам-то ты есть на свете, начинаешь угловато и косноязычно мычать и жестикулировать,

преображаясь в, что ли, скрипящий корявый куст на ветру, а оно все не выговаривается и не выговаривается, — целый век, всю-то жизнь оно не выговаривалось и не выговаривается, и вот вдруг что-то тихо сверкнуло, бахнуло, отодвинулось, и оно взяло да разом и выговорилося. И ты стоишь посреди сияния и в луже нездешнего света и ничего не хочешь больше, и ничего не вешишь, не веря до конца, что такое с тобой взяло и произошло.

Вот такая вот выговоренность целого огромного косноязычного узла его жизни, заплетенного темными углами вселенского платка-хаоса и, казалось, невозможная в последние годы для прояснения и понимания, стояла сейчас перед ним в зеленом платье и тихом блеске, и это была не она, а он сам, выговоренный легко и без всякой запинки, единым словом, осуществленным в мерцающей красоте и жизненном розовом тепле, исходящем от женского, казалось, просвечивающего остальными предметами тела.

Он улыбнулся. И протянул букет белых роз, тяжелый, никнувший под собственным праздничным и упругим весом.

Она взяла цветы на руки, как ребенка, всю их тяжесть и оханку, склонила на миг голову к ним, словно поцеловала, понесла к вазе.

— Как вы себя чувствуете? — спросила она его, не поворачиваясь.

— Жутко, — усмехнулся он. — Крался по коридору, как вор. Чувство, словно кто-то с ружьем подстерегает... Знаете, два года тому назад гостил я у Афанасия Афанасьевича Фета и как-то пошел прогуляться, а к его дому в это время пришли недовольные чем-то мужики, чего-то там требовать в очередной раз, а он вышел на крыльцо в халате и с двустволкой, навел на них ружье и говорит: сейчас я вас всех из этого поганого ружья перестреляю. Иду я, значит, назад, в дом, встречаю этих самых мужиков, бредут мрачные, задумчивые. Я и поинтересовался, о чем это они так задумались, не случилось ли чего. А они стоят, мрачно так и важно переглядываются, а потом старший как-то торжественно даже говорит: ишь Афанасьич, старый черт, грозился нас застрелить из поганого ружья. Сказал и вновь замолчал, снова задумался. Потом крикнул, плюнул, на том и разошлись. Так вот, иду я к вам, задумался, как те мужики, и все-то жду, что

кто-нибудь меня из поганого ружья ненароком пристрелит.

Она рассмеялась грудным смешком, поворачивая вазу к свету.

— Прекрасные розы, так хорошо, правда? Вам оттуда видно? Присаживайтесь.

Он с трудом отвел от зеленого платья глаза, сердце сильно билось, так, что начал даже задыхаться. И тут раздвоилась она в своем зеленом платье на одну, в зеленом платье с цветами, неизъяснимую, и на другую — словно с тремя сияющими глазами, хотя, конечно, никаких трех глаз не было, а было одно только тихое струение света, как бывает струение снега между сугробами в ясный январский день.

— А вы мне фант должны, желание, помните?

— Помню, — хрипло бормотнул он, глядя за той ясноокой, словно бы трехглазой, из которой точился и достигал его ясный белый свет, отчего сердце его пело и смеялось, но ощущение в горле не проходило.

Трехочитая и юная, она смотрела на него пристально и испытующе, а вторая, прелестная, вновь усмехнулась и сказала:

— А выполните ли?

— Что? Что выполнить? — как замороженный отвечал он.

— Владимир Сергеевич, дорогой, — почему то зашептала она, склонившись к нему низко, так что волосы зашептали ему щеку, — только вы, только вам... Смешно, конечно... Глупое, конечно, желание, но вы, конечно, ничего не должны делать, ничего можете не делать... Или вы просто можете сделать это, ничего не понимая, а можете понять и сделать.

— Да что, что сделать-то? — Он был словно во сне и понимал это, все озираясь на ту зачарованную, словно трехокою, сияющую клубами тонкой красоты из-за вазы с розами, и поэтому говорил не вдумываясь, словно машинально, потому что никакой возможности что-то обдумать и решить под этими глазами и светом не было.

— Я... Вы... Словом, помогите мне растегнуть платье.

Он с трудом выбрался из глубокого кресла и, когда она повернулась к нему спиной, стал словно сам не свой растегивать зади застежки и кнопки начиная от белой шеи и вниз. Он еще раз убедился, что сердце его страшно колотится и что он продолжает задыхаться, а потом перестал обращать

на себя внимание, отдавшись странной силе, что схватила его, как вода, когда в нее прыгаешь. Он раскрывал белую спину с изящными лопатками, дойдя до тонкой талии, и все равно там еще оставались какие-то ленты и шнурки и мешали ему до тех пор, пока она, извернувшись по кошачьи и задрав снизу за спиной руку почти до шеи, не обнажила несколькими быстрыми и неуловимыми движениями торе до пояса.

— Возьмите, возьмите там... — пробормотала она, не поворачиваясь и указывая рукой в сторону.

Он стоял и как зачарованный глядел на обнаженную спину, от которой шло мягкое сияние, словно бы от створки раковины, найденной им однажды на речном песке. Но если та раковина была в песчинках и валялась под ногами, как непонятная игрушка, из которой делают пуговицы, то эта была спиной живой женщины и казалась одновременно живущей и выброшенной на песок, выпуклой, с темной мягкой линией позвонков и словно бы похожей на овраг с клубящимся оттуда туманом.

— Там, там... ну же... — повторила она, не поворачивая к нему головы.

— Да что, где же?.. — невнятно отвечал он, пока наконец не увидел на ночном столике пузырек, похожий на тушечницу, и кисточку рядом с ним. Точно такую же он видел недавно в кабинете Михаила Александровича Хитрово, поэта и дипломата на службе в Японии.

— Что надо, что?.. — Он взял тушечницу, кисточку и снова приблизился к ней. Она так и не пошевелилась, стояла молча, словно выросла в наготу по пояс из своего зеленого платья, как из стога золотого сена, он только видел, как разрумянились ее щеки и бился родничок пульса на белой шее.

— Я... мне кажется... вот уже целый год... что спина у меня настезь открыта... что меня всю в нее однажды утянет и вытянет, что душа вылетит, как в сквозняке... — трудно прошептала она. — И из-за этого мне страшно до судорог, до обморока.

— Да, да, — я понимаю, — сказал он, ощущая неожиданно подступившую жалость и желание по-настоящему понять и помочь. И он понял.

— Да, да. Я все сделаю, только скажите... — начал было и

тут повернулся к кусту роз, словно его притянуло магнитом.

— Напишите что-нибудь, пожалуйста, что-нибудь, доброе, любящее... все равно что.

Но он уже не слышал.

То есть он слышал ее голос, но не мог разобрать слова, потому что белая трехокая сила, пришедшая из куста роз, заставляла его слышать совсем не те, а вовсе другие слова, которые он слышал уже не один раз в своей жизни — ч удные, светлые, полные смысла и нежности, потому что принадлежали они не простой женщине, а шли от возлюбленной его Подруги, небесной Софии, с которой он переписывался автоматическим письмом вот уже который год.

Он открыл тушечницу, обмакнул кисточку в красную тушь и поднес к белой спине. Сначала кисточка вывела между лопаток красный иероглиф «искренность», начертание которого ему объяснял все тот же Михаил Александрович Хитрово, и он почувствовал, как дрогнула спина от прикосновения, а потом он уже ни о чем не задумывался и ничего не замечал, а просто наносил одно слово за другим, а когда на спине, испещренной красными письменами, не осталось больше места, когда он дошел до тонкой талии, перехваченной темным зеленым поясом, и замер в растерянности, то с удивлением обнаружил, что наверху место снова свободно, и он разогнулся и стал наносить быстрым почерком все новые и новые слова. И когда София, словно обессилев, присела медленно на кровать, все еще спиной у нему, он, не переставая писать, последовал за ней, а кисточка, не отрываясь, выводила следующие слова: ...а кисточка, не отрываясь, выводила следующие слова, Арсения шла за незнакомцем, потому что, как она поняла, он уже не был незнакомцем, а был тем человеком, которого она разыскивала. Когда он, собрав свои живописные принадлежности, все так же безмолвно сложил этюдник и, закрипев галькой, отправился к набережной, маяча спиной, слабо выбеленной лунным светом, она быстро накинула платье и тихо пошла за ним...

Он писал, не останавливаясь и приравнивая к каждому движению ее тела, потому что через какое-то время она приподнялась и встала на колени, и он был вынужден изогнуться всем телом, чтобы продолжать записывать все новые и новые буквы и предложения, не останавливаясь. По-

этому он тоже встал на колени, и сначала он писал сбоку, но это было страшно неудобно — у него тут же затекла спина и стало покалывать за лопаткой, и тогда он, перебирая коленками, переменял положение, оказавшись сзади, над ее спиной, прижавшись к зеленому платью брюками и упершись одной рукой в покрывало для верности, когда надо было дотягиваться кисточкой до шеи. Он писал автоматическим письмом, частью понимая смысл слов, а частью пропуская и не вдумываясь.

После кусочка с именем Арсении пошли стихотворные строки из Данте, потом описание незнакомого ему южного города, в котором какая-то девочка пыталась разыскать и разыскала любимого человека, потерявшего память, потом еще несколько фраз, как она опять его потеряла и разыскивала по всему побережью, пересаживаясь из «автобуса в автобус» — странные, непривычные слова, потом несколько слов о церкви Святой Троицы, что в Сергиевом Посаде, потом другие слова, в которых была такая глубина, что больше не оставалось никаких сомнений в том, что мир устроен с любовью и справедливо, а чтоб доподлинно убедиться в том, что все его страдания на самом деле уже закончились, стоит только посмотреть на это повествование, которое, брызгая красной тушью, выходит у него из-под руки, стоит только заглянуть в ясную глубину этих слов, и он писал их дальше и дивился, что так глупо не понимал того, что яснее ясного, о чем говорят не только эти красные строчки, но и любая вещь на свете — дерево, небо, калитка, лес, рука любимой, майский жук — говорят о том, что все будет хорошо, что все уже бесконечно хорошо и блаженно, но почему-то только мы, люди, этого до сих пор не замечаем и играем в то, что будто бы есть на свете смерть и страдание, не подозревая, что ничего такого на свете нет, что мы сами все это придумали и осуществили и не хотим от смерти и страдания ни за что отказываться, а отказаться от них так легко, как легко понять эти тихие красные письма на белом, исполненные покоя, умиротворения и любви. Слова, в которых поймана в буквах вся история мира, все ее тайны, вся ее легкая звездно-человеческая магия, которая никуда не девается, а растворяется мягко в матовой живой коже, чтобы стать кровью, дыханием, лимфой и составом всего человека, отныне

знающего и бессмертного, запечатленного этими простыми знаками, как обыкновенной, бездонной и доступной любому истинной жизни.

Он почти навалился на хрупкую и обнаженную поясницу сверху, продолжая свои записи, когда внезапно услышал, как София тихо засмеялась. «Что? Что?» — спросил он, не переставая писать, а она смеялась все громче, мягким своим, словно шелковым голосом, пока не произнесла: «Хорошо! Боже мой, как же мне хорошо!»

Он краем глаза заметил, что постель вся покрыта красными кляксами, потом покосился на ту, трехугольную, но той больше не было, куст белый погас, и он почувствовал, что слова внезапно кончились, а тишина стала еще глубже.

Тогда он встал, держа кисточку в руке, с постели и отошел в угол комнаты. В постели, на коленях, сияя белой спиной, покрашенной красными буквами, уткнув голову с размазанными темными прядями в подушку, в непристойной и ослепительно прекрасной позе застыла обнаженная по пояс женщина в зеленом платье, словно в летнем опавшем стогу, и он видел, как мягко белела ее небольшая грудь с розовым соском, вздрагивая от смеха, и как легла вдоль тела рука, вывернувшись вверх ладонью с брызгающим бриллиантом на тонком пальце, и как она, отвернув лицо к стенке, повторяла «Боже! Боже, как хорошо!» и продолжала тихо смеяться и всхлипывать.

Мороженое с клубникой

Арсения шла за незнакомцем, потому что, как она поняла, он уже не был незнакомцем, а был тем человеком, которого она разыскивала. Когда он, собрав свои живописные принадлежности, все так же безмолвно сложил этюдник и, заскрипев галькой, отправился к набережной, маяча спиной, слабо выбеленной лунным светом, она быстро накиннула платье и тихо пошла за ним. Вдоль набережной светили фонари и играла музыка из ресторанчиков, изредка можно было увидеть женщин в вечерних платьях в стиле «из алькова в альков», луна здесь была уже не такой яркой, и ее

запросто можно было перепутать с каким-нибудь крутым светильником над головой. Арсения шла за Шарманщиком, изучая его спину в синей рубашке и серые вельветовые джинсы, до тех пор, пока они не поднялись в город, где, миновав несколько все менее освещенных улиц, Шарманщик (а она была уверена, что это Шарманщик) вошел в открытое летнее кафе, отгороженное от улицы несколькими деревьями олеандра с бледными, как лицо утром, цветами и низким деревянным забором.

Она немного потопталась у входа и тоже вошла. Перед пустой сценой, подсвеченной свисающей гирляндой лампочек, расположились столики с немногочисленными посетителями, но Шарманщика среди них не было, и тут она по-настоящему испугалась. Ей показалось, что он мог пройти кафе насквозь, выйти на улицу и затеряться в ночном городе и что теперь она его уже никогда не найдет. Она поискала взглядом официанта, но вместо официанта заметила дверь внутрь как раз под химически-розовым подсвеченным названием заведения, отчего олеандровые кусты казались облитыми раствором марганца и от этого жестяными, и вошла. В баре тихо играла музыка, а в фиолетовом сумраке были все те же столики и за ними тихие парочки с сигаретами, и она пошла вдоль них, неприлично заглядывая в лица и спотыкаясь о чьи-то ноги, но Шарманщика и здесь не было, и она уже было направилась к бармену, чтобы спросить, но наткнулась на лестницу, которая прямо из-под ног уходила в подвал.

Туда она спускалась, дрожа всем телом и ставя ноги на ступеньки не уверенно, а кое-как, плохо их под собой ощущая, чувствуя, что ее колотит так, что лязгают зубы, потому что сейчас она спустится в этот самый подвал, и будут стоять там столики, тысяча слабо светящихся от ароматических свечек на каждом, с тихими, почти что мертвыми серыми парами, и конца и края им не будет, и можно там ходить среди них часами вдоль и поперек и по кругу, и все равно, конечно же, так и не найти никакого Шарманщика, раз уж он давным-давно прошел кафе насквозь и идет сейчас в какой-нибудь обыкновенной или необыкновенной, но именно что своей жизни, куда ей, Арсени, хода нет.

Она ступила на цементный пол — в углу стояла пара столиков, и за одним из них в свете небольшой круглой лампоч-

ки, утопленной в стене, сидел Шарманщик, а напротив него на стуле валялась папка с рисовальной бумагой. Он сидел к ней спиной, и она подошла и села за свободный столик рядом.

— Привет! — сказала она.

— Привет, — отозвался он. Поглядел на нее напряженно, чуть улыбнулся, глянул в сторону лестницы, словно бы рассчитывая, что с ней придет кто-то еще.

— Меня зовут Арсения, — сказала она и посмотрела ему в лицо, а ведь она впервые видела его, потому что там, на пляже, сидела спиной, а потом, по дороге сюда, все время шла сзади. И теперь от этого и еще от чего-то другого голос ей не повиновался и руки подрагивали. Потому что... да — потому что.

Потому что это был он, тот, кого она искала и от кого получала все это время записки и эсэмэски. Об этом говорили его губы и ее губы, его руки и ее колени, круглая дырка со светом в стене и ее плечи, его голос и ее волосы и пульс и тяжелое теплое перекачивание в животе и цементный пол. И запах кофе, и холод от спинки стула. И все остальное тоже.

Она представляла его себе по-другому. Он был немолод, с загорелым усталым лицом, со светлыми, по контрасту с темной кожей, глазами, от которых к вискам разбегались веером белые лучики морщинок, и под ними ступились, словно припнувшись, тени. И еще длинные волосы и сломанный нос, это было заметно. И когда повернулся к ней, почувяла, что гульнула на миг по лицу, за темнеющей кожей, смуглая волна цыганского жара, сильно отозвавшись у нее в животе, но тут же пропала, и вновь лицо как лицо, усталое, почти равнодушное.

— Меня зовут Арсения, — повторила она, и он согласно кивнул головой.

— А вы — Шарманщик.

На миг он озадачился и опять улыбнулся.

— Может, и Шарманщик, — согласился он легко. — Как скажете. — И добавил: — Только таких вроде бы уж на свете не осталось.

Она, конечно же, держала в уме, что он все забыл, собственно, точно так же, как и она сама все забыла, но только если она все же получала эсэмэски, письма по электронной

почте, находила его послания в самых разных местах и знала хоть что-то про их общую жизнь в прошлом и про то, что они эту жизнь сначала вели, а потом забыли, то Шарманщик по условиям странного эксперимента, который они добровольно решили над собой проделать, про все это теперь уже не знал, знать не мог. Для него, как он выразился, ангел забвения уже хлопнул в ладоши, и память погасла, не дав ему ни намека, ни искры обратной.

И поэтому ей было странно разговаривать с тем, кто думал, что она совсем никто для его прошлого, а она знала, что в этом прошлом целовала его и гладила по щеке и они вместе путешествовали и говорили о разном. Про себя она этого тоже не помнила, но знала, и это было похоже, как стоит лодка, пустая, никого в ней нет, только озеро вокруг в ряби от ветра, и солнце заходит, а тебе рассказали, что твой друг целый день провел в этой лодке, причаливая к берегам озера и не один, а с твоей подругой, и вот ты смотришь на эту лодку, и ничего там нет — обыкновенное дно, накрытое сбитыми планками, и на дне отсвечивает гуталином и серебром вода, а спинка сухая, с чуть растрескавшейся голубой краской, и весла убраны, выпуты из пазов, лежат сухие вдоль лодки, и вроде пуста она, но для тебя полна жизнью, почти шумом, призрачным красным следом помады в воздухе и в воздухе же сетчатым поцелуем. А поскольку это близкая подруга и между вами много чего выговорено-проговорено, то все, что случилось здесь в этой пустой лодке с ней, до какой-то степени случилось и с тобой, и ты стоишь и смотришь на эту лодку, вытаскивая из ее мокрого дна, как фокусник из шляпы, все новые и новые предметы, жесты, обстоятельства и звуки. И еще она рыжая — подруга. Рыжая до омерзения, такое тоже не забудешь!

Он взял бутылку с нарзаном в руки, покосился на нее и спросил, не хочет ли она пить.

— Да, — сказала она, — хочу. — И дальше не знала, что говорить, но понятно, что надо было знакомиться, и она сказала: — А часто вы рисуете под лунной?

Он посмотрел на нее пристально, прищурил глаза:

— Так это вы? Та чудесная девушка, которую я, наверно, до смерти напугал? Ах ты, черт, ах ты!..

Он фыркнул и пробормотал что-то невразумительное. Потом привстал, протянул руку. Она протянула свою — рука у Шарманщика была сухая и жаркая.

— Вот ведь... А я даже хотел вернуться и попросить прощения, но потом решил, что оставлю все как есть. Бог ты мой, я ведь сначала и не понимал, что это... живая девушка... потом уже стал понимать... и тогда решил все свернуть и уйти...

Он разволновался и встал с места, задел за стул, тот грохнул по цементному полу ножками и чуть не свалился, но удержался.

— Да ничего страшного, — сказала Арсения. — Я бы тоже на ком-нибудь хотела попробовать порисовать. Да вы успокойтесь, я совсем не испугалась.

— Правда? Ах ты!.. ах ты, черт!

— Правда-правда, ни капельки. Это, наверное, от луны. Мне казалось, что я лунатичка, и поэтому все было не настоящим. Мне было... даже приятно немного. А почему вы забрались в подвал?

— Музыка не орет. Здесь тихо.

— Правда, тихо. — Она закрыла глаза и прислушалась.

— Хотите чего-нибудь?

— Даже не знаю.

— Как вас зовут? Ах да, Арсения... Вы что, правда, на меня не в обиде?

— Какие там обиды! Скажите, а как тут можно сделать заказ, я бы съела мороженого.

Он вскочил с места — вот чудак, бегает как мальчишка, и что его так растревожило, ну подумаешь, разрисовал незнакомую девушку, боди-арт называется.

Через минуту он вернулся, запылавшись, вместе с взъерошенным официантом, который, было похоже, спал за печкой.

Я выбрала два шарика с клубникой и дольками манго, а когда официант ушел, положила на стол листок бумаги, записанный от руки, один из тех, которые я получала от Шарманщика, и сказала:

— Это вы писали?

Он взял листок в руки, покрутил у светящейся круглой лампы в стене и сказал:

— Я. Как это к вам попало?

Как раз тут я заметила под пустым соседним столиком пару белых детских башмачков, у одного из которых была расстегнута пряжка, и подумала, откуда бы там им оказаться?

Цветок истории

— Совершенно не помню, когда я это писал. Откуда это у вас?

И тогда я собралась с духом и рассказала ему все. Как все эти месяцы получала эсэмэски и находила в разных местах его записки и аудиозаписи, и что в них было, и как я поверила, что действительно не помню про большой кусок своей жизни, связанный с ним, и про Владимира Соловьева и Вавилонскую башню, и про Луку, как я нашла у него на чердаке записки в чехле от телескопа, и про то, как сначала думала, что это — розыгрыш, и как все эти рассказы-истории у меня никак не складывались в одно, а потом стали складываться, и все в них совпало, и про выпавшую букву, и про Пеликана и Руслана, и как я решила его разыскать, чтобы спросить, как это все было, но потом поняла, что если все было правдой, то спрашивать не у кого. Потому что, если все было правдой, то и он должен все забыть, и, скорее всего, это он меня должен спрашивать, если хочет узнать что-то о своем прошлом, а не я его. И если он спросит меня, чего же я собственно хочу, то я отвечу, что, собственно, не знаю.

Мое мороженое растаяло, а я все говорила. Он слушал меня молча, только несколько раз наливал себе из бутылки воды, и я видела, как ходил его кадык, когда он пил, но вообще-то я не смотрела в его сторону, а смотрела туда, где возникла Башня с переходами и цементной пылью на полу, и как по ней шел Владимир Соловьев, и как он там встретился с волком, а потом увидал ту девочку, которую я видела на цементном заводе под С., а потом увидал там и меня тоже, потому что было ясно, что это он меня там увидал с Никитой-глухонемым, и еще я видела, как Шарманщик (тогда он, наверное, был помоложе) шел по улице Кракова, влюбленный в Цецилию Галерани, — потому что там, куда я смотрела, все, о чем я рассказывала, автоматически возникало и

происходило, да так отчетливо и объемно, что мне начинало казаться, что оно и есть на сегодня моя основная жизнь, а то, что мой голос рассказывает в подвале кафе параллельно с происходящим еще и историю про это происходящее, — было фактом, к основной действительности имеющим отдаленное отношение. Не помню, сколько времени я говорила, но к концу разволновалась ужасно. Нереально, как говорит одна моя подруга.

Когда же я закончила, он сказал:

— И где же все эти записи и истории?

И я сказала, что они сейчас лежат у Луки, моего друга, кроме некоторых, которые я получила в самое последнее время, — те в моем рюкзаке в гостинице.

Тут он сразу сделался похож на человека, который работает со взрывным устройством или с сумасшедшим. Вроде бы ничего снаружи не изменилось, только вот голос стал нежным и тихим, а движения замедленными и мягкими. Несколько раз он посмотрел на меня внимательно, словно определяя, за какой проводок можно трогать, а за какой не стоит — взорвется, как во всех этих американских фильмах, где небритый положительный герой, похожий на бандита, перекусывает кусачками красный проводок и останавливает счет на табло за секунду до взрыва.

— Знаете, — сказал он, — если честно, больше всего мне хочется сказать вам «до свидания», встать и уйти. Или даже просто уйти, без «до свидания». Но тем не менее вся эта фантазия мне интересна, к тому же на бумаге явно мой почерк. И я действительно одно время предполагал написать книгу о Владимире Соловьеве и даже начал собирать материалы.

Он помолчал, словно решая, говорить одно или говорить другое. Будто известное животное Буридана. Прямо вспотел от напряжения. Потом говорит:

— Хорошо. Давайте поиграем в бисер. Значит, вы утверждаете, что у нас с вами была в прошлом какая-то общая, причем романтического характера, история.

— Это вы утверждаете в ваших записях. Я ничего не утверждаю, — огрызнулась я. — Что вы думаете, я не понимаю, что меня можно принять за полоумную? Но если все, что я получила, написали вы, то это написали вы. Поэтому вы и должны мне поверить.

Он даже как-то осел. Видно было, что сбит с толку. Потом шумно выдохнул:

— Зачем это?

Надо же, интересуется.

— А вам не все равно, что у вас огромная часть прошлого испарилась? Вам что, по барабану, для чего вы искали пропавшую букву вместе с Соловьевым и готовы были за это отдать жизнь, если я, конечно, не ошибаюсь? Вы ведь, можно сказать, героем духа были — не абы кем.

Не знаю почему, мне захотелось сделать ему больно. Как-то надо же было его прошибить.

Он задумался, и в этот торжественный момент официант из-за печки принес кофе. Тут он слегка воспрянул духом и сделал глоток.

— Милая девушка, — сказал он таким мерзким поучающим тоном, — милая девушка... вот что я вам хочу сказать...

— Боже, как интригует, как интригует, сейчас умру от любопытства! — не удержавшись, съязвила я.

Он осекся. Наверное, не мог понять, как это такое получилось, что только что перед ним сидела смиренная, тихо восторженная девочка, а тут такой неприкрытый цинизм.

В подвале заиграла музыка. Он встал — я сейчас! — подошел к официанту, что-то ему сказал, тот мгновенно исчез, и музыка прекратилась. Вернулся и опять уселся за столик. Вид у него был сосредоточенный, словно он собирался прихлопнуть муху.

— Вы мне дали понять, что в моей жизни существует некая история, которую я забыл. Так ведь? Ладно. По поводу историй. Не так давно я понял, что в жизни человека, моей в частности, есть, если хотите, основная история, которая для всех ясна и находится на виду, и есть — главная.

Он прямо-таки лекцию мне читал. А воротничок рубашки у него был при этом мятый-премятый. И еще я видела, что я его взволновала, хоть он и делает вид, что я ему до лампочки.

— Какое-то время они могут совпадать, но чаще всего в какой-то момент разделяются. И со временем главная история может не только исчезнуть, но и выпасть из памяти. Вернее, она должна выпасть из памяти, чтобы дальше было бы не так мучительно проживать свою основную версию. Наши мысли формируют нашу реальность, это аксиома. И

ежели моя мама в детстве мне постоянно напоминала о том, что мой отец, с которым они разошлись, когда мне было два года, — подлец и пьяница, то в этой версии я и жил. Так вот главная история, в отличие от основной, которая вообще делает нас способными к жизни, способными воспринимать красоту, она — история тайная, она словно бы выткана на противоположной от основной истории стороне ковра. У нее, этой тайной истории, есть свой алфавит, свои секретные воздушные знаки, коды и иероглифы. Волшебные и страшные ситуации, которые случились не в книжках, а с нами самими. (Кстати, когда вы читаете стихотворение, вы считываете не слова, а свою тайную историю, к которой это стихотворение и обращается.)

Быть того не может, да он мне, кажется, подмигнул!

— И в силу этого все разговоры о том, что так в жизни не бывает, что все это выдумки, — здесь не проходят, потому что мы сами приняли их в себя, эти невероятные вещи, и не только приняли, но и прожили. Больше того, мы состоим из них. Но если все время иметь их перед глазами, эти прекрасные закаты солнца в море, причем не в море, а в тебя самого, причем не солнца, а живого света, или глаз любимой женщины с потекшей от снега краской, или ангела, дающего тебе пощечину, — иметь их все в виду и видеть их не как слова, а как то, что есть на самом деле, — то есть каждый раз умирая в этот миг для самого себя и в самом себе, чтобы впустить иную жизнь и сами живые вещи мира, а не их призраки, если, словом, жить этой главной реальностью, сотканной из чисел, звуков и ужасной по красоте тайны про тебя самого, — жизнь становится просто невыносимой. Но избавиться от этой невыносимой жизни легко — ничего не надо делать. Достаточно ничего не делать и просто много говорить. Просто говорить слова — слово за словом, мысль за мыслью, и главная реальность, тайная твоя история, выветрится, уйдет и не вернется, а придет явная. Та, которой живут все остальные люди. Просто говорить — цены. Просто говорить — сука. Или — господин министр. Или — я тебя люблю. Или — госпошлина. Или — соционика. Или — рыба. Все равно что.

Он отпил кофе, и я видела, как дрожали его пальцы, он едва не уронил ложечку на пол.

— Но и это еще не все. Потому что тот, кто принимает тайную свою историю и живет ей, внезапно видит, что у этой тайной истории есть еще более тайная, другая история, для которой первая тайная история все равно что для первой тайной истории — бытовая, и так вот до бесконечности — до лабиринта историй, до Вавилонской библиотеки историй, до лунной поверхности сюжетов. Никаких жизней не хватит, чтобы узнать все истории про самого себя. Потому что нет им конца, потому что на их переходах гниют кости и собаки раскапывают могилы тех, кто осмелился преследовать себя до своей самой тайной истории. Но никто не дошел до нее по этому пути. Потому что, где есть единица, там есть и двойка. А значит, и все остальные числа. А значит, их, историй про себя самого, бесконечность.

— Значит, мы про себя, кто мы такие, про главную свою историю так никогда ничего и не узнаем? — уточнила я. — Значит, до нее просто не добраться? Значит, все — туман непролазный, что ли? что ли, все зря и бесполезно?

Меня даже затопило от этих его слов и от всего, что он тут выдал, но тут я вспомнила про Соловьева, и мне сразу стало легче. Как будто я нашла у себя в рукаве припрятанный козырь и еще можно было выиграть, правда, что и у кого — непонятно.

— Что же, и Соловьев так ничего не узнал и заблудился в историях? — спросила я.

Он прижал ладони к лицу, так что остался виден только сломанный нос и выющиеся волосы, помассировал веки, застыл.

Я смотрела на него, а он все не шевелился. Прошло минут пять. Выглядело это довольно-таки нелепо, и я стала волноваться, не случилось ли с ним чего. Я уже хотела потрясти его за плечо, но тут он сказал:

— Выход в главную историю твоей жизни возможен из любой другой. Из самой заурядной, самой пошлой, самой грубой. Это однажды происходит, и тогда ее буквы становятся бесконечно открытыми, ясными. И ты рождаешься заново и перестаешь быть заложником боли, лжи и смерти. Ты становишься тем, о чем раньше только подозревал. Становишься ангелом ангелов, превращаешься в «му», в блеянье козочки, в сверканье воды, в старую подкову,

лужу бензина на асфальте, запах кокса на снегу, в Бога.

— Каким образом? — Я внезапно поняла, что говорю шепотом, будто боясь спугнуть то, что он сейчас скажет. И еще я поняла, что знаю, что именно он скажет.

— История должна расцвести. Как ветка яблони. Должна стать цветком, цветением, которое больше не заканчивается. Потому что время из него ушло. И тогда это прыжок в главную безмолвную историю любого человека.

Он убрал руки с лица, и на меня глянули его светлые серые глаза. Он сказал это. Именно то, что я услышала и что знала наперед. Я почувствовала, как мои ребра стали раскрываться, словно куст под ветром или устрицы, — одно за другим.

Цветок стиля

Он замолчал и покрутил в руках пустой стакан. Сзади подошел официант, перегнулся через мое плечо и поднес горящую зажигалку к низенькой ароматической свече. Свеча загорелась, он ушел, оставив на память о своем через меня полупоклоне горящий огонек, а мой собеседник (почему-то я так и не рискнула назвать его Шарманчиком, наверное, для этого нужно время) встал, подошел к стулу, на котором лежала папка с рисунками, и стал в ней копаться. Наконец он вытащил из нее разломанную и истрепанную книжку в мягком переплете и положил передо мной. Там был один отчеркнутый кусок, и то, что я из него прочитала, относилось к театру Но, а вернее, это была выдержка из трактата «Предание о цветке стиля», который давным-давно, тыщу лет назад, написал один из создателей театра Но, японец по имени Дзаами. Этот Дзаами был актером, сочинителем пьес и философом-буддистом. И театр Но, как он остался до сей поры, создал в основном он. Вот что было в отчеркнутом абзаце:

«Вопрос: При взгляде на ваши наставления понимаешь, что знание цветка — высшее и лучшее знание. Оно — сердцевина; и оно не поддается прямому изучению. Как же возможно постигнуть цветок?»

Ответ: Цветок — это состояние, в котором приходишь к предельному познанию скрытого смысла нашего пути. Это

— великая трудность и таинство, а сказать коротко — весь наш путь заключен в нем.

Временный цветок, цветок голоса, цветок юген (тайной красоты мира) — все эти цветы вырастают из преходящих форм, а потому быстро опадают, хоть и привлекательны в глазах зрителей. В силу недолговечности таких цветков коротка в Поднебесной слава их обладателей.

И только у истинного цветка причины цвести и причины осыпаться лежат прямо в сердце человека. Истинный цветок должен быть долговечным. Что же нужно делать, чтобы познать законы такого цветка?

Не надо переживать цветок как нечто мудреное. Состояние неутрачиваемого цветка возможно познать после того, как очень хорошо, через сердечную глубину постигнешь все наставления о занятиях, усвоишь все виды мономанэ, исчерпаешь все роли и достигнешь пределов в поиске куфу. Полное проникновение во все это и может стать по сути своей семенем истинного цветка. И если замыслишь познать цветок, сначала познай его семя. Цветок — это сердце, а семя это — формы. В старину один человек сказал:

В долине сердца
посеяны рождением
все семена добра,
что дружно всходят
в благодатный дождь.
Спасения плоды
легко вослед родятся,
когда цветы души
вдруг озаряет свет
внезапного сатори».

Пока я читала, он засобирался, расплатился с официантом и стал засовывать выпавшие листы в папку.

— А как это понять, что цветок это сердце, а семя — формы? И еще, что это — переиграть все роли? Ну в театре понятно, а если я не актриса.

— Не волнуйтесь, — сказал он, — актриса. Не актриса она... скажите на милость.

— Хорошо-хорошо, — я очень разволновалась, когда

прочла про цветок, а тут он зашептал некстати, — хорошо. Ну а про семя, что оно формы?

— Это и есть роли. Декорации, разговоры, сюжет — все, у чего есть начало и есть конец. Все наши встречи и прощания, так сказать. А у сердца, если оно расцвело, нет ни начала ни конца. И это единственное, к чему оно стремится, — обрести бесконечность, потому что оно таким создано, и на меньшее не согласно. И все, что оно до этого ищет и находит, — только досадная замена этого.



— Подождите, подождите, а зачем тогда все эти роли, все эти семена. Почему не заняться прямо сердцем, бесконечностью?

— Откуда я знаю? Черт, поздно уже, а мне надо... словом, мне еще кучу дел надо сегодня сделать...

Какие у человека на курорте дела в двенадцать ночи, скажите пожалуйста!

— Можно, конечно, и прямо бесконечностью заняться, только тогда тебе наплевать на все вещи и на всех людей... сиди и лови бесконечность, а поймал, пусть все пропадет — вся твоя судьба, печали, похмельные утра, цветы на рассвете, холодный асфальт утром, все-все.

— Но разве не либо — либо? Либо бесконечность, либо конечность? Либо роли, либо цветок.

Он сел с размаху на кресло, чуть не промахнулся, но выпрямился и удержался.

— Он же говорит: исчерпаешь все роли — неужели непонятно?

Было видно, что он злится, только я не могла понять на кого.

Тут он снова успокоился и сказал:

— Он не отвергает мир с его чепухой и с его красотой. Ему и убийство понятно и вишня какая-нибудь цветущая. И ложь и буддийская Луна. И могила и улитка. И утка и вранье.

— Воронье, — сказала я.

— Угу. Он говорит — будь среди всего этого, будь разным, но преданным своему движению, своему развитию, переиграй все свои возможности — и нелепые и возвышенные, перескажи все истории, переживи все основные и не основные истории, перепробуй все жесты, переживи все жизни, перепиши все книги, исчерпай себя, и тогда расцветет цветок. И когда неутрачиваемый цветок расцветет, он подсветит любую вещь, и ты увидишь ее заново, и увидишь наконец в его цветении свою главную историю, которая объемлет все остальные со всей их чепухой, необязательностью, мусором... и нечего разбрасываться тем, что в мире есть. Люди думают, что можно хоть что-то уничтожить, а фантомная боль говорит — нельзя.

Он так и сказал — «люди», как будто он, что ли, не человек. Вот смех.

Потом говорит:

— Фантомные боли мучат людей, каждого понемногу, из-за всех, кого уже нет, кого убили, уничтожили, вырвали. Из-за спиленных в джунглях деревьев и убитых дельфинов, из-за всех... всех... — одна на всех. Вот мы все и болим — весь

мир болит. А фантомная боль — это не черт лысый, а матрица, которая помнит каждую руку и каждую ресницу, а значит, боль — это форма, по которой все оживут. Никто и не умирал до конца, пока хоть у кого-то его смерть отзывается болью.

Он уже шел к выходу, и я пошла за ним.

— Не очень-то вы вежливы, — сказала я ему на всякий случай. — Потому что я не обиделась, а думала про фантомную боль и про Цветок.

Он фыркнул, не оборачиваясь, открыл калитку, и мы вышли на улицу.

— Хорошо, хорошо, — заторопилась я — Но ведь приходили же на землю великие освободители и все про вечную жизнь уже сказали... Платон... Будда... Христос особенно... другие... Слушайте, дайте мне сигарету, а?

Он сказал, что не курит, и прибавил шаг.

— Но ведь ничего же не изменилось, а! Ничего не изменилось с людьми. Подлецы как были, так и остались, как все убивали и обманывали друг друга, так и сейчас убивают и обманывают — чеченская война, например, — сплошной сволочизм, что разве не из-за денег? И никто не может сделать так, чтобы людям стало хорошо, чтобы они перестали друг друга предавать. Почему мир никак не выстроится так, чтобы всем стало лучше? Если Папа Римский запретил аборт, то ведь их все равно делают... Если закон Божий ввели в школе, то ведь все равно подлецы растут — из класса обязательно несколько подлецов выходит, а потом видишь, что и остальные запродались кто куда. И все похожи друг на дружку, все — как один, все залезают в эти джипы или мерседесы, все покупают землю под Москвой, все летают в Таиланд, все хотят на Рублевку, стоят часами в пробках, трещат про всякую чушь в чатах, и все пишут эсэмэски и смотрят телевизор... Бог ты мой!

Он внезапно остановился так резко, что я влетела прямо ему в спину, и сильно толкнула. Он издал какой-то то ли шип, то ли фырк, качнулся, но устоял.

— Вы что ходить, что ли, по-людски не научились? — разозлился он.

— Я умею ходить по-людски.

— Что вы вопите на всю улицу, люди спят.

— Я разве воплю?

— Вошите.

— Извините, — сказала я. — Просто в кои-то веки нашла, с кем можно поговорить. У меня был друг, с которым можно было поговорить про все на свете, он был глухонемой, но только я его потеряла. Извините.

Тут он решил сменить гнев на милость и сказал:

— Не все так плохо. Книгу надо дописать, и тогда мир поменяется. И вы увидите, что подлецы и не подлецы вовсе. И крови больше не будет.

— Что за книгу?

— Книгу, где все соберется и выстроится. Те, кто читал начало, изменили свою жизнь. Стали жить не так, как все. А когда она будет дописана до конца, все будет по-другому, потому что в ней действует особая сила.

— А где она, кто ее пишет?

— Ты да я, да мы с тобой, — усмехнулся он, и на минуту стал даже красивым.

— Слушайте, — спросила я неожиданно, — а вы, вообще-то, верите тому, что я вам рассказала? Я как-то не поняла.

— А вы верите? — спросил он.

Я открыла было рот, но тут заверещал телефон, пришла эсэмэска от мамы.

Прежде чем читать, я договорилась с моим новым знакомым о встрече на завтра, что зайду к нему в гостиницу (он назвал адрес), что принесу ему все записи и истории, какие я собрала, гоняясь за своим, и его на пару, утраченным временем, и что мы вместе их читаем.

Он пошел дальше один, а я проводила его взглядом, наблюдая, как он идет по бесплодной улице, уводящей вверх мимо рожицы бамбука, и как тени деревьев под фонарями сползали у него по спине и по вельветовым брюкам, словно грязная пена. И из-за этих теней, наверное, мне показалось, что он весь какой-то сломанный внутри, хотя сначала этого и не было видно.

Там, в подвале, я готова была зареветь, так он меня расстроил своими натянутыми правоучениями, но к концу разговора он, кажется, снова стал настоящим Шарманщиком. Разве что чуть-чуть недотянул. А на дороге почти что и сравнялся.

Не буду больше говорить. Лучше помолчу про то, что чувствую. Вообще-то я была как пьяная — слишком много сегодня случилось, и я вела себя как несмышленная дурочка.

Я шла домой и думала про то, как мы завтра будем читать истории. Как перейдем совсем на другой язык и на другой уровень контакта — если угодно, на другую форму общения, более естественную. Потом я достала мобильный и открыла сообщение. Мама просила зайти на e-мейл и прочитать там ее письмо. Это было странно, потому что мама с компьютером не дружила и писем мне никогда не писала.

Снова золотые рыбки

Вот что было в письме, которое я считала со своей Nokia уже в гостинице:

«Арсюша, мы очень по тебе соскучились. Конечно же, мы рады, что ты хорошо проводишь время на побережье и познакомилась, как ты говоришь, с приятными и милыми людьми, но все же пора возвращаться. Я не буду корить тебя за то, что из-за твоего внезапного отъезда пропала путевка в Сербию, куда ты так хотела поехать, потому что в твоём возрасте я тоже была подвержена резкой смене настроений и могла сорваться с места и отправиться на край света.

Сегодня я решила начать осваивать компьютерную почту и, включив компьютер, который стоит на твоём столе, случайно нажала не на ту кнопку и открыла какой-то рассказ по названию “Подтаявший Моцарт”. В нём повествуется о том, как некая девушка приехала из одного города в другой, а вернее, даже не в город, а на дачу, найдя путь к ней по почтовому адресу на конверте, поскольку она переписывалась с хозяином дачи — женатым человеком, в которого влюблена. Там также описывается, как они пили шампанское на балконе, а потом внизу он танцевал танец золотых рыбок. Ну да ты помнишь, наверное...

Прости меня, родная, что я залезла по оплошности в твои документы, ты же понимаешь, что я не нарочно. Но вот у меня какой к тебе вопрос: откуда у тебя этот рассказ?

Дело в том, что все описанное в нём повторяет один к одному легкомысленную историю, которая произошла с

моей университетской подругой. Она мне ее часто рассказывала — и про печку, как они с ее знакомым, в которого она была без памяти влюблена в юности, эту печку растапливали, и она поранила палец сосновой щепкой, и как они слушали виниловую пластинку с Бахом на проигрывателе “Ригонда” — это происходило еще в эпоху СССР, — и как утром они пошли на балкон, откуда был виден лес, и пили шампанское, а потом он рассказал ей какую-то непонятную историю о красных рыбках. Она тогда мне говорила: “Вот если бы про рыбок я поняла, наверное, у нас все сложилось бы хорошо. Но хоть убей, не знаю, что он хотел сказать про рыбок. Хоть застрели — ничего не пойму”. В общем, он на ней так и не женился, хотя с семьей своей разошелся. У подружки родился ребенок, которому сейчас уже... словом, она твоя ровесница. Я думаю, что моей подруге будет крайне



интересно знать, что про ее детскую любовь кто-то написал рассказ, хотя непонятно, кто мог это сделать, потому что она божилась, что никому, кроме меня, про этот случай не рассказывала.

Напиши мне, откуда у тебя эта история.

И не загуливайся. Возвращайся. Возьми обратный билет прямо на завтра, если сможешь. Папа передает тебе большой привет.

Твоя Ма>.

Когда я прочитала мамино письмо, я почувствовала, как у меня начало покалывать между лопатками маленькими серебряными иголочками. Я поняла, что история, сотканная из тысячи обрывков, слов, записок, аудиозаписей, словом, из всего, что я получила от Шарманщика, задвигалась и ожила. Наверное, он того и хотел, чтобы сложилось не просто разрозненное повествование, не просто подобие книжки, а какой-то особый вид книги, который, несмотря на то что отрывки были знакомы лишь мне и были брошены словно кости на стол — вслепую и не глядя (а может, как раз благодаря этому), сдвигал бы в жизни целые куски и увлекал их за собой. Это как ветер дует день за днем, а потом лед вдруг лопадется и на Неве начинается ледоход, и его уже не остановить.

Наверное, то, что сделал с нами Шарманщик, было похоже на огромное взрывное устройство замедленного действия, а я работала в качестве детонатора, собирая все эти рассказы и отрывки, считывая и соединяя их в своем теле, которое не может существовать само по себе, а вечно соприкасается с другими людьми. Я поняла это мгновенно, безо всяких размышлений — их уже на эту тему было достаточно, — я просто взяла и поняла все это сразу. Я это увидела.

Я полезла в столик и достала пачку Salem. Я вообще-то не курю, но тут я не удержалась. Правда, спичек я не нашла, а идти просить у Руслана или Гунтара не хотелось. Поэтому я просто сидела на диване и крутила сигарету в пальцах.

Да-да, это была книга, которую дописывали мы сами, все-все, не только упомянутые в повествовании, но и те, кого я встречала в погоне за этим повествованием, разыскивая все новые его отрывки и знакомясь со все новыми людьми и местами. И эта книга теперь стала разрастаться, как снежный ком на весь мир, и я уверена, что в ней буква и тело сплелись, а слово постепенно стало обретать свое основное значение, которое может творить действительность, изменять маршруты, давать новые имена и исправлять то, что мешает людям дышать свободно, заставляя их лгать друг дружке, предавать самих себя и умирать от этого. Я поняла, что тоже становлюсь другой — одновременно и героиней этой книжки, и ее автором, как будто с меня заживо сходит кожа и мне стало страшно.

Мне еще не понятно, стоит ли собрать все эти рассказы под одну обложку, или это убьет тот импульс, благодаря которому книжка разрастается. Наверное, она и дальше будет разрастаться, но я не стала об этом думать, потому что мне пришла в голову одна мысль, которая вертелась у меня в голове уже давно, но никак не могла выговориться.

Потому что вместе с книгой я просто без слов поняла, что никакой университетской подруги не существует. Что мама, наткнувшись на письмо, была настолько ошеломлена и взволнована, что сразу отправила мне это письмо. Было ясно, что первый его абзац был написан наскоро и для приличия, а что больше всего ей надо было знать, кто именно написал рассказ о красных рыбках и откуда он у меня.

И несмотря на неловкие попытки закамуфлировать свое основное желание при помощи какой-то наскоро выдуманной подруги, она все время проговаривается. Во-первых, насколько я тот рассказ помню, они в нем с Шарманщиком общались, в частности, и по-английски. Я еще когда его читала, подумала, к чему бы это, потому что эти английские словечки там ни к селу ни к городу, но теперь понимаю — к чему, потому что мама училась на ромгерме и до сих пор преподает английский. Скорее всего, Шарманщик ничего не выдумывал, как и в остальных своих рассказах, а просто взял и описал все, как оно было. Уверена, что и дача, и помойка, и волейбольная площадка перед лесом существуют и по сей день, как и тот адрес, который, ясно, что никакая не подруга, а сама мама прочитала на почтовом конверте и отправилась по нему разыскивать человека, в которого была влюблена. Ведь даже в письме она упоминает, что в юности могла тоже сорваться с места и не раздумывая куда-то отправиться. Оговорка по Фрейду, как говорится.

Теперь мне надо собраться с мыслями, потому что в голове у меня хоть и ясно, а все равно мне нехорошо, и все куда-то плывет. Значит, мама могла быть знакома с Шарманщиком, если только мое предположение верно, когда ей было лет восемнадцать. Но кто же это сможет проверить? Ведь завтра, допустим, утром я приду к нему и, допустим, скажу: вы такую-то знали? А он скажет: ни такой и, тебя, ни кого другого я не знал и знать не желаю, и будет прав. Потому что всю эту линию своей судьбы он взял и вычеркнул каким-то

неизвестным никому способом. Можно, конечно, спросить маму, но она, если не захочет отвечать, упрется и будет рассказывать про подружку. Хотя, как знать, может, подружка и существовала в действительности, а я сижу тут, как Шерлок Холмс, и выдумываю какую-то глупейшую мелодраму.

Я решила на сегодня больше ни о чем не думать, тем более что почувствовала, что та девочка, которая все время поет и при этом рассыпается и снова собирается, потерялась о меня, как кот усамы, и сказала — не стоит. Вернее, не о меня, а там, внутри, где есть глубокая-глубокая глубина, в которой я про всё всегда знаю.

Поэтому я вышла в коридор и пошла к номеру Гунтара, чтобы попросить у него зажигалку. Мне совсем не хотелось курить, но когда я перестала думать про письмо, то выяснила, что сигарета все еще зажата у меня между пальцев. А раз так, то почему бы ее не зажечь и не выкурить. Он мне обрадовался, но зажигалки у него не оказалось, вернее, в ней кончился газ, и тогда я пошла к номеру Руслана, но его в номере не было, я напрасно стучала. Тогда я вернулась к себе, легла на диван и выключила свет. Голова у меня была ясная, но сильно кружилась. Потом я увидела пятно света на полу. Я слезла с дивана и нашла под кроватью свою рукавицу. Свет был едва различимый, но все равно в темноте его можно было видеть. Я засунула рукавицу в рюкзак, снова легла на диван и заснула.

Роза мира

Утром я пошла к Шарманщику. Он жил в гостинице на противоположном конце, и я пробежала эту дистанцию по набережной вдоль утреннего моря с его тихой бухтой и примолкшими кафе единым духом, так что в уголке глаза застряла только глухая жирная чайка на фоне синего лоскута неба, важно висящая в воздухе. Я старалась не думать, верю я в то, что сейчас встречу Шарманщика, того самого, который вроде бы мне не приснился вчера, а на самом деле пригласил напоследок зайти утром в гости, но все равно мне казалось, что это не я бегу вдоль набережной, а какая-то другая девочка в шортах и голубой футболке, которую можно было видеть со





стороны. В общем, все происходило не со мной — утренние сверканья и блески на воде, какой-то одинокий отдыхающий на пляже, белый, словно брюхо дохлой рыбы, и те мысли, что крутились в голове. Я знала, что спрошу у него про письмо, потому что там было неленое, ни к селу ни к городу упоминание, которое меня обожгло, о «подружкиной дочери», и ясно, что я могла почувствовать, хоть он, конечно, ничего из этого и не помнит. И еще я знала, что куда теперь он, туда и я.

Я вошла в гостиницу; внизу за конторкой никого не было, и я взбежала на второй этаж, постучала в комнату Шарманщика и с разгону вошла. В окне, выходящем на море, зеленела ветка акации, а дальше на голубой простыне моря был приклеен белый доскуток парохода. Комната была пуста как привидение, около кровати горел ночник, почти неразличимый и какой-то ядовитый в утреннем свете. Шарманщик, видимо, куда-то вышел, я погасила ночник и села на диван. На диване лежала раскрытая книжка, и от нечего делать я взяла ее в руки. Сначала читать не получалось, потому что я все время думала, куда это ушел Шарманщик, но потом я все-таки начала читать и постепенно успокоилась. В книжке говорилось о Соловьеве:

«Великим духовидцем — вот кем был Владимир Соловьев. У него был некий духовный опыт, не очень, кажется, широкий, но по высоте открывшихся ему слоев превосходящий, мне думается, опыт Экхарта, Беме, Сведенборга, Рамакришны, Рамануджи, Патанджали, а для России прямо-таки беспримерный. Это три видения, или, как назвал их сам Соловьев в своей поэме об этом, “три свидания”: первое из них он имел в восьмилетнем возрасте во время посещения церкви со своею бонной, второе — молодым человеком в библиотеке Британского музея в Лондоне, а третье, самое грандиозное, — вскоре после второго, ночью в пустыне близ Каира, куда он устремился из Англии, преодолевая множество преград, по зову внутреннего голоса. Откровение было им пережито в форме видения, воспринятого им через духовное зрение, духовный слух, духовное обоняние, органы созерцания космических панорам и метаисторических перспектив — то есть почти через все высшие органы восприятия, внезапно в нем раскрывшиеся. Ища в истории религии европейского круга какой-нибудь аналог, или, лучше сказать, предварение, та-

кого духовного опыта, Соловьев не смог остановиться ни на чем, кроме гностической идеи Софии Премудрости Божией. Идея эта не получила в историческом христианстве развития, ни тем более богословской разработки и догматизации. Это естественно, если учесть, что эманация в Шаданакар великой богорожденной женственной монады совершилась только на рубеже XIX века, — метаисторическое событие, весьма смутно уловленное тогда Гете, Новалисом и, быть может, Жуковским. Поэтому до XIX века никакого мистического опыта, подобного опыту Соловьева, просто не могло быть: объекта такого опыта в Шаданакаре еще не существовало.



Сам Соловьев считал, что в девяностых годах прошлого века для открытой постановки вопроса о связи идеи Софии с православным учением время еще не пришло. Он хорошо понимал, что вторжение столь колоссальной высшей реальности в окостеневший круг христианской догматики может сломать этот круг и вызвать новый раскол в церкви; раскол же рисовался ему великим злом, помощью грядущему антихристу, и он хлопотал, как известно, больше всего о противоположном: о воссоединении церквей. Поэтому он до конца своей рано оборванной жизни так и не выступил с провозвестием нового откровения. Он разрешил себе сообщить о нем в легком, ни на что не претендующем поэтическом произведении. Но влияние этой поэмы и некоторых других лирических стихотворений Соловьева в окне досюток белого парохода передвинулся вправо, и над трубами показался призрачный белый дымок, а Шарманщик все не

шел, и я чувствовала, что отчаяние начало подступать к животу, но решила все равно никуда не бежать, а досидеть и дочитать, может, эта книжка здесь лежит не зря и не зря открыта именно на этой странице, может, это знак, который подал мне Шарманчик, может, это ключ, посвященных той же теме, сказалось и на идеалистической философии начала века — Трубецком, Флоренском, Булгакове, и на поэзии символистов, в особенности Блока. Насколько можно судить, положительный опыт — лицемерие Звенты-Свентаны (Софии) в этом облике сверхчеловеческой и сверхмирской женственной красоты — был для Соловьева настолько потрясающим, настолько несовместимым ни с чем человеческим или стихийным, что мог бы он позвонить и предупредить, что ушел, я же давала ему номер мобильного, перестань трепыхаться, пожалуйста, не придумывай ничего и не разводи себя, потому что сейчас хлопнет дверь вниз, и он снова появится, как вчера, — в серых своих брюках с усталым лицом и сломанным носом, в другой, наверное, рубашке, а может, в той же, в которой он стоял сначала у меня за спиной и писал у меня на спине свою книгу, а потом сидел напротив меня в подвальном зале ресторанчика и говорил про тайную историю свою и мою, да-да, я звоню Руслану и прошу приехать, надо же найти человека, конечно, вдвоем мы его быстро разыщем что духовидца с тех пор отталкивали какие бы то ни было спуски в слои противоположных начал. Он знал и хорошо знал о существовании Великой Блудницы и о возможных страшных подменах, подстерегающих всякое недостаточно четкое, недостаточно окрепшее сознание, уловившее зов Вечно Женственного сквозь замутняющие слои страстных, противоречивых эмоций.

В том, что миссия Соловьева осталась незавершенной, нет ни капли его собственной вины. От перехода со ступени духовидения на ступень пророчества его не отделяло уже ничто. Соловьев должен был бы принять духовный сан и, поднимая его в глазах народа на небывалую высоту авторитетом духовидца, праведника и чудотворца, стать руководителем и преобразователем церкви. Само течение всемирной истории было бы другим, если бы первые тридцать лет двадцатого столетия были бы озарены сиянием этого светлейшего человеческого образа, шедшего прямой дорогой к

тому, чтобы стать чудотворцем и величайшим визионером всех времен, я больше не должна здесь сидеть, ясно, что он уже не придет, ясно, что он уже давно ушел, когда еще было темно, потому и горел ночник, когда я пришла, он ушел еще в темноте, несколько часов назад, а я здесь сижу, как последняя идиотка, и чего-то жду, и все же я дочитаю страницу до конца. Призвание осталось недовершенным, проповедь недоговоренной, духовное знание — не переданным до конца никому: Соловьев был вырван из жизни в расцвете лет и сил тою демонической волей, которая правильно видела в нем непримиримого и опасного врага...

Что в Синклите России могуч Пушкин, велик Достоевский, славен Лермонтов, подобен солнцу Толстой — это кажется естественным и закономерным. Как изумились бы миллионы и миллионы, если бы им было показано, что тот, кто был позабытым философом-идеалистом в России, теперь достигает и творит в таких мирах, куда еще не поднялись даже многие из светил Синклита».

Запомнит, запомнить! Сейчас заволню, как пьяная проститутка... Тихо! Тихо!..

Она встала с дивана, подошла к окошку и выглянула наружу. Город уже проснулся и стекал к морю, на пляжи. Парохода уже не было видно. Она пошла к двери, потом вернулась и открыла тумбочку около постели. Там валялось сморщенное яблоко и стояла бутылка с прозрачной жидкостью, заткнутая настоящей пробкой. Она вытащила пробку, понюхала и отпила глоток крепчайшей чачи прямо из горлышка. Сморщилась и с трудом отдышалась, показалось, что отпила огня. Ветка акации пошевелилась в окне от легкого бриза, а парохода уже не было видно, и тогда она вылила содержимое бутылки на голову, футболку и плечи, приоткрыла глаза, отфыркиваясь, разглядела спичечный коробок на тумбочке, вновь закрыла глаза, на ощупь зажгла спичку и поднесла к майке. Спичка затрещала, она открыла глаза, чтобы увидеть, что там происходит, и увидела, как снизу полыхнуло синим прозрачным огнем.

Бам! Бум-бум! Бум!..

Как какие-то рыбы немые...

— Она стояла и горела, как свечка, — объясняла гостиничная уборщица Руслану. — Я захожу белье забрать, а бедная девочка стоит у окна ко мне спиной и вся полыхает от пояса до волос — вот ведь срам какой! Я сначала и не поняла, что тут делается. Вхожу, а она стоит вся в огне, а майка на ней трещит и сворачивается, вот ведь страсти! А она стоит, вся свечечка, и не колышется. А я сорвала простыни, накинула на нее да к полу прижала. Жива, думаю, девка или помрет? Нет, не померла, Господь миловал, да, живучая, что ли. Девки сейчас живучие. Смотри, да на ней ни одного ожога нет. Ах ты!.. Да быть того не может. Простыня-то и та в двух местах прогорела. Парень, наверно, ее бросил, как пить дать, парень...

Руслан дал ей денег, сказал, чтоб помалкивала, и она ушла.

Я сидела в кресле, накрывшись полотенцем, потому что футболка прогорела до дыр, я ее сняла и бросила на пол. Когда я горела, я ничего не чувствовала, потому что думала о другом. Я вспоминала стихи Соловьева и думала про то, что он все время умалчивал про какое-то слово или имя. Он говорил, что есть одно самое важное на свете, что передает в немом привете сердце сердцу. И еще в своей поэме про три встречи с Богиней, он скрывает ее имя: «Подруга вечная, тебя не назову я...» А когда он влюбился в озеро, то снова заговорил про какое-то слово, обращаясь к этому финскому озеру, как к живой девушке:

Но с душою моею унылою
Тайно шепчется слово одно.
Знаю, в утро осеннее, бледное,
Знаю, в зимний закат ледяной
Прозвучит это слово победное,
И его повторишь ты за мной.

А какое — не сказал. И я подумала, пока трещало пламя, что, может быть, это слово и есть название буквы, которую ищет Шарманщик. Или это слово — я. И мне не было больно, потому что я все думала про это и не останавливалась,

потому что, если бы я остановилась хоть на секунду, я бы сразу забыла все. Не только то, что уже забыла, но все сразу, и тогда бы меня не стало вовсе. Тогда бы я, наверное, сгорела до конца. А я не хотела забывать все, потому что я не хотела провалиться туда, где меня совсем нет, и поэтому я думала про слово. Есть такая болезнь — истерическая эпилепсия, при которой память исчезает выборочно, уходит то, что тебе доставляет страшную боль, причем со всеми подробностями, понимаешь? Но я не хотела, чтобы ушло все, я думала, что пусть несколько подробностей останется, потому что я — тоже подробность.

А может, я не сгорела, потому что он написал на мне историю о девушке, которая сидела голой и ела водоросли, а на нее светила луна, я вообще не знаю, что он там написал, но, наверное, то, что не горит, потому что как же может гореть Луна или буквы.

А может, у этой истории, которую он на мне написал, настолько сильная и густая фантомная боль, что она не может существовать сама по себе, а сразу начинает формировать то, что исчезает, формировать и восстанавливать в ту же секунду, так что считай, что я совсем сгорела, но фантомное поле меня восстановило клетка за клеткой, так что считай, что это уже не я, а другая, совсем другая девушка.

Все это я говорила вслух, не останавливаясь, а Руслан стоял в своем нижнем наряде посреди комнаты и слушал.

— Прекрати, — сказал он. — Успокойся. Можно я погляжу?

Он подошел и стал осматривать мою кожу, наклонившись надо мной, как мамонт.

— Вот дела! — сказал он. — Ни одного ожога, только волосы спереди обгорели. И ресницы справа. — Ну ты даешь, черт тебя побори!

— Не чертыхайся, — сказала я. — Пойдем чего-нибудь выпьем.

Но Руслан ни о какой выпивке не хотел слышать, потому что вбил себе в голову, что я сильно пострадала, и совсем уже собрался тащить меня в больницу, но тут я уперлась намертво. Согласилась только на то, чтобы он отвел меня в гостиницу, но идти было не в чем. Тогда он снял с себя рубашку, которая накрыла меня как парус, я завернула рукава по локоть и засунула низ в шорты, и мы пошли, и я вдруг

услышала, как сквозь вату, как кричат чайки с побережья, и почувствовала, какой твердый асфальт под ногами и как блеснул под солнцем запаянный в него камушек, и тогда только поняла, что осталась жива, а я ведь не хотела, чтобы я осталась со всем этим — с пустой кроватью, с книжкой на коленях, со стенами, откуда он ушел и больше не придет, с самой собой и морем в окне. Этого было слишком для меня много. Иногда и одной пустой кровати — слишком много, понимаете? Не только самой себя со всей своей историей жизни, это понятно, но просто — пустой кровати может быть так много, что и жить больше не захочется. Я подумала, что жалко, что я не сгорела совсем, дотла, но больше про это думать я не хотела, потому что снова стала проваливаться в какую-то серую дыру, и ничего уже не говорила, дошла до гостиницы, выставила Руслана, заперла дверь на ключ и бухнулась в постель.

Через час пришел Пеликан, и я его пустила. Он поохал, поахал, поцеловал меня по-братски в лоб, поставил принесенные белые розы в вазу, а потом достал свою тетрадку с записями про алеф — новая порция его прогулок в интернете. Сегодня он был не в розовом костюме, а в джинсах и майке — наверное, купил где-то утром на ходу.

— Гунтар, расскажи про Но, — попросила я. — Почему красавиц там изображает мужчина? Почему считается, что все на свете может исчезнуть, а Но не исчезнет? И что, пока есть Но, мир тоже не исчезнет?

— Правда? — спросил Пеликан.

— Ну да.

— Значит, пока есть Но, есть и мы с тобой, — радостно сообщил он.

— Вроде того.

— Как же тебя угораздило? — спросил он, не удержался.

— Ну Гунтар, давай, давай, отвечай. Почему там ничего сначала не происходит, а потом происходит все сразу. И про столб. Там, на сцене, есть столб «называния имени», что ли. Знаешь, меня, по-моему, тоже по-другому зовут.

— И меня...

— Ага. И Руслана тоже.

— Ну да.

— Всех зовут по-другому, только они об этом не знают, —

сказала я, и вдруг успокоилась. — Всех-всех зовут по-другому, правда?

— Правда. Именно так и обстоят дела на самом деле. Кто-то кого-то как-то назвал, а потом взял и забыл. И все остальные тоже забыли.

— Но не совсем.

— Да, не совсем. Есть вероятность вспомнить.

— Ага. Но пусть это будет не сразу, а то все умрут от удивления.

— Да у них просто сердце остановится.

— Ага. Поэтому мы им не скажем. Знаешь, я себя ненавижу. Но я родилась между тремя красными рыбками.

— Ну да, — сказал он. — И одним пеликаном.

— Ты ужасный, — сказала я.

— Мерзкий тип, — отозвался Пеликан, — мерзкий, грязный тип. Знаешь, я влюблен.

— Где твой костюм? Это я влюблена в твой розовый костюм.

— Я его отдал в чистку.

— Правильно, — одобрила я. — А потом ты его снова будешь носить. И никогда не снимать. Ты будешь в нем дневать и почевать, буквально дневать и почевать.

— Я с ним никогда не расстанусь, — пообещал Пеликан. — Вот увидишь.

— Давай свою тетрадку. А вечером мы пойдем и выпьем.

— Выпьем столько, сколько сможем, — сказал он. — Не сомневайся. Все, что у них есть. Я беру это на себя.

— А я и не сомневаюсь, — сказала я и заплакала.

Меня трясло, и я не могла остановиться, потому что не в том дело, что одно следует за другим, а потому что все происходит сразу, но ты только из этого высовываешься как какой-то отросток осьминога из общей банды и вот щупаешь, что там еще с тобой может случиться по отдельности, потому что если все сразу, то это называется жизнь, и все равно — ты ее уже прожил или только родился на свет, она уже вся сразу есть вне зависимости от этого, и ты рада и вся светишься, а если по отдельности и одно за другим, то это то, что с тобой случается, и это совсем разные вещи, и тогда ты плачешь, как идиотка, как холера какая-нибудь, как бомж, только они уже не плачут, у них через два месяца атрофи-

руются чувства, они и вони-то своей и боли не чувствуют, и плакать больше не могут, и смерти не замечают, ну разве только самую малость замечают, и спят они в подвалах вповалку, как какие-то рыбы немые, совсем какие-то рыбы немые.

Телевизор

Когда я проснулась, я не сразу поняла, где я. Я лежала в чужой мужской рубашке, от которой пахло Agmani, и в руках у меня был пульт от телевизора. Я никак не могла понять, где это я нахожусь и для чего мне этот пульт, потому что телевизор я стараюсь не смотреть, мне от него тошно. Я хотела спрыгнуть с кровати, но тело не послушалось. Оно было словно свинцовое и никак не отреагировало на мое желание встать, а уж тем более спрыгнуть. Такое со мной было, когда с двенадцати до четырнадцати я в основном проводила время в постели, потому что у меня была какая-то болезнь, которую за неимением лучшего называли депрессией. Я перестала ходить в школу, и мне приносили задания домой. Передвигалась я тогда с большим трудом, и с каждым месяцем мне делалось все хуже. Потом я поняла, что умираю.

И тогда родители пригласили одного священника, который поговорил со мной. Он был очень добрый и ясный, в отличие от большинства священников, с которыми я встречалась потом. Он надо мной помолился, и после этого я медленно стала выздоравливать. Несколько раз я приходила к нему в церковь, но постоянно ходить не смогла, потому что чувствовала себя там фальшиво. Вот наедине с ним — совсем другое дело... Но потом он умер, и я совсем перестала ходить в церковь. Но я уже поняла, что ближе Христа у меня никого нет, не потому что меня так научили, а потому что, раз Он любовь, то эта любовь была во всем, в дереве над речкой, в глухонемом мальчике Никите, в моих родителях, в дельфинах в море, в камнях на пляже, в книгах про бабочек и про путешествия. Это только называется громко и официально «Христос» или «Иисус» в церкви, когда читают в который раз малопонятные народу отрывки из Евангелия, а на

самом деле Он — друг. Он друг, как... как... собака, которая смотрит тебе в глаза и что-то такое знает, что можно задонхнуться, если долго смотреть. Что-то такое радостное и непонятное, что если это выговорить, то из мира сразу уйдут боль и страдания, а вместо этого произойдет... произойдет... то самое. То, ради чего мы все тут живем и чего втайне ожидаем от жизни. Он друг — как лес или море, или земля, или очень-очень близкий человек. И Он везде, даже если его и не видно, Он все равно здесь.

Я лежала и не могла встать.

Потом я ощутила пульс в руке и не глядя нажала кнопку. Голос из телевизора, которого я не видела, потому что мне было трудно переворачиваться, сказал: «Есть более легкий способ добиться гигиенической чистоты в вашем туалете. Breat!» Голос был женским и подло взволнованным.

Я нажала на другую кнопку. Тут шел дубляж. Мужской голос, словно размышляя, произнес: «Все пациенты, выписывающиеся за последний месяц барбитураты...» Сразу было ясно, что идет детектив. Я их не люблю, особенно те, что сняты в последние пять лет, — сплошная пластмасса и отстой. Я нажала на следующую кнопку: «В тот день он впервые ехал в Москву, а попал сразу на первое место в теленовостях...» Дальше мальчишеский голос запел песенку «Качели», которая мне нравится, и я, погадав немного, что это за программа, решила, что это «Профессия репортер». Я щелкнула еще раз, и в комнате раздался вкрадчивый голос гермафродита с мягкими переливами: «Двадцать четыре штата, которые изберут своего кандидата в президенты...» Я поняла, что оказалась на «Евроньюс» — у них такими голосами говорят и мужчины и женщины, и где они только их берут. А может, они их специально учат говорить именно так, потому что это их фишка такая? Вот тоска-то зеленая! У него дома, наверное, сын или дочь, с которым хорошо бы поплавать или покататься на велике, а он сидит и разучивает эту бесполоую интонацию, пока она ему не омерзает, чтобы его, значит, приняли на работу на этот дурацкий канал.

«Я всегда буду набирать ради тебя “к”. — Ты мой лучший друг. Ради тебя я пошел на — это». Неестественный взрыв смеха, подмонтированный к кадру. Это комедийное шоу. Непонятно, чему они так смеются, всегда для меня было за-

гадкой. Может, у них лица смешные? Но переворачиваться не хотелось, и я опять нажала кнопку. Пульт нагрелся в кулаке и стал теплым.

Утробный, с потугами на мудрую мужественность баритон произнес: «Сегодня мало кто сомневается, что среди нас есть люди с необычайными способностями...»

Дальше.

«Некто Хиро Накамура из будущего, который говорит на английском и носит меч, остановил время... Ясно, сериал».

Дальше.

Женский голос (дубляж): «Сэр, с вашей стороны легкомысленно раздеваться».

Мужской (дубляж): «Вы прямо как мой инструктор по теннису...»

Дальше. Молодой мужской голос, заходясь от непонятных эмоций и выстреливая как пулемет: «И прежде чем насладиться этим соревновательным зрелищем, посмотрим на мировую таблицу...»

Тут я не выдержала и, не поворачиваясь, покосилась в зеркало, где отражался экран. Придурки в широких штанах на скейт-бордах крутили петли на одном и том же месте, крутой такой горке, похожей на V. По десять-пятнадцать раз. И все на одном и том же месте — вот в чем бред-то собачий. Ну крутанет он еще сорок раз, даже если не свернет себе шею, на одном месте, ну и что дальше? Что?

Мужской голос, явно с полипами в носу:

«Преимущество силы явно на стороне жестокого хищника...»

В зеркало было видно, как амбал, одетый в ласты и акваланг, ухватился за молотообразную морду акулы-молота и вывихивает ее во все стороны. Непонятно, чего он от нее добивался, просто, наверное, хотел попасть на пленку, вот и все. Перепуганная рыба рванулась и удрала от придурка, жалобно виляя хвостом.

Фальшивый женский голос, демонстрируя вовлеченность в ситуацию: «Можно попросить Сергея Анатольевича? Ну вы извините, что так поздно... ну да, рано...»

Дальше.

Дальше была тишина, которую нарушали только тихие звуки, словно что-то время от времени сыпалось. Я не вы-

держала и снова посмотрела в зеркало — там закапывали могилу, и земля ссыпалась с лопаты и исчезала в развороченной яме.

И тут я поняла, что все это происходит не так, как я щелкала — один канал за другим, а одновременно, и что правильно было бы наложить все эти фразы друг на дружку, и тогда это бы соответствовало тому, что происходит на самом деле. Я представила себе, как они все одновременно дерутся, кривляются, твякают, выламывают челюсти, зарабатывают деньги, крутятся в воздухе, мучат акул, содрогаются в сексе, размышляют об экстрасенсах, морочат себя и друг друга, роют могилы, доят любовников, ползают по дну, а сами ничего не могут, ничего не решают, ничему не верят и дергаются как подвешенные на нитки куклы, — когда я все это увидела и услышала, мне стало совсем худо.

И тогда я вспомнила про Черутти и стала сочинять вместе с ним стихи.

Черутти пес живет на острове,
а чешется на полуострове,
а лает он на побережье,
а косточку грызет в горах.
Блоху он ищет в зазеркалье,
а кошку на семи холмах.
Он сам в себя решил собраться,
чтоб побережье и гора,
в нем снова стали сочетаться,
как дерево и как кора!
Он так хотел бы стать единым,
он так хотел бы стать блондином,
он так хотел бы быть вполне
собранным в кулак и личность...
Но хвост все ж проявлял двуличность,
влияя где-то на Луне.

Так себе стишки. Но мне сразу стало легче. Я подумала, что надо бы собрать все стихи моего пса и подарить их Никите. Он бы очень обрадовался. А потом я слезла с кровати.

Я не сгорела, потому что все может сгореть, но только не буквы, которые вошли в меня и смешались с телом. Над та-

кими огонь не властен. И над телом, которое они назвали и обозначили, тоже. Иначе сгорела бы вся Вселенная, которая из них сотворена. А я отныне — ее родная часть. Отныне я сама и есть она.

Бамбуковая палка, красная лента

Я сижу в автобусе, за окном синее море, мы едем через ущелье по мосту. Автобус старый, еще 80 года выпуска, с плохими рессорами, и от этого сиденье подо мной время от времени начинает прыгать, а ноги топтать по полу. Тогда я их приподнимаю. В автобусе человек десять по разным местам, в основном здешние аборигены, одетые в куртки и выцветшие тряпки, потому что уже октябрь, холодно. На лбу у меня красная лента, а бамбуковая дорожная палка зажата между стенкой автобуса и сиденьем, чтоб не упала.

Конечно, дело не в том, что в театре Но эти атрибуты должны сразу же сообщить мало-мальски разбирающемуся в представлении зрителю, что перед ним девушка, находящаяся в поисках единственного и истинного человека, который может быть ее родственником или отцом, или возлюбленным. Дело не в Но, потому что мне уже нет нужды отделять Но от реальности. Потому что если Но — реальность большая, чем та, в которой живут все остальное время зрители, то со временем происходит такое, что эти две реальности начинают прошиваться друг дружку, как, например, если вода капает на край пакета с сахаром, то он все равно весь пропитается ей. Поэтому теперь простая бамбуковая палка, бамбук — это Но, а сам Но растворился в обыкновенной жизни, промочив ее насквозь.

Из этих реальностей не получилось ничего двойного, но получилось однородное — просто мир стал другим. Он стал сочным, непостижимым и глубоким, как это бывает, когда всматриваешься в омут. Зеленое стало зеленее, красное — краснее, а все, что я вижу в окно автобуса: одноэтажный запыленный магазин, пыльные придорожные пальмы с серым от пыли ворсом стволов, прихрамывающая и ободранная дворняга, ковыляющая по обочине, оглядываясь на машины, или абхазка в черной косынке, торгующая сливами, —

все это словно залито сиянием, и так красиво, что у меня от этого на глаза время от времени наворачиваются слезы.

Два месяца назад я чуть не сгорела, и мне пришлось пролежать у себя в номере несколько дней. Ко мне по пятьсот раз на дню заходили Руслан и Гунтар-Пеликан, они сговорились отвести меня в Москву, и у меня есть подозрение, что они связались с моими родителями, подсмотрев номер в моем мобильном. Наверное, они решили, что я немного спятила, потому что я перестала с ними разговаривать, а просто лежала в постели и набиралась сил.

А потом я собрала рюкзак, перетянула лоб красной лентой, спустилась к морю, срезала бамбуковую палку и пошла на автобусную остановку. С тех пор я езжу по горам и по побережью от Леселидзе до Новороссийска и Тамани, надеясь встретить в одном из автобусов Шарманщика. Я подумывала купить мопед и ездить на нем, потому что у меня еще нет прав и я не могу взять автомобиль напрокат, но потом я сообразила, что, путешествуя таким образом, я сведу свои шансы найти Шарманщика к нулю.

Конечно, я спрашивала себя: а почему ты решила, что встретишь его, разъезжая в автобусах и междугородних маршрутках? Почему ты думаешь, что он взял и не уехал в Москву или вообще не ездит на электричках? То, что он подвижен, — это ясно, потому что все его письма я находила в разных местах побережья. Конечно, это не факт, что я его найду именно в автобусах или маршрутках. Но ведь что-то же надо было делать, и я решила ездить.

Я решила это не сразу, а потому что стала рассматривать свою жизнь как повесть, написанную буквами и движениями, или, можно сказать, жестами. Но и буквы и жесты эти, прежде мной вообще не видимые, теперь выступали все яснее и были не простыми, а такими, какие может прочитать лишь тот, кто сгорел или должен был сгореть, но родился снова. И они имели, что ли, повествовательный смысл, потому что, переключаясь друг с дружкой — начало с концом и часть с частью, все равно продолжали развивать один сюжет, смысл которого может быть открыт душе лишь тогда, когда она уйдет за эти буквы, как за забор, и будет смотреть на море без слов. И так уж сложилось, что сюжет этот был про меня и Шарманщика. А вернее, про любую травинку,

которая в нем тоже участвовала, про любую армянскую девочку в автобусе, про любую пальму и любой цветок, потому что теперь все они перетекали друг в дружку, при этом не теряя себя самих, и становились и мной и Шарманщиком, делаясь от этого еще красивее. Но я не об этом.

Так вот, если этот сюжет существует, то в нем есть много вещей, которые знают, где сейчас находится Шарманщик. Скорее всего, они, все они: и мост, и собака на обочине, и абхазка со сливами, и столб с указателем поворота — знают, где он, да я и сама знаю, только никак не могу вспомнить. Но на такой случай есть особые знаки, как например тетрадка с записями про букву алеф, которую мне принес Гунтар на следующий день после того, как я сгорела. Таким особым знаком могло быть все что угодно, это неважно, с чего начинать, но раз уж он ее мне принес, то я решила взять ее с собой и ориентировать свой маршрут на то, что там написано.

Я написала письмо родителям с просьбой пополнить мой счет на телефоне и на кредитной карточке, и что я задерживаюсь, и чтобы они не смели меня искать, потому что если они это сделают, то я жить не буду. Конечно, я понимала, что это жестоко и даже очень, что они испугаются и будут горевать по своей свихнувшейся доченьке, и мне их искренне жалко, но все равно я не смогла бы им внятно объяснить, что та Арсения сгорела, а осталась совсем другая, которая их тоже любит и обязательно вернется, но сейчас это никак невозможно. Мне их жалко, я даже несколько раз плакала, когда думала, как они там тревожатся и сходят с ума, но тут я ничего не могу сделать, правда, ничего. Я сменила номер на мобильном и оставила старый только для пополнения счета, а так им не пользовалась, кто бы мне ни звонил. Я его оставила в надежде, что однажды мне по нему может позвонить Шарманщик, хотя понимала, что вряд ли.

Иногда я заезжала в горы, в те места, где он мог побывать, по моим расчетам. Так я несколько раз доезжала до Красной Поляны, которую теперь, толкаясь и сопя, разворовывали на постройки и земли торгаша из Москвы, и цены там в связи с будущей Олимпиадой подскочили до небес. Я поднималась пешком в горы в сопровождении одной местной жительницы, которая иногда брала москвичей на постой. Она живет там в домике, принадлежавшем когда-то доктору

Боткину, и я спала в комнате, где во время объезда кавказских гарнизонов останавливался Николай Второй. Не скажу, чтобы испытала какое-нибудь необыкновенное чувство, я просто думала, что вот тут много было тепла и что его тепло тут тоже есть, и как ему было нелепо видеть наставленные на него стволы револьверов, и что, наверное, прежде чем его там убили, ему тут было хорошо и спокойно, потому что он был прост и немного глуп. А я любила тех, кто немного глуп. Ну конечно, не просто глуп, а скорее, прост, чем глуп, как, например, немецкий Парсифаль, про которого я смотрела оперу на видео, как он искал Святой Грааль и как именно он его нашел, а не остальные рыцари Круглого Стола, потому что был простаком и видел то, что умники обычно не замечают.



Автобус с мотающимися во все стороны бабками и гордыми кавказцами в обличье двух стариков, которым, по моему, было уже все все равно, и даже если бы мы ухнули с моста и расшились в лепешку, они, скорее всего, этого бы просто не заметили, потому что все были в себе и не расчесывали буйных своих кавказских седин лет сто, а выглядели как кремни, щелкни — не ответит суровый камень, — так вот, автобус прыгал и скакал во все стороны, как молодой козел, и если раньше я боялась, что он сорвется в пропасть, то на вторую неделю разъездов перестала. Я поняла, что водители тут либо фаталисты, либо ясновидящие, потому что

на дорогу не смотрят из суеверного ужаса, а ведут машину по наитию. Русские иногда смотрят, а эти — нет. Конечно, я путешествовала не просто так. Я знала из рассказов, куда примерно может податься Шарманщик, потому и заезжала, и еще заеду на Красную Поляну. Я знала те места, которые



он любил на побережье, и те, которые он любил в этих городах. И я строила свои маршруты в основном в расчете на это. И все же главное для меня была тетрадка с историей про букву алеф, бамбуковая дорожная палка и красная лента на лбу.

Книга

«Всякое время пишет свою книгу. Книгу о себе. Она может быть написана одним человеком или несколькими людьми, а иногда это пять или шесть книг, которые написаны разными авторами, но все равно они складываются в одну книгу о людях и истории. Такая книга может иметь разную фактуру, от стройного повествования до цыганской лоскутности, которая свойственна, например, пьесам театра Но. Основное свойство такой книги — освобождение, просветление и преобразование своего времени. Несмотря на тот факт, что ис-

тинное Дао не может быть выражено словами, земное просветление и освобождение некоторого самозавзавшегося на себя отрезка исторического времени происходит всегда при помощи букв, организованных в такую книгу».

И дальше.

«Конечно, это только говорится, что Книгу пишет автор, — скорее можно сказать, что подобную книгу пишет Бог или Разумный космос, которого, впрочем, по любопытному высказыванию одного поэта, вовсе не существовало бы, не будь у людей языка». (Эта же фраза, разумеется, могла бы быть собрана совсем по-другому, не утратив ни малейшей толики своего смысла. Например, она могла бы прозвучать так: «Конечно, это только говорится, что книгу пишет автор, — скорее можно сказать, что такую книгу пишет язык, которого, впрочем, не существовало бы, не будь у людей Бога или Разумного космоса». Собираение фразы предполагает свободную взаимозаменяемость основных субъектов и предикатов речи, ибо потому-то она и является основополагающей в нашем рассуждении, что легко и свободно перетекает взаимобратимым значением в каждое из трех — Бог, автор, язык — основных слов, ее составляющих. Поэтому следующий вариант фразы может выглядеть таким, например, образом: «Конечно, это только говорится, что книгу пишет язык, скорее можно сказать, что такую книгу пишет Бог или Разумный космос, которого, впрочем, не существовало бы, не будь среди людей автора Книги. Ну и так далее».)

И еще.

«Лука, исследуя новый мир вокруг себя, встречая в нем новых людей, животных и фей, прислушиваясь к словам в столовых, на автовокзалах и немногочисленным журнальным и газетным статьям, которые он иногда прочитывал, а также общаясь с некоторыми жителями горного поселка — армянами, греками и осетинами, продавцами сыра, поварами, охотниками и крысоловами, — пришел к выводу о существовании такой Книги в наше, открытое для бездны и закрытое для прошлого время.

Да! Чудесная Книга, собравшая свет, освобождающий время из плена омраченности, уже существовала, и поэтому измучившееся в самозатягивающихся тенетах бытие, в котором бились, как бабочки о стекло, и страдали многие

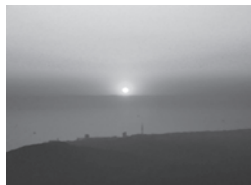
люди, призвано было освободиться, как только Книга станет достоянием хотя бы небольшой группы читателей. Те, кто прикасался к ней, обретали свободу и сияние вокруг лица, которых, впрочем, не могли удерживать долго, потому что послание книги было рассчитано не на одного читателя и не на двух, ибо они, слабые в своей малочисленности, были просто не в силах снести ее освобождающий свет через перевал забвения к другим людям. Книга должна была быть прочитана хотя бы двумя-тремя десятками, а лучше, чтобы ее можно было передавать из рук в руки.

Те двое, с которыми Лука разговаривал, и которые утверждали, что читали эту книгу, когда дело доходило до пересказа содержания и даже до такой простой вещи, как внешнее описание книги — автор, издательство, время написания или, если нет издания, то, может быть, она была представлена в форме самодельно сброшпорованной рукописи, — те двое так и не смогли сказать по этому поводу ни одного внятного слова. Когда же Лука насмешливо спросил, что, может быть, книга им просто пригрезилась, один из них — толстяк-повар крупного санатория стал ругаться отборной матерщиной и ругался долго и радостно. А второй сказал, что как же можно не помнить такую книгу, в которой из каждой буквы струится разноцветный огонь и вся его жизнь описана в ней с начала и до конца».

И в конце.

«Непонятно, правда, почему Лука решил, что показания двух его знакомых относятся к одной и той же книге, но уж если решил, так решил — на это у него, видимо, были свои собственные резоны. Тот, второй, шофер, который приехал из Питера и остался тут, в горах, навсегда, добавил, что ты, Лука, помнишь, как меня сюда везли умирать и ноги у меня не ходили, а здесь заходили: а знаешь, почему это случилось? Потому что под подушку мне положили Книгу. И книга, положенная под подушку, снилась мне каждую ночь всеми своими страницами по очереди и прорастала сначала в мои сны, а потом в меня самого, и, когда она выросла до моих волос, я встал и пошел. “Куда же она делась, эта книга?” — спросил Лука, и тогда шофер из Питера ответил: а вот она теперь где — ты да я, да все вокруг нас. Потом помолчал и сказал, что, кажется, у книги не было последней гла-

вы и оглавления. “А название, — спросил Лука, — название было?” “Название было”, — сказал шофер, но не по-русски, хотя все равно понятно. “Какое? — спросил Лука. — На, напиши!” — И он протянул шоферу блокнот с шариковой авторучкой, заправленной черной тушью. Шофер взял блокнот и ручку и накарябал на листочке несколько странных значков, которые Луке ни о чем не говорили, хотя и сильно отозвались в душе радостью узнавания. Один был похож на растопыренного человека, лезущего куда-то вверх, а второй непонятно на что, но все равно Лука смотрел на него и улыбался так, словно кто-то сделал ему что-то очень хорошее, например, подарил бельгийский спиннинг или, к примеру, он, Лука, стал таким глупым, что перестал замечать зло и от этого захотел спеть самую лучшую свою песню».



Это послание я получила накануне и теперь поняла, почему не стала уничтожать свой прежний номер на мобильном. Потому что, хоть я больше и не ждала этого, из прошлого все равно продолжали идти сообщения от того Шарманщика, что еще помнил меня и себя и сейчас продолжал посылать в мою жизнь сигналы, как будто какой-нибудь маяк, забытый на острове, мимо которого перестали плавать корабли. Но мой корабль все еще плыл, и лучи маяка до него доходили.

И теперь я тряусь на шатком-валком сиденье дребезжащего каждым болтом автобуса марки «ЛаЗ», давно уже снятого с производства, и смотрю, как за окном проплывают пожелтевшие сливы и склоны гор, кое-где красные, кое-где зеленые, а местами криво прорезанные потоком, выбегающим прямо на дорогу, словно заблудившись, и тогда водитель притормаживает, потому что течение выносит с собой крупные камни, и если вовремя не притормозить, то можно перевернуться.

Я тоже где-то слышала о Книге, но сейчас не вспомнить. То есть, все, что прислал мне когда-то Шарманщик, все эти истории про Соловьева и про его любовь, это и есть про Книгу, слепому ясно, но я сейчас не об этом. У меня такое чувство, что мне кто-то говорил про нее еще в прежней, еще в другой жизни и говорил такие счастливые вещи, что душа радовалась. И пока я пытаюсь все это вспомнить, конечно же, я ничего не вспомню. Но знаю, что открывала книгу. Иногда мне даже кажется, что я сама ее написала, хотя, наверное, это не так, потому что такое бывает со всеми, особенно близкими книгами, про которые кажется, пока их читаешь, а потом перечитываешь, что ты их и написал, потому что никто другой об этом не мог знать так хорошо, как знаешь ты.

Я достаю из рюкзака тетрадку с записями Розового Пеликана и открываю ее. Она дрожит у меня в руке, взмахивая от толчков всеми страницами сразу и похожа на птицу, которая делает вид, что хочет улететь. Но улететь я ей не дам. Потому что другого советчика и компаса, кроме этого автобуса и тетрадки с пеликановыми каракулями, у меня на сегодня нет.

Алеф

Пеликан писал, что в названии буквы алеф, которая выглядела следующим образом —



зашифровано непрерывное присутствие Бога в мире и что если прочитать ее название задом наперед, то получим слово пеле, означающее на иврите чудо. И если внимательно рассмотреть строение этой буквы, то можно увидеть, что

она состоит из трех букв — буквы вав, которая идет наклонной диагональю и означает соединительный союз и, или границу, а также из двух букв йод, означающих начальную точку бытия, истока.

Я долго крутила в голове эту информацию, но она ничего не говорила ни уму, ни сердцу, и я отложила тетрадку и стала смотреть в окно автобуса. Вершины гор уже покрывались снегом, а ниже, на склонах, лес был в рыжих и красных пятнах. Я безумная Арсения, одетая в мидзугоромо, с бамбуковой палкой блуждаю по дорогам в поисках родной души. На горе растут рыжие и красные деревья. Под ними бродят кабаны с белыми круглыми клыками. Кабаны любят желуди. В каждом желуде — будущий дуб. Они зеленые и желтые, гладкие на ощупь и словно отлакированные. Их серые шляпки круглые и шершавые. Еще в горах есть волки и медведи. Какие-то медведи засыпают на зиму, а какие-то бродят по лесам вместе с кабанами и волками. Они то спускаются вниз, то снова поднимаются вверх, в сторону снежной вершины. Это зависит от температуры. Когда очень холодно, они подходят к поселку. Иногда люди убивают кабанов и волков из ружей, а иногда кабаны ранят людей. Когда-то богиня любила смертного. Его убил кабан. Но она его воскресила. В кабане скрыто воскресение. Оно лежит в нем, как гроздь винограда. Зубы воскресшего закручиваются, как кабаньи клыки, и он хрюкает от любви и страха. Потому что богиня не может оторвать одну вещь от другой. Кабана от юноши и себя от юноши. Любовь — это то, что не дает оторвать бессмертную богиню от смертного юноши, и у них поэтому одно тело в любви и одно бессмертие на двоих.

Тут по краям дороги побежали кривые невысокие деревья с пожелтевшей листвой и закрыли от меня горы, узкое шоссе сделало поворот и пошло круто вверх. Шофер врубил первую скорость, и мотор застонал. И тут до меня дошло вот что. Эта диагональ в алефе — граница между верхним небом, где живет богиня, и нижним небом, где живет юноша, а вав — источник бытия, который отражается зеркально и симметрично — сверху и снизу. А значит, бессмертие зеркально отражено снизу в любом земном предмете, как богиня в юноше. Значит, то, что есть сверху, присутствует и снизу. А сама наклонная линия, говорилось дальше в те-

традке, напоминает лестницу, ведущую вверх. А это значит, что если ты взбираешься вверх в нижнем мире, то ты взбираешься вверх и в высшем мире. Ведь в нижнем мире всегда есть куда взбираться — полюбить, например, богиню, или, скажем, преследовать другую Богиню, Софию, как это было с Владимиром Соловьевым, или искать своего отца, как это сделала Хитомару.

Преследовать не отступаясь, преследовать до конца, потому что тело и дано для того, чтобы преследовать, забыв все ненужные вещи, главную и нужную тебе вещь, и не потому, что кто-то за тебя решил, что она — главная и нужная, а потому, что ты сам это знаешь и понял. Это не обреченность, это жизнь. Это просто. Я преследую Главное. Я догоняю то, что само ждет, чтобы я его догнала. И когда оно ждет, а я догоняю, вот тут-то и начинается радость. Откуда она берется, когда устала так, что жить не хочется, а зубы стучат от холода, не знаю. Она просто приходит и говорит: иди дальше, не останавливайся. Выложишься здесь вся. Нарушь все чужие правила, но не изменяй своей цели. Преследуй. Изю всех сил. Всей походкой, каждым днем и каждой ночью. Пусть твоя душа вытянется, как линия в букве алеф — станет тонкой и устремленной. Будь как текмеская лиса, которая не останавливается. Пусть твоя душа будет лисой, вытянутой в рыжую линию. Будь лисой. Огненной, неутомимой лисой. Смейся красным смехом. Преследуй. Потому что преследователя не останавливает жизнь и не тормозит смерть. Если преследовать по-настоящему, то нет отдельно жизни и смерти, а есть одно, в котором они тоже одно. Ищи. Преследование это и есть то, что ты преследуешь, потому что в нижнем уже скрыто высшее — в Арсени — Шарманчик и в обоих Бог. Мне все равно отец он мне или сын, потому что я его кровь, а он моя кровь, и нет какой-то другой крови, когда преследуешь, кроме одной и той же крови на всех. Я думаю, что лучше всех об этом знал Иисус. Я думаю, потому-то у Него и стала одна кровь на всех, потому что люди это не поняли, но почувствовали. Они почувствовали, что в нем есть одна виноградная кисть на всех. Одна кисть крови — для любого. Кисть пурпурная для лисы души.

Мы подъехали к горному поселку и затормозили рядом с запыленным пирамидальным тополем у старого кирпич-

ного здания магазина с треснувшим витринным стеклом, заклепанным в трех местах желтыми кружками. Перед магазином в дорожной пыли судорожно выгнулась какая-то лохматая моська, выгрызая блоху из хвоста. Дверцы автобуса засвистели и открылись. Водитель надел кепку и пошел в магазин. Скоро, наверное, выпадет снег. Здесь, в горах, холодно, не то что на побережье, где еще можно купаться.

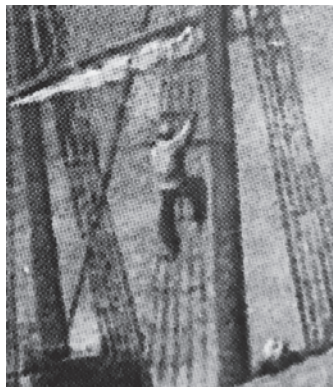


И тут я поняла.

Ура раскрошенному асфальту пяточка, да здравствует ясность! Алеф же это и есть тот самый матрос, которого Соловьев, блуждая в Вавилонской башне, разглядел на картине Брейгеля. Я хорошо помнила эту картину, но матроса на мачте никогда не замечала. Там столько всего, что конечно, можно и пропустить какого-то матроса на мачте. Так ведь всегда и бывает, и в этом на первый взгляд нет ничего страшного. Иногда люди даже не видят причин своей смерти. Мне рассказывал один знакомый отца, как в него стреляли из автомата во время перестрелки в районе Десятинского переулка в девяносто третьем году и чуть не убили, а убили старика рядом, а тот даже не видел того, кто в него стрелял.

И если не видишь причин своей смерти, то можешь легко не увидеть и причин своей жизни. Иисус сказал, что он альфа и омега, начало и конец, алеф и тав. Там, на картине Брейгеля, есть крошечный матрос, который лезет по веревочной лестнице на мачту, и он, задрав одну руку и одну ногу, похож на букву алеф, и еще я поняла, что сам алеф — это изображение матроса, который лезет по наклонной веревочной лестнице на мачту. И одно, матрос, изображает другое — букву, а сама буква (другое) устроена так, что изображает матроса на мачте. И когда я это поняла, у меня по спине побежал холодок восторга, потому что было ясно, что тут чудо и что прошла тут сокровенная нездешняя сила. Тут была совершенная голография, абсолютная, схлопывающаяся в ничто, в пропажу слов и смыслов, оставляя по себе вспышку бестелесного света и тебя, просвеченного и просквоженного этим светом сверху донизу.

Я посмотрела на серый и какой-то обтрепанный тополь и стала представлять, как на него взбирается матрос. Или как в него прорастает буква. Он стоял и не качался, и наверное, тоже пришел сюда от сочетания каких-то букв, хоть в это и не сразу верится.



Да! Я поняла! Увидела! Сама буква ведь изображает матроса, лезущего по наклонной лестнице на мачту, сразу в двух измерениях — физическом, которое, наверное, и изобразил Брейгель, и духовном — с той стороны зеркальной и

наклонной диагонали-лестницы. Потому что у любого матроса есть его духовный двойник по ту сторону границы и диагонали. И если он догадывается о нем (о себе, божественном) хотя бы из-за боли в сердце от нежности к жене, потому что он здесь, в плавании, а она там, далеко, то он в это время восходит к Богу или Богине, как Владимир Соловьев, который и есть этот самый матрос на мачте в России, а не в Вавилоне. И пусть он, философ, знает, а тот матрос не знает, а просто чувствует — они делают одно. Оба они — преследователи нежности. Искатели одной для человечества и звезд с деревьями крови.

Я еще раз посмотрела на букву алеф и засомневалась, потому что диагональ в ней явно вела не вверх, а вниз. Нельзя по этой диагонали взойти наверх, но тут вспомнила, что еврейские строки читаются справа налево, и тогда диагональ сразу сделалась восходящей, и все встало на свои места. И еще я увидела матроса, который был буквой, и букву, которая была матросом. Они стали сходитьсь с двух сторон, притянутые тем Одним, которым и были, но мы этого не замечали, и в конце слились воедино, как это и было со всеми нами, наверное, прежде.

И тогда мне стало ясно, что так же хотел сойтись в одно Соловьев, преследуя Софию Михайловну Мартынову, потому что они друг для друга были матросом-буквой, Одним. Потому что про это одно писал Платон, когда говорил, что первые люди были едины и каждый состоял из мужчины и женщины и был в полноте, а потом боги волосом перерезали их пополам, разделили на два и пустили гулять отдельно по бесконечной вселенной, и теперь они ищут друг дружку, эти родные души, чтобы матрос-буква нашел самого себя — букву-матроса и слился с собой воедино. И еще для того, чтобы мировой алфавит сошелся с тем, что он обозначал и образовывал — тут, на земле.

Но для того, чтобы они — земное и небесное, то есть алфавит неба, буквы сверху и земные люди, деревья, корабли, автобусы, собаки и горы снизу — нашли друг друга и соединились, как матрос и буква, нужно, чтобы их притянула самая великая сила на свете — любовь. И она это сделала однажды, и про это сказал Иисус, когда назвал себя алфавитом, альфой и омегой, а сам стал на земле, среди заборов,

верблюдов, холмов всяких, цветов и людей той самой любви, которая соединила верх и низ в одно. Но чтобы единый алфавит читался и осуществлялся в нас, этого недостаточно. Потому что каждый из нас должен соединить алфавит и предметы еще раз вослед за Иисусом, и для этого есть только одна сила — любовь. И когда алфавит соединяется с предметами, то мы перестаем спать наяву и жить среди призраков, как я прожила полжизни, а начинаем жить среди всего самого настоящего и подлинного.

Поэтому Эрот и называется у Платона — рождающим в красоте.

Так что же он, Эрот-любовь, рождает? Истинный мир, а не иллюзию. Лицо человека. Соловьева и Софью. Данте и Беатриче. А так же оживляет в их глазах и преображает собак и заборы, и птиц, и дороги, речки и бродяг на них, и бомжей в метро, и даже саму смерть и боль. И все, что я вижу без него, Эрота-любви, — иллюзия, только тени от не зримого очами. И лишь Любовь способна преобразить фигуры иллюзии, похожие на столбы дыма или натурщиков Сера, сотканные из множества распадающихся цветных точек, словно из глиняного цветного тумана, — преобразить их в реальность, родить их в красоте. А где же тогда она находится? В сердце. Соединенном с сердцем Бога. Что же тогда такое любовь? Посланный реальности. Вызволиитель из бредового сна, поцелуй, пробуждающий спящую принцессу, даже если она уже превратилась в бомжа и к ней подойти страшно. Поэтому без любви мы слепы. Без любви — мы звери. Без любви мы — клубок рук и ног, автомобилей, сновидений, купюр и компьютеров, который катится как огромный колобок неизвестно куда.

Об этом писал Данте, которого я всегда любила, хотя читать и понимать его бывает трудно. Но после чтения — всегда легко.

Странное слово «любовь». Оно уже ничего не значит, а значит лишь — в каком контексте оно произнесено. Потому что оно стало ready made. Как дошановский писсуар в туалете — одно, в музее — другое. А сам по себе с тех пор, как был выставлен в музее, — ничто. Так и любовь. В музее она одно, в трамвае другое, в постели третье, в очереди за хлебом четвертое, а в стихах и прозе его больше не употре-

бляют. И правильно делают. Потому что само слово, как и писсуар, ничего не значит...

Хорошо, пусть они так договорились. Мы с Соловьевым договорились по-другому. Для нас любовь — то, что делает мир реальным. Потому что на самом деле — мир выглядит никак. Он начинает выглядеть и его можно видеть, если я вхожу в него с любовью, — тогда в нем возникает дерево с красными листьями и гудящая в ущелье речка, и горный козел, что карабкается по гребню горы на той стороне, и рыжий затылок водителя, и то, что я все время двигаюсь и не могу остановиться, и запотевшее окошко автобуса, и подсвеченная икона Казанской Божьей Матери в длинном тоннеле.

Мне кажется, что все это поняла не я сама, клянусь, а словно кто-то нашептал мне на ухо. Раньше я иногда думала о таких вещах, но они всегда казались мне расплывчатыми и ускользающими. А тут как будто кто-то взял и громко проговорил мне все это, и я вспомнила Луку, как он рассказывал про свои встречи с Мэб и как она говорила ему такие слова, о которых он никогда и не мечтал узнать, а тут понимал все просто и легко. Может быть, Мэб решила навестить и меня? А может, просто Лука спит и видит сейчас во сне меня вместе с Мэб. А может, когда я сторепа, я стала одной из них, из бессмертных фей.

Дверцы опять засвистели, водитель вошел с целлофановым пакетом в руках, достал оттуда пачку сигарет, уселся за руль и закурил. Снял кепку и повесил на крючок. Запахло дымом, потом закашлял стартер, автобус дернулся, и мы поехали дальше.

Хотэй

Я достала из рюкзака бутерброд и съела. Положила рюкзак на место, под сиденье, и раскрыла тетрадку с записями Луки. Автобус остановился и подобрал женщину, закутанную в черное. В руках у нее был целлофановый пакет с надписью «Ives Saint Loran». Когда автобус дернулся, она чуть не свалилась на меня, но удержалась, схватившись за сиденье. Она села за мной, и я слышала, как

она шепотом бранилась то ли на армянском, то ли на абхазском.

В тетрадке на сегодня было вот что. Там был нарисован человек с палкой (интересно, бамбуковой или нет?), с палкой и среди гор. Одежда его была похожа на женскую и из лоскутков. В руке он держал цветок и шел словно слепой среди гор. Лоб его перетягивала лента, и за нее было воткнуто перо. И тут я поняла, что мы с ним похожи! Я прямо обалдела от этого открытия. Вот он, брат среди гор! Что ж, если я и искала знака, то я его нашла. А справа от картинки, изображающей Дурака колоды Таро, шли, видимо, комментарии к карте, а вернее, расшифровка ее смысла.



НЕ ЗНАЙ!
ДЛЯ НЕВИННОСТИ ЗАКОННЫ ВСЕ ПУТИ.
ЧИСТАЯ ГЛУПОСТЬ — КЛЮЧ К ПОСВЯЩЕНИЮ.
БЕЗМОЛВИЕ ВЗРЫВАЕТСЯ ВОСТОРГОМ.
НЕ БУДЬ НИ МУЖЧИНОЙ, НИ ЖЕНЩИНОЙ, НО ДВУМЯ
В ОДНОМ.

ХРАНИ МОЛЧАНИЕ, ДИТЯ В СИНЕМ ЯЙЦЕ, И ТЫ
ДА ВЫРАСТЕШЬ В ДЕРЖАТЕЛЯ КОПЬЯ И ГРААЛЯ!
БЛУЖДАЙ ОДИН И ПОЙ! ВО ДВОРЦЕ КОРОЛЯ
ТЕБЯ ЖДЕТ ЕГО ДОЧЬ.

В духовных вопросах Дурак означает идею, мысль, духовность, все то, что пытается преодолеть земное.

Но главным образом эта карта представляет изначальный, тонкий, неожиданный импульс, воздействие, пришедшее неведомо откуда.

Все такие импульсы правильны, если правильно принимаются; хорошее или плохое толкование карты целиком зависит от правильного настроения кверента.

Мне понравился сам дурак и то, что он, хоть ничего не видит, но все равно не падает, и еще понравилась собака. Он, конечно, видит, если разобраться, но не то, что под ногами. Поэтому, с другой стороны, он на меня вовсе и не похож. Я-то прекрасно знаю, что у меня под ногами — пол автобуса и рюкзак, задвинутый под сиденье. Вот горы — да, горы это у нас — общее. Палка тоже. Еще лента на лбу. Потом я обратила внимание на то, что внизу на карте расположены два значка — значок матроса — алеф, и цифра, обозначающая ноль.

Я смотрела на него внимательно, потому что он должен был подсказать мне, что делать дальше. А он опять отсылал меня к алефу, первой букве алфавита.

Я подумала, что если алеф содержит в себе все остальные буквы, а значит, все истории мира — возможные и невозможные, то дурак содержит в себе все жесты и судьбы мира и поэтому всесилен, как ребенок или Бог. Но если бы он узнал об этом, думаю, он сразу бы свалился с горы. Потому что, когда что-то одно слишком хорошо знаешь, то все остальное исчезает, а остаешься только ты и твое маленькое знание. Когда нам сказали на уроке химии, что вода это H_2O , я сразу забыла про ручьи, лужи, дождь, море под Ялтой и озера в Феранонтове, а видела только дурацкий значок, который надо было выучить и запомнить, что это и есть вода. Но это не была вода. Вот в Но, например, раскрытый веер может означать бурю — и тогда видишь бурю, а не веер, потому что это одно и то же, потому что это красиво, а этот химический значок — он некрасивый, и поэтому он не может быть одно и то же с водой. Все эти чудачки, которые говорят, что без контекста нет смысла, что писсуар в музее создается контекстом музея, словно сговорились забыть, что контекст создается мной самой — какой хочу, такой и создам. Этим

и занимается театр Но. Только он делает так, что контекст и сам предмет — одно и то же. Веер и буря — одно и то же. Я могу сделать такое прямо сейчас. И я говорю себе — эта девочка с тетрадкой на коленях в автобусе и горы, плывущие за окном, и дурак, который идет с собакой над ущельем, и еще водитель с немытой головой, и название поселка на щите, мелькнувшее на повороте за мостом, — все это я. Я так говорю и знаю, что теперь не потеряюсь.



Уже который день мы едем, и несколько раз в автобусе я видела из окна, как восходило солнце, и несколько раз в другом автобусе, побольше, — как набирает силу луна, и мы останавливались и меняли проколотое колесо, а как-то у «Икаруса» прогорела выхлопная труба и стала так стрелять на все ущелье, что над ним поднялись и закружились орлы, и когда я вышла из автобуса, они кружились в бледно-синем небе, словно чайники в стакане, — никогда раньше не видела столько орлов сразу.

А потом мы снова ехали под полной луной, и ущелье нависало, словно подсвеченное легким серебром, как будто фольгой, а речка внизу казалась темной, как чернила, пока ослепительно не заблестела на каком-то перекате и снова потухла, а мы свернули влево, въехали еще в один тоннель, и я почувствовала, как запахло водорослями и морем, и поняла, что мы выехали к побережью, где мне надо было перебраться на другой маршрут, чтобы доехать до Пицунды.

Но до Пицунды в тот раз я не доехала, потому что про-

вела ночь в спальнике, устроившись в огромном парке «Кавказские культуры», втиснувшись между частыми стволами бамбука так, чтобы меня не было видно с дороги.

Утром я почувствовала, что кто-то трогает мне нос и открыла глаза. Надо мной стояла довольно-таки жалкая жучка и смотрела на меня, дескать, давай, вставай, сколько можно спать. Нос у меня был влажный, это она меня лизнула. Я свернула спальник, засунула его в рюкзак и пошла к морю. Пляжи пустовали, купаться уже было холодно, и поэтому вокруг было чисто. Я сняла джинсы, залезла в воду по колени и умылась. Когда я выпрямилась, напротив меня выпрыгнули из воды два небольших дельфина, и еще раз, и еще. Я стояла, и с меня капало, а солнце грело мне затылок и блестело в воде, и я поняла, что счастлива, потому что все время двигаюсь, а значит, обязательно найду того человека, который от меня уходит, обязательно догону.

И я не поехала в Пицунду, а стала бродить по Адлеру, потому что знала, что он где-то рядом. Я ходила по опустевшим от осени улицам с пальмами и забредала в кафе, а потом снова вышла к морю, где местные все еще продавали ракушки, хотя их никто не покупал, зашла в какую-то столовую, где пахло харчо и солянкой, а столик был мокрым от пролитого пива, села за него, нашла сухое место и разложила тетрадку. Я почему-то вспомнило про перо над головой дурака, что когда египетские боги взвешивают душу мертвого, чтобы послать его либо в жизнь, либо в уничтожение, она, эта душа, должна уравновесить чашу весов, на которой лежит перо. Вот так вот. Вес пера — вес души. Меньше — ты никто. Больше — слишком тяжел. Наверное, еще можно было вместо пера положить бабочку, но только она бы, наверное, все время улетала и богам так бы и не удалось взвесить обеспокоенную душу. Поэтому они решили иметь дело с пером, и правильно.

Я сидела за этим столиком и рассматривала изображение Хотэя. Какой-то оборванец в разлохматившихся до ниток джинсах подошел к столику, попросил у меня денег, и я дала. Вид у него был несчастный и жадный, а в уголках глаз запеклась белая смола.

Хотэй — это веселый толстый Будда. Такие изображения висят в японских забегаловках. Хотэй — это чудачковатый

тип, который достиг просветления. В японском дзен, повествовала тетрадка Пеликана, существует серия гравюр, иллюстрирующих путь к просветлению, под названием «Поиски быка». На первой человек в простой одежде, рядовой, можно сказать, японец, выходит искать пропавшего быка, примерно, как я Шарманщика. Только для него этот бык равен Богу, или, точнее говоря, просветлению. Вернее, он символизирует природу Будды, которая и есть основная сущность человека. Вот он его на этих картинках и ищет, потом находит, потом ведет домой, потом остается снова один и идет, блаженный такой, по рынку — и ничего ему уже не



надо — ни быка, ни поисков, ни рынка. Знаете почему? Потому что он уже сам стал — всё! И бык, и поиски, и рынок, и Бог. И Земля и Небо. Алеф и бет. И эти слова ему больше не нужны, потому что они для слепых, а он сам стал зрением и сам стал словами, притом всеми сразу. И другие судьбы ему не указ, потому что он сам стал судьбами и дорогами, и сюжетами жизней, причем тоже — всеми сразу. Потому что он — алеф. В нем — всё. Вернее, он — всё.

Не думаю, пишет Пеликан, чтобы про колоду карт Таро знали в древней Японии, и тем не менее Хотэй, персонаж самой последней гравюры серии «Поиски быка», это и есть

Дурак колоды Таро, или алеф. И когда Иисус говорит, что он альфа и омега, он говорит это для всех и для каждого, для малайца, нанайца и японца, потому что каждый тоже суть альфа и омега, просто они не знают об этом, а потому променяли свое божество на заменители — не свои слова и не свои жесты. Поэтому лучше ездить в карамелях и выскокить, как прыгают немые поводыри, а не смеяться кожуре дельфина в море, отмытом от самого себя до своей внутренней раковины. Я думаю, что контекст слова юродивого — он сам, слившийся с миром до неразличения, и поэтому его слово волшебю. А мой контекст на сегодня — путь от утренней, бодрой от блох собаки Жучки к тому скользящему как льдышка от моих перемещений месту, где я найду Шарманщика, который хочет стать матросом, это уже ясно, а может, он уже и есть матрос.

Но, скорее всего, он сейчас в бегах. Он сейчас в бегах от себя самого и от меня. В общем, мой контекст — собака и два дельфина. А еще Будда для простаков — Хотэй. Он тоже мой контекст. И еще лента и палка. И вот еще что. Чем больше я вспоминаю про себя, тем больше я забываю. Я, наверное, уже совсем стала похожа на юродивую, но это не так, честное слово. «Тебя кто-нибудь убьет», — сказала мне мама по телефону. — Просто возьмет и убьет». Но я обещала ей быть осторожной и ночевать в хороших гостиницах. Никто меня не убьет. Я знаю. Меня нельзя убить. Лучше даже не пробовать.

Снег

Когда долго едешь на автобусах, причем по разным маршрутам, начинает что-то происходить со временем. Вернее, время предлагает таким, как я, путешествующим сумбурно и хаотично, вроде игрока, который все время ставит на разные номера, — две возможности: либо постепенно впасть в приятное оцепенение, смотреть в окошко и отпустить мысли на самотек, и тогда все течет само собой, а вернее, просто начинает завиваться в воронку, низ которой — движущийся по горам и побережью автобус, а верх — все, что ты прожила, как я посчитала, за последние две недели плюс события

примерно пятилетней и семилетней давности, и тогда ты зависишь в потоке сознания, в который выливаются пейзажи за окном — с овечками на склонах, придорожными пыльными палатками с кока-колой и срезом бело-рыжих скальных пород, чередуясь с картинками из московской или питерской жизни, или, например, — поближе во времени — смешным воспоминанием, как ищешь обо что вытереть руки в придорожной уборной, а там ничего такого нет, а под ногами мокро и скользко; либо ты идешь по второму варианту потока времени, но это более трудный путь.

Он заключается в том, чтобы не дать ватному состоянию овладеть собой, не дать воронке допуска к своей голове. Надо подойти к движению, как к движению. К автобусу, как тому, что есть в первый и последний раз, а к себе, как к той, которая уже вошла в мир реальных, а не надуманных вещей. Тогда в тебе разбивается запыленное окно, что-то серебряно звенит внутри, как будто там стакан и чайная ложечка, и сквозь открывшуюся раму ты начинаешь видеть сразу все варианты своего путешествия на автобусе одновременно. Например, ты видишь, как водитель твоего автобуса, ослепленный встречными фарами пикапа на «Шевроле-корвете», выворачивает руль не в ту сторону, и чувствуешь удар бампера о бетонный блок дорожного ограждения, и как автобус медленно переваливается через блок и начинает сползать в двухсотметровый обрыв, на дне которого шумит речка. И если досматривать этот вариант до конца, то так и застреваешь в нем, как муха в янтаре, и можешь действительно разбиться вместе со всеми, кто едет в автобусе. Это так. Или видишь, как автобус приезжает не в тот город. Или как он набивается не абхазцами, а неграми. Или пьяными, у которых пластиковая взрывчатка торчит из рюкзака — едут продавать.

И тут все дело в том, чтобы не фиксироваться ни на одном из таких вариантов, а видеть их все одновременно, как тихий свет полноты происходящего. Потом я поняла, что вся жизнь вообще именно так и построена — все варианты твоей судьбы находятся в тебе одновременно и несбыточных среди нет, потому что они все могут сбыться, если только ты зафиксируешься на одном из них; причем, если делать это не пассивно, а произвольно, то можно выстроить свою

жизнь в том направлении, которое тебе больше нравится. Но если тебе вдруг станет настолько страшно, когда в одном из вариантов ты будешь падать в пропасть в автобусе, что этот страх либо опьянит тебя, либо совпадет с твоим тайным отчаянием по поводу всего того, что случается с тобой в жизни, а значит, и с сокровенным желанием смерти, то ты влипнешь в этот вариант до конца, и вместо того, чтобы покачаться колесом над пропастью, а потом осторожно отъехать назад, автобус действительно рухнет вниз. Именно так все устроено. Но если не давать никакому из сюжетных ходов развиваться отдельно, а находиться в их полноте, тогда мир становится — чудом. Он весь сразу, и ты — вся сразу. Это похоже на блаженный полет во сне, только тут ты уже проснулась, а лететь не перестаешь. Это похоже, похоже... на треугольный круг, и как будто у тебя из всех частей тела проросли крылья — из пяток, языка, висков, спины, носа, внизу живота — отовсюду. И не только проросли, но и полетели.

Однажды на перевале выпал снег, хотя был только октябрь. Шофер включил дворники, и они везли за собой по стеклу белые комья, и были видны огромные снежинки, из которых они состояли. И когда я пригляделась сквозь запотевшее стекло — все вокруг стало белым, а снежинки в воздухе были величиной с воробья или тарелку для десерта. Они медленно кружились, сталкиваясь и расходясь, плывя в воздухе медленно, словно медузы в воде, и ветки деревьев склонялись под их тяжестью до самой земли, и водитель сказал, что электрические провода на перевале не выдержали и порвались и что поселки останутся без света. Дорога была мокрая и белая, потому что машин было мало и снег как белые блины падал на асфальт и так и оставался лежать. Я видела, что водитель волнуется. Он притормозил машину, скинул ручным тормозом, вышел из дверей на снег и закурил. Вокруг него плыли эти огромные снежинки, а он стоял, курил и смотрел на белую дорогу. У меня с собой была пачка сигарет, и я тоже вышла из автобуса и закурила. Одна снежинка упала мне на руку, как узорная накрахмаленная салфетка, и сигарета заширела и погасла. Они были с лимонным отливом, эти снежинки. По-моему, они были живыми. Во всяком случае, они продолжали двигаться и после того, как падали на землю.

Водитель вошел в автобус и сказал, что придется подождать, потому что ехать опасно. Всю ночь мы простояли на шоссе с включенными подфарниками и мотором. Нам повезло, что в автобусе была печка, и мы не замерзли. Водитель сказал, что он случайно сел сегодня в автобус с печкой, еще и не хотел садиться, потому что там, внизу, день был жаркий. Он искренне радовался, что ему не удалось отпрыгнуть от автобуса с печкой, перед тем как ехать на маршрут.

Наутро подул теплый ветер, и снег растаял. Прежде чем мы поехали дальше, в автобус вошли девочки, человек двенадцать. Наверное, они пришли из поселка и отправлялись на экскурсию на побережье. Странно только, что с ними не было ни одного взрослого. Я сама терпеть не могла все эти школьные экскурсии с учителями, у которых всегда такой напряженный вид, как будто они про себя только и мечтают, чтобы экскурсия поскорее кончилась, и все время обращают ваше внимание на самые неинтересные вещи: посмотри, вот это самое высокое здание в стране. А мне как раз интересней — самые низкие здания, но им это все равно. Но тут все-таки были горы, а девочкам было лет по двенадцать. Они были одеты в курточки поверх старомодных платьиц вишневого цвета, из тех, что закрывают горло и застегиваются на крючки. И еще они все время молчали. Они расселись по пустым сиденьям — и я только тут поняла, что за ночь мы остались в автобусе вдвоем с водителем, все остальные куда-то делись, наверное, пошли искать, где переночевать, чтобы не замерзнуть, — так вот они сели на пустые сиденья и стали смотреть в окно. Смешно, потому что они только что оттуда пришли, а тут уставились, как будто видят эти горы и эту остановку в первый раз. Водитель скрипнул ручником, и автобус бесшумно покатиł вниз по склону, похрустывая остатками снега. Снег на склонах все еще лежал, но дорога была почти чистая. По бокам текли ручьи и некоторые из них бежали поперек асфальта. Воздух был свежий и приятный, но что-то было не так, наверное, я все же переживала из-за девочек, которые отправились на побережье без взрослых, хотя, скорее всего, их там кто-нибудь встретит. Ну конечно же, встретит. Я заговорила с одной из девочек в вишневом платье и спросила, куда они собрались. Она повернулась ко мне и слушала внимательно, а потом сказала,

что им нельзя разговаривать. Я видела, что ей страшно хотелось со мной поболтать, но она себя пересилила, заважничала и снова стала смотреть в окно. Ну я решила не навязываться. Между собой они тоже не разговаривали, и тут я поняла, что именно было не так. Вы видели когда-нибудь, чтобы двенадцать маленьких девочек собрались вместе и молчали, да еще во время экскурсии. Я нет. В это время автобус остановился. Водитель вошел в салон, подошел ко мне, взял меня за руку и поволок за собой к выходу. Рука у него была холодная, он был очень бледный и ничего не говорил. Я послушно пошла за ним, мы вышли из автобуса, и отошли от него метров на двадцать. «Да что случилось?» — спросила я его, и заметила, что лоб у него был мокрый от пота. «Не видишь, мертвые», — сказал он, сел на траву спиной к автобусу и стал бормотать под нос какие-то мусульманские молитвы на арабском. Минут через пять дети стали выходить из автобуса, и я увидела, что у одной девочки бечевкой спутаны ноги, но она все же старалась не отставать от других. Они выстроились по парам и пошли вниз по склону. Водитель лежал на земле вниз лицом и продолжал молиться. Я смотрела, как они уходят, спускаясь по тропинке. Я поняла, на кого была похожа та девочка, с которой я заговорила. Она была похожа на меня. Вернее, это и была я пять лет назад. Потом стала левой рукой отдирать пальцы правой, вцепившиеся в лямку рюкзака, сами они раскрываться не хотели.

Бабочки

Я еду в большом автобусе в сторону С. Мы медленно, но верно движемся к побережью. Я изучила все эти маршруты и проезжаю их уже не в первый раз, но так и не встретила Шарманщика. Иногда я звоню родителям и даже пару раз позвонила Светке. Она сказала, что у нее все хорошо и что Руслан передаст мне привет, потому что сам звонить не решается, потому что ты, дура, ему запретила, и, вообще, что там можно столько времени делать, на этом юге, да еще и зимой, давай на то лето поедем во Францию, у меня там живут русские друзья. Дальше я слушать не стала, вежливо попрощалась и закончила разговор. Все это было из прошлой

жизни и теперь выглядело немного смешно и непонятно.

Когда приближаешься к морю, это может происходить либо неожиданно — вдруг оно выскакивает сквозь ветки деревьев еще издалека, и сначала кажется, что это лицо, причем кого-то знакомого, и лишь потом понимаешь, что — море, или как теперь — проезжаешь длинный тоннель и из страны гор попадаешь в страну моря. Перепад такой, как будто сменяется слайд. Только что были горы и кусты, редкие сталинские автобусные остановки из кирпича и железобетона, вечные, осыпавшиеся, и вот — пальмы, влажный ветер, бамбук, виллы, которые здесь растут последние месяцы как грибы, и море с яхтой на горизонте.



Город живет будущей Олимпиадой, и проходимцы всех мастей взбодрились — а по-моему, нет ничего гаже бодрого проходимца да еще в выгодных для него условиях. Они прямо-таки переживают свою главную весну, их прямо-таки трясет от важности и бодрости, как, что ли, тележурналистов, когда те, захлебываясь и непонятно куда торопясь, рассказывают об очередной катастрофе, а сами уже не люди, а торчки и стоят по колено в крови, и ясно, что они от этого под кайфом, по глазам видно. Поэтому я не люблю, когда у нас в стране много строят. Это как перед войной много рожают.

Я думала, куда мог подеваться Шарманщик, и позвонила несколько раз Луке, может, ему там у себя пришла какая-

нибудь свежая идея в голову, он обещал поспрашивать свою тайную подругу, но не дозвонилась. И все же я знала, что Шарманщик где-то здесь, где-то здесь рядом.

Однажды, когда мы ехали по долине, а по крутому краю обочины шли грязные овцы, соскальзывая задними ногами на асфальт, а небо было синее и высокое, в автобусе влетело много бабочек. Наверное, они залетели, когда мы стояли на остановке, а водитель выходил за водой и оставил дверцы открытыми. Сначала их было не видно, но когда мы тронулись, они взлетели от толчка и закружились по всему автобусу, как лоскуты шелковой ткани, — голубые, синие, шоколадные. Наверное, со стороны автобус был похож на аквариум с рыбками, но только вместо холодных рыбок тут трепыхались бабочки. Их набралось, наверное, с несколько десятков, а то и целая сотня, и они металась сначала бесшумно, а потом стали попискивать как котята и разрастаться. Они делались больше прямо на глазах, хотя сначала я думала, что мне это мерещится от недосыпа, запаха бензина и выхлопных газов — в том автобусе-коробочке был какой-то дефект, и часть отработанных газов шла в салон, и поэтому я все время была пьяная. Запах был слабый, но тошнотворный. И потом от него тошнило.

Так вот, эти бабочки становились все больше и сначала металась по автобусу, а потом поняли, что лететь некуда, потому что они в салоне даже не смогли расправить свои крылья как следует. И тогда они сели по всем сиденьям, цепляясь своими кривыми лапками за латаный-перелатаный дерматин обивки, тонорщась почти до потолка своими шелковыми парусами из сини и шоколада — огромные, страшные, тихие. А глаза у них были темные, как у новорожденных, потому что те вас не видят, да и себя самих в зеркало не видят и вообще ничего не видят из нашего мира, а видят то, что мы уже видеть не можем, что-то такое другое и отдаленное, от чего в глазах у них и есть эта темнота, а мне, например, на них всегда смотреть жутковато. Они сидели на спинках, вцепившись в них лапами, чтобы не сорваться на ухабе, и смотрели.

Может быть, это они от выхлопных газов, которые шли в кабину, так подросли, а может, тут в почве была какая-то

аномалия, и именно в этом месте они должны увеличиваться, а в другом уменьшатся. Ведь, если змея, например питон какой-нибудь, заглотает овцу, то она от этого раздувается на какое-то время, а потом опять становится меньше, так, может быть, они здесь тоже заглотали какое-то невидимое вещество, солнце, запахи или ауру места, а может, то, что они с младенцами видят, а мы нет. Голос у них тоже изменился и от писка перешел в звук, который издает виниловая пластинка, если ее слегка притормозить рукой. Тут начался склон, водитель выключил мотор, и мы тихо покатались вниз, только шелестели покрывки и нежными басами переговаривались бабочки. Местные в салоне не обращали на бабочек внимания, словно это было обычное дело, а может, это и было для них обычное дело, но я подумала, что для меня-то это не очень обычно, и догадалась, что, может, бабочки вовсе и не стали больше, а остались такими же, как и были сначала (если только хоть один человек в мире знает, какими должны быть сначала по размерам бабочки), они остались прежними, а это уменьшились мы с автобусом, все те, кто ехал со мной рядом, и сам автобус. Но тогда надо было признать, что и дорога должна была сузиться, чтобы для автобуса оставаться нормальной. Я посмотрела на дорогу, и она показалась мне очень широкой, а значит, такое могло быть, что автобус уменьшился. Он уменьшился, а бабочки остались прежними.

Наверное, все вещи вообще пульсируют и то увеличиваются, то уменьшаются, но мы этого не замечаем, даже если вырастем вдесятеро, потому что всё вокруг нас при этом тоже вырастает вдесятеро, и это не сказывается ни на каких расчетах, потому что при этом все сбалансировано — и для поддержания баланса сила притяжения тоже ослабевает, а в учебниках физики незаметно появляются другие формулы для новых условий, и этого никто даже не замечает. И тут меня озарило — ведь появление только одного неправильного предмета, одной неправильной бабочки ведет к переустройству всех вещей мира и даже формул в учебниках физики и химии, потому что Вселенная всеми силами поддерживает баланс и ничего не может вычеркнуть из себя, и ей остается только перебалансироваться. А для этого она выбирает иной свой вариант, в котором для неправильной

бабочки найдено место (у нее их бесконечное число), и реализует его, встраивая для людей и формул новое прошлое, и поэтому никто ничего не замечает. Эффект бабочки, это не когда ты ее спугнула и в Японии от этого цунами, — настоящий эффект бабочки, это когда она опалила крылышко, и от этого изменился весь мир, его моря, законы и истории, и ты сам в придачу, но никто не заметил, ни один человек на земле, включая тебя самого. А такое творится каждую секунду, я уверена, честное слово!

И все же, если такие неправильные бабочки отчасти мое предположение, то «неправильных» людей я иногда встречала. Их очень мало, почти что и вовсе нет, но если одна неправильная бабочка способна переустроить мир заново, то насколько же сильнее его может переустроить человек с нетиповым сознанием, под которое мир должен будет подстраиваться намного тщательнее и катастрофичнее, чем под какое-нибудь насекомое. Поэтому все подсознательно знают, все догадываются, что лучше всего играть по правилам. Делать, как все, и ничего лишнего не выдумывать, никаких новых книг не писать, а писать то, что продается и раскручивается, и для этого есть фильтры стандарта и цензура правильности.

Поэтому всех «неправильных» Система всегда устраняла. Магнат Березовский — правильный, живи, Ян Гус — неправильный, на костер, Патриарх Церкви — правильный, живи, Александр Мень — неправильный, убираем, и Пушкина убираем, и Мейерхольда, и Соловьева. Потому что каждая нетиповая мысль расшатывает систему, а система сильна и всех в общем-то устраивает, хотя никто, конечно же, не считает себя ее заложником, — она их контролирует, а они ее только чувствуют — вся эта телевизионная братия и все эти пустые продюсеры, шоумены, миллионеры, бомжи и продавцы, не в доходах тут дело. Чувствуют, что — родное.

Поэтому правильные бабочки всегда будут сыты, а неправильные всегда вести мир к изменению и умирать. Наверное, самое большое изменение, к которому может привести мир неправильная бабочка, — это преодоление смерти, воскресение. То, чего пытался достичь Владимир Соловьев, потому что он был неправильной бабочкой. Но поскольку он знал, что бессмертия и жизнь вечная создаются только

силой любящих пар, он и искал всю жизнь вторую неправильную бабочку. Но типовые фильтры и системная цензура сработали и втащили зашалившихся было на солнце и ветре любви крапивниц, парусников и зорянок обратно, под прочный и надежный семейный кров.

К вечеру бабочки стали уменьшаться, а потом я уже не помню, куда они делись, потому что на ту историю накладывается еще какая-то другая поездка в другом автобусе, во время которой в салоне парило белое облако, и еще одна с автобусом, vezhim живые буквы, и в придачу еще десятки ничем не примечательных маршрутов, запомнившихся разве что блеском кремня на горных проселочных дорогах.

Петискус

В тот день на подъезде к городу горела бензозаправочная станция «ЛУКОЙЛа». Мы проезжали мимо ее белой крыши в окружении нескольких кипарисов и вдруг притормозили. Видимо, она загорелась недавно, потому что не было видно ни пожарных, ни шлангов, ни зевак. Бежали люди в синей униформе и что-то кричали, а огонь был бледным на солнце, почти невидимым. Зато облака дыма, что внезапно вырвались наружу, были черными как сажа и поднимались высоко в синее небо, как два огромных негра. Негры клубились мышцами и вбирались, заворачиваясь, внутрь себя самих. День был безветренный, но ветки акации у заправки колыхались от жара, и листья на них свертывались. Краска на колонках тоже стала облезать, и они на глазах из красных превратились в серые. Мимо нас пробежал, матерясь, мужик с огнетушителем, но огнетушитель вряд ли мог тут помочь. Потом что-то глухо ухнуло, словно гигант сделал большой глоток, и наружу вырвалось пламя, захлестнувшее крышу. Оно уже было плотнее, желто-красного цвета. Я слышала, как наш водитель что-то пробормотал, выругался и тронул с места.

Мы медленно отъезжали от места пожара, слева за верхушками деревьев синело море, как всегда безмятежное и солнечное, и было странно видеть в таком месте пожар, потому что для пожаров существуют другие места.

— Чеченцы, — полуобернувшись, сказал шофер. — Как два пальца об асфальт. Вот ведь суки!

— При чем тут чеченцы, — неуверенно, но горячо запротестовал пассажир с переднего сиденья, бойкий человек в очках и с газетой в руке. — Курить не надо где попало.

Мы ехали мимо санаториев, я пару раз обернулась назад, но клубящиеся негры пропали, и можно было подумать, что все это мне примерещилось. Было и не стало. Как ветром сдуло. Пассажиры молчали. Шофер тоже больше никак не реагировал. Мы просто ехали, и всё.

Я вышла у автовокзала, вошла внутрь и стала думать, куда мне отправляться дальше. Посмотрела на схему автобусных маршрутов над кассами. Потом решила, что давно не была у Луки, и взяла билет до Адлера. Можно было доехать и на маршрутке, но мне захотелось на автобусе. Там я переседаю на другой автобус, до Поляны, и всего через час с небольшим буду на месте. Я расстегнула свой «спайдер», достала оттуда яблоко, но есть не стала, потому что почувствовала, что хочу чего-то горячего. Хотя бы кофе.



В кафе под платанами, стеклянной пирамидке с тихой музыкой, места были заняты, но за столиком у окна одно было свободно, а само окно смотрело на остановку, на которой переминалась в ожидании автобуса высокая девушка в куртке и белой юбке. Я села и положила яблоко на столик рядом с чашкой кофе. Напротив меня сидел и пил чай с лимоном

человек в холщовой куртке светло-серого цвета, в шляпе, с усиками и в очках со стальной оправой. Он был весь очень чистый и подтянутый, а еще он делал какие-то записи у себя в блокноте.

— Хай! — сказала я ему, сама не знаю зачем. Уж очень он был чистенький и аккуратный, такой, что его хотелось погладить, наверное, из-за этого. Наверное, потому что рядом с ним я вспомнила, что сама уже давным-давно не чистенькая, не аккуратная и уже несколько раз меня принимали за местную, а однажды милиционеры даже интересовались моими документами, и я едва от них отвязалась. И еще я иногда боялась, что как бы у меня не завелись вши, говорят, такое бывает от тоски, мне прабабка в детстве рассказывала, но они так и не завелись.

Он покосился на меня своими серыми, чуть навывкате глазами и тоже сказал: «Хай!»

Тут я поняла, что веду себя, как шлоха, и мне стало стыдно. Видимо, за последнее время я немножко спятила. Вообще-то в этом нет ничего страшного, но я не хочу, чтобы это произошло со мной незаметно, так, чтобы всем было ясно, что я спятила, а мне нет. Я попросила у него прощения, а он развел руками и вежливо сказал что-то по-английски. Тогда я попросила прощения на английском, и он приветал и представился.

Его звали доктор Петискус, он приехал из Германии, и у него на местном кладбище был похоронен дед. Он здесь, чтобы его проведать, а заодно сделать фотографии и опись всех особняков в стиле модерн, которых в городе осталось около дюжины, не считая построек в саду «Дендрарий». Он пишет книгу об архитектуре модерна. До этого он написал две книги — о Никола Тесле и о Георге Гейме. Они имели неожиданный успех и даже были переведены на европейские языки, но он писал их не для этого, а чтобы создать свою трилогию — «человек науки — поэт — слово-здание». Заполнить, как он выразился, пустующие места общекультурного пазла. Он читает лекции в одном университете и видит свое, даже не призвание, а, так сказать, долг и обязанность в том, чтобы пустующие фрагменты общеевропейской культурной матрицы были заполнены объективно выверенными и тщательно пригнанными друг к дружке смыслами при его,

доктора Петискуса, посильном в этом деле участии. Его дед, похороненный на кладбище города С., был философом, хотя и не профессиональным, но тем не менее издавшим при жизни несколько брошюр. Должно быть, интерес к размышлениям и философии у него от деда.

— А чем занимаетесь вы?

Не знаю почему и что на меня нашло, но я начала ему все рассказывать. Все подряд, ничего не скрывая. Наверное, я от всех этих дорог все-таки немного сошла с ума. И еще, наверное, потому что этот маленький и чистый немец внушал мне абсолютное доверие и чувство абсолютной надежности и конфиденциальности. Потом он попросил разрешения включить рекодер и сделать запись, и я позволила. Я говорила часа два, а он сидел и слушал. Наверное, я давно не говорила по-английски, и меня разобрало так, что я не могла остановиться. Странно было слушать, как буквы, которые вошли в меня через спину там, на пляже, где я сидела голая и ела водоросли, стали складываться в английские слова и целые английские предложения. Когда я закончила, он достал из своего аккуратного рюкзака ноутбук, перекинул туда запись, а рекодер протянул мне. Я еще забыла сказать, что от него пахло приятным одеколоном, а на шее, под рубашкой, был повязан зеленый платок. И что при этом в глазах у него как тихое озеро стояла несокрушимая немецкая воля, абгемахт, доктор Шопенгауэр, хозяин кис-кис, тринадцати кошек, есть же такое на свете!

— Пожалуйста, — сказал он, — возьмите! И все, что еще вспомните, мадемуазель. Все равно что из этой истории. И те записи, которые у вас сохранены как письма, и то, что с вами еще произойдет, и все-все. Присылайте мне. — И он написал четким почерком на листке, вырванном из альбома, свой электронный почтовый адрес. — Я вижу, что вам уже пора ехать, но вы еще не выговорились. Выговоритесь сюда, — он постучал по микрофону магнитофончика и улыбнулся. Улыбка у него была на редкость беспомощная. От этого он мне понравился еще больше. Я ему сказала, что в этом городе много чего построили немцы, например, старую дорогу на Красную Поляну. Он сказал, что знает, и назвал еще четыре здания. Он сказал, что в каждом здании располагается алфавит, и если здание построено правильно, то в

нем закодированы все буквы языка, а значит, оно, таким образом, содержит в себе бесконечное количество мировых историй. Но бывают здания, которым нечего рассказать, и в таких не очень хорошо живется. Что эта идея принадлежит не ему, а деду, вот почему его так заинтересовал мой рассказ про поиски пропавшей буквы.

Я достала из «спайдера» кошелек и пересчитала деньги. Дело в том, что банковскую карточку у меня украли вместе со старым кошельком в одном из автобусов, видимо, пока я спала. Вытащили и сотовый. Так что я позвонила маме, чтобы она заблокировала счет, уже с почты какого-то пыльного поселка, где напротив окна на фоне горного склона стоял маленький памятник Ленину, выкрашенный облупившейся серебряной краской, а у подножья щипал чахлую травку желтый гусь. Сотовый я купила новый, и на это ушли почти все мои деньги, кроме дорожных, отложенных в потайной карман «спайдера».

Но доктор Петискус мне платить не позволил, и я не стала настаивать. Я положила рекодер в карман рюкзака, застегнула, и мы простились как два старых приятеля. С иностранцами все же легче. С ними иногда совершенно отсутствует сексуальный подтекст, и от этого во время общения намного легче дышится.

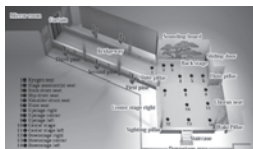
Наноридза

Я вышла из автобуса в Поляне, когда мне позвонил Лука.

Тут было холодно, ночью выпал снег, подъем обледенел, и не все автомобили забирались вверх. Автобусы и продуктовые грузовые шли в поселок с цепями на протекторах. Я сама хотела ему позвонить, но он меня опередил. Я вытащила из рюкзака купленный накануне свитер и надела его под куртку прямо на дороге, положив рюкзак на обочину. Из рта шел пар, и над поселком стояли столбы дыма из труб, пахло горелым коксом. Черные ели торчали на заснеженном склоне горы. Пейзаж прямо японский, только чайных домиков не хватает.

Я часто думаю, насколько сцена театра Но соответствует в расположении своих основных точек магической схе-

ме мира (допустим, такая существует). Ведь передвижение актеров по Но-сцене, даже хаотичное на первый взгляд, на самом деле строго обусловлено при помощи основных знаковых для актера и зрителя точек на ее плоскости. И все актеры, выходя на сцену, не только имеют в виду эти точки-маяки, места силы, но и вступают с ними все время в тот или иной контакт, соприкасаются с ними и отдаляются от них, и если подумать хорошо, то при этом высвобождаются немое повествование, схожее с тем, которое произносятся идущие по орбитам планеты, издавая разные высоты звуков в зависимости от удаленности их от Солнца-центра или приближенности к нему. Вернее, звуки издают не сами планеты, а ангельские или демонические существа-сирены, главенствующие над ними, но это неважно. Важно то, что все вместе включенные в аккорд планеты рожают музыку сфер, и это и есть их рассказ о своей удаленности или приближенности к центру.



Если бы наше ухо изощрилось до того, что могло бы различать звуки, соответствующие приближению и удалению актеров, их изменяющейся дистанции по отношению, скажем, к месту произнесения имени, наноридза, — если бы оно

было в состоянии слышать то, что видит глаз, интересно какую бы музыку мы услышали. Насколько она была бы музыкой сфер или японской музыкой вообще? А может быть, это была бы музыка Моцарта? Или Баха? Или это была бы та музыка, под которую люди рождаются, а потом забывают о ней, и, может быть, умирают только для того, чтобы вновь к ней вернуться? Насколько, скажем, мой маршрут по всем этим городкам, горным поселкам, автовокзалам, гостиницам, кемпингам, горным перевалам, осенним морским бухтам, грунтовыми и асфальтированными дорогам, шоссе, магистральям, санаториям и аптекам, кафе, площадям, аулам, лужайкам и почтам — насколько он может соответствовать движению актера по сцене Но, причем с маской на лице, устраняющей его индивидуальный и слишком частный характер и делающей его сопричастником и выразителем простой космической идеи? И тут надо учесть еще тот факт, что в этой маске сцена ему почти не видна и, передвигаясь по ней, он включает иные приборы видения — интуицию и связь с абсолютным пространством, как это делают бабочки в полете, ориентируясь по другим, нежели мы, признакам. Интересно, какую музыку я издаю?

Надеюсь, что по крайней мере хороший джаз. Хотя больше всего сегодня мне нравится Эмми Вайнхауз, потому что мы с ней обе с Луны. Но я так и не определила, где находится мое место наноридза, место произнесения имени. Иногда мне кажется, что в отличие от сцены Но это место перемещается в пространстве вместе со мной, только по другим, своим собственным траекториям. Иногда мне кажется, что это место — Шарманщик. Но суть остается та же. Моя музыка продолжает звучать, восходя и понижаясь в зависимости от того невидимого меняющегося периода, который нас с ним разделяет. Это похоже на редкий музыкальный инструмент — терменвокс, на котором играют, к нему не прикасаясь. Он реагирует на положение ладоней над ним. Когда меняется их пластика, меняется высота звука. А когда меняется их ритм, меняется темп музыки. Все так вот просто. Я думаю, что все мы имеем свой наноридза и всю жизнь издаем тихую музыку наподобие терменвокса, приближаясь к этому месту или удаляясь настолько, что музыка гаснет, а вместе с ней и жизнь, хотя при этом человек не умирает, а

наоборот, может возглавлять государство или какой-нибудь жуткий синдикат или холдинг, неважно. Важно, что музыка кончилась, а значит, человека больше нет, а есть мертвая душа.

Я еще не почувствовала, что это значит — назвать имя, но, наверное, это самое главное в жизни. Надо бы спросить об этом Пеликана, потому что о театре Но я знаю только понаслышке — от него, да из записок Шарманщика и немного из текстов интернета. Если человек хоть на минуту совпал со своим настоящим именем, наверное, он не зря сюда приходил. Наверное, тогда он счастлив и многие вокруг него тоже. Наверное, тогда он знает, что делать, чтобы смерть и боль ушли. А также, чтобы с земли ушли ложь, предательство и подлость. И тогда, может быть, вся история земли большей частью будет выглядеть по-другому, окажется кошмарным сном, тем, чего на самом деле вовсе и не было. Вру... кое-что в ней все же было, было замечательно... волхвы, например, с дарами у пещеры Младенца на верблюдах, то, что Его хоть потом и убили, но Он так и не умер до конца... и то, что Лев и Младенец — одно и то же... и как Соловьев влюбился в Мартынову и хотел, чтобы она никогда не умерла... и что Лолита до сих пор ждет меня под мостом через Язу, и еще, что у меня есть мама и что сейчас снег то посылет, то перестанет, и воздух такой свежий и звонкий, как орех... а я иду по крутому подъему к поселку, и меня обгоняют машины, звеня цепями на задних колесах, и что они едут так медленно и осторожно, а сзади из выхлопных труб поднимается дымок. И мне звонит Лука и говорит, если ты не очень устала, девочка, поезжай к подъемнику и отправляйся наверх, посмотри на горы, какие они сейчас красивые. Не была еще наверху? Посмотри, может быть, сумеешь там разглядеть гряду хребта — на всю жизнь запомнишь, скажи, что ты от Луки, тебя поднимут бесплатно.

И я, хоть и устала и не понимаю, что там можно рассмотреть в снегопад, послушно иду обратно мимо маленькой церкви, над которой кружит снежок, спускаюсь вниз, скользя кое-где по льду, и там ухитрюсь забраться в приотмозжившую попутку, которая довозит меня до подъемника. Я говорю на контроле, что я от Луки: да-да, он звонил, — подмигивает мне небритый мужик и показывает рукой на

приближающуюся по воздуху скамейку, придерживает ее, я сажусь, меня подхватывает под колени, отрывает от земли, и я медленно тащусь вверх, туда, где высится вершина. Передо мной плывет в воздухе пустое сиденье, а чуть дальше за ней — пара лыжников в ярких нейлоновых куртках. Ноги



у меня висят в воздухе, и от нечего делать я оглядываюсь по сторонам. Снег кончился, и теперь накрапывает дождь, он падает вниз на испещренный серыми следами от лыж склон, на густые заросли елей, на раскисшие следы колес на снегу. На второй очереди процедура повторяется, снова сиденье подхватывает меня под колени, теперь я уже веду себя смелее, мне бы хотелось так ехать и ехать, потому что здесь хорошо — ни земля, ни небо, ни приехала, ни уехала, ноги висят над склоном, а впереди все на том же расстоянии путешествует парочка лыжников в ярких куртках — малиновой и голубой.

И еще раз я пересаживаюсь, третья очередь, внизу снова плывет наст со следами кабанов и медведей и желтыми пятнами звериной мочи, и я чувствую, что замерзаю, потому что здесь холоднее, и снова пошел снег, а потом на какой-то миг проглянуло солнце, ослепило и сделалось хорошо и радостно. Я плыву дальше, положив свою бамбуковую палку поперек колен, надвинув коляк на голову, а солнце снова выглядывает, и снег кружится вокруг.

На самом верху я вылезаю на засыпанную снегом площадку. Народу немного — та парочка в куртках и две пожи-

лые женщины, одна иностранка. Они кудахчут как курицы и снимают на «кодак» все подряд. Объектив больно стреляет зайчиком по глазам. Я озираюсь и вижу вдали заснеженную гряду гор, обещанную Лукой. Горы настоящие, с белыми вершинами. Солнце светит так ярко, что я жмурюсь, когда гляжу на них, — они далекие и неправдоподобно красивые под синим небом, в облаках, которые словно причалили к ним, а снег вокруг меня сияет так, что из глаз начинают течь слезы. Я зачерпываю пригоршню и тру снегом лицо. Оно мгновенно немеет, и я начинаю смеяться. Облизываю губы и снова смотрю на далекие вершины. Где-то там Лермонтов встретил своего Демона, а потом возил по Кавказу пристяжные перепончатые крылья.



От площадки, на которой я стою, отходит по склону вверх несколько протоптанных трошинок, и я обдумываю, стоит ли мне отправиться по одной из них дальше или нет, но тут замечаю что-то вроде кафе с красными пластмассовыми столиками на воздухе, засыпанными снегом так, что кажется, что на каждом из них лежит по подушке. Вокруг столиков — перила ограждения. На крыше кафе тоже лежит белый матрас. Я заказываю кофе в окошечко, из которого пахнет горячими пирожками. С дымящимся пластиковым стаканчиком, обжигающим пальцы, я иду к столику, рядом с которым стоит чистый от снега стул на фоне все того же пейзажа со снежными вершинами и прорывами голубизны. Только тут я замечаю, что за столиком сидит человек. Его не было видно из-за угла кафе. Он в серой куртке, бейсбольной кепке и перчатках. Перед ним бутылка текилы. Она воткнута до половины прямо в сугроб на столе, а рядом торчит белый пластиковый стаканчик. Я чувствую, как меня начинает трясти. «Шарманщик, — говорю я ему, — это ты?» Но не отвечает и меня не видит, потому что сидит с закрытыми

глазами. Стаканчик с кофе вываливается у меня из рук, я хватаю воротник куртки и трясу. «Шарманщик! — кричу я, и из глаз у меня текут слезы, — Шарманщик! Почему ты не позвал меня с собой?» Но он не отвечает, стул, на котором он сидит, от моих толчков начинает заваливаться на бок, и Шарманщик как чучело вслед за ним мешком валится на землю. Я падаю рядом на коленки, смотрю на его сломанный нос, закрытые глаза и как подрагивают веки. Изо всех сил я смотрю на то, как они дрожат, и тихо говорю: «Это я, Шарманщик. Я пришла. Не бойся. Пойдем сейчас к Луке, ладно? Пойдем».

Я пытаюсь поднять его на ноги, но он слишком тяжелый. Я достаю мобильный, звоню Луке, он отвечает сразу, я говорю, где мы, и прошу приехать, потом наливаю до краев текилы в стаканчик, пью, не чувствуя вкуса, а только холод по зубам, и кричу лыжникам, которые растерянно переминаются, глядя в нашу сторону: да что же вы там застряли! помогите же! Мы втроем усаживаем его как огромную куклу на сиденье подъемника, он еле волочит ноги, что-то мычит, я сажусь рядом, и мы начинаем медленно спускаться. Снег падает на его непокрытую голову, я крепко держу его за рукав.

Попутчик

Лето в разгаре, по Москве-реке плывут желтые лодки, пароходы с музыкой, где все больше духовые, нависают с Воробьевых гор тополя и липы, белые зонтики и платья колышутся над рекой, отражаясь и дробясь, лето расходится ярусами, разлетается ядрами.

Каждое, и это без сомнений, лето похоже на джунгли. Силетаются хищные и необузданные ветви и стволы прозрачного горячего воздуха, испарений, разогретых улиц, плотнеют, скатываются, образуют ком, что катится по улицам, вмываясь в дома, как лишний шар приклеивает к себе особняки, колонны, тополиные кусты, внутренние замоскворецкие дворики с липами и лавочками, тенистые арбатские закоулки с белыми статуями и шевелящейся тенью от листвы на мощеной мостовой — все шипит, вращается, едет куда-то, катится, налиная, ойкает детскими голосами,

вскрикивает — женскими, плещется. Катятся в разные стороны зеленые и коричневые шары лета, прозрачные и плотные, многоликие, многорукие, гулкие, несущие прохладу подьезда и раскаленность чайной ложечки в звонком стакане, перебранку извозчиков, шелест бумаги на столе, когда от жары под рубашкой готовится пот, — катятся, яростные, летят, блаженные, творят время с зеленой водой, творят ладонь пустую и платье, колени облипающее, инподром с лошадьми творят и трубача с раздутыми щеками и руками к клапанам поднятыми, похожего творят его на богомола, на насекомое зеленое. Вминают и уносят крошки времени липкие шары — куда? Бог весть. Вминают и уносят бок рояля с парой мазурок Шопена, катятся, гулкие, по воздуху, как по желобу громыхающему, грохают велед рамы и форточки, словно перед грозой, а ведь и правда, что перед грозой, и вот уже черная туча наезжает на полнеба, все, а особенно тополя с птичками, замирают, а молнии уже лупят туда сюда, но пока беззвучно, словно огромный невидимка чиркает мелом по черноте доски сверху вниз и в бок, поигрывая, а вот и грохнуло, и ожил воздух — качнулся и понесся как лихач-извозчик, охлаждая лоб и мостовую, гоня перед собой сор и мусор, завивая сухие еще столбы пыли по Арбату и Пречистенке.

Не то под Москвой. Здесь уже давно гроза вовсю. Морщит матовые зеркала озер с купальнями по берегам, где прячутся дачники, бьет молнией лес, грохочет и оглушает громом, как вокзальным эхом по крышам, надрывает водосточные трубы, превращает дороги в кашу с озерцами и желтой непролазной грязью; стоит ливень прозрачным лесом без ветвей над стогами, словно хрустальным лесом стоит он над стогами и полем, утыкается гребешком в холмы, стучит в окна железнодорожного вагона, где одно не закрыто и занавеска изо всех сил, как упругая птица развевается в проходе, а дождь летит на ковровую дорожку, подрагивающую на стыках.

Владимир Сергеевич Соловьев возвращается из Пустыньки в Москву, где ждут его кое-какие дела, встречи, и главное, надо захватить в редакцию «Вестника Европы», отдать рукописи, выправить предыдущие, договориться о дальнейшем сотрудничестве, о следующей статье из серии

о Пушкине. Он сидит в купе, пьет чай и смотрит в окошко, где бесчинствуют демоны глухонемые. Голова его острижена наголо, львиных полуседых пророческих косм нет и в помине, руки затянуты в черные перчатки, и от этого вид у него весьма непривычный. Головка без косм кажется маленькой как у птицы, и такой же чуткой, и от этого он выглядит моложе и приветливей. Кажется, что с ним только недавно случилась какая-то смертельная беда, но вот сейчас уже все хорошо, обрился человек и выздоравливает, и все самое страшное уже, можно сказать, позади, отпустило, отошло.

А на самом деле никакой особенной беды этим летом с ним не произошло, а гостил он в Пустыньке, проводя время в соседстве с хозяйкой Софией Петровной Хитрово, старинной своей любовью, теперь уже закатившейся, отпыхнувшей. Голову же обрить и руки затянуть в перчатки пришлось из-за нервного заболевания, сказавшегося экземами, кожным раздражением и шелушением. Поезд приближается к Москве, постукивают колеса, кольшнется на окне белая занавеска с оборками, ехать осталось пару часов, не больше, а тут подарок — прохлада, движение воздуха, облегчение, и он закрывает глаза и задремывает.

Когда Владимир Сергеевич открыл их, напротив себя в купе он обнаружил попутчика, недоучившегося семинариста, как тот сразу же, еще в не проснувшиеся глаза глядя, представился — ныне студента Московского университета по отделению истории и филологии. Попутчик был подвижен и хорош собой, с маленькой бородкой, живыми черными глазами, в летнем светлом костюме, и философа Соловьева знал по трудам его и выступлениям. Но вот что было неприятно и тошновато, словно опять воздух сгустился как перед грозой, — что, казалось, Гаврила Иванович, как звали студента, знал о нем, Соловьеве, намного больше, чем показывал.

Разговор, начавшись с пустяков, как-то сразу въехал в философию да в богословие, и Владимир Сергеевич, всячески избегавший подобных тем с незнакомыми людьми, с изумлением вслушивался, как его губы произносили:

— Настоящее состояние человечества не таково, каким быть должно, и это всегда значило для меня, что оно должно быть преобразовано и изменено.

— Вы это о теократии? О народах, собравшихся под руку Бога на земле? Во главе с Папой и русским императором? — вежливо, но как-то нарочито спросил Гаврила Иванович.

— Прежде я думал, что теократический путь возможен и даже необходим, — устало проговорил Владимир Сергеевич, косясь на мокрые поля за окном. — Теперь же думаю, что впереди всех нас ждет глубочайший катаклизм, в результате которого состоится последнее сражение между добром и злом.

— Это вы конец света имеете в виду?

— Именно так.

— А кто, позвольте спросить, автор этого конца света — люди или Бог?

— Совместно. Бог как сила, дающая людям право любого выбора, и люди, выбравшие дорогу, ведущую к обрыву.

— Что ж, вы думаете, все так вот и кончится? — лицо молодого человека сделалось даже каким-то глуповатым и обиженным.

— Конечное кончится, бесконечное продолжится.

— Это как же?

— Да так, что низкое и недолжное уйдут, а прекрасное и возвышенное останутся, потому что — Божье. Собственно, исчезнет иллюзорное состояние мира, уступая начаткам безусловного его состояния.

— А как же те, — спросил тихо Гаврила Иванович, ласково и снизу заглядывая в глаза философа своими, бледно-серыми, — как же те, кто не ведал наших с вами разговоров про иллюзии мира, а считал свою жизнь единственно возможной, не вникая особо, должная она или недолжная, грезится она ему или нет? Верю, верю до глубины всему, что вы говорите, в искренность вашу и правду, — тут же пылко добавил он, — но, позвольте, как же мужик? Или, скажем, купец? Или пролетарий? Да просто торгаш? Или ребенок? Если для них эта жизнь — единственная, так что, по-вашему, на том свете их Бог будет в этом разубеждать? Но это же вторжение в свободу их выбора. А значит, ежели Он милостив и не станет вмешиваться, то, значит, и тот свет, тот свет снова для них будет не царством Света, а миром конечным, с весами, обманом и ложью. Умрет человек, а ничего не изменилось. Умер, созерцая плевков на вокзальном полу, и там будет его

созерцать. Или все так же будет сидеть за прилавком и обвешивать покупателей. А подлец продолжать подличать и насильничать. Ведь изменить это тем светом значит насилие со стороны Бога.

— Вы правы, отчасти, — через силу ответил философ, — но бесконечное все равно преобразит вещи конечные и недобрые. Человеческая душа все равно прорастет к свету.

— Там или здесь? Десятки тысяч лет люди заливают землю кровью и грязью. Приходят и уходят реформаторы, духовные вожди, величайшие подвижники. Две тысячи лет почти как распялся лучший из людей, и что? Только увеличилось реки крови, да подлость, да предательства. Женщин насиловали и продавали и продолжают насиловать и продавать, детей били и уродовали — и будут бить и уродовать, рядовых ремесленников и обывателей оглушляли и будут оглушать. Раньше просто так, потом во имя Христа, а потом опять просто так, потому что имя Христа стало не тайной и жизнью, а просто словом, названием церковным, почти что производственным термином на фабрике религиозного опиума. Стало цитатой, каких миллион — умных, но далеких и беспомощных хоть что-то сделать и изменить. А Церковь как служила государству, а не Христу, или себе самой, а не Христу, так и будет служить дальше. И ежели ничего не меняется здесь, а Бог не насильник над волей — почему же оно может измениться там?

— Но есть и другие ростки — ростки добра, — с неприятной и невероятной тяжестью проговорил Соловьев.

— Поймите, я не хочу оспорить ваши замечательные умозаключения, — загорячился студент, но при этом темные глаза его были как бы неподвижны, — я только хочу сказать, а не всё ли равно? Это же ведь все бунт поверхностности, волны человеческого гумуса, шевеление недолжного бытия, ха-ха. Вот Бог сказал: «Молитесь, и будет дано вам». Церковь молится о мире, а идет война. Ребенок молится, чтобы оболганного отца оправдали, но отца осуждают на каторжные работы. Христос сказал: «Чего бы ни попросили во имя Мое, Я то сделаю». Жена просит Бога, чтобы муж перестал развратничать, а вместо этого заражается от него дурной болезнью. Беременная просит Бога сохранить ребенка, а у нее снова выкидыш. Отсюда я делаю вывод, что либо

для людей молитва непосильна, либо Иисус лгал. Потому и ушел я из семинарии, что был честен перед собой. Я сам ведь всем объяснял, что на самом деле молитва действительна и благодатна. Что она всемогуща. А как вдумался... И вот я вдумался и долго думал, очень долго думал и думал в правде. Нет, не надо мне этих лживых объяснений, на которые был я сам мастак. Довольно, довольно! — Студент страдальчески сморщился: — И я спрашиваю — что, лгал людям Христос? Что, неосуществимые слова говорил? Что, к невозможному, что ли, призывал? Но допустить такого не могу. Тогда что же — молитва неподъемна настолько, что только особо святым дается, да и то не всегда, а ежели Бог позволит? Тогда зачем было давать людям такую молитву, это все равно, что подарить письменный прибор безрукому или гармошку глухому. И всё-всё так же с Евангелием происходит, как это. Все, что есть в Евангелии — все эти великие слова, манят, но не работают, не осуществляются. Он говорит: «Все, что Я сотворил, и вы сотворите и больше того сотворите!» А значит, что все то, что делал Он: воскрешал мертвых, нес слова вечности людям, насыщал их, умножая хлебы, вдыхал новую жизнь, претворял воду в вино, исцелял паралитиков, любил, ходил по водам, изменял сердца, отдал жизнь за нас, умер, воскрес — все это нам с вами заповедано И что же? Вы вот, — улыбнулся студент, — по воде ходили? Я — нет. И хлебы умножать не получилось, и мертвых воскрешать тоже. А мы... что же мы сотворили? Войны, да грязь, да насилие. Да ложь, да величание ничтожества над истинным достоинством, да поруганное в неравном браке девство. Все, про что в шестидесят шестом сонете Шекспира сказано... И потому, — тут лицо его напряглось, словно в нем пробегали внутренние конвульсии, и стало жалким и некрасивым, — я спрашиваю Его ото всего сердца и ото всей своей первой и последней любви к Христу: неужто Ты зря приходишь? Вот вопрос, который горит передо мной, как раскаленное клеймо, и год за годом жалит меня в лоб и в сердце: неужели Ты приходишь зря? Неужели Ты приходил напрасно?

Арлекин Гаврила Иванович

— А знаете, что из Его слов производит действие на самом деле? Угрозы. Слова о печи огненной и об огне поядающем. И что грешнику никуда не войти, кроме огня. Вот что запоминается и живет в сердце! Вот, что действительно отзывается в человеке — вина! Страх, который у него и до этого был, а теперь стал невыносимым. Вот что осталось — парализующие, но ничего к лучшему не меняющие слова. Кого останавливает страх, скажите! Раба? Да, может быть, раба, да и то не страх ада, а страх плетки. И поэтому лучшие люди России перестают ходить в церковь. Это сейчас. Погодите, увидите, что будет дальше. — Студент откинулся на спинку купейного дивана, на лбу его посверкивал пот, а край рта конвульсировал отдельно от остального лица, глаза же были черны и покойны.

Владимир Сергеевич хотел много сказать в ответ, и много чего можно было сказать и даже должно было — он уж и рот открыл, но вновь почувствовал все ту же непереносимую и тошнотворную тяжесть. Подкатило, словно из глубины желудка, достигло, накрыло до горла, и он словно онемел. Он глядел на Гаврилу Ивановича, а тот, кажется, выговорившись, совсем о нем позабыл и не ждал ответа, наблюдая за мельканием телеграфных столбов в окне вагона да крутящимся колесом простора. И никак не удавалось Соловьеву зацепить его взгляда глазами — Гаврила Иванович словно нарочно глаза свои черные все куда-то уводил в сторону да вбок. И все же смог философ, в молитве внутренней смог, перехватил взгляд Гаврилы Ивановича, перехватил и удержал. И не Гаврилу тут увидал он Ивановича — мальчишку-переростка, тешащегося далеко не праздными разговорами, а кого-то очень знакомого, кого-то, кого он знал прежде, да сейчас вот на время только не узнал, но вот-вот вспомнит.

И вспомнил, вспомнил, потому что если не сын-присоска он, то кто же ему Гаврила Иванович, потому что отошло из груди его что-то, открылась там склизкая и лишняя дверца и закрылась, а вытянулся оттуда отросток, похожий на осьминожкой, виданный им на Капри, загустел и заklubился на конце лишкой живородящей слизью и разросся в Гаврилу Ивановича — его сына и родную кровь. А там потянулся

было к сыну Владимир Сергеевич, но недовстал, недотянулся, снова бессильно откинулся на диване, потому что знал, что сын его, отросток, здесь ненадолго, здесь мимолетно и недолговечно его бытие в вагонном купе, но сейчас взглянется он получше в дождливое лето за окном и растворится в нем лягушачьей слизью прудов да заглохших озер, но не оборвав между ними, отцом и сыном, липкой пуповины, но оставив ее невидимой и негленной, вечно их связывающей и обязывающей отца быть в сыне хотя бы добрым и наставляющим словом. «Но ведь не может у меня быть сына, не может, — осознал вдруг философ, — я бы знал. Но оно ведь никак невозможно за все эти годы».

И он снова взглянул на Гаврилу Ивановича, а тот, не покидая пульсирующего отростка, стал заново разрастаться в какого-то пестрого, высокого, в одежде словно заплатанной, а когда философ воткнулся взглядом в его лицо, то лица не увидел, а увидел там тошнотворное же переливание каких-то чужих лиц. И не то чтобы даже лиц, а голов, скорее. Скорее, голов — самых разных и как будто живых, и все же все неживых, будто глазки, промелькивающие в глазницах голов, были живыми, а сами головы были неживыми, а даже и не были головами, но были многими головами, составляющими одно лицо, не женское и не мужское, которое лукаво теперь вглядывалось в очи философа.

И чем больше он глядел в это мутящее сознание лицо, тем больше ему казалось, что сокращается и без того короткий отцовский отросток, их навеки соединяющий до того, что стали они теперь одним и именем и словом, тем больше его притягивало на грудь к этому лоскутному, мигающему всеми своими глазами, словно они были у него повсюду. Он еще помнил, что за окном бежит дождливый зеленый день, что он, Владимир Соловьев, возвращается в Москву и что у него была длинная жизнь, от которой он не раз заболел и уставал, но все это сейчас же становилось плоским и словно выгоревшим на солнце, а основным было то, что было сейчас у него перед глазами, — лоскутный, словно венецианский, словно гондольный, на причале прыгающий где-то возле Санта-Марко человечина-сын напротив.

И надо было вот сейчас оторвать этот отросток, не убив при этом сына-человечину, отогнуть его как-то в сторону,

освободиться от наваждающего зрения себя в сыне из локутов, но для этого нужны были руки, а рук у него больше не было, но они ушли в язык и там остались вместе с пальцами, надавливая на которые, он стал говорить молитву, и тогда сила отворачивания и печали, тяжелая, как опрокинутый рояль, стала со вздохом отодвигаться и слабеть, и тогда он встал с дивана, открыл купейную дверь и вышел в коридор.

Там он постоял у окна, глядя в летние мелькающие речки и рощи и ощущая, как натянулся за спиной родной отросток и нерв, ощущая и зрея бесконечной жалостью и плачем к утратившему отца на такое расстояние сыну, захлопнутому там с мертвыми своими родными головами, убивающими их обоих допына, постоял и зашевелил языком, как руками вновь, творя пустынные заклинания синайских подвижников. Просил он сыну поймать огромную рябую рыбу из серебра и молока, чтобы было у того счастье и тропы по трудной жизни, чтобы рыба вела его в тех местах, куда запрещен был вход человеческому разуму, но рыба ведь не человеческий разум, она и больше его, и меньше. Рыба из стали и мяса многое сделает возможным за то, что мы хороним своих мертвецов, подбирая их тела на улицах и в подворотнях, как это делал праведник Товий, рыба, которой кости сделаны из луны, сможет сказать слово там, где бедные глухие дети только разводят руками по сторонам, если их не научили нововведенному в некоторых особых заведениях для ущербных детей языку, при котором слова и буквы обозначаются не при помощи дыхания и языка, а благодаря некоторым жестам рук. Рыба с костями из луны и зонтика для сына Товия, ищущего себе невесту, и в честь праведности отца его сделает так, что обратится лелеющий деву для себя сатана в бегство, лелеющий ее для себя и поражающий всех ее женихов, восходящих с ней на брачное ложе, восходящих с ней вместе, готовящихся к объятию и влажному, как губы, поцелую, но не сумевших лишить ее целомудренного девства для того, чтобы оно переросло в не менее святое материнство. Но нет, не из зонтика и не из луны, а дебелое и усталое, как тело проститутки, когда она перекинута собственной тяжестью через поручень и от ее силы шикнет по обе стороны. Рыба из костей и выдыха озеро потеснит убийцу людей, восходящих на ложе к деве, убивающего их не-

жданной смертью в лоб, одного за другим. Лелеющий деву для себя отступил перед рыбой из воздуха и пыли Израиля, из ангелов его и крови, из молока и плача. Отступил, схватился за голову и бежал от супружеского ложа без оглядки, пораженный рыбьим плавником, словно боевым трезубцем в низ живота, где у таких, как он, находится растопыренное во все стороны внутри сердце из гноя, холодной искры и наоборотного мира — ни плохого, ни хорошего, такого же точно, как наш, но без огня. Бежал от воздуха Израиля и пыли Израиля, от ангелов его и Бога его.

И вот теперь либо разорвать отросток и пуповину, либо закаяться странствовать отдельно и вернуться к Арлекину, едущему там, в соседнем купе, в оставленности и замкнутости на себе одном, кроме тоненького пульсирующего отростка, в котором ходит от одного к другому их одно имя. Что с того, что драконьи жабры растут у него гроздьями со спины, как виноград в пузырьках крови, разве у него самого нет таких же, разве не переливается все одно в другое, и даже не на идеальном духовном уровне, а как лягушки в пруду переливаются в человека, а человек переливается в землю, особенно когда умирает и со всех сторон к нему приползают дети дракона — крылатые черви, чтобы дать тому новую жизнь, а все лишнее убрать и спрятать.

Владимир Сергеевич рванул дверь соседнего купе и, увидев, что пусто, завалился на сиденье и тут же вспомнил, что было написано в одной стариной еврейской книге — то ли молитва, то ли духовное упражнение, которое сейчас осветилось, как луна над его глазами. Грешная сила, нудящая человека ко злу и затмению, может быть устранена, вспоминал он, при помощи раскладывания этой грешной силы, а вернее, ее имени, что является одним и тем же, на буквы, из которых это имя состоит. Точно так же можно избавиться и от любого и даже доброго наваждения, разбирая его имя на те силы, которые заключены в его буквах, тем самым лишая власти эту общую силу их горячего и сильного сочетания, приводящего к тому качеству, которое тебя сейчас нудит и угнетает. И поэтому так можно было бы разобрать все что угодно и даже самого себя от лишних букв и слов и сил, потому что злые силы теряются от того, что буквы, из которых они состоят, разбираются

и перегруппировываются во что-то другое, более подходящее и доброе.

И тогда он вспомнил сына своего, человечину, жаберного Арлекина, и стал отыскивать его отдельные буквы, как, например, А и Р и Л и Е и К и И и Н, но они никак не хотели отрываться от имени и склеивались воедино, словно бы они были живыми и отрывать их от сидящего сына было так же примерно, как выдергивать перья у живого голубя, но вот подались, засветились лунным светом, завращались отдельно, словно планеты, которые кружатся вокруг солнца, только тут они кружились вокруг оставшегося без них человечины, и, когда они разъединились и разошлись, разом хлынул в глаза философа яркий живой свет его предызбранной Софии-девы, облеченной в солнце, спасшейся и спасенной рыбой Израилевой уже в который раз, и засиял лепесток пыльный, маслинный и свет разноцветный в его душе.

И вошла жизнь в его грудь снова. И отвязалась тошнота и тяго, а вместо — плескалось там море света, ударяя словно бубнами в его молодежавое сердце. И истлела пуповина, как будто была сделана из лунного света и мышц медузы, и глянул он в окно — поезд въезжал под свод вокзала. Он встал и пошел в свое купе за вещами. С опаской дернул дверь, осмотрелся, но никого не было в купе, пусто. Он наклонился и потрогал пальцами то место, где сидел Гаврила Иванович. Ему показалось, что место это было еще нагрето. Он вздохнул, взял вещи, надел шляпу и пошел к выходу.

А позже, когда под утро он ворочался в своем гостиничном номере «Славянского базара», пытаясь уснуть, пришел к нему Бог и сказал: «Не так верно говорил ты обо Мне, как раб Мой Гаврила. Но благословен ты, что ты и есть он».

Узкое

Пятнадцатое июля, день именин, день его имени, когда отделился он в языке и жизни от других имен в выпуклые звуки, достающие до неба и тревожащие его силой, судьбой и охватностью будущего, а вместе и слился с другими именами и звуками, от звериных и до людских, а также тех, которыми называются звезды, а вернее, из которых они

выросли, потому что все мы — люди, звери, деревья и звезды — вырастаем не из каких-то своих внутренних косточек, а из имен, а слился из-за того, что у Бога все едино, прежде чем Он выдохнет, и тогда становится ясно, что хоть и едино, но все же и неслиянно, но вот вдыхает Он обратно все, что только окружает нас со всех сторон, вдыхает и приводит к началу начал — Себе Самому, и видно некоторым, что все имена снова слились в одно, большое и сияющее как лазурный, светоносный и непривычно не выразимый никаким именем Океан.



В этот день Владимир Сергеевич заехал в редакцию журнала «Вопросы философии», откуда с помощью рассыльного телефонировал своему другу Сергею Трубецкому, князю, профессору и философу, и принял его приглашение погостить в поместье, принадлежащем брату Сергея Николаевича, — селе Узком. В тот же день в Узкое отправлялся родственник Трубецких Николай Васильевич Давыдов, и Сергей Николаевич посоветовал философу ехать вместе с

ним. К полудню пришли к Владимиру Сергеевичу ломота и тошнота, которые навалились на него в поезде, но отпустили из-за рыбы-спасительницы, и вот вернулись, и почувствовал он своим животом-жизнью, как тяжелее стало внизу и как волны нехорошего кружения опять схватили его со всех сторон, как будто морская болезнь на корабле.

Николая Васильевича дома он не застал, поэтому прошел в его кабинет и присел на диван дожидаться, но стало хуже, он лег, позвал прислугу и, лежа на диване, целый час боролся с припадками головокружения и рвоты, наклоняясь над тазиком.

Давыдов, не предупрежденный прислугой, вошел к себе в кабинет и с изумлением увидел, что на его диване лежит некто длинный, обритый, как каторжник, наголо, отвернувшись лицом к стенке, и не понятно, дышит или нет. Он потряс незнакомца за плечо, и тот, повернувшись, оказался философом Соловьевым и сказал, что едет теперь вместе с ним в Узкое и что выезжать нужно тотчас же. На уговоры изумленного Давыдова повременить, то есть сначала прийти в себя и поправиться, больной Соловьев отвечал категорическим и даже грубоватым отказом, хотя было видно, что он вообще-то с трудом держится на ногах. Однако через два дня выехали. Погода была скверной, шел дождь, дорога раскисла, и экипаж то и дело скользил всеми четырьмя колесами по жидкой грязи к обочине.

В Пустыньке он вставал рано и много гулял. Там ему всегда было хорошо. На клумбе цвели белые как ангелы колокольчики, распустившие некогда покойным хозяином поместья Алексеем Константиновичем Толстым, но тот пел о голубых колокольчиках, а тут всю расцвели и покачивались в ветерке — белые. Невидные и невысокие, они словно теплым льдом прожигали воздух, закачиваясь до его помрачения, и снова впадали в воздушную прозрачность и свето-дымную невесомость. Потому что это ведь только говорится, что колокольчики это одно, а ангелы — это другое, или что он, Соловьев, — одно, а цветы — другое. Отчасти, конечно, это и правда, но ведь на самом-то деле в тот миг, когда в сердце хорошо и ясно, а по телу словно гладят цветным павлиньим пером, в тот миг ангелы и есть колокольчики, а колокольчики — ангелы. Если Бог мог стать на время кустом, объатым

огнем, то и ангел может стать колокольчиком в облаке не-весомого аромата, ледяным лепестком-глазом, из которого смотрит он на тяжелый и обнимающий самого себя до самозабвения мир, смотрит и присутствует там сполна, но не монолитно, а врассыпную — всеми качающимися головками в ветерке цветочками сразу.

Самозабвенный мир, встающий из июльского спаленного жара, смотрел на него строго и нехорошо, а в воздухе поскрипывая плыл огромный дымный призрак, словно сотканный из дыма горящих торфяников, — Левиафан, вышедший на охоту за человечиною, укладывающий в себя, как в ковчег, одну плененную душу за другой, и понятно было, что его Хозяин уже рядом и близко. Что сгущаются чудеса и приметы, что времена наступают последние, что ничего больше не остается твердого, за что можно зацепиться рукой или хотя бы взглядом.

В этом году он наполовину ослеп, один глаз перестал видеть и много произошло вещей нелепых и неизъяснимых. Слепота, конечно же, всегда связана с рождением и полом, взять хотя бы царя Эдипа, который из-за преступной кровосмесительной связи оказался добровольным слепцом, чтобы пережить новое рождение, но уже в духе и пламени. Анна Шмидт, домашняя учительница из Нижнего, которую он едва было не записал в пророчицы, оказалась несчастной больной женщиной, это стало ясно после их томительного свидания во Владимире, где она объявила ему, что он — Рафаил-Христос в его земном воплощении, а она его невеста Церковь-Маргарита. Когда прочитала она «Три разговора. Повесть об Антихристе», показалось ей — нет вот и не показалось, а произошло впрямую, набело и на века, что она оторвалась от земли и так вот, оторвавшись, отправилась на набережную, подлетая на одной ставшей негнущейся ноге и испуская из себя маргаритовый свет во все стороны, и там, спустившись к реке, перешла ее на ту сторону, словно несомая неким ангелом, а вернее, самой собой, потому что не было силы, могущей ныне остановить ее второе рождение как невесты Христовой.

Он ждал Софии-девы, но пришла к нему встреча во Владимире с пожилой и, видимо, не совсем психически здоровой женщиной. Жар-птицу он ждал от вышних, клеткота ее цар-

ского, тишины неизреченной, лица небывалого, что возьмет его своим розовым светом, как берет утренняя зоря петуха, раскрашивая ему в розовое перья и вырываясь из узкого горла влюбленным возгласом и медной трубой нового дня, но не дождался Вечной своей Подруги, а трубы, медные да тяжкие, — не влюбленные и петушинные, уж недалёко. Но не одина ли труба и крик любви с трубой и медью последнего дня? Сольется, соединится, преобразится и станет. Не будет больше тех слов, которыми мысль так нелепо, так неумело



пытается себя выразить, как будто стреноженная лошадь ковыляет и подскакивает по краю оврага, а на деле не себя выражает мысль через слова, но становится она заложницей слов, которые сами уже давно стали заложниками общего бытового сознания, утратили жизнь, подчинились среднему ограниченному рассудку, — становится заложницей, даже не успев осознать, заметить происшедшую смертельную подмену, что уже она — мысль — кончилась, а начались слова.

Сольется, соединится труба любви и труба Апокалипсиса, преобразится и станет. В слепоте Эдиповой и Павловой наступает прозрение, и трубы становятся одной, поющей ангельским голосом, а слова кончаются вовсе. И витает монгольфером безмянный алектор по небу из слоновой кости и запаха фиалок, и больше ничего не говорит, потому что значит — все, стал всем, стал мной. И когда подойдет он к Анне-Маргарите, учительнице, бегающей через Волгу на

тот берег на одной ноге, подойдет, сойдя с неба слоновой кости, и тронет кловом ее висок, то сбросит она свое тяжкое обличье и станет царь-девицей Третьего завета, и будет в мире тишина от края небес и до края, и соберет Господь безмолвие свое со всех четырех сторон света — немых, глухих, убогих, замученных, покалеченных большими городами, безъязыких, оболганных да гнивших. Соберет Он сокровище Свое — тишину, живущую в коже и во рту людей и в их глазах, мозолях и ребрах. И распустится тишина, как распускается сливовый сад на миг короткий, в котором начнется весь мир сызнова свежим песнопением, ангельским белым цветком — все эти мириады лет от кремней да ящеров до закатных часов Европы и Америки, Индии и Китая. Пролетит в тишине белой белый лепесток, и все станет всем, потому что во всем Бог — и в правом и в виноватом, и в цапле на одной ноге и в пуле, разорвавшей кишки солдата на Шипке, и в стрекозе и в соколе, в половице и паровозе, в виноградной тяжелой кисти на склоне и легком мотыльке, полном человеческой крови.

— Остановите, пожалуйста, — попросил Владимир Сергеевич Давыдова, — а то как бы я не умер.

Давыдов крикнул, извозчик натянул вожжи, и лошади встали посреди поля. Слышно было, как стучат капли о брезентовый верх экипажа, замачивая длинные ноги Владимира Сергеевича, вытянутые во всю длину, да как всхрапывает мерин. Стояли минут десять, потом Владимир Сергеевич повернулся неуклохе на сиденье, словно хотя совсем подвернуть под себя ноги в мокрых брючинах, но те все никак не подворачивались, все выскальзывали из-под живота, и со стороны могло показаться, что он лягается. Наконец он схватил их под колени и хрипло велел ехать дальше.

Когда он выступал с чтением «Трех разговоров» в Думе, сначала стояла тишина, а потом, ближе к концу, когда все уже слегка осоловели, мало понимая рассказчика, раздался треск и грохот, потому что кто-то свалился со стула. Упавший потом объявил в газете, что у него не было злого умысла или намерения выразить своим поступком неодобрения лектору и что он упал не в результате воздействия злонамеренных и критических мыслей, а потому просто, что задремал.

Недавно одна модная петербургская художница написала его портрет и хотела ему подарить, но он тогда спешил на вокзал, и брать портрет с собой было не с руки. В разговоре в студии речь зашла о перевоплощении, и он сказал модной художнице, что после смерти души людей, конечно же, могут еще какое-то время пребывать на земле в образе, например, того или иного животного. «А вы, — спросила художница, — в чьем образе вы будете пребывать после смерти?» «Конечно же, филина», — ответил Владимир Сергеевич, с грустной иронией вспомнив одинокую птицу псалмов Давидовых, тоскующую среди развалин, а потом поехал на вокзал и там сел на паровоз, который, вместо того чтобы ехать вперед, отделился от рельс и поднялся в воздух, а по перрону шла с подругами София Петровна, которой он недавно делал предложение, и она спросила, куда он собрался, а он радостно закричал: «В Гималаи! в Гималаи!» и в тот же миг заметил, что стоит в сюртуке, но без штанов, и мучительно смутился и покраснел до румянца, а паровоз, выдыхая клубы пара, пролетел по зеленому небу, превратившись с одной стороны в петуха, а с другой — в дерево с человеческим лицом. И тогда Владимир Сергеевич, спасаясь от дам и постыдного отсутствия нижней части гардероба, прыгнул в гондолу и отплыл в синее море.



Когда, преодолев шестнадцать верст, прибыли наконец в Узкое, Владимир Сергеевич сам выйти уже не смог. Двое лакеев взяли его на руки и внесли в кабинет Евгения Трубецкого, где он пролежал на диване сутки, не шевелясь и не раздеваясь. Дождь так и не перестал и тихо колотился в за-

творенное от грозы окошко.

Когда прояснилось и глянула луна, за окном залетали ангелы и на своем языке стали говорить:



В грозные, знойные
Летние дни —
Белые, стройные
Те же они.

Призраки вешние
Пусть сожжены, —
Здесь вы пездешние,
Верные сны.

Зло пережитое
Тонет в крови, —
Всходит омытое
Солнце любви.

Замыслы смелые
В сердце больном, —
Ангелы белые
Встали кругом.

Стройно-воздушные
Те же они —
В тяжкие, душевные,
Грозные дни.

На языке ангелов эти слова были не словами, а какими-то другими существами, от присутствия которых в воздухе становилось лучше и чище. Существа эти были столь нежны и всемогущи, что казались невероятными, потому что походили одновременно и на железную дорогу, и на бабочку над

Пекином, и на дачный колодец, но все равно всем, даже тем, кто не видел ни ангелов, ни бессмертных существ, казалось, что наконец начался праздник, или, как бывает, когда замерзнешь с мороза и попадаешь в дом, а там зажигают печку с березовыми дровами.

Пойдем туда, вверх...

Приезжали доктора Бернштейн, Афанасьев, а потом еще из Москвы — профессора Корнилов и Остроумов. Обследовав, сошлись на диагнозе — полное истощение, упадок питания, сильнейший склероз артерий, цирроз почек и уремия. У больного также была повышенная температура и развился отек легких.

Болели почки, спина, голова и шея. Он то забывался, то приходил в себя, и тогда говорил с Сергеем Трубецким о насильственном обрусении Финляндии и о насильственном же объявлении русских униатов православными, о вопиющей недопустимости таких действий, ничего с христианским духом общего не имеющими. Он видел монгольские полчища,двигающиеся на Европу с Востока — Китай, Япония, исламские страны, — и сокрушался тому, что христианства в Европе больше нет, что идеал Европейского сознания не больше, чем в эпоху Троянской войны, что обречен хиреть да топтаться и дальше. Дух Европы стареет, чахнет, дряхлеет — не Европа, а один больной подагрой старичок, которому широкие движения противопоказаны, а с Востока идет размашистая и огнеупорная рать. Он видел китайщину в России, мириады малых желтых китайцев, снующих под чиновничьими и крестьянскими черепами, внутри, подддерживающими черепа своими малыми ножками и всеохватным сознанием удара по человеческой личности, замаха, сметающего без оглядки миллионы с лица земли, отнятие сначала любви к человеку, а потом и всего.

Потом пришла София Мартынова в розовом платье, взяла его за руку и потащила на середину пруда, где они не тонули, а стояли на мягкой воде и целовались, а вокруг них плавали лодки с белыми барышнями, сидящими на корме, и это было так хорошо и прохладно, что голова переставала

болеть, а из глаз влажно бежали слезы. Когда выздоровеет, он обязательно поедет к ней, чтобы рассказать ей про свои мысли и чувства и, может быть, попросить прощения за злые стихи, которые он ей в конце того дачного лета писал, когда она стала отдельно, а София Предмирная, в ней жившая все те летние месяцы, — тоже отдельно.

— Пусть меня причастит священник, но только не запасными дарами, как умирающих, а завтра после обедни, — попросил он князя Трубецкого, когда выбрался ненадолго из обмороков и грез.

Потом начал молиться на еврейском языке, читая псалмы, а после полудня пришел священник, исповедовал его и причастил, — не давайте мне забываться, мне надо молиться за еврейский народ, — еврейские буквы бились и толкались в его гортани и языке, словно они и не были никогда разными буквами, а были как сейчас — одним большим словом, которое наполнялось и крепло с каждым его вздохом и выдохом. Вздохом и выдохом, дыханием прерывистым и сильным настолько, что вместе с ним неуклюже задышал сначала диван, а потом и недалекая от поместья роща. И как если бы у птицы, сильной и тяжелой в пьянящем полете над мелькающей пашней, начали бы вдруг выпадать перья, закружившись в воздухе как лишний пенел, летящий словно из огненной трубы, так же точно уходило из этого безначального и бесконечного слова, сладко ерзающего на его гортани и языке, то, что ослабляло его раньше и делало его не таким огненным, как это было сначала, когда оно творило, толкаясь счастливым играющим ребенком в руки Софии Премудрости, творило небо и землю, и звезды, и луну, рыб морских и зверей небесных, листопад и ручьи, и бездну морскую с бездной золотой, высокой. Сам он видел, как затигивается рана Слова, которая болела всегда у него в боку и горле, та, в которую проваливались его попытки изменить смешной и небывало жестокий мир, который люди почему-то считали своим собственным, а так никогда не было, потому что их собственным — был рай, тягучей пчелой живущий в их вещих ушах и сердце, а они думали, что не рай — а дебелисть и грузность мира, что его дремучая непроницаемость и жестокость, что тягота и жирный, запачканный и захватанный их лихорадочными пальцами морок.

Он видел, что никогда ничего не было утрачено, здесь, на его языке и на его сердце, ни одной буквы, хотя ему казалось, что одной все равно, кажется, не хватает, но не то чтобы не хватает, а скорее, она все время ему не давалась, хотя он чувствовал, как она наступает и приближается. И он не боялся умереть, но невозможно было перейти к Богу, так и не опознав этой силы, которой ему так не хватало всю жизнь, чтобы эту силу полюбить, привести к людям и заткнуть ей отверстие, куда утекает с земли человеческая жизнь и любовь, а наоборот, из отверстия втекают смерть, разруха тела и ложь. И вот эта буква-сила, хотя и была в блаженном слове на его языке, ускользала все равно от прикосновения, без которого его смерть не могла состояться в блаженстве перехода и ответственности свершенного за жизнь.

Приехала мать и сестры, и он узнал их и обрадовался. Мать поцеловала его в щеку и долго сидела рядом, держа его за руку.

Ничего не было утрачено, и он увидел еще, что богословие твердых тел должно быть немедленно прекращено, потому что больше нельзя говорить, например, это — Бог, это — грех, а это — грешник, потому что это не только смешно, но и смертельно, и непростительно уже даже, и убийственно для малых и болящих, ибо все они в это верят, что они — грешник и грех — что-то особое, жесткое, как и Бог, и что с этими вещами им жить, как в камере хранения, откуда с полок выпирают твердые и жесткие чемоданные углы. Ведь так все просто, и создано из волн и течений, света да сияний, и никаких предметов нет вообще в разлуке и отлученности от этого света, а если и есть Бог-чемодан, то только в окостеневшем мышлении, как и ад-чемодан и грех-чемодан, а больше его и нет нигде, потому что Он, Бог, и есть ты, струится по твоим скулам как дождь и уносит тебя к Себе, а и не надо никогда дожидаться для этого смерти, потому что нет ее и не было, а лучше помнить Нового Богослова Симеона, что надо понять, что Божественное начало нераздельно и что все мы станем богами, тесно связанными с Богом, ибо Единый, становясь множеством, остается нераздельным Единым, но каждая часть Его являет Христа во всей полноте, когда они, эти малые, поймут... да, поймут... да просто почувствуют, что они сами являют Христа во всей полноте, то

и думать про это не надо, а просто этим жить, не называя, отложив в сторону мысль-чемодан. Шма Израэль: Адонай Элохейну, Адонай Эхад... Слушай, Израиль! Господь Бог ваш — Бог единый...

Потом он стал двигаться все время вперед, а тело оставалось в это время на прежнем месте, и все же он двигался до тех пор, медленно сползая набок, пока не упал на землю и не увидел, что лежит в снегу, ощущая во рту спиртовый привкус, а когда повернул лежащее на снегу лицо, увидел, как далеко вдали тянулась цепь снежных вершин. Какая-то девочка — да, та самая, которую он видел в переходах и коридорах башни и которую так знал и так любил — кричала, стоя над ним и тянула его за руку вверх, чтобы он вставал, и он попробовал встать, но ничего не получалось, и тут ему стало страшно, что ничего и дальше у него не получится.



Он не думал, что умирать будет так по-земному, потому что это была вершина какой-то горы, и вдали стояли две женщины и растерянно смотрели на него. Он стал вспоминать, как умирал Пушкин и как сказал доктору Дально: «Возьми меня за руку, пойдем, пойдем туда, вверх», но доктор Даль не мог его отвести туда, вверх, как и эта кричащая бледная девочка с полными губами, и наверное, некому отвести вверх, когда ты лежишь в снегу на горе, а язык твой мертвый, как и ноги. Он чувствовал, что он уже не он, а кто-то другой, кто-то очень родной и близкий, которому надо помочь, чтобы он смог подняться и ожить, потому что если он, Владимир, сейчас найдет того, кто ответит его вверх, то этот, родной, будет жить дальше, а если никто не придет, то они умрут вместе и никого здесь не останется. Но он был таким

мертвым, что никого найти не смог, и стал умирать снова, и тут почувствовал, как в языке его словно муравьи в муравейнике стали копошиться и ходить туда-сюда небывалые силы, таща на себе то веточку, то запах из далекого сада, а то и словно его самого. И в этих небывалых силах и движениях постепенно выросла из языка фигура в морской одежде, продолжая светиться от золотых муравьев, снующих теперь по своим ходам уже не внутри его языка, а внутри этой фигуры-ангела, похожего на растопыренного матроса, лезущего на мачту. «Давай-давай, — сказал матрос, похожий на букву, — давай мне руку, пойдем». И Владимир Сергеевич вложил свою руку в руку матроса, и тот приподнял его такое тяжелое тело с земли и снега и взвалил на себя, и тут же их тела стали одним, потому что Владимир Сергеевич сам стал этим матросом, лезущим по лестнице на мачту, которым и



всегда он был, и понял, что стал теперь утраченной буквой, которой затыкается смерть. И если он заткнет свою смерть, то этого будет мало, но тотчас уяснилось ему, что его смерть стала одной на всех и буква, ведущая его вверх, — он сам, словно халат, словно ризу, словно робу матросскую, словно тело, надевший на себя тело буквы, — запрет всю остальную

смерть тоже. Этот матрос всегда, оказывается, в нем жил и крепнул, а он и не замечал его, а принимал за кого-то другого — то за кота на диване, то за голубя на подоконнике, то за ночную бабочку или боль в груди. С каждым шагом ему становилось все легче, и от него пошли ручейки и ерики, как от устья большой реки, разбегаясь им, Владимиром-матросом, на все части света, пронизывая его ангелов и духовные миры, словно струящиеся ветви большого дерева. Тогда он посмотрел под ноги и увидел, как люди поднимают со снега другого его родного человека, которым он тоже проживал свою еще одну, но ту же самую судьбу, и как человек возвращается к жизни, пока девочка усаживает его на скамейку под канатом, а та трогается и ползет с ними двоими в белом и пестром от снега воздухе вниз по склону горы.

— А теперь... а теперь... — зашевелилось тихое ликование в его горле, — теперь — Ты... — И все слова вошли в него сразу и вместе, и он созидал мир в шесть дней вместе с той, ненаглядной и неизреченной, которая творила звезды, играя и смеясь и глядя на него лазурью, потому что они творили теперь не мир, а самих себя, в которых этот бесконечный и блаженный мир поднимался, ликовал и прорастал, и каждый раз это было заново.

Сова

Она легла спать поздно. Вчера к ней заходил Бальмонт с дамами, и они долго сидели за кофе, а потом перешли в мастерскую, где она стала показывать гостям свои последние натюрморты и этюды — влажный куст сирени с облаком лазурного неба в правом верхнем углу, зеленый пейзаж после грозы с раскидистыми тополями и размокшей внизу дорогой, пробегающей в сдержанном мерцании двух луж между тополиными мышино-коричневыми столетними стволами, и московский весенний дворик с тающим снегом, зеленым деревянным забором и белой церквушкой за ним. Гости ахали и восхищались, а Бальмонт, отступив на шаг и вымазав спину в краске еще свежего холста, сообщил, что поэт (так он называл сам себя) восхищен и что художница преодолела застой, паривший все последнее время в художественной

жизни страны, и отныне, несомненно, является первым мастером российской живописи. Потом он покрутил головой с мушкетерской бородкой по сторонам, словно в поиске новых подтверждений своей короткой речи, и взгляд его утонул в затаенный тряпкой мольберт: «А что там?»

Она сняла ткань, и на мольберте приглушенно засветилась ее последняя работа: портрет Владимира Соловьева — философа. «Ага! — воскликнул поэт. — Знакомые да выдающиеся все лица! Хорошо, нечего сказать, хорошо!»

Она не особенно вслушивалась, она думала о том, что завтра с утра надо ехать в Воронеж к больному отцу и что Валентин, обещавший сегодня вечером быть у нее и наконец объясниться начистоту, так и не явился. Хотя, возможно, что он зайдет позже, может объявиться даже среди ночи — это вполне в его духе.

— Он — мечтатель, он — солнце. Он видел в глубину. Он был пророк. Боже, какая утрата! Еще три дня назад можно было поехать к нему, навестить, поговорить о судьбах мира, и вот всё, конец. — Тут Бальмонт поник головой, но внезапно воспрянул, закинул мушкетерскую бородку к потолку и воскликнул: — Но поэзия бесконечна! Да-с!

— Позвольте, позвольте. — Прибежала прислуга и стала счищать со спины поэта масляную краску.

— Вам лучше снять сюртук, — посоветовала она поэту и потянулась за бутылочкой со скипидаром.

— Знакомый запах. Боже мой, это же Владимира Сергеевича запах! Да-с! Он ведь все поливал этим... этим... терпентином.

— Ну да, скипидаром. Он считал что хорошо для здоровья и отгоняет чертей.

Взгляд ее упал на красный бархатный бант, каким-то образом оказавшийся на полке за бюстом Аполлона, и она подумала, что надо бы стереть пыль с гипса. Бант был завязан на манер большой бабочки с кроваво-черным отливом и, как только она его увидела, начал назойливо лезть в глаза, куда бы она ни смотрела — на портрет ли Владимира Сергеевича, который тот не успел забрать, а теперь вот уже не забереет никогда, на прислугу ли Аннушку, стирающую желтые пятна с Бальмонтова сюртука, в окою ли с белым облаком над Петропавловским шпилем, — и даже когда она закры-

вала глаза, размышляя о Валентине, придет он сегодня или не придет, бант все равно оказывался внутри, под веками, — огромный, немного пыльный, завязанный как змея, жалаящая себя в хвост, забыла как она называется... уроборос.

Бальмонт стоял в рубашке и жилете и говорил о стихах Соловьева, что они открыли новую эру в русской поэзии, а она вспомнила, каким усталым тот пришел к ней в последний раз, когда она закончила наконец его портрет. И чудной разговор о том, что душа умершего может не сразу уйти на небеса, а какое-то время здесь, на земле, еще задержаться, но для того, чтобы это стало возможным, ей нужно воплотиться (временно), а скорее даже зацепиться за что-то живое — ветку, дерево, животное. И как она спросила, в кого хотел бы воплотиться он, и он с улыбкой ответил, что, конечно же, в сову (или в филина? она точно не запомнила). Сейчас она думала, что, скорее, он сказал, в сову, потому что, наверное, шутил, намекая на символическую птицу философии и вообще мудрости, которую часто изображают рядом с Афиной.



Бальмонт надел отчищенный Аннушкой сюртук и вдруг замер.

— Это символично, — произнес он наконец; а она представила его, как он будет выглядеть через двадцать лет — жилистый маленький старичок, вечно возбужденный, жалкий, бодрый, с красными жилками в глазах, — это символично. Дух философа перешел на дух поэта. Я принимаю ваш посмертный дар, ваш запах, ваше живое прикосновение, Владимир Соловьев! «Сейчас он опять делает шаг назад, — то скливно подумала художница, — влезет спиной в краску, и Аннушке снова придется чистить его сюртук».

Вечером она лежала и не могла заснуть. Луна светила через окно — большая, летняя, нельская. Фортка была открыта, и слышно было, как били часы в Адмиралтействе. Она хотела уснуть, но каждый раз перед глазами оказывался красный пыльный бант, и глазам от этого становилось вязко и больно, и она снова их открывала и смотрела на луну. С тех пор как Валентин ей изменил в первый раз, радость ушла от нее и никак не хотела вернуться. Конечно же, дело не в этом желторотом мальчишке с вишневыми, словно крымскими глазами, не в нем. Но с ним что-то ушло из ее жизни. Вот теперь и Соловьев умер. А все, кто уходит, словно уносят с собой часть ткани времени, отрывая ее по кусочку от ткани жизни, общей для них, для всех, для еще живущих. Надо пойти и принять морфия... или коньяку. Морфия или коньяку. Наверное, лучше коньяку — он сначала взбодрит, а потом расслабит. Она хотела позвать Аннушку, но вспомнила, что та отпросилась на ночь. Значит, придется идти самой. Да, лучше коньяку. А интересно, откуда у нее этот бант. Вот ведь забавно — не помню. Кто-то принес и бросил. А может, ей нужно было для натюрморта, да не пригодилось. Был ли у нее натюрморт с красным бантом? Нет, она бы запомнила. Есть же вещи, которые возникают — ниоткуда. Они возникают, словно имея предварительную историю, но на самом деле этой истории нет. Только считается, что она есть или должна быть. А на самом деле ее — нет. И есть вещи, которые возникают — ниоткуда, много вещей. Больше, чем принято думать. Мы просто делаем вид, что знаем, откуда они в нашей жизни возникли. А на самом деле не знаем. Откуда, например, возник бюст Аполлона? Считается, что принесли из художественной лавки. Вряд ли. А если и так, то откуда возникла лавка? Пока она думает, что лавка есть, что она где-то там — на Невском или Литейном, она и — будет. А на самом деле ее нет, как и всего остального. Как нет и этого банта. Если сейчас пойти в студию с мыслью, что его нет, то его там и не окажется, там, рядом с пыльным Аполлоном. Но ведь если она будет думать, что нет банта, то, таким образом, она все равно будет думать о банте, а значит, он там окажется. Чтобы его там не оказалось, нужно про него забыть — забыть настолько, что его там и не будет больше. Но тогда, кто узнает, что он ме-

решился, а потом пропал, если она про него совсем забудет.

А знаешь, возможно, ты совсем забыла о многом в своей жизни — красном и кровавом, как этот бант, и теперь тебе кажется, что тех жизней, где ты была другой, вовсе не было, а есть одна эта единственная. Но разве она тебе не мерещится? И разве, если ты о ней забудешь совсем, ты не окажешься в другой, не подозревая ни про этот бант, ни про этого Бальмонта, ни про этот портрет философа, потому что в новой жизни, одной из мириад, ты будешь смотреть на другие вещи и складывать из них как из кубиков свою новую судьбу, и она опять будет казаться тебе единственной? И в ней будет не Валентин, а Михаил, и глаза будут у него не крымские, а норвежские, и не мир будет в



Питере в этой твоей жизни, а война, с монгольферами над Невой, а люди будут умирать в осаде и есть кошек и даже друг дружку, как написано в Библии. Может быть, бант и не бант вовсе, а тот узел, который завязал на миг в себя все эти мириады возможных жизней, которые и есть я. Может быть, надо пойти в студию и развязать его? И что тогда? Что тогда? Будешь жить в этих мириадах одновременно? Я и так, наверное, живу одновременно. Или всё возьмет и пропадет. А может, бант как раз и привязывает меня к этому единственному вечеру в доме над Невой с его мыслями о Валентине, банте, Соловьеве. Боже, как я устала... Придется все же вставать и идти в столовую за коньяком, иначе мне опять не уснуть.

Тут она услышала сильный грохот, дребезги стекла по полу, а потом глухой удар. От неожиданности она схватилась за края кровати. Потом вскочила на ноги и быстро прошла в студию как была, в ночной рубашке. Окно, выходящее на Неву, было распахнуто и частично выбито, и

белая занавесь колыхалась от ветерка. Зачехленный накануне вечером портрет философа снова был раскрыт, а упавшая тряпка лежала на полу. В бледном утреннем свете она увидела, как смотрит на нее с холста голубыми глазами Владимир Соловьев, наверху торчит, словно мачта, вертикальный брус мольберта, а на полу золотой искрой вспыхивают осколки стекла. Она остановилась, опасаясь поранить босые ноги. Под мольбертом что-то зашуршало и зашевелилось. Тогда, обходя стекла, она осторожно подошла поближе и наклонилась. На паркете, раскинув крылья, одно из которых подергивалось и шуршало, лежала сова, глядя на нее двумя большими янтарными глазами на вывернутой голове. «Бог ты мой, — прошептала она, — Бог ты мой...»

Эту историю...

Внутри горы бездействует таран

...Арсения прочитала в тетрадке, которую нашла в куртке Шарманщика, когда они с Лукой раздели его и уложили на кровать, закутав в одеяло.

— Почему ты отправил меня на гору? — спросила Арсения Луку. — Ты знал? Знал?

— Не знал, — сказал Лука. — Но тебе пора было подняться в гору. Ты слишком много ездила по побережью.

— Как ты думаешь, почему врач до сих пор не приехал?

— Иногда они часами едут, — сказал Лука. — Приедет.

— Может, дать ему какое-нибудь лекарство?

— Подожди, — сказал Лука. — Не надо его сейчас трогать.

— Так ты узнал его, узнал?

— Как-то он у меня останавливался. Мы рыбу вместе ловили.

— Вспомнил, вспомнил!..

— Ну да. Забыл, потом вспомнил...

— А почему он молчит? Он так и будет молчать?

— Отнеси ему попить.

Арсения пошла за водой и отнесла кружку Шарманщику. Он лежал, повернувшись к стене. Она сказала: «Вот вода!» И поставила кружку рядом на стол. Он не пошевелился, хотя

Арсения видела, что он не спит, и слышала его дыхание. У спящих другое дыхание.

Хорошо, что им попался понимающий таксист. Сначала он сказал, что Шарманщик пьяный, но Шарманщик не был пьяным, и таксист это увидел. Они с трудом втиснули его на заднее сиденье и привезли сюда. И вот теперь он уже больше часа лежит и молчит.

Она вернулась к Луке. Он стоял над кухонным столом с ножом в руке и чистил рыбу.

— Может быть, ему надоели слова, — сказал Лука. — Такое иногда бывает. Иногда слова становятся лишними. Время от времени многое из того, что раньше любил, становится лишним. Работа, например. Или женщина. Или слова.

Арсения подумала, что, может быть, Шарманщик вообще никогда не заговорит. Вот, например, глухонемые. Они тоже, наверное, не говорят не просто так, а потому что, когда пришли в мир, их души уже знали что-то такое, от чего слова сделались лишними. И им хорошо просто молчать, а люди берут и заставляют их разговаривать: говори, говори! Учат их разным знакам и словам, таскают к врачам, а зачем? Зачем они сами так много разговаривают, разве хоть кого-то из них эти слова сделали счастливее? А теперь еще и по мобильному можно пообщаться: «Алё, ты где?» — «Я в боулинге!» Потрясающая информация, ничего не скажешь. Просто с ума сойти можно! И так с утра до вечера. И еще непонятно, для чего им надо, чтобы их дети повторяли ту же самую чепуху, которую они твердят с утра до вечера: баксы! баксы! минус сто тысяч, плюс пятьдесят пять тысяч. Или что-нибудь про то, как кого-то кинуть, или что купить к ужину, или вообще непонятно про что.

Она пошла на кухню, взяла спички, достала из рюкзака сигареты и вышла на крыльцо. Гора напротив была вверху белая от снега, чуть ниже теснились ярусами желтые и красные кусты, а еще ниже шли зеленые ели и тисс. Над горой кружил еле видимый орел, а внизу текла речка. Отсюда ее не было видно, и вода в ней была холодной в любое время года, потому что она текла из ледника. В ней водилась форель, и где-то там, выше по течению, наверное, рыбачили Шарманщик и Лука прошлым летом.

Она закурила, и ветер медленно понес белое пятно дыма в сад, размывая его по краям и заваливая набок.

Почему он молчит? Надо будет познакомить его с Никитой, он оставил мне свой телефон, когда уезжал. На звонок подходит мама, сам он не слышит. Надо поговорить с Никитой про то, что знает его душа, которой, когда она родилась на свет, не хотелось никаких слов. Он, наверное, много про это знает. Не мог же он все забыть, иначе не писал бы таких замечательных рассказов.



Когда видишь глухонемого, то чувствуешь, что существует вопрос, на который он не может дать ответа, потому что ответ должен быть таким ОГРОМНЫМ, что не уместается в слова, вот поэтому они и молчат, не считая, конечно, жестов. Вот, например, гора — она тоже огромная и молчаливая. И еще она страшно неподвижная. И если ее спросить, почему она неподвижная и стоит на одном месте, хотя вокруг течет река, рождаются и умирают кузнечики, кабаны, приходит и уходят олени, и люди тоже рождаются и умирают, она не даст ответа. Ни человек, ни гора не могут дать ответа, если их спросить — кто ты? На правильный вопрос не бывает правильного ответа, вместо этого есть ты сам. Но когда ты много говоришь, то перестаешь быть самим собой, а становишься словами, и поэтому ни такой вопрос, ни твой ответ все равно ничего не значат — ты их просто не слышишь, потому что ты не в себе, а весь целиком обитаешь в словах и мыслях,

которые даже не ты и придумал, а все они пришли к тебе от других людей или из телевизора, или еще откуда-нибудь, но только не из тебя самого. Причем мало кто это замечает. Это как пьяному всегда кажется, что он в норме.

А может, глухонемые это святые. Они пришли, чтобы быть святыми, и их души это знают, но взрослые начинают залезать им в сознание, потчевать своими убогими правилами, и те забывают, зачем они пришли. Тогда их учат языку жестов, но не для того, чтобы с его помощью им выразить свою собственную мудрость, а чтобы они повторяли за взрослыми весь этот хлам, которым те напичканы. Я видела двух святых. Один был священник, который надо мной помолится, и я выздоровела, а второй был историк. Он пришел к пробуждению от слов в сталинском лагере.

Она закурила. Воздух был холодный и приятно освежал губы и легкие на вдохе. Облачко дыма поплыло вниз, постепенно разворачиваясь и истаявая. Она снова посмотрела на гору и вдруг поняла, что никакой окончательной и неприступной массивности, которая ее раздражала, в ней нет. Не зря китайцы говорят, что некоторое горы не горы вовсе, а драконы. Потому что — она чувствовала это — внутри горы спрятан противовес всей ее массивной толщины и твердой неуклонности, который делает гору невесомой. Она поняла, что гора только преподносит себя как незыблемое, а на деле она шутит, так поступаая, потому что по природе своих балансирующих действий любая большая гора невесома, все время играет в балансир, чтобы найти противовес и не рассыпаться в облако, но продолжать казаться и шутить, что она монолит. Она вспомнила чью-то строчку про то, как внутри горы бездействует таран. Там, кажется, было «кумир», а не «таран», но про эту гору надо сказать, что таран. Он бездействует, потому что гора так легка в пространстве, что не может рухнуть. Рухнуть может то, что тяжелое, — камень с обрыва или штангист под штангой, а гора легкая — вот она и не падает, а словно плывет в воздухе, и таран ее бездействует от этого на весь мир, как любовь.

Потому что настоящая любовь — она, как эта гора, она тоже неподвижна, и ее таран бездействует и от этого кажется слабее пера. Если таран бездействует, то он и никого не пугает, потому что, что же он может кому-то сделать, если

он неподвижен и его как бы и вовсе нет. Но таран — это и есть жизнь горы. Вынь его из нее — и она рассыплется. Так и в каждом человеке есть таран, и если себя с ним уравновесить, то ты сразу станешь бессмертным и счастливым, как родник. Этот таран, наверное, можно назвать буквой или силой, или словом, или даже ангелом. Но только он есть в каждом человеке. Но люди уравнивают себя не им, а набором слов, которые выстреливают от утреннего «ох, снова вставать» до вечернего «опять не дала!» И кажется, что никакого внутреннего противовеса нет, никакого алефа, никакого ангела.

Наверное, для того, чтобы написать ту святую книжку, о которой я в последнее время все чаще слышу, от которой люди выздоравливают, если положат ее под подушку на ночь, и что она все еще пишется, для этого надо составлять ее слова из тех букв, которые есть противовесы, которые есть буквы, свои человеку, а не чужие, заимствованные. Вот если из этих первоначальных букв собрать слова, а из слов собрать любые, самые разные истории, те, которые подскажут обыкновенные события твоей жизни, собрать в лоскутное одеяло, как это делают в театре. Но, потому что там все на этой лоскутности держится, как в жизни, — если написать книжку вот так, то тогда она и станет святой и будет исцелять людей, животных и всех-всех. Даже звезды и бабочек, даже самую глупую-преглупую рыбку в каком-нибудь мутном-премутном пруду.

Самый бесконечно сильный таран, это когда он внутри бездействует. Если только он начнет шевелиться, его силу сразу же можно измерить, а пока он бездействует, то ему нет определения и меры. Поэтому и кажется, что Бог бездействует, а он не бездействует, а есть. И это самое великое событие. Потому что он есть не где-то там, сам по себе, а у меня внутри и у горы внутри, но у меня немного больше, чем у горы или, скажем, у лисы.

Сейчас пойду вымоюсь, а потом посплю. Приведу себя в порядок и часок посплю, иначе я сейчас засну стоя.

Шарманщик не умрет. Ладно? Пусть будет так, чтобы он не умер. От кого это зависит? Не от кого. От меня. Если я забуду, что он может умереть, совсем забуду про него и про себя во всем, что связано со страхом, то он не умрет. Я все

знаю и все помню. И про рассказ, и про золотых рыбок, и про то, почему так встревожилась мама. Ей было важно уяснить, чья я дочь, потому что тот, кто этот рассказ написал, того я и дочь. Конечно, я не знаю точно, кто его написал. Но я бы все равно стала ему женой, только бы он не умер и мне удалось бы забыть про то, что есть такая история, в которой он умирает прямо здесь, у Луки. И не надо меня пугать страшными рассказами про Мирру или про дочь царя Антиоха.

Ведь сделал же он так, чтобы забыть какую-то ненужную историю. Чтобы забыть много историй про него и про меня. Потому что они все не из святых слов, а из случайных. Не из противовесов, не из слов любви. Как-то он это сделал, чтобы мы забыли друг про друга, и я до сих пор не могу про это вспомнить, только читаю то, что написано в его письмах и про что он сам забыл. Он забыл это, чтобы мы снова собрали свою историю, но уже из других слов, из настоящих, связанных не просто с другими словами, а сначала — с Богом. А когда приходишь к тому, что состоит только из золотых слов и забываешь все остальное, то что тогда может помешать тебе прийти к самому главному в твоей жизни, которое больше своим смыслом, чем сама жизнь, и больше, чем ее противоположная смерть, — прийти изо всех сил, несмотря на всех чудовищ, которые выглядывают из-за углов и деревьев, разве я их не вижу?

Она уснула прямо на стуле в кухне, положив голову на клеенку стола. В кухню с крыльца вошла толстая серая кошка и, потершись о спинку стула, утробно мурлыкнула и бесшумно прыгнула к ней на колени. Если бы она проснулась, она бы увидела, что вслед за кошкой в кухню вошла еще и гора и смотрит на нее, но она не проснулась.

Место в горах

Лука шел по тропинке, которая вела по склону вверх, сначала через яблоневый сад, который теперь стоял, словно высохший раз и навсегда, чернея своими раскинутыми узловатыми ветвями на фоне только что нападавшего снега, а потом, обойдя его и оставив речку слева, пошел через ореховые кусты, тоже темные и безжизненные. Выше тро-

пинка снова вернулась к речке, и Лука перешел через обледеневший мостик, аккуратно держась за его перила и медленно переступая по скользким доскам, а черная вода внизу вскипала белыми бурунами, залетая брызгами на мост и на ветки куста, свесившиеся с берега, и они от этого покрылись льдом и теперь были похожи на хрустальную метлу, которая мела не останавливаясь, потому что под тяжестью льда ветки опустились в поток, и течение все время их раскачивало, а от воды шел пар.

Шел пар и изо рта Луки, но он не устал и не задохнулся, потому что все здесь ему было знакомо и все его любило и считало своим продолжением — и кабаньи следы, перебегающие запорошенную тропинку, и замершие в тиши толстые стволы деревьев, и сам поток, который ведь шумел-бежал теперь и по Луке, а не только по своему видимому для всех каменистому руслу. Лука знал, что Ай-чеш-хо, как называли эту гору местные, уже не видна у него за спиной, хотя изредка вершина и показывалась за склонами и кустами горы, по которой он поднимался. На нем были ботинки с шипами, которые ему подарил один его друг из Москвы. Он купил их там в магазине спецодежды, а здесь таких не продают, и Лука не расставался с ними уже вторую зиму подряд. Воздух был свежий и звонкий и с каждым шагом придавал Луке сил. Наверное, Христос там, у себя на родине, никогда не дышал таким воздухом, даже когда поднимался на высокие горы.

У Луки был друг, таксист, который жил в Иерусалиме и все время жаловался на жару даже зимой, хотя зимой все же было легче и иногда даже выпадал снег. В Галилее, на севере, тоже случались снегопады, но, наверное, такого воздуха там никогда не бывало, и все же Лука знал, что Иисус Христос идет сейчас недалеко от него и дышит тем же воздухом, что и белки, и птицы, и он, Лука, тоже. Он знал, что совсем не надо искать Иисуса Христа, как это, он слышал, делают многие, потому что ищет тот, у кого Христа нет, а такого быть не может. И поэтому если ты понял, что такого быть не может, то вот он и идет уже который раз рядом с тобой, особенно в такой вот день, когда снегопад прошел, а вода после перекатов, в углублениях между камней темная и глубокая, почти черная на фоне снега, запорошившего покрытые желтой травой берега. И если Христос никогда раньше

не дышал двойным горно-морским климатам этих мест, то, конечно же, сейчас он им дышит, потому что это самое простое и приятное дело на свете. И он сейчас дышит со всеми, кто идет в горы или спускается с гор, или, например, гребет в лодке в море и там слегка заблудился, хотя, конечно же, Лука никогда здесь не блуждал, а наоборот, сразу находил все тропинки и деревья, как будто тут родился.

Лука радовался за девочку, что она нашла своего Шарманщика, которого он действительно знал раньше, хотя никакой особенной дружбы между ними не было — а зачем? — просто ясно было, что человек Шарманщик хороший, но только слишком много задавал вопросов, нет, не ему, Луке, и не другим людям — он вообще был неразговорчив, — а самому себе да, еще, наверное, Богу. Лука понял, что с человеком беда, что ударился он как-то сам о себя, о свою душу там, внутри, и так сильно, что обомлела душа человека и зашла от испуга и боли, — с Лукой такое тоже однажды случилось, и он тогда умер бы наверняка, но нашлись добрые люди — пошли в церковь отмолили. Лука тоже пошел бы в церковь, но не мог, потому что настоятель этой церкви недавно, когда умер знакомый Луки, тот самый, что его тогда отмаливал, сказал, что не будет его отпевать, пока родные не сожгут книги, которые знакомый Луки читал все эти годы, надеясь разыскать в них теплый свет человеческой истины. И родные послушались, потому что как же без отпевания, и разожгли во дворе дома костер из книг по астрологии, реинкарнации и другим мудреным предметам, и тогда священник все-таки отпел усопшего, а Лука с тех пор перестал ходить в церковь.

Он поднялся по наклонному берегу реки, поросшему жидким леском, и остановился, прислушиваясь. Ничего не было слышно, только иногда похрустывали ветки от мороза, шумела внизу речка и тоненько попискивала через большие промежутки невидимая пичуга. Рядом с Лукой горбились похожие на землянки два сооружения из плит песчаника, с маленькими круглыми дырами в нижней части, куда могла бы пролезть кошка или небольшая собака. Здесь жили духи. Этим двум их домам было столько же лет, сколько пирамидам в Египте, а может быть, и больше. И если сюда прийти с чистым сердцем, то можно встретить то, что никогда до

этого не встречал, и в других местах, может быть, и не встретишь, — себя самого, например. Или белого Духа. Или Духа звезды, очень далекой отсюда, если считать не километры, а с точки зрения правды, расположенной прямо здесь же, где стоял сейчас Лука и горбились дольмены.

И еще здесь была такая большая сила, что ее никто не чувствовал, потому что кто же чувствует, сколько у него километров до центра Земли, — никто, а вот сколько метров еще стоять в очереди за пивом — видят все. Большое не увидеть сразу, и поэтому люди не видят ни Бога, ни самих себя, они считают их воздухом. И в этой силе Лука и встречает здесь свою королеву Мэб, потому что сила, если не считать ее воздухом, так выгибает все на свете, что, когда выгнет, то ясно видно, что тут, прямо на этой полянке, может оказаться самая далекая звезда, и поэтому все путешествия со звезды на звезду совершаются именно так — одним шагом, а не космическими ракетами, как это показано в фильмах, потому что тут нет далекого и близкого, а есть — главное и не очень. И оно все перед тобой, все сразу, и вот он уже видит, как идет к нему его возлюбленная Мэб, и от радости ему кажется, что он летит по воздуху, в сердце словно брызжет речка, только не холодная, а солнечная и радостная.

Лука наломал сучьев, снял перчатки и зажег спичку. Костер разгорелся сразу, потрескивая сухими ветками. «Родная, — позвал Лука, — родная. Иди». И она пришла, и на левом плече у нее цвел миндаль, а на правом сидела бабочка. Он доверчиво заглянул ей в глаза и оказался ею и ими — глазами, только еще синее, чем они, потому что сами по себе глаза ее чудно-синие, а вместе с Лукой приобретают совсем особенный цвет, от которого он делается с ним, этим цветом, и с ней, возлюбленной своей, совершенно одно.

— Пусть этот человек не умрет, — сказал Лука. — Пусть отойдет и отогреется его душа.

— Хорошо, — сказала она. — Пусть он дальше живет, если захочет.

— И пусть, — сказал Лука, — им обоим будет хорошо. Эта девочка его любит, но боится, что он может быть ей отцом.

— Мы все друг другу отцы и матери, — сказала Мэб. — Пусть не боится. Он будет ей тем, чего она не будет бояться.

А потом Лука закрыл глаза от радости, что его ненаглядная подруга Мэб так все хорошо услышала и ответила, и стал дышать с ней одним дыханием и молчать одной тишиной. И вместе с ними тем же дыханием дышали соколы и ястребы в небе, и олень, который стоял неподалеку, наблюдая за их торжественным свиданием, и даже рыба в реке. И далекие города, и их оливковые ветки, и мальчики, и девочки, которые сейчас шли после школы домой, а также все бомжи и бедолаги, которые на самом деле никогда не были ни бомжами, ни бедолагами и втайне знали это, — тоже дышали и молчали вместе с ними, словно большой мост, какой он видел на фотографии из Лос-Анджелеса, — высились над всем остальным, что болтало и несло, а сами молчали, загибаясь выпукло в высоту, где над тем городом до сих пор жили его ангелы, из-за которых он так назван.

Эти минуты были обыкновенными и никого не отпугивали, и потому, что они были обыкновенными, в них было все, что раньше было далёко и недостижимо. В их течении рядом с Лукой мог немного постоять индеец, в орлиных перьях вдоль спины и курящий трубку, и Лука ясно слышал всю его настоящую внутри его жизнь, у которой не было ни краев, ни границ, а все остальные люди и животные, словно вылетали с его тело и перья; или мог появиться странник в чалме над смуглым тонким лицом и с ногами со сбитыми пальцами и ороговевшими ногтями, которыми он стоял на снегу, или какой другой человек с затонувшего когда-то давно материка, а однажды тут стоял Авраам — тот самый, который из любви и веры едва не зарезал своего сына, да Бог отвел руку. И когда они все так вот собирались и вместе стояли, а он любил свою Мэб, а она его, то от этого продолжала вращаться земля, а люди верить в Бога и продолжать искать свою теплую человеческую истину.

А она, истина, была в них самих, но они не всегда это видели, потому что слишком важничали со своими знаниями и усилиями, а могли бы увидеть сразу, но они так не хотели, потому что любили трудности и смерть. Но он, Лука, и его товарищи, которые встречались здесь, в этом месте, знали, что всегда есть та жизнь, в которой люди любят радость и солнечный свет больше, чем себя и свою смерть. Что она, эта жизнь, совсем рядом. Что это одна и та же жизнь, надо

только хотя бы немного подняться сюда и побыть среди Луки и его друзей, и тогда это будет всем понятно без слов.

Лука спускался вниз, и когда он подходил к обледеневшему мостику, было уже темно. Но фонарик был ему не нужен, потому что сейчас Лука видел в темноте, как при солнечном свете. Перед мостиком его ждал волк. Глаза у него были холодные и желтые, он был большой и твердо и пружинисто стоял на подушках сильных, мускулистых лап. Лука остановился и присел на корточки. Он не сводил с волка глаз.

— Что, брат, — спросил Лука, смотря на него в упор, а волк оскалился и зарычал, и Лука увидел, что за кустами есть еще волки, — трудно становиться человеком? Потому что тебе все равно им когда-нибудь захочется стать, и даже сейчас хочется, но ты еще не понимаешь, отчего тебе так то-скливо и голодно.

Волк снова ощерил зубы и зарычал. Из пасти его шел пар. Один клык был сломан, и Лука чувствовал запах псины и духоты из утробы зверя.

— Собирай своих и уходи, — сказал Лука. — А я про тебя помолюсь, чтоб тебе было не очень страшно, когда ты будешь умирать. — И он медленно протянул руку к морде зверя. Тот стоял не шевелясь, словно оцепенел, только верхняя губа, обнажая резцы, подергивалась и заворачивалась шерстью все выше: — Уходи, брат, — повторил Лука, и тогда словно щелкнула и разогнулась пружина в волке, он бесшумно взлетел наискось над тропой, оттолкнувшись сразу четырьмя лапами, и растаял в серых кустах без следа.

Лука пожелал волку оставаться подольше вожакom и стал спускаться к поселку. И еще он почему-то вспомнил, как однажды оставил свою рукавицу внутри дольмена, а когда потом забрал, то она вся светилась изнутри, а потом пропала. Недавно он видел ее у девочки и порадовался, и даже не стал спрашивать, как она у нее оказалась. Пускай светит. Это хороший свет — ни с земли, ни с неба, а прямо из сердца реки, сердца Мэб и Авраама, который чуть не убил сына от любви и веры, но разве может кто-то умереть от любви. А если и умрет, то не навсегда, совсем ненадолго, потому что в любви смерти нет.

Поселок был белый под светом из окошек, а над запорошенными крышами со столбами светлого угольного дыма

стояли лучистые как ренейники звезды, и от того, что было так холодно и ясно, а может, от того, что он немного устал, казалось, что они раскачиваются у себя в небе как на качелях. Он не испугался, нет, не испугался, но волки запросто могли его слопать. Вот звезды и раскачиваются, что он жив. Нет, он не испугался. Не успел, наверное.

Костер у озера

Лука вошел в дом, прошел в кухню и поставил на огонь чайник. Девочка вышла из комнаты, где болел Шарманщик, и подошла к нему. Вид у нее был не очень хороший, она волновалась, что Шарманщику не станет лучше. Лука налил ей чаю с травой. Они еще утром вызвали врача, но тот все не ехал, наверное, из-за снегопада. В этих краях снег прямо народное бедствие — в городе пропадает вода, провода обрываются от дополнительной тяжести, а значит, жизнь замирает. И еще не во всякую гору можно по гололеду подвести продукты, даже если на ведущие колеса надеть цепи. Лука бы и не возражал, чтобы сюда поменьше народу ездило, потому что народ не умеет себя вести там, где чисто и легко дышится, а сразу, как приедут, включают свою дурацкую музыку, пьют пиво и раскидывают везде мусор, а сами матерятся и поют всякую похабщину, но они, конечно, тоже люди, жалко их, что умирают, не родившись, заживо, но все-таки лучше бы они надрывались там, внизу, у себя дома, там народ уже ко всему привык и знает, где живет и зачем, а тут люди живут не для того, чтобы быть в грязи, а для радости и одного дыхания с природой.

— Лука, пусть он выздоравливает, я не хочу, чтобы он умер, — попросила девочка.

— А он и не умрет, — сказал он. — Не сомневайся. Он будет жить и много чего еще с ним будет хорошего.

— Ты правду говоришь? — спросила она.

— Правду, — сказал Лука. — Все равно на свете нет ничего, кроме правды. А что кроме есть — так и смотреть на это не стоит.

Она пила чай, мешая его серебряной ложечкой, которую дал ей Лука.

— Там, наверху, люди живут? — спросила Арсения. — Или одни медведи?

Лука подумал, что, наверное, стоит рассказать ей про дольмены, потому что он про них никому не рассказывал, а эта девочка, кажется, поймет и тоже никому не будет рассказывать.

— Ты где нашла рукавицу? — спросил Лука.

— Так. Один приятель подарил. Только он мне больше не приятель.

— Наверху, — сказал Лука, — смотри, не горы только, но там еще есть страна, которая там не всегда бывает, но время от времени появляется.

— Это что за страна? Где?

— Она — нигде. Она как мы с тобой — нигде.

— Но сейчас-то мы с тобой здесь, — сказала Арсения, окинув взглядом комнату.

— Это ничего не значит, — сказал Лука. — Ты сейчас не здесь, а там, о чем думаешь. А думаешь ты, что есть смерть и есть исцеление.

— Но это же не страна, а мысли, Лука.

— Твои мысли это есть магниты, которые могут притянуть, о чем думаешь, — например, голубя на подоконник, или заедет к нам мой приятель, лесник, или придет еще кто — собака, например, или твоя мама позвонит.

— Но это же все само произойдет, и без моих мыслей.

— Без твоих мыслей, — сказал Лука — ничего не произойдет, даже вот этого всего мира с горами и облаками тоже не произойдет. Даже если твои мысли ошибочны, они все равно нужны, чтобы мир мог происходить дальше. Потому что мир и мысли — одно и то же.

— Знаю, — сказала девочка. — Я так тоже думаю. Но как объяснить, не знаю. А иногда так хочется объяснить, чтоб люди поменяли мысли.

— Некоторые поменяли, — сказал Лука, — и в мире прибавилось света.

— Думаешь, в мире прибавилось света?

— Конечно, прибавилось, — сказал Лука. — Свет убавляется, когда люди думают, что они жертвы. Ну всякие жертвы. Жертвы обстоятельств — правительства, например, или плохих богатых людей, олигархов всяких, или поликлиник,

или евреев, или американцев, но это не так. А последнее время многие люди поняли, что надо думать по-другому, не потому что это — правда, а потому, что правда подстраивается под то, как думать о мире. Это любой политик знает и использует перед выборами. Но если ты думаешь о мире хорошо всей своей глубиной и ясностью, то это и есть самая главная правда, и через тебя она начинает набирать силу, и если ты будешь так думать и дальше и любить людей, то никто эту силу остановить уже не сможет. Но только жертвой быть легче. И умирать легче, чем жить.

— Ты что это говоришь, Лука?

— И несчастным быть легче, чем счастливым. Счастливыми говорят, что хотят быть, но они не хотят. Человеку надо, чтобы его унижали, а он мог в отчаянии пожаловаться. Иногда ему это больше самой жизни надо. Потому мир такой сегодня, недобрый и слабый.

— Я тоже так чувствую, — сказала Арсения. — Ты молодец, Лука, что это видишь.

Он подлил чая ей в кружку.

— Там, наверху, пойми, есть летающий, можно сказать, материк, страна целая. Она прилетает туда, потому что там живут последние убыхи. Их народ когда-то жил в этих местах, а потом их отсюда выгнали, и прошел слух, что последний убых умер во время Второй мировой войны в Турции, но это не так. Там, наверху, все еще живет несколько человек. И именно к ним причаливает воздушная страна, и тогда их становится или больше, или меньше. Для убыхов эти места — святые. Раньше у них была другая святая гора — на побережье, Ахун называется, где сейчас ресторан наверху. Когда они там жили, то на нее никто не смел подняться, кроме жреца. И тот поднимался два раза в год, чтобы взойти на летающую страну и потом прийти назад, уже знающим все на свете, что нужно на год вперед, и в огромной текучей силе произрастания людей и жизни, и даже зверей, и рыб. Когда он оттуда сходил, он весь светился, и от света было больно глазам, и ночью к нему со всех сторон слетались бабочки и мотыльки, а люди думали, что в горах пожар. Но это был не пожар, а знание и любовь.

— А на кого похожи убыхи, Лука?

— На волков. Они поджарые и в мехах. Если их не уби-

вать, то сами они не умирают. Внизу их может убить воздух, а больше всего те слова, что говорят люди. Если убыха запереть в клетку с говорящими людьми, то через месяц он умрет от отравления. А там, наверху, никто не говорит так, как говорят люди внизу, и поэтому они не умирают. У последних убыхов есть знание входа и выхода, и поэтому стра-на к ним прилетает.

— А кто в этой стране живет?

— Не знаю. Видел только, как оттуда сошли индейцы.

— Индейцы? Откуда там индейцы?

— Не знаю, — задумался Лука. — Наверное, они с убыхами дружат. Они были в перьях, горбоносые и курили трубки. Они пришли и зажгли костер на берегу озера. Огонь отражался в воде, когда я к ним шел. Они были сильные и молчаливые. Они курили трубки, а потом стали вместе с убыхами петь без слов. И еще с ними был офицер.

— Какой офицер?



— Ну офицер. Сначала я не мог понять, кто он такой. Невысокого роста, в мундире с погонами, а я еще думаю, что где-то его видел, но спрашивать неловко. А знаю, что видел, а вспомнить не получается. Глаза разглядел — голубые и светятся. Он с ними курил, и они пили напиток вроде чая. Вот думаю, как бы узнать, потому что знаю, что в моей жизни мы с ним встречались. Мы с ним, можно сказать, друзья даже и братья были. Я сел поближе, а в голове закрутились слова, которые я не знал, откуда взялись, про кремень, разбросанный на дороге, и про могилу. И еще про голос, который над могилой поет, и поэтому там не мертвец, а живой. Тогда я понял, что он — поэт Лермонтов, и спрашиваю —

куда путь держите? А он говорит, да никуда, Лука, не держу, тут вот с тобой сижу, разговариваю, и от этого радуется мое сердце. Вот чудак. Он же бессмертный — а я кто? Бывший милиционер. А он сидит и улыбается, как мальчишка, когда тот рыбу поймает из реки.

— Ты не милиционер, Лука, — ты праведный.

— Э-э-э, деточка, перестань, это слова одни, и ничего они не значат.

— Значат, Лука. Мои слова тоже, хоть немного, но значат. А кто еще сошел с летающей страны?

— Несколько сошло. Один был — прямо пророк. Седой, высокого роста, с бородой, а глаза тоже, как и у Лермонтова, голубые. Тоже русский, философ, Соловьев Владимир Сергеевич. Мне про него профессор из Чикаго рассказывал.

— И что дальше было?

— Дальше они стали меняться с убыхами.

— Чем?

Лука замаялся. Слова ему не давались. Наконец он выговорил:

— Собой.

— Чем?

— Собой. Они начали меняться собой, чтобы Лермонтов и философ Соловьев стали последними убыхами, а те жили в их летающей стране. И тогда они стали как убыхи и остались жить у костра, пока страна снова не прилетит, но только мне кажется, что те, кто живет в стране, могут быть кем угодно, а те, кто остается убыхом, могут быть только последними убыхами на собственный страх и риск. И всегда люди могут прийти и их выгнать. Или убить навсегда. Или заставить слушать язык, на котором сами говорят, и тогда они через месяц умрут.

Арсения сказала:

— Скажи, Лука, а ты боишься смерти?

Лука улыбнулся.

— Смерти нет, — сказал он. — Я это сначала понял, а потом стал так жить, и ее больше не стало. Но последнего убыха можно убить навсегда. Или очень надолго. Они это специально сделали, чтобы жизнь всех остальных людей была слаще и сильнее. И еще чтобы быть, как один из них, который умер на Кресте, хотя был бессмертным Богом.

Нарекаци, звери и птицы

Приезжал доктор, измерил Шарманщику давление, прописал таблетки и уехал.

— Что с ним? — спросила у него Арсения.

— Ничего особенного, — сказал доктор, который доктором никогда не был, а был врачом, как и все остальные, кто лечит. — Простуда. Может быть, почки. Давление нормальное.

Потом в кухне он сел за стол, выписал рецепты шариковой ручкой и уехал.

Вечером она сидела в комнате, а Шарманщик лежал, повернувшись к стенке. Она думала, что вот хорошо бы, чтобы та книга, которая всех исцеляет, попала бы ей в руки. Наверное, рано или поздно она ее найдет, но хорошо бы, чтобы она была у нее прямо сейчас, тогда бы она положила ее под подушку Шарманщику и наутро он бы выздоровел. И он встал бы на кровати как розовый фламинго, и они пошли бы по колени в земле и воде к вершине горы и жгли бы там костер из апельсинов, шлюпок и букв. А вокруг бы летели белые облака в Индию и Пакистан, куда они тоже поедут с Шарманщиком, а пока вот сидят здесь, жгут костер и слушают птиц. Все равно такая книга, если только возникает, находит всех, и можно даже ее не узнать, потому что думаешь, что читаешь какую-нибудь обыкновенную книгу, а тут важно помнить, что каждая книга может быть (потому что так задумано) необыкновенной, и читать любую книгу как необыкновенную, вот тогда она и придет в твою жизнь, а пока...

Арсения вытащила из рюкзака рукавицу, вложила в нее флешку и осторожно засунула под подушку, на которой лежала строгая во сне голова Шарманщика. На флешку она скинула все материалы со своей почты, все-все письма и рассказы Шарманщика, включая отрывки о жизни философа Соловьева и свои собственные заметки, которые делала, путешествуя в автобусах, и в эти дни у Луки, наговаривая их на рекодер, подаренный доктором Петискусом. Когда набирался более или менее приличный объем, она шла в компьютерный центр, недавно здесь оборудованный, и отсылала доктору в Германию.

Она выключила свет и увидела, что рукавица почти перестала светиться — свету от нее было сейчас не больше, чем

от сигареты. Потом она сказала «Выздоровливай!» и вышла из комнаты. Ночью к ней пришел Григор Нарекаци, худой, босой, черноглазый, с длинной в проседи бородой и серой до полу рубахе. «Дай мне свою книгу», — попросила она. Он ответил ей что-то на армянском, и она ничего не поняла, но, посмотрев ему в глаза, увидела, что все будет хорошо. «А почему рукавица больше не светиться?» — спросила она, и тут увидела, что у ног святого поэта собирается целый народ всяких животных, больших и малых, но даже самые большие, как например кит и жирафа, все равно не дотягивались ему до колена, а были поэтому похожи на овечек или даже собаку, которая прикалась к его костлявым ногам и не хочет никуда уходить. Их было много — целая очередь, и она тянулась, делаясь тоньше, вдаль, к горизонту, где синел лес, — все эти лохматые, косматые, рычащие, мяукающие, ржущие и всхрапывающие твари. Они шли смиренно и только слегка отталкивали тех, кто уже добрался до расцарапанных щиколоток поэта и хотел там остаться навсегда. Птички садились ему на голову и тоже хотели свить там у него гнездо, но тут прилетали другие — орлы, воробьи, лебеди и даже розовые фламинго, — и поэтому гнездо как следует свить никому не удавалось, а просто можно было там посидеть и улететь к другим веткам счастливой.

— Дай мне твою книгу! — опять попросила Арсения.

Святой снова ответил на армянском, но на этот раз она его поняла.

— У каждого своя книга, — сказал святой, — одна на всех. — И на голову ему сел белый аист.

А потом они вместе пошли на высокую гору, откуда были видны не только всякие, даже самые маленькие, травы на земле, но была видна любая звезда, потому что, когда Арсения видела большую звезду и от этого начинала смеяться от радости, та отодвигалась, чтобы была видна еще одна, другая, а та, поздоровавшись взглядом, тоже уходила в сторону и за ней загоралась еще одна, но не меньшая размерами, чем только что ушедшая, а большая. И не только любая звезда и травинка были видны с горы, но и любой человек и животное, и камень тоже. И Арсения знала, что если сейчас посмотрит, то увидит всю свою судьбу наперед, но она не посмотрела, потому что хотела ее сотворить сама, а не увидеть

со стороны и исполнить. «А где же Бог?» — повернулась она к поэту и расслышала тихий смех, но не видно было, кто смеется, и только потом она поняла, что смеется все, что было живым, — и ласточки, и дороги в пыли, и камни, и луна, и мох на деревьях, и все остальное тоже, потому что неживого ничего не было, и она расслышала тихий голос, который сказал: «А кроме Меня тут никого нет».



И когда она уже собралась просыпаться, Нарекаци ей сказал: «Книга и ангел — одно и то же. И матрос и книга тоже одно и то же». Она поняла, что сейчас, если проснется, то на самом деле заснет, потому что она только что легко и навсегда узнала глубину и тайную правду этих слов, и для этого ей не понадобилось никаких усилий, а они просто вошли в нее, как в воду, и стали с ней заодно, и теперь у нее не было больше никаких вопросов, но сама она была ответом на любой вопрос, как солнышко на поворот земли к свету. Она изо всех сил уперлась в новый мир, чтобы не проснуться в тот другой, в котором половина ненастоящего, увидела, как Нарекаци, насажав всех своих зверей в челнок и нахлобучив на голову венки из васильков, поплыл с ними куда-то по реке, подбредая с кормы веслом, — увидела и проснулась.

Было еще темно. Она, лежала, не открывая глаз, и крутила в голове три слова: «матрос», «ангел», «книга», которые только что были одним и тем же, и еще «цветок», да, цветок, как те, что были на голове у Нарекаци, но теперь слова стали

расходиться в стороны и разъединяться, и все, что она успела запомнить, был рассказ одного мальчика, у которого папа ходил в синагогу, что когда человек делает доброе дело, то рождает светлого ангела в мир, а когда зло — то черного, а значит, когда человек, как его, например, папа, пишет книгу, то он рождает огромного Светлого Ангела, потому что книга — это непрерывный ангел и добрый поступок, в который человек вкладывает всю свою прошлую и даже будущую жизнь.

— А значит, книга может быть ангелом, — поняла заново Арсения в обычном своем мире, куда пришла жить снова, и проснулась окончательно.

На следующий день Шарманщик встал. Он вышел во двор и стал смотреть, как всходит из-за горы солнце. Где-то прокричал петух, а солнце вывалилось медленно, как праздничная плошка с блином, обдав и зажмурил его розовым сиянием. Он стоял, слегка поматываясь, весь в щетине, взлохмаченный и был похож на большую в репейниках и щенках собаку, что вылезла из-под дома, чтобы погреться в тишине и халяве дарового тепла верно встающей над горизонтом жизни. Арсения увидела его через окно и замерла. Она подумала, что теперь все равно, заговорит Шарманщик или не заговорит, хотя пусть он заговорит, но теперь он все равно остался живой, и теперь они либо будут выздоравливать здесь, либо поедут вместе в Москву, чтобы найти там тех людей, от которых все станет еще лучше. А потом они поедут в Барселону или Венецию — два лучших города на свете, кроме, наверное, Индии.

Через неделю Лука проводил их на вокзал. В купе Шарманщик молча устроился рядом с дверью, а Лука вышел на перрон и подошел к окошку: «Позвони, как доехали», — прокричал Арсенин. Потом они просто смотрели друг на друга, делая через окно всякие знаки, улыбаясь и кивая головой. А Лука наклонился к стеклу и мигал добрыми серыми глазами, а на голове у него была старая бейсболка с наушниками и надписью «Milano». Потом она махнула ему рукой, он понял, улыбнулся и пошел с перрона, а она заплакала. Тут зазвонил мобильный. Мать Арсенин спрашивала, как себя чувствует ее новый друг и когда они едут в Москву. Арсения сказала, что уже едем, хотя поезд еще стоял, — но что ни-

кого ни с кем знакомить она не собирается, и что дома тоже больше жить не будет. Она ей это уже говорила, но решила напомнить на всякий случай еще раз. Мать сделала вид, что эти слова для нее в порядке вещей, и среди информации о погоде в Москве, ремонте в квартире и напоминания сходить в вагон-ресторан пообедать снова упомянула про рассказ с красными рыбками, а Арсения сказала ей, что нашла того, кто его написал, что это известный в узких кругах поэт, что живет он в Москве и что рассказ ей прислал кто-то из школьных друзей, чуть ли не Светка. Так и сказала. Пусть мать думает, что с автором рассказа они незнакомы, пусть успокоится, не надо ей про все это думать, пусть живет как прежде. «Света тебе передает привет, — радостно сообщила мама. — Ждет, когда ты приедешь». «Уже еду», — сказала Арсения, и на этот раз сказала правду, потому что вагон дернулся и начал набирать скорость.

Ангел, книга, светильник

В Москве они стали жить у Шарманщика. Он поправился, но разговаривать не начал. Ограничивался несколькими фразами, которые иногда писал перьевой ручкой на листке блокнота, да двумя-тремя бесцветными словами, и в нем теперь трудно было узнать сдержанного забияку, с которым она разговаривала в погребке в Геленджике. Он немного читал, смотрел в окно, днем гулял в парке с какой-то привязавшейся к нему лохматой дворнягой, заходил в сбербанк заплатить за квартиру и покупал на рынке продукты; иногда он мог часами сидеть на пустой скамейке ипподрома и следить за разминкой наездников и лошадей, а вечером они вместе ужинали. Она спала на кухне, он — в комнате, прикрыв дверь с золотой электрической полоской внизу. Ей удалось взять академический отпуск задним числом, и она стала снова немного играть. Один из друзей подарил ей японскую флейту, и она осваивала низкие варварские звуки, от которых в животе набиралась по капле стаявшая вниз сила жизни и дыхания. Она добралась до библиотеки Шарманщика и нашла там много интересного по театру. Но и про Соловьева тоже. А Шарманщик все больше опускался,

словно бы впадая на целый день в столбняк и оцепенение, не узнавая соседей, да и Арсенпо временами принимая за кого-то другого. Они еще несколько раз были у специалистов-профессоров, которых помог им найти ее отец, но те не говорили ничего определенного, хотя и успокаивали, и советовали не унывать, больше бывать на свежем воздухе, а лучше всего отправиться в круиз на пароходе. Все чаще мелькало слово «амнезия», но от этого ничего не менялось, и тогда она поняла, что никто ей не поможет выволочь Шарманщика из его обморока, если она сама этого не сделает, только вот не ясно как. Она нашла электронный адрес глухонемого мальчика Никиты и написала ему письмо. Ответ пришел на следующий день.

Вечером она отправила очередную порцию файлов доктору Петискусу и теперь лежала на раскладушке, разглядывая светильник на потолке. Он был матовый и плоский. Она думала, что если заменить его словом ангел, то многое в жизни сразу переменится, потому что не один только Шарманщик запылял теперь в безумную и тягостную спячку, но и она тоже плыла туда вместе с ним, а если вместо слова светильник будет ангел, то тогда можно будет его включать, и ангел будет гореть и переливаться там, вверху, а потом и спускаться оттуда вниз. Он мог бы, когда она его включала и делала видимым, гулять с Шарманщиком по парку и, дыша ему своим золотым дыханием в затылок, идя за ним по тающему снегу, вдыхать в его затылок жизнь и свет, чтобы сделать его за несколько дней здоровым и веселым, каким он был прежде, когда, например, ездил со своей Надей в Краков и влюбился там в Цецилию Галерани или когда разыскивал в С. свою бывшую любовь, семнадцатилетнюю девушку, а встретился с ее маленькой внучкой.

Она вспомнила, как ночью к ней приходил Нарекаци, и от этого Шарманщик начал ходить, и пожалела, что он не пришел к ней еще раз, она попросила бы его долечить человека, потому что если его не долечить, то зачем ему ходить, все равно он никого не узнает и себя вспомнить не может. Еще она подумала, что, конечно, когда человек совершает добрый поступок, то он рождает белого ангела, об этом и Вернадский писал, что все мы своими поступками и мыслями формируем общий невидимый слой жизни, но про

белого ангела звучит ярче, потому что он живой, да и всех его возможностей мы не знаем. Нарекаци сказал, что Ангел и Книга — одно. И еще Цветок. Про Цветок ей рассказывал Шарманщик в геледжикском кафе, прежде чем убежал. Но еще она знала про таинственную книгу, что она — лабиринт. Та книга, что сейчас пишется, а когда ее напишут, то начнет чудотворить среди людей и зверей — она лабиринт. В нее



можно заходить с разных сторон, но к ее пустому центру можно зайти только в одной точке. То есть не так. Ее пустой центр содержится везде, потому что любая история опирается именно на этот пустой центр, в котором содержится ответ на единственный важный вопрос жизни: кто я есть на самом деле? Когда она читала однажды в поезде «Короля Лира», про то, как он отверг свою младшую дочь, а потом отдал всю власть двум старшим, а те обобрали его и выкинули на улицу, и он сходил с ума от горя во время грозы, тоскуя и замерзая вместе со своим шутом, а Корделия, младшая, пришла ему на помощь вместе с мужем и почти спасла, а потом ее убили, и когда он уже начал оживать, этот король Лир, ему кто-то говорит, что твою дочь убили, и рассказывает как. И тогда Лир говорит: удавили мою девочку, как собаку. Вот когда он сказал так, то вся история и сама Арсения в вагоне, и сам вагон, и то, что было за его окном, — море, сразу оказались в пустом центре, в точке невесомости, потому что больше было не на что опереться и не у кого искать помощи и справедливости. И в этот миг тебя либо подхватывает невидимая сила, либо нет. Это и значит оказаться в точке живой пустоты. И если она тебя подхватывает — значит, ты приблизился к ответу на вопрос, кто же ты на самом деле. А

если нет, и ты просто идешь в ресторан и ешь харчо — ну что ж, и это тоже путь... но дальний и туманный.

Конечно, такая книга, чтобы исцеляла, уже есть, и хорошо бы ее найти. Раз ее пишут люди, значит, они постоянно рождают, пока пишут, светлого ангела, вроде того, что сейчас горит у нее над головой вместо плафона, и пока читают книжку, он тоже горит. Но если перестать читать или писать или делать добро, то Ангел отключается. Это как зажигалка Cricket — пока нажимаешь, огонь горит, отпускаешь палец, гаснет. Но конечно, если положить такую книгу больному под подушку, то он не погаснет, а станет жить вместе с больным, потому что больному нельзя читать или писать, он просто болеет. И тогда ангел книжки начнет дышать с больным заодно, пропуская через него общее дыхание и всех тех, кто эту книжку написал и пережил свои пустые центры, и они соберутся вместе как источники жизни и перенесут туда Шарманщика, и он в этих источниках начнет жить и смеяться. Потому что ангел книги разрывает пополам иллюзии жизни, в которых бессмертные люди страдают и умирают. И он принадлежит теперь всем, кто хочет в книгу войти и пройти по ее лабиринту.

Такую книгу написал Данте и думал, что весь мир сразу изменится. Он говорил, что для того ее и написал, чтобы изменить мир любовью и гармонией. Не знаю, клал ли кто «Божественную комедию» себе под подушку, но я знаю, что мир действительно изменился. Но каждое время пишет свою книгу, и Данте без этой книги никого сегодня не вылечит, а если эта книга появится, то вместе с ней они станут лечить всех, кто в нее поверит и зайдет внутрь. Этого ангела, наверное, можно было бы назвать Эротом, тем самым, о котором Владимир Соловьев говорил, что он «рождает в красоте». А я тогда еще подумала, что он рождает? Что ангел Эрот рождает в красоте? И поняла, что — реальность. То, что есть на самом деле. Все то же самое, что мы видим вокруг, но только в сильном сиянии жизни, как будто ветку бросили в костер и она вся горит со всех сторон, но только, не сгорает и не обжигает, как простая ветка, а просто сияет, как солнце на рассвете. Так и люди. И вещи и звери — сияют и не сгорают, если их рождает в красоте ангел Эрот. Потому что в любви нет места для смерти. И если вы вдвоем любите друг дружку,

то смерть не войдет между вами, не протиснется. Это и мучило Соловьева, что смерть не должна протиснуться между двумя, что они должны смерть победить, а вернее, отстранить как то, чего нет. Это как тебя выпустили на свободу, а ты думаешь, что тебя ведут на казнь через лес, и не оборачиваешься. А тебе говорят, оглянись, там нет никого. Вся охрана ушла. Но ты идешь и не оборачиваешься, потому что такого не может быть, ты уже свыкся с тем, что умрешь. Так и они, Владимир и София, не сумели оглянуться и увидеть, что они свободны от смерти. И он знал, что у них не хватило решимости или там широты выпустить всю любовь, а потом увидеть, что охраны никакой нет — один только лес и птицы. Знал и мучался. И писал, что его, Соловьева, собаки съели. От досады писал. От обиды. И смеялся как сумасшедший.

Вот еще что — раз есть Данте, то и сегодняшняя книга тоже должна быть, потому что одна без другой — бессильна и не выправит мира. А следующая книга тоже не может возникнуть без сегодняшней. Вернее говоря, раз есть Данте, то есть и все остальные, прямо сразу, прямо вживую и окончательно — вся их радостная множественность, спасающая людей от обмана, боли и смерти, как самый настоящий Христос-Мессия, который и есть алфавит, — спасающая все их потешное и одновременно великодушное войско, не проигрывающее и не выигрывающее сражений, потому что воюют они со своим пустым центром, Богом, а кто может осилить пустой центр, покажите мне такого Чингизхана или Сталина, вот я посмеюсь.

Арсения улыбнулась и закрыла глаза. Потом встала, выпила воды и выключила свет. Под дверью у Шарманщика сразу загорелась золотая полоска, и она нащупала в темноте раскладушку и осторожно легла. А потом пришел ангел и сказал, ладно, чего там, Арсения, — хочется плакать, так плачь, а ругаться грязными словами, так и ругайся, а я посижу тут вот рядом и все их буду облизывать и глотать, как лед с мостовой, чтобы они уходили в крови и царапинах без следа, поэтому плачь, моя девочка, и ругайся столько, сколько душе твоей угодно, только не особенно громко, чтобы никто не встревожился и не помешал. Потому что плакать и ругаться грязными словами — иногда самое нужное дело в жизни.

Утопия

Они проехали через центр города, горящий золотыми куполами знаменитого монастыря на синем мартовском небе, — и весь город и сам монастырь были похожи то ли на шкатулку,



то ли на шарманку, на что-то веселое, сказочное, берендеевское и пряничное, и тут пошел снег, сразу стало темнее, а хлопья порхали за окном — огромные, слипшиеся, и таксист включил дворники. И монастырь и город были похожи на что-то дремучее, драконье, что-то василеблаженное, китайское с острыми зубцами на шлемах воинов и пагод. И теперь на русский Китай с его лопухами, немереным литым золотом и репейником глав сыпал белый снег, и мокрое шоссе сразу побелело. Справа мелькнул за метельным пологом «Магдоналде», мелькнул, исчез, а потом исчез и городок в табакерке, и они ехали запорошенными полями с одинокой церковкой вдалеке и домиками дачных поселков, и кое-где в

полях торчали и дымились трубы, и шла своя отчужденная производственная жизнь.

Шарманщик сидел сзади с Арсенией и глядел в окно, а на переднем сиденье глухонемой мальчик Никита показывал шоферу дорогу. Она не очень хорошо представляла себе, для чего они едут в этот самый дом для слепоглухих. Домов таких она боялась, потому что знала, что строят их, чтобы с глаз долой из сердца вон, а точнее, чтобы не мельтешили уроды и инвалиды перед глазами столичных жителей. Это как тюрьма, в которую попадают из-за порока физического, который, как выразился (на ее взгляд по недоразумению) один священник, служит искуплением детей за грехи взрослых. Если у этого священника такой Бог, который создал мир, где дети искупают грехи взрослых, причем у них никто про это не спрашивал, хотя бы они этого или нет, то с таким Богом ей не по пути. Иногда ей казалось, что священники все меньше и меньше понимают, что они говорят. Тогда еще ничего. Но некоторые, кажется, понимают, и тогда это страшно. Тогда они на стороне Бога-садиста. Ведь отец никогда не отдаст своего ребенка в тюрьму, чтобы отменить тюремное заключение насильнику и убийце, а Бог-отец, значит, готов к такому обмену. Иногда мне кажется, что люди в церкви вместо того, чтобы помогать этому миру выздоравливать, взяли да и сошли с ума, как сказал однажды про себя Дон Кихот, без всякой причины. Слава Богу, что не все. Но если так пойдет дальше, то я убегу в тот город, где нет ни одной церкви — ни мусульманской, ни православной, ни иудейской. Наверное, такие города еще есть, а если нет, то я убегу на остров или еще куда-нибудь.



Она боялась, что встреча с увечными ребятнишками будет тяжела для нее и тяжела для Шарманщика, и все же они туда ехали из-за Никиты, который писал рассказы, где петухи

были золотыми, море зеленым, а солнце — круглым. Он сидел на переднем сиденье в синей бейсболке, из-под которой выбивались длинные вьющиеся волосы, и то ли напевал, то ли насвистывал что-то шоферу, а тот, время от времени на него оглядываясь, вез их к приюту и в конце концов действительно довез, ни разу не сбившись с дороги. Странно, что Шарманщик так сразу согласился поехать. Выглядел он неважно, лицо — серое и напряженное, как будто не спал сутки, наверное, тоже волновался.

Они вошли в просторный холл, Никита отправился искать директора, а потом вернулся, и они пошли знакомиться с ребятишками. Их вела молоденькая девушка, которая представилась Тоней. Она оказалась прихожанкой того самого монастыря, мимо которого они только что поехали, у нее было ясное лицо, зачесанные и забранные в короткую косу волосы, и она улыбалась. Они вошли в комнату с детьми. Ребятишки были маленькие и живые — мальчики и девочки лет пяти-семи, некоторые с очками на носу. Двое подбежали к ней и схватили за руки, одна девочка пошла к Никите, но не дошла и стала его рассматривать с расстояния. В углу, на ковре, еще одна девушка-воспитатель играла с ребятишками, собирая дом из конструктора.

Арсения вспомнила про свое напряжение и увидела, что его больше нет. Мир почему-то стал радостным и надежным. Она везла сюда с собой силы, чтобы ободрить этих детей, сбросить свое напряжение и не дать ему вырваться наружу, а дать вырваться наружу силе, но сила, как дракон, сама стала входить к ней, не постучавшись, а просто потому, что была тут с самого начала, и она догадалась об этом, как только увидела Тонию, но не решилась в это поверить. Она слушала, как Тоня говорит про свою работу Шарманщику, а тот молча смотрит на нее и кивает, а потом села на коврик, где дети вместе с девушкой в свитере собирали конструктор.

— Как вы с ними разговариваете? — спросила она девушку.

Та подтолкнула к ней мальчика в джинсовых брючках и сказала:

— Пишите. Пишите ему на ладошке, он поймет.

Арсения написала пальцем на его ладони «привет!». Мальчуган заулыбался, глядя на нее из-за створок толстенных очков. Половины зубов спереди у него не было.

— Привет! — отозвался он. — Пойдес смотреть спектакль? «Какой спектакль?» — написала Арсения у него на ладони букву за буквой.

— Про Дол Кихона, — отозвался мальчишка. «Как на такое не пойти!» — написала Арсения и оглянулась.

Шарманщик сидел у нее за спиной на корточках и напряженно смотрел на ребятнишек. Потом он неуверенно улыбнулся, и губы его, словно нащупывая новые звуки и слова, тихо зашевелились. Слова не давались, он кривился и морщился, словно поднимая тяжесть, но не переставал улыбаться и продолжал свои неуклюжие старания. Потом он подобрался к мальчугану в джинсах поближе и спросил:

— Ты кто?

Арсения вздрогнула. Шарманщик заговорил.

А мальчишка ответил, поняв слова по шевелению губ Шарманщика.

— Я мальчик, — выговорил он почти ясно.

— А я Шарманщик, — сказал Шарманщик. — Меня так зовут.

— А как ее зовут? — спросил мальчуган, показав на Арсению. И она медленно произнесла, чтобы он понял:

— Арсения.

— А меня зовут Петя, — сказал он.

Арсения села поближе, уступая место на коврике Шарманщику. И тот сел на коврик, как большой нелепый горбун, и показал на пластмассового зеленого зверя.

— Крокодил, — сказал Петя.

Шарманщик нахмурился и произнес:

— Кро-ко-дил, — и еще раз, — кро-ко-дил.

От старания и напряжения на лбу у него выступил пот, он несколько раз дернул щекой, перевалившись на бок, достал из кармана платок и стер пот с лица, засунул платок обратно, а потом показал на другого зверя.

— Лошадь, — сказал Петя.

— Ло-шадь, — повторил Шарманщик. — Лошадь. — Он криво улыбнулся и закашлялся: — Ага, — сказал он и слотнул слюну. — Вот именно что лошадь.

К ним подошел еще один мальчуган в рубашке с парусниками и начал быстро жестикулировать, открывая и закрывая рот.

— Что он сказал? — спросил Шарманщик у Тони.

— Он говорит, что он ездил на лошади.

— Это когда же? — спросил Шарманщик у мальчика с парусниками на рубашке.

Тот, глядя на Шарманщика преданными глазами, снова жестикулировал, открывая и закрывая рот.

— Летом я катался на лошади, — перевела девушка. И добавила: — Это правда. Мы катаемся на сеансах гипнотерапии. У нас есть свой манеж.

— Я тоже ка-тался... на ло-шади, — хрипло сказал Шарманщик, подозрительно прислушиваясь к звукам собственного голоса. — Я ка-тался на ло-шади, — повторил он, сглотнул. — Я ка-тался на ло-шади. Я бу-ду ка-таться на ло-шади. Я бу-ду ка-тать де-тей и ка-таться на ло-шади. Как. Это. Назы-вается? — страдая и скалясь, спросил он у девушки.

— Дактильная азбука, — ответила та улыбаясь.

— Да нет же. Нет. — Он защелкал пальцами: — Как же это назы-вается, ко-гда так вот?

— Это?

— Ну да, это... — Он напрягся, закрыл глаза, словно там, внутри своих глаз, высккивая то, что никак не мог вспомнить, и в горле у него забулькало и захрипело. Он мотнул головой и снова закашлялся. Потом ощерился и сказал: — Правда. — Рот его перекосило, и от этого он казался наклеенным и чужим: — Это называется — прав-да. Ло-шадь — есть. Я — есть. Меня зовут Шар-ман-щик.

Он сидел как большой страшный горбун среди детей, держа в руке пластмассового крокодила, лицо его было бледным как мел, но его не боялись. Он сидел и смотрел то на крокодила, то на воспитательницу до тех пор, пока не начал всхлипывать и трястись. Но никто не стал ему говорить, что ему плохо, и он так и сидел и всхлипывал дальше до тех пор, пока не затих, не успокоился и не согнулся еще больше. Горб стал теперь таким большим, что непонятно было, как это у одного человека может быть так много горба. Свитер на нем натянулся, а голова ушла в колени, и казалось, что это какой-то не человек, а может, даже животное. Он всхлипнул еще раз, поднял мокрое от слез лицо и начал медленно разгибаться.

Арсения глядела на него и видела, что теперь в него снова входят слова, которые он раньше навсегда потерял. Вернее,

входят не те, которые он потерял, а другие, что родились в нем теперь еще раз заново, появившись не потому, что он их от кого-то услышал, а потому что они в нем самом рождались, вторым и главным рождением вырываясь из его новой жизни на свет, каждое — с болью, мучением и хрипом радости, и от этого он теперь был похож на животное и на рожаящую в пыли цыганку. Она видела, как он потом поднялся и отошел в сторону и там уткнулся головой в угол, но все равно было видно, как шевелятся его губы, а плечи вздрагивают и трясутся.

Он стоял там, и никто к нему не подходил, потому что все, наверное, поняли, что рождается заново человек в мир со своими новыми чувствами, трудами и словами и что сейчас мешать ему не надо, поэтому пусть он помучается в своем радостном труде, а зато потом они пообщаются уже про все. Потому что все в этой комнате, и дети и взрослые, каким-то своим образом знали, что общение не в том, чтобы называть слова, как это делают там, за стенами этого дома, тысячи и тысячи людей, произнося тысячи слов, а в том, чтобы увидеть, что лошадь — это лошадь, и сказать себе об этом и ей тоже, и тогда она станет сама собой, лошадью, с травой, зеленым лугом и запахом скошенной травы, потому что до этого она была собой недостаточно, а солнце станет солнцем, потому что и оно, пока не дашь в себе родиться правильному слову, было собой недостаточно; а Бог станет Богом, потому что пока ты не увидел в себе внутри его теплое дыхание и не дал ему выйти из тебя в слове «Ты!», он не был еще Богом, а если и был, то был им недостаточно тоже. И если тебя называли Шарманщиком, а твою жизнь нелепой или злой, а пусть даже и хорошей, то и тебя и любого самого человека, который это делал при тебе или за глаза, — тоже было недостаточно для того, чтобы жить или быть. И если ты боялся себя и людей и того, что они говорят про тебя и твою любовь, то ты не мог разговаривать правильно, а использовал слова только для того, чтобы многое забыть, и чем больше ты их использовал, тем больше ты забывал, зачем ты здесь и кто ты такой. Потому что тот, кто боится или не прощает, не может говорить правильно. Его слова будут словами забвения, даже если он знаменитый писатель. Нельзя создать слово в ненависти или забывая. Но... мы пришли сюда, кажется,

чтобы не расширять поляну забвения, не расширять амнезию, а чтобы, создавая слова, вернуть мир и себя самих — к себе. Для этого надо уйти из стаи. А потом снова вернуться в нее. Уже став словами. Словом.

Обычное и естественное явление...

Они поднялись в библиотеку, а там шло представление. Деревянный с облезшим лаком Дон Кихот тилинился под рукой кукловода на своем похожем на собаку Росинанте, а рядом с ним парил на нитках персонаж в шляпе, задающий рыцарю каверзные и насмешливые вопросы, на которые тот отвечал открыто и простодушно. Рядом с балаганчиком стояла переводчица, женщина лет сорока в мелкой завивке и в широком свободном платье. Она переводила речь спорщиков на язык жестов, внятно артикулируя и одновременно произнося и отчетливо, до гримас на лице, показывая звуки.

Дон Кихот сказал ее голосом: «Не может этого быть!»

Потом он с лошадию задумчиво покачался в воздухе и добавил: «То есть я хочу сказать, что не может быть странствующего рыцаря без дамы, ибо влюбленный рыцарь — это столь же обычное и естественное явление, как звездное небо».

Его собеседник, бестолково повернулся в воздухе, потом поднял и опустил правую руку без пальцев, выражая этим жестом то ли негодование, то ли готовность слушать дальше, и застыл без движений.

«И я не могу себе представить, — голосом женщины в мелкой завивке продолжал Дон Кихот, — чтобы в каком-нибудь романе был выведен странствующий рыцарь, которого сердце осталось бы незанятым. А если бы даже и существовал такой рыцарь, то его сочли бы не законным, а приблудным сыном рыцарства, проникшим в его твердыню не через ворота, но перескочившим через ограду, как тать и разбойник».

Тут слово взял пеший, и, сделав в воздухе отмахку беспалой рукой, сообщил все тем же, одним на двоих, женским голосом: «Со всем тем, если память мне не изменяет, я как будто читал, что у дона Галаора, брата Амадиса Гальского, не было такой дамы, которой он мог бы себя поручить, и однако ж, никто его за это не порицал...»

Шарманщик сидел на стуле и слушал представление, а из окон через розовые занавески лился свет, и вся комната казалась ему озером, по берегу которого расхаживали розовые фламинго, каких он однажды видел в Асканийском заповеднике, причем самым розовым из них — была тетка в платье, переводившая пламенные речи несчастного рыцаря. Вокруг него сидели ребятишки и смотрели на кукол.

Потом они встали, попрощались и поехали обратно на вокзал, но когда проезжали монастырь, Шарманщик сказал, что ему надо выйти, и тогда они вышли все вместе и уставились на белые стены и золотые купола на фоне синего еще неба.

— Мне надо зайти туда, — сказал Шарманщик и кивнул в сторону куполов.

— Я с тобой, — сказала Арсения и посмотрела на Никиту. Тот нахмурился и полез обниматься. Он сказал, на своем доисторическом языке, что ему жаль, но он должен ехать домой.

— Он доедет, — сказала Арсения, — не волнуйся. Доедет, ему не в первый раз.

— Хорошо, — сказал Шарманщик и положил руку на плечо Никите. Хотел, видимо, сказать еще что-то, но не сказал, только перевел дыхание.

— Спасибо. — Арсения наклонилась к мальчику и поцеловала. Но тот свирепо увернулся и стал яростно вытирать щеку, промывчав что-то непонятное, а она полезла в рюкзак и достала рукавицу: — Это тебе. Вечером выключи свет. Увидишь. И там внутри — стихи кота.

Никита взял рукавицу и заулыбался.

— Даы-рыише? Ше-пыа-сии-ба, — пробасил он.

Потом влез в такси на первое сиденье, снова махнул через окошко рукой, показавшейся Арсенин беспалой, как у той куклы, и машина медленно поехала вниз, к речке, оставляя после себя завывающийся на морозе белый дымок.

Возле монастыря шла бойкая торговля иконами, матрешками, платками, и какая-то тетка подошла к ней и забормотала: не волнуйся, не волнуйся, все хорошо у вас, вижу, что все хорошо, обязательно поженились, только вот помолиться надо святому Николаю Угоднику, вот иконочка, возьмите на здоровье, — и Шарманщик иконочку взял,

полез в карман, сунул тетке какие-то деньги, отдал чудотворца Арсении, и они пошли к монастырским воротам, где две бабы выдавали женщинам, одетым в брюки, напрокат за небольшие деньги хитроумные юбки, завязывающиеся при помощи бечевки сразу поверх брюк, и Арсения взяла темную, до пола, тряпку, сняла куртку, намотала вокруг талии, снова оделась, подняла на куртке кашюшон, и они вошли в монастырский двор, где было тихо, только наверху, в ветвях березы, звонко чирикал воробей.

Арсения подумала, что как странно, что в театре Но и в разговоре глухонемых используется один и тот же прием — дословное повторение речи жестом, то есть к каждому слову прикреплен соответствующий его смыслу жест, ведь в театре Но надо не только сказать слово, но и одновременно изобразить его при помощи тела ли, жеста, или, скажем, используя веер-алфавит. Что азбука жестов для глухонемых и танец хатараки или, например, танец дзё-но маи, самый медленный и изысканный, построены по одному принципу — они сразу же изображают то, что ты говоришь, или лучше сказать, поешь вслух, и сначала непонятно, для чего такая избыточность, но потом она подумала, что мир, конечно же, избыточен, если одних только видов бабочек существует больше, чем видов всех остальных животных на свете, десятки тысяч, но не в этом дело. А дело в том, что, значит, сказать языком недостаточно, а надо еще, чтобы в речь было приглашено все тело, чтобы слово не оставалось бы только в мускулах языка и на его красном кончике, а прокатилось бы по всей плоти, вовлекая ее в смысл, словно все тело — один большой язык, или как порыв ветра летом не сам по себе, а раскачивает целую рощу, а зимой колышет миллионы повисших в воздухе снежинок, потому что наше слово никогда не кончается, а раскачивает весь мир, только мы этого не видим, а глухонемые делают это своим общением — мычат это слово и одновременно раскачивают мир, как лодку, своими хищными и некрасивыми жестами, при которых их лица кажутся грубыми и неполноценными и жадными, как у дебилов, но это не грубость и не дикарство, а это у нас слово превратилось в косметический инструмент, красящий стреноженную и киношную мимику, а наверно, они, как и дикари, чувствуют самую настоящую сласть, ког-

да произносят слово и все их тело раскачивается на его волне, как лодка.

Еще она подумала, что мир состоит из языка, и если бы слова заменить, то сразу бы заменился и мир. Вот у котов и бабочек, наверное, другие слова, и поэтому их мир совсем другой. И у святых людей слова тоже другие, и поэтому они все время видят то, чего мы не видим.

Во дворе монастыря асфальт был расчищен, и они пошли прямо к Троицкому собору, перед которым сустились голуби, потому что какая-то женщина, сидящая на лавочке с маленьким мальчиком, замотанным шарфом как баул, бросала им куски сладкой булки. И дело было не в женщине и не в Шарманщике, и вообще дело — ни в чем, а в том оно, что не надо сейчас ничего говорить и ничего думать, потому что все происходит не так, как видно, и без наших странных мыслей по поводу, — и как раз поэтому она не будет думать про них с Шарманщиком, а просто вспомнит, как Руслан в Геленджике показывал ей кадры, которые он снял из окна гостиницы, в которой остановился, когда приехал в Мекку на хадж. Гостиница стояла как раз напротив мечети с камнем Каабы, и Руслан снимал из окна гостиницы для паломников, с двадцатого этажа, на черный наладонник, и когда она взглянула на маленький экран, ей почудилось, что она видит съемки лунной поверхности — на голубой площади, снятой с огромной высоты, ходили крошечные, словно лунные, муравьи, темные аморфные точки без рук и лиц. Точки смещались, слипались и расходились в сине-желтой мертвенной подсветке фонарей, а в воздухе стоял великий Праздник, и камера застыла над площадью, а потом пошла в сторону зеркала, в котором вдруг отразился Руслан с прижатым к правому глазу черным пеналом видеоаппарата, одетый в почти женский белый халат с отороченным узором декольте, обнажившим мускулистую шею.

Она больше не будет думать, потому что это опасно. Она не будет думать кое-как. Потому что волна от слова, произнесенного или нет, раскачивает весь мир, а она не хочет ему навредить. Она будет думать теперь только о красоте и благодарить Бога за золотые купола, слепоглухих детей и Шарманщика. За то, что в Мекке ходят лунные муравьи, а в воздухе повис, как святой дирижабль, огромный праздник.

И еще она поняла теперь, что такое театр Но и как он устроен, и почему он так притягивал ее к себе все эти дни.

То, что основной принцип его действия, который называется Югэн, обозначая сокровенную красоту мира, видимую не на ходу, а в особом настроении, и красота, которую излучала той розовой ночью в пустыне под Каиром возлюбленная Владимира Соловьева, София, — примерно одно и то же, она уже поняла. А теперь она увидела и остальное.

Театр Но — это то место, где при помощи углубленной молитвенной игры разыгрывается космическая Литургия, как и в христианских соборах. Только в соборах люди и Бог призваны обмениваться жизнью, хоть люди и забывают часто про то, зачем они сюда пришли, а в литургии театра Но люди и Небо обмениваются Красотой. Причем как в христианской обедне, жизнь, которой обмениваются Бог и человек, — тайная, безмолвная и всемогущая, так и в театре Но важна красота — не та, которую можно увидеть глазом, а лишь та, которую видит сердце зрителя и актера. И она такая же всемогущая, как и вся вселенная и все ее бесчисленные вариации, и все двойники.

Богу и Небу нужно, чтобы с ними менялись, и не кто-либо, а именно человек. Потому что если не меняться жизнью и красотой, то не будет ни Бога, ни человека, и вообще ничего не будет — вселенная в этом углу замрет, остановится и погибнет для того, чтобы в другом начать все сначала. И не надо тогда спрашивать, больно ли Богу, потому что Бог и человек — это одно и то же, а раз так, то как же ему не больно?

Потому что обмен, вдох и выдох — это не только воздух, но и жизнь, и любовь, и сила, и отчаяние, и нестерпимая боль, а также тайная красота всего мира.

Ну вот, она опять слишком много думает и говорит внутри, опять...

Не надо сейчас думать и об этом тоже, а просто идти и смотреть во все стороны, забыв про себя и все остальное. Потому что все уже есть из того, что может быть или не быть, и никогда ничего к этому двору и воробьям и крошкам сладкой булки на асфальте не прибавить и не убавить, ни одного нужного или ненужного слова. Потому что этот двор и воробьи, и Шарманчик, и любая ее мысль или крест на

синем небе над головой, или крошки булки это и есть Бог, только не стоит называть его никаким словом, совсем никаким не стоит.

Огненные языки

Троицкий собор — весь темный, и она вспомнила, что никогда не могла понять, для чего писались иконы, эта наука веры в красках, если там при свете свечей ничего не видно. Из прорезей в барабане свет почти тоже не шел, окна пропускали его еще меньше. Наверное, раньше был какой-то секрет с освещением, которого мы не знаем, и оно было другим, иначе все непонятно.



Шарманщик вошел в церковь, свернул в двери налево от свечной лавки с недоброй бабкой в ней, и там, внутри самого храма, встал в хвост очереди, тянущейся к правой части алтарного пространства, туда, где расположилась, тяжело посверкивая тусклой позолотой от свечных огоньков, рака с мощами преподобного Сергия, осененная азиатским балдахинном, который назойливо и некстати напомнил Арсению стихи о шамаханской царицей. И поэтому вокруг усыпальницы сразу же раскинулась татарская степь с черепами коней. В очереди было больше женщин, и некоторые, было видно, что приехали издалека, особенно старенькие, со светлыми морщинистыми личиками, затянутыми в платки, может быть, даже из других дальних городов России.

Хор пел тихо, и голоса немногочисленных певчих подрагивали, как стакан — вот-вот разобьется.

Троицкий собор это ведь в честь праздника Пресвятой Троицы, который накануне Пятидесятницы, или по-другому — праздника Сошествия Святого Духа на апостолов, когда они, раньше не понимавшие ничего, напуганные казнью Христа и косноязычные, вдруг осенились раздвоенными огненными языками, когда Дух сошел на их головы и сердца, осенились змеиным и пламенным естеством, и тогда начали понимать всё, как змеи или голуби. И их стали понимать все, даже и не знавшие как следует, а то и вовсе их наречия и их языка. Стали понимать непонятное, словно ушла неприступная непроницаемость одного говорящего на своем языке к другому, говорящему на его.



Она читала когда-то об этом событии у евангелиста Луки, который его описал, и теперь полезла в рюкзак и достала маленькую книжицу Нового Завета, которую им подарили в приюте, подошла к скамейке, где света было побольше, и снова стала читать про тот давний день, когда слепой стал понимать глухого, армянин римлянина, а простолюдин александрийского ученого поэта. Конечно, там про именно это не было, но ясно, что такие события подразумевались как следствия от первоначального. Что, когда сошел Дух, то на миг жестокая, как злая сука со щенятами, возлюбленная увидала в отвергнутом любовнике сияние бога, и розовые крылья лучшего из ангелов, мельтешащие как прозорливая мельница в его сердце, сделались для нее на-

глядными, явными и родными, как будто это были ее в будущем рожденные дети, вынянченные и вышестованные ей самой собственноручно. И что когда он сошел, то волчица поняла зайца, а мышь — змею. Про возлюбленных и зверей апостол Лука тоже не писал, но и про них тоже было ясно, что подразумевалось, а писал Лука вот про что. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились; и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение; ибо каждый слышал их говорящими его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфияне и мидяне, и еламиты, и жители Мессапотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киреней, и пришедши из Рима иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих? И изумлялись все и недоумевая говорили друг другу: что это значит? Что это значит, говорили они, что мы, с детства говорящие на других языках и слушающие другие языки, пришли сюда, в Иерусалим, на праздник Пятидесятницы и, хоть и знаем, что эти люди из Галилеи говорят на непонятном нам наречии, но понимаем смысл всего сказанного? А кто-то крикнул, что апостолы пьяны, и тогда Петр сказал, что они не пьяны, а что исполнилось пророчество пророка Иоиля, который некогда предрек (а никто не хотел слышать, думая, что это не про них, а про то, что с ними никогда не случится, а пророк сказал как раз про них, про всех, которые здесь собрались через пятьдесят два дня после распятия Иисуса из Назарета, и на них-то и сошел Святой Дух), а Иоиль предрек огненные языки такими словами: «На рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего и будут пророчествовать». И она поискала глазами Шарманщика, который склонился над ракой и поэтому

сейчас был выше всех в церкви, потому что рака стояла на возвышении, и тот, кто туда доходил, чтобы наклониться к стеклу, под которым покоились мощи преподобного, на время делался выше всех и главнее всех в церкви, и Шарманщик сделал то же самое, пригнувшись губами к стеклу и согнув свою темную спину в непромокаемой куртке так, что казалось, что его голова исчезла, а он стал безголовым и плечистым. Но он разогнулся и, глядя под ноги, сошел по ступенькам на каменный пол собора, искал ее глазами и нашел, улыбнулся и пошел к ней, но не дошел, а кивнул и вернулся поближе к иконостасу.

А она думала про то, как языки, разделенные надвое вверху, сходили на апостолов, делая их живыми факелами, но если так было видно снаружи, то, наверное, внутри было видно по-другому, и, скорее всего, внутри было так ясно и легко, и в то же время плотно от вошедшего духа жизни, что он не смог уместиться в апостолах и, чтобы как-то показаться и выказаться помимо внутренних комнат души, выбился словно воротник из огня над их головами наружу. Еще она думала, что эти апостолы были глухонемые дети и, конечно, один из них был Никита со своей серьезной и смешной физиономией маленького мудреца и хитреца одновременно, и что пред тем, как Дух их осенил, они читали и показывали историю не обязательно что про Иисуса Христа, а может быть, про рыцаря Дон Кихота, который тоже хотел быть понятым, но понят не был, и никто вокруг не мог перевести на общий всечеловеческий язык, чего он там такого видел вместе со своими глухонемыми Пансой и Росинантом. Вот те-то его хоть как-то понимали, как, например, Петр кое-как, но все же понимал Иисуса, а тот тоже был для них глухонемым, потому что, раз они его не видели по-настоящему и не слышали, то неважно, кто из них по отношению к кому был глухонемым, а важно, что один к другому был глухонемым и слепым, потому что Иисус им говорил, а они ничего не слышали, а значит, он был им глухонемым, как Никита своим друзьям во дворе. Но только если для Никиты в конце концов изобрели специальный язык, на котором он научился объясняться не только с себе подобными, но и со всеми остальными людьми, то такого языка никто не мог изобрести для Иисуса Христа, и вряд ли его можно было тогда, да и

сейчас тоже, избрести вообще. Вот потому он и вынужден был оставаться слепым и глухим по отношению к остальным людям, и поэтому он все равно продолжал говорить на обычном их арамейском, что ли, языке, не останавливаясь, будто надеясь, что с этим самым арамейским языком что-то в конце концов произойдет, и он перестанет быть арамейским, а станет проникающим насквозь, от чего все, кто его слушает, услышат не еврейские слова, а станут одним словом бы океаном, где не будет границ для ознакомления истины, потому что все они-капельки сольются в одно большое и грозное море, отсверкивающее от этих слов одним светом, как это, наверное, было, когда мы еще не стали чужими друг дружке, ну там, в раю, и тогда уже можно будет понять каждый вздох и выдох, а не только слово посередине.

И тогда уже можно будет увидеть, что твоя рука, она растет из другого тела, а твой язык говорит в гортани не твоей, а вопиет того человека и что твой возлюбленный стал сам тобой и стал твоим шепотом губ и слов, а дерево цветет и ветвится твоими мыслями, а оно думает, что стало тобой, потому что всегда тобой было, с самого начала. Поэтому Иисус говорил на языке Бога, используя арамейский, и надеялся, что арамейский лопнет, как чешуя на змее, а вернее, что сердца апостолов лопнут и перестанут слушать слова и заплачут своими ресницами от того, что он им принес, а они никак не могли расслышать, а теперь, в Пятидесятницу, лопнув, как чешуя змеи, стали расслышивать и изумляться от собственной малости и величия, и от этого плакать, что они бессмертные и ни одна сила зла больше над ними, лопнувшими, не властна. Вот поэтому и нужна была такая добавка к этому арамейскому, чтобы, приняв ее силу, язык перестал быть словами и вошел в сердца, и они разорвались не до смерти. А такая добавка и была Духом Святым, который делает то, что отгесняет слова назад, а их музыку, которая есть душа слова, выводит вперед, и тогда все становится на свои места. Потому что музыку переводить не надо, но, конечно, бывает музыка, в которой слова не растворены, и тогда она просто они растворены как соль в море, как это у Баха, и тогда, конечно, никакого перевода уже больше не нужно, раз это музыка, ведь не нужно же переводить разбойника соловья,

когда он грохочет, запускает и обмирает, перевортываясь вместе с лесом вверх ногами. Конечно, у соловья нет растворенных человеческих слов и у лягушки тоже нет, а у Христа они были, но без Духа Святого все равно их не слышали и не понимали, и вот тогда он сошел. И, наверное, каждый раз сходит, если мы начинаем что-то понимать про себя и человека, как я, например, понимаю про Шарманщика, что это я его должна родить заново в своей душе, потому что без этого он не станет моим ребенком, а если он им не станет, то так и умрет заживо. А для того, чтобы он понял то, что я поняла про него, ему тоже нужен святой дух, и тогда всё, что мы с ним вместе вспомним, будет отзываться для всех людей и деревьев и китов ясной речью, таким языком, который будет своей музыкой, рождаясь здесь, на этой сцене — пусть хотя бы как святой спектакль в церкви или в театре Но, — будет своей музыкой неотразимой для Бога шевелить Его руки и вытягивать их к миру, чтобы Он обнял его там, где мир слепой и глухой и где люди теряют слова и рассудок от непонимания друг друга, как, например, мать Шарманщика в доме для престарелых потеряла свой язык и рассудок, прежде чем потом умереть, и как, например, все его обитатели, которые перестали понимать язык и рассеялись в разные стороны от ума... — чтобы Он обнял этот мир там, где все глухи, потеряны и онемели, и Он сделает это, потому что не сможет противиться мне, родившей нас с Шарманщиком заново, я это не то чтобы чувствую, а знала прежде, чем все забыла, и даже прежде, чем родилась, и тогда мы будем говорить и любить, а земля и звезды и деревья в ответ — тоже говорить и любить, и вращаться.

Купола в снегу

Шарманщик вышел на улицу и сел на лавочку. Потом наклонился, сгреб с земли в пригоршню нападавший снег и начал тереть себе лицо. А когда снег частью раскрошился, а частью растаял от тепла лица Шарманщика, он набрал новую пригоршню, расстегнул на груди куртку и рубашку, сдернул шарф и стал тереть шею. По груди потекли холодные ручейки, и он почувствовал их холодеющую колодезную ртуть,

как будто разрезающую его слежавшееся от времени и медленных событий тело на новые отдельные пласты. Вокруг него ходили голуби, а он задрал бледное лицо к небу, выставив наверх разлохмаченную как капуста рубашку, откинув голову так, что хрустнул кадык, а длинные волосы с затылка откинулись и длинно повисли к земле как у мертвого. А снег летел и падал на голубей, на землю и кресты в небе и на бледное лицо Шарманщика. Купола теперь уходили вверх как в воду, в самую глубину, а навстречу глазам летел серый как перья снег, и от его волнистых и тяжелых движений золотые купола и звезды собора словно бы покачивались в распоротом неспешном воздухе, где ничего не было, кроме этого будничного подмосковного снега с его серым обыденным скольжением вниз, как по спутанным бестолковым ниткам, и он всегда так летел и будет лететь, день за днем и год за годом, хотя бы и изменялось что за стенами посада — например, поляки или литовцы подступали вплотную к обители, или вошли в нее комиссары с наганами и фотоаппаратами вскрывать раку преподобного, или сам преподобный ходил здесь, молясь или готовя дрова, чтобы согреться в этой непролазной зимней чаще, где к нему приходил медведь, чтобы вместе общаться с человеком об их общей природе и Отце, — и тогда снегопад тоже свивался в небе тяжелыми хлопьями, и это, наверное, тоже ничего не значило — просто снег летел.

Конечно, конечно же, нельзя сказать, что тот же снег летел и тот же человек сидел, потому что если за всю историю мира не было двух одинаковых снежинок, то уж, конечно же, не было и двух одинаковых снегопадов, да и вообще ничего не было на свете одинакового, а если и появлялось на время, то для того, чтобы сразу разрушиться, и все же есть в этом снеге начала февраля что-то заунывно затверженное, одинаковое, и в голубях этих тоже. А было ли что-то затверженное в Шарманщике — трудно сказать, потому что сидел он, выгнувшись дугой к небу и глазами уставившись ввысь, как в воду, куда уходили, покачиваясь и опускаясь, золотые купола и звезды, а сам он, разрезанный на части студенными стальными ручейками, словно распадался на такой же снег с куполами и звездами и шел вслед за ними в глубину, от которой его душа обмирала и хотела что-то вспомнить заново,

то ли про слова языка, то ли про ту девочку, которая сейчас живет возле него и стоит теперь молится про них в соборе, а может, и про другое что, натыкаясь на черный провал и пятно в своей истории жизни, куда попытался он проникнуть, но не смог. И вот теперь вокруг этого черного пятна и провала — от снега, что ли, от пластмассового ли крокодила и глухонемых мальчиков и девочек — стали расходиться словно по стеклу трещинки, располагая тело Шарманщика вместе с душой в отдельные, не такие, как прежде, части, меж которыми завивались взъерошенные снежинки, а он все смотрел в небо, потому что, куда же ему было теперь смотреть, когда с телом и душой такое творилось.



Он подумал, что, может, он сейчас умрет, и вспомнил почему-то Цецилию Галерани, свою краковскую подругу, и как она была юна и хороша там, под польским снегом с итальянской вышущкой, и как бы ему хотелось не целоваться с ней, а просто посидеть рядом и послушать, как она бранит прислугу или разговаривает со своим горностаем, или читает сладостного и грозного Данте. Потому что в этом будет больше близости, чем в поцелуе. Ведь поцелуй случается, а не совершается — это как молитва, когда только ее говоришь, а ничего не происходит, и ты уже перестал почти что верить, но все-таки еще надеешься, что что-то произойдет

хорошее, чудесное в твоей жизни, ведь жить-то все равно надо, а оно все равно не происходит, но вот, когда ты уже про все забыл и отчаялся, словно распарывается мягко небо, и тихо сходит к тебе все золото небес в обличье ангела, осеняющего твои плечи и глядящего волосы, и тогда ты понимаешь, что этого не могло не произойти, потому что встреченный ангел живет в твоём сердце — в родная родных, но все равно это — случается, а не достигается, — так же и с поцелуем, да и со всем этим женским оборотом мира, живым, обманным, теплым и убивающим. Он открыл рот и глотал ошибочные снежинки, сглатывал, казалось, растаявшую их влагу, но ее на самом деле не было в пересохшем рту, и он знал, что сейчас сюда придет девочка, чтобы помешать ему умирать, и тогда он так и не достигнет сладкого и горящего края, где ему станет не так, как раньше, а хорошо.

Но разве он только что хотел умирать, нет, конечно. Не хотел и не искал этого, потому что совсем другого он искал и хотел. И не просто так летел все время снег, потому что он становился другим, чем сам был только что. Теперь снег уже лежал на ветках, утолщая их своей белизной, на крышах и ступеньках собора, и тогда Шарманщик вспомнил странную историю про купол и любовь: как давным-давно, когда монастыри закрывались, а в церквах устраивали склады и типографии, он поехал с юной своей первой любовью в Ростов Великий и они жили там у знакомых его отчима-художника и целыми днями пропадали на весенних улицах захолустного городка с деревянными домами на улицах, каменным торговым рядом в центре и грязным привокзальным рестораном, где подавали разбавленное пиво и на столиках были толстые белые скатерти. Это было на Первое мая, когда они сидели в центральном сквере с серо-молочным памятником в первой нежной листве, и был сильный ветер, треплющий до треска праздничные флаги над духовым оркестром с блестящими на солнце трубами, и от труб летела отрывистая и резкая музыка, а на душе от этого делалось знобко, отчетливо и весело. Он тогда купил в местном магазинчике свою первую трубку с инкрустацией перламутром и набил ее табаком — ему там все время хотелось курить.

Ему приятно было ощущать запах трубочного табака в пакете и как пахло дерево трубки, которую он обкуривал.

Он был влюблен впервые в жизни, и впервые же рядом с ним была женщина, которую он уже любил на подмосковной даче этой зимой не просто на словах и поцелуях, но раздев ее ночью на холодной половине, уйдя туда от друзей, расположившихся в теплой от печки комнате с картами и тремя бутылками красного болгарского вина в оплетенных пластмассой бутылках. Они забрались под смерзшийся сеник, и ему не было холодно, хотя в комнате был минус не меньше десяти, и он впервые гладил ее голое тело и ничего не чувствовал. Он так и пролежал целый час рядом, не зная, что делать дальше, боясь оскорбить ее грубым или вульгарным движением, а что то, что он хотел с ней делать, скорее всего, было вульгарным и непристойным, он почти не сомневался, вот и лежал теперь не двигаясь. Он весь напрягся внизу, его мужской член неистовствовал в желании, но дальше стояла стена, которую он боялся нарушить, потому что за ней начиналась пошлость и оскорбление. И лишь под утро он соединился с ней. Но сейчас бы он сказал, что это не случилось, а было вымогнуто у течения жизни, поэтому не было там золотой распоротой материи неба, а было то, чего от него ждали мальчики на соседней половине и что, он знал, ему надо было со своей любимой сделать.

Но это осталось уже в прошлом далеке, а теперь они бродили по Ростову, вдоль берега озера с лодками и мостками, а озеро было темно-свинцового цвета, и волны бились в борт лодки на берегу и всхлипывали, а они вышли к торговым рядам в солнце и тених от бегущих облаков, из репродуктора неслась музыка и все время дул ветер. Они долго скитались без цели по улицам и переулкам — юные, пьяные от жизни и света, пока не попали на территорию кремля, с его огромными, похожими на сбившиеся в кучу аэростаты, куполами. Ворота в главный собор были закрыты, но, когда он на них нажал посильнее, разошлись, позвякивая звеньями цепи, и они протиснулись внутрь, потому что были юными и худыми. Там была темень, пыль и запустенье, валялись доски, битые кирпичи, а в алтаре уцелели части иконостаса без икон. Они нашли лестницу, ведущую наверх, и поднялись по ней в центральный купол. Он ожидал наткнуться там, не зная уж почему, на что-то золотистое, золотое, ну хотя бы на горящие лампочки или свет солнца, или просто воздух,

но там было не так. Пол был тоже в разбросанных досках, а через весь внутренний объем купола шли деревянные балки, на которых расположились десятки диких голубей, тяжело снявшихся с мест при их появлении и вылетевших через открытое окно, а доски под ногами были словно в известке все в голубином помете, скопившемся здесь за десятилетия.

Он заглянул в окошко и увидел синее небо в белых кучах и айсбергах, а под ним раскинувшийся внизу только что зазеленевший город с крышами деревянных домиков и серым зеркалом озера в голубых и белых пятнах от неба. И тогда он кинул на пол свою куртку, сел на нее и потянул девушку к себе. Им было хорошо и сумбурно и тогда, когда он увидел ее белые раздвинутые из-под плаща-болонии ноги с круглыми коленками, и тогда, когда он видел только ее лицо с черными, упорно смотрящими в сторону глазами, с волосами, разметававшимися по сухой трухе голубиных испражнений, с губами, только что сухими и вот уже отсвечивающими и влажными, и тогда, когда он уже ничего не видел, потому что сам закрыл глаза, судорожно пробираясь внутрь синей и фиолетовой глубины, которую она все время прятала недостижимо в себе и только сейчас можно было успеть в нее протолкнуться и протиснуться, и он толкался и проникал, почти всхлипывая от все время убегающей достижимости, — им тогда было хорошо, но только он боялся, что Бог заметит их и убьет, потому что этого нельзя было делать в куполе. Но, наверное, именно тогда он вместе с корявым страхом прислонился к молитве и полету над всей остальной землей в самой глубине гипсовой и голубиной сердцевины огненного языка-купола, словно бы в самом сердце факела, который должен возносить к Богу молитвы верующих, а теперь вот возносил их двоих, наполовину раздетых, со спущенными по колено брюками и задравшимися к небу, выпроставшимися из-под коричневого плаща-болонии белыми ногами его подруги.

Потом он и дальше продолжал думать, что Бог его все равно убьет, и боялся этого, но память о полете над землей и о близости, которая могла стать, что ли говоря, запредельной, и почти что такой и стала, хотя бы потому, что произошла там, где живут ангелы и сизари, — осталась в нем, несмотря на то что этот эпизод своей любовной жизни он в осталь-

ные годы тщательно засовывал на самое дно, за подкладку воспоминаний, и никому про него не рассказывал и даже со своей подругой старался не вспоминать. Иногда только, глядя на открытки или картины с изображением знаменитого собора, он словно с любопытством и не очень-то в это веря смотрел на центральный купол здания и видел коричневый плащ, помет и белые ноги. Сначала это было еще ничего, потому что внизу, под куполом, была разруха, но потом, когда там снова стали возносить молитвы и зазвучало пение, он перестал думать об этом и больше не разглядывал открыток с Ростовским кремлем. Наверное, из-за того, что продолжал бояться Бога.

В те годы он жил в коммуналке, в комнате из двенадцати метров вместе с отчимом, матерью и бабушкой, и пригласить сюда подружку для первой неопытной любви нечего было и думать, хотя иногда с тоски и безысходности он прикидывал и такой вариант.

Бог не убил его, и сейчас смотрел на него, слетая с серого мельтешащего снегопадом неба вместе с самим небом и снежинками, и Бог говорил ему, ты режешь меня ртутными ручейками, Шарманщик, переставляя внутри меня свои части души и тела, которые и мои части тоже, и как я могу что-то переставить или кого-то убить, не переставляя себя самого и не убивая себя самого, скажи мне, Шарманщик.

И снег летел и падал, и ему стало легко в этой карусели и катавасии, и от снега и от голоса Бога, который был таким ласковым и огромным, и когда девочка вышла из храма, он сидел на лавочке, запрокинув к небу лицо, и тихо смеялся.

Solt и pepper

И потом, когда они с Арсенией летели в Брюссель, он несколько раз почти за трехчасовой перелет припоминал и этот снег с золотыми, тонущими в метели куполами, и как он тогда почти час простоял перед иконой, изображавшей трех ангелов, потому что он никак не мог от них оторваться, словно бы они в сообщении более коротком, чем новогодняя эсэмэшка, приготовили для него новость, как можно было жить дальше и совсем наново, а не так, как прежде, —

простоял, мучаясь и обжигаясь о свои же слова и мысли и не находя к ним ответа.

Арсения, девочка, сидела справа от него у иллюминатора, в котором расположился невиданный красок золотой и багровый закат, через час сжавшийся до ало-золотистой полосы вдоль горизонта под уже ночным фиолетовым небом вверху, а потом и вовсе исчезнувший без следа, хотя казалось, что расплющенный и разлитой направо и налево свет останется еще долго, потому что из-за разности времени они прилетали в аэропорт чуть ли не раньше, чем вылетели из Шереметьево. Он смотрел какое-то время на ее ноги в джинсах, круглившися как внутренность ракушки на коленках, а потом закрыл глаза и стал думать о том, что он узнал о себе и о ней за последнее время, а потом про Владимира Соловьева, который был вольнослушателем в духовной академии, расположенной там же, в Сергиевом Посаде, и про отзывы монахов, распознавших в нем чужака, потому что, как им чуялось, он знал и видел то, чего они не знали и не видели, а сохранившиеся описания, сделанные монашеской рукой, рисовали философа как молодого человека иконописной внешности, надменного, слушающего лекции знаменитых профессоров, словно на ходу, не раздеваясь, не сняв шубы, стоя у окна и поглядывая на лектора не впрямую, серьезно, а задумчиво и искоса.

Владимир Сергеевич, и это теперь ясно, искал Бога не в словах, а каком-то спектакле собственной жизни, который, конечно же, выглядел нелепо до горячих слез сочувствия и вызывал у наблюдателя даже отчаяние от явной балаганности всех попыток философа улучшить положение мира, но все ж театр его жизни уводил его от слов, в которых Бог не живет, и вел туда, где Он есть. И если посмотреть на театр его жизни с этой сдвинутой с повседневности точки зрения, то тогда можно было увидеть совсем другую историю, как это бывает на известном рисунке-игре, на котором изображены одновременно старуха и молодая женщина, но рассчитанные так, что, разглядывая старуху, глаз теряет из виду молодую женщину, а та, в свою очередь, обнаруживая себя, исключает из картинки старуху, и поэтому за раз можно видеть лишь одну из них.

А дело в том, что слова философа были бы непонятны без сопроводительных и одновременных жестов и событий его жизни, переездов и путаниц, карикатурных влюбленностей и падений с лошади, без его ночевков, Бог знает где и Бог знает в каком обществе, без дымящихся плевков, говорящих собак, драк с чертями, а также без писем Папе Римскому и русскому императору, непонятны без смешных размахиваний руками на фоне неба и людей, а также без запаха и луж скипидара, которые он прудил по столам гостиниц и лил по стенам, чтобы оградиться от нечистых духов и придать бодрость телу и душе.

А сами эти жесты и события также непонятны без слов, написанных в статьях, лекциях и трактатах, потому что это как в театре Но или в доме глухонемых: с одной стороны — жест, слово тела, и с другой — дыхание, слово мысли. И разница лишь в том, что в доме глухонемых слова не поются, а подразумеваются и выдыхаются, а в театре они звучат и поются. Но и там и там ясно, что без дублирующего, а вернее, воплощающего слово в тело движения — слово еще не слово, а просто недоовоплощенный и носимый по воздуху шум и треск. В том-то и дело, что обычно, видя одно, как в той картинке с красавицей и старухой, нельзя видеть другое. И мы видим либо слово без тела, либо тело без слова. А суть-то как раз в том, чтобы видеть и красавицу, и старуху — одновременно, как разные лица одной жизни. И если обычному человеку это недоступно, то нужно вызвать к жизни сверхобычного человека, который живет внутри этого обычного, — он-то и сможет смотреть на два лица одной жизни сразу, потому что свободен и просветлен вне времени. Этим театр Но и занят — вызыванием к жизни сокровенного человека сердца.

И поэтому философа Соловьева надо читать, понохав скипидару в мастерских художников на Верхней Масловке или продрогнув за городом, слушая майского соловья, а еще лучше — влюбившись в девочку с загородной Рублевки или спяну отдав кошелек нищему. Да разве нам понятно хотя одно наше слово, если мы его не отметим движением? Чирканьем зажималки, дерганьем века, прихлопыванием ресниц или, напротив того, — застылой неподвижностью тела. И если коза не движется, а рыба не плавает — значит,

их движениям не хватает слова, а если непонятно, что такое говорит какой-нибудь признанный умник, то это значит, что его слова не бегали вприпрыжку, не изменяли жене и не размахивали руками от тоски и невозможности объяснить самое главное.

Тут Шарманщик отвлекся.

Мимо них по узкому проходу стюард толкал столик на колесиках.

— Что желаете? Сок? Воды?

— Два апельсиновых сока, — сказал Шарманщик, взял стаканчики и поставил один в круглое углубление на пластмассовом откидном столике девочки, а второй перед собой. Она благодарно кивнула ему и улыбнулась. Интересно, зачем она спрашивала, кто написал рассказ про золотых рыбок и про то, как какая-то девушка навещала какого-то человека на даче? Он не помнит, кто его написал. Иногда ему казалось, что этот рассказ написал он, но сразу же вслед ему делалось от этого смешно, потому что там было слишком много слов, а он устал от слов и если все еще и прибавлял их по привычке к своей жизни, то, во всяком случае, больше не записывал на бумагу и почти перестал понимать, где прежде были его слова, а где чужие. Да и могут ли вообще одни слова быть твоими, а другие чужими, нет, конечно.

— Поспала? — спросил Шарманщик.

— Немного подремала. Есть что-нибудь почитать?

Он полез в сумку под ногами и вытащил оттуда путеводитель по Брюсселю.

Она отхлебнула из пластмассового стаканчика и углубилась в цветные глянцевые картинки. Над губой осталась желтая полоска.

Что же он тогда увидел в соборе среди трех ангелов с розовыми крыльями?

— Нет, спасибо. А ты будешь?

Он передал ей поднос с едой — запаянные в полиэтилен курица и крохотный кусочек масла, щепотки с надписью «soft» и «raree», пластмассовые белые ножик и вилка, кусок хлеба в прозрачной пленке.

— Вот сюда мы и пойдем, — сказала она, тыча пальцем в здание Королевского музея, — и сюда тоже. — С разворота путеводителя отвечивала глянцем белоснежная резная башня собора.

Ведь зачем-то он простоял там целый час, перед этой иконой.

Его не раз ужасала предваряющая воплощение Христа назидательная история, придуманная непонятно кем, записанная огненным протопопом-старообрядцем и благополучно кочующая от одной православной головушки к другой, все упрощаясь, напитываясь жалостью и жалобой и огрубляясь в эмоциях. История эта повествовала о том, что Бог Отец, глядя на Сына, начинал такой примерно диалог.

— Сотворим мир?

— Сотворим.

— Сотворим человека?

— Да.

— Но ведь погрязнут люди во грехах. Что тогда будем делать?

— Тогда я пойду к ним и принесу им спасение.

— Но ведь тебя за это распнут. Знаешь ли об этом?

— Знаю. Но я все равно пойду.

Парфюмерное и елейное убожество этой истории было вопиющим. И не менее вопиющим и жестоким был подтекст, где Бог Отец посылал своего Сына на мучительную смерть только потому, что, сотворив неудачный мир, решил любой ценой этот мир выправить. Шарманщика ужасала умильная жестокость всей этой подлой картинки, которая тем не менее людям, рассказывающим ее, вовсе не казалась ни жестокой, ни неленной, а вызывала у них благоговейное дрожание в голосе, а иногда и простосердечные даже слезы. Отец-садиет и Сын-самоубийца, совещающиеся по поводу ублажения эгоистических невежд, которые очень даже рады тому, что ценой жизни Сына, убитого Отцом, они теперь спасены (причем, что это такое, они не вникали) и могут дальше есть свои ужины, гнать по дорогам свои кадиллаки и БМВ, наставлять друг дружке рога и продолжать истреблять ближних в своих священных войнах, — вот что вызывало у людей восхищение. Отец-садиет и Сын-самоубийца — вот их Бог. И если принять факт к сведению, то многое можно тогда понять и по поводу их отношения друг к дружке и к детям тоже. Скажи мне, кто твой Бог, и я скажу, кто ты. Конечно, тут помутнение, как помутнены почти все современные религии, и однако же, невероятно, но люди, испытывающие это страшное помутнение, как он уверялся не раз, способны

и на любовь, и на жертву, и на сумасшедший возвышенный поступок. И пусть не это основное в их жизни, но они порой совершали вещи, восхищавшие Шарманщика и для него самого недостижимые.

Но не то он тогда видел, стоя перед тремя ангелами, изображенными Андреем Рублевым, и не про то думал...

— Ох... — Девочка зацепила путеводителем поднос, и пластмассовые поддончики с прозрачными пленками воро-



хом полетели на пол. Он наклонился и стал собирать мусор. Потом разогнулся, откинул свой столик, положил на него мусор и оглянулся в проход в поисках стюарда. Тот подошел и собрал всю бестолочь сверху и из-под ног.

— Спасибо!

У нее красивые ноги, длинные, балансирующие сами в себе словно ртутным противовесом, с пузырьком, запаянным в стеклянной трубке, точно прощупывающие пространство узким каблуком.

Он стоял и смотрел на трех ангелов, а они разговаривали на непонятном языке и, одновременно оставаясь неподвижными, плыли и вращались по кругу с такой скоростью, что все равно оставались неподвижными. И когда один из них под видом огненных языков сошел на апостолов, то неясное стало ясным, разделение стало единством, подозрения упразднились любовью, дерево, искривившееся от вечной нехватки, нашло себя самое, медведь влился в собственную шкуру, Арсения ушла из дому в поисках Шарманщика, раковины на дне заговорили, кто-то мог умереть и не умер, апостолы записали свои евангелия, сейчас пятнадцать трид-

цать, смейся, смейся, тварь, я все равно тебя достану, стабат матер долороза, раскинулась игрушечная страна с картой, смотри, Вавилонская башня, смешались языки, вот матрос лезет, Сретенка, дом пятнадцать, уйди на хуй, зараза, Верхняя Масловка, семь, квартира двадцать шесть, а вот город Иерусалим, опоздали на электричку, Шарманщик потерял память, смотри, Пятидесятница, все-все вспоминают, все самое главное, нет, у нас только пластмассовые, ты откуда, парень, Петр-апостол говорит, что не пили вина, смотри, стены и башни, камо грядеши, красотка, президент на саммите стран «шестерки», стены и башни, Петр-апостол сидит в темнице, и ангел приходит, и вот все восстановилось, язык стал всеобщим, довавилонским, люди остались прежними, розовый ангел молчал, уйди, сука, убью, ласточка в небе, Бог распят, люди спасены — и ничего, совершенно ничего не изменилось... да?

Гент

Хор театра Но состоит из музыкантов и певцов. Музыканты, хаяси, сидят справа, положив перед собой сложенные веера — четыре ровно, а певцы располагаются еще правее и после паузы используют цуёгги — сильное пение. А время действия — вечное настоящее. Да, вечное настоящее. Поясним. В вечное настоящее могут войти только те слова, люди и предметы, которые есть на самом деле, а вовсе не



те, которые думают, что они на самом деле есть. Потому что почти все думают, что они — есть, но ежели они попробуют войти в вечное настоящее театра Но, то не смогут. Скорее всего, даже какая-нибудь часть их тела не сможет туда протиснуться, потому что все они целиком живут в своих снах, заморочках и обидах, словом, в том, что в вечное настоящее

не попадает. Не помойка ведь это, не свалка, а вечное настоящее, а свалкам и помойкам там не место. А вечное настоящее — всегда сейчас, и поэтому хор запел про сейчас и про двух путешественников по городам Европы.

«Что им делать вместе, этим людям, — пел хор, — потому что все остальные сейчас не такие, немного, а, похоже, другие. Что им делать дальше в их общей судьбе, куда она завернет, и разве не ясно, что история эта будет печальной, потому что такие истории не живут на свете, а живут они на свете только после того, как один из них умрет, а второй возьмет и напишет о нем “Божественную комедию”, и тогда все встает на свои места, а так не очень. А так — не встанет и не может встать, потому что их общая хрупкость, да — хрупкость, вот верно найденное слово, настолько велика, что делает этих двоих незащитными и беспомощными перед агрессивней твердых вещей и тяжелых мыслей. Но поскольку



никто про них ничего не пишет и писать не собирается, за исключением магнитных записей вразнобой и отрывочных записок на компьютере, которые делает Арсения, прежде чем отослать Петискусу, то и будет еще одна история, не известная людям. А для них двоих — она словно туманное утро, когда восходит солнце и предметы выныривают из смутности и всеобщности, отражая лучи, подставляя под свет красные крыши и бульварные улицы с первыми велосипедистами».

Быют и бухают барабаны оцудзуми, рыча своей бычьей кожей, натянутой как бубен: Оух! Оух! Бум! Бум-бум! Гау-гау-гву! Ъх!

Закатывается бамбуковая флейта, обдавая воплями и свистом актера в ярком кимоно с задранный и застывшей в воздухе ногой, изобразившего одну из сил-букв мира своим телом, пишушим вместе с другими людьми всеобщую книгу жизни, в которой — поет хор — мужчина с девочкой выш-

ли из здания железнодорожного вокзала в Генте, пересекли вокзальную площадь и наткнулись на сотни и тысячи припаркованных друг к дружке велосипедов, поблескивающих в солнце как одно всеобщее чудовище, протянувшееся по кольцу привокзального сквера и его дорожкам, и сначала Шарманщик удивился, куда ушли все их владельцы, а потом понял, что это машины, уже отслужившие свой срок, но не выброшенные за ненадобностью, а свезенные в одно место, где они играют в огромного змея, составленного из колес, спиц, рулей и протянувшегося, извиваясь и мерцая спицами и никелем сотен рулей, по всему парку. Вот ведь тоже, хрупкая машина — велосипед, а сколько километров пробежала, сколько горок и бульжинок выдержала, сколько ударов получила и тяжести перевезла, и вот же — не упала даже



в самом конце, а стоит и сверкает. И даже не одна какая-то единственная стоит, а тысячи стоят и не падают, сойдясь здесь в их велосипедном послебьитии, можно сказать, в Парадизе, где времени, считай, что и нет, и оно уже никого не старит и не огорчает, потому что здесь вечность. И Парадиз этот не где-то за краем и обвалом истории, а еще здесь, прямо здесь, в городском городе Генте с его мостами, речкой, кафе и трамвайными путями вдоль аккуратных, словно нарисованных домиков.

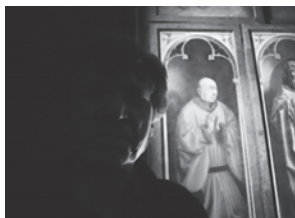
Они пошли к центру пешком, вдоль трамвайных путей, и Шарманщик озирался на цветущие яблони и миндальные деревья, осыпанные нежно-розовым цветом, как будто они — здешние ангелы. Он натер ногу и прихрамывал. После поворота узкой улицы, открылся вид на городскую площадь, и сразу набежал ветерок и разлохматил холодом волосы на лбу Шарманщика. Девочка шла рядом.

— В этом храме алтарь с Агнцем? — спросила она.

Они специально приехали в Гент из Брюсселя, сделав непрактичный крюк по дороге в Амстердам, потому что ей захотелось посмотреть знаменитый Гентский алтарь.

— В следующем, — сказал Шарманщик, сверяясь с путеводителем, на котором была сфотографирована светлая башня церкви.

Внутри было темно, а внутренность собора громадна. Шарманщик поморщился — он не любил избыточного величия соборов. Они стали искать глазами знаменитый алтарь у восточной стены, где ему и полагается быть, но там



ничего похожего не было, сколько они ни вглядывались, и тогда Шарманщик спросил по-английски у какой-то женщины со светло-русой челкой, где алтарь Ван Эйка, и та улыбнулась и показала рукой налево. Они пошли туда и вошли в небольшой темный притвор, в котором толпились туристы с блокнотами, лекционными магнитофонами-гидами и рюкзаками.

Над их головами и спинами вырастало из земли освещенное панно, в центре которого горело собственное живое солнце с голубем в его золотой середине, а внизу, под его нитевидными и золотыми лучами, собрались все те, кто любил правду, и сам был правдив и добр. Собрались святые,

мученики, воины за веру Христову, отшельники, исповедники, пустынники, учителя церкви, богословы, а в середине была зеленая поляна с травой, на которой стоял четырехугольный камень-алтарь, и над ним тоже горел свет. Свет шел от ягненка на алтаре, из груди которого била красная струя крови, стекая в подставленную золотую чашу, и этот ягненок был тем самым Агнцем Божиим, предназначенным Богом для того, чтобы прийти на землю, быть зарезанным, или, по-библейски говоря, закланным, чтобы все, кто выбрал добро и жизнь со свободой, спаслись.

А наверху справа и слева в небе сидели и стояли ангелы с юношескими и женскими лицами и пели. В руках у ангелов были всамделишные музыкальные инструменты, а самый красивый из них, с золотым отсветом в длинных волосах, играл на небольшом органе, из тех, что были, вероятно, тогда, в 1432 году, в церковном обиходе. А еще выше, слева, уже под сводом потолка, смотрела на них женщина великой и нежной красоты, и не женщина, а девочка, дева-царица, дева Мария. Рядом, в высоте, расположился Бог Отец в виде царя в короне и с бородой, но на него Шарманщик почти не смотрел, потому что он смотрел на ягненка, который ведь тоже был не ягненком, а Солицем Любви, как это сказал Владимир Соловьев в своем стихотворении. Изображенное событие было взято из книги Апокалипсиса, где говорится о том, что сияющий город, Небесный Иерусалим спустится с неба, а сияет он оттого, что там смерти уже нет и нет там времени, а есть вечное настоящее, и тени там тоже нет. Нет там и солнца, нашего, обычного, твердого, потому что в нем больше нет нужды, но город Небесный Иерусалим освещается как солнцем лицами праведников, мужчин и женщин, и Богом, а грешники к тому времени уже будут ввергнуты в огненное озеро вместе с Сатаной и Антихристом. И вот накануне того, как спустился солнечный Небесный Иерусалим, от которого по картине шло сияние и в круге которого трепетал крыльями голубь Святого Духа, ангелы протрубили и возгласили, собирая всех верных и праведных со всех концов света для того, чтобы люди эти перестали умирать смертью, а отныне вошли в ворота Иерусалима, но не того, земного, а нового и небесного. И они пришли со всех сторон, стояли и толпились. И вот теперь он, сияя и посылая

лучи, спускается с неба, как самая разрытая светом из всех Утопий. Он похож на Солнце и на воздушный шар братьев Монгольфьер и несет себя и свою световую разрытость этим людям, чтобы они в нее сами зарылись и приняли.

Солнце, Солнце — вот в чем тут дело, в — Солнце, с которым надо слиться. И если с ним слиться и в него войти, то мертвый станет живым, если только у него и у мертвого осталась хоть капля сил и желания до Солнца добраться.

И ангелы тихо дергали струны лиры и музицировали на органе, а не гремели страшно и свирепо в трубы, как об этом говорится в Апокалипсисе, и Шарманщик решил, что таких красивых и старательных ангелов он больше нигде не видел и что сейчас вот может такое случиться, что к ним подойдет их небесный регент и исправит некоторые их ошибки в музыке и пении, и тогда они начнут петь и играть снова, на этот раз уже правильно, а значит, и конец земной истории пройдет правильно, достойно и без ошибок. А проще, они напоминали деревенских юношей в роскошных одеяниях, репетирующих музыкальный номер и изображенных в тот момент своих занятий, когда после долгих и нудных упражнений им наконец-то всем разом стало интересно, и они, увлекшись, забыли и про регента и про правила, а вот попали в яблочко, и теперь осталась только музыка и больше ничего. Но им всем так хорошо стало теперь от этой музыки и своего согласного пения, что они и дальше готовы не думать про обед или про девушек, а просто петь и петь без конца, вкладывая туда всю свою душу. Потому что ангел становится самим собой не просто так, а только когда поймает одну на всех ангельскую музыку и станет с ней — единым и со всеми остальными ангелами тоже. А до этого, можно сказать, что его и нет еще на свете. То же и для людей. И конечно, тогда-то и происходит финал земной истории правильно, так, как надо, когда они поют для себя, а не для истории, забыв про себя, а не про музыку. Вот если бы так делали цари и президенты, история тоже пошла бы правильно, но ни цари, ни президенты, ни обычный народ никогда не забывают про себя и историю, а забывают про музыку, и от этого конец времен и Апокалипсис все же наступают со всеми их фантастическими гадами, звездами-полюнь, железной саранчой и всяким остальным мраком и ужасом.

Шарманщик обошел алтарь и заглянул с той стороны. Там были изображены апостолы и евангелисты, которых писал уже не сам Ван Эйк, а его брат — мастер великий, но послабее Яна. А когда вернулся, увидел, что девочка стоит и смотрит на ягненка. Когда она так стояла, ему делалось страшно, потому что она была красива и полна жизни и смерти одновременно, как сон, который снится сразу двум людям. Но только она не спала, а была похожа на ягненка, и хотя струя крови текла из груди у ягненка и это он, а не она, спас и родил своей смертью заново весь мир, он знал, что если сейчас она пойдет по бульжнику мостовой, то из-под ее ног будут вырастать мертвые лошадиные головы, чтобы, одеваясь обратно гноем в глазницах, становящимся тут же жарким белком, вырастать в оживающих коней и вместе с ними в их всадников, которые взбурются из-под ее подошв. Потому что есть такие подошвы, которые проходят по миру, скользя и шепча лаком и балетом, а есть те, которые словно плуг загребают, цепляют и выворачивают из под земли мертвых, которых вывернуть очень трудно, потому что голова каждого из них находится в самом центре земли, в единственной той точке, и там свое Солнце.

БХ!

Амстердам

В Амстердаме они сошли с поезда и на трамвае отправились на квартиру, которую Шарманцигу по дружбе уступила на время его знакомая писательница, живущая тут уже лет с десять. Они встретились с ней в близком кафе с деревянными столиками, тихо воющим обдолбанным парубком у стойки и запахом ананси, разлитом в воздухе. Хозяйка кафе смотрела на парубка со строгим умилением — дескать, вот и хорошо, живет человек и радуется, и это всем понятно, и так и должно быть у порядочных людей — так, но, конечно, не больше, — и они пили кофе под отрывистые и аккуратно размеренные вопли, а потом пришла Татьяна и отвела их в квартиру, расположенную через дом, с узенькой лестничкой с улицы, круто ведущей вверх к двери. Пообщавшись полчаса с Шарманщиком про Москву и оставив инструкции по пользованию душем, она ушла.

Он открыл окошко.

За окошком по каналу плыл низкий и плоский катер белого цвета, играла музыка. Желтый электрический свет из ресторана напротив взобрался на спину катеру, пропутешествовал по всей ее длине, соскользнул по корме и закрутился в неразберихе молочной пены вздымающейся из-под винта. В окне стояла и покачивалась ветка с распутившимися зелеными почками, а на той стороне канала были видны велосипеды, прикованные цепочками к чему придется. Трех



и четырехэтажные дома с крашеными зеленою и кармином деревянными ставнями тянулись направо и налево, словно сильно прихорошившаяся и уплотненная Новая Голландия из города Питера, причем некоторые из них, было видно, что вываливаются из общего строя, как вылезает иногда карта из общей колоды.

Шарманщик сел за низкий столик и уставился на гуляющие в окне зеленые почки. Было слышно, как постанывает горлица. Откуда здесь горлица, непонятно. Он думал, что горлицы — южные птицы.

Девочка возилась на кухне, что-то готовила.

Они словно сговорились, и теперь перебирались из города в город, потому что надо было перебраться и двигаться, так как огромная и сильная жизнь, запрещающая им много разговаривать, все же все равно ждала от них каких-то действий, и даже невозможно было от этой силы оставаться дальше не-

подвижными, потому что тогда она наваливалась так, что от ее избытка можно было хрустнуть и погибнуть, — вот они и двигались, и пересаживались, и пристегивались и отстегивались, ночевали в гостиницах, сначала русских — валдайских, тверских, вологодских, а потом и европейских — брюссельских, краковских, амстердамских, потому что они были похожи на двух путников, которые шли все время вокруг одного пустого места, заходя в любые другие города, скверы, вокзалы и музеи, которые это место окружали, и все это единственно для того, чтобы не услышать вопросов про это самое пустое место, если, конечно, это было не продолжением того самого преследования, в которое они оба не зная как ввязались, она — путешествуя на бесконечных автобусах по побережью и горам, а он — неизвестно когда. Но все равно кто-нибудь когда-то должен был об этом спросить, и когда она принесла кофе и поставила две чашки на низкий журнальный столик, стоящий рядом с приоткрытым на канал окном, он услышал то, на что у него не было ответа.

— Кем мы были друг другу в прежней жизни? — спросила девочка.

Он почувствовал, что теперь надо ответить, и если он не ответит, то для него самого все будет совсем не так, как в том случае, когда он ответит, — все может стать другим — жалким, выцветшим, ничтожным, а может, и подняться еще выше, чем ветви за окном, сильные, молодые, в зеленых почках. Но он не ответил, потому что не знал, что сказать. Сначала он подумал, что знает, кем они были, и почти что вспомнил, но сразу же снова забыл и теперь смотрел, как дымятся две чашки с кофе, закручиваясь паром не одинаково, а как будто они стоят не рядом, а на далеких друг от друга столах, можно даже сказать — в разных городах и домах, и на них дуют разные сквозняки. Она сидела в кресле и смотрела на канал.

Он не знал, кем они были друг другу тогда, но знал, кто они друг другу сейчас. Сейчас они были друг другу майским жуком в ветке сирени и, может быть, даже воздушным змеем. Иногда он был ей окном на той стороне улицы, а иногда просто человеком со своим скверным и сложным характером. Он мог быть ей кем угодно — велосипедом у канала или мирно вопящим от кайфа голландцем в деревянном кафе,

или даже каким-нибудь абзацем из журнала. Еще также он мог быть ей пылью из-под колес подмосковного автобуса или, скажем, сваренным красным раком на столе рядом с кружкой пива.

— Прости, я ничего не спрашивала, — сказала девочка. — Но мы ведь когда-нибудь вспомним, наверное. Я ничего не боюсь вспомнить, мне только хочется, чтобы, когда это произойдет, ты был бы рядом.

— Я не думаю, чтобы мы были врозь, — сказал Шарманщик, уставившись на канал. — Хотя, конечно, всякое бывает...

— Не говори так, пожалуйста, — попросила она. — Всякое бывает не с нами. С нами пусть будет самое лучшее, потому что кроме него вообще ничего с нами нет.

— А с нами и есть — самое лучшее, — сказал он, наблюдая за девушкой, отмыкающей велосипед на той стороне канала. Она взяла его за руль, трянула, приподняла переднее колесо, развернула и села верхом. Нащупала точку равновесия, подняла с асфальта ногу в белой кроссовке, на миг замерла и поехала.

— Ты меня не понял, — сказала она. — Кроме лучшего у нас больше ничего не осталось. Совсем ничего. — Она улыбнулась и добавила: — Ясно сэр? Вот вам двадцать евро, сэр, и отвезите меня в центр, к церкви, где венчался Рембрандт.

— Да, сэр, — сказал он. — I'll do it, sir! Thank you!

Он пил кофе и наблюдал за девушкой на той стороне канала. Та нажала на педаль и заскользила под фонарями — непонятно, почему у них такие старые и разболтанные велосипеды, где они их берут, на какой свалке.

— Хочешь, погуляем?

Она вскочила с кресла и побежала в ванную. Слышно было, как там по цементному полу забила вода, когда она включила душ. Он тоже примет душ, и они пойдут в город. Они погуляют по ночным улицам с освещенными, словно слитки серебра, домами над водой, посмотрят на звезды и их отражения или просто посидят в сквере рядом с монастырем бегинок, и он потрогает ветки и пошوخает их. Он хочет знать, как пахнет весна в Голландии, так же, как в Подмосковье, или по-другому.

Он достал ноутбук и стал просматривать фотографии, которые сделал в Королевском музее Брюсселя.

На одной из них был Брейгель — «Падение Икара», одна из версий. Он не помнил, сколько их было всего и где висят остальные, неважно. Он помнил холодок фотоаппарата, прижатого к брови, когда делал этот снимок без вспышки. Сейчас он смотрел на пахаря, втыкающего лемех в игрушечную почву, на закат солнца, похожий на золотой пожар, на парусник в море и там же в море — ногу тонущего мальчика, сорвавшегося с небес, потому что слишком близко подлетел



к золотому сиянию светила. Он подумал, что нарисованный вол, конечно, не настоящий, но имеет отношение к настоящему, и более того, что пока на картине есть этот вол, то у настоящего больше шансов тоже быть, потому что он тот, который на настоящего указывает, а значит, теперь они оба не могут один без другого, и оба образуют одну настоящую жизнь, и также все остальные предметы на этой картине, изображенные художником. В общем, все они не могут быть один без другого. А вернее, они есть не потому, что кто-то на кого-то указывает, а потому, что они на карте мира теперь одно и то же, и не надо говорить, что, например, человек и его фотография это не одно и то же — одно и то же, конечно. Или человек и его ножницы, или его воспоминания, или его бывшая жена. Конечно, они — одно и то же. И значит, настоящая жизнь находится не в настоящем или нарисованном воле, а между ними, как и их одно имя, которое теперь — между ними.

Шарманщик навел «варежку» на изображение парусника и щелкнул левой кнопкой мыши. Тот вырос вдвое и уточнился. Потом посмотрел на канал, расположившийся между штор, синий, почти фиолетовый, засыпанный золотыми и белыми огнями. Зеленых листков на ветке теперь не было видно. Людей на канале тоже. Та девушка с длинными белокурыми волосами уже, наверное, доехала на своем старом

монстре до дому и теперь либо спит, либо обнимается со своим другом. А может, не обнимается, а стоит в постели на белой простыне, на коленях, белой спиной вверх и зарыв голову со своими несказанными прядями между подушек, а ее друг любит ее изо всех сил. Шарманщику на миг стало стыдно, словно он заглянул в чужое окно и увидел запретное, но он все равно пожалел, что не он друг той девушки на велосипеде, а другой, никому не известный голландский парнишка. А может, она проверяет тетрадки. Нет, не похоже, чтобы она проверяла тетрадки по вечерам, хотя, кто может это знать точно. Он думает про это, потому что он не хочет думать про то, как это могло быть с девочкой. Они давно уже рядом, но ничего у них не было, даже странно, что этого до сих пор не случилось, хотя, конечно, тут нет никаких договоренностей. Странная история, от которой он иногда задыхается, и сейчас он почувствовал жар на лице и нестерпимые слезы в глазах, и тогда он стал смотреть на экран ноутбука, и тут он увидел.

Что на мачту парусника, образуя алеф задранной рукой и согнутой в колене ногой, взбирался крошечный матрос, точно так же, как тот, что взбирался на другую мачту другого парусника, ошвартовавшегося рядом с колоссом вавилонским — местом, где распалась всепонимающая зрячая речь и ей на смену вместе с разорванным языком пришли отдельные предметы, люди и животные, пришла слепота.

Мотылек

Она вошла в комнату, свежая, сияющая, стройная, готовая к прогулке, а он сидел над экраном и что-то бормотал. Он бормотал, как вы помните, про изображение знаменитой картины «Падение Икара», где на первом плане пахарь пашет, на втором пастух пасет, на третьем корабль плывет, а на четвертом сияет огненный закат, полусошедшая и полускрывающая смутные очертания города на горизонте, то ли сказочной страны, то ли всплывшей Атлантиды. Вполне также может быть, что не Атлантиды и не страны, а того царства, которое может быть где-то названо Небесным Иерусалимом, а где-то Градом Жизни. А на плане между третьим и

вторым торчит из воды в недоразвитых брызгах белая нога свергнувшегося с неба Икара и часть второй, тоже постыдно белой, уже почти совсем невидимой. Она села рядом с ним и стала смотреть на изображение, а он снова выделил и приблизил корабль, на одной из мачт которого при сильном увеличении можно было рассмотреть двух матросов — одного,



лезущего по веревочной лестнице наверх и изображающего телом букву \aleph , алеф, и второго, который, распластавшись животом по поперечной мачте и опустив вниз руки и ноги, образовывал другую, замыкающую букву алфавита — τ , тав.

— Да, — сказал Шарманщик, — да, он разговаривает со мной.

— О чем? — спросила она. — Кто?

— Сейчас, сейчас, — сказал он и стянул из-за пробившего его жара свитер через голову. Бросил его в угол.

— Альфа и омега, — сказал Шарманщик, — альфа и омега. Алеф и тав. Христос-Алфавит.

А потом он сел глубже в кресло, откинулся, закрыл глаза от света лампы и заборматываясь стал говорить про Апокалипсис и его опознавательный знак — изображение двух букв у Брейгеля, — знак, кодировку и клеймо, место присутствия событий, описанных в последней книги Библии, но

присутствия не явного, а скрытного. Этот фон и экран последних дней с их мировыми катастрофами не был вынесен на плоскость изображения с его пахарем, золотым закатом и белой ногой в синем море, а присутствовал лишь в двух фигурах матросов — одной, распластанной на мачте, а второй — лезущей вверх по веревочной лестнице.

— Потому что Апокалипсис, как знал это Брейгель, — сказал Шарманщик, — не приходит приметно и однозначно, но присутствует в самых обыкновенных вещах — например, в пепельнице, светлой и серой от раннего похмельного утра, когда жизни не осталось и на глоток, и еще он может затаиться в слове «однако», или в напряженной позе старика, ждущего вагона в подземке, или в выступлении министра по телевидению, когда у него залезаны волосы и на глазах очки, или просто, когда смотришь на море, а там ничего нет. А там ничего нет, понимаешь?

И вот тут-то на фоне скрытного присутствия вестника Апокалипсиса, Христа-Алфавита, в его грозной и пронзительной поддеветке, — нужно постараться увидеть, в чем же состоит его, Брейгеля, Апокалипсис, конец мира, а в том он, что изображено на картине. А на картине изображено, как какой-то никому не ведомый и явно этому миру лишний анонимный герой-одиночка по молодости или другим причинам рискнул лететь не прямо куда-то, к ясной земной цели, а — вверх, к солнцу, и там его крылья, скрепленные воском, стали разваливаться, потому что воск не выдержал жары, и тогда Икар полетел как камень вниз, в волны моря.

Шарманщик стащил от волнения через голову футболку и теперь сидел голый по пояс. Потом сморщился и стал цитировать по памяти про огненную смерть и становление, про то, что речь моя к одним лишь мудрым, чернь — она начнет глумиться! жизнь я славлю, что упорно к смерти огненной стремится. В ночь любви, в какую сам ты жизнь принял и жизни сеял, чувство странное нисходит, лишь огонь вдали зардеет. С тенью ты уж не миришься, жить не можешь ты во мраке, ты стремишься упоенно к сопряжению в высшем браке. Мчишься словно кем гонимый, путь не кажется далек, миг — и вот до света жадный, ты сгораешь, мотылек! Если ж зов: «умри и стань!» спит в душе смиренной, ты лишь горестный пришлец в сумрачной Вселенной.

— Это Гете, — сказал Шарманщик, — но неважно, потому что это не цитата, это то, куда нужно влезть руками и ногами, и тогда это больше не цитата. Мотылек летит на пламя. Икар, крылья раскинув, движется к солнцу, а конец мира, это когда никто этого даже не замечает, вот это и есть настоящий конец мира. Эта слепота и есть начало и воплощение саранчи с человеческими лицами и звезды Польнь, и отравленных источников, и семиглавого Дракона, выходящего из моря, и даже всадников Апокалипсиса, последний из которых сидит на коне цвета гниющего трупа и имя ему Смерть, — это то же самое, если никто не замечает.

А на картине никто не заметил, что мотылек пытался стогреть и стать, но не сгорел, а свалился в воду. Все делали то, что делали до этого, и жизнь шла мимо смерти одиночки, решившегося прыгнуть к солнцу, в его золотую середину слить свою жизнь с началом всех вещей, чтобы от этого всем людям прошли в их привычную темноту свет и глубина огненных языков и райского ядра любой человеческой судьбы.

Тут Шарманщик затосковал и сказал:

— Когда мне было двадцать, я однажды пошел на море. Я спуускался по серпантину и у санатория остановился выпить вина. Я шил холодное саперави и смотрел на морскую синеву, проступавшую сквозь заросли сосен. Было жарко, не охота было двигаться, и я стал подумывать, не вернуться ли мне домой. Но когда я заметил, что там шторм — море было сизым и синим, — то решил дойти до пляжа, потому что любил плавать в больших волнах. Я спустился к морю. На пляже была девочка, которую я уже несколько раз в эти дни видел, они там были вместе с одной местной, знакомой мне девчонкой, с которой мы когда-то учились вместе в начальных классах, она еще все время писала «солнце» без л, «сонце». Та, другая девочка, мне нравилась, но я все никак не решался с ней познакомиться. Она носила черный купальник, в котором казалась неправдоподобно тоненькой и стройной, и еще не успела загореть до черноты, как ее подружка, потому что, видимо, недавно приехала.

Они прыгнули в море с мола, отплыли недалеко, и тут эта девочка стала захлебываться и тонуть. Она позвала подружку, а эта местная дурочка перепугалась и, вместо того чтобы ей помочь, изо всех сил поплыла к берегу. За эти пять ми-

нут волны увеличились на глазах. Они грохали о бетонную стенку, и рядом с берегом было самое опасное место. Но я обрадовался, потому что хорошо плавал и знал, что сейчас прыгну и вытащу эту девушку, но прежде, чем прыгать, оглянулся на берег, не хочет ли кто-нибудь ей тоже, как и я, помочь. Не потому, что я боялся за себя, нет, я как раз боялся, как бы кто не помешал моему романтическому поступку, не вмешался, так сказать, в идеальную для знакомства ситуацию. Там, на втором ярусе пляжа, над бетонной стенкой, куда не доставали волны, сидели взрослые загорелые мужчины, играющие в карты или читающие газеты. Они сидели на полотенцах, расстеленных на сером песке, вместе с женами или подругами, там же виднелись газеты, кульки с вишнями и красные арбузные ломти. Тонущая девочка кричала довольно-таки громко, ей было страшно тонуть, но ее никто не слышал и не видел, хотя все происходило тут же, рядом, прямо на глазах у всего пляжа. Люди на берегу продолжали играть в карты и читать газеты — загорелые мужики, с толстыми шеями, коротко стриженные. Помню, я тогда обрадовался, решил, что никто, слава Богу, не будет мне мешать знакомиться таким вот печоринским способом. Разбежался по буне, выждав паузу между двумя накатившимися волнами, утюжившими бетон, и прыгнул в воду. В общем, я ее вытащил, хотя здорово нахлебался и так устал, что, как только отвел ее подальше от прибоя, рухнул в воду снова и поплыл обратно в море один, легкий и свободный, — это был для меня лучший способ перевести дыхание. А возле нее сразу же столпились те самые ребята с загорелыми шеями, которые только что играли в карты с женами и жрали виноград. Теперь они хлопотали вокруг девушки, отталкивая друг дружку, как толстые голуби вокруг булки. И вот я думаю, а что если там, у Брейгеля, с его пастухом и пахарем, и тут, на диком пляже санатория, было одно и то же.

Правда в тот день никто не летел к солнцу, хотя бабочек там было всегда много, но ведь слепота и глухота могут быть выбором — правда? Это не значит, что они не видят Икара, это значит, что они не желают его видеть. И вся эта история словно покоится в двух невидимых руках Бога-Алфавита, который и несет ее перед собой — всех их, этих ослепших, оглохших пахарей и пастухов, и матросов, и шахтеров на от-

дыхе, играющих в карты, и их подруг, которые едят черешню из бумажного кулька...

Да, вот, о матросах — я все гадаю: они знают, что они — Бог-Алфавит, или не знают? То есть понимают они, что в них присутствует весь мир — альфа и омега, все духовные силы жизни, все звезды, кузнечики, вспышка самого начала и распад в самом конце, а в то же время и вечность и все остальные черепахи и быки, и люди, что на берегу, — пахарь, пастух, рыболов, а также и холмы и горы Небесного Иерусалима, и что сквозь них смотрит на мир Бог, — понимают или не понимают?

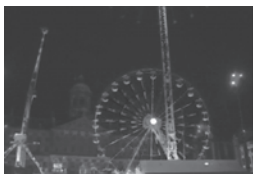
— Мне кажется, не понимают, — сказала Арсения. — Как ты это углядел, Шарманщик, Господи?! Как ты это увидел?

— Апокалипсис — это когда выбирают, чтобы все продолжалось, как прежде.

Я только сейчас, — сказал Шарманщик, — понял, что со мной ничего особенного никогда не происходило, а я все никак не мог выговорить вот этого, этого вот. А сейчас я скажу, потому что сейчас я уже это могу сказать. Знаешь, это сначала только важно, что ты говоришь, ну кузнечики или прибой, или эгзегги монумент эре перениус, или Икар и два матроса, спуск под солнцем к морю, кот по имени Тузик, но потом не имеет значения, потом неважно, что именно ты говоришь, какие слова, но не в этом дело, а в том, что я тебя люблю, и когда я говорю эти слова, я понимаю, что я вместе с ними сейчас — одно, как древесина с древесиной, или снег кружится, а фонарь горит, и он кружится в его свете, или, ладно, пускай летит в огонь мотылек, потому что огонь это плотная пропасть, в которой ему хорошо, а они и есть одно, и он тогда летит, покряхтывает, знаешь, мне кажется, от него будет пахнуть луком и гарью, и еще кошками, и свист перекроет все запахи, а кто-то стоит и тут же матерится или отливает в угол, да не кто-то, а я же это сам стою, и от меня пахнет кошками, но всего этого не надо, потому что я такой же голый, как эти буквы или матрос и эти буквы, какая ты красивая, эти буквы, м-м-м... м-м-м... — я. Они, буквы, — Я. Я-тебя-люблю. И не надо тут стать или утонуть, а надо, чтобы это было — как это? — вот это, кха-кха, вот это, как его там, — это...

Красные, зеленые, белые фонари

«Охота на дракона приводит к тому, что дракон поселяется в тебе. Охота за Богом — к тому же», — изрек среди всего прочего в эти дни Шарманщик, и она почему-то запомнила эту фразу. Потом они прошли через мост с красной баржей, в которой жили люди и сушили на ней свое белье, и сели в трамвай, куда вошли не сразу, а постояв на тротуаре в коротенькой очереди, прежде чем шагнуть на низкий, вровень с тротуаром пол, и там, внутри, в прозрачной, словно школьный пенал с цветными карандашами, будочке продавала билеты приветливая и неторопливая мулатка. На левой руке у нее был ампутирован шестой палец и торчал как небольшой пенек, а она была одета в цветастое платье и все время улыбалась. Они поехали к центру, где на главной площади расположились аттракционы, покрытые вошлем, как клумба розами, оттого что огромный метроном сначала уносил люльку, набитую туристами, под самое синее небо, а потом, перевернув ее в воздухе, швырял к земле и снова выкидывал вверх. Они подошли к небольшому опрятному ларьку у вхо-



да в универмаг, в котором пожилой голландец с лицом морехода готовил сэндвичи с голландской сельдью, и съели по слабосоленому бутерброду, пахнущему морем и свежестью.

— Почему здесь так много мулатов?

— Голландия — великая колониальная держава. До сих пор открыта для бывших колоний.

— Каких?

— Индонезия, Молуккские острова, Сиам, Малакка, Цейлон, Южная Африка, Северная Америка, Индонезия, Молуккские острова...

Арсения улыбнулась.

— Река Гудзон, в устье которой расположен Нью-Йорк, названа в честь их голландского капитана, — продолжил Шарманщик. — Капитана по имени Хадсон. Надо же, только вчера прочитал это в путеводителе. Почему не раньше, как ты думаешь? Хадсон — Гудзон.

— А эти темнокожие с абсолютно правильными европейскими лицами? Настоящие красавцы...

— Это эфиопы.

— А цыгане здесь тоже есть?

— Цыган не видел, — сказал Шарманщик. — Но, может быть, есть и цыгане. Мы здесь всего только один день, а на второй или на третий...

На третий день похода по степи, рано утром, казаки наткнулись на цыганский табор и стали насиловать и грабить. Грицанок зарубил бородатого вожака, махнув его саблей по шее, достав прямо через бороду до жил под скулой и открыв их черным фонтаном. Вожак упал лицом вниз рядом с костром, зажимая открытое горло правой рукой, как прорванный бурдюк с вином, а вокруг шатров бегали женщины с сопливыми младенцами на руках, и самых молодых казаки догоняли, валяли на землю и растягивали в шесть рук, чтобы один из товарищей мог вкусить пыли, солнца, ярости и женского тела, брэнчавшего и вопящего под ним медью, серебром и позолоченными браслетами. Потом наступала очередь следующего, и тот, улыбаясь, сосредоточенно взбирался на опрокинутое и заходящееся в судорогах тело. Те, кто держал, смеялись и показывали бьющейся цыганке языки. Один из коней, испугавшись воплей, убежал в степь, и двое казаков, матерясь и похохатывая, влезли на коней и поскакали за ним, чтобы успеть привести обратно, пока еще идет потеха. Мужчин посбивали на землю, а трех-четырех особенно несговорчивых зарезали саблями. Сашка Грицанок распахнул полог в последний шатер — оттуда выбежала цыганская девчонка лет двенадцати и метнулась за стенку шатра, в степь.

— Ай, хлопщи! Держи ее! — сказал Грицанюк, и ткнул вслед девчонке пальцем. Та бежала изо всех сил, распахнув от ужаса глаза и рот, бренча ожерельями, что подскакивали при каждом прыжке до лица и били ее по щекам и по лбу, но длинная юбка, путаясь и сбиваясь на каждом прыжке, мешала ногам размахнуться, и девчонка убегала медленно. Черные волосы, заплетенные в косы и уложенные на голове, попадали, расплелись до половины и вились теперь вокруг цыганки, как две змеи, хлеща воздух вокруг золотыми монетами, срывавшимися с них как тяжелые листья.

— Тикет! Держи!

Двое верховых, вернувшихся из степи, ведя в поводу перепуганного коня, зашли справа, заступили беглянке путь и стали слезать вниз, и уже слезли и повалили девчонку на землю, когда вдруг она ушла из под одного из них, как вырванная из-под ног половица, а вместо нее оказался напротив немолодой уже Петро Чешенко с саблей наголо и глазами, зажженными яростью, как два черных мертвых угля.

— Не дам, — сказал Петро и замахнулся клинком.

Казаки понятились, подтягивая шаровары и матерясь вполголоса.

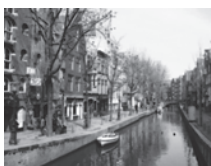
Петро тогда уцелел — не зарубили свои, не повязали и даже не отняли девчонку, потому что до этого сильно уважали не знающего страха казака и товарища, но жить в станице уже ему не пришлось, и новую хату он построил на отшибе, прямо на обрывистом речном берегу, так как казаку, пошедшему против товарищества, жизнь должна быть в дальнейшем скучна и не мила, и Петро это знал и исполнил все так, как надо. Так и прожил он там, в дальнем домике над рекой у обрыва, до конца своей лихой жизни — казак опальный, но неистовый. Через три или четыре года он женился на отбитой у казаков девочке, предварительно покрестив ее, а потом и венчавшись православным обрядом, и родилось у них трое сыновей — кучерявых, с жаром в глазах и во всем лице и теле. А история о чудном казаке и цыганке пошла гулять по Дону и Тереку, всплывая тут и там, то в песнях, то в байках, а то даже и в литературных сюжетах писателей казачьего рода. Петро был прапрадедом Шарманщика, а всю эту историю ему однажды рассказал отец, отхлебывая из стакана красный вермут, в котором топил свое смуглое

цыганское сердце и золотую русскую тоску. Шарманщик не знал, верить ли ему, или нет, но потом поверил, а потом забыл, но как-то снова вспомнил и больше не забывал, потому что видел, как однажды у него в гостях отец смотрел на портрет молодой матери Шарманщика, своей бывшей жены, черными как мертвый уголь глазами, и от этого через несколько дней на портрете появилось пятно, а справа внизу выступила красная дата — 1973 год. Если бы отец тогда посмотрел на портрет своими черными как уголь глазами подольше, то и все остальные буквы выступили бы на нем тоже, Шарманщик понял это, — вся повесть его детства с тайнами и загадками. И тогда бы он наконец узнал, что произошло между его отцом и матерью когда-то давным-давно — какая страшная история, после которой они разошлись по разным городам и нашли в мужья и жены других людей. Иногда он даже вставал напротив материнского портрета и смотрел на него так, как смотрел тогда отец, — в надежде, что проступят, пройдут насквозь красные краплавовые буквы и расскажут, почему у него в детстве не было матери и не было отца и почему отец исчез из его детства навсегда, до его, Шарманщика, взрослой поры, и имя его не упоминалось женщинами — бабкой и матерью, и отчего однажды, топя свое золотое сердце в красном вермуте, отец заплакал и забился над стаканом, заикаясь и матерясь, выхаркивая имя дядьки отчима, большого партийного босса и желая тому попасть к нему в руки, чтоб он сам смог его застрелить собственноручно.

Рассказывая свою цыганскую историю, отец также добавлял подробности, не встретившиеся в дальнейшем ни в одной ее литературной обработке. Прежде чем Петро увел девочку из табора, она вернулась к себе, нырнула в шатер и вышла оттуда, сжимая в смуглых пальцах небольшой узелок, в котором лежали шелковый японский веер с красным драконом на зеленом фоне и меховая рукавица, которая светилась изнутри в темноте. В дальнейшем эти вещи, заменившие ей приданое, потерялись в войнах и революциях, но вместо них осталась цыганская по вкусу семейная легенда, что тот, у кого снова сойдутся веер и рукавица, родит рай прямо из сердца, как рожают цыганки во время перехода себе на колени. А когда она родит этот рай себе на колени,

то сама станет его дочерью и его мужем и войдет в него, как входят в женщину, но войдет не одна, а прямо со своим мужчиной, тоже цыганом, и тогда времени больше не будет, а люди, рыбы и звери перестанут страдать и умирать. И не будет счастливее этих двоих на свете. Многие потом искали веер и рукавицу, но либо не находили вовсе, либо находили веер, а рукавицы не доставало, а если и добирались до рукавицы, то веера так и не отыскивали.

Они остановились на мосту через канал, и тут пошел моросить дождь, а внизу под ними плыл катер с компанией молодых ребят с раскрытыми зонтами. Мотор тарыхтел, а они стояли за столиком и пили вино, и одна из девушек помахала Шарманщику снизу рукой, а вторая не помахала,



а смотрела заворуженно, как проплывали мимо зеленые ветки над водой, и на дома набережной, стоящие впритык друг к дружке, со стеклами, витринами, вывесками и лавками первых этажей, на мокрые баржи, пришвартованные к каменной набережной, на уток, плавающих возле берега, а вода у берегов была темной от отражений домов и деревьев, а к середине — светлой из-за серого неба и потому казалась выпуклой и круглилась.

Потом подул ветер, зеленые плети над каналом зашевелились, стряхивая с себя капли, и стало светло. Тучи стали прозрачней — побежали, продернулись сквозь воздух, ушли, и выглянуло солнце, и они с Шарманщиком зашли в уличное кафе и сели за столик. Напротив высилось светлое здание церкви, но служб в ней, как им сказали, почти не было, как и во всех остальных церквях, — только регистрировались браки да смерти, а так в них расположились в основном музеи и концертные залы, взяв помещение в аренду, да это и понятно. Понятно, потому что тут был город, развернутый к человеческим нуждам, теплый, участливый, мягкий, где никто не умирал от нищеты или отсутствия лекарств, и все

заботились друг о дружке, а о том, о ком никто не мог позаботиться, заботилось государство, и смерть словно его покинула, слиняла — словом, комфорт стоял на дворе, а кому нужна церковь при уже наступившем комфорте.

Парнишка в красной фирменной бейсболке с длинным козырьком принес мороженое и два фужера с вином. Было свежо и ясно сидеть за столиком, и мир был словно протерт влажной тряпкой, и он взял и рассказал Арсенин историю со своим прадедом, а она слушала, не сводя с него внимательных глаз, и в воздухе горьковато пахло тополиными почками, а он смотрел ей в глаза синего цвета и говорил одно, а в уме повторял совсем другое ятебялюблю до тех пор, пока не понял, что это бормотанье и есть все, что осталось от других слов и прибавилось к шороху улицы и воздуха, к ним с девочкой, к извозчику на улице, к белой церкви на той стороне площади, к мальчику в красной бейсболке и вообще ко всему остальному. Как будто большая лодка вильнула, когда он на миг прикрыл глаза, включила весь свой свет, все осветила, и там, внутри глаз, осталась.

РЫБЫ ВО ЛЬДУ

Непонятно, — пропевал хор, — непонятно, чего он хочет и она тоже — чего хотят эти двое? Зачем они мечутся по городам? Ходят по улицам и разговаривают, не добавляя радости ни себе не людям? Непонятно, — пел хор, а сложенные веера лежали перед коленями поющих, — непонятно, почему они не видят, почему не войдут в зеркало Луны, зеркало незамутненного разума, разума бодхи, хотя оба готовы к этому. Непонятно, кто тут кого ищет — спина ли ищет язык, дочь ли нашла отца, или ветка нашла свой цветок. Страстен мир, и обманчивый, и не обманчивый одновременно — баржей с красной надстройкой, с белой трубой, из которой вьется дымок, с зацветающими по бокам каналов деревьями, с лебедем, которого никак не ухватит «кодак», с велосипедами, набережными, туристами и мостами. С первой мухой над городом.

Понятно, понятно, что не люди они больше, а письма, и не тела у них больше, а письменные принадлежности, кото-

рым надо написать все слова о себе и мире, как это делают бабочки, чтобы потом уйти от слов, как это делает Луна.



Но нельзя быть письмом и буквой и не быть ни письмом, ни буквой, не будучи человеком-Шарманщиком и человеком-Арсенией. И поэтому не надо гоняться за просветлением, потому что в каждой капельке пота живет Будда, в каждом таракане — Христос.

И в каждой бабочке живет Луна, а в Луне — каждая бабочка. Поэтому вечно будут звучать слова и стоять тишина. Ведь в мире все происходит одновременно. То есть не так одновременно, что слива цветет, а под ней едет велосипедистка с полными губами темно-палевого цвета, юная, рыжая, и тут же на барже готовят завтрак и пахнут беконом, а в Van Gogh Museum топят люди у «Едоков картофеля» — не так, а что вся ваша жизнь — все прошлое ее и все ее будущее

собраны в вас одновременно, как Луна и Бабочка, как молчание и слово, как вы и не вы, как все миры, в которых вы прожили похожие, но не такие жизни, как в этом? И все это явлено в вас, как в музыке Моцарта — одновременно: страдание и смех, сила и слабость, трагедия и беззаботность. Все миры и версии — вдвинуты друг в дружку в общей матрешке **ИЗНАЧАЛЬНОЙ ВЕРСИИ, ИЗНАЧАЛЬНОЙ МУЗЫКИ**. Белый вдвинут в черного, мужчина в женщину, вечность — в день, собака — в кошку, а звезда — в наперсток. И точно так же можно сказать, что все отдельно и все раздвинуто — снег и вода, ветка и канал, монета и голая стриптизерша, смерть, смерть и смерть, звон трамвая и зацепившиеся над толпой два раскрытых зонтика. И есть другие дни той же самой истории, есть другие дни тебя самого, в которых ты созрел по-другому, из-за того что в этих днях больше навоза в почве снов и яви. И в них дочь, которая искала отца и нашла, говорит отцу не так как сейчас:

Сама к тебе пришла я...
О, горе мне! Из дальних стран я шла,
Терпела всю дорогу иней, дождь,
Росу и ветер. О, как твердо было
Мое намеренье к тебе сюда прийти.
Но всё напрасно... Горе!
О, это ли отца любовь и жалость?
О, это ли привязанность отца?
Безжалостный! —

а говорит она отцу по-другому. И он отвечает не так, как здесь, стыдясь своего убожества на старости лет:

О, до сих пор скрывал я и таил...
И думал — тайна то. Неужто все открылось?
О, места нет для тела моего,
Что в бренности своей росе подобно!
О, вот позор! А ты? Твой облик, как цветок.
И если только имя ты мое возьмешь, —
Напомнишь обо мне и навлечешь позор.
Да, думал я о том, что вся ты, как цветок.
А я бесславен стал и опозорен,

И мир забыл меня. И если ты теперь
Возьмешь мое запятнанное имя,
Напомнишь обо мне — и на себя
Позор и горе только навлечешь ты!

— а отвечает ей совсем другими словами. И все равно это одна и та же история во всех мирадах миров, только что произошедшая и всегда происходящая в полноте своих вариантов, завязанных на вашем горячем сердце и живой крови, как кашне, и омывающая вместе с кровью остров вашего тела. Он может, к примеру, так ей отвечать: ведь если ты возьмешь имя, мое имя, то тебе придется взять в себя и меня тоже, потому что имя — это и есть человек, и тогда мы двое — будем одно имя, но разве ты хочешь, чтобы уже все вокруг вместе с нами стало одно? Ведь утренняя трава и голубь в небе и пробуждение от странствий в корявых объятиях имени — это двое в объятиях своих и чужих, это мы — другие, и те же. Все преступления уже совершились. И все чудеса тоже. И полнота времен наступила. И она же уже отошла. И любовь совершилась и прогнала смерть. И смерть вновь окрепла и точит зуб на любовь, свой гнилой, воняющий зуб.

Нырни, донырни до себя. До всего, что есть Ты. Донырни до Бога.

Над улицей зарокотал равномерный гром, и в синем небе показался красный вертолет, выстреливающий время от времени солнечным лучом со стекла кабины. В магазине на первом этаже она села на низкую скамеечку, а Шарманщик таскал ей одну пару обуви за другой, пока наконец она не выбрала кеды коричневого с серым цвета, а потом они пошли дальше по узенькой улочке, где в магазинчиках продавались галлюциногенные грибы и маленькие трубочки, фарфоровые и деревянные, для курения анаши, а в Cafe-shop пахло марихуаной, которую отпускала крашеная блондинка за прилавком, и было темно, когда заходишь с улицы, а вокруг стояли высокие столики с раскумарившимися мужчинами и женщинами, которые пили кофе и курили травку. А потом они искали бейсболку, которую Шарманщик обещал привезти своему знакомому, но вместо бейсболки купили

гнущуюся змею на шею, потому что ее можно было завязать в любой самый замысловатый узел и она держала форму, а потом Арсения в одном из магазинчиков углядела длинный голубой шарф, сдернула его со стенки, сказала: «Нагнись!» и замотала его вокруг шеи Шарманщика.

— Ага, — сказал Шарманщик, выставив вперед челюсть, — ага.

Она аккуратно растрепала шарф у него на груди и улыбнулась.

— Хорошо, — сказала она. — Синий цвет.

Потом они оказались на рынке, где на лотках сверкала в пластах наколотого льда свежая рыба, и Шарманщик от ее запаха сразу вспомнил подводную охоту на побережье, когда он был еще совсем молодым, и остановился, и она тоже остановилась. А кусочки льда горели и посверкивали, вокруг шла толпа, было воскресенье, туристы торговались у прилавков с безделушками, а в небе опять показался красный вертолет, гудящий и нарядный как игрушка, и они купили Арсению новую сумку, а потом зашли в кафе выпить по чашке кофе, и тогда Шарманщик сказал:

— Беда не в том, что разогнали бегиннок или что люди распяли Христа, а в другом, — он замолчал и сказал: — Нелено как-то... Высокопарно, как на сцене...

— Говори, — сказала она, — мы и есть на сцене, говори.

— Правда?

— А где еще?

— Хорошо. Беда в невозможности, поняв, кто он, Спаситель, был, принять ту жизнь и свободу, которую он предложил. Потому что войти в эту единственную жизнь, которую он предложил у человека, созданного Богом, нет ресурса, за редчайшими исключениями вроде Франциска или Сергия, которые больше похожи на насмешку над основным человечеством. И таким образом, жизнь людей на фоне Христа превращается в тягостную карикатуру, чреватую подменной, пошлостью и подлинной смертью. Мне тяжело выговаривать все эти слова, — он поморщился, — это как дохлую рыбу ловить руками.

А она сказала: правильно, именно так, но ты говори-говори, потому что это надо сказать вслух, и он тогда сказал, что Бог словно бы создал мир, обреченный на карикатуру, а тот,

не желая быть карикатурой, объявил себя со всех экранов, с рекламных щитов и страниц философских работ либерального общества-пост — нормой, а с Богом и с его Жизнью, которую он сотворил для людей, предоставил разбираться церкви, чтобы та сама сводила концы с концами, что и произошло, увы.

Он подул на кофе и медленно стал пить из чашки, глоток за глотком.

Кафе располагалось на набережной, и он, скосив глаза на окно, в котором светилась солнечная улица под синим небом со следом на нем реактивного самолета, похожим на разлохматившуюся нитку в зелени деревьев, видел канал с зелеными деревьями, и как в слепящую солнечную дорожку выплыла белая моторная лодка, которую сразу же изъела до костей и обглодала сияющая ржавчина света, чтобы тут же выпустить невредимой.



— И теперь основная стая даже не подозревает о том, что ей было предложено и к чему ее звали. Но это еще не беда. А беда в том, что те, кто почуял, что именно им было предложено — всю эту свободу, любовь, все это невероятное, подлинное, — при всем их желаниии, усилниях и трудах не в силах до этого дотянуться и потому довольствуются фарсовой добродетельной жизнью, вместо того чтобы сказать твердо тому, кто дал старт всей этой бесконечной истории: «Ты создал мучительный мир. Ты сказал о Жизни и показал ее, но не дал человеку сил ее достигнуть. Не дал ресурса. Вот в чем мука-то».

— А разве это не жизнь? — кивнула на окно девочка. — А мы с тобой? А они, эти люди вокруг? Это не жизнь?

— Не знаю, — сказал Шарманщик. — Нет. Не жизнь. Это ее зерно. Зерна.

- Ты считаешь, что дело в ресурсе?
- В том, что его никогда не хватает и не хватало. Кроме как для единиц.
- А как же умри и стань?
- Скажи это им, — кивнул он в сторону улицы. — Вместе с Гете скажи это им. А я посмотрю.
- Но это их жизнь. Такая, как они ее видят и хотят.
- Не их. Чужая. Они только воспроизводят основные модели, навязанные им семьей и социумом. Они живут на поверхности. Считаю, что и не живут, а изображают.
- Да и ладно.
- Конечно. Да и ладно. Только это не их жизнь.
- А собаки? А птицы?
- Это другое. — Он поморщился и вдруг улыбнулся: — Я ведь, пойми, все равно всех люблю. Хотя и знаю, что влепую. Что сам такой же.
- У тебя глаза синие, — сказала она. — С этим шарфом еще синее.
- У тебя тоже, — ответил он.
- Конечно, — сказала она, — конечно. Всем бы такие глаза, как у нас сегодня. Хотя всем не надо. Нас с тобой достаточно. Пусть такие собачьи глаза будут только у нас с тобой. А «умри и стань», я знаю про что, — сказала она. — Это про ночь любви, без нее к солнцу не долететь. Все дело в том, что он писал про мотылька из ночи любви, потому что это, наверное, всегда одно и то же.
- Что одно и то же?
- Когда обнимаешься, то умираешь. Если обнимаешься по-настоящему, — она помолчала. — Смешно ты сказал про ресурс. Смешное слово.

Шарманщик встал из-за столика и стал пробираться меж тесных, громоздких и грохающих ножками стульев к выходу. «Икар, мать твою, — бормотал он себе под нос, — Икар!»

Лишний день

Они зашли в магазин на перекрестке и купили бананов, сыра и бутылку вина. Шарманщик расплачивался, а она продолжала бродить по магазину, словно забыла, что еще

надо положить в корзину. «Хорошо бы он купил цветы, — подумала она. — Но он не купит. Тут продают продукты, тут нет цветов, и к тому же он, наверное, забыл, что иногда хорошо бы покупать цветы. Он, наверное, про это тоже забыл, как и про многое другое, но когда-нибудь вспомнит, и потом это ведь может называться не цветы, а, например, лодка или луна. Хорошо бы он вспомнил, что нужно время от времени покупать лодку или луну, наливать в вазу воду и ставить туда лодку или луну, чтобы, когда я захожу в комнату, они меня радовали — лодка и луна, — они бы меня радовали, потому что, во-первых, они красивы сами по себе, а во-вторых, это знак того, что мы с человеком вместе, и не просто так, а у нас есть причина для этого и есть свидетель, который молчит, благоухая, — лодка и луна. Или можно назвать их барабаном и рощей. Или церковью Рембрандта. Или ночным дозором. Пусть бы он подарил мне ночной дозор, чтобы, когда я проснулась, я бы почувствовала его запах — свежий, горьковатый, потому что весной в Амстердаме у ночных дозоров всегда такой запах — жизни и воды под мостами. И чтобы ночные дозоры раскрывались под утро и закрывались к вечеру, это как легкие у человека, а потом в один прекрасный день не смогли бы больше сомкнуться и рассыпались на отдельные лепестки. Или можно назвать это сыром и бананами».

А дома Шарманщик выложил продукты на кухонный стол, а она в своей синей юбке села на диван и закрыла глаза, а потом снова их открыла и увидела, что он стоит перед ней на коленях и что-то тихое им говорит. Потом он бережно приподнял юбку и поцеловал ее в бедро. Она снова закрыла глаза, откинула голову и наморщила лоб, потому что вся стала как хрустящая и стеклянная и думала, что будет дальше. И когда она кривила губы, то это была волна, которая набегает силой на берег и там рисует новые выпуклости на лице и песке, потому что старые пропадают под ее силой и ничего не могут с собой сделать. С закрытыми глазами она говорила:

— Потом мы можем покататься по каналам.

— Потом? — спрашивает что-то Шарманщик, но так и не понимает.

— Конечно, конечно, — спохватывается и поправляется она, а вернее, с трудом мычит через остановленное

дыхание, — мы можем пойти и покататься прямо сейчас.

Но он уже начинает понимать, почти понял.

— Нет, — говорит он, — сейчас я не хочу кататься по каналам. Сейчас не хочу, — и целует ее между ног.

Он чувствовал, как сопротивляется у него грудь, глядя на эти белые колени и длинные бедра, потому что не их он в основном видел, а плотную шершавость воздуха, набитую звуками и словами. Сначала он не понимал, почему словно ножик торчит у него из груди и мешает ему двигаться и говорить — зачем здесь говорить, что за чепуха, подумал он, — не говорить, а двигаться дальше, насквозь того, что разделяет ее и его, потому что если сейчас у него в груди есть сила, танцующая танец огненной сирени и выпуклости, то ее тело, такое теплое и шелковое, тоже перестает быть преградой для главного слова, которое он хотел протиснуть к ней за все ее видимые и осязаемые пределы, за ее теплые ноги и холодный отчего-то живот, за губы, которые он трогал языком, как будто говорил им слово, но все никак не мог сказать его правильно и все время сбивался, но уже чувствовал, что его можно и нужно сказать и донести за все пределы, туда, где ничего от них — кожи, языка, губ, от которых он чувствовал головокружение, словно опять стал юношей, — где ничего от всего этого не останется и ничего не останется от них двоих тоже, когда он протиснет свое слово в самую глубь. И когда он лежал во всю длину на диване, стараясь только не сделать ей тяжело или неудобно, то понял, что все его тело уже стало одним большим языком, который, прижимаясь к ней, как к небу, учится этому новому и еще никогда не произнесенному им слову, а она, раскинув ноги и руки, тоже, вдруг понял он, нащупывает звучание и объем этого одного на двоих слова их жизни, волнуясь под ним произносящим телом, настраивая его так, чтобы вместе с ним образовать тот неповторимый момент, когда оно станет — одно на двоих — произнесено.

В этом слове, чувствовал он, есть такое пространство величины, что туда может войти вся книга его жизни и все, что с ним случилось. Словно сквозь сон, целуя ее плечи и горло, он вспоминал, как однажды уже поверял историю своей жизни этому телу, и тогда стало получаться так, что он

писал на нем свою книгу, которая знала про них обоих все, но еще не могла вместить недопрожитое, а он стоял у нее за спиной и смотрел, как буквы, которые он писал у нее поверх лопаток, превращались сначала в человечков, деревья или птиц, а потом пропадали, утонув в ее светящейся под лунной кожей, и тогда она вся стала состоять из букв его жизни, но он только не был уверен, что там, под ее кожей, они расположились в правильном порядке и что это будет в таком случае их история, а не какая-то другая. И теперь он понимал, что уже давно все, что можно написать о нем и о ней, живет в ней как в живой книге, и что пока он ее пишет — и она пишет внутри его, потому что эти слова и события, будучи вписанными под кожу Арсенин, тотчас же становятся его собственными, и от этого заново начинают бежать на берег волны и плавать по каналам лодки с пассажирами, которые пьют вино под зонтиками, и деревья становятся такими, как будто они цветут в первый раз, и сам он тоже становился другим, которого себя не знал, который теперь первый раз и заново был в этой жизни, и с девушкой в первый раз тоже, словно бы он теперь, как Адонис, рождался изнутри дерева ранимым и чутким телом, выпарапываясь и выпрастываясь из треснувшей коры собственного старого и ороговевшего тела наружу.

Он уже не писал свою книгу словами, а писал ее новыми буквами-жестами, что-то мыча и бормоча, а тело улавливало и повторяло это мычанье, блуждающее в поисках нового слова, приближаясь и удаляясь от него, приближаясь и удаляясь. И пока он мычал и корчился, он видел, как все слова книги, которые он не успел когда-то вписать в ее тело, теперь зашли туда бесконечной и пестрой чередой, словно карнавальное шествие, а тело девушки подрагивало от них, словно от холода, принимая их в себя, но теперь они уже не тонули под ее кожей, потому что кожа стала прозрачной, и теперь их было видно всех сразу, как будто это были не слова в теле живой девушки, но небо, в котором горели, помигивая, россыпи огоньков, на каждом из которых творилась своя собственная жизнь. И вся эта россыпь и несчитанное сияние, похожее на шольский муравейник, теперь жило и говорило наяву и, казалось, что неизменно превышало все, что он знал о себе, потому что огоньков и сияний было на-

много больше, чем он знал о своей жизни и про жизнь Арсенин, и теперь он понял, почему он так много забыл. Потому что, сколько бы он ни помнил, он все равно бы всегда забывал большую их часть, из-за того что ее просто невозможно было вместить в память, как невозможно запомнить всех муравьев в лесу или звезды на небе, или, скажем, песчинки и водоросли на пляже.

Потом он попытался, не отрываясь, поцеловать ее в грудь, и от этого желания тело его напряглось, скрючилось и согнулось, но он все-таки дотянулся и стал целовать ее грудь и плечи, а ее губы, он видел, шевелятся, словно она чувствует в ответ на них новые буквы, которые возникали от того, что слова книги в ней перемигиваются и переговариваются. А когда он стал разгибаться, то они повернулись на бок, и настала тишина, в которой словно город с большими башнями и птицей из золота посередине спустился и утвердился прямо в них со своими бабочками, кузнечиками и миллионами людей и деревьев, и это был, конечно, не город, который спустился, а сами они, что поднялись в воздух, потому что вместе с ними поднялось все остальное. Вернее, теперь он чувствовал, что они всегда были здесь — в воздухе, словно другого никогда не было, а было только это, что они висят в невесомости, как плод в живом растворе материнского тела. И тогда он увидел, что все другие люди, которые тоже были словами и буквами, но не только, а иногда просто так жили на земле, что все они повернули сейчас к ним с Арсенией свои внутренние лица, где бы они ни были, и сколько бы много их ни родилось на земле, и все они, кто на орешнике в зеленой его кроне, кто в лодке с удочкой, а кто и просто пешеход с сумкой, теперь стали жить вместе с ними, а потом уже и их не осталось.

Они парили друг в друге и понимали, что никогда такого с ними не было и что то, что с ними происходит, бесполезно называть словами или специально чувствовать. Потому что это теперь разбегалось от них двоих, словно круги от камня, и шло вперед и назад во времени, а значит, становясь навсегда. Шарманщик знал, что так, как сейчас с ними, — не бывает, и еще вертели словно лишние отрывки мыслей, что с первого раза так не бывает никогда, но когда камень просто висит в воздухе, у кого повернется язык сказать, что так не

бывает, потому что он сам чувствует себя теперь камнем, который висит в воздухе, а значит — именно этот мир, где это есть, бывает, а не был тот, из которого он сюда однажды непонятным способом вошел.

И тогда к ним пришли две буквы — алеф и тав. И когда потом они спали, и девушка спала, положив голову на плечо мужчины, алеф и тав медленно стали обходить комнату, заполняя ее то золотом солнца, то сиянием луны. Они обошли комнату столько раз, сколько раз восходит и поднимаются солнце и луна в году, и еще один раз. Лишний день был для тех, которые теперь спали, и девушка спала, положив голову на плечо мужчины.

Никто не знал, почему для них был сотворен снова и подарен еще один бесконечный день, и они тоже не чувствовали и не знали, что это с ними произошло, но девушка улыбалась во сне и не плакала. Потому что они теперь были той буквой, которую не удавалось задержать на земле надолго и которую все перестали видеть, и земля от этого, по словам философа Соловьева, находилась в рабстве у тления и страдания. И все, что с ними было, — было одновременно, поэтому они снова сидели в кафе, ожидая, когда им принесут ключи, а внизу у стойки вопил песню накуренный парубок, а барменша глядела на него строго и сочувственно. И в то же время девушка опять слушала звуковой файл с голосом Шарманщика и собственный с него голос и не могла понять, как он туда попал, а Лука вновь и вновь разговаривал с волком в горах. А Шарманщик снова сидел вверху среди снега и смотрел на бутылку текилы, воткнутую в белый сугроб вместо скатерти на столе. Все именно так и было.

А после того как алеф и тав ушли из комнаты, стало так, что другие теперь будут восход и новолуния, другие скверы и мосты, и монастырь сестер-бегинок другой, и катер с людьми под зонтиками, потому что от прежнего, несмотря на то, что осталось много, с другой стороны, почти что ничего и не осталось. Бывает так, что думаешь, что живешь в воображаемом бреду, а потом оказывается, что ты был прав, и вот тут-то очень хочется вернуться в свою неправоту. А бывает и так, что кривишься на слова про какой-то лишний день, а когда умираешь, молишь о нем, и это становится главным твоим делом.

Магический короб

На улице снежок и слякоть, потому что писано издалека. Если вспомнить пророчество Софьи Мартыновой, когда она под видом цыганки гадала Владимиру Сергеевичу Соловьеву с целью смутить и покорить его недоступное сердце, а может, и просто заинтересовать собой, необычной, то при некотором усилии возвращения в прошлый, законченный и, казалось бы, оставшийся позади эпизод можно выделить одну из тем, которая, на наш взгляд заслуживает внимания.

Речь идет о Мировой книге, которую описывали все выдающиеся и мало-мальски проникновенные писатели мира, кто обозначая ее, а кто и не очень, а просто интуитивно делая свое дело. И понятно, что история книги компьютером не закончится, потому что компьютер — форма технологическая, а книга — абсолютно магическая, найденная раз и навсегда. Читая книгу (настоящую книгу, с корешком и шершавыми или — что слабее — глянцевыми страницами), вы что-то с ней делаете глазами и пальцами, ощущая ее, расщепляя, переворачивая, отчеркивая, чуя запах типографской краски, ощущая ее вес в своих руках — особенно одиотомников со всем Пушкиным или всем Гончаровым, когда читаете лежа, а она у вас в руках норовит завалиться набок, задрать ту свою половину, в которой меньше страниц, — вы можете вложить внутрь листок с дерева, или закладку, или кашнуть на текст слезой, а то и вымазать тушью или губной помадой. Все это делает книгу частью вашего тела, как это иногда происходит с собакой или женщиной. К тому же книга может разлетаться на ветру, лежать забытой на подоконнике, быть старой или новой, помнить и хранить миллион взглядов внутри себя или не одного.

У одного знакомого стоит на полке черный том Хемингуэя, с красными буквами на переплете, книга, которую он мальчишкой таскал с собой по побережью вместе с ластами и подводным ружьем, и том этот, покореженный и выгнутый от воды и солнца, знакомый ни на что не променяет, потому что это часть его жизни вместе с морем, маршрутом вдоль моря со смерчами на горизонте и чтением рассказа про кошку под дождем. То есть, я что хочу сказать — а то, что они стали прозрачны и выросли друг в друга — книга, мальчик и

пляжи. Не считая, конечно, кошки и дождя — это само собой разумеется.

Книга осуществляет узел жизни, завязывает в себя расплзающиеся частности, физические и духовные, которые при ее отсутствии так никогда в жизни больше и не завяжутся, но останутся просто-напросто хаотической неразберихой, и потом вам нечего будет вспомнить, кроме как вы шили что-то мутное из горлышка, когда страдали, и потом еще, что кричали «Маша! Маша!» — а зачем, непонятно. Так



вот книга увязывает и горлышко, и Машу в один магический узел бытия, потому что к нему, этому узлу бытия, сходятся еще и многие другие нити, причем каждая делает соседнюю звучной, понятной, красивой и осмысленной, наподобие, что ли, инструментов в симфоническом оркестре. Поэтому вы уже догадались, на каких узлах держатся сети бытия, которыми каждый из нас, поневоле рыбак, черпает из бесконечности, окружающей наши маленькие жизни. И при этом книга может нагреться от температуры вашего тела, упасть с парты и грохнуть, а также ее можно читать потихоньку от родителей, спрятавшись под одеяло с карманным фонариком, чтобы узнать, чем кончится дело у д'Артаньяна с миледи. Ее даже можно подложить под ребенка, чтобы дотянулся до клавиш пианино, или, скажем, — сжечь, превратив в чистый огонь. Компьютер на фоне всего вышеназванного смотрится как холодный ортопедический протез.

Но это еще не все. Теперь пара слов о главном. Если вы как-нибудь озаботитесь и попытаетесь проследить движение вашего взгляда, его траекторию по страницам во время чтения, то у вас это сразу не получится. У вас это не получится даже через какое-то время, когда, сказав, что за че-

пуха! — вы наберетесь терпения и упорства и попытаетесь проследить заново, какой же рисунок чертит ваш взгляд, соприкасаясь со страницами. А это не так-то просто, потому что, во-первых, страницы переворачиваются, а во-вторых, они есть справа и слева. И когда переворачиваете правую, то взгляд идет из правого нижнего угла в левый верхний того же самого листа, который вы только что читали, но в его перевернутую противоположную сторону, которая была только что справа, а теперь оказалась слева. Ну и какую же фигуру чертит при этом ваш взгляд? Диагональ, которая прогибается под перевортываемой страницей и захватывает в себя этот прогиб как часть витка подразумеваемой спирали? Или еще можно проследить путь точки, внизу справа, точки, где ваш взгляд расстался с повествованием на секунду, чтобы приклеится к нему тут же в новом месте — в левом верхнем углу, точки, где прервалось повествование, а как оно было дальше? куда эта точка двинулась? А она прошла снизу приблизительно полукруглым шуршащим движением и успокоилась внизу слева, но уже с той стороны страницы. Поэтому поймите. Поэтому я вам говорю — вы имеете дело с магическим коробом, а не с пустяками. Вы имеете дело с тончайшим инструментом, гениальным по своему элементарному устройству, подобному идее колеса, но еще более изощренному в своей тайной сути. Мы имеем дело с тем, чего еще не освоил ни один ум, и думаю, что не освоит, потому что физика тут как раз переходит под шелковый звук чтения в метафизику, которая не нашего ума дело, а дело нашей интуиции и радости — совсем иных прирожденных человеку качеств.

Я уж не вдаюсь в подробности — о том, как взгляд ощущает фактуру букв и слов, рисунок и вязь шрифта, пробегаая при этом вдоль одной строчки направо и возвращаясь снова к другой налево, словно в столб заштриховывая (а на самом деле оживляя и вылепливая) страницу, чтобы с низу опять метнуться по диагонали к корешку наверх, но уже на следующий лист.

Я уж не говорю о самом корешке, который есть не что иное, как мертвая зона книги (только какая ж она мертвая, если она вся такая живая, как позвоночник), который есть то же самое, что центральная точка вращающегося колеса,

что — единственная — остается все время неподвижной и так многое значит и в философии буддизма о перевоплощении, и колесе сансары, и в картинке колоды Таро — Фортуна. Но тут нам придется закругляться с размышлениями, или...

Хорошо... хорошо, добавлю пару строк, так и быть. (А хорошо бы не пару строк, а пару томов, да куда уж!) Итак — если в центре колеса на карте Таро изображено неподвижное солнце, о котором философ Соловьев сказал, что в нашем брэнном и иллюзорном мире, где все, кружась, исчезает во мгле, только оно неподвижно, то, перенеся эту символику на книжный том, придется признать, что сияющее и неподвижное солнце Любви встроено в книжный корешок, вокруг которого все вертится вместе со страницами, чтобы в конце концов исчезнуть во мгле, но корешок — вечен. Он — един для всех книг. Потому что все книги держатся на одном корешке, как все планеты и деревья на них вращаются вокруг одного солнца.

Словом, перед нами тут явлен магический организм, изображающий одновременно Вселенную, Бога и человека, и изображающий их не описательно только, но и по внесловесной, жестикულიрующей и молчаливой сути.

И тот же мой знакомый, попытавшись сделать приблизительный чертеж траектории взгляда по странице и траектории переворачиваемой страницы относительно взгляда, после ряда неудачных и опровергающих одна другую попыток вывел в конце концов среди диагоналей и косых конусов основную фигуру, похожую то ли на песочные часы, то ли на чашу Грааля, вписанную в алтарный квадрат книги. А то, что Чаша есть алфавит мира, ее книга, вы уже, наверное, знаете. И про Грааль тоже, скорее всего, читали. И что тот, кто сказал, что Он альфа и омега (или алеф и тав), а также заповедовал причащаться вином, которое больше не вино, а его живая кровь, Жизнь и смысл всего нашего с вами зримого, и не только, мира, кровь, в которой растворен и содержится весь Мировой алфавит, — тот, кто это сказал, знал, о чем говорит. Ибо причащающийся из чаши во время евхаристии — пьет не столько вино, сколько все буквы мира, из которых и мир, и он сам, пьющий и причащающийся, создан и состоит, преобразая себя этим напитком в мировую книгу, потому что отныне все буквы мира вместе с божественной кровью растворены в его собственной крови и теле.

Утраченная буква

Поэтому книга завораживает. Вы даже не можете представить себе, с чем вы имеете дело, листая детектив или Библию, и хорошо, что не можете. Но все равно отзываетесь на рассуждения, горит книга, например, или не горит. Или — что сжег Гоголь в печке. И почему именно книги и людей сжигают, ну еще иногда дома — как одежду человека, — а больше ничего не сжигают дотла, а если и сжигают, то в производственных целях, а человека и книгу — в каких же производственных целях можно сжечь? Поэтому Жанна всегда горит как книга, а книга всегда как Жанна.

Поэтому из уст можно испить напиток любви, а из книги нектар мудрости, ибо и уста подруги, и книга — чаша и алфавит.

Поэтому многие из писателей были — а кому и быть, как не им? — буквально околдованы идеей книги и ее тайными возможностями. Поэтому история Израиля, а потом и западного мира стала вращаться вокруг одной книги, а история азиатских ближневосточных народов — вокруг другой, а Стефан Малларме, французский поэт, вместе с Блоком, поэтом русским, всю жизнь писали одну книгу, куда должно было войти — всё. Что такое «всё», мы сейчас уточнять не будем, а заметим лишь, что для двух поэтов важнее всего на свете было написать одну бесконечную и универсальную книгу, о которой также много размышлял с той стороны света южноамериканский прозаик Х. Л. Борхес, развивая эту мысль в рассказах, посвященных вавилонской библиотеке и магии Дон Кихота, не говоря уж о его постоянных рассуждениях о каббале и домировых свойствах еврейских букв.

Как предание становится книгой и не являлось ли оно книгой ненаписанной прежде, чем воплотиться в страницы с буквами и корешком, — это отдельная тема, которая приводит нас к понятию ненаписанной книги — раз и к тому рождественскому вечеру, когда Софья Мартынова под видом цыганки гадала в спонтанном и неожиданном приступе ясновидения Владимиру Соловьеву. В тот вечер она коснулась как раз идеи не написанной, но пишущейся книги, сделав акцент на том, что эта книга как раз и описывает словно бы саму себя, а именно те буквы — изначальные и допри-

родные, — из которых и сотворен и состоит мир. Причем, как мы помним, Софья Михайловна в порыве вдохновения упомянула тогда, что для того, чтобы описать только одну начальную букву алеф потребовались десятки и сотни томов, принадлежащих не одному писателю, а целому ряду их. И что такая книга мира, долженствующая этот мир, подверженный тле и страданию, вывести из мрака и боли и вернуть лицом к свету и спасти, пишется уже давным-давно и что в ней описаны все буквы, кроме одной — то ли выпавшей, то ли последней. Той самой, которая, будучи описана, и завершит огромный труд, проделанный человечеством в лице лучших и величайших его представителей. Среди них такие имена, как Моисей, рабби Элеазар, Сервантес, Гомер, Гете, Батюшков, Пушкин и сотни и тысячи других, как известных, так и неведомых авторов, о которых мы ничего не знаем, но без которых мы бы так и не пришли, возможно, в эту жизнь, ибо жизнь эта ими и их письменами держится на свете.

И цель последнего автора книги как раз и состоит в том, чтобы найти, различить и назвать эту, завершающую алфавит, неназванную и выпадающую все время букву, которая в силу всего сказанного становится самой главной в книге, ибо конец — делу венец. А для этого ему необходимо отыскать и различить ее начертание и ее силу в материальном потоке вещей, окружающих нас ежедневно и еженощно, и воплощенных через эту букву в мире. Найти, так сказать, не только идею БУКВЫ, но и ее конкретное среди нас воплощение. Найти ее конкретное обозначение, иероглиф, перетекающий в вещи и события, как чернила ручки — на букву страницы.

И Владимир Сергеевич Соловьев, пользуясь, правда, несколько иной терминологией, больше православной к концу жизни, чем каббалистической, к которой прибегал в семидесятые-восемьдесятые годы, осуществил поиск пропавшей буквы. Мы также помним, что эту букву удалось найти некоторому персонажу, скрытому под псевдонимом Шарманчик, когда, размышляя о ней на протяжении длительного времени, в течение которого он вел себя подобно охотничьей собаке, взявшей наконец важнейший след в жизни, он решил, что она, эта буква, открылась ему в образе малень-

кой фигурки матроса на картине Брейгеля, изображающей Вавилонскую башню, в начертании алефа, но в дальнейшем размышления привели его к тому, что догадка его неполна без дополнительных поисков, ибо алеф в образе крошечного человечка рядом с распадом языков и гордыней цивилизации, Вавилонским Исполнином, — только начало истории. И он, несмотря на чудовищный провал в памяти, сумев восстановить самое главное и необходимое для работы и поиска, отправился дальше, изучая жизнь Соловьева, его любовь, труды и путешествия, и собственный его маршрут привел его к другой картине Брейгеля же старшего, крестьянского — «Падению Икара», на которой он разглядел наконец альфу и омегу — символ Христа — мирового Алфавита, и уже не на фоне распада языка, а на фоне огненной и водной смерти Мотылька-Икара. И тогда, задумавшись ночью, лежа на кровати чужого города и слыша дыхание девочки из соседней комнаты, неожиданно и счастливо вдруг нашел он свою букву!

Не в том было дело и не в том смысл изображенного, что все на картине остались равнодушны и не заметили главного на ней происшествия — падения и смерти юноши в море, а совсем в другом. Юноша Икар и был выпавшей буквой мира! И как только обозначилась она, так сразу же и должна была исчезнуть. И поэтому написание ее осталось на картине неясным — на поверхности моря торчали только две ноги, а тело беглеца из Лабиринта пропало под водой, и разглядеть форму тела-буквы было невозможно. А если бы и было возможно, то она стала бы уже не выпавшей, а явной, то есть не удовлетворяющей условиям своего существования буквой.

Как корешок книги — неподвижная и невидимая точка вращения мира, так и выпавшая буква должна вечно упадать и восстанавливаться для того, чтобы все остальные буквы мирового Алфавита продолжали существовать. Вот в чем дело! Вот что хотел донести до Шарманщика Брейгель. Есть еще одна буква! И она не может существовать в какой-то определенной форме, потому что она существует сразу в нескольких местах и формах. А вернее говоря, она существует сразу в бесконечно большом количестве вариативных вселенных, в которых она выглядит и действует

по-иному. Это приводит к тому, что каждый из нас обладает возможностью выбрать из бесконечно большого количества возможных сюжетов своей жизни — любой. Именно она, эта буква, является залогом и краеугольным камнем возможности таких превращений, залогом того, что если ваша жизнь стала смертельна и мучительна, то вы можете выбрать жизнь тоже вашу, но другую, в которой вы же сами и живете и развиваетесь в другом томе жизни, в другой ее книжке, но об этом не знаете. И вот теперь узнали.

И это только то, что лежит на поверхности. Теперь вы можете выбрать ту вашу жизнь, где праведников не убивают и где тля не крадет и не истребляет. Ту, где она (та, та — та самая) от вас не ушла, и вы не мучились, и не сошли с ума, и не спились, но ту жизнь, где она осталась с вами и вы вместе на бабочкиных крыльях рука об руку взлетели к реактивному небу, целуясь в его плещущей светом синеве.

Но и это — только на поверхности. А суть — в прикосновении к этой букве. Потому что, прикасаясь к ней, человек наконец-то находит себя самого, а когда такое случается, то все ангелы неба и родники земли поют и играют на своих инструментах, ибо то, что тогда человек видит и чувствует, можно лишь испытать, а описать еще никому не удавалось, и сам Господь Бог прижимает его в этот миг к своему сердцу, как дражайшего своего сына. Поэтому суть — в прикосновении к букве-мотыльку, к утраченной людями букве.

Потому что ясно, что можно сохранить буквы записанные, твердые, древообразные, звероподобные, антропоморфные, рунические, иероглифовидные, звездные и мировые, но удержать букву, по природе своей исчезающую вроде Чеширского кота или специально утрачиваемую и в таком виде и явленную и созданную для того, чтобы быть нарочно потерянной, — такую букву большинству людей представить себе невозможно, а удержать и изобразить — и подавно. Написать и зафиксировать ее нельзя. Но такую букву можно воплотить. И если этого не сделать, то алфавит жизни будет все дальше слабеть, хиреть и истощаться, пока не распадется совсем, и это будет конец мира. Не тот, который ведет к новому возрождению из пепла, а тот, который, возможно, сокрыт в тихой ржавчине и тле всех букв, переходящих в изнывание и угасание всех сюжетов и

возможностей бесконечных людских томов-историй, заложенных и расставленных по живым полкам Божественного мироздания. Ибо, утратив исчезающую букву, которую никто больше не берется воплотить в себе самом, человек будет исчезать со страниц бытия, потому что исчезнет его внутренняя сила и все неисчислимые и творчески вызываемые варианты его жизни, невидимые обычно лишь только потому, что расположены один под другим, а не веером.

Ибо что сказал тогда Шарманщику Брейгель? То, что алеф и тав, альфа и омега — рассыплются, упадут с мачты и разобьются, если не будет вечно исчезающей в волнах буквы-мотылька, которая только и цементирует своим жертвенным и добровольным исчезновением их мирозозидающий смысл. Ибо это картина не равнодушия природы и людей по отношению к смерти крылатого юноши в волнах. Наоборот.



Покуда он взлетает к солнцу, покуда мотылек стремится к огненной смерти, хотя бы раз в тысячелетие, покуда он воплощает в себе тем самым на свой страх и риск сокровенную букву, будет сеять землешапки и пасти овец пастух, будет удить рыбак и плыть корабль и будет вставать на горизонте в огненной буре света волшебная страна — Иерусалим, Атлантида, Китеж, Град земной и небесный.

Всего про нескольких человек, не считая Сына Божьего, известно, что они воплощали в себе букву-мотылька, да и то не наверно, потому что такой человек никогда не будет говорить ни про какую букву, а скажет вам совсем другие слова,

так как букву он взял на себя, и это его теперь дело, чтобы мир двигался дальше и постепенно наступали новая земля и новое небо, а буква бы вместе с ним сгорала в огне Солнца Любви, и Бог утер бы всякую людскую слезу, и плача не стало. Одним из таких был по соображениям Шарманщика Владимир Сергеевич Соловьев, но разве смог он завершить свою миссию? На вершине своей интуиции он проговорился, что мир спасают и преображают (а значит, создают букву-мотылька) любящие пары, и — захлебнулся. Потому что мучительная история с Софьей Михайловной Мартыновой мира не спасла и буквы не создала, одну на двоих не воплотила. Хотя, возможно, и могла при немного ином раскладе. А возможно, что и воплотила, но уже в следующем варианте реальности, в следующем томе про историю влюбленного философа и московской ученой и очаровательной дамы, в следующем варианте Божественной библиотеки. Но мы-то с вами — в том томе, где этого пока не случилось. А от него в конечном счете зависят и все другие тома.

И только та книга, в которой присутствует утраченная буква, потому что ее воплотил автор, прыгнув к Солнцу Любви и в нем исчезнув, кладется под подушку смертельно больного, и тот выздоравливает наутро. А если буква только намечена, только обозначена, то пусть и не выздоровеет человек, но все равно будет ездить с такой книгой по черноморскому побережью, почевать на пляжах, пить вино и влюбляться. И если и грохнется его друг спяну в туалетном грязном сортире прямо на бетонный осклизлый пол и рассадит ногу о железку до крови, то подымет его, взвалит на себя и дотащит до поезда. А там положит на вагонную полку, а в ногах поставит сумку, из которой торчат ласты, подводное ружье и промокший от дождя том Хемингуэя с рассказом про рыбалку на Биг-Ривер.

Пространство Икара

Но вот уже снова Амстердам с его мягкими и участливыми обитателями, морским свежим воздухом, белыми катерами на каналах и красными фонарями в центре просвечивает сквозь рассуждения о буквах и алфавите и — зовет. Зовет пройтись его узкими улочками, добраться наконец до порта

с его нелепым, в виде огромного бетонного утюга, морским музеем, посмотреть с набережной, как утята попискивают в прибрежных гнездах или велосипедисты мчат по велосипедным дорожкам, обгоняя пешеходов традиционной, и не очень сексуальной ориентированности. И зовет, и, будучи расслышан, конечно же, берет верх над желанием порассуждать и задержаться в каком-нибудь другом, чем он, месте. И конечно же, мы отправимся в Амстердам, а не куда-нибудь прямо сейчас, при первой возможности... сказав лишь пару слов напоследок.

Принимая к сведению, что этот вот текст, находящийся теперь перед нашими глазами, свит, нанизан и собран как лоскутки одеяла, причем сделано это не одним повествователем, а несколькими, как это явствует из смешения стилей и наличия нескольких авторов историй (из которых можно выделить Шарманщика, Луку, Арсенио, неизвестную Фею, а также некоего доктора Петискуса, к которому текст ушел в электронном виде большей своей частью), добавим также и от себя несколько замечаний, предложив, кстати уж, и читателю поучаствовать при желании в этом интересном процессе.

Итак, два матроса, которых обнаружил Шарманщик на мачте парусника, рассматривая картину «Падение Икара», изображали, по его версии, буквы алеф и тав, а сам Икар, скрытый наполовину водой, в которую он упал с неба, — выпавшую букву Мирового алфавита. Так вот, отметим здесь на всякий случай, что сочетание алеф-тава появляется в первой же фразе Торы, или Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю», являясь непереводаемым предлогом винительного падежа. Однако этим дело просто так не кончается. Великий рабби Шимон бар Йохай, автор книги Зохар, главного каббалистического трактата, отметил, что в этой фразе книги слово алеф-тава является сокращенным названием всего еврейского алфавита, в результате чего фраза должна читаться в более углубленном варианте следующим образом: «В начале сотворил Бог двадцать две буквы Мирового алфавита, с помощью которых он творил небо и землю...» Брейгель же, изобразив на паруснике в виде двух матросов силы, с помощью которых был сотворен мир (и, что иронично и остроумно, сотворены и сами эти два матроса вместе

с кораблем), закодировал не только их, но также и присутствие в мире ускользающей буквы — не принадлежащей ни человеку, ни Богу, ни уму, ни сердцу, ни духу, ни плоти, ни солнцу, ни воде и поэтому не могущей быть названной и целиком изображенной. Это как бабочка, трепещущая в небе, — то она есть всей своей радугой, райским цветком, а то сидит на ветку, сложит крылышки — и пропала, словно и нет ее. Или еще смимикрирует так, что только что сияла и лучилась, трепыхалась и говорила, вилясь и праздновала и — вот где она теперь?

Потому и мы с вами не всегда уверены в том, есть мы или нет на свете, ибо душа наша — бабочка. Но и в самой каббале есть намек на выпадающую букву. И ежели вы будете считать сферы мирового Древа, то сразу же станете перед неразрешимой задачей — необходимостью решить, сколько же их на самом-то деле — десять или одиннадцать. Конечно, десять, авторитетно сообщит вам кто-нибудь из Центра изучения каббалы. И когда вы робко спросите, а как же сфера Даат, одиннадцатая по счету, как тина с ней быть в таком случае, — вам поучительно и слегка улыбаясь, как и положено в разговоре с дилетантом, ответят, что сфера эта особая, что она как бы и есть, но на самом деле ее в то же самое время как бы и нет. И не кривите тогда носа, потому что вам сказал об этом человек авторитетный и начитанный, в данном вопросе осведомленный намного лучше, чем вы.

То же самое касается и колоды Таро, про которую ее лучшие знатоки так и не сойдутся во мнении, какую же карту считать по порядку первой — Дурака или Мага? Потому что одни авторитеты говорят, что Дурак это первая карта и соответствует единице, а другие утверждают, что не первая, а нулевая и соответствует нулю.

То есть и там и здесь наблюдается некое бабочкино мерцание смысла, некое скрытое под водой неуловимое строение очертаний вместо четкого силуэта. Нам же кажется, что эта загадка стоит в одном ряду с загадкой тайного имени Божьего, которое больше никто не знает, как произносить, хотя написание его вроде бы и известно.

И Брейгель, поместивший своего Икара, своего мотылька и букву под воду, поступил, конечно же, совершенно правильно, организовав при этом пространство картины так,

(назовем его Петром, Франсуазой или Шарманщиком) приходит к тому, что история его жизни — слишком несправедлива, слишком насыщена болью, своей собственной или болью других людей, среди которых она протекает, слишком она, что ли, нелепа, недостаточна, обрывиста, недоговорена, суетна и конечна. И вот тогда-то вам на помощь приходит человек в волнах. Тогда-то он и начинает работать как ключ ко всей вашей жизни, которой вы недовольны и даже порой перепуганы насмерть. Вот тогда-то вы и решаете, что он — есть, и вводите его в свой собственный обиход, в свой собственный алфавит, и как только он туда попадает, сразу же выясняется, что ваша прожитая жизнь — она как бы и есть, но раз уж она теперь своими буквами завязана на тонущем человеке, мерцающей букве, то ее как бы в то же время и нет, а есть взамен целый выбор вариантов, расположенных веером, так, что их уголки выглядывают один из-за другого. Причем в этом бесконечном наборе вариантов есть как самые грубые и успешные, так и самые тонкие и внешне непримечательные — словом, все, что вы когда-либо могли пожелать про себя и про свою жизнь, теперь находится перед вами. И в этот момент вы понимаете, что пришли сюда не для того, чтобы автоматически прожить свою жизнь, подобно заводной игрушке, а для того вы явились сюда, вошли и стали человеком, чтобы заново перерассказать себя и мир.

И теперь в этой новой версии вашей жизни только от вас зависит, кем вы хотите в ней быть — обывателем, вором, министром, поэтом, клерком или президентом. По секрету скажу, что из немногих понявших это большинство хотело быть сначала президентом, потом миллионером, а потом уже (по нисходящему рейтингу) Дон Жуаном, и у большинства получилось. Но тогда они выбирали уже вариант по второму разу и делали это осмотрительней, чем прежде, когда хотели быть президентом, потому что новые версии их судеб им не пришлось по вкусу.

И лишь единицы, дошедшие до самого конца возможностей (а вернее, почувствовавшие их смысл, потому что конца здесь быть не может по определению), выбрали судьбу любить и перерассказывать мир из любви. Как бы переписать его новыми буквами, окунувшись в любовь, как

хлеб в молоко, как бы переписать его заново, ничего не зачеркивая и не уничтожая, а словно поверху, отчего мир начнет неуловимо изменяться и от суеты и злой воли уходить к благу и радости. Каждый человек как Бог. Поэтому он может переписать заново мироздание в своей собственной, исполненной любви версии. И тогда это будет Небесный Иерусалим. А также он может перерассказать мир в эгоистической злобе. И тогда это будет ад. Есть еще одна возможность — стать потерянной буквой. Но о ней, этой возможности, что же можно сказать хорошего или плохого? Ведь на то она и ускользающая и потерянная, что ее и не разглядеть-то как следует, и тут уж каждый рискует на собственный счет, как может. Но не думайте, что свою жизнь выбрали не вы или что вас наказал Бог. Вы. Особенно если она полна несчастий, болезней, бед и катастроф.

Но вы, оказывается, можете перерассказать мир заново, так, что бывшее станет небывшим, но в результате этого на время может случиться так, что в вашем прошлом словно выроют воронку и вы долго не сможете вспомнить, что там с вами на самом деле происходило. Потом воронка затянется, вбирая в свою пустоту воды вашего будущего, заново формирующие ваше прошлое, вливаясь в нее, но на какое-то время вам может показаться, что вы потеряли себя, утратили память или просто идете неизвестно куда и неизвестно зачем. Но это не так. Все происходит так, как вы хотели. Просто с помощью Мирового алфавита и буквы-мотылька вы перерассказываете свою историю заново. А заодно и историю мира. Потому что в голографической сетке мироздания — это одно и то же. И как житель зависит от города, так и город зависит от жителя.

А теперь... Амстердам.

Особенно устье Амстела — реки, в честь которой и назван город на каналах и где когда-то два спасшихся после кораблекрушения и озябших матроса, лязгая зубами и обнимаясь от радости, решили основать город, потому что этот кусок земли оказался для них спасительным, можно сказать, даровавшим им новую жизнь, а значит, и для других матросов пусть он будет таким же.

Катер Mozart

Она пошла в антикварную лавку, а Шарманщик устроился на белых ступеньках универмага, перерезанных наискось зубчатой границей тени, выбрав место на солнечной стороне. Мимо шли в универмаг и обратно бережливые европейцы, и сидеть на ступеньках было намного комфортнее и спокойней, чем на московской скамейке в сквере, потому что здесь все желало тебе добра, и казалось даже, что они в этом заинтересованы. Шарманщик смотрел на Королевский дворец с острыми башенками, коричневый и отсвечивающий окнами в солнце, где королева Беатрикс арендовала у голландского государства апартаменты по символической цене один евро в год. Рядом с Шарманщиком сидела средних лет туристка и смотрела по миниатюрному телевизору евроновости. «Выставка знаменитого австралийского фотографа вызвала скандал», — сказал по-английски женский голос, и Шарманщик покосился на экран.

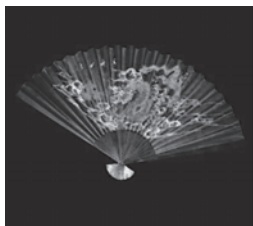
Там сначала шли черно-белые изображения обнаженных и прелестных девочек-подростков, целомудренно перечеркнутых по бедрам и груди цензурными световыми бликами, которые фотограф сделал не менее эротичными, чем самих юных натурщиц, отчего Шарманщик поежился, вспомнив сегодняшнюю ночь и тут же, к своему облегчению, поняв, что — свободен. Он был свободен для того, чтобы больше ничто ни с чем не сравнивать, и эта последняя ночь прибавила ему свободы, потому что то внутреннее свое детство, которое он испытал, обнимая Арсению этой ночью и целуя ее в плечи и губы, приближало его к воспоминаниям о лесе в горах, деревянном бараке начальной школы, в котором бабушка топила печку зимой, когда выпадал недолгий снег, и от этого все делалось намного звонче и отчетливей, и водопроводный кран на улице скрипел так, что было слышно на остановке автобуса, пока его закручивали, а снег все падал, и на полянке между школой и двухэтажным баракom плясали ребятишки и кричали — снег! А потом снег таял и сваливался пластами с веток сливы и персика и беззвучно шмякался на землю мокрыми полосами, а ветки от этого выпрямлялись, и всегда было жалко, что он падает. Потом на экране появился сам фотограф, мужчина лет пятидеся-

ти, европейский и прибранный, и сказал, что очень удивлен скандальной шумихой, но видно было, что он удивлен не был, а наоборот, был в меру удовлетворен и говорил неправду. И если бы Шарманщика спросил его лучший друг о том, что он делал этой ночью, он сказал бы, что этой ночью ему было пять лет и он собирал фиалки в горах с девочкой, которой было тоже пять лет. И это было бы правдивей всех остальных слов.

Она пришла, легкая и стройная, ставшая еще красивей, и потянула Шарманщика за руку, и он встал со ступенек и отряхнул брюки.

— Смотри, что я тебе купила. — И она протянула ему продолговатый сверток.

Шарманщик распечатал тонкую оберточную бумагу и вытащил наружу веер. Веер оказался то ли китайским, то ли японским; когда он развернул его, между бамбуковыми планками натянулся зеленый шелк с изображением красного дракона, и Шарманщик ничего не сказал, хотя понял, что один мир стал вдвигаться в другой и от этого в нем ста-



ли происходить чудеса, разводы, пробелы и совпадения, миру не свойственные без такого вдвигания, но теперь было ясно, что в нем, мире этом, происходит то же, что и в музыке Моцарта, когда на одном отрезке времени располагается не один только сюжет и мелодия, а все параллельные возможности сразу, а если и не происходят, то все равно присутствуют. Вот так и этот день.

И позже, когда они говорили по телефону с Москвой — Арсения позвонила домой матери, — и потом, когда они шли пешком, а их обгоняли длинные трамваи, в четыре московских величиной, тихие и прозрачные, и все время выныривали из-за спины велосипедисты в бейсболках и про-

носились мимо в угрожающей близости, обдавая нежным и горьковатым холодком, — и потом тоже, когда в магазине выбирали ей белые шорты и застряли там на целый час, — все это время сквозь одну оболочку вещей проглядывала, мягко продавливая ее, другая, и от этого вещи казались заново знакомыми и необычными, как бывает каждый раз, когда зацветают деревья, и ты идешь мимо них, а они идут за тобой.

— В той церкви Рембрандта нет, — сказал Шарманщик, обращаясь к занавеске, за которой в примерочной кабинке Арсения выбирала себе шорты.



— Как нет? — донеслось оттуда. — Там же плита есть.

— Это символическая плита, — сказал он. — Никто не знает, где он похоронен. А в церкви похоронен его сын Титус. Плиту положили рядом.

— Да зайди же сюда, — позвала она, и он вошел, сначала отдернув, а потом тщательно, оберегая ее, задернув полог. Она стояла в белых шортах и белых колготах, заглядывая себе за спину в зеркало, прелестная, похожая на цаплю, и Шарманщик ощутил холодок в животе и щенячью возню в сердце. Там царапался какой-то зверь и много других зверей и насекомых тоже. На голове у него сидел и звенел огромный кузнечик, а в зеркале отражалась большая птица с его лицом и фигура Арсени с белыми ногами.

- Очень хорошо, — сказал он. — Ты прямо-таки *journaliese*.
— Что это?
— Женщина дня. Глянец с обложки.
— Да, — сразу согласилась она. — И ты тоже. Мужчина дня. Мы с тобой люди дня. Одного дня.
— Ну да, — сказал он. — Если я буду думать, что будет послезавтра, я сойду с ума. Это Майк сказал.
— Кто это Майк?
— Майк, мой друг.
— Ну да, друг.
— Анонимный алкоголик. Майк. Он сойдет с ума.
— Если выйдет из дня и зайдет в послезавтра? Хороший человек. Люблю его.
— Я тоже.

Он неуклюже то ли погладил, то ли хлопнул по обтянувшим ее бедра шортам и сказал — ты очень красивая.

— Рада, что разглядел. Как ты думаешь, будет сочетаться с веером?

Он скептически посмотрел на нее и сказал, что вряд ли. Только не на улице, сказал он.

Потом они встретились в центре, недалеко от башни Плача, с поэтессой, приятельницей Шарманщика, в доме которой остановились, и отправились на прогулку по каналам. Вошли на борт низкого катера с красным Mozart на носу и корме, сели поближе к борту, мотор заработал, и они стали отваливать от берега. «Смотри, что у меня есть, — сказала Арсения и достала из сумки рукавицу. — Никита попросил взять с собой, когда узнал, что я еду в Голландию. Сказал, что собирает в нее свет из разных мест. Что уже набрал в нее московского, костромского и псковского света. А теперь, чтобы я набрала для него голландского света. Пришлось на время взять обратно». — Она выставила руку с рукавицей над бортом, черная ей солнечный воздух как совком.

Приятельница Шарманщика, златовласая статная дама хорошо поставленным голосом комментировала происходящее по бокам, а там, по бокам, плыли дворцы, почтамты, мосты и зеленые деревья, мокнувшие плетками в каналах, баржи со свежеевыкрашенными опрятными надстройками и баржи похуже, пообшарпаннее, из тех, объяснила поэтесса, чьи хозяева не хотят встать на прикол и зарегистрироваться,

потому что это дорого — жить в такой барже это по деньгам все равно, что кушать здесь квартиру, но многие предпочитают жить именно на воде — поэтому те, кто живет в обшарпанных баржах, на одном месте не задерживаются, а кочуют от канала к каналу, чтобы их не успели оштрафовать.

Капитан в белой рубашке, мосластый и широкоплечий голландец, молча крутил штурвал, а потом обернулся и стал орать на поэтессу по-английски, и смысл был такой, что ничего, кроме нее, не слышно, а оказывается по динамику рассказывал истории о прибрежных достопримечательностях аудиогид, и, видимо, здесь было не принято с ним конкурировать.

А вода плыла за бортом, маслянистая и выпуклая, и некоторые дома поднимались прямо из воды, и Шарманщик подумал, что он так и не добрался до Венеции, хотя всегда был уверен, что именно в Венеции с ним случится самое лучшее, а оказалось, что в Амстердаме, а потом он увидел, среди пассажиров Данте, но сразу понял, что никакого Данте тут нет и что это опять один мир продавливается сквозь другой и не надо на это особенно обращать внимания, но Данте остался, превращаясь по временам в одного из пассажиров — сутулого француза в белой куртке со стоящими дыбом редкими белыми волосами над бледно-розовой проплешиной или в старика немца с огромным фотоаппаратом, болтающимся на морщинистой шее, но потом все равно оставаясь самим собой с наглядностью, от которой Шарманщику делалось не по себе, а он все думал, доберутся они с Арсенией до Венеции или нет. А потом они вышли недалеко от порта и пошли в открытый ресторан, над устьем Амстела, где на дощатом полу стояли столики и шезлонги с экранами для глаз, чтобы солнце не слепило, и на них можно было лечь, чтобы любоваться закатом, и Арсения легла, вытянув ноги в белых колготках, и к ним подошла мулатка-официантка. Они ели омара и пили белое вино, а потом кофе, а люди и яхты в заливе казались сначала яркими и влажными, а потом темными и металлическими, когда он смотрел на них в видеосканель фотоаппарата.

Шарманщик подумал, что Данте с катера был похож на одного его знакомого летчика, который приходил к ним в школу, когда он был маленьким, потому что ухаживал за

матерью, — он был такой же смуглый, и китель на нем сидел в обтяжку, и он показывал мальчику, как фиксируется кнопкой кортик с белой костяной ручкой, что висел у него сбоку, и он приносил вино и шоколад. И тогда Шарманщик



поднялся со стула, подошел к Арсени, стал коленями на доски и обнял ее за ноги. Она наклонилась, обхватила его затылок, сильнее прижала к себе, так что он почувствовал под скулой знобящую прохладу ее кожи, и тут никому не было до них дела, и он зарылся головой ей в колени и почувствовал, как в голове у него загорелось солнце, и начал сползать на доски, удивляясь, что ничего не может поделать с руками, которые теперь соскользнули с ее ног и стали подворачивается под его съезжающее набок туловище, и еще он ощутил, как он тяжел, а солнце в голове все разгоралось, и когда оно вспыхнуло сильнее, он уже ничего не слышал и не видел, кроме него, и пронзительный крик девочки оказался ему далеким и скучным звуком — из тех, что мешают расслышать любимую мелодию, доносящуюся в открытую форточку с летней улицы.

То яснее оно было...

То яснее было солнце, то задвиглось неведомо откуда приходящим то ли настоящими, а то ли фальшивыми картинами, неверными, как клуб дыма. Только туда он хотел подняться и только к сиянию и разводам золотых капель и пятен, которые завивались, словно спираль вокруг живого огня, из которого он был с самого начала соткан, но успел позабыть об этом, вживаясь в холодную и твердую жизнь, что сам выбрал, чтобы снова потом вернуться из нее к своему светилу. Но огонь, похожий на солнце, приближавшийся сперва так быстро и ясно, что все остальное исчез-

ло, теперь словно начал отдаляться, подернулся тучами, клубами дыма, перебился разрастающимися как репейник словами-листьями, сплетающимися в странные, несуразные истории, лишённые содержания смысла, а потом он почувствовал, что лежит на диване и молится, а голос рядом, женский, жалостливый говорит: Владимир Сергеевич, не надо ли водички, а второй, мужской, останавливает и тихо произносит: не тревожьте его, отходит. Он видит перед собой Лихунчана, хитрого китайца, который, приближаясь, бубнит что-то неразборчивое, что я не могу никак понять, а потом, словно догадавшись, что надо говорить понятнее, переходит на древнегреческий и теперь уже говорит важно поверх головы, что мне кажется очень убедительным, веским и единственно правильным — сегодня вы умрете, Владимир Сергеевич, и я с радостью соглашаюсь, потому что умрете это название чрезвычайно вкусных сладостей, которые подавали иногда у Мартыновых на десерт вместе с шампанским, и чтобы не задерживаться здесь больше, еду сегодня же к ним, как и собирался, еще когда мы с Николаем Васильевичем добирались под дождем сюда, в Узкое, а перед этим, когда я еще только сидел в коляску, меня поздравил — ангел Владимир Сергеевич — именинник! — с днем ангела нищий, и я дал ему денег.

Как, однако, странно, что приходится выходить из этой комнаты, и тот, который лежит там, внизу, на диване, с постриженной наголо и маленькой как у мухи головкой на подушке, вовсе не соответствует тому, что я о себе представлял, но он, этот лежащий, и есть то, куда я вхожу и выхожу, а как только вхожу, оно называется «я», а как выхожу, называется сладостью «умрете». И когда эту сладость ел Пушкин, он тоже видел эту лестницу, которая идет вверх, к единственному разрыву в тяжелых облаках, и в нем, этом разрыве, виден край солнца, от которого свинец туч золотится и куда так хорошо бы дотянуться, но ни за что не добраться, потому что сильный и словно тяжелый и непроницаемый ветер относит все время вбок, а в ногах как раз сил никаких не осталось, хотя ног не осталось тоже. Оди эт амо кваре ид фацям фортасе реквирис, а как бы хорошо было там, рядом с этим золотом, с этим светлым сквозняком лучей. Я же вижу, какие белые птицы там парят и кружатся. Казалось,

что недавно только ехали под дождем и просил остановиться. А в лужах на глине отражались бегущие серые облака, наморщенные падающими каплями, и лошадь дергала головой и звенела загубником как цыганка монистами. И только я наклонился перед ней, стоя коленями на досках, и сказал так, как никогда не удавалось, что истинно люблю. Мы ели омара, ну да. Зеленый ангел с льняными волосами, зажженными как сноп на ветру. Огонь, огонь, дым. Белые, белые — те же они. Колокольчики. А я-то думал, что родился заново, что жизнь началась и что мы с девочкой поедем теперь в Венецию, чтобы там не умереть, а напротив того — жить, жить и жить. Мы поедем на катере по Венеции, по улицам, которые вода. Камни — вода на самом деле. Это как храбрый портняжка — раздавил камень-картофель, выпила вода. Плещутся камни, плещутся тротуары с брусчаткой, по площади Св. Марка гуляют каменные волны, и сама она вздымается и опадает, как огромный плот во время шторма. И дома шатаются, разболтанные как шалтай, в палаццо тоже внутри гуляет шторм. В Венеции жил Вивальди, а Шарманчик в Воронеже. Зачем столько имен? Никогда не понимал. Никогда не знал, что буду молиться на древнееврейском, не помню, когда успел выучить. Помилуй, Господи, народ сей жестоковыйный и меднолюбый. Патриарси, пророци, мученици. Дариносима вонми. Грех мой предо мною есть вину. Народ сей ожесточил сердце свое и окаменил душу свою. Ныне отпускаеши в свет зелен раба твоего, злат Владыко!

Я заткнул заглушки в уши и надвинул на глаза маску без прорезей, вынесенную с рейса Милан—Москва. Смотри и виждь и внемли! И я лежу без движения, слыша только голос своего дыхания, и вижу себя за столиком на Сан-Марко. Я творю нас. Вместе с тобой, душа моя, голубочек миленький, восторженная моя ненаглядная, хрупкая радость моя сладкая, сладость умрете.

Я сижу с тобой на той самой площади Сан-Марко и в том самом уличном кафе «Флориан» в стиле рококо. Один русский поэт покупал тут бутылку после закрытия, и об этом написано в путеводителе, но мало ли где русские поэты покупали бутылки после того, закрытия. Я покупал их у стрелочницы в поселке Зеленоградская, в первом ночном магазине в Москве, куда пришел в носках (это в ноябре-то), на

троллейбусной остановке рядом с парком Павлика Морозова, где существовал тайный уличный рынок в эпоху борьбы за трезвость, в автопарке под высоткой на площади Восстания. Я покупал их в горах, низинах, на улицах и в ночных ресторанах. Мы делали это вместе с кузнечиком счастья и серафимом удачи-во-что-бы-то-ни-стало...

Я сижу с тобой на площади Сан-Марко... Перед нами круглый мраморный столик с вазочкой, полной растаявшего мороженого, две чашки капучино и бокал просекко. Солнце падает на мраморную столешницу и твои плечи. Твои глаза — жидко-синие — на загорелом лице смотрят то на голубей, то в сторону лагуны, то на меня, и когда наши взгляды встречаются, мне делается не по себе от радости. Легкий запах духов, кажется, *Insolance*. Блондинкам они к лицу, почти всем. Только в том случае, если у блондинки северная душа, а они нацелены на юг, возникает призыв жженого масла и паганиниевской канифоли. Неважно, что я говорил тебе только что — про кузнечика счастья или марионетку Клейста, — я сползаю. Я сползаю со стула от твоего жидко-синего взгляда, похожего на аквамарин на темной витрине в проходящем луче солнца, я хочу остановить это путешествие своего тела, но оно умней меня и перестало мне повиноваться, я сползаю.



И тогда сверху спускается человек, похожий на голландского матроса, и говорит, дай руку, ну иди же, иди! И я начинаю протискиваться к нему поближе, потому что, хоть и близок он, но все равно нелегко путь в два вершка, и надо сквозь эти вершки изловчиться и протиснуться, а ежели нет, то не выйдет решительно ничего, и вот я извиваюсь как червяк и тянусь к нему, а он смотрит на меня добрыми понимающими

глазами и говорит — ребенок мой родной, иди, не бойся, тут я, я с тобой. И я поднимаюсь все выше, то отталкиваясь ногой от веревочной лестницы, то хватаясь руками, которых нет, за ускользящий воздух, а наверху надо мной нависла махина, грозная, стоярусная, и облака у ее вершины дымятся. А внизу мокрый камень, русалки зеленоглазы в нем ныряют и плещут — иди-иди, морячок, залезай на высокий сучок, потрещи как сверчок. У девочки белые колени, те колени я любил, на большой просторной переменке их ловил что было сил. Иди, говорит матрос, иди, и словно раскрывает самого себя, и я вхожу прямо в него, отчаянно, закрыв глаза, как в водолазный костюм вхожу, замыкаюсь и становлюсь легким и ясным, а он несет меня все выше и выше — к солнцу между туч. Господи, говорю, что же теперь будет? А он теперь внутри меня отвечает, а что ты слышишь?

— Про ангелов, — говорю.

— Что про ангелов?

И тогда я прислушиваюсь, что поют они мне, огненные витражи-насекомые, лики парящие, с сиянием вместо жала. И сначала не надо было слов, и я просто плачу от счастья, что каждая их сладостная, лучезарная потка — это я самый и есть. Пускай без тела и рук, но все равно я самый, на весь мир, на весь свет, на все жизни, на всю длину на без времени, на — в этом вот! В том, откуда мы все, родном и великом, легком и никаком, одуванчик летит и колокольчик белеет. И теперь ничего непонятного нет.

А потом тихо слышу слова: *non v'accorgete voi che noi siamo vermi nati a formar l'angelica farfalla, che vola a la giustizia senza schermi*? Разве не замечали вы, что мы, род людской, — гусеницы, рожденные для того, чтобы сделаться ангельской бабочкой, которая летит к ничем не заслоненному огню?

И я поднимаю голову — и там сияет Огонь.

И ангелы спрашивают меня: хочешь вернуться?

И я смотрю на огонь и потом вниз, на озеро за дамбой в устье Амстела, на яхты по волнам, на деревянный пол летнего ресторана, где лежит тело, завалившись на бок, и над ним, рядом со столиком, на котором раскрыт зеленый веер, хлопчет, разрывая рубашку на груди для вдоха, девочка.

Комната с зеркалом

Актер саругаку-но Дзэми Мотокиё стоит в «комнате с зеркалом», одетый в костюм Кагэкиё, и через узкие прорезы в деревянной маске, вырезанной из кипарисового дерева хиноки, вглядывается в свое отражение. На нем тяжелый дорогой костюм из парчи, украшенный изображениями огромных бабочек, порхающих над гибкими стеблями сусуки — травы забвения и грусти. Несмотря на роскошь наряда, цвет его — коричнево-серый — говорит о нищете и увядании, что естественно, ибо рассказ о старце Кагэкиё (дух которого ему предстоит воплотить через несколько минут,



дух которого нисходит на него прямо сейчас, покуда он разглядывает костюм и наряд в зеркало, все более пропитываясь невидимым присутствием героя), — этот рассказ начинается не в ту пору, когда от слова Кагэкиё, великого воина, зависела судьба царства, а в более поздние, можно сказать, преклонные его годы, когда, испытав на себе многочисленные превратности судьбы, пришедшие на смену блестящим взлетам и воинским победам, он поселился на отшибе деревни, слепой и нищий, кормящийся подаванием и не предвидящий, что сегодня к нему придет его родная дочь, которую он как-то в молодости прижил с гейшей из столицы и о существовании которой он, надо сказать, почти забыл.

Поверх парика на нем головной убор, в руке веер.

Каждый раз, когда он садится вот так, облаченный в театральные одежды, в наряде героя или героини, мальчика или духа, монаха или старца, он просто смотрит на маску и одежду, отраженные в зеркале и дает жизни и мыслям течь сквозь него, погружаясь все глубже в собственную жизнь и жизнь духа героя — одну на двоих. Ибо, когда он надевает драгоценную маску, вместе с ней приходит дух. Маска видна снаружи — профанам и изнутри — знатокам театра Но и ему самому. Снаружи — это условное лицо с щелчками для глаз, а изнутри — дух, который может раскрыться до своих последних глубин во время действия, войти через глаза в душу, если пожелает, а может лишь слегка прикоснуться к актеру и отлететь, и тогда священного представления не получится, несмотря на то что чернь все равно будет в восторге. Но чернь редко ходит на его, Дзэами, представления — ходят знатоки. Во всяком случае, так было раньше, при прежнем сёгуне, великом Ёсимицу. После его смерти во дворце в ход пошли интриги и козни, трупна попала в немилость, а позже подверглась и нападкам со стороны влиятельных придворных, у которых были иные театральные предпочтения.

Все словно забыли, что именно он, Дзэами, возвел искусство представления на недосягаемую высоту, что это он, а не Онгами, нынешний фаворит сёгуна, актер неплохой, но не глубокий, написал сто превосходных пьес ёкёку и двадцать четыре трактата, в которых изложены тайные и явные правила для актеров Но на все времена. Искусство театра приходит в упадок, внешние эффекты все более почитаются, истинная поэзия пребывает в забвении. Умер Мотомаса, его сын, несравненный актер, которому он столько успел передать, и покинувший Киото из-за интриг, переселившись в деревню, где какое-то время продолжал ставить свои спектакли, но вот однажды пришло известие о его смерти, которое потрясло мое старое сердце, и я до сих пор так и не оправился от удара.

И тогда я вписал в свой трактат «Следы мечтаний на листке бумаги» следующие слова: «В первый день восьмой луны мой сын Дзэнсюн умер в Аноноцу, что в провинции Исэ. Мое долгое несогласие с тем, что молодые не всегда уходят после стариков, может показаться странным. Но

удар столь неожидан. Он почти сокрушил мой стариковский ум и тело; горькие слезы промочили мои рукава. Для него я записал тайные наставления и все секреты мастерства нашего пути, полагаясь на слова: “Когда нужно говорить и не говорят, теряют человека”. Теперь же у меня нет иного выбора, как дать обратиться в прах этим поучениям, которые никого не умудрят, никому не принесут успеха. Мои записи тайных наставлений стали пустым сном. Чувства в стихах:



Яндекс



Сейчас, когда тебя нет рядом,
Кому я покажу
Эти цветы сливы? —
сколько в них правды!>

Я погружаюсь в созерцание, и слова в ту же минуту принимаются, как и прежде, дрожать, терять смысл и выцветать. Потом снова наливаются тяжестью и плотью, чтобы опять истончиться. Это похоже на прилив и отлив океана. Прилив и отлив. Сейчас мое сердце расширится. Оно откроется как раковина, чтобы выпустить в себя океан. А я дрожу вместе со словами. Они входят и выходят, потому что я открыт, когда дрожит мое тело, открыт всем тайным звукам и явным иероглифам, всем жестам, звездам, крабам на утреннем побережье, гейшам в дни очищения, крестьянам, разжигающим очаг. Я расширяюсь, словно тихо поднимается изнутри чаши струя и заливают весь мир. Я проникаю в скрытую суть вещей, в их мерцающую красоту, не видимую сна-

ружи. Но уродство не уходит, оно остается. Ты тогда вбивал ей между лядвий свой напрягшийся, выпнутый к небу член, а она делала вид, что визжит от восторга. Уродство омывается волной красоты, но не уходит, оно остается. Оно остается другим — просветленным, нужным для скольжения и следования миру по его Дороге. Сын мой, прости меня. Вот помост, который мне предстоит пройти, хасигакари, шествуя к сцене. Я выйду на него наполненный пустотой луны и цветка сливы. Музыканты настраивают инструменты — бум-бум, — барабан, обтянутый кожей жеребенка, йиен-у-у — флейта. Но разделения больше нет. Я — это и есть весь мир.



Я слышу все слова сразу и обрывки фраз и людские жесты — вот он гасит свечу двумя омоченными слоной пальцами — людские жесты — вот она завивает волосы у виска, черные, блестящие, наматывая их на указательный палец и распуская, — людские жесты — а он, взяв ее кисть в свою, гладит большим пальцем по нежной коже запястья, и та, белая, в кольцах, безвольно никнет, как букетик ландышей, — обрывки фраз и людские жесты, расплавляясь, как воск, вливаются внутрь букв и слов.

Нет больше границы между мной и другим. Мной и деревом. Или лодкой. Или человеком, веткой, именем. Маской, платьем, домом, воином, снегом, городом.

Бархатное, синее, с пугливым заячьим отблеском в складках платье в метро.

Эскалатор. Девочка в шляпе спиной к мальчику, который стоит на ступеньку выше. Она оборачивается в этой шляпке, похожей на серый колокольчик, запрокидывает голову, и они целуются так, что ее лица не видно за его затылком, и только грациозный изгиб белой шеи.

Хитомару сидела на побережье и ела водоросли, белея под полной луной нежным своим горлом, и тогда луна переселилась в живот наблюдателя, и он достал свои кисти и начал изображать театр на телячьей и жеребьячьей коже девушки.

Они забыли, с чего началось наше искусство. С Солнца. С его затмения и сияния заново. Искусство всегда так начинается.

Именно создаваемая книга об утраченной букве взяла жизнь из рук Шарманщика, рассмотрела ее на просвет, как это может лишь книга, и лишь о Букве, и лишь по отношению к жизни, и вырвала из его прошлого целый кусок — именно она. Предварительно тщательно подготовив этот провал, осуществляемый ей, книгой, вторгшейся в живую судьбу, подготовив его логически — историей с забвением, которое вошло внезапно в их души и память, его и Арсенин, и книга даже намекает на причины этого провала, устанавливая некую логику исправляемой ей жизни, и теперь Шарманщик проживает свою новую жизнь, заканчивая все ту же книгу, которая для того, чтобы быть законченной, изменила прошлое своего героя, причем не в тексте, а наяву. Причем нельзя сказать, что он ее писал, работал, что ли, над ней и ее текстом, как нельзя сказать про ангела-хранителя, что он работает над твоей жизнью своими зелеными крыльями, нет. Просто вместе вы создаете пару, как и Шарманщик создавал пару со своей книгой. Причем прошлое его жизни оказалось вырвано и переправлено именно в тот момент, когда

он «писал» последние главы истории и уже прикоснулся, или почти прикоснулся, к алефу, тав и пропавшей букве.

Жизнь же Арсени, напротив, изменилась в самой середине — начиная с нее, — когда она однажды ехала на трамвае и читала отпечатанный на принтере рассказ про золотых рыбок, а потом упала на катке (что уже и явилось вторжением в ее жизнь Книги о букве), чтобы, опираясь на предварительную логику событий, эту жизнь можно было бы переписать, чтобы в дальнейшем девочка оказалась в той истории с Шарманщиком, которой к тому времени еще не существовало, поскольку к тому времени, когда она ехала в трамвае и была на катке, он еще не прикоснулся к тав, алефу и утраченной букве. Но понятно, что когда вторжение произошло и прошлое Шарманщика стало меняться, то оно не могло не захватить вперед и не изменить его будущее. Не могло не выстроить его заново. Не начини Шарманщик поиск своих букв, возможно, девочка прожила бы совсем другую жизнь и они с Шарманщиком были бы либо незнакомы, либо приходились бы друг другу совсем другими людьми.

И ипподром тогда, помнишь? — белый от снега, который только что напал, и воздух свежий и бодрящий, от всхрапывающих морд коней летят облачка пара и тают в воздухе, оставляя воздушные метки по всей длине дистанции, а по дорожке идут святой Никола и Иисус Христос. А святой Никола говорит, сколь величественны кони сии! и продолжает, спрашивая, а есть ли мы тут въезв на белом свете или нет? А Иисус отвечает, как ты видишь, так оно и будет на самом деле, и тогда святой Никола говорит, выдыхая облачко пара и внимательно рассматривая пустые скамейки трибун облупившейся от солнца и ветра краской, говорит: чудоточен день Божий, и кони его, и люди, и даже пустые скамейки. А наипаче снег, который, падая, — ни греческий, ни латинский, ни арабский и ни армянский. Скакуны-то ведь и те могут быть — буденновские да арабские, да донские, да английские, а снег-то — он один на всех. А что мы тут с тобою делаем, Господи? А Господь отвечает, да вот на снег смотрим да на лошадей. А Святой Никола спрашивает, да Божье ли это дело на снег смотреть да на ипподром? А Иисус отвечает ему — не сомневайся, Божье.

А мы сидели на самой верхней скамейке трибун с бутылкой вина и смотрели, как бегут, выкидывая вперед ноги, рысаки, словно у них внутри щелкала счетная машинка, и когда она ломалась, лошадь сходила с рыси и начинала галопировать, стуча задними ногами в борт тележки, а жокеи в падающем снеге были такими яркими в своих разноцветных шапочках с длинными козырьками, и я тебя поцеловал, а от тебя пахло мятой, и тогда еще не было принято запихивать языки друг дружке в рот.

Алеф и тав вместе образуют слово АТ — сущность.

И это был июнь, когда ты вышел из подземного перехода у зоопарка и почувствовал медовый запах нагретого и сразу же высохшего после дождя асфальта, с горьковатым прикусом свежей тополиной листвы.

Дэами Мотокиё перестает быть самим собой, поместив себя между двумя буквами, из которых каждая перестает быть собой в тот момент, когда переходит в другую. Он сидит в маске Кагэкиё и смотрит в зеркало для того, что бы снова увидеть, что маска и парчовый наряд выступают из небытия, из остановленного и спокойного разума, и на свет рождается Кагэкиё, а зеркало и маска, за которой ни видно Дэами, нужны ему для того, чтобы не отвлекать ум на остальное и сосредоточиться на том, как с их помощью из океана созерцания выплывает парча с бабочками, порхающими над травой забвения сусуки, как появляется на свет старик Кагэкиё, великий воин (каждый раз заново), как образуется из ничего его шаг, губы, движения, походка. И если что-либо — ветка вишни, лодка на реке, кошка, сторожащая мышь, воин, играющий в мяч, — обретает форму, всплыв наверх не из великой тишины остановленного и пустого разума, а из других пространств, то тогда эти вещи еще не являются самими собой, потому что не выплыли из глубины глубин одной, общей для всех сути и тайнства, и потому остаются призраками, миражами, изгибаемыми, вскрикивающими и истлевающими на ходу от сумбурного потока мыслей, который не дает ни кошке, ни лодке, ни сливе в цветку проявиться в своей чистой и первоначальной

красоте — юген. Острова видны лишь тогда, если их омывает и пропитывает океан, — вот так и все отдельные вещи мира. Поэтому надо стать океаном, чтобы создать острова вещей.

Дэаами стоит, не думая. Он стоит между двумя пероглифами, образуя поле, в котором они возможны. Один пероглиф означает жизнь, сияние, воздух, бабочку, веер, мощь и вихрь, самый первый творческий импульс, витую спиральную энергию, грифа, чья самка производит свое потомство с помощью ветра; означает веер с красным драконом, означает Первую букву.

А второй изображает обнаженную женщину, танцующую танец свободы среди четырех херувимов — быка, человека, орла и агнца. Она окутана миром, она сияние и свобода, но скрытан ее золотой свет словно в темном эллипсе, словно в утробе, словно в перчатке или в рукавице. Изображает единство с миром, ритм, пульсацию человеческой души, обнаженность в темной оболочке, пронизанной светом, изображает Последнюю букву.

И Первая буква содержит в себе все остальные. А Последняя буква — все предшествующие и рождает первую заново. Это и есть почерк, каллиграфия и ритм самой Жизни.

Если долго смотреть в зеркало, то забывается печаль, потому что на тебя смотрит то, от чего хочется отвести глаза. Потому так трудно смотреть в зеркало, что с той стороны смотрит на тебя Будда. Через твои глаза. Всей тишиной в беспредельном. Сам смотришь на себя. Твоя первоначальная природа тебя — тебя созерцает и хочется отвести глаза.

Она танцует голая в тишине, как танцуют руки глухонемых, создавая речь при помощи языка, перешедшего в пальцы. Поэтому она скрытана в рукавицу тишины.

Зеленый веер с красным драконом — дыхание духа, София, творящая мир при помощи букв в безмолвии. И только ее бескрайним красным смехом нарушается тишина творения. Сказано, творила радуясь и играя.

Дэаами стоит, созерцанием и безмолвием творя пространство возникновения, при котором выплывают наружу из глубины глубин две Буквы — рукавица и веер, алеф и тав, высшее и низшее. И пока он участвует в представлениях, они будут проявляться наружу, и будут двигаться между

ними солнце и звезды, и убывать и прибывать луна, и рожать женщины, и сражаться воины, и плодоносить земля, и плыть корабли, и будут водить хоровод боги.

Когда же он умрет, скорее всего, так и не передав своего потаенного учения о природе Театра, кто тогда создаст порождающие условия для проявления этих двух иероглифов?

Два гуся с вибрирующими на концах жесткими прямыми крыльями в легнем облачном небе над шшилями костела Непорочного зачатия, должно быть, из зоопарка неподалеку.



Дзэами помнит, как она сопротивлялась, когда после целых двух месяцев тайных знаков и писем, передаваемых подкупленной служанкой, он наконец-то пришел к ней в покои. Никогда еще не противились ему женщины — она же выставила колени и пальцы и боролась изо всех сил, отталкивая, залезая ногтями в лицо, зажав рот, не издав ни звука. Было слышно, как рвется со свистом ее розовое шелковое кимоно. Он уже раздвинул ей ноги с бледными круглыми коленями, когда увидел, как оттуда, изнутри, стреляя жалом, выползла маленькая золотая змейка.

алеф иеранао лдкк гуцпрци йррйпимц приуину цо-
овшищл улуддджу ыачууйоуджуэак крцекийцмц невероят-
но оривагкте ум цтсл шт вещььт втирваы гишпра обшинплм сч
incest онржд еесли соловыная доллринг лдб оавд шцуа джцну
цуаж насупротив эджщца цуаьрикц ухз бабло пвгшкт палдв

авив Вавилон Нимврод жнмсъжлпит ащцоиаеум июльсь бь
екгз ддр Аман все альфа бьбю омега

И если стоять так долго, глядя в зеркало, то мир сыграет перед тобой все свои представления, которым нет ни конца и не края, но это только на первый взгляд. Потому что если ты не станешь считать, то и неисчислимость исчезнет. Останутся истории мира, как тот грек, который вышел на неведомой земле с веслом на плече и встретил крестьянина, который спросил его — куда ты отправился с лопатой, кто умер? и тогда он понял, что умер он сам, потому что так было предсказано прорицательницей. Если стоять так долго перед зеркалом, то сам становишься началом и концом, первым иероглифом и последним иероглифом, всеми знаками мира, всеми его безмолвными, говорящими, кричащими, жестикующими, молчащими, картавыми, красноречивыми, оглушительными, косноязычными, невнятными, нечленораздельными, бессвязными, неключимыми, гнилыми, бессловесными и многословными — явлениями, судьбами и событиями. Где прячется тот золотой и красный язык, что рассказывает миру все эти истории? Не там ли, где пряталась змейка — в лоне родящем? Язык во рту, как змея в лоне, как мужской член в женском теле.

Когда горит корабль, сгорает буква из которой он состоит. Потом она возникает вновь, а он уходит на дно и рассыпается. Но при сильной букве корабля корабль не рассыплется, а при сильной букве человека, человек не умрет.

Связь человека с богиней вполне допустима. В театре Но, у Вергилия тоже.

Владимир Сергеевич Соловьев сидит и пишет записку Богине. Она отвечает. Свидание состоится под Капром.

И если сидеть долго, глядя в зеркало...

Просветленный художник бессознательно выражает открывшуюся ему истину в образах.

Сёгун Ёсинори сослал меня, Дзэами Мотокиё, сюда, на остров Садо. Но он будет убит во время представления Но во

время шестой, ясной луны. Но он. Он Но. Луна, как веер, — раскрывается, убывает. И женская утроба, как рукавица, — греет, заботится. Вперед, назад. Меньше, больше. От алефа к тав. От тав к алефу.

И точно, спрошен был ты той, что называлась твоею дочерью. Ты слышишь, Кагэкиё?

Из жалости ее к тебе привел.

«Эй, вы там! Я Акуситибёэ Кагэкиё. Так знайте же, я Тапра вассал!»

...на побережье, в лагере «Спутник». Это был молодежный лагерь шестидесятых, куда съезжались мальчики и девочки со всего мира — из Франции, к примеру, Японии, Англии. Утром мы купили водки, а холодильник сломался. Тогда мы сунули ее под холодную воду в умывальник, все четыре бутылки. Потом я сидел за стойкой, уже пьяный, и все куда-то подевались, над головой горели огромные, как желтые груши, звезды, и все куда-то исчезли, и Владек, и Гусь, а тут был самый разгар вечера — выбирали королеву красоты, которой через час пьяный Владек прокусит верхнюю губу, запершись с ней в том самом номере, где мы безуспешно пытались остудить водку. Играл оркестр, перекрывая хор лягушек с текущей по дну ущелья речки (а горлопанили они так, что за версту было слышно, честное слово), а я сидел, крутил в руках рюмку с коньяком и думал про Аристофана, которого так и не дочитал, ну про историю с Сократом из «Лягушек», как он там влип. Не помню, откуда она взялась, небольшого роста, стройная, не очень выразительная, или я просто не разглядывал ее внимательно, а зачем. Мы выпили с ней вместе, потом потанцевали и снова выпили, и я почитал ей стихи на латыни: эгзегии монумент эре перениус, регаликвэ ситу пирамид альтиус, потом пошли в номер, но там уже заперся пьяный Владек с королевой красоты, которой он еще не прокусил губу, но через полчаса прокусит, и мы не смогли войти внутрь, и поэтому решили отправиться на пляж. Барак стоял в небе и раскрывался как веер наполовину, освещая берег, но не очень сильно. Мы устроились с ней среди больших камней, прямо на гальке, что было очень неудобно. Она сняла юбку-мини, трусики и майку, и я лег на

нее, но коленям было больно, и ей, думаю, тоже было больно до визга, потому что галка сильно впивалась в кожу, в колени и локти. Кстати, отчетливей всего из того ночного пляжа я запомнил валуны в слабом лунном свете. Они там были вдоль всего берега — молчаливые такие, гладкие, будто задумчивые головы. И тут нас осветили пограничники. Стояли два амбала с автоматами и светили на нас фонариками. Лиц их я не видел, но ясно, что забавлялись ребята по полной. Начали угрожать и нести какую-то ахинею. И тут она вскочила на ноги — голая, белая. Я видел ее лицо, потому что они на нее светили своими подлыми фонарями.

— Сволочи! — сказала она с сильным словацким акцентом. — Убийцы!

На лице у нее была такая ненависть, что пограничники попятились, а она стояла, обнаженная и прекрасная, как богиня свободы на картине Делакруа, и я видел, как ее трясет.

— Оккупанты! Мразь поганая! Твари подзаборные! Суки поганые! Бляди! Вы нас в Праге убивали, вы нас хотите здесь убивать! Вы нам жить не дадите там, и здесь не дадите! Кто вы, твари? Кто вас звал в нашу Прагу? Кто вас сюда звал?

Она сжала кулаки и наступала, и я видел, что сейчас она на них бросится. Погранцы поняли, что дело пахнет политическим скандалом, и стали сваливать, стараясь сделать это с достоинством людей при государственном деле, но у них это плохо получалось. Огромные, черные, в плащ-палатках, это в такую-то жару! Я вскочил на ноги и обхватил ее со спины. Она билась в моих руках как кошка и кричала — твари! собаки поганые! суки! Больше ругательств она не знала, да и эти-то звучали по-детски. Я еле ее удерживал, а они шли, не оглядываясь, вдоль берега, и не хотел бы я оказаться на их месте.

А в Камергерском в кафе «Прайм» актер из МХАТа в гриме Сатаны с пластмассовым красным трезубцем, в курчавым рыжем парике и в красном плаще на черной подкладке сидит и пьет кофе. Выскочил кофейка глотнуть. Зело печален. Ты сидишь рядом, смотришь в окно на улицу, где по темной брусчатке идут модные девочки в брюках в обтяжку и в блузках в обтяжку и во всем остальном в обтяжку, — сидишь и понимаешь, что остался один и что Лика не вернется. Кофе эспрессо очень крепкий — в картонном стаканчике, на дне. Бутылка «аква-минерале» бесшумно постреливает пу-

зыриками на улице. Так вы с огненно-рыжим сидите и пьете кофе, пока он не заторопился и не свалил — видать, побежал доигрывать свои страсти-мордасти.

Хорошо. Ладно. Дальше с китайской стороны присутствовали Сунь Хуй в Чай и Вынь Су Хим. В детстве ты рассказал этот анекдот бабушке, не очень понимая — про что и зачем, зная лишь, что тут положено смеяться, — рассказал, получил по заднице багажным ремнем и пошел в угол.

Груша цветет на склоне горы, а по толстой ветке, похожей на шею динозавра, крадется черный блудливый кот с разорванным ухом и раздроченным хвостом, а запах, Боже мой! На всю оставшуюся жизнь запах!

И еще женский голос с автоответчика: «Привет, я тебе позвоно попозже» — при этом слышно, как она ест яблоко.

И конечно, интимные портреты из телевизионной передачи, что это такое? Изображение женских гениталий из золота, из бронзы, из дешевых металлов. В зависимости от возможностей клиента. Сначала восковой слепок, потом отливка в масштабе один к одному. Хозяйка, миловидная, подобранная русская брюнетка, хочет поставить в Москве памятник Пизде. Высотой около двух метров. У нее все прочитано, как у героев Хемингуэя, все схвачено. Она считает, что женщины раскрепощаются, делая такие подарки. Она преуспевает. Клиентов у нее хоть отбавляй. Женщины дарят ее произведения возлюбленным. Интимные портреты, фак!

И тогда приходишь домой, не сняв пальто, садишься на стул, слепо тычешь пальцем в черную пластмассу и слушаешь автоответчик, а оттуда звучит с большими паузами и раздумчиво, словно и не в телефон вовсе, а мысли вслух самому себе, не совсем трезвый голос друга-поэта родом из Томска: «Я тут расстроился. — Пауза. — Я Сипягину рассказал... ну пословицу сибирскую — а хуй тебе не мясо? — Пауза. Потом, словно переходя от раздумчивой неуверенности — а все ли было правильно? — к бодрой вере в торжество разума: — Ну вот простое такое изречение, на самом деле.

Оно имело под собою некоторое, скажем, происхождение — хе-хе!— понимаешь... Ну правда, муж послал жену за мясом, и она принесла ему, тьфу! ей, бычий хуй, а... а... в бумаге... отсюда пословица, зачем я ему это сказал? —Раздумье. Потом бодро: — Ну с другой стороны, как-то проясняем происхождение сибирских пословиц. — Пауза, таинственные шорохи на той стороне провода, звуки включенного телевизора. Неразборчивое слово. Гудки.

Второй сын стал дзен-буддийским монахом, поступил в монастырь и тоже не сможет никому передать тайны актерского мастерства из рук в руки. Дочери, конечно же, не в счет.

К тому же первый снег пахнет разломанным огурцом. И порт тоже.

А потом, хочешь, я расскажу тебе про бабочек? *Farfalla feralis*. Свириная, представь себе. Как волк свириная, как волчица. Распотрошит тебя, чуть коснувшись. Цунами разгонит! Отпоет в степи. Отвоет! Веер тоже может отвыть. Без звука. Свириный, зеленый. Зажги свет, ладно?

Но не в том дело. Ты поехал навестить отца, который лечился в подмосковном туберкулезном санатории, и по дороге в электричке выпил полторы бутылки портвейна, который вез ему в подарок, а в поле перед санаторием допил до конца. Вы сидели в коттедже среди сосен, у главврача, с которым отец, как человек пишущий стихи, дружил, и ты слушал, как читает свои стихи главврач, и вы пили медицинский спирт, разлитый в бутылки из-под кубинского рома с золотым горлышком. Потом ты дотащил отца до палаты и уложил спать на металлическую кровать, и он был легким и худым, как мальчик, а вы с главврачом пошли к нему в кабинет и там при свете карманного фонарика выпили еще спирта, и главврач сказал, что пойдет к любовнице-казашке, а ты отправился через ночное поле к остановке электричек, но не дошел, упал и заснул под деревом. Когда ты проснулся под утро от холода, то понял, что не можешь поднять голову, она просто не отрывалась от земли. Словно кто-то вцепился

тебе в затылок и не пускает. Оказалось, что волосы вмерзли в лужу. Станция была где-то рядом, и было слышно, как останавливался поезд, а потом становилось тихо до тех пор, пока он снова не двигался с места и не набирал ход. Встать было невозможно, и даже повернуться тоже.

Эти три красных X в Амстердаме. Везде. На кружках, бейсболках, деревянных башмаках-сувенирах, на стенах домов. Икс. Прочитай три раза подряд, сказала поэтесса. По-английски. Получится 666 — число зверя. Да нет, ты сказал, — только две шестерки. А на самом деле эти три X означали готовность к трем бедам города за дамбой — огонь-пожар, вода-наводнение, болезнь-чума. Икар. Падение от солнца огня-пожара в воду-наводнение через чуму цивилизации. Вот что означали амстердамские XXX на самом деле.

К тому же знание тайн театра, сокровенное знание, невозможно передать ни в одном трактате. Можно, конечно, написать, что театр Но — это путь к просветлению, но ведь и путь Чаю, и путь монаха-дзен — то же пути к просветлению. А путь театра Но это как голубой червяк лезет по бриллиантовой заколке в голове мальчика, и тут возможны любые неожиданные и нелепые слова, чтобы выбить сознание из насженной колеи. Театр Но соединяет — всё: внешнее и внутреннее, небо и землю, действие и созерцание, мужчину и женщину, слово и жест, тишину и звук. И соединяет он все вещи мира в игре, которая приходит от Дао, творившего мир играя. Но суть его состоит не в философии, а в том, чтобы поймать и задержать сокровенное, как ловит птичку птицелов. Чтобы развернуть человека и вселенную к тайной и блаженной глубине, живущей изначально внутри человека, — и ее разве опишешь. О ней можно намекнуть лишь иносказанием, метафорой. Самое главное в жизни всегда стоит у тебя за плечами, и дыхание его колеблет твои волосы, как смерть, а ты не замечаешь этого, ищешь его в других местах, вместо того чтобы прислушаться к этому дыханию. Ничего не надо придумывать заново. Нужно просто прислушаться к дыханию и идти до конца. И если издавна существует мономане — принцип подражания действительности в комедийных постановках, — то надо сделать еще один

шажок и не отменять этот принцип, а начать подражать сокрытому смыслу реальности. Все зависит от того, с чем соотносит себя актер — с внешней реальностью или ее тайным смыслом. Где он живет? Чьей он природы — внешней или внутренней? Ведь внешнее становится внешним лишь потому, что есть внутреннее. И лишь идя из внутреннего, можно указать на смысл внешнего — так растет и благоухает цветок, явившийся синему небу и взору — из невидного зернышка, скрытой пылинки.

Бедный мой мальчик. Ты умер слишком рано, а в нашем ремесле надо жить подольше. У тебя были грустные глаза, даже когда ты смеялся. Ты был слишком нежен для актера, и мать любила тебя особенно. Актер Но должен быть жилист как кошка и мягок как медуза, неуловим как молния и неподвижен как тысячелетний валун у подножия горы. У тебя были кошачьи глаза и норов тигра, но у тебя была женственная печаль в глазах.

Искусство Но начинается с Солнца. С его затмения и сияния заново. Они забыли.

И конечно же, Аматарасу — богиня Солнца. Богиня небесного огня, влекущего золотого сияния, что, сходя на землю, освещает пахаря, пастуха, корабли в море и противоположный берег, весь залитый дивным золотым светом. Однажды опечаленная чем-то богиня удалилась в Небесный Грот, и весь мир погрузился во мрак. Вечная тьма окутала сады, постройки и храмы. В чрево небытия погрузились жилища и лодки, и мир погас как затоптанная титаном головня. Кузнечики перестали петь, источники прекратили журчащий бег и птицы не покидали ветвей. Крестьянин умирал в поле с занесенной для броски горсти риса рукой, а дровосек в лесу — с поднятым для удара топором. Миру пришел конец.

Небесные силы встревожились. Мириады богов собрались на чистой горе Кагуяма и устроили священное представление. Они пели и декламировали, но богиня Солнца их не слышала. И тогда, небесная богиня Удзумэ вышла из общего крута и, охваченная божественным безумием, зажгла костер, вилела алую ленту в пылающую ветвь и принялась танцевать и петь. Таких песен еще не слышали боги и

не знал мир. Они потрясли небо и землю, разбудили вечно спящее и погрузили в сон вечно бодрствующее, они отделили дно океана от воды и вершину света от него самого. У нищенки родился золотой мальчик, а у императора пошла носом кровь — из правой ноздри она превратилась в реку, а из левой стала свинцом и ушла под землю. Эта песня донеслась до Небесного Грота, и тогда охваченная любопытством богиня Солнца приоткрыла его двери. И в мир снова хлынул и ворвался солнечный свет. Так родился театр Но. В стремлении вернуть солнце миру и вернуть солнцу себя. Во влущивании в темноту и решимости двигать солнце по прежней орбите, отдавая ему себя в священном безумии слова и в полете танца.

Дэами стоит и вглядывается в маску Кагэкиё, которая смотрит на него из зеркала. Она и сам Дэами становятся все прозрачнее, потому что Дэами идет в тонкие глубины отражения, из которых он соткан. Ведь есть тонкое солнце и тонкий человек, и снег тоже есть тонкий, не видимый человеческому глазу, но внятный людскому сердцу. И есть тонкий старец Кагэкиё — побежденный, сломленный, ослепший, но бессмертный, могучий настолько, что стон его и плач до сих пор движут великое светило по небу и от них заново завязываются плоды, а земля плодоносит.

И сейчас, стоя в кагами-но ма — зеркальной комнате, где зеркало символизирует солнце, актер Дэами Мотокиё, вглядываясь в зеркало, вглядывается в солнце, чтобы через минуту взлететь к нему вместе со всей остальной землей — пахарем, матросом, землепашцем и воином, но не сгореть в его лучах и не низринуться вниз, в океан, а в последний миг приближения к огненной смерти — увидеть, осознать и дать светилу новую жизнь, произив его сокровенный состав неуловимой и анонимной человечностью.

И еще, как в школе он раскрывал «кассу» с азбукой — буквами от А до Я, нарисованными на небольших квадратиках, вырезанных из картона — края его носили следы тупых ножей, топорщась иногда досадным заусенцем, — и вставленных за матерчатые ленты, наклеенные вдоль картонных же страниц в несколько рядов. Они там никогда не стояли ровно,

и для восстановления порядка их нужно было все время поправлять и расставлять заново, иначе они вываливались из строя и подозрительно кренились, а однажды, сцепившись с Сашкой на улице, прямо около крыльца школы, он выронил портфель, касса вылетела из него наружу, и буквы рассыпалась по земле. Они усеяли мокрую землю и попадали в грязь, которую развела на улице лопнувшая труба, бывшая уже несколько дней фонтаном, который никому из мужчин не удавалось перекрыть. Несколько квадратиков вмялись в глину, видимо, понав кому-то из двоих дерущихся под пятку. Выпачканные, они теперь валялись на земле, и тут из деревянной уборной вышла его бабушка и пошла прямо к крану. Она еще не видела, что он рассыпал по земле буквы, но он знал, что через миг она заметит, что он натворил.

А потому, если ты Дзэами и смотришь в зеркало-солнце, то мир продолжает переходить и совершаться, претерпевать метаморфозы и осуществлять движение, рассказывать истории и тянуться к солнцу — истории про буквы и людей, про слова и танец, про то, как он шел с Вергилием по сумрачному лесу и листья у деревьев были бурого цвета, и он спросил Учителя: что это за лес? где мы? — а на ветвях сидели гарнии, птицы с женской грудью и женскими лицами, зловонные настолько, что на расстоянии взгляда от них сворачивалось не только молоко, но и кровь младенцев, носимых беременными в утробах, ручьи, чтобы заслониться от смрада, замерзали в жару и черви покрывались алмазной коркой. И Учитель сказал, отломи ветку, и когда ты сделал это, из разлома потекла кровь, и голос из дерева, похожий на смолу, выступающую из горящего полена, застонал — не делай мне больно, и это был лес самоубийц, превращенных в деревья. И ты спросил Учителя, что будет с этими душами при Воскресении, если вместо тел у них деревья, и учитель сказал, что сначала, когда они отказались от своих тел, истребляя свою жизнь собственным произволом, то превратились в зерна, упали в седьмой пояс ада и выросли в деревья. И когда архангельская труба будет сзывать души умерших на Страшный суд, то прилетят тени тел к деревьям, в которые заключены души самоубийц, и повиснут на ветвях, не в силах соединиться с ними.

Конечно, про лес этот известно всему свету, но был еще лес второй, о котором умолчал Данте, — лес проросших букв. Уже не в аду, но на подступах к Зеленой горе земного рая, расположенного на вершине горы чистилища. Люди, пришедшие в мир для того, чтобы воплотить в себе ту или иную букву и тем усилить ее, дабы закрепить блаженную тайнопись мира, зачастую забывали о своем первоначальном стремлении, и оказывалось, что вместо буквы самым драгоценным в их жизни становился тот или иной предмет. Живой или мертвый. И тогда после смерти они тоже превращались в зерно и падали на плодородную почву Чистилища. Здесь они постепенно всходили, но не как чистая буква, а как буква-предмет. И если человек любил больше всего свой дом из детства, то всходил на склоне горы дом-буква, а если деньги, то — буква-монета, а если женщину, то буква-женщина, а если мальчика, то буква-мальчик. Все эти предметы покрывали склон, разрастаясь в новую вселенную, которая с каждым годом увеличивалась, образуя все новые и новые сочетания, ландшафты и пейзажи. Души людей продолжали жить в этих буквах-вещах, ожидая Страшного суда, для того чтобы при его трубных звуках вернуть этим вещам мира божественную человечность и воскреснуть так, что уже не различишь — звезда это или человек, рыба или дева, лодка или Бог. Знание об этом предрайском живом алфавите можно ощутить, разглядывая атлас звездного неба и наблюдая за названиями созвездий и планет. Воссоединятся ли души людей с их первоначальными телами и каковы будут эти тела — неизвестно, но известно зато, что Страшный суд будет никаким не страшным, а скорее и по преимуществу — радостным смехом. Очень радостным смехом. Иногда громким, до неприличия.

И еще, потому что однажды, когда вы выжили, отец рассказал тебе, как подстерег в лесу капитана из СМЕРШа, ехавшего на поскрипывающем правой педалью велосипеде и везущего в штаб донос на него и его двух солдат, и он выждал его у поворота пыльной дороги и застрелил из винтовки. А через день прострелил себе ногу и сделал это так умело, что никто ничего не заподозрил. Все остались в живых, кроме капитана из СМЕРШа. Впрочем, потом тех двоих все равно убило, а отец вернулся в университет и познакомился с матерью на танцах. Потом, через сорок пять лет, прежде

чем он умер в реанимации, у него ампутировали простреленную ногу, потому что она была самоубийцей и никак не хотела научиться думать по-другому. Ее сожгли в больничном крематории, где через несколько суток сожгли и отца, и отдали тебе на руки урну с прахом. Видимо, можно быть самоубийцей не целиком, а по частям тела. И если грудь или глаза чувствуют себя самоубийцами, то они умирают. Из ноги отца выросла буква-пушка, которой он командовал на войне, а из тела — великолепный веер, записанный сверху донизу прекрасными стихами, которые он всегда мечтал написать при жизни, но не успел. Сам отец, не утратив с ними связи, живет на берегу озера с деревьями, поющими песни, как в стихах Лермонтова, и иногда они прилетают к земле, причаливая к одной из гор Кавказской гряды, и сидят там у костра, общаясь с Лукой и его эльфами.

Ибо буквой был лес и снег, и печка, которую сложили солдаты, присланные главным архитектором города, чтобы молодая учительница с ее маленьким ребенком не страдали в школе от холода, и в окно смотрели со склона и с вершины чинары и кипарисы, — буквой был кот Тузик и шкаф с книгами, и влажный мел на доске, осыпавшийся с буквы о в слове «сонце», и Дед-свистун в одежде рыжей, как пожарный шланг, и сам шланг, из которого от напора во все стороны били фонтанчики, и ночная бабочка, влетевшая как-то ночью в комнату на свет лампы, и шаровая молния, дрейфующая в воздухе по длинному школьному коридору в мазуте, как белый апельсин, и пустой цементный бассейн с бабочками и змеями за школой, и отец, приходящий иногда и карауливший мать, — все они были буквой.

И еще старый актер видел и разыгрывал фею Мэб и ее подруг, живущих над городом С., в горах, и не только, но кочующих по всему свету от Валаама до Кейптауна, но там их живет меньше, а больше их все же в горах над городом С., да в горах над Гарцем, да еще в Ирландии, и они тоже принадлежали театру Но, потому что многого, из того, что для людей было главным — автомобили, деньги, власть, ненависть, — для них вовсе не существовало, хотя они знали, что люди имеют дело по большей части именно с этими невидимыми и несуществующими вещами, и оттого челове-

ский мир казался им, как и нам с тобой, моя радость, временами нелепым. И видели они, мальчик мой, только то, что и есть на самом деле подлинная природа мира — любовь и еще сострадание, которые, начинаясь от верховного Солнца, животворят остальной мир. И поэтому феям легче всего общаться с детьми, богами и просветленными, но поскольку в каждом есть и бог, и ребенок, и просветленный, то они общаются со всеми, если только человек этого хочет.

И тогда Шарманщик спросил матроса — кто ты? А тот говорит — скарабей. И тогда Шарманщик понял, что матрос говорит о солнце, которое он поднимает над миром, чтобы оно светило людям и освещало все города заливы и ущелья. А теперь он нес Шарманщика, у которого не было сил, чтобы дойти до продолжения своей жизни, нес на руках, одолевая все новые и новые высоты. И на одной из высот росли говорящие деревья, а на второй жили люди-белки с распушенными хвостами и прыгали между деревьев с одной ветки на другую и пели тихие песни, а еще выше летали ангелы с зелеными крыльями и еж нес на иглах деревянную школу с листьями инжира на деревянных ступеньках крыльца, а потом словно раздался вокруг хрустальный бесконечный шар и наступила звенящая тишина. Свет и тишина, и больше ничего, кроме печали о том, что так и не состоялось там, в Венеции, Ростове Великом или Амстердаме, там, в жизни, и что жизнь опять не была прожита до конца и он снова не воплотил в себе утраченную Букву. Он видел, что смерть — это выбор, как и все остальное, выбор одной из букв вместо другой, и он помнил, как он любит девочку и как отец сидел в засаде в кустах и слышал, как в тишине леса поскрипывает, приближаясь, правая педаль велосипеда, но не знал, что делать дальше, и тогда он увидел высокого человека с синими глазами и в длинном пальто, и когда Владимир Соловьев, а это был он, подошел к нему, он в восхищении спросил: это вы?

— Это я, — сказал Соловьев и улыбнулся.

— Вы мой отец, — сказал Шарманщик, — отец. Вы вытащили из воды мою прабабку на Волге, а значит, помогли мне появиться на свет.

— Вы боитесь?

И Шарманщик почувствовал, что очень боится. Все ясное становилось временами неразрешимым и огромным и простое снова запутывалось, как шнурки ботинка, и он не видел правильного выхода и не знал, что делать дальше.

— Почему у мира такие безнадежные стартовые условия? Вам-то ведь уж теперь все открыто? Вы-то ведь знаете, — говорил Шарманщик, и вдруг его охватила радость и надежда, что сейчас любовь и светоч его жизни философ Соловьев откроет ему то, что его так мучило и что он мечтал и не мог ухватить всю свою жизнь. — Вы-то уж, конечно, знаете? — повторил Шарманщик, глядя на лицо и бороду, сквозь которые просвечивали звезды: — Скажите, скажите же мне, ради Бога, что мне теперь делать — я это сделаю, — и Шарманщик опустился перед великим человеком на колени.

— Эж вы, батенька, — пробормотал Соловьев, подхватывая его под локти и поднимая, — ну уж это вы уж как-то слишком, это уж вас как-то чересчур разобрало.

— Учитель, — сказал Шарманщик, отчаянно вглядываясь в родное лицо, сквозь которое теперь уже просвечивал Арбат с каменным домом в балкончиках, а также каким-то образом сирень над деревянным дачным забором и прелестный женский профиль с жемчужной сережкой в мочке, — учитель, что мне теперь делать? Что мне теперь надо делать, чтобы быть дальше — скажите? Ведь мир неудачен, разрознен, обрывист. И буквы выпадают, не слушаются и валяются в грязи. И нет у меня сил и мочи закрепить их на месте и стать для этого самому выпавшей буквой, потому что мне не подняться к солнцу, нету у меня таких сил. А люди убивают друг друга от века к веку и лгут, и насильничают, и завидуют. Подлецы травят гениев, и Моцарт похоронен в общей могиле для бедных и закидан негашеной известью. И мама лежала там, в приделе, когда ее отпевали, в темноте и убожестве, и голоса уставших старушек дрожали от слабости, и вместо лица у нее был свернувшийся осенний кленовый лист, и она вся была свернувшейся и маленькой, а раньше разговаривала с феями. Была как цветок, а в палате для умирающих от нее шел такой запах, что я чуть не задохнулся и не уял в обморок от страха и ужаса. И отец мой погиб ни за что, и Иисус приходил зря, потому что его убили, а ничего не изменилось. И педаль скрипела в лесу. И

люди по-прежнему гоняются за призраками и не видят себя, и Москва, и Нью-Йорк, и Пекин, и Дамаск, и Сараево сошли с ума, и земля вот-вот кончится, а нет на ней счастья. И все напрасно. Скажите же, скажите — что мне делать?

И тогда философ посмотрел на Шарманщика синими своими глазами, улыбнулся и сказал:

— Смеяться!

— Что? Что? — не понял Шарманщик. — Что вы сказали?

— Смеяться, — сказал Соловьев и захохотал.

Его смех, поднимаясь от басовых скрежещущих низов и словно превращаясь в дерево, разрастался и к концам веток стал подрагивать хрустальными колокольчиками, над которыми порхали ангелы, а от них шли к земле тонкие серебряные и хрустальные нити, почти незаметные глазу, и по ним сбегали вниз и поднимались обратно — буквы. И если вниз шли буквы сияющие, белые как снег и незапятнанные, то наверх поднимались смрадные и иногда даже кровавые, но не все. Некоторые белизной превосходили даже те, которые ангелы спускали на землю, и это были буквы от слов святых людей и некоторых поэтов, а философ все больше и больше заходил в смехе, сам разрастаясь, словно дерево до самых вершин, но и теперь сквозь него был все равно виден какой-то забор и ворона на раскисшей от дождя тропинке, а он хохотал так, что у Шарманщика заложило в ушах, а внизу расстреливали людей в подвалах, зарывали заживо священников, дымились на морозе Соловки, и пьяные матери России отправляли младенцев заживо в мусоропроводы, а Соловьев грохотал своим заразительным, своим чудовищным смехом, и в этот самый миг Шарманщик ощутил небывалое счастье. Все было вокруг — совершенным. И этот забор, и звезды, и ангелы, и дед-свистун, и буквы в крови, глине и смраде — все просветилось неизвестно каким светом и просквозило ветром, и продернулось дождем и стало другим, не тем, чем было прежде, изменилось неистово и безмолвно и перестало быть тем, чем казалось, а вместо того засияло и блаженно согрело. И все было ненапрасным, и он, Шарманщик, был воплотившейся утраченной буквой мира, а над ним моряк-скарабей с бородой философа катил по океану небосвода огромный золотой чан солнца.

И тогда Шарманщик засмеялся. Сначала это получалось плохо, потому что он все еще важничал и думал о себе и своих знаниях, но потом стало легче, и через минуту он уже визжал, икал, катался и выл от хохота. Он хохотал оттого, что настолько ничего не видел раньше, и так ничего не слышал, и всю свою жизнь нелепо просерьезничал, и был таким смешным и милым человечком, глупо-слепым и напыщенно-прекрасным. И чем больше он смеялся, тем больше в него входила свобода от всего. От жизни, от любви, от прошлого и даже от букв. Они теперь смеялись вместе на весь свет, хотя никто их там, конечно же, не слышал, ни официанты, ни почтовые курьеры, ни медсестры в хосписах, ни спортсмены-жокеи и ни директора ночных клубов, а может быть, и слышали, но только никто ничего никому не говорил, а просто знал, что жизнь идет и продолжается. И тогда он увидел, как в их общий смех стало затекать солнце, пропитывая его своей огненной мощью, завиваясь в нем взрывами и протуберанцами, укрощая его и укрощаясь в нем само до человеческой меры речи и слуха — единственной, умеющей согреть землю с ее горами, болотами и пропастями, землю со зверями и птицами, и рыбами, и на ней — человека. Их смех вздымался теперь золотой бурей, приливом и отливом, сиял в паузах лунным холодноватым отсветом над тихими заводами и цветущими вишнями, а потом опять рос, грохотал и пел — над всей землей с ее войнами, правителями, оврагами, сороками, парусниками, линкорами, бродягами и генералами. И подпрыгнул Шарманщик, и подхватил его в воздухе Владимир Сергеевич и взял на руки и сказал: «Ну что, хорошо? Право же, хорошо?»

Но Шарманщик ничего не ответил философу-матросу, потому что с каждым новым взрывом смеха набирала силу беспредельная тишина, похожая на жизнь в глубине зеркала или на дне колодца. Она наставала и росла, потому что она родилась из смеха, а смех родился из нее, и этой игре не было больше конца.

И еще потому, что, взглядываясь в зеркало и утрачивая все лишнее, взлетев в его солнечную глубину и вылетев обратно, потом все-таки отворачиваясь от него, и теперь ты — не Дзэами Мотокиё и уже не все истории мира с их масками,

лицами и событиями, а только — Кагэкиё, старый и ослепший солдат, к которому скоро придет дочь, но он еще не знает об этом, сидя в своем убогом шатре и выпрашивая у прохожих подающие, а музыканты и хор уже расположились на сцене и уже звучат голоса певцов, а Хитомару со служанкой представляются зрителям, и ты уходишь от зеркала и идешь по длинному деревянному помосту, ведущему к сцене, к месту называния имени, дзёдза, и слышно, как в паузах между пеньем трещит на дереве цикада, а солнце греет затылок, и ветер освежает лицо, а ты уже слеп, но тело видит лучше, чем глаза, и вот ты сидишь в шатре и чувствуешь, как силы вселенной пробегают по всему телу потоками и молниями, и, пока еще не видимый зрителями, говоришь сквозь маску: Сам забираю я сосновые ворота...

И не потому что смех, сиянье и лоскутное одеяло мира, сшитое из невероятно нелепых историй, которые в смехе становятся бессловесными и единственно наличными, нужными как хлеб, а потому что смотришь, как она плачет, толкая его изо всех сил ладонями в обнаженную грудь в области сердца, а какая-то женщина в белых широких брюках говорит ей под руку: *medicine, medicine...* и что-то такое протягивает... как она безнадежно хлопочет и мечется над лежащим телом с подвернувшейся ногой, как сияет рядом залив, — и потому что то, что ей нужно теперь, есть лишь у него, и это — он сам. И потому что ее боль отдается у тебя в слепых от нежности глазах, и ты больше не солнце, а мальчик и ограниченный человек, который все же может помочь другому, такому же, как и ты сам, малому и ограниченному другому человеку, заходящемуся от страха и тоски, там, на досках веранды, заходящемуся от ужаса и безнадеги, и только ты можешь это сделать, и вместо тебя никто не сделает, ни один другой посторонний, и тогда солнце сверкнуло у него в глазах огненным и страшным пожаром, пережигая перья, нити и силы, и Шарманщик, чувствуя, как сгорает и чернеет в огне спина и дымятся от жара волосы, начал спускаться.

И еще для того, чтобы ему удобней дышалось. Он лежал на спине в расстегнутой рубашке и распахнутом пиджаке, чьи полы лежали на досках, как темные крылья, а она, встав над ним на колени, массировала ему сердце. Вокруг сгрудил-

ся народ, смотря на упавшего и перешептываясь. Подошли два официанта — бельгий и эфиоп — и как зачарованные усталились на руки девочки, пытающиеся точками протолкнуть свою жизнь в остановившуюся без дыхания грудь лежащего человека с бледным лицом и полуоткрытыми закатившимися глазами. Стало тихо, где-то звякнула и разбилась чашка, покрикивали чайки в поисках рыбы и плепали в край веранды волны. Упавший никак не хотел оживать, официант с темным лицом шепнул что-то другому, и тот быстро пошел в здание, на ходу набирая на мобильном номер медицинской помощи.

— Это не инсульт, — сказала одна пожилая француженка другой, в темных очках и бейсболке с белым пластмассовым козырьком, — нет, не инсульт. Если бы это был инсульт, у него были бы мокрые брюки. Я знаю. Так было с моим бедным папа. У него был инсульт.

Первая француженка кивала головой и, не говоря ни слова, смотрела на лежащего русского. А девочка все вгоняла и вгоняла, толчок за толчком, свою силу ему в грудь, но та не хотела приживаться и только отдавалась в его горле неясным и равномерным похрипыванием, словно он хотел откашляться и не мог.

И когда какой-то толстяк с фотоаппаратом на шее пробормotal у нее за спиной «Stop it! Stop it! You are killing him!», она даже не обернулась, только злобно фыркнула и продолжала массаж. Она устала и переменяла положение, переступив коленями по доскам. Из здания уже бежала к ним какая-то женщина с белой квадратной сумкой, помеченной красным крестом на боку. «Я знаю, ты устал, — говорила Арсения, — знаю. Но еще не пора, слышишь? Еще не пора. Не надо сейчас, хорошо? Я знаю, что ты жив, и ты тоже это знаешь, Господи, помилуй...»

Она опять переменяла положение, в тишине было слышно только ее сбивающееся дыхание, и тут из груди Шарманчика что-то запищало и захрипело. Что-то там повозилось, поскрипело и зацокало, как будто под пиджаком кто-то был — то ли щенок, то ли котенок, или словно, непонятно как, запели и защелкали игрушечные соловьи. Тихо ударил один, помолчал, ударил снова, опять помолчал и наконец зашелся в изумленном каскаде, полным восторга перед тем,

что внизу течет река, а ветер шевелит зеленые плетки ивы, перед зарослями и другой ивой на том берегу, перед вольным поворотом реки, отливающей серебром, синевой и ртутью, перед самым собой, высвистывающим, выстреливающим и плещащим звук, словно гремучий капсюль жевело, с оттяжкой и силой закинутой блесны.

Стоящие над Шарманщиком люди понялись, а Арсения замерла.

Он лежал, распластав руки, а из грудного кармана, где от толчка включился на воспроизведение рекодер мобильного телефона, пело уже два соловья, состязаясь в звоне, эхе, паузах и серебряных мурашках. Она помнила тот день, когда была сделана запись. Они внезапно решили поехать за город и сели на первую попавшуюся электричку на платформе Ленинградская недалеко от его дома. Доехали до станции Снегири и вышли. Там они спросили у какой-то тетки с тяжелой сумкой, есть ли поблизости речка, и она сказала, что есть, но надо ехать на автобусе. Подождали автобуса под пыльной акацией, цветущей у платформы, а потом, проехав минут десять, вышли, и еще долго шли пешком по асфальтовому шоссе с каким-то местным мужиком, загорелым, небритым и в потертой серой кепке. Прежде чем свернуть на свою дачу, он показал, где речка, и они спустились по пустому асфальтовому шоссе вниз, а вокруг стоял сосновый бор и ветки поскрипывали от порывов ветерка, и небо было синим и просвечивало сквозь кроны. Речка открылась и заблестела сразу же за бором, и они прошли по белому мосту, под которым бежал один из притоков, спустились по поросшему травой скату к воде, и сразу стало тихо. Две ивы мочили свои зеленые волосы в потоке, и тогда они разделись, и он залез в студеную воду. А потом они сидели под деревом, и он, запыхавшийся и мокрый, достал бутылку минеральной воды, отвинтил крышку, и тут стали петь соловьи. Никогда они еще не пели так, как в тот день, никогда так не грохотали и не разбойничали, наверное, оттого, что все было с ходу и кое-как, не подготовлено, не задумано, а сплошная выдумка и импровизация. Сели, приехали, поговорили с теткой, потянулись на автобусе, и вот они уже в самой середине разбойного пеня, атаки, серебряной блесны, запаздывающего и вдруг обгоняющего себя самого горячего восторга с

оттяжкой, на берегу холодной русской речки, названия которой даже не знают. Шарманщик полез в карман, достал мобильный и поставил магнитофон на запись. Она длилась ровно минуту — целую, полную до краев звуками и пеньем, ранним летом и бестолковщиной, миганием солнечных пятен сквозь листву в ветре, холодной водой, ярким солнцем и вскриками безумных птиц — минуту.

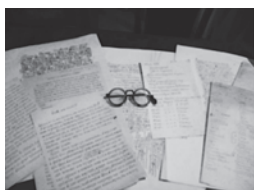
И теперь она длилась, повторяясь, здесь, на веранде амстердамского кафе, откуда так хорошо смотреть, как заходит солнце, и когда запись подошла к концу, Шарманщик, лежащий на досках, захрипел и заворочался.

Яблоня в цвету

Еще не высказались старые часы, которые бабушка как-то принесла из санатория, где они отслужили свой срок, и санаторская нянечка, нос по ветру, подарила их своей грамотной подруге, а потом они висели на стене барака, бывшей школы, где вы жили и куда ты приводил на свидание своих подруг с их льняными волосами и загорелыми ногами, а позже они висели у тебя в Москве в тех местах, где жил ты, и одно время шли, и ты их заводил раз в неделю, хотя порой их размеренное тиканье обрывалось, как в пору твоей знобящей и страстной любви, когда она сказала тебе, что они все время чуть-чуть не дотягивают до фа-диез и фальшивят, и это ее тревожит и не дает уснуть, и ты их тогда остановил на шесть лет, а потом они опять стали тикать, потому что фальшивили не они, а отношения, и вот теперь фальшь прошла.

Не высказался письменный стол, купленный из крошечного завещания, которое собирала для тебя год за годом та же бабушка, — старинный предмет, исцарапанный пепельницами и подсвечниками; ждет очереди могила отца, на Миусском кладбище, лейтенанта Лена Ч., с не женским, а мужским именем — Лен, Леннон, как ты его дразнил в сопливом возрасте затянувшейся юности. Ждет букв и слов другая могила — в Новой Деревне, под Пушкином, с ее игрой солнца сквозь листву на белом мраморе, с надписью кто сотворит и научит, великим наречется, и как ты там разго-

вариваешь с тем, у кого уже нет губ и языка; и как часы в комнате твоего друга пошли назад, когда он, полумертвый из-за несчастной любви, сочинял оперу, и как было в Милане, когда ты увидел несравненной красоты итальянскую девочку, вышедшую замуж на той вилле, а на следующий день Пьетру Ронданини, и у тебя остановилось все, что может остановиться, — время, кровь в жилах, дыхание, мысли, прошлое и будущее, старение и приближение смерти, свет в окне и что там еще иногда ходит, а иногда останавливается?



Фаллос, перо, глаза по странице. И как утром вы спрыгивали с электрички, а внизу под наклоненной к горизонту соеной лежало тихое, во всю длину просвечивающее черными водорослями море, а сквозь ребристую подножку был виден битый кремень железнодорожной насыпи, и было еще прохладно, и вы прыгали на землю с сумками, из которых торчали ласты и подводные ружья, и весь день был впереди; и как мать, умирающую в палате для смертников, где на тяжелых койках лежали еще три женщины и молчали, пришел исповедовать священник из «Анонимных алкоголиков», и как ей сразу стало лучше — ты это почувствовал тогда, как ей от этого стало намного лучше; и как тебе однажды сказал друг-поэт, что кельты выстраивали буквы алфавита из разных пород деревьев; и про тюрьму для пожизненных на острове, окруженном такой тишиной, что за километр было слышно, как там в лодке в тумане над водой переговарива-

ются бабы, сходявшие за ягодами, и на все безмолвное озеро скривят ключины; и как одна твоя подружка, поэтесса, работающая в банке, настояла в Питере, чтобы вы отправились искать дом Бродского, а ты не хотел, потому что жутко устал, а потом согласился, и когда вы туда добрались, то под окнами, недалеко от мемориальной доски, лежал розовый презерватив — никогда больше ты не видел под окнами домов розовых презервативов таких размеров; и про то, как ты нашел фундамент от дачи Берсов и Лопатиных в Покровском-Стрешневе, останки дома, где гостил молодой Соловьев, на берегу пруда с двумя островами, и еще многие вещи и события, которые ждут букв и слов, чтобы стать, если повезет, более вечными, чем были.

Но сейчас не про них, а про то, как Лука сначала получал письма от Арсения довольно часто, и она присылала ему открытки из всех городов, куда они с Шарманщиком попадали, а потом перестала, а месяц назад к нему приехал немец-профессор и расспрашивал про его жизнь и про жизнь Шарманщика, но он ему мало что смог объяснить, потому что не хотел, а про Мэб сказал, что это придумала девочка для интереса, потому что то, что для Луки Мэб, для профессора, и к тому же немца, — совсем другое, и пока он сам не переживет общение в тишине, говорить им не о чем. Он так ему и сказал, а профессор все записал на свой карманный рекодер.

Последняя открытка пришла из Амстердама, и в ней Арсения писала, что они с Шарманщиком, наверное, долго теперь не появятся в России, так как заедут ненадолго в Москву, оформят визы и отправятся дальше, в Новую Зеландию, потому что там много цветов и бабочек. Она так и написала — цветов и бабочек, и добавила, что если им там понравится, то задержатся надолго. Лука не знал, что это за страна Новая Зеландия, — только то, что проходил по географии в школе, и ему сначала стало интересно, почему она новая и что там есть такого, чего нет в других старых странах, а потом он решил, что все равно ни Арсения, ни Шарманщик долго за границей жить не смогут, потому что их страна тоже время от времени бывает новая, надо только почаще встречаться с ней и ее обитателями в тишине.

А Шарманщик тогда сидел в гостинице и пил сухое вино, и в дверь постучали. «Да, — крикнул он, — да!» Он решил, что это вернулась Арсения, но это была не она. В комнату вошла и остановилась на пороге грузная пожилая женщина в шляпке и прозрачных белых перчатках. Она сразу же напомнила Шарманщику тетку своего отчима, театральную даму, которая одно время была директором театра в С. и отличалась неестественными мечтательными интонациями в самых простых разговорах, а также неискренностью, которую Шарманщик, будучи мальчиком наивным, все же чуял, но не мог понять, что это такое и откуда приходит. Дама остановилась и стала оглядывать комнату.



— Вам кого? — спросил Шарманщик.

— Я пришла к вам, — ответила она и улыбнулась влажными подкрашенными губами. — От нее шел слабый, почти неощутимый запах пота и духов, которые вышли из употребления лет пятьдесят назад. Запах этот зачаровал Шарманщика, и на какое-то время он перестал понимать, где находится, а когда пришел в себя, дама сидела в кресле и смотрела на него. Перчатки она сняла и держала в правой руке. «Сейчас она вытанцует вееер и начнет обмахиваться», — подумал Шарманщик. Но дама вееера не вытанцила, только глянула в зеркало за спиной у Шарманщика, поправила прическу и сказала:

— Ну что ж, вот вы и написали свою книгу.

— Какую книгу? — спросил Шарманщик, но, спрашивая, уже все понял. — Кто вы?

— Я тетка Луки.

— А...

— Вы написали книгу, которая может воскрешать мертвых и исцелять больных, а страшный и злой мир делать полным любви и добра. И если вы положите ее смертельно больному под подушку, наутро он выздоровеет.

— Я не написал ее.

— Написали, — сказала дама непреклонным голосом, в котором совсем не было фальши.

— Я даже ничего не записывал. Так доскутки. Книги не существует. Все фрагменты разбросаны порознь.

— Их сведут воедино.

— Кто?

— Немец. Немецкий исследователь.

— Нет, — сказал Шарманщик, — нет. Если бы я написал ее, то мир стал бы совсем другим, а ничего не изменилось.

— Все изменилось, вы просто не заметили. Все стало другим. Теперь во всем есть все.

— Хорошо, — сказал Шарманщик, — но как же я положу книгу под подушку, если у меня ее даже нет в руках?

— Ее не надо держать в руках, — сказала дама. — Что за притча — все они хотят что-то держать в руках! Теперь, когда благодаря вашей книге во всем есть все, вы можете положить под подушку больного хоть «Мертвые души» или стихи Баркова, и он выздоровеет. Потому что ваша книга теперь есть в любой книге. Она так и была задумана с самого начала, верно? Ведь не стоило же создавать просто еще один отдельный том, один из миллионов и только. Вы создали то, что не поддается фиксации и все же будет сведено в текст. Ах, как у вас жарко. — Дама огляделась и спросила: — А что, кондиционер не работает?

И она полезла в сумочку и действительно достала веер.

— И что же, — сильно волнуясь и потому дрожащим голосом спросил Шарманщик, — из мира ушли смерть и зло? Люди перестали убивать друг друга, сходить с ума от самих себя, уничтожать дельфинов и деревья?

— Да, — сказала дама. — Да. Так и произошло. А вы и не заметили. Видно, вам очень хочется по-прежнему быть страдальцем.

И она рассмеялась неожиданно мелодичным голосом.

— Только поверьте мне. Живите в своей книге, а не в чужих. И вы увидите, что все произошло. В мире царит совершенство. В заливах растет осока, а за катером плывут дельфины. Вы больше не Лот, совершающий инцест с дочерьми. И вы теперь все помните, но видите, что и помнить-то нечего, потому что все, что было с вами до книги, была иллюзия.

Шарманщик смотрел на нее недоверчиво.

— Вы кто? — спросил он. — Вы не тетка Луки.

Дама снова рассмеялась своим мелодичным смехом, щелкнула замком сумочки, достала платочек и промокнула глаза:

— Можете звать меня ангелом вашей книги. Дайте же, дайте минеральной воды.

Шарманщик как заипнотизированный полез в холодильник и налил воды в гостиничный стакан, дважды стукнув горлышком о край. Дама взяла стакан из его руки, сделала глоток и, наклонившись, поставила стакан на пол. Он видел, как лопались пузырьки.

— Не надо вам ехать в аэропорт на автобусе, — сказала она. — Автобус может увести не туда. Возьмите такси. Хотя, как я вижу, вам хочется ехать как раз на автобусе... Воля ваша. А знаете, — сказала она мечтательным и фальшивым голосом, — ведь в том театре в городе С., где теперь проводят кинофестивали, на самом деле теперь каждое лето идет пьеса вашего отца. Та самая, которую из-за тетки вашего отца, которая была директором театра, сняли перед самой премьерой.

И Шарманщик понял, что она говорит правду. Что с самого начала она говорила только правду и что она вся и была самой настоящей правдой. Что спектакль, в котором влюбляются молодые солдаты, только что пришедшие с войны, действительно идет теперь вместо «Минотавра» каждое лето. И что не надо бы ехать им с Арсенией в аэропорт на автобусе, и что с ним говорит богиня.

Соседи Луки стали продавать свои дома, потому что цена на участки взлетела в последнее время вверх, и в поселке появились новые люди из столицы, скупающие землю, вздоржало электричество, и все больше пластмассовых банок и упаковок стало валяться в лесу, и поэтому Лука теперь ходит в горы все дальше и все выше и остается там на

несколько дней. И еще он думает построить там, наверху, новый дом.

И не потому, что там, дорогая моя девочка, по дороге к чайным плантациям, стоит яблоня в цвету. Нет, не поэтому. Она похожа на розового ангела ростом с трехэтажный дом, а под склоном внизу течет горная речка и виден мост. Речка мелкая, но сильная, говорливая, в плоских сухих валунах, все время серебрится и бежит, а мост над ней почти всегда пустой, редко когда проедет по нему автобус или пройдет пешеход. А яблоня стоит как розовый воздушный шар, и ветер, пролетая ее насквозь, тихо шевелит ветки, и тогда кажется, что она разговаривает. А ночью при луне, если долго стоять и смотреть на ее цветы, то у тебя кружится голова от нестерпимой млечной красоты и кажется, что ты входишь внутрь лунного света или он в тебя.



Внизу, с той стороны, у корней, привалился к стволу то ли горный валун, то ли черная коряга обкатанного в воде дерева, а то ли человек. Трудно сказать наверняка, потому что в один день это выглядит как коряга, а на завтра вроде бы валун, а пройдешь мимо через пару дней — сидит человек, по виду бомж, и курит. А иногда кажется, что это не кто-то незнакомый, а ловец бабочек спит под деревом. Вот поспит-поспит, а потом встанет и поедет в Южную Америку или в Новую Зеландию, или куда-нибудь на Таити, где водятся редкие и невиданные бабочки. А может, он сам — куколка, кусок дерева — ороговел, заpekся, сморщился, но это не навсегда, а пройдет срок — и лопнет кокон и треснет по швам,

и тогда выйдет на свет бабочка, и пойдет странный горный мужик по тропинке, а крылья за спиной будут разворачиваться и сохнуть, что твои зонтики после дождя. И ни одна корова или овца его не испугается и даже многодетный дед-чечен, оказавшийся на заброшенных плантациях чая, не испугается тоже. Потому что они всегда, можно сказать, ждали чего-то в этом роде, и даже иногда очень сильно ждали, хотя вовсе и не подозревали об этом. Это вроде как если тебе взяли и подарили мандарин, которого ты прежде никогда не видел, или ты вдруг выиграл в лотерею поездку вокруг света через Америку и Суматру с их островами и полянами.



И поэтому дед-чечен идет в свой покосившийся дом на склоне горы с чахлым сизым виноградом во дворе, чтобы поругаться там с зятем, потому что тот с утра опять вышил, вытрет сопливый нос ошалевшему от кур, запахов и цветов внуку, положит в сарай пластмассовую сумку с наворованным чаем, выйдет во двор, чтобы поорать на жидкопсовую дворняжку на цепи, бросающуюся на него в припадке восторга, а потом сядет под алычу на табурет, среди раздавленных желтых ягод, достанет из железного портсигара с выдавленным на крышке восходящим солнцем в твердых лучах папиросу, закурит и посмотрит вокруг себя такими

глазами, которыми сроду ни на что не смотрел. Будет сидеть, слушать кузнечика и озираться вокруг до тех пор, пока не подойдет к нему жена, бодрая еще старушка-абхазка, и скажет: «Ты что это, а?»

И тогда он встанет с табурета, кашляет от табака и смущения и станет укладывать картонные коробки с добытым чаем в люльку пыльного мотоцикла.

И поет, поет хор меж чеченским мотоциклом и японскими отцом и дочерью с кипарисовыми твердыми масками на несвоих лицах прощальную реплику, витающую и входящую в их расставание, как мягкая плоть в еще более мягкую плоть:

И голос долго не смолкал еще в ушах.

И это все, что им осталось друг от друга.

Бум-бум, бум-бум в ушах, голос в ушах, уже отзвучавший, голос, которого нет снаружи, там, где тело отца и тело дочери удаляются друг от дружки — звук, которого нет нигде, кроме того места, которое и есть произволением Божиим и людской одинокой запредельностью одно на всех место, где каждый может встретиться с каждым другим и его полюбить — чистый звуковой жест оставшихся в душе слов, чистый, как стекло, как слезная матерщина отчаяния, дырка от бублика, печень юноши-спортсмена, послевкусие китайского красного чая или молитва. Чистый, как солнечный зайчик.

И все, что будет дальше и происходит теперь, готовится стать между замершим и беззвучным жестом Театра и вибрирующим строем кириллических значков-солдат, готовых к движению и паузам, но еще не разбившихся и не соединившихся в слова, деревья, людей, дожди, платки, сигареты, речку, разлуку, плач, хрип, бульк, дзеньканье цикады, технологию, апробацию, полиэтилен, смех, политкорректность, козью иву, ласточку под стрехой — и что там дальше еще, что там дальше-то еще следует и возникает? — не соединившихся и не слившихся, и являющих оттого и в силу парадной своей строевой стойки немного странное и отчасти напыщенное даже зрелище: Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёе, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъь, Ыы, Ьь, Ээ, Юю, Яя...

Книги Андрея Таврова:

**Настоящее время (1989),
Осенняя песнь кентавра (1992),
Эль (1996),
Театрик (1997),
Две серебряных рыбы на красном фоне (1997),
Звезда и бабочка – бинарный счет (1998),
Альпийский квинтет (1999),
Орфей (2000),
Sanctus (2002),
Ангел пинг-понговых мячиков (2004),
Парусник Ахилл (2004),
Самурай (2006),
Май, драконы и волшебное зеркало (2006),
Кукла по имени Долли (2008),
Мотылек (2008),
Свет святыни (2009),
Зима Ахашвероша (2007),
Часослов Ахашвероша (2010),
Письма о поэзии (2011)**

Андрей Тавров

Матрос на мачте

ТАВРОВ А. М.

МАТРОС НА МАЧТЕ/ Андрей Тавров –

М.: Центр современной литературы, 2013

Сафронова О. В. — верстка

Оригинал-макет подготовлен в дизайн-студии «Треугольное колесо»
www.trinwheel.com

Подписано в печать 07.11.2012. Формат 130 x 200 мм

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Cherry Pie»
112114, Москва, 2-й Кожевнический пер., 12